Борис Шергин



ИЗЯЩНЫЕ МАСТЕРА



ПОМОРСКИЕ БЫЛИНЫ
И СКАЗАНИЯ

МОСКВА
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1990



ББК 84Р7
Ш 49

Составление, предисловие и сопроводительные тексты
ЮРИЯ ГАЛКИНА

Художник
ЮРИЙ ФРОЛОВ

Ш $\frac{4702010201-215}{078(02)-90}$ 118—89

ISBN 5-235-00439-6 (2 з-д.)



ОТЦОВО ЗНАНЬЕ

1

Борис Викторович Шергин родился на исходе XIX века. В Архангельском крае, в Поморье, это было время, когда белопарусный кораблик на широких светлых водах еще в обычай был, но в обычай уже уходящий — поморские побережья уже огласились трубными гудками корабельных паровых машин. О чем говорили эти властные новые звуки и дымящие трубы сердцу помора?..

Конец XIX века в России справедливо назван временем нарастающих апокалипсических настроений, приближающейся трагедии, «страшного переворота», о котором предупреждал еще сто лет назад Радищев, о котором Лермонтов с твердостью ясновидца пророчил:

Настанет год — России черный год,
Когда царей корона упадет,
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон...

Конечно, можно сказать, что от столиц, от тех культурных центров, от интеллигентных кругов, в которых пророческие метафоры и прогнозы о близкой национальной трагедии составляли главный нерв настроений, до далеких российских провинций было слишком далеко, и трагические голоса поэтов, философов и революционных трибунов докатывались туда с большим опозданием, и звучали уже глухо, и не воспринимались непреложно, потому что для восприятия метафоры необходима соответствующая подготовка и атмосфера окружающей жизни. Но все-таки как сейчас, так и прежде — и как всегда — общественные настроения расходятся по стране, помимо официальных сообщений и правительственных газет, и эти неведомые пути действуют очень надежно, а жизнь, какой бы ни была, всегда дает повод для подтверждения настроений, особенно пессимистических.

В конце XIX — начале XX века экономические преобразования, изменившие облик Центральной России, достигают и северных окраин. Через леса и болота прокладывается к Белому морю железная дорога, на смену деревянному парусному флоту идут железные корабли с машинами, и неукротимое Океан-море, к которому человек сотни лет приноравливался, приспосабливался, уже теряет свою грозную власть.

Но не теряет ли чего-то и сам человек? С исчезновением ремесел и промыслов, на которых веками стояла жизнь на поморских берегах, распадаются привычные экономические и общественные связи. Не так уж велико дело, если вдруг оказывается ненужной древняя — со времен Марфы Посадницы! — солеварня, но что должен испытывать при этом солевар? О чем он вспоминает в эту тяжкую для себя минуту? Исчезают древние плотницкие и судостроительные ремесла, и художники-корабелы, государи-кормщики, которых еще недавно можно было подрядить для постройки шхуны или выбрать главой промысловой дружины, обретают вдруг некое легендарно-символическое значение — ведь их уже нет с нами, а народная память, народное настроение, утешая свою тоску по ним и ставя в пример новым поколениям продолжающегося морского сословия, пестует этот образ, влагая в него радостные воспоминания своей юности, здоровья и силы. И потому, может быть, еще милее оказывался для чуткого сердца один вид паруса на морском просторе, торжественнее и возвышеннее звучит былина в устах седобородого промышленника, печальнее и нежнее выговаривается воспоминание и предание о жизни недавней — и не потому, что она лучше и краше была, а потому, что ведь мы тогда были молоды и крепки духом.

Так, возмещая утрату, рождается поэтическое переживание, и шкипер Егор Васильевич, имеющий, как он сам говорит про себя, «дарование к поэзии» (рассказ «Егор увеселяется морем»), чиня новые пароходные машины, слагает, однако, гимны «легкокрылым парусным судам». И вот хотя ему и незнакомы апокалипсические настроения культурных столичных кругов, но его «гимны» по сути своей, по ощущению времени могут оказаться очень близкими. Если железная машина — это символ неизвестного грядущего, в котором человек еще не нашел себе достойного места рядом с машиной, то и белопарусный кораблик — это тоже символ, но символ той жизни, которую человек строил тысячу лет. И вот теперь что же — все это должно погибнуть? Материальная жизнь, экономические отношения, нравственное бытие и даже сам домашний, семейный быт человека оказывались беззащитны перед наступлением «века сего», но душа, воспитанная на тысячелетних традициях миропонимания, укрепленная поэзией, которая устремлена на поиски гармонии человека с природой, не желала сдаваться, не желала покоряться экономическому расчету.

Народная память, народная поэзия тоскуют не столько об утрате ремесел и переменах в житейском укладе, связанном с легкокрылым парусным корабликом, сколько об утратах, которые неизбежно понесет весь исторический нравственный опыт жизнеустройства, все Отцово знанье, воплощенное в народном искусстве. Это знанье было коллективное, соборное, народное знанье, и знанье живое, не закрепленное ни законом, ни книжным уставом, и держалось оно оптимистическим чувством народной общности, исторической перспективы, именем Христа-спасителя и памятью, хранящей превыше всего примеры правильного поведения,— в книгах Шергина мы найдем прекрасные образцы именно такой народной памяти, и один из них — «Устьянский правильник». «В северорусском промышленном мореходстве,— поясняет Шергин,— издревле существовало «обычное право», своеобразная юриспруденция, определяющая профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу. Иногда эти жизненно деловые отношения закреплялись письменно». И вот юный Шергин, державший в своих руках эти тетрадки, «писанные почерком XVII века», переписывает «правила», и уже одно то, что он переписывает, как бы продолжая по наитию эту работу народной памяти, говорит о приоритете морально-нравственных правил в среде «морского сословья» Севера перед всеми другими — в этих правилах и заключалась сущность Отцова знанья, об утратах которого и печалилось народное сознание на пороге грядущих социальных потрясений.

Свидетелем этих настроений и предчувствий неизбежных горьких утрат и оказался юный Шергин.

2

О себе он писал всегда коротко, самое необходимое: «Родился в Архангельске в 1896 году в семье архангельского помора, корабельного мастера. Окончив классическую гимназию, я учился затем в Московском художественно-промышленном училище...» Эта сдержанность вполне удовлетворяла в редких случаях официальное любопытство. Да и что можно было еще добавить? Внешне биография Б. Шергина не отличается богатством и разнообразием событий и той значительностью, какую свойственно придавать ординарным фактам в жизнеописаниях приобретших известность персон. Для самого Шергина важнее были не сами эти житейские подробности, но только то, что оставляло впечатление, вызывало переживание, то, что потрясало душу. Но все это настолько личные, настолько интимные «материи», что доверить их можно только дневнику: «Детство, юность, молодость — все у меня с родимым городом северным связано, все там положено. И все озарено светом невечереющим... От юности моей и увлекался я «святою стариной» родимого Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родимого края, сказочная красивость и высокая поэтичность этой культуры — вот что меня захватывало всего и всецело увлекало...» Так можно думать наедине с самим собой, так можно записать в дневнике, но если уж и выходить к людям со словом любви, то не о своем чувстве тонком надо говорить, но так говорить о родимом крае, чтобы те, кто будет слушать тебя, прониклись этой любовью. А что касается твоих личных переживаний, то пусть они останутся твоим личным достоянием, твоей личной радостью и утешением.

Такой аскетизм по отношению к своей персоне — не столько, может быть, личное, природное свойство натуры Шергина, сколько естественно усвоенный этический строй всего житейского уклада, всей культурной традиции той среды «морского сословья», в которой он вырос и воспитался и как личность, и как художник,— иначе чем объяснить не только сдержанность в официальных автобиографических «Записках», но и в произведениях художественных, в рассказах биографического, условно говоря, цикла — «Детство в Архангельске», «Рождение корабля», «Миша Ласкин», «Поклон сына отцу»? При той обширности исторического и житийного материала, при том богатстве впечатлений и переживаний, при том даре живописания, владения словом, какой мы видим во всем, что написано рукой Шергина, легко предположить безграничную творческую свободу, но постоянно что-то удерживает его, он как будто боится ненароком сказать суетное слово, неточное определение.

Никто и никогда не накладывал на него таких обязательств, он сам не принимал нарочитых обетов, но в сознание Шергина-писателя естественно, вместе с «любовью к родной старине» вошло такое творческое условие, при котором нравственное безусловное право на внимание, на душу человека имеет не то, что ты, художник, артист, чувствуешь, что ты испытал, увидел и пережил, но только то прежде всего, что испытано и проверено опытом предыдущих поколений,— это твое «неиграемое» наследство, и ты по своей сыновней обязанности должен сохранять его и умножать.

Сейчас, при всех тех утратах, переменах и приобретениях, во многом и горьких, в нашей общественной и домашней жизни, какие произошли в веке XX, при всех наших обильных разговорах о нравственном, этическом тысячелетнем опыте русской жизни, на деле нам все же оказывается понятнее, а потому и ближе, доступнее, мир материальной культуры, и потому так легко, так просто повторяем мы слова о неиграемом, о Боге, о Христе, о молитве — все это мало говорит нашему современному сознанию, не обремененному, как замечает Шергин, ни совестью, ни понятием нравственного греха. Опираясь на факты материального мира, на «черепки» материальной культуры, мы оказываемся не в силах постичь всю полноту жизни наших предков, их живой духовный мир, и потому нам хочется знать. Вот и в случае с Шерги-

ным, с его личной жизнью, нам хочется знать, откуда возникла у юного Шергина «любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родимого края», на что опиралась эта любовь? То, что для него самого было само собой разумеющимся и не требующим особых разъяснений, нам представляется важной тайной, и мы — на правах читателей — пытаемся проникнуть в эту его тайну. И вот те же автобиографические рассказы Шергина дают вполне определенный ответ на этот главный вопрос, и ответ этот может показаться слишком даже простым: эта любовь на всю жизнь началась у него с родителей, с родительского слова, с родительского поучения и материнской ласки.

«Живая душа содержала наш «старый быт»,— скажет Шергин о доме своего детства и юности на склоне своих лет.

И на самом деле, рассказ «Детство в Архангельске», равно как и другие рассказы этого автобиографического документального цикла, могут показаться сейчас какой-то сказкой: настолько естественна и полнокровна та духовная свобода, в которой совершается жизнь семьи!

«Мама была родом из Соломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец...»

Так начинается этот рассказ о детстве. И ничто в нем не заслоняет людей — ни пейзажи, ни труд, ни поэтические возможности самого автора,— все это имеет смысл только тогда, когда люди любят друг друга «без хитрости». И такая любовь не созерцательна, не жертвенна и не болезненная страсть, но любовь — как условие здоровой жизни, как основа человеческого жизнестроительного дела.

«Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство... Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!
Спи-ко, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки! Что на море-то делается... Папа у нас там!»

Может быть, это и были первые поэтические уроки, положившие в чуткой, отзывчивой и памятливой душе мальчика основание его будущего чувства к песне, к былине, к сказке и вообще к живому русскому поэтическому слову. Полагать именно так у нас есть все основания. Первые литературные записи Шергина, первые пуб-

ликации в газетах и, наконец, первая книжка «У Архангельского города, у корабельного пристанища», вышедшая в 1924 году, были именно песни матери, былины и старины, которые он слышал дома. И даже в последние годы жизни, когда приводилось Б. Шергину печататься в сборниках, обычно эти тонкие книжечки для детей выходили в издательстве «Детская литература», к сказке «О дивном гудочке» он делает примечание: записал со слов матери.

А сколько замечательных сюжетов записал он со слов своего отца, записал уже по памяти, потому что отец умер, когда Шергину было одиннадцать лет,— это и превосходный, редкий в русской литературе рассказ «Для увеселения», и многое из того, что в книгах Шергина входит обычно в разделы «Отцово знанье» и «Государи-кормщики».

«Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал» — так на старинный напев начинает Шергин свой рассказ об отце, который называет «Поклоном сына отцу». В этом по-сыновьи сдержанном и по-мужски строгом прощальном слове точно бы воплотились заветы отца бояться праздных слов, пустопорожних разговоров, потому что это живая смерть. А сын должен жить, должен хранить древнее знание и прибавлять к нему златницы — этим испокон веку стояла и крепла жизнь на берегах Студеного русского моря.

— Слыхал ли,— говорил отец, — поют:

Лежа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить...

В «Поклоне», как и во всех других литературных произведениях для публики, для читателя, нет многих сугубо личных, сугубо частных семейных фактов и деталей, которые могли бы придать облику отца черты более конкретные, подробные, однако они остались в дневнике, и вот эта строгость, сдержанность художественного исполнения придает образу отца высокие духовные черты и этим ставит его в тот ряд государей-кормщиков, которые составили славу и честь Русского Севера.

3

Любовь к старине, к житийным и культурным традициям была присуща не только дому Шергиных, но являлась естественной общей чертой жизни на Севере. Может быть, это отчасти объясняется тем, что шумные столицы были далеко «за долами, за лесами», но главное, думается, состояло в особом укладе всего быта «морского сословья», в котором традиция держалась не только приверженностью человека, но и в большой степени производственной и экономической необходимостью применяться к суровому нраву Студеного моря-океана, к веками накопленному опыту и знанию, к формам организации труда. Но все это житийное, производственное и духовное достояние нуждалось в неослабной заботе живущих поколений. И натуры наиболее чуткие, прозорливые, поэтические остро чувствовали свое место в патриотическом воспитании сыновей, ясно осознавали эту ответственность именно перед лицом грядущих перемен. Дело, конечно, состояло вовсе не в печали по парусному кораблику. Отец Шергина Виктор Васильевич прекрасно сочетал в душе свою любовь к художеству — одной из главных тем его живописных рисунков был сюжет кораблика, обуреваемого морским волнением,— с работой механика по паровым машинам. Дело заключалось в стремлении утверждать нравственные и духовные основы жизни, утверждать, увековечивать в жизнестроительстве приоритет правды, любви, красоты, чести, милосердия. И поскольку все эти основы миропо-

нимания содержались в искусстве, и искусстве прежде всего народном, то оно и было той святыней, которую надлежало хранить и беречь. И Шергин с малых лет впитывал именно такое почитание культурных традиций. И не без влияния матери на первом месте тут оказалось слово: сказки, былины, старинные песни и предания. Но в доме Шергиных были и другие почитательницы и почитатели старинных песен и былин, и ни одного из них Шергин не забыл во всю свою жизнь и при случае низко кланялся и мастеру «златых словес» Наталье Петровне Бугаевой, простой архангельской крестьянке, и Пафнутию Осиповичу Анкудинову, бывалому мореходу и названому брату отца, и Марье Дмитриевне Кривополеновой, талантливой сказительнице,— все они были учителя и наставники молодого Шергина — ведь и он тоже с ранних лет пристрастился к сказыванию «древних памятей», выступая сначала на гимназических вечерах, а потом, когда учился в Москве, и на больших столичных эстрадах.

Но с раннего детства страстью его были и краски, карандаши. В дневнике Шергин пишет, что еще ребенком беззаветно отдавался рисованию, срисовывал в свою тетрадку иллюстрации из «Соловецкого Патерика», картинки из детских книг и журналов... «Великое богатство это — раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало, на родине мать, бабки и зимою в четыре часа встанут. На кухне березовые дрова весело затрещат. По горнице засияют лампадки. И как я радехонек, когда вовремя сон отряхну. При лампе что-нибудь рисую...»

Не раз вспоминает Шергин и о том, как, насмотревшись в музее моделей кораблей, старинных северных церквей, домов, нарядной крестьянской утвари в виде зверей и птиц, «точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее...»

Так что можно назвать вполне закономерным то, что в 1913 году он оказался среди учеников Строгановского художественного училища в Москве.

4

Художественная жизнь России, сосредоточившаяся в основном в столицах и крупных губернских городах, в первых двух десятилетиях XX века вместила столько значительных событий, отмечена такими крупными явлениями в русском национальном искусстве, а жизнь искусства невозможно отделить от событий литературных, философских, историографических, что всего этого интеллектуального заряда достает, кажется, и на весь наш XX век. Этот уровень художественного и философского национального сознания был качественно новым по сравнению с художественными и философскими открытиями, которыми ознаменованы 50-е, 60-е годы века XIX: опираясь на творческий гений художников и писателей, на величайшие достижения исторической и философской мысли, на громадную культурологическую работу по собирательству и изучению народного искусства, живого великорусского слова, век XX за общими национальными вопросами увидел наконец и русского человека, и не в том невольно искаженном виде, каким его представляли писатели, художники и мыслители, характеризуя его те или иные черты в соответствии со складом своего таланта и ума, со своим темпераментом и личным опытом, — многое тут было и на самом деле верным, но в том, каков этот человек был сам по себе, в своей привычной жизни, в своем труде, в своем доме, в своей семье, в своей культуре, во всем своем жизнетворчестве. XX век открыл именно тот исторический оптимизм в народном сознании и в народном искусстве, какого не было — и XX век это-то как раз и почувствовал с болезненной остротой (Толстой, Достоевский, Блок об этом говорили прямо) — в искусстве светском. И оказалось, что эти черты народной жизни, народного искусства, народного сознания нельзя сводить только к вопросу о бедности одних и богатстве других, к лаптям и лаковым штибле-

там, что жизнетворческое устремление народа гораздо шире этих бытовых пределов, историчнее, многообразнее, и что именно здесь лежит решение вопроса всего будущего существования народа и государства.

В художественном искусстве этот новый уровень сознания выразился с предельной ясностью в открытии, например, древней русской иконы, в частности, новгородской, и открытии в том смысле, что это древнее художественное «письмо» естественно связалось с сердцем, с чувством, с сознанием русского человека, с его художественными восприятиями, с его укладом жизни, с патриотическими и социальными представлениями, одним словом, со всем обликом духовной жизни человека.

Но наравне с иконописным образом, с тем, что «было прижато к сердцу древнерусского человека», как замечает Шергин, существовало и слово, и не то мертвое, так называемое научно-фольклорное, или нарочито косноязычное, которым изъяснялись литературные персонажи «из народа», но слово подлинное, живое — нужно было только его услышать. И вот начало XX века было как раз тем временем, когда было услышано и это живое подлинное народное слово. Этому много способствовали и знаменитые артисты, такие, как Ф. И. Шаляпин, и писатели, а особенно, может быть, Л. Н. Толстой своим публицистическим и философским поиском последних лет жизни, своим вниманием к народной жизни, к «мужику», к его именно духовному, интеллектуальному облику. Поэтому когда мы сейчас читаем свидетельства о восторженном приеме просвещенной публикой в столицах сказительницы Кривополеновой, о ее триумфальных «представлениях» на московских и петербургских сценах, то не должны придавать этим фактам какого-то случайного, спонтанного характера, какой-то моды, нет, это закономерное событие широкого, качественно нового движения национального сознания во всем обществе. И молодой Шергин со своим художественным даром «живое слово сказывать», со всем тем «материалом», какой воспринял на родном Севере, не мог быть только посторонним свидетелем этого общественного движения, но был его прямым участником. Конечно, по молодости лет, по несуетным наклонностям характера он не посягал на внимание больших аудиторий, но на учрежденных в Строгановском училище «утренниках по словесности» он выступал и с былинами, и со сказками, и со своими собственными сочинениями по старинным сюжетам. Видимо, «говорить живое слово» перед своими товарищами в Москве было ему привычно — ведь еще в гимназии он это делал с большим искусством.

Оказался замечен молодой Шергин и учеными-филологами, и вот летом 1916 года по заданию Академии наук он ездит по Архангельской и Олонецкой губерниям — записывает произведения народного творчества, исследует местные диалекты.

После Октябрьской революции Шергин живет в Архангельске. Здесь при губернском совнархозе организуются ремесленные мастерские, где Шергин заведует художественной частью. Каких-то внешних подробностей этой своей деятельности Шергин не оставил, и только по отдельным записям в дневнике да по кратким его воспоминаниям можно предположить, что Шергин немало потрудился над тем, чтобы — в который уже раз в истории северного косторезного искусства!—собрать талантливых мастеров «в число», в артель и этим самым поднять пришедшее за последнее время в упадок традиционное для архангельского Севера искусство.

Надо полагать, что это было очень нелегкое для него время, хотя бы потому, что связано с интервенцией, с установившейся на один год «белой властью». После разгрома интервентов вернувшаяся «красная власть» учинила свои репрессии и чистки. Видимо, многое мог бы рассказать об этом времени в Архангельске и живший в те годы там писатель Л. М. Леонов, однако и он пока ничего не сказал об этом «широкому читателю». А к Шергину это имеет еще и то отношение, что Леонов «некоторое время» жил в доме Шергиных. Но

сам Шергин вспоминать об этом почему-то не любил, как и о том, что во время принудительных работ в период интервенции ему отрезало ступню. Понятно, что о подобных вещах вспоминать никакого удовольствия не доставляет.

Как бы там ни было, но в 1922 году Шергин переезжает в Москву, находит пристанище в полуподвальной комнатушке в доме по Сверчковому переулку и работает в Институте детского чтения Наркомпроса «научным работником первого разряда». Руководила этим учреждением известная участница организации народного просвещения в послереволюционной России А. К. Покровская, и это именно она написала в предисловии к первой книжке Шергина такие примечательные слова: «Если смолкают колыбельные песни, старухи позабыли сказки, а старики — старины, не можем ли мы перенять их исчезающее уменье?»

Все это так — смолкают колыбельные песни, старухи забывают сказки, но если этот печальный процесс необратим, если этому есть причина, то как же без устранения этой причины мы можем перенять «исчезающее уменье»? Видимо, самое лучшее, что мы можем сделать, это запечатлеть полновластным уже в жизни печатным словом уходящее живое поэтическое слово, запечатлеть во славу своих родителей и в надежде, что эта красота и мудрость, которую свято берег народ на протяжении веков, еще пригодится потомкам, еще послужит доброму делу воспитания души, пусть и в другом художественном образе — книжном. Надо только сделать это книжное, печатное слово таким же полным жизни и сердечного чувства, каким обладает и слово живое, слово устное. И вот эта уникальная задача в истории русской народной культуры выпала на долю Шергина. Не потому, что он был талантливее своих предшественников-сказителей, таких, как М. Д. Кривополенова, но только потому, что Шергин обладал другим уровнем образования, он уже видел достояния народной культуры во всей исторической национальной перспективе и сознавал существование этой культуры в своем времени. Сам талантливый природный сказитель, мастер изустного живого слова, он и при переводе «сказания в писание» сознательно преследовал ту же творческую задачу прямого общения человека, вовлекал и его в творчество, в осмысление и переживание современных событий. И потому печатное слово Шергина при всех своих традиционных основах, при обращении к самым древним даже сюжетам — таковы, например, его скоморошьи сказки — всегда оказывалось наполнено современным смыслом. Древнее искусство народного словотворчесва продолжалось Шергиным в новом времени, и высокая личная культура, высокий художественный вкус освобождали живое и выразительное, но уже теперь и печатное слово от мусора бытовой разговорной пестроты, от вульгарных псевдонародных словечек.

Шергин прекрасно сознавал всю трудность своей писательской задачи, глубоко чувствовал природу слова устного и слова письменного, и многие современники, близко знавшие Шергина, отмечают поразительную его щепетильность в том, что, прежде чем «закрепить» текст сказки, рассказа или новеллы на бумаге, он должен несколько раз «примерить» его на аудитории в устном исполнении. И при этом текст всякий раз меняется, как бы редактируется — в зависимости от аудитории, от настроения самого рассказчика, от тех даже злободневных явлений действительности, в которой живет человек, от той информации, какая обрушивается на него со страниц газет, книг, радио,— иначе слово потеряет власть над человеком, превратится в нечто как бы постороннее, необязательное, в некое музейное достояние.

Может быть, это даже покажется странным, но я думаю, что такое пристрастие, такая творческая присяга живому слову определила и всю драматичность художнической и человеческой судьбы Шергина в 30, 40 и 50-е годы. Именно в это время совершилась работа по превращению еще живого народного искусства, практическое и научное внимание к которому в 20-е годы достигло, кажется, высшей точки, в

краеведческий скучный музей. И немалую долю этой работы проделали, может быть и невольно, «сказители из народа». Удивительная память и поэтическое дарование таких артистов, как Марфа Крюкова, Петр Рябинин или Маремьяна Голубкова, свободно владевших в устном исполнении десятками, сотнями былинных текстов, понятны их искренние усилия исполнить социальный заказ народной власти и на древний былинный мотив воспеть мудрость и славу новых вождей. Но художественная несостоятельность этого творчества объясняется, как мне думается, не только несоответствием национально-патриотического пафоса эпических форм злободневному содержанию современности и правде о реальном положении человека в государстве, сколько, может быть, намерением использовать эпические жанры народной поэзии как некое прикрытие истинного порядка вещей в государстве. Эпический жанр для этих целей подходил как нельзя лучше: во-первых, сама грандиозность «постройки» и величавость «мотива»; во-вторых, и это, может быть, главное, эпическому жанру формально живой человек с его насущной заботой и конкретным реальным чувством и мыслью был не обязателен, как не нужен он был и утверждаемому на территории страны казарменному порядку, разве только в качестве слушателя, да и то хорошо организованного. Кроме того, бытование этих жанров могло поддаваться контролю и регламентации — через единоличных сказителей-интерпретаторов, тогда как другие устные жанры «скоморошьего» толка, например, анекдот, песня, частушка, сказка, желанному контролю со стороны администрации не подлежали. Поэтому народное творчество в этих малых, не поддающихся полному контролю и организации жанрах не подлежало и поощрению. Б. Шергин как сказитель, как артист, как даже профессиональный писатель (с 1934 года он состоял в Союзе писателей) был привержен именно этим малым формам устного народного творчества. Его творческое дыхание искало опоры не в отвлеченных, далеких от реальной жизни сюжетах, но в живом слове и настроении современного человека. И даже старая скоморошья сказка в его интерпретации обретала не только современный стилистический облик, но даже и злободневный смысл — ведь такой смысл возникает только там, где есть прямой повод читателю или слушателю сознательно соотнести вымысел с действительностью. Поэтому не так трудно и понять сейчас, почему творчество Шергина не пользовалось благосклонным официальным вниманием и тоненькие книжечки выходили очень редко мизерными тиражами: в 1930-м — сборник коротких сказок-анекдотов о забавных приключениях бойкого на язык и традиционно ловкого для скоморошьих историй героя — «Шиш Московский»; в 1936-м — «Архангельские новеллы», сборник новелл и сказок, бытовавших на Севере, преимущественно в городской среде; в 1939-м — «У песенных рек», сборник, в котором Шергин впервые в своей писательской практике представляет образцы современного народного словесного творчества, и творчество это носит преимущественно социальный, политический характер, таковы, например, «сказы о вождях».

Казалось бы, при том внимании к фольклору, к народному творчеству, к «сказителям из народа», многие из которых в этом же 1939 году были отмечены высокими правительственными наградами, могло бы быть по достоинству оценено и современное народное творчество, да и сам Шергин как равноправный участник этого творчества, однако именно живые «сказы о вождях» звучали странным диссонансом профессиональному славословию в адрес обожествляемых вождей, что эти народные «сказы» оказывались подчас на грани анекдота: «Сталин в Москве все равно что всемирная электрическая станция — во все концы мира свет подават».

В предисловии к этим «сказам» Шергин на первое место ставит именно наклонность «людей Севера», большей частью малограмотных, поэтически, художественно высказываться в обычной «разговорной речи-беседе» друг с другом. «Такой поэт и не подозревает,что он художник, художник слова. Ведь он стихотворений не пи-

шет, рассказов не печатает». Но этим-то сегодня и интересны «сказы о вождях». В этих наивных и простодушных характеристиках вождей очевидна прежде всего попытка человека на свой, народный лад и своими поэтическими средствами освоить существо современных, труднодоступных политических явлений, придать здравый и понятный образ так круто утверждаемому новому социальному порядку вещей, придать человеческий облик своим вождям, своей власти, которая объявлена народной, которую сам народ и утвердил. Возможно, простодушный человек, склонный к поэтическому объяснению мира и взволнованный проснувшейся в сердце жаждой личного участия в устройстве новой — справедливой — жизни, делает все это не на основе знаний и правдивой информации, а на уровне религиозного пафоса, чистой веры, а лучше сказать — доверия. Как иначе понять порывы «маленького человека», душу которого озарила великая гуманистическая идея о братстве, равенстве и справедливости? Он готов отдать на это святое дело свою жизнь, хотя очень смутно представляет, что из этой идеи будет на практике завтра. Но разве это не прямая обязанность вождей, которым он доверился?

И разве он, этот доверчивый и наивный человек, виноват в том, что его опять обманули в святом чувстве?

Кроме того, разве простодушная человечность «сказов» не ставит вне нормальной жизни, вне здравого смысла бесчеловечность негласно утверждавшегося всеобщего страха, подозрительности, раболепия?

«Как писал много о «божественностях», — замечает Шергин в дневнике,— а пришло гоненье, и все смело страхом, ни с чем остался, надолго убит, напуган». И тут же он пытается понять и объяснить это свое душевное состояние, находя по обычаю всю причину в себе: «Значит, те радованья самообольщением были, восхищение недарованного, хмелем. А пришел страх, хмел-от и вылетел у рабьей души, у заячьего сердца...»

И в другой раз запишет: «При тени страха готов я от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко...»

Как тяжело давалось Шергину всякое неискреннее слово, которое «век сей» страхом и гоненьями выдавливал из инакочувствующих!..

Но и по-другому можно взглянуть на это время: за что бы и укорять себя было Шергину и всем безымянным творцам «сказов» во славу своих вождей, если бы вожди эти не забывали об ответственности перед жизнью, если бы не обманывали народ, вслух клянясь в одном, а творя другое?

5

Признание к Шергину пришло с книгой «Океан — море русское», вышедшей в 1957 году в издательстве «Молодая гвардия». Появление и высокие оценки этой книги не случайно совпали с известными переменами в общественных настроениях, в обращении литературы и всего искусства к народным, национальным началам в культуре, да и вообще к человеку, который с таким трудом освобождался от сковывающих сознание стереотипов времен культа личности. В такие исторические моменты человеку всегда оказывается необходимым вспомнить о своих родительских, отеческих корнях, о своей Родине и в этом зеркале исторической памяти посмотреть на себя самого, или, как говорит русская пословица, «отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим». И вот книга Шергина пришлась к такому часу.

Ничего как будто нового — по сравнению с предыдущими — не содержала эта книга, только вот издана была более грамотно, с большим издательским профессионализмом, но сразу стало очевидно всем значение этого необыкновенного — в современной литературе — творчества. Во всяком случае, обычные с тех пор характерис-

тики Шергина как «волшебника русской речи», «замечательного советского писателя», «писателя самобытнейшего, ни на кого не похожего» и даже так — «истинного классика русской литературы», ни один самый строгий критик, а их у нас очень много, даже и не пытался поставить под сомнение. И в таких определениях на самом деле нет никакой натяжки, никакого лукавого снисхождения, либо тех преувеличений, на которые мы иногда ради литературной игры соглашаемся. Тем не менее всякий раз, как дело доходит до необходимости подтвердить самобытность и несравненность Шергина, о нем самом мы очень скоро забываем, сводим разговор к достоинствам и самобытности той жизни и тех людей, о которых пишет Шергин, и его личное участие оказывается как бы и второстепенным — ведь он «записывает» только то, что ему рассказывают другие, воспроизводит словом только то, чему оказывался свидетелем, а такое авторство так не похоже на привычное нам беллетристическое творчество, в котором преобладают воображение и фантазия писателей. Но тем не менее предмет, о котором говорит Шергин, на самом деле необыкновенен: это Русский Север с богатством своих древних художественных, нравственных и житийных традиций, это самобытный характер помора, освоившего и обжившего берега Студеного моря, это, наконец, природа Севера, неяркая, тихая под жемчужным светом широкого неба, но и суровая, строгая к человеку, и эта строгость побуждает человека всегда искать с ней согласия. Такое согласие человек нашел, закрепил его в письменной и устной памяти, и вот нам удивительно, сколько тут мудрости, поэзии, любви к нам, наследникам, и заботы о нас!..

Все это так, говорим мы, но это же не Шергин придумал?.. Вот этот наш вопрос, это глубоко где-то таящееся недоумение выдает в нас приверженность, привычку к искусству иного нравственного — по отношению к человеку — порядка, к искусству, которое адресуется к нам как потребителям «зрелищ», которое как бы заранее предполагает определенное состояние наших чувств и ума, за которое оно, это искусство, ответственности не несет, как, допустим, не несет ответственности фабрика головных уборов за размеры наших голов. Глубоко не вникая в эти свои потребительские взаимоотношения со ставшим привычным нам искусством, мы тем не менее почувствовали в книгах Шергина что-то совершенно иное, очень близкое всему строю своей души, тем созидательным, жизнестроительным порывам, которые еще живут в каждом из нас, несмотря ни на что, но живут как-то очень уж угнетенно, неприкаянно, бессмысленно — а тут вдруг точно двери распахнулись в мир духовно иной жизни, в которой человек живет свободно и прямо, и дела его прекрасны, слова точны и ясны, чувства искренни, даже если это и гнев, и досада, помыслы благородны. И так человек живет не в минуты праздника или какого-то героического подвига, и не как-нибудь отдельно и в тайном уединении, но повседневно, обыкновенно и открыто — вот что самое удивительное! И так он живет потому, что дело его, труд его — радостное творчество, а не подневольная бесконечная работа, и цель этого творчества одна-единственная — жизнь и человек в этой жизни. И вот такой творческий труд — это не удел одних государей-кормщиков или художников-корабелов. Кого ни возьми у Шергина — матерей ли, стариков или старух, или даже детей в таких прекрасных рассказах, как «Рождение корабля» или «Миша Ласкин», — для всех них свой труд и общение друг с другом — это радостное, творческое строительство жизни, основанной на «любви без хитрости». Как же такому не удивляться?

То, что мы разумеем под фольклором, что собирают филологические экспедиции для своих научных занятий, все то, что составляет отдельные виды народного поэтического творчества — былины и сказки, архитектура и живопись, ритуальные или бытовые обряды,— все это, взятое по отдельности, оторванное от естественной среды обитания, от всего житийного круга и взаимосвязей, не может дать полного, цельного и живого представления о народном искусстве, о том, как

оно — словом, образом, примером — действует на человека, как воспитывает и образовывает его чувства, его мысли как раз в этой повседневной, обыкновенной, обиходной жизни. И вот творчество Шергина в своем совокупном виде дает нам живую картину именно подлинной народной жизни, которая пронизана и освещена жизнетворчеством человека, его жизнесозидательным настроением. И нельзя не видеть, какое важнейшее место в этом жизнестроительстве, имеющем многовековой опыт, занимает искусство, ставшее естественным условием всего житийного уклада людей, общества, сословья. И это искусство для человека свое во всех смыслах и значениях, он живет в нем, и человек может доверяться ему без всякой опаски и оглядки.

Конечно, и здесь ничего не делается само собой, на уровне «нравится — не нравится», «хочу — не хочу». В своих правах на душу человека народное искусство опирается на знание того, что в душе каждого из нас много всего посеяно — и добрых семян и недобрых, благих пристрастий и разрушительных, но в том, какому семени прорасти, ответственно — наряду с самим человеком — и оно, искусство. И эту ответственность оно возлагает на себя с первого слова, какое человеку, явившемуся на этот свет, предназначено услышать, с самого первого образа, какой запечатлеется в его сердце...

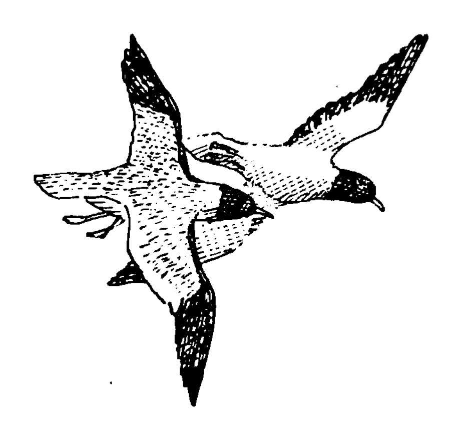
Борис Викторович Шергин исполнил завет, полученный еще в юности: предания и сказания Русского Севера попали в «писания» и сделались уже нашим неотымаемым достоянием. Мы теперь говорим об этом как о само собой разумеющемся факте, а ведь «писания» эти — та случайность, которую можно отнести только разве к высшему божескому провидению: страшно даже думать, что нас связывает с не имеющим цены национальным культурным достоянием тончайшая ниточка судьбы одного человека! И через какое страшное время в истории Отечества пролегла эта судьба...

За эти последние годы после смерти Шергина (1973 г.) книг его в разных издательствах страны вышло больше чем за всю его жизнь. Но гораздо важнее, может быть, что мы все глубже осознаем значение оставленного нам духовного наследства, этого Отеческого знанья, потребность в котором, нелишняя всегда, сегодня оказывается спасительной необходимостью для человека — только так он может вернуть себе и своей жизни утраченное достоинство.

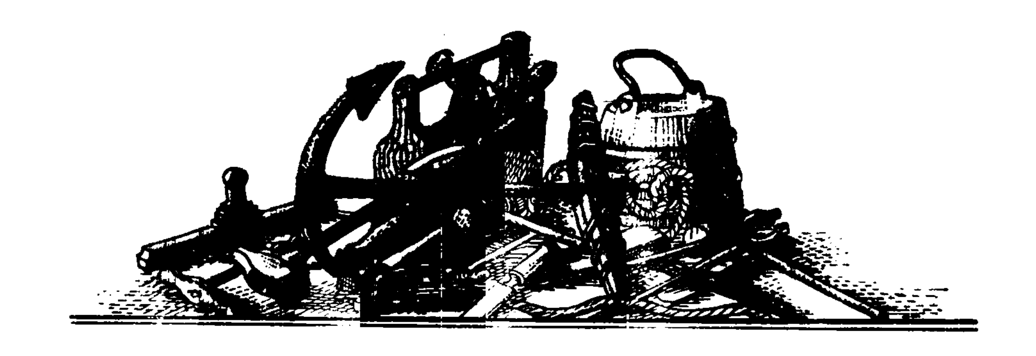
Юрий ГАЛКИН



ОТЦОВО ЗНАНЬЕ




Одномачтовый карбас
Двухмачтовый карбас
Ладья
Бригантина
Облас
Двухмачтовая ёла



ДВИНСКАЯ ЗЕМЛЯ

Родную мою страну обходит с полуночи великое Студеное море.

В море до́лги и широки пути, и высоко под звездами ходит и не может стоять. Упадут на него ветры, как руки на страну, убелится море волнами, что снег.

Гремят голоса, как голоса многих труб,— голоса моря, поющие ужасно и сладко. А пошумев, замкнет свои тысячеголосые уста и глаже стекла изравнится.

Глубина океана — стра́шна, неме́рна, а будет столь светла, ажно и рыбы ходящие видно.

Полуночная наша страна широ́ка и ди́вна. С востока приверженa морю Печора, с запада земли Кемь и Лопь, там реки рождают золотой жемчуг.

Ветер стонет, а вам — не печаль.

Вихри ревут, а вам — не забота. И не страх вам туманов белые саваны... Спокойно вам, дети постановных * матерых берегов; беспечально вы ходите плотными дорогами.

А в нашей стране — вода начало, и вода конец.

Воды рождают, и воды погребают.

Море поит и кормит... А с морем кто свестен **? Не по земле ходим, но по глубине морской. И обща судьба всем.

Ростят себе отец с матерью сына — при жизни на потеху, при старости на замену, а сверстные принимаем его в совет и дружбу, живем с ним дума в думу.

А придет пора, и он в море путь себе замыслит велик.

...Парус отво́рят, якорь подымут, сходенки снимут... Только беленький платочек долго машется.

И дни побегут за днями, месяцы за месяцами. Прокатится красное лето, отойдут промысла. У людей суда одно по одному домой воротятся, а о желанном кораблике и слуха нет, и не знаем, где промышляет.

Встанет мрачная осень. Она никогда без бед не проходит. Ударит на море

* Постано́вный — степенный.
** Све́стен — имеет вести, знает.

погода, и морская пучина ревет и грозит, зовет и рыдает. Начнет море кораблем, как мячом, играть, а в корабле друг наш, ма́терина жизнь...

О, какая тьма нападет на них, тьма бе́здонная!

О, коль тяжко и горько, печали и тоски несказанной исполнено человеку водою конец принимать! Тот час многостонен и безутешен, там — увы, увы! — вопиют, и нет помогающего...

Придет зима и уйдет. Разольются вешние воды. А друга нашего все нету да нету. И не знаем, быть ему или не быть.

Мать — та мрет душою и телом, и мы глаз не сводим с морской широты.

А потом придет весть страшна и грозна:

— Одна бортовина с другою не осталась... А сына вашего, а вашего друга вода взяла.

Заплачет тут вся родня.

И бабы выйдут к морю и запоют, к камням припадаючи, к Студеному морю причитаючи:

Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Ты был как кораблик белопарусной.
Как чаечка был белокрылая!
Как елиночка кудрявая.
Как вербочка весенняя!
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Белопарусной кораблик ушел за море,
Улетела чаица за синее.
И елиночка лежит порублена,
Весенняя вербушечка посечена.
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!

От Студеного океана на полдень развеличилось Белое море, наш светлый Гандвик. В Белое море пала Архангельская Двина. Широка и державна, тихославная та река плывет с юга на полночь и под архангельской горой встречается с морем. Тут островами обильно: пески лежат, и леса стоят. Где берег возвыше, там люди наставились хоромами. А кругом вода. Куда сдумал ехать, везде лодку, а то и кораблик надо.

В летнюю пору, когда солнце светит в полночь и в полдень, жить у моря светло и любо. На островах расцветают прекрасные цветы, веет тонкий и душистый ветерок, и как бы дымок серебристый реет над травами и лугами.

Приедем из города в карбасе. Кругом шиповник цветет, благоухает. Надышаться, наглядеться не можем. У воды на белых песках чайки ребят петь учат, а взводеньком выполаскивает на песок раковицы-разиньки. Летят от цветка к цветку медуницы, мотыльки. Осенью на островах малина и смородина, а где мох, там обилие ягод красных и синих. Морошку, бруснику, голубель, чернику собираем натодельными * грабельками: руками — дол-

* Натоде́льный — для того сделанный; специально сделанный, приспособленный или предназначенный.

го,— и корзинами носим в карбаса. Ягод столько — не упомнишь земли под собой. От ягод тундры как коврами кумачными покрыты.

Где лес, тут и комар! — в две руки не отмашешься.

Обильно всем наше двинское понизовье. На приглубистых, рыбных местах уточка плавает, гагара ревет, гусей, лебедей — как пены.

Холмогорский скот идет от деревень, мычит — как серебряные трубы трубят. И над водами и над островами хрустальное небо, беззакатное солнце!

Мимо деревень беспрестанно идут корабли: к морю одни, к городу другие. И к солнцу парусами — как лебедь.

Обильна Двинская страна! Богата рыбой и зверем, и скотом, и лесом умножена.

В летние месяцы, как время придет на полночь, солнце сядет на море, точно утка, а не закатится, только снимет с себя венец, и небо загорится жемчужными облаками. И вся красота отобразится в водах.

Тогда ветры перестанут и вода задумается. Настанет в море великая тишина. А солнце, смежив на минуту глаза, снова пойдет своим путем, которым ходит беспрестанно, без перемены.

Этого светлого летнего времени любим и хотим, как праздника ждем. С конца апреля и лампы не надо. В солнечные ночи и спим мало. Говорим: «Умрем, дак выспимся». «Изо сна не шубу шить».

С августа белые ночи меркнут. Вечерами сидим с огнем.

От месяца сентября возьмутся с моря озябные ветры. Ходит дождь утром и вечером. В эти дни летят над городом, над островами гуси и лебеди, гагары и утки, всякая птица. Летят в полуденные края, где нет зимы, но всегда лето.

Тут охотники не спят и не едят. Отец, бывало, лодку птицы битой домой приплавит. Нищим птицей подавали.

По мелким островам и песчаным кошкам, что подле моря, набегают туманы. Белая мара * морская стоит с ночи до полудня. Около тебя только по конец ружья видно; но в городе, за островами, туманов не живет.

Тогда звери находят норы, и рыба идет по тихим губам **.

Холодные ветры приходят из силы в силу. Не то что в море, а на реке на Двине такой разгуляется взводень, что карбаса с людьми пружит-опрокидывает, и суда морские у пристаней с якоря рвет.

Помню, на моих было глазах, такая у города погодушка расходилась, ажно пристани деревянные по островам разбросало и лесу от заводов многие тысячи бревен в море унесло.

Дальше заведется ветер-полуночник, он дождь переменит на снег. Так постоит немного, да пойдет снег велик и будет сеяться день и ночь. Если сразу приморозит, то и реки станут, и саням — путь. А упал снег на талую землю, тогда распута протяжная, по рекам тонколедица, между городом и деревнями сообщения нету. Только вести ходят, что там люди на льду обломились, а в другом месте коней обронили. То же и по вешнему льду коней роняют.

Так и зима придет. К ноябрю дни станут кратки и мрачны. Кто поздно встает — и дня не видит. В школах только на часок лампы гасят. В училище,

---

* Мара (отсюда — марево) — мираж, густой туман.

** Губа́, губи́ца — большой залив, в который впадает более или менее крупная река. Губа носит название той реки, устье которой выходит в губу.

бывало, утром бежишь — фонари на улицах горят, и домой в третьем часу дня ползешь — фонари зажигают.

В декабре крепко ударят морозы. Любили мы это время — декабрь, январь — время резвое и гульливое. Воздух — как хрусталь. В полдень займется в синеве небесной пылающая золотом, и розами, и изумрудами заря. И день простоит часа два. Дома, заборы, деревья в прозрачной синеве, как сахарные,— заиндевели, закуржёвели. Дух захватывает мороз-то. Дрова колоть ловко. Только тюкнешь топором — береги ноги: чурки, как сахар, летят.

На ночь звезды, что свечи, загорят. Большая Медведица — во все небо.

Слушайте, какое диво расскажу.

В замороз к полночи начнет в синем бархате небесном пояском серебряным продергивать с запада до востока, а с севера заподымается как бы утренняя заря. И вдруг все погаснет. Опять из-за моря протянутся пальцы долги без меры и заходят по небу. Да заря займется ужасная, как бы пожарная. И опять все потухнет, и звезды видать... Сиянье же обновится. Временем встанет как стена, по сторонам столбы, и столбы начнут падать, а стена поклонится. А то будто голубая река протечет, постоит да свернется, как свиток.

Бывало, спишь — услышишь собачий вой, откроешь глаза — по полу, по стенам бегают светлые тени. А за окнами небо и снег переливают несказанными огнями.

Мама или отец будили нас, маленьких, яркие-то сполохи-сияния смотреть. Обидимся, если проспим, а соседские ребята хвалятся, что видели.

У зимы ноги долги, а и зиме приходит извод. В начале февраля еще морозы трещат, звенят. В марте на солнышке пригреет, сосули с крыш. В апреле обвеют двинское понизовье верховые теплые ветры. Загремят ручьи, опадут снега, ополнятся реки водою. Наступят большие воды — разливная весна.

В которые годы вешнее тепло вдруг, тогда Двина и младшие реки разом оживут и располонятся ото льда. Мимо города идет лед стенами-торосами.

Великое дело у нас ледоход. Иной год после суровой зимы долго ждем не дождемся. Вскроется река, и жизнь закипит. Пароходы придут заграничные и от Вологды. Весело будет... Горожане — чуть свободно — на угор*, на берег идут. Двина лежит еще скована, но лед посинел, вода проступила всюду... В школе — чуть перемена — сразу летим лед караулить. По дворам лодки заготовляют, конопатят, смолят. И вот топот по всему городу. Народ табунами на берег валит. Значит, река пошла. Гулянья по берегам откроются. Не до ученья, не до работы. На городовых башнях все время выкидывают разноцветные флаги и шары; по ним горожане, как по книге, читают, каким устьем лед в море идет, где затор, где затопило.

Пригород Соломбала на низменных островах стоит, и редкий год их не топит. Улицы ямами вывертит, печи размокнут в низких домах. В городе как услышат — из пушек палят, так и знают, что Соломбала поплыла. Соломбальцы и в ус не дуют, у них гулянье, гостьба откроется, ездят по улицам с гармонями, с песнями, с самоварами. А прежде — вечерами, с цветными фонарями и в масках.

Лед идет в море торосами, стенами. Между островов у моря льду горами наворотит, все льдом заложит, не видно деревень; на заводах снимает лес

---

* Угор (от слова «гора») — возвышенный, гористый берег, не затопляемая приливом часть берега.

со штабелей. То одно, то другое устье запрет. Двине вздохнуть не́как, выходу нет, она острова и топит. На этот случай дома в островных деревнях строили на высоких подклетях, крыльца и окна очень высоки. Около крайних домов бывали «обрубы»— бревенчатые городки: обороняют от больших весенних льдин.

Зимою наткут бабы полотен и белят на стлищах вокруг деревень. Как река шевелится, не спят в ту ночь: моты, портна хватают. А проспят — все илом, песком занесет, а то и в море утянет.

Конец апреля льдина уйдет, а вода желтее теста, мутновата, потом и мутница и пенница сойдет, и река спадет, лето пойдет. Выглянет травка из-под отавы. В половине мая листок на березе с двугривенный. После первого грома ребята, бывало, ходят в лес, мастерят рябиновые флейты. По всему городу будет эта музыка. Велико еще весной удовольствие, когда Обводный канал, со всеми канавами, разольется. По улицам хоть в лодке поезжай. Тут ребята бродятся, один перед другим хвастают: у кого кораблик краше и лучше; пускают кораблики по бегучим каналам.

А летом везде дороги торны. От воды, от реки не отходим. Малыши в песке, в камешках, в раковинках разбираются, на отмелях полощутся, ребята постарше в лодках, карбасах меж кораблями, пристанями, меж островами живут.

Вода в море и в реках не стоит без перемены, но живет в сутках две воды — большая и малая, или полая и кроткая. Эти две воды — дыханье моря. Человек дышит скоро и часто, а море велико: пока раз вздохнет, много часов пройдет. И когда начнет подниматься грудь морская, наполняя реки, мы говорим: «Вода прибывает». И подымается лоно морское до заката солнечного. А наполнив реки, море как бы отдыхает; мы скаже́м: «Вода задумалась». И, постояв, вода дрогнет и начнет кротеть, пойдет на убыль. Над водами прошумит слышно. Мы говорим: «Море вздохнуло».

Когда полая вода идет на малую, от встречи ходит волна «сувой *».

С полдня много дорог пришло в полуночный и светлый Архангельский город. Тем плотным дорогам у нашего города конец приходит, полагается начало морским беспредельным путям.

Город мой, родина моя, ты дверь, ты ворота в неведомые полярные страны. В Архангельск съезжаются, в Архангельске снаряжаются ученые испытывать и узнавать глубины и дали Северного океана. От архангельских пристаней беспрестанно отплывают корабли во все стороны света. На запад — в Норвегию, Швецию, Данию, Германию, Англию и Америку, на север — к Новой Земле, на Шпицберген, на Землю Иосифа. В наши дни народная власть распахнула ворота и на восток, указала Великий Северный путь. Власть Советов оснастила корабли на столь дальние плавания, о которых раньше только думали да гадали. Власть Советов пытливым оком посмотрела и твердой ногой ступила на такие берега, и земли, и острова, куда прежде чаица не залетывала, палтус-рыба не захаживала.

Люблю про тех сказывать, кто с морем в любви и совете.

С малых лет повадимся по пароходам и оступиться не можем, кого море полюбит.

А не залюбит море, бьет человека да укачивает, тому не с жизнью же расстаться. Не все в одно льяло ** льются, не все моряки. Людно народу на

---

* Сувóй, или толкунцы́ — беспорядочное волнение при встрече противоположных течений, при встрече ветра и течения.

** Лья́ло — приспособление для литья пуль. (*Прим. авт.*)

лесопильных заводах работает, в доках, в мастерских, на судоремонтных заводах, в конторах пароходских. В наши дни Архангельск первый город Северной области. Дел не переделать, работ не переработать. Всем хватит.

Улицы в Архангельском городе широки, долги и прямы. На берегу и у торгового звена много каменного строенья, а по улицам и по концам город весь бревенчатый. У нас не любят жить в камне. В сосновом доме воздух легкий и вольный. Строят в два этажа, с вышками, в три, в пять, в семь, в девять окон по фасаду. Дома еще недавно пестро расписывали красками — зеленью, ультрамарином, белилами.

Многие улицы вымощены бревнами, а возле домов обегают по всему городу из конца в конец тесовые широкие мостки для пешей ходьбы. По этим мосточкам век бы бегал. Старым ногам спокойно, молодым — весело и резво. Шаг по асфальту и камню отдается в нашем теле, а ступанье по доскам расходится по дереву, оттого никогда не устают ноги по деревянным нашим мосточкам.

Середи города над водами еще недавно стояли угрюмые башни древних гостиных дворов, немецкого и русского. Сюда встарь выгружали заморские гости — купцы — свои товары. Потом здесь была портовая таможня. Отсюда к морю берег густо зарос шиповником; когда он цветет, на набережных пахнет розами. Набережные покрыты кудрявой зеленью. Тут березы шумят, тут цветы и травы сажены узорами.

Город прибавляют ко мхам. Кто в Архангельске вздумает построиться, тому приходится выбирать место на мхах — к тундре. Он лишнюю воду канавами отведет и начнет возить на участок щепу, опилки, кирпич, песок и всякий хлам — подымает низменное то место. Потом набьет свай да и выстроится. Где вчера болото лежало на радость скакухам-лягухам болотным, нынче тут дом стоит, как город. Но, пока постройкой грунта не огнéло * да мимо тяжелый воз по бревенчатому настилу идет, дом-то и качнет не раз легонько. Только изъянов не бывает. Бревна на стройку берут толсты, долги, и плотники — первый сорт. Дом построят — как колечко сольют; однако слаба почва только на мхах, а у старого города, к реке, грунт тверд и постановен.

Строительный обычай в Архангельске: при закладке дома сначала утверждали окладное бревно. В этот день пиво варили и пироги пекли, пировали вместе с плотниками. Называется: «окладно».

Когда стену срубят до крыши и положат потолочные балки, матицы, опять плотникам угощанье: «матешно». И третье празднуют — «мурлаты», когда стропила под крышу выгородят. А крышу тесом закроют да сверху князевое бревно утвердят, опять пирогами и домашним пивом плотников чествуют, называется «князевó».

А в домах у нас тепло!

Хотя на дворе ветер, или туман, или дождь, или снег, или палящий мороз — дома все красное лето! Всю зиму по комнатам в легкой рубашке и в одних чулках ходили. Полы белы и чисты. Приди хоть в кухню да пол глаженым носовым платком продерни — платка чистого не замараешь.

По горенкам, по сеням, по кладовкам, по лестницам, по крыльцам, и полы, и стены, и потолки постоянно моют и шоркают.

У печи составы: основание печное называется «нога»; правое плечо печ-

---

* О г н é л о (от слова «гнет») — придавило, прижало.

ное —«печной столб», левое плечо —«кошачий городок». С лица у печки — «чело», и «устье», и «подпечек», с боков «печурки» выведены теремками. А весь «город» печной называется «тур».

«Архангельский город всему морю ворот». Архангельск стоит на высоком наволоке*, смотрит лицом на морские острова. Двина под городом широка и глубока — океанские трехтрубные пароходы ходят взад и вперед, поворачиваются и причаливают к пристаням без всякой кручины.

С восточной стороны легли до города великие мхи. Там у города речки Юрос, Уйма, Курья, Кузнечиха.

В подосень, да и во всякое время, у города парусных судов и пароходов не сосчитать. Одни к пристани идут, другие стоят, якоря бросив на фарватере, третьи, отворив паруса, побежали на широкое студеное раздолье. У рынков, у торговых пристаней рядами покачиваются шхуны с рыбой. Безостановочно снуют между городом и деревнями пассажирские пароходики. Степенно, на парусах или на веслах, летят острогрудые двинские карбаса́.

Кроме «Расписания» и печатных лоций, у каждого мореходца есть записная книжка, где он делает отметки о времени поворота курса, об опасных мелях, об изменениях фарватера в устьях рек.

Непременно на каждом корабле есть компас —«матка».

Смело глядит в глаза всякой опасности и поморская женщина.

Помор Люлин привел в Архангельск осенью два больших океанских корабля с товарами. Корабли надо было срочно разгрузить и отвести в другой порт Белого моря до начала зимы. Но Люлина задержали в Архангельске неотложные дела. Сам вести суда он не мог. Из других капитанов никто не брался, время было позднее, и все были очень заняты. Тогда Люлин вызывает из деревни телеграммой свою сестру, ведет ее на корабль, знакомит с многочисленной младшей командой и объявляет команде: «Федосья Ивановна, моя сестрица, поведет корабли в море заместо меня. Повинуйтесь ей честно и грозно...»— сказал да и удрал с корабля.

— Всю ночь я не спал,— рассказывает Люлин.— Сижу в «Золотом якоре» да гляжу, как снег в грязь валит. Горюю, что застрял с судами в Архангельске, как *мышь в подполье*. Тужу, что забоится сестренка: время штормовое. Утром вылез из гостиницы и крадусь к гавани. Думаю, стоят мои корабли у пристани, как приколочены. И вижу — пусто! Ушли корабли! Увела! Через двои сутки телеграмма: «Поставила суда в Порт-Кереть на зимовку. Ожидаю дальнейших распоряжений. Федосья».

В характере поморов и поморок — независимость, свободное обращение со всяким начальством.

В конце прошлого века, путешествуя по Северу, брат Александра III Сергей Александрович посетил столицу Поморья — Сумский Посад. Дело было летом, мужики на мурманских промыслах, дома одни женщины. Тем не менее «населению» приказано было выйти приветствовать высокого гостя «в праздничных костюмах». Обрядившись в старинные шелка, жемчуга, парчу, три-четыре сотни поморок выстроились у пристани. Великий князь сошел с парохода, расставил ноги на суконном помосте и гаркнул, закручивая ус:

— Здар-р-рова, ба-а-бы!!!

Среди поморок произошло смятение:

— Сам ты баба! Бабами сваи бьют! Подемте, женки, домой! Какой это князь, слова вежливо не умеет оболванить.

---

* Н а́ в о л о к — возвышенный мыс.

Заворотились и уплыли, степенно шурша сарафанами.

Архангельское мореходство и судостроение похваляет и северная былина:

...А и все на пиру пьяны-веселы,
А и все на пиру стали хвастати.
Толстобрюхие бояре родом-племенем,
Кособрюхие дьяки большой грамотой,
Корабельщики хвалились дальним плаваньем.
Промысловщики-поморы добрым мастерством:
Что во матушке, во тихой во Двинской губе,
Во богатой, во широкой Низовской земле
Низовщане-ти, устьяне * промысловые
Мастерят-снастят суда — лóдьи торговые,
Нагружают их товарами меновными
(А которые товары в Датской надобны),
Отпускают же лодьи-те за синё море,
Во широкое, студеное раздольице.

Вспомнил я былину — и как живой встает перед глазами старый мореходец Пафнутий Анкудинов.

«Всякий спляшет, да не как скоморох **». Всякий поморец умел слово сказать, да не так красно, как Пафнутий Осипович.

Весной, бывало, побежим с дедом Пафнутием в море. Во все стороны развеличилось Белое море, пресветлый наш Гандвик.

Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет время наряду и час красоте. Запоет наш штурман былину:

Высоко-высоко небо синее,
Широко-широко океан-море,
А мхи-болота — и конца не знай
От нашей Двины, от архангельской...

Кончит былину богатырскую — запоет скоморошину. Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают — как мед пьют. Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду на полатях запою — под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут — мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори... Вечером народ соберется, я сказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит — ночи прихватим... Дале один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори...»

Рассказы свои Пафнутий Осипович начинал прибауткой: «С вóрона не спою, а с чижа споется». И закончит: «Некому петь, что не курам, некому говорить, что не нам».

Я охоч был слушать Пафнутия Осиповича, и складное, красовитое его слово нескладно потом пересказывал.

---

* Устья́не — жители речного устья.

** Скоморох — бродячий актер в Древней Руси.

ДЕТСТВО В АРХАНГЕЛЬСКЕ

Мама была родом из Со́ломбалы. У деда Ивана Михайловича шили паруса на корабельные верфи. В мастерскую захаживали моряки. Здесь увидал молоденькую Анну Ивановну бравый мурманский штурман, будущий мой отец. Поговорить, даже познакомиться было не́как. Молоденькая Ивановна не любила ни в гости, ни на гулянья. В будни посиживала за работой, в праздники — с толстой поморской книгой у того же окна.

Насколько Аннушка была домоседлива и скромна, настолько замужняя ее сестра — модница и любительница ходить по гостям. Возвратясь однажды с вечера, рассказывает:

— Лансье сегодня танцевала с некоторым мурманским штурманом. Борода русая, круговая, волосы на прямой пробор. Такой щеголь...

— Машка, ты это к чему?

— К тому, что он каждое слово Анной Ивановной закроет...

— Я вот скажу отцу, посадит он тебя парусину дратвой штопать... В другой раз не придешь ко мне с такими разговорами.

Вскорости деда навестил знакомый капитан, зашел проститься к дочери хозяина и подал ей конверт.

— Дозвольте по секрету, Анна Ивановна: изображенное в конверте лицо, приятель мой, мурманский штурман, уходит на днях в опасное плавание и...

Молоденькая Ивановна вспыхнула и бросила конверт на пол.

— Никакими секретами, никакими конвертами не интересуюсь...

Капитан сконфузился и убежал. Разгневанная Ивановна швырнула было пакет ему вслед, потом вынула фотографию, поставила перед собою на стол и до вечера смотрела и шила, смотрела и думала.

Прошло лето, кончилась навигация. По случаю праздничного дня дедушка с дочкой сидели за чтением. В палисаднике под окном скрипнула калитка, кто-то вошел.

Молоденькая Ивановна взглянула, да и замерла. И вошедший — тот самый мурманский штурман — приподнял фуражку и очей с девицы не сводит...

Но и дед не слепой, приоткрыл раму:

— Что ходите тут?

— Малину беру...

А уж о Покрове... Снег идет.

Старик к дочери:

— Аннушка, что плачешь?

— Ох, зачем я посмотрела!..

— Аннушка, люди-то говорят — ты надобна ему...

Вот дед с мурманским штурманом домами познакомились. Штурман стал с визитами ходить. Однажды застал Анну Ивановну одну. Поглядели «лица»— миньятюры «Винограда российского», писанного некогда в Выгореции... Помолчали; гость вздохнул:

— Вы все с книгой, Анна Ивановна... Вероятно, замуж не собираетесь?..

— Ни за царя, ни за князя не пойду!

Гость упавшим голосом:

— Аннушка, а за меня пошла бы?

Она шепотом:

— За тебя нельзя отказаться...

В Архангельском городе было у отца домишко подле Немецкой слободы, близко реки.

Комнатки в доме были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. С потолков птички растопорщились деревянные — отцово же мастерство.

Первые года замужества мама от отца не отставала, с ним в море ходила, потом хозяйство стало дома задерживать и дети.

У нас в Архангельске до году ребят на карточку не снимали, даже срисовывать не давали, и пуще всего зеркала младенцу не показывали. Потому, верно, я себя до году и не помню. А годовалого меня увековечили. Такое чудышко толстоголовое в альбоме сидит, вроде гири на прилавке.

Я у матери на коленях любил засыпать. Она поет:

Баю, бай да люли!
Спи-ко, усни
Да большой вырастай,
На оленя гонец,
На тетеру стрелец...
. . . .
Бай, бай да люли!
. . . .
Ты на елке тетерку имай,
На озёрке гагарку стреляй,
Еще на море уточку,
На песочке лебедошку.

Мама на народе не пела песен, а дома или куда в лодке одна поедет — все поет.

Годов-то трех сыплю, бывало, по двору. Запнусь и ляпнусь в песок. Встану, осмотрюсь... Если кто видит, рев подыму на всю улицу: пусть знают, что человек страдает. А если нет никого, молча домой уберусь.

Отец у нас всю навигацию в море ходил. Радуемся, когда дома. Сестренка к отцу спрячется под пиджак, кричит:

— Вот, мамушка, у тебя и нету деушки, я ведь папина!

— Ну дак что, я тебе и платьев шить не буду.

— Я сама нашью, модных.

Сестрица шить любила. Ей дадут готовую рубашонку и нитку без узла. Она этой ниткой весь день шьет. Иногда ворот у рубашки наглухо зашьет.

Отец нам про море пел и говорил. Возьмет меня на руку, сестру на другую, ходит по горнице, поет:

Корабли у нас будут сосновы,
Нашосточки, лавочки еловы,
Веселышки яровые,
Гребцы — молодцы удалые.

Он поживет с нами немножко и в море сторопится.

Если на пароходе уходит, поведет меня в машинное отделение.

Я раз спросил:

— Папа, машина-то, она самородна?

Машины любил смотреть, только гулкого, громоносного свиста отправляющегося в океан парохода я, маленький, боялся, ревел. До свистка выгрузят меня подальше на берег. Я оттуда колпачком машу.

Осенью, когда в море наступят дни гнева и мрака, а об отце вестей долго нет, не знала мама покоя ни днем, ни ночью. Выбежит наутро, смотрит к северу, на ответ только чайки вопят к непогоде.

Вечером заповорачиваются на крыше флюгера, заплачет в трубе норд-вест. Мама охватит нас руками:

— Ох, деточки! Что на море-то делается... Папа у нас там!

Я утешаю:

— Мамушка, я, как выросту, дальше Соломбалы не пойду в море. А Соломбала — часть того же Архангельска, только на островах.

Не одна наша мама печалилась. При конце навигации сидят где-нибудь, хоть на именинах, жены и матери моряков. Чуть начнут рамы подрагивать от морского ветра, сразу эти гостьи поблекнут, перестанут ложечки побрякивать, стынут чашки.

Хозяйка ободряет:

— Полноте! Сама сейчас бегала флюгера смотреть. Поветерь дует вашим-то. Скорополучно домой ждите.

Зимой отец на берегу, у матери сердце на месте.

В листопад придут в город кемские поморы, покроют реку кораблями. Утром, не поспеет кошка умыться, к нам гости наехали.

Однажды ждали в гости почтенного капитана, у которого было прозвище Мошкарь. У нас все прозвища придумывают, в глаза никогда не назовут, а по-за глаз дразнят. Мама с отцом шутя и помянули: «Вот ужо Мошкарь приедет...» Гость приехал и мне игрушку подарил. Я с подарком у него в коленях бегаю, говорю:

— Я тебя люблю. Тебя можно всяко назвать. Можно дядей, можно дядюшкой. Можно Мошкарем, можно Мошкариком...

Ребячьим делом я не раз впросак попадался из-за этих несчастных прозвищ.

Годов пяти от роду видел я чью-то свадьбу. Меня угостили конфетами, и все это мне понравилось.

На нашей улице был дом богача Варгасова, которого за глаза прозывали Варгас. Я думал, это его имя. Вот на другой день после моей гостьбы вижу, он едет мимо на лошади. Я кричу из окна:

— Варгас, постой-ка, постой!

Он лошадь остановил, ждет, недоумевает...

Я выбежал за ворота.

— Варгас, вы, пожалуйста, вашу Еленку Варгасовну никому замуж не отдавайте. Я маму спрошу, сам Еленку-то приду сватать...

А Еленке Варгасовой год ли, полтора ли от роду еще...

Помоложе Варгасовны была у нас с сестрой симпатия, Ульяна Баженина. Ряд лет жили мы в деревне Уйме, где зимовали мурманские пароходы. Понравилось нам с сестрой нянчить соседскую дочку, шестимесячную Ульянку. Ульянкина зыбка висела на хорошей пружине. Мы дернем вниз да отпус-

тим, дернем вниз да отпустим. Ульянка рявкнет да вверх летит, рявкнет да вверх летит. Из люльки девка не выпадет, только вся девка вверх тормашками, где нога, где окутка, где пеленка... Няньки-то были, вишь, немножко постарше Ульянки.

Весной по деревне проходили странники. А взрослых часто нет дома. Соберется нас, малышей, в большой Ульянкиной избе много, посидим и испугаемся, что странники придут нас есть. Вот и выставим к двери лопаты да ухваты странников убивать. А чуть привидится что черное, летим кто под лавку, кто в подпечек, кто в пустой ушат. Сестренка дольше всех суетится:

— Я маленька, меня скоро съедят буки-ти.

По Уйме-реке лес. Там орды боялись. Слыхали, что охотники орду находят, а какая она, не видали.

Ягоды поспеют, отправимся в лес по морошку. Людно малых идет. Вдали увидим пень, сажени полторы, как мужик в тулупе:

— Ребята! Эвон-де орда-та!

Испугаемся, домой полетим. А орда* вся-та с фунт, вся-та с векшу, пестрая. Орда не покажется людям, только собаки находят.

Конец зимы уемляне все у корабельного, у пароходного ремонта. Мелкие с утра одни дома. Мы в Ульянкиной избе все и гостим, куча ребят трех-шести лет. Что у старших видели, то и мы: песни поем, свадьбы рядим — смотренье, рукобитье, пониманье. Девчонки у матерей с кринок наснимают, ходят, кланяются, угощают,— честь честью, как на свадьбе, а на дворе пост великий... И тут увидит из соседей старик ли, старуха—с розгой к нам треплют... Ведь пост! Беда, если песни да скоромное!.. Мы опять кто куда — в подпечек, на полати, под крыльцо. Час-два там сидим.

Эти отдельные картинки раннего моего детства мне позже мама и тетка рассказывали. Ну, что попозже творилось, сам помню.

Ко всему, что глаз видит и ухо слышит, были у нас, у ребят, присказки да припевки. И к дождю, и к солнцу, и к ветру, и к снегу, и к зиме, и ко всякой ползучей букашке и летучей птице.

Вот, к примеру, в зимние вечера, перед ночлегом, летают над городом стаи ворон. Ребята и приправят кричать:

— У задней-то вороны пуля горит! Пуля горит!..

Мы уверены были, что именно эти наши слова производят среди ворон суматоху, так как ни одна не хочет лететь задней.

Я постарше стал, меня дома читать и писать учили.

Отец рисовать был мастер и написал мне азбуку, целую книжку.

В азбуке опять корабли и пароходы, и рыбы, и птицы — все разрисовано красками и золотом. К азбуке указочка была костяная резная. Грамоте больше учила мама. Букву А называла «аз», букву Б — «буки», В — «веди», Г — «глаголь», Д — «добро». Чтоб я скорее запомнил, шутя говорила, что начертанья А и Б похожи на жучков, буква В — будто таракан, Г — крюк.

Для памяти я и декламирую:

Аз, буки — букашки,
Веди — таракашки,
Глаголь — крючки,
Добро — ящички.

---

* Орда — небольшой зверек из редкого, уничтоженного сейчас, вида полосатой белки.

И другие стишки про буквы:

Ер (ъ), еры (ы) — упал с горы.
Ер, ять (ѣ) — некому поднять.
Ер, ю — сам встаю.
. . . .
А и Б сидели на трубе.
. . . .

Азбуку мне отец подарил к Новому году, поэтому в начале было написано стихами:

Поздравляю тебя, сын, с Новым годом!
Живи счастливо да учись.
Ученый водит,
Неученый следом ходит.
Рано, весело вставай —
Заря счастье кует.
Ходи право,
Гляди браво.
Кто помоложе,
С того ответ подороже.
Будь, сын, отца храбрее,
Матери добрее.
Живи с людьми дружно.
Дружно, не грузно.
А врозь — хоть брось!..

Отец, бывало, скажет:
— Выучишься, ума прибудет!
Я таким недовольным тоном:
— Куда с умом-то?
— А жизнь лучше будет.
Весной выученное за зиму бегали писать на гладком береговом песке.

В городе я поступил в школу, уже хорошо умея читать и писать.

Больше всего успевал я, учась, в языках, совсем не давалась математика; из-за нее не любил я школы, бился зиму, как муха в паутине. Жизнь была сама по себе, а наша школа сама по себе.

Город наш стоял у моря, а ни о Севере, ни о родном крае, ни о море никогда мы в школе не слыхали. А для меня это всегда было самое интересное.

С ребятами сидим на пристанях, встречаем, провожаем приходящие, уходящие суда да поем:

У папы лодку попросил,
Папа пальцем погрозил:
— Вот те лодка с веслами,
Мал гулять с матросами!..

Или еще:

Пойду на берег морской,
Сяду под кусточек,
Пароход идет с треской,
Подает свисточек.

Насколько казенная наука от меня отпрядывала, настолько в море все, что я видел и слышал, льнуло ко мне, как смола к доске.

РОЖДЕНИЕ КОРАБЛЯ

Знаменитые скандинавские кораблестроители прошлого века — Хейнц Шифмейстер и Оле Альвик, рассмотрев и сравнив кораблестроение разных морей, много дивились искусству архангельских мастеров.

— Виват Ершов, Загуляев энд Курочкин, мастерс оф Соломбуль. Равных негде взять и не сыскать, и во всей России нет *.

Вот какую себе наши плотники доспели честь, своей северной родине славу. А строили, бывало, без чертежей, без планов, единственно руководствуясь врожденным архитектурным чутьем и навыком.

Но и в нашем Поморье не каждая деревня рождает славных мастеров. Как солнце и месяц перед звездами, гордятся у нас перед другими деревнями Подужемье и Сума, Кемь и Уна, Лодьма и Емецк, и Соломбала.

Если у мастера рука легкая и он строит корабли, какие море любит, походливые и поворотливые, такого строителя заказчики боем отбивали, отымом отымали; ежели занят, то, словом заручившись, по три года ждали. Дождавшись, мастеру досадить боялись — криво ли, право ли хозяйской мошной трясет.

Суда у нас строили: шкуны, боты, гальоты, лихтеры, кутера, ёлы мурманские, шнёки, карбаса морские и речные.

Прежде были лодьи, бригантины, кочи, барки — всё большие корабли, на них давно мода отошла.

На шнеке, древнем беспалубном судне, еще мой отец плавал в Датску — Норвегию.

Рассказывал: как придем в Стокгольм или Копенгаген на шнеках, профессора студентов приведут обмерять и рисовать наши суда — то-де корабли древних мурманов (норманнов).

Строили из сосны. На самой дешевой еловой посудине мачта, бушприт, стеньги непременно сосновые. Ну, остальной рангоут из ели. Ель на воде слабее сосны.

У Белого моря берега: Зимний, Летний, Кемский, Терский. И на каждом берегу те же суда строили своим манером.

Кому это дело в примету, тот, и в морской дали шкуну усмотрев, не только, какого она берега, скажет, но и каким мастером сработана назовет.

---

* Курочкин Андрей Михайлович (1770 — 1842); Ершов Василий Артемьевич (1776 — 1850); Загуляев Федор Тимофеевич (1792 — 1868) — знаменитые кораблестроители Архангелогородского адмиралтейства. Доставили кораблям архангельской конструкции мировую славу. Во второй половине XVIII века славился мастер Архангельского адмиралтейства Поспелов.

Красен в месяцах месяц май. Славен в корабельщиках Конон Иванович Тектон *.

Он родился у Белого моря, на Кемском берегу, в бедной рыбацкой семье. Пройдя наше поморское судостроительство, уехал в Норвегию и Данию. Здесь изучал языки английский, немецкий, норвежский, математику, навигацкие науки, морскую астрономию, рисование. Не покидая наук, работал на верфях. Вернулся на родину уже в зрелом возрасте. Рано овдовел, рано сыновей потерял: утонули зуйками на Мурмане.

В дни моего детства слава Тектона еще трубила на берегах Белого моря.

Конону Ивановичу было уже полсотни годов. Он обходил берега Ледовитого океана, строя шкуны, боты, бриги, гальоты и ёлы сшивая. Норвежане и датчане не раз пожалели, что отпустили из рук такого строителя, и не однова докупались до Конона, манили деньгами, но он не покорыстовался и не поехал. А ведь сам во всю жизнь не имел ни кола ни двора. Что заработает, все раздает в долг без отдачи.

Кому Конон дело делает, тот в его воле ходит.

Строил однажды Конон океанское судно богатому купцу. Была весна, и дело приходило к концу.

И у купца гостил брат, важный петербургский чиновник. Этот господин повадился кутить на постройке со своими приятелями. И мастер того не залюбил.

Однажды срядился Конон с подмастерьями, с Олафом да с Василем, в город. В городе они разошлись. Вечером мастер первый воротился на карбас и сел дожидаться ребят. Тут — не ждан, не зван — подкатил к карбасу на трех извозчиках хозяйский брат с веселой компанией; все пьяны и с песнями. Да начали нахально приказывать:

— Вези к новопостроенному судну. Нам угодно, там гулять будем.

И Конон отказал:

— А нам не угодно... И гулять там не будете.

Они не послушались, только пуще закуражились и полезли в карбас самосильно. А один, толстый, подскочил и сбил с Конона шапку, не зная его плотной силы.

Тогда Конон Иванович, губу закусив, поднял толстого за шиворот и огрузил в воду, чтобы его благородие прохладилось... И, опять тряхнув, бросил в карбас, ажно поддон заговорил.

Гуляки — на Конона с кулаками:

— Утром мы тебя, хама, в тюрьму бросим, а теперь вези, куда приказываем!

И который с ружьем учал палить и одной барыне обжег ухо.

И Конон, боясь головщины **, открыл парус и сел за румпель. До судна бы ходу четверть часа, а уж карбас бежит и все три четверти. А те припали до девок, как век не видали,— не понимают, что кормщик правит к дальнему пустому острову. Да и тот накрыло туманом.

Как на широком месте качнуло, хозяйский брат прохватился:

— Ты пьян, мужик? Куда ты правишь? Почему долго едем?

И Конон ответ держит:

— К ночи вода кротка, а карбас от народа грузен. У постройки на мель сядем. Обойдем подальше, где берег глубже.

---

* Фамилия мастера была В т о р о у ш и н, но более известен он был под прозвищем Т е к т о н, что значит Строитель. (*Прим. авт.*)

** Г о л о́ в щ и н а — уголовщина.

И тут, рулем покосив, Конон причалил к берегу:

— Приехали!

Те выкарабкались на незнакомое место и опять приправили грозить и лаять, зачем стройки не видно! И охотник опять палит, как дикий. А Конон выкинул им корзины с вином и закусками, веслом отпихнулся — да и был таков...

Целую ночь бродили господа те по песку в тумане. Судна наискались, перевозу накричались, куда попали, не понимают.

Ну, коньяков с собою было на залишке — небось не озябли.

А утром туман снялся, и они увидели себя на голой песчаной кошке *. И судно новопостроенное видать не так далеко; только стоит на другом острову за рекою.

Ах да руками мах, а на том не переедешь...

Вскоре подобрали их устьянские бабы-молочницы: плыли в город с палагушками **.

А кто прав остался?

А Конон!

Хозяин, боясь, как бы мастер на гневе работы не покинул, тот же день причесал на стройку, по палубе за Кононом ходит. Брата с компанией всех приругал:

— Сами себе они, страдники, страхом доспели. Как ты их, дорогой мастер, выучил... Хы-хы!.. А у нас с тобой нету обиды. Нету!

Однако по жалобе петербургского чиновника губернатор хотел было высвистнуть Конона Ивановича из города, да раздумали: кончилась японская война, начинались забастовки.

В те дни и годы отобралось маленькое стадышко низовских моряков в артель, чтоб не кланяться хозяевам, не глядеть из чужих рук, а самим осилить постройку большого судна для океанского плаванья. Моего отца выбрали артельным старостой и казначеем.

И отец загодя припас лес, и приплавил к городу на остров, и распилил, и кокоры обтесал.

Товарищи матерьял осмотрели, благодарили и спросили:

— Каким думаешь мастером строить?

А отец и говорит:

— У меня один свет в очах — Конон Иванович, да он сей год в Кеми завяз...

Было подумали на Пигина, кронштадтского мастера, он давно насватывался, но помянули, что Пигин человек зависимый, ему Немецкая слобода только палец покажет — он артельное дело бросит... Нет уж, без Конона Ивановича нам не сняться.

И, надеясь на прежнюю дружбу, что он прежде к нам хаживал, хлеба едал, квасу пивал, послался отец к Конону Ивановичу с писемцом:

«Любезный мастер и друг! Охота видеть твоего честного лица и сладких речей слушать. А мы тебе в Архангельском городе делов наприпасали. Воля ваша, а большина наша!»

Старая любовь не ржавеет.

Мастер дела в Кеми довершил и на олешках через Онегу приехал в Архангельск. Стал на постой в Соломбале и дал знать отцу.

---

* Кошка — отмель.

** Палагу́нье, палагушка — сосуд для молока.

Как мы обрадовались! Долго ждав, думали: не в Норвегу ли мастер убрался?

Тот же вечер отец собрал артельных:

— Как рассудите? Деды наши с осени строили, чтобы, зимой закончив, на вешнюю большую воду спускать. А тут мастер прибыл при конце зимы...

Все зашумели:

— Радоваться надо, что прибыл, и все тут!

Отцу давно хорошо. Утром он засряжался в Соломбалу, запряг самолучшие санки. Взял и меня с собой.

Я говорю:

— Так не водится. Он художник, он строитель... К добру ходят-то, не с добром.

В Соломбале едем по Бессмертной улице, не знаем, который дом. А мастер сам нас укараулил, в окно сбарабанил.

Как зашли в комнату, справили Конону Ивановичу челобитье. И он равным образом, выйдя из-за стола, бил челом.

Потом поздоровались в охапочку. И которые с Кононом Ивановичем сидели два сличные молодца тоже встали и поклонились. Один — быстрый, темноглазый, другой — светловолосый, конфузливый. Тогда пришли за стол, стали беседовать и друг на друга смотреть. А Олаф да Василь — подмастерья — опять сели красить на листах разным цветом: синим, зеленым, красным. Нарисованы корабли, как их погодой треплет. Я сам рисовать до страсти любил и уж тут все глаза растерял.

Невдолги отец домой сторопился, и я с дива пропал, что о деле ни слова не сказано.

Доро́гой я не утерпел:

— Про кораблик-то уж нисколько не поговорили...

— Что ты, глупой! Ведь мы с визитом.

— Неужели они, папа, тройма трехмачтовый корабль поставить можут? Подмастерья-то вовсе молоды.

— Годы моло́ды, да руки золоты́. А Конон! Нет таких дел человеческих, чтобы ему не под силу. Конечно, станут и артельные время от времени помогать.

Рекой едучи, отец все свою думу думал, а я свою. Только как стали к дому подыматься, я еще спросил:

— Папа, тебе любо ли?

— Как не любо. Пускай-ко наши толстосумы поскачут. Они Кононка-то, никак, четвертый год добывают... А второе мне любо, что ты его художества насмотришься и золотых наслушаешься словес.

На масленице Конон Иванович у нас гостил. Его ждали — по крыльцу, по сеням половики слали новотканые, по столам скатерти с кистями.

Я заметил, он ел малехонько-редехонько и пил — только прилик принимал. Потом ушли в отцову горницу. Там сразу поставили разговор на копылья. Мастер начал спрашивать: кто да кто в артели, очень ли купечество косится, на какой реке и давно ли лес для стройки ронили и какая судну мера, на сколько тысяч груза?

И отец ему учал сказывать:

— Лес сосновый, рубили на Лае-реке, зимой два года назад. Дерева́ — ни

кривулины, ни свили, ни заболони — настоящая корабельщина. Ноне все пилено и тесано, мастера дожидается.

На полу мелом накинули план, и по этому чертежу мастер повел умом. Пошла беседа на долгой час.

Наконец дело отолковали, и порядились, и руку друг другу дали. Значит, надежно с обеих сторон.

Я тут же в сторонке сидел, помалкивал. Охота было спросить, почему художники Олаф да Василь не пришли, да не посмел.

На следующей неделе отец с Кононом многáжды ездил на место стройки. Вечерами говаривал матери:

— Ты, моя хозяюшка, мастера наблюдай, пироги ему пеки да колобы. Мне его моряки поручили... А вы, робятки, будьте до Конона Ивановича ласковы, чтобы вас полюбил.

Того же месяца за Соломбальским островом начал строиться наш корабль «Трифон».

На острове на песке лежали дерева золотые, прямотелые, дельные. И мне дивно было, как из этого лесу, кокорья и тесин судно родится.

Вот как дело обначаловал Конон Иванович Тектон.

На гладком, плотном песке тростью вычертил план судну, вымеряя отношение частей. Ширину корабля клал равной трети длины. А половина ширины — высота трюма. На жерди нарезал рубежки и такой меркой рассчитывал шпангоуты. Чертил на песке прямые углы и окружности, все без циркуля, на глаз, и все без единой ошибки.

По этому плану сколотил лекалы. Тогда приступает к постройке.

Выбрав дерево самое долгое, гладкое, крепкое, ровное, положили матицу, или колоду, то есть основание корабля,— киль.

На киль легла спина корабля, поддон. Продолжение киля — упруги, или штевни; к носу — форштевень, к корме — ахтерштевень.

Как у тела человеческого на хребте утверждены ребра, так в колоду, в хребет, врастили ребра корабельные — шпангоуты. Они в ряд, как бараны, рогами вверх уставились.

Как на кости у нас наведены жилы и кожа, так остов корабельный обшивали изнутри и снаружи широкими сосновыми досками.

Чтобы обшивка льнула к шпангоутам, доски пáрили. Была сделана печь с водяным котлом. Пар валил в длинную протянутую у земли деревянную трубу. В трубе и держали тес до гибкости.

Как кожу дратвой, прошивали корпус вересовым корнем и железом и утверждали дубовыми гвоздями — нагелями.

Концы у нагелей расклинили и расконопатили, и железные наружные болты внутрь загнали и внутри расклепали.

Потом все проконопатили и просмолили.

Не на час, не на неделю — на век строил мастер Конон Тектон! В то время распута прошла и ожили реки.

С борта на борт перекинул Конон Иванович перешвы — бимсы, на них постлал палубу. А в трюм, в утробу, на поддон намостили подтоварье — ставни из тонких досок, чтобы груз не подмокал.

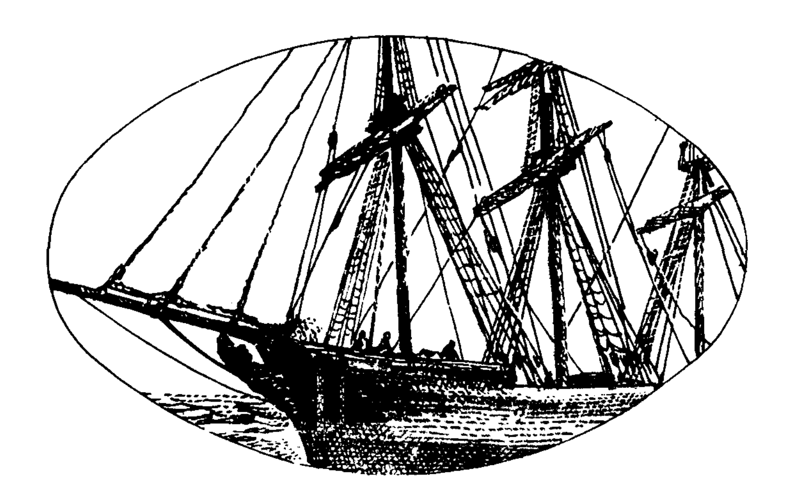
Шла работа — только топор посвечивал. С утра, со всхожего и до закатимого стукоток стоит под Кононову песню. Далеко слышно по воде-то.

Когда «Трифон» строился, уж я там и спал и лежал. Хоть до кого доведись, каждому любо поглядеть, как корабли родятся. Да и к Конону старого и малого как на магнит тянуло. Был Конон Тектон велик ростом, глазами светел и грозен, волосы желты, как шелк.

Он встречал меня тихим лицом, и много я от него узнал о греческих, римских, итальянских строителях и художниках. О Витрувии, Винчи, Микеланджело, Браманте, Палладио.

В тихий час, в солнечную летнюю ночь сядет Конон с подмастерьями на глядень, любует жемчужно-золотое небо, уснувшие воды, острова — и поет протяжные богатырские песни. И земля молчит, и вода молчит, и солнце полуночное над морем остановилось, все будто Конона слушают... А Конон сказку расскажет и загадку загадает:

Дочь леса красного,
Возраста досельного.
Много путем ходит,
А следу не родит...



Это что?

Мы с Олафом молчим. Он еще русской речи в тонкости не разумеет, я умом вожу, не знаю, к чему примениться. А Василь, быстрый, схватчивый, скорехонько бякнет:

— Лодка!

Конон Иванович, родных сыновей потеряв, любил, как детей, своих помощников Василька и Олафа. Кроме кораблестроительства, учил их языкам, английскому и немецкому, рисованию, математике и черчению, работе с морскими картами, с лоцией. Олафа Конон привез из датских городов, и тот до смерти не отходил от него. Олаф уж не похож был на гулящего парнишку. Не помянет молодецких дел, хотя и бритву накладывал года три. Ему гулять не надо, нарядов не надо, не попросит уж костюма. Он и не знал, что в торгу костюмы есть. Такой не щеголь был.

Олаф со мною перво молчал. Я спросил:

— Что молчишь? Родом такой разве?

Он тогда рассмеялся. Да и с мастером Олаф больше помалкивал, а Василь придет и — разговору! Василь пьет и ест — и все говорит, не перестает, как гулял да с кем гулял.

Олаф брови насупит:

— Как хочешь — мне это не надо.

XII Василь недоверчиво:

— Хм... Бреешься, дак кого-ле приманиваешь. Свои и так никуда не деваются.

Олаф первый у корабельного дела помогал и всему научился, что учитель знал. Так почитал мастера Олаф, что и хлеба без него не ел.

Другой, Василь, ученик был на все талантлив, ко всему горяч, жаден на всякое добро и неистов на зло. Временем бесчинствует и мастера ничем зовет; до того дойдет — унесет с корабля дорогую какую вещь и продаст и прогуляет. Да укараулит пароход английский или норвежский, упромыслит себе приятелей таковых, каков сам, и в портовых притонах ножи кровью поят из-за подруг.

Дойдет дело до властей, и Конон по судам ходит, штрафы платит, стыдом лицо кроет перед людьми, которые лицо его честное и видеть бы недостойны. Кто Конона Ивановича любил да знал, те за него оскорблялись и на Василия были в кручине, что учителя не бережет. Однажды, когда Василь подвел мастера под ответ и дело попало в газету, мать моя, заплакав, сказала:

— Ты, Конон Иванович, как река без берегов, не только человека, а и скота напояешь.

А Конон ласково:

— Хоть и вор, да мой, дак и жалко.

А погодя Василь опять придет к мастеру, и зовет, и рыдает, и просит Олафа. И Олаф приложит к слезам слезы. Конон, видя бледное Василево лицо и синеву под глазами, вспомнит родных сыновей, сокрушится сердцем и пожалеет. И отерев Василию последнюю слезу, начнет ему добром говорить:

— Ты теперь в совершенных летах. Поезжай в Датску на верфи. Ты, Василь, талантлив, учись. Я тебе и письма дам заручные...

И Василь ухватит мастера руками, закричит:

— Я в вашей хочу быть воле! Не надо мне датских!..

Значит, опять работают вместе. На вечерней заре сядут у реки. Олаф справа, Василь слева. И руки мастера, каждый свою, держат. Перед Кононом на береговой свае книга, Шекспир или Свифт. Читает вслух и заставляет учеников переводить.

А пошло время к лету — и три мачты кондового лесу поднялись над островом. Три мачты ставят, когда судно на дальнее, океанское плаванье; если на ближнее, в своем море, то две.

Передняя — фок-мачта, средняя — грот-мачта и задняя — бизань.

С носа от форштевня уставился бушприт.

И как скрипичный мастер струны настраивает, а они гудят и звенят, так Тектонова искусная рука протянула снасти к мачтам и реям, к штевням и бортам.

В оснастке весь стоячий такелаж завели по-богатому — из четырехпрядной чесаной пеньки, только такелаж бегучий — из обыкновенной, трехпрядной.

Да в ту же оснастку корабельную блоков одношкивных и двушкивных с железной оковкой не меньше полусотни штук. От скул к носу, где хлюсты — ноздри корабельные,— навернули цепи и якоря. Якорь в семнадцать пудов да якорь в пятнадцать пудов. Цепь в шестьдесят пять сажен да цепь в пятьдесят сажен. И белыми полотняными парусами нарядили грот-мачту и фок-мачту с реями; и на бизань — косые паруса.

Много было дела у корабля, и редкий день у мастеров не работали добровольные помощники из артели. По бортам, по мачтам у рангоута все ковано железом, и дверцы, и ободверины покованы медью. И оконцами посветить «Трифону» не забыл Конон Иванович. И печку сложили. И помпы в трюме — воду откачивать.

Потом судно до ватерлинии окрасили красно, а побочины — ярью зеленою и белилами. А у носа и по корме золотыми литерами — имя «Трифон».

Кратко сказать — все было крепко и плотно, дельно и хитро. Кораблик как сам собою из воды родился.

Кто посмотрит, глаз отвести не может.

А медь сияет на солнце!..

Осенью, когда начал лист на лесу подмирать, и судно было готово.

Последний день августа завелась у нас стряпня. И первого сентября утром, когда обрадовалась ночь заре, а заря — солнцу, поплыли артельные к острову, где «Трифон» строился. И увидели: стоит корабль к востоку, высоко на городках, у вод глубоких, у песков рудожелтых, украшен, как жених, а река под ним как невеста.

...Мастер Конон сошел по сходням, стал на степени * и поклонился большим обычаем. У него топор за поясом, как месяц, светит.

И мы на ответ кланялись равным образом.

Артельного старосту, отца моего, мастер взял за правую руку и повел вокруг судна и, обойдя, поднялся на палубу. Следом шли все.

В то время вода заприбыла, стала на мерную степень, да пал ветерок береговой.

Тогда Конон с Олафом сходят на землю и берут в топоры два бревна, держащие судно на городках, над водами.

В то время у старосты пуще всех сердце замерло... И внизу треснуло, и судно дрогнуло да прянуло с городков в воду. И я носом о палубу стегнулся, да и все худо устояли.

А отец смеется:

— Что ты, воронье перо, вострепещился?

Мастер, поднявшись на палубу и став на степень, говорил:

— В чем не унировил и не по вашему обычаю сделал, на том простите.

Все к нему стали подходить и поздравляться в охапочку.

А «Трифон» покачивался на волнах — видно, и ему любо было.

Тогда отдали тросы и отворили паруса. В паруса дохнул ветер. И пошел наш корабль, как сокол, ширяся на ветрах.

Все песню запели:

Встаньте, государи,
Деды и бабы:
Постерегите, поберегите

---

* Степень — ступень.

Любимое судно,
Днем под солнцем,
Ночью под месяцем,
Под частыма дождями,
Под буйныма ветрами.
Вода-девица,
Река-кормилица!
Моешь пни, и колодья,
И холодны каменья.
Вот тебе подарок:
Белопарусной кораблик!
. . . .

И обошли кораблем далече по солнцу. А паруса обронив, бросили якоря у того же острова на живой воде.

На палубе накрыт был стол со всякой едой, рыбной и мясной, с пирогами и медами. За столом радовались до вечера. Таково напировались, ажно в карбас вечером погрузились не без кручины. Егор Осипович с Иван Петровичем, старые капитаны, в воду пали, мало не потонули. Куда и хмель девался. Домой плыли, только мама, да Конон, да еще трое-четверо гребли. Остальные вовсе в дело не годились. А к берегу причалили и на гору подняться наши гости не могут, заходили по взъезду на четвереньках. Вот сколь светлы были.

Конец сентября отец отвел «Трифона» в деревню Уйму, города выше десять верст, на зимовку.

А придет весна-красна, и побежит наше суденышко на Новую Землю по моржа и тюленя, пойдет на Терский берег за семгой, в Корелу за сельдями. Повезет в Норвегу пеньку и доски, сало и кожу. Воротится в Архангельск с трескою и палтусом.

МИША ЛАСКИН

Это было давно, когда я учился в школе.

Тороплюсь домой обедать, а из чужого дома незнакомый мальчик кричит мне:

— Эй, ученик! Зайди на минутку!

Захожу и спрашиваю:

— Тебя как зовут?

— Миша Ласкин.

— Ты один живешь?

— Нет, я приехал к тетке. Она убежала на службу, велела мне обедать. Я не могу один обедать. Я привык на корабле с товарищами. Садись скорее, ешь со мной из одной чашки!

Я дома рассказал, что был в гостях у Миши Ласкина. Мне говорят:

— В добрый час! Ты зови его к себе. Слышно, что его отец ушел в дальнее плаванье.

Так я подружился с Мишей.

Против нашего города река такая широкая, что другой берег едва видно. При ветре по реке катятся волны с белыми гребнями, будто серые кони бегут с белыми гривами.

Однажды мы с Мишей сидели на берегу. Спокойная река отражала красный облачный закат. С полдесятка ребят укладывали в лодку весла.

Старший из ребят кричал:

— Слушать мою команду! Через час всем быть здесь. Теперь отправляйтесь за хлебом.

И они все ушли.

Миша говорит:

— Это они собрались за реку на ночь. Утром будут рыбу промышлять. А домой не скоро попадут. Глупый ихний капитан — не понимает, что если небо красно с вечера, то утром будет сильный ветер. Если говорить, они не послушают. Надо спрятать у них весла.

Мы взяли из лодки весла и запихали их под пристань, в дальний угол, так, что мышам не найти.

Миша верно угадал погоду. С утра дул морской ветер. Кричали чайки. Волны с шумом налетали на берег. Вчерашние ребята бродили по песку, искали весла.

Миша сказал старшему мальчику:

— Забрались бы вы с ночи на тот берег и ревели бы там до завтра.

Мальчик говорит:

— Мы весла потеряли.

Миша засмеялся:

— Весла я спрятал.

Как-то раз мы пошли удить рыбу. После дождя спускаться с глиняного берега было трудно. Миша сел разуться, я побежал к реке. А навстречу Вася Ершов. Тащит на плече мачту от лодки. Я не дружил с ним и кричу:

— Вася Ерш, куда ползешь?

Он зачерпнул свободною рукой глины и ляпнул в меня. А с горы бежит Миша. Вася думает: «Этот будет драться»,— и соскочил с тропинки в грязь.

А Миша ухватил конец Васиной мачты и кричит:

— Зачем ты в грязь залез, дружище? Дай я помогу тебе.

Он до самого верху, до ровной дороги, нес Васину мачту. Я ждал его и думал: «Миша только и глядит, как бы чем-нибудь кому-нибудь помочь».

Утром взял деревянную парусную лодочку своей работы и пошел к Ершовым. Сел на крыльцо. Вышел Вася, загляделся на лодочку.

Я говорю:

— Это тебе.

Он улыбнулся и покраснел. А мне так стало весело, будто в праздник.

Однажды мой отец строил корабль недалеко от города, и мы с Мишей ходили глядеть на его работу. В обеденный час отец угощал нас пирогами с рыбой. Он гладил Мишу по голове и говорил:

— Ешь, мой голубчик.

Потом нальет квасу в ковшик и первому подаст Мише:

— Пей, мой желанный.

Я всегда ходил на стройку вместе с Мишей. Но однажды я подумал: «Не возьму сегодня Мишку. Умею с кем поговорить не хуже его».

И не сказал товарищу, один убежал.

Корабль уже был спущен на воду. Без лодки не добраться. Я с берега

кричу, чтобы послали лодку. Отец поглядывает на меня, а сам с помощниками крепит мачту. А меня будто и не узнает.

Целый час орал я понапрасну. Собрался уходить домой. И вдруг идет Миша. Спрашивает меня:

— Почему ты не зашел за мной?

Я еще ничего не успел соврать, а уж с корабля плывет лодочка. Отец увидел, что я стою с Мишей, и послал за нами.

На корабле отец сказал мне строго и печально:

— Ты убежал от Миши потихоньку. Ты обидел верного товарища. Проси у него прощенья и люби его без хитрости.

Миша захотел украсить место, где строят корабли. Мы начали выкапывать в лесу кусты шиповника и садить на корабельном берегу. На другое лето садик стал цвести.

Миша Ласкин любил читать и то, что нравилось, переписывал в тетради. На свободных страницах я рисовал картинки, и у нас получалась книга. Книжное художество увлекло и Васю: он писал, будто печатал. Нам дивно было, какие альбомы получаются у Миши из наших расписных листов.

Книги, и письмо, и рисование — дело зимнее. Летом наши думы устремлялись к рыбной ловле. Чуть зашепчутся весенние капели, у нас тут и разговор: как поплывем на острова, как будем рыбку промышлять и уток добывать.

Мечтали мы о легкой лодочке. И вот такая лодка объявилась в дальней деревушке, у Мишиных знакомцев. Миша сам туда ходил, еще по зимнему пути. Лодка стоила недешево, но мастеру понравился Мишин разговор, Мишино желание и старание, и он не только сбавил цену, но и сделал льготу: половину денег сейчас, половину — к началу навигации.

Отцы наши считали эту затею дорогой забавой, однако, доверяясь Мише, дали денег на задаток.

Мы с Васей ликовали, величали Мишу кормщиком и шкипером, клялись, что до смерти будем ему послушны и подручны.

Перед самой распутой зашли мы трое в Рыбопромышленный музей. Любуемся моделями судов, и Вася говорит:

— Скоро и у нас будет красовитое суденышко!

Миша помолчал и говорит:

— Одно не красовито: снова править деньги на отцах.

Вздохнул и я:

— Ох, если бы нашим письмом да рисованием можно было заработать!..

Мы не заметили, что разговор слышит основатель музея Верпаховский. Он к нам подходит и говорит:

— Покажите мне ваше письмо и рисование.

Через час он уж разглядывал наши самодельные издания.

— Великолепно! Я как раз искал таких умельцев. В Морском собрании сейчас находится редкостная книга. Ее надобно спешно списать и срисовать. За добрый труд получите добрую цену.

И вот мы получили для переписывания книгу стогодовалую, премудрую, под названием «Морское знание и умение».

В книге было триста страниц. Сроку нам дано две недели. Мы рассудили, что каждый из нас спишет в день десять страниц. Трое спишут тридцать страниц. Значит, переписку можно кончить в десять дней.

Сегодня, скажем, мы распределили часы работ для каждого, а назавтра с Мишей Ласкиным стряслась оказия.

Он для спешных дел побежал к отцу на судно. У отца заночевал, а ночью вешняя вода сломала лед и началась великая распута. Сообщения с городом не стало.

Люди — думать, а мы с Васей — делать.

— Давай,— говорим,— сделаем нашему шкиперу сюрприз, спишем книгу без него.

Так работали — недосуг носа утереть. Старая книга была замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише, и на уме станет светло и явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней.

— Завтра в Морском собрании будут заседать степенные *, я покажу вашу работу. И вы туда придите в полдень.

На другой день мы бежим в собрание, а нам навстречу Миша:

— Ребята, я книгу разорил?

— Миша, ты не разоритель, ты строитель. Пойдем с нами.

В Морском собрании сидят степенные, и перед ними наша новенькая книга. Миша понял, что работа сделана, и так-то весело взглянул на нас.

Степенный Воробьев, старичище с грозной бородищей, сказал:

— Молодцы, ребята! Возьмите и от нас хоть малые подарочки.

Старик берет со стола три костяные узорные коробочки, подает Мише, мне и Васе. В каждой коробочке поблескивает золотой червонец. Миша побледнел и положил коробочку на стол.

— Господин степенный,— сказал Миша,— эта книга — труд моих товарищей. Не дико ли мне будет взять награду за чужой труд?

Этими словами Миша нас как кнутом стегнул. Вася скривил рот, будто проглотил что-то горькое-прегорькое. А я взвопил со слезами:

— Миша! Давно ли мы стали тебе чужие? Миша, отнял ты у нас нашу радость!..

Все молчат, глядят на Мишу. Он стоит прям, как изваяние. Но вот из-под опущенных ресниц у него блеснули две слезы и медленно покатились по щекам.

Старичище Воробьев взял Мишину коробочку, положил ему в руку, поцеловал всех нас троих и сказал:

— На дворе ненастье, дождик, а здесь у нас благоуханная весна.

С тех пор прошло много лет. Я давно уехал из родного города. Но недавно получил письмо от Михаила Ласкина. В письме засушенные лепестки шиповника.

Старый друг мне пишет:

«Наш шиповник широко разросся, и, когда цветет, весь берег пахнет розами».

---

* Степе́нные — от ступе́ни, здесь: члены правления.

МУРМАНСКИЕ ЗУЙКИ

Зуек, или зуй — наша северная птичка вроде чайки. Где рыбная ловля, где чистят рыбу, там кружатся зуйки. Зуйками называют в Поморье и мальчиков, идущих на Мурман в услужение — обед готовить, посуду мыть, рыболовные снасти сушить. Работы много, работа тяжелая, и больше всего в зуйки шли сироты, у кого отца нет. В Поморье мурманские тресковые промыслы — самое главное. И вот у бедной матери одна забота: чтобы сынишка и семье помог, и к работе привык. Хорошего, опытного промышленника мать со слезами просит взять сына поучиться тяжелому делу мурманскому.

Плата бывала зуйку за лето, кроме содержания — еды и одежды,— пятьдесят рублей деньгами, десять пудов рыбы соленой, пять пудов сушеных тресковых голов.

Хорошо, если распоряжается на судне дядя или иной кто, близкий мальчику, а у чужих людей трудно. Лет с девяти, с десяти повезут в море работать навыкать. Ходили зуйки и у отца и брата на корабле. Таким полдела.

Корабли поморские в море идут, когда оно очистится ото льда. Перед походом дома — отвальный стол, проводинный обед. Накануне зуек бегает, зазывает гостей. Зайдет в избу, поклонится и скажет:

— Хозяин с хозяюшкой, пожалуйте к нам на обед. Милости просим! Милости просим!

Во время пированья зуйки стольничают и чашничают с шитыми полотенцами через плечо. Стольники режут хлеб и угощают, чашники разносят братыни с квасом и брагой. Обедает зуек с хозяйкой после гостей.

Во время стола кто-нибудь в котелок в дно постучит, скажет:

— Батюшко, припади!

Это просят ветра посильнее припасть, дунуть.

Перед последней переменой мать, в первый раз провожающая сына в море, прощается с ним. Не знает, как назвать, как пожалеть. Тихонько гладит мальчика по голове шелковым платочком и плачет и поет:

Сизенький мой соколочек,
Миленький голубчек,
Скатна моя жемчужина,
Желанное мое дитятко!
Беззаботные годочки прокатились,
Беспечальные денечки миновались!
Не в доцвете траву шелкову
С поля убираю,
Не в доросте моего рожóного
В работушку провожаю...
Всхожее ты мое солнышко,
Свеча ты моя воскоярова!
Твоя молоденька головушка заподумыват,
Ребяческо сердечушко запобаливат!
. . . .

Вспомнит мать и младенческие годы сына:

Ты спал у меня, высыпался,
Ты ждал, дитя, дожидался

От отца веселого покликаньица,
От матери тихого побужаньица,
От бра́телка ключевой воды,
От се́стрицы полотенышка.

У наших поморов слово слово родит, третье само бежит.

Слушая мать, и парнишка всплакнет.

После обеда на жальник сходят (на кладбище) с родными проститься. На пристань идут, каждому нищему подают:

— Нате-ко на по́ветерь.

И все встречные и поперечные отъезжающие по́ветери — попутного ветра — желают.

Зайдут на корабль, сходни уберут, якоря выкатают, паруса откроют. Ветер паруса наполнит. Сделает рулевой поворот кораблем на восток в честь солнца, и зашумят, рассыпаясь, встречные волны.

Брызнет зуйку в лицо крепким морским рассолом, и... вся грусть забудется. Которая слеза и катилась, та назад воротилась. В море простор, ширь, свет, любо в море!

Матрос песню запоет, в гармонь заиграет — смотришь, за кораблем тюлень молодой плывет. Головочка у него черненькая, взгляд умильный, ручками он перебирает, песни слушает. Под самым носом корабля белуха белобрюхая, зверь морской, ростом с корову, любит перевертываться да играть. Пробку свою оттыкает, из зашейка фонтаны водяные пускает, что кит. Чайки долго за кораблем в море летят, провожают. Это поморы любят, хлеб им бросают. К хорошей погоде чайка в го́ломень * летит.

Бежит корабль, воздух веселый, паруса говорят, чайки кричат. Зуйки уж за работой, канат старый для конопатки щиплют, снасти разбирают... В далях морских другой кораблик блеснет парусом, ровно чайка крылом. Надо с ним поморским обычаем поздороваться. Капитан берет медную, посеребренную трубу-рупор и кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Те отвечают:

— Здорово, ваше здоровье, на все четыре ветра!

Мы опять:

— Куда путь-дорогу правите?

Ответ уж издалека донесет:

— Из Стокгольма в Архангельской!..

Какой-нибудь матрос-молодожен схватит трубу да крикнет тем, идущим в Архангельск:

— Агафье моей расскажите, что меня встретили!

Зуйки опять за дело: медные котлы начищают. Чайки на берег воротились. Кругом небо да вода. Навстречу английский пароход. Англичане дразнятся:

— Роши шхуна хлам! Роши шельма! Тьфу! Нет добра!

Зуйки из себя выходят, кричат:

— Роши шкуна шик! Инглиш тво фут руль, а фуль! Елефан трунк друнк!

С тем и разминемся.

Бывает, что англичане корабельные сухари, «би́шки», зуйкам бросают.

---

* Го́ломень, го́ломя — дальнее от берега, открытое море; голомя́нный — уходящий далеко в море.

Или конфеты. Поморы вышитым полотенцем или сдобными колобами отдаривают.

Норвежане встретятся, те спрашивают:

— Куры фра? Куры фра? (Куда, мол, пошли?)

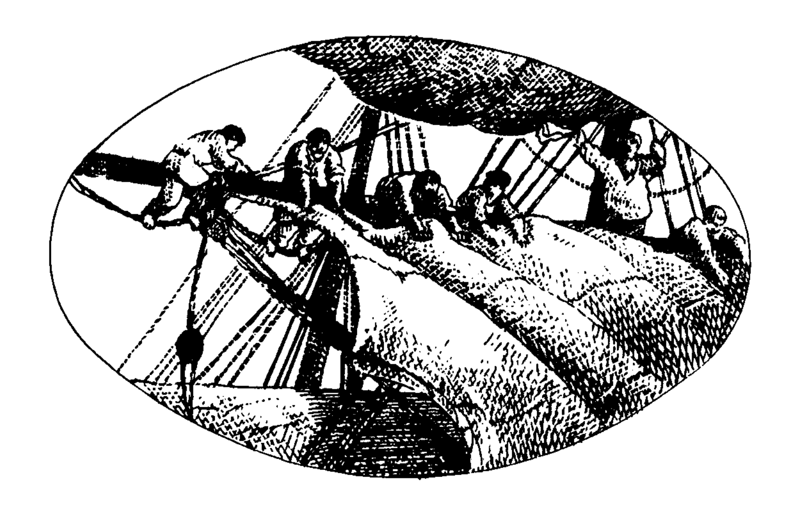
Им отвечают, что на Мурман или в Данию.

Летом благодать в море, а осенью в туман страшно. Туман такой навалит, хоть топором руби. В океане, где временем иностранных судов много, бывают и столкновения. Когда поморы в шнеках плывут, в чугунную доску бьют, а заслышав стук машины или свисток, кричат со всей силы:

— Не сгубите-е!!!

Тошно в море — земля и небо стонут.

Самое опасное место в туманы Горловина — выход Белого моря в океан. Тут всегда волненье, толкунцы.



Выбежит шкуна из Белого моря, тут во все стороны Ледовитый океан. Когда корабль идет на Печору или на Новую Землю, поворачивают направо, на восток. А Мурман пойдет на запад, влево. Мурманский берег скалистый. Горы черные, древние, как медведи, лежат. Тут взводень, вал морской, горой ходит, песок со дна воротит. Кораблик в океане, как чаечка маленькая. И подвигается на него «девята»— девятый вал, что всех больше... Вал черный, гребень белый — кружево белое на черном бархате. «Ну,— думаешь,— сейчас закроет, и все тут...» Ан нет! Подымет кораблик этим валом, качнет на гребне, как мать ребенком, да и спустит вниз. Только сердце екнет да в животе холодно. А впереди другой вал, тоже с дом величиной. Как кони вороные с седыми гривами, валы летят по океану.

Это кораблику не беда, когда ветер попутный, в затылок; горе, если со всех румбов заповертывает. В такую немилостивую погодушку корабельная команда по нескольку суток не спит и не ест.

Кудлатый долгобородый помор-капитан и тут не ударит в грязь лицом. Он ревет у руля медведем на молодых помощников:

— К снастям, други, к снастям!.. Что полтинники-то на меня выкатили?! Ух, коровы косые! Крепче кливер! Рочи́ шкот! Ух, карасином бы вас облить да сжечь! Ух, вы-ы!!!

Среди зуйков бывали тоже продувные ребята, во всяких положениях выгоду себе находили. Таков бывал Владимирко Бельских. Он плавал у старого Сувора Окладникова на гальоте.

В непогодушку, когда старик океан в тысячу труб трубит и кипит валами, Владимирко непременно подвернется разъяренному Сувору под руку. Ясно, хорошую затрещину и заработает. Кончится шторм, юнга Вельских ходит с подвязанной щекой. Сувор к нему:

— Ты что, Владимирко?

— Что... Глаз-то худо заоткрывался...

— Ну?.. Сгоряча-то, вишь, не разберешь... По шее бы надо.

— Себя бы бил по шее-то!

— Любя ведь, леший...

— Любя... Теперь как на берег сойду? Ни погулять, ни девкам показаться. Ни котора на меня не обзадóрится.

— На экого винограда чтобы не обзáрились! Да ты первый парень по деревне.

— Первый парень... А где наряды-то? Ты много ли нашил?

— Ужо не ругай, подарю тебе манишку норвецку голубу.

Этот Окладников «хороший» был, а случалось на бедовых налетать. В шапке зуек в каюту не зайди. Со старшим первый речь не заводи. Жди, когда заговорят. Самодуры бывали среди поморов-судовладельцев.

Вовсе загоняют мальчугана. В свободный часок взгрустнется ему, он и запоет печальную долгую песню:

В чужих-то людях рано будят,
На работушку гонят до зари.
С той-то работушки ручельки
Болят по плечам,
Со воздыханьица грудь болит.
. . . .

По Мурману богато становищами — фиордами. В каждой такой бухте есть поморский стан, летний поселок, где промышленники, прибежавшие на кораблях и пароходах с разных концов Архангельской губернии, ночевали и отдыхали. Взрослое население дни проводит в океане, добывая рыбу, зуйки в океан выходят редко, их работа на берегу. Надо хлеб испечь, кашу сварить и уху, да и квас чтобы был. Вот идет у бедных ребят стряпня, рукава стряхня. Замараются, припотеют, а все с песнями:

Сам толку,
Сам мелю,
Сам и по воду хожу!
Кашеварничаю,
Пивоварничаю!

Хлебы зуй катает — поет:

Уж и сею я муку
На полатях на боку!
Уж я по полу катаю,
По подлавочью валяю.

На печи в углу пеку,
Когти-ногти обожгу!
Растворяю на дрожжах,
Вынимаю на вожжах.

Всего хуже ребятам хлебы печь. Знаменитый капитан, архангельский помор Владимир Иванович Воронин, рассказывал: будучи зуйком, пришлось ему ставить хлебы в море на шкуне. Квашню, емкостью в несколько ведер, взгромоздил на полку, а завязал худо. Ночью пала непогода, шкуну закачало, ржаной опарой и начало устилать спящих промышленников, накатало и в их сапоги.

В другой раз у Володи Воронина хлебы вышли, как утюги, хоть ножи о них точи. Володя испугался, что дядя, хозяин шкуны, забранит, и потихоньку уплавил ковриги в море. А дядя и наехал на хлебы-то. Плывут ковриги рядышком, и чайки летят, поклевывают. Так грех и открылся.

В мурманских станах живут временно, одни мужчины. За чистотой должны следить зуйки. В праздник, бывало, стряпают из белой муки, а выйдет вроде ржаного. Лапы у поворят в саже. А все с песнями. Один поет:

Три дня печи не топил,
Много сору накопил.
Ложки вымыл,
Во щи вылил!

Другой припевает:

Косяки скребу,
Пироги пеку...

Ну, частенько ругаются, обижаются тоже, что работы много:

Кисни квас —
С полу грязь.
Капитану
Вырви глаз!

Помню, в море дело было, на корабле. Капитан достался ребятам строжающий. Чуть не угодят — и... гроза. В наказанье на берег не отпустит. Каково мальчишкам взаперти сидеть, когда старшие гуляют! Зато как привезут этого капитана с берега мертвецки пьяного да повалят спать, ребята тихонечко танцуют около и припевают:

Как за эту выслугу,
Что нас на́ берег не выпустил,
Тебя трясло бы, потряхивало,
Выше печи бы побрасывало
Под семью одеялами,
Под тремя покрывалами.
Тебе сквозь печь бы провалитися,
В щах завариттися,
Пирогом подавитися!
. . . .

В глаза-то ведь не посмеют сказать ничего, хоть так, бедные, душу отведут.

Приход шнёк и ёл в становище возвещают своим криком чайки. Зуйки это слышат и торопятся, ног под собой не чуют. Как старшие с делами покончат, зуйки кричат с порога поварни:

— Кормщики с рядовыми, пожалуйте хлебы есть!

Надо вежливо звать. Летает этакий чумазый кок по становищу, ищет своих, рвется в куски, горячится, что обед остынет, а кричит честно:

— Господа промышленники наши, милости просим обедать!

Про себя-то всего насулит...

Стол обихаживать надо тоже умеючи. Со стен сажа, а без чистой, хотя бы холщовой, скатерти помор за стол не сядет. Пока из-за стола не встали, нельзя из чашек, мисок лить в поганое. Ужасно, если хлебная крошка упала на пол. Ее скорей с поклоном поднимут. Во внеобеденное время посуда с едой должна быть покрыта, а порожняя опрокинута. Перед едой помор трижды окатывает руки водой. Руки поморы моют ежеминутно. Есть и бани в становищах, где моются раз или два в неделю. Баню тоже зуек обязан истопить. У иного дровишки худящи, мозглящи, не горят, а только тышкаются. Другому воду носить лихо из горной речки или водопада. Дразнят друг друга:

Витька баню топит,
Ситом воду носит.
Решето-то розно,
Он принес — порозно!

Хуже всего тюки. отвивать. Тюк — часть яруса океанской рыболовной снасти. В тюке четыреста метров длины. Тридцать связанных тюков составляют ярус, который и опускается в океан. После лова ярус опять развивается на тюки. Тут много дела и зуйкам. Тысячи лесок-фóршней, тысячи крючков надо распутать. Руки ветром да морским рассолом ест, крючья́ остры, снасти мокры, скользки, ярусу конца нет. Сосчитай-ка, сколь долог ярус, если в ярусе тридцать тюков, а в тюке четыреста метров.

Отдыхают зуйки в дни океанского шторма. Суда вытащены на берег, взрослые спят или, бывало, пьянствуют, беседы собирают, песни поют, а зуйки в бабки, в городки играют, гуляют. Без песен тоже не живут. Много у зуйков забавных припевок:

Я вставал поутру-ввечеру,
На бóсу ногу топор надевал,
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел.
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро,
Топором в нее шиб — не дошиб;
Другой раз шиб — перешиб,
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.

А то запоет кто-нибудь один:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.
По поднéбесью сер медведь летит,
Он ушками, лапками помахивает,
Он черным хвостом принаправливает.

И все дружно подхватывают припев:

Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

А с горы корова на лыжах катится,
Ноги рóсширя, глаза выпуча.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

На дубу свинья гнездо свила,
Гнездо свила, деток вывела.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Малы деточки-поросяточки
По сучкам сидят, по верхам глядят,
По верхам глядят, улететь хотят.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Таракан гулял сорок лет за печью,
Вдруг да выгулял он на белый свет.
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан в лохани воду:
— А не то ли, братцы, море синее? —
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Увидал таракан, из чашки ложками хлебают:
— А не то ли, братцы, корабли бегут?
Корабли бегут, на них гребцы гребут? —
Небылица в лицах, небывальщина,
Небывальщина, неслыхальщина.

Мужики-поморы в свободный час тоже запоют. Выйдет к океану человек сорок этаких бородачей, повалятся на утес, заложат руки за голову и подымут на голоса песню богатырскую... А седой океан будто пуще загремит, затрубит, подпевать человеку примется. Кто это слыхал да видал, не забудет.

Ох, да во синем-то да во широком-то
Раздольице, ох, да подымалася погодушка
Немилослива.
А и плыли туры по синю морю,

Ох, да выходили туры на белы пески.
Ох, да им навстречу турица златорогая:
«Уж вы здравствуйте, туры, где вы
Были, что вы видели?»—
«А мы видели диво-дивное:
Не грозна туча затучилась и не вихри
В поле солеталися. Ох, да подымался
Батый с Золотой Ордой и со всею
Своей силою несметною...»
. . . .

На мурманских пи́хтах — утесах гнездятся тысячи птиц — гагар, чаек. У зуйков особый промысел и статья дохода — собирать гагачий пух. Весной гагара сядет на каменный карниз, нащиплет у себя с груди пуху и в пух снесет яйца. Этот пух можно взять, гагара второй раз гнездо пухом своим выстелит. И второй пух можно собрать. Гагара в третий раз нащиплет пуху. Этот пух нельзя тронуть. Птица бросит все и навеки отсюда улетит.

Дома гагачий пух матери выпрядут на самопрялках и навяжут теплых платков, рубашек, колпачков, рукавиц.

Кроме пуху, собирают зуйки гагачьи яйца, большие, красивые, бледно-зеленые с крапинками. На вкус — рыбой припахивают, не все любят.

И яйца брать и пух собирать — промысел опасный. Скалы над океаном, как стены, стоят неприступны. Гнезда на узеньких карнизах, над глубокой пропастью, где кипит прибой. Как мухи по стене, ползают мальчуганы по утесам, через плечо мешок для пуху. И тут у гагар и чаек крику, стону, воплю — шума волн морских не слышно.

Дни — день за днем в работе,— как гуси, пролетают. Осень придет с темными ночами, холодными ветрами, и Мурман начнет пустеть. Летние гости — поморы — поплывут на парусниках и на пароходах по домам.

Домой едучи, в праздную минуту удивляют зуйки кто как может. Вот что творят: на верхушке мачты есть шарик — клотик. Назначают состязание: кто повернется на клотике, тому приз. Ловкий парнишка доберется до верхушки, ляжет там животом на шпиль, раскинув для равновесия руки, ноги, и вскружится в такой вершине, на полном ходу корабля, при качке. Внизу на палубе героя ждет премия — баранка или копеечная конфетка. Иногда калач повесят на конец реи (перекладина у мачты), и зуйки один перед другим ползут по качающейся рее, добывают эту награду. Такие вырастут — ничего потом не боятся.

Множество поморов заезжало в Архангельск на сентябрьскую ярмарку. У города столько бывало кораблей, что воды не видно. Зуйки гуляют по архангельским улицам нарядные, в узорных вязаных рубахах или в синих матросках с шейными платками.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

Покончив дела в Архангельске, корабли плывут по деревням. Дома матери рады, сестры веселы. Собаки — Дру́жки, Бо́рдики, Лыски, Ко́пы — приезжим на грудь скачут.

ПОКЛОН СЫНА ОТЦУ

Отец мой, берегам бывалец, морям проходец, ленивой и спокойной жизни не искал.

От юности до старости жизнь его прошла в службе Студеному морю. В звании матроса, затем штурмана и шкипера ходил в Скандинавию и на Новую Землю. Имел степень корабельного мастера первой статьи. Ряд лет состоял главным механиком Мурманского пароходства.

Мы видели отца дома в Архангельске только зимою. Прибежит в обед с верфи или из «Мурманских мастерских». Для спеху уж все на стол поставлено. И убежит — не убрано.

— Мне некогда. Машину пробуем...

За ужином ушки хлебнет, а рыбы не может:

— Я устал. Я лягу.

Жизнь скоро скажется, а трудно тянется...

Я еще мал был, беда стряслась над нами: у отца жилы с правой руки машиной обрало, и до смерти пальцы худо разгибались.

Еще помяну дни горя, когда с маяка телеграмма в город пришла: «Пароход «Чижов» у Зимнего берега разбит».

А на «Чижове» отец ходил... Однако не судьба была тогда погибнуть. Отец спасся с командой.

Зимой в свободный час он мастерил модели фрегатов, бригов, шкун. Сделает корпус как есть по корабельному — и мачты, и реи, и паруса, и якоря, и весь такелаж. Бывало, мать только руками всплеснет, когда он на паруса хорошую салфетку изрежет.

Лет семи начал я у отца проситься в море, а он не внимал:

— Рано тебе, свет, рассол морской пробовать. Лучше тебе мама кофейку нальет.

— Я рыбу хочу промышлять.

— Вот и промышляй у себя ложкой в тарелке.

Только на десятом году попал я в море до Мурмана.

Иной раз ранней весной или поздней осенью пойдет отец на бор поохотиться, тут я ему закаблучье обступал. Отец был хороший стрелок, отроду с ружьем, и я юн забе́гал с дробовкой. С компасом и часы по солнцу узнавать отец меня выучил. Ступаем по мху, по мягким оленьим путищам, и он мне рассказывает о зверях, о птицах, о рыбах, как они живут, как их добывают, как язык животных понимать...

Только пустых бесед и разговоров не терпел и боялся. Скажет:

— Праздное слово сказать — все одно что без ума камнем бросить. Берегись пустопорожних разговоров, бойся-перебойся пустого времени — это живая смерть... Прежде вечного спокоя не почивай... Слыхал ли поют:

Лежа добра не добыть,
горе не избыть,
чести и любви не нажить,
красной одежды не носить.

И еще скажу — никогда не печалься. Печаль как моль в одежде, как червь в яблоке. От печали — смерть. Но беда не в том, что в печаль упадешь; а горе — упавши, не встать, но лежать. А и смерти не бойся. Кабы не было смерти, сами бы себя ели...

А и вéсело подойдет, отец и того не хоронится. С мореходами за стол сядут, запоют песни, захохочут, ажно посуда в шкафу звенит. У Ледовитого океана, у Грозного промысла, без шуток да без песен и век проживешь — не усмехнешься.

А отец много на веку работы унес, много поту утер на зною у машины, на людей тружаяся. Не давая себе покоя ни в дни, ни в ночи.

В Мурманском доке у отца был кочегар — парнишка недавно из деревни. Ночью на работе его в сон склонит у топки. Отец своего отдыха час-другой оторвет, спящего заменит:

— Молод, бедной... мне эдак-то с мала пришлось... теперь легче, теперь двенадцать часов. А пускай поспит.

Среди зимы на пятьдесят пятом году жизни отец заболел, но работы ни в доке, ни в мастерских не оставлял, торопясь наладить судовые машины к навигации.

Конец апреля того же года пароходы засвистели, в море пошли, а мы снесли мужественное отцово тело на вечный отдых.

ДЛЯ УВЕСЕЛЕНЬЯ

Рассказ отца

В. В. Сякину

В семидесятых годах прошлого столетия плыли мы первым весенним рейсом из Белого моря в Мурманское.

Льдина у Терского берега вынудила нас взять на восток. Стали попадаться отмелые места. Вдруг старик рулевой сдернул шапку и поклонился в сторону еле видимой каменной грядки.

— Заповедь положена,— пояснил старик.— «Все плывущие в этих местах моря-океана, поминайте братьев Ивана и Ондреяна».

Белое море изобилует преданиями. История, которую услышал я от старика рулевого, случилась во времена недавние, но и на ней лежала печать какого-то величественного спокойствия, вообще свойственного северным сказаниям.

Иван и Ондреян, фамилии Личутины, были родом с Мезени. В свои молодые годы трудились они на верфях Архангельска. По штату числились плотниками, а на деле выполняли резное художество. Старики помнят этот избыток деревянных аллегорий на носу и корме корабля. Изображался олень, и орел, и феникс, и лев; также кумирические боги и знатные особы. Все это резчик должен был поставить в живность, чтобы как в натуре. На корме находился клейнод, или герб, того становища, к которому приписано судно.

Вот какое художество доверено было братьям Личутиным! И они оправдывали это доверие самой выдающейся фантазией. Увы, одни чертежи остались на посмотрение потомков.

К концу сороковых годов, в силу каких-то семейных обстоятельств, братья Личутины воротились в Мезень. По примеру прадедов-дедов занялись морским промыслом. На Канском берегу у них становая изба. Сюда приходили на карбасе, отсюда напускались в море, в сторону помянутого корга.

На малой каменной грядке живали по нескольку дней, смотря по ветру, по рыбе, по воде. Сюда завозили хлеб, дрова, пресную воду. Так продолжалось лет семь или восемь. Наступил 1857 год, весьма неблагоприятный для мореплавания. В конце августа Иван с Ондреяном опять, как гагары, залетели на свой островок. Таково рыбацкое обыкновение: «Пола макра́, дак брюхо сыто́».

И вот хлеб доели, воду выпили — утром, с попутной водой, изладились плыть на матерую землю. Промышленную рыбу и снасть положили на карбас. Карбас поставили на якорь меж камней. Сами уснули на бережку, у огонька. Был канун Семена дня, летопроводца. А ночью ударила штормовая непогодушка. Взводень, вал морской, выхватил карбас из каменных воротцев, сорвал с якорей и унес безвестно куда.

Беда случилась страшная, непоправимая. Островок лежал в стороне от расхожих морских путей. По временам осени нельзя было ждать проходящего судна. Рыбки достать нечем. Валящие кости да рыбьи черева — то и питание. А питье — сколько дождя или снегу выпадет.

Иван и Ондреян понимали свое положение, ясно предвидели свой близкий конец и отнеслись к этой неизбежности спокойно и великодушно.

Они рассудили так: «Не мы первые, не мы последние. Мало ли нашего брата пропадает в относах морских, пропадает в кораблекрушениях. Если на свете не станет еще двоих рядовых промышленников, от этого белому свету перемененья не будет».

По обычаю, надобно было оставить извещение в письменной форме: кто они, погибшие, и откуда они, и по какой причине померли. Если не разыщет родня, то и, приведется, случайный мореходец даст знать на родину.

На островке оставалась столешница, на которой чистили рыбу и обедали. Это был телдос, звено карбасного поддона. Четыре четверти в длину, три в ширину.

При поясах имелись промышленные ножи — клепики.

Оставалось ножом по доске нацарапать несвязные слова предсмертного вопля. Но эти два мужика — мезенские мещане по званию — были вдохновенными художниками по призванью.

Не крик, не проклятье судьбе оставили по себе братья Личутины. Они вспомнили любезное сердцу художество. Простая столешница превратилась в произведение искусства. Вместо сосновой доски видим резное надгробие высокого стиля.

Чудное дело! Смерть наступила на остров, смерть замахнулась косой, братья видят ее — и слагают гимн жизни, поют песнь красоте. И эпитафию они себе слагают в торжественных стихах.

Ондреян, младший брат, прожил на островке шесть недель. День его смерти отметил Иван на затыле достопамятной доски.

Когда сложил на груди свои художные руки Иван, того нашими человеческими письменами не записано.

На следующий год, вслед за вешнею льдиной, племянник Личутиных отправился отыскивать своих дядьев. Золотистая доска в черных камнях была хорошей приметой. Племянник все обрядил и утвердил. Списал эпитафию.

История, рассказанная мезенским стариком, запала мне в сердце. Повидать место покоя безвестных художников стало для меня заветной мечтой. Но годы катятся, дни торопятся...

В 1883 году Управление гидрографии наряжает меня с капитаном Лоушкиным ставить приметные знаки о западный берег Канской земли. В июне, в лучах незакатимого солнца, держали мы курс от Конушиного мыса под Север. Я рассказал Максиму Лоушкину о братьях Личутиных. Определили место личутинского корга.

Канун Ивана Купала шкуна стояла у берега. О вечерней воде побежали мы с Максимом Лоушкиным в шлюпке под парусом. Правили в голомя. Ближе к полуночи ветер упал. Над водами потянулись туманы. В тишине плеснул взводенок — признак отмели. Закрыли парус, тихонько пошли на веслах. В этот тихостный час и птица морская сидит на камнях, не шевелится. Где села, там и сидит, молчит, тишину караулит.

— Теперь где-нибудь близко,— шепчет мне Максим Лоушкин.

И вот слышим: за туманной завесой кто-то играет на гуслях. Кто-то поет, с кем-то беседует... Они это, Иван с Ондреяном! Туман-то будто рука подняла. Заветный островок перед нами, как со дна моря всплыл. Камни вокруг невысокого взлобья. На каждом камне большая белая птица. А что гусли играли—это легкий прибой. Волна о камень плеснет да с камня бежит. Причалили; осторожно ступаем, чтобы птиц не задеть. А они сидят как изваяния. Все как заколдовано. Все будто в сказке. То ли не сказка: полуночное солнце будто читает ту доску личутинскую и начитаться не может.

Мы шапки сняли, наглядеться не можем. Перед нами художество, дело рук человеческих. А как пристало оно здесь к безбрежности моря, к этим птицам, сидящим на отмели, к нежной светлой тусклости неба!

Достопамятная доска с краев обомшела, иссечена ветром и солеными брызгами. Но не увяло художество, не устарела соразмерность пропорций, не полиняло изящество вкуса.

Посредине доски письмена — эпитафия,— делано высокой резьбой. По сторонам резана рама — обнос, с такою иллюзией, что узор неустанно бежит. По углам аллегории — тонущий корабль; опрокинутый факел; якорь спасения; птица феникс, горящая и не сгорающая. Стали читать эпитафию:

Корабельные плотники Иван с Ондреяном
Здесь скончали земные труды,
И на долгий отдых повалились,
И ждут архангеловой трубы.

Осенью 1857 года
Окинула море грозна непогода.
Божьим судом или своею оплошкой
Карбас утерялся со снастьми и припасом,
И нам, братьям, досталось на здешней корге
Ждать смертного часу.

Чтобы ум отманить от безвременной скуки,
К сей доске приложили мы старательные руки...
Ондреян ухитрил раму резьбой для увеселенья;
Иван летопись писал для уведомленья,
Что родом мы Личутины, Григорьевы дети,
Мезенские мещана.
И помяните нас, все плывущие
В сих концах моря-океана.

Капитан Лоушкин тогда заплакал, когда дошел до этого слова — «для увеселенья». А я этой рифмы не стерпел —«на долгий отдых повалились».

Проплакали и отерли слезы: вокруг-то очень необыкновенно было. Малая вода пошла на большую, и тут море вздохнуло. Вздох от запада до востока прошумел. Тогда туманы с моря снялись, ввысь полетели, и там взялись жемчужными барашками, и птицы разом вскрикнули и поднялись над мелями в три, в четыре венца.

Неизъяснимая, непонятная радость начала шириться в сердце. Где понять!.. Где изъяснить!..

Обратно с Максимом плыли — молчали.

Боялись — не сронить бы, не потерять бы веселья сердечного.

Да разве потеряешь?!

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ СЛАВА

Поморское сказание о Софии Новгородской начинается так: «По слову Великого Новгорода, шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Иван оследил Нехоженый берег. Тут поставил крест, избу и амбар. Тут, кряду, и ход урочный морской...»

Устное слово и письменная память Севера свидетельствуют, что уже в XII—XV веках русские люди своим умом-разумом строили суда «сообразно натуре моря Ледовитого». На этих судах из Белого моря ходили на Новую Землю, на Грумант, в Скандинавию. Уже в XIII веке по берегам и островам Северного Ледовитого океана стояли русские опознавательные знаки — исполинские осьмиконечные кресты. Поперечины креста астрономически верно указывали направление стран света.

Новгородцы и дети их, архангельские поморы, науку мореплавания называли «морское знание», а судостроение обозначали словом «художество».

Еще во времена стародавние северорусские мореходцы стали закреплять свой опыт письменно. Надобно думать, уже в XVI столетии, если не раньше, распространялись среди архангельских поморов эти «уставы морские», «морские указы», «морские урядники» и «книги морского ходу». Это была литература стихийно-народная, самобытно-русская. С глубоким прискорбием надобно отметить, что невнимание, равнодушие, пренебрежение, при содействии всеистребляющего времени, сделали то, что от морской старинной литературы остались одни фрагменты и отдельные устные свидетельства. То, что рассыпано ворохами, приходится собирать крохами.

В этих «морских уставцах», «указцах» обсказаны корабельные маршруты из Белого моря во все концы Студеного океана, на запад, в Скандинавию и «во Всток», к Новой Земле и Печоре.

Практическая часть этих манускриптов вполне соответствует печатным лоциям нашего времени.

Древнесеверная рукописная лоция не только зрительно преподносит береговые попутные приметы, но буквально ощупывает дно морское, с подводными коргами, поливными лудами, яграми.

Старорусские лоции составлялись многоопытными людьми, которые «своими боками обтерли» описанные пути.

Путеводительную часть старопоморской лоции сопровождали иногда «особые статьи» о природе ветров, о распорядке приливо-отливных течений, весьма сложных в Белом море, о том, как предугадать погоду по цвету морской воды, по оттенку неба, по движению и по форме облаков. Эти статьи дополняет «Пловущий ледяной указ, или Устав о разводьях и разделах, како суды ходити и кормщику казати». Здесь говорится о том, что опытный кормщик знает суточное время прохода меж льдов, ибо судоходные разводья во льдах регулярны, поскольку регулярна череда суточных морских приливов и отливов.

Архангельские поморы досконально изучили «мудреный обычай» своего моря. Вот записанные Н. И. Рождественской слова мезенского крестьянина Малыгина:

«В нашей местности (Койденский берег) разное течение воды у прилива и отлива. Три часа идет в нашу сторону, на полунощник (северо-восток). Потом три часа идет в шелоник (юго-запад). Так ходит и прибылая и убылая вода. От берега в голомя, на Моржовец вода компасит: два часа идет под полунощник, потом под всток идет три часа, потом под юг около трех часов, потом под запад идет четыре часа.

Опытно знаем, по компасу сверено...

Хождение воды в ту или другую стороны, на убыль или на прибыль, и у Кедовского берега бывает не круто и не тихо. В послонке вода идет кротко, а у Воронова Носа прилив и отлив ходит яро — волну разводит».

Подобное описание пульсации морских течений содержат и письменные памятники.

Другим видом северной народной литературы является письменное закрепление морских правовых обычаев. На основе уставных правил, корни которых уходят во времена новгородские, регламентируются не только практически-деловые, но и нравственно-моральные отношения мореходцев-промышленников и друг к другу и к обществу.

Эту древнюю юриспруденцию содержит, например, «Морской устав новоземельских промышленников».

Выдержки из другого подобного сборника, именуемого «Устьянский правильник», напечатаны в этой книге.

В рукописном сборнике XVIII столетия, вслед за статьями Никодима Сийского «О различных художествах», вписаны рассказы о кормщиках Иване Порядинке (Рядинке) и Маркеле Ушакове. Это как бы особый вид бытовой литературы Севера — своеобразная морская антология.

Церковный раскол, возникший в России во второй половине XVII века, был в значительной мере формой народного протеста против «сильных мира сего», против царского правительства. Вспомним сочувствие «староверия» Степану Разину и Емельяну Пугачеву.

На Севере в XVIII веке, в эпоху морального подчинения Западу, раскол носит черты своеобразного патриотизма.

В противовес мнению высшего общества, будто «русские всегда были во всем невежды», поморские писатели того времени прямо или косвенно старались напомнить о том, что у русского народа есть славное историческое прошлое.

Архангельские поморы-корабельщики, памятуя былую славу, обижались на Петра Первого за его увлечение голландцами и немцами.

Современник Петра поморский деятель Андрей Денисов, сказывая поздравление выгорецкому судостроителю Бенедикту, говорил:

«Полунощное море, от зачала мира безвестное и человеку непостиж-

ное, отцев наших отцы мужественно постигают и мрачность леденовидных стран светло изъясняют.

Чтобы то многоснискательное морское научение и многоиспытное умение не безпамятно явилось, оное сами те мореходцы художно в чертеж полагают и сказательным писанием укрепляют» *.

По поводу указа Петра Первого, повелевающего строить суда исключительно по голландскому образцу, архангельский мореходец Федор Вешняков в своей «Книге морского ходу» рассуждает: «Идущие к Архангельскому Городу иноземные суда весною уклоняются от встреч со льдами и стоят по месяцу и по два в Еконской губе ** до совершенного освобождения Гирла *** от льдов. Пристрастная нерассудительность поставляет нам сии суда в непрекословный образец... Но грубой кольской лодье и нестудированной раньшине некогда глядеть на сей стоячий артикул. Хотя дорога груба и торосовата, но, когда то за обычай, то и весьма сносно... Чаятельно тот новоманерный вид судов определен на воинской поход и превосходителен в морских баталиях. Но выстройка промышленного судна, в рассуждении шкелета или ребер, хребтины или киля, образована натурой моря ледовитого и сродством с берегом отмелым».

В конце концов царский указ оказался бессильным перед... натурой моря ледовитого. Постройка лодей продолжалась до конца XIX столетия.

Поморяне это говорили не к тому, чтобы спорить да вздорить, но к тому, чтобы не обидно было жизнь строить.

Раскольник Ушаков и гонитель раскола холмогорский архиепископ Афанасий забывали распрю о вере, коль скоро дело касалось любезного им мореходства или судостроения.

Афанасий яростно не любил староверов; во времена знаменитого диспута о вере в Москве, в Грановитой палате, в 1673 году, Афанасий Холмогорский, как гласит протокол: «Слупил с божественного старца Никиты портки и рясу». В свою очередь божественный старец выдрал у архиепископа полбороды.

Тем не менее, узнав о смерти Маркела Ушакова, Афанасий выразился так:

«Сей муж российскому мореходству был рожденный сын, а не наемный работник».

Холмогорский архиепископ Афанасий (годы его жизни — 1640—1702) принадлежит к числу старинных русских самобытных картографов. Морские карты, или, как их называли в старину, «морские чертежи», были интереснейшей отраслью древнерусского «морского знания».

Еще на заре XV века новгородец Иван Амосов «по силе счислил и сметил» свои морские походы и начертил «Обод», то есть контур, Белого моря.

К середине XVI века соловецкий монах Филипп Колычев «много ревность имый еже в чертеж сложити путь морской... Но и от мореходцев неутомленно истязаше о ходех корабельных... И те мореходцы ему свои походы сметывают. И он, Филипп, ту смету счисливал в чертеж».

В начале первой мировой войны, в Соловецке, автор этих строк калькировал «чертеж морской», по местному преданию, сделанный рукой

---

* Из поморской рукописи XVIII века, содержащей «примеры для поздравительных случаев».

** Становище Еконга в восточной части Мурманского берега.

*** Горло Белого моря.

Филиппа Колычева. В монастыре имелись архитектурные чертежи, план системы каналов, подписанные автором, игуменом Филиппом.

По свидетельству И. М. Сибирцева *, почерк архитектурных и ирригационных чертежей совершенно тождествен с почерком пояснений к «морскому чертежу».

В XVIII веке художественными и тщательными «переводами» (копиями) с древних морских чертежей (преимущественно соловецкого происхождения) славилось Выгорецкое общежительство **. Ф. Вешняков замечает:

«Надлежит смотреть, чтобы девки (мастерицы) не пестрили полуночного круга корунами и лицами». То есть не украшали белых мест на карте орнаментальной живописью. Вешняков заботился об этом на тот случай, что заказчик может нанести на «белые» места опыт своего путеплавания... Возникает недоумение: как же Петр из-за чужих деревьев своего русского лесу не видел?

Недоумение наше малое и худое. Петр был человек страстный и пристрастный. Пристрастие его к голландскому «штилю» покрывает страстная и плодотворная его деятельность. Деятельная натура Петра Первого была сродни натуре архангельских поморов. Вот почему так любил Петра старовер Маркел Ушаков и таким рьяным сторонником петровских реформ был не любивший иноземцев холмогорский архиерей Афанасий.

Ум архангельского помора никогда не был косным и неподвижным. Автор «Малого Виноградца» характеризует «судостроительное художество» Ушакова так:

«Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям. Ушаковские суда заморские *** обдуманы по чертежу...

...Ушаков был ученик нехудых учителей и не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытно, чая пользы своему любезному художеству».

Петр жаловался: «Я один тащу воз в гору, а миллионы под гору».

Не Маркелы Ушаковы и не Федоры Вешняковы тащили воз под гору. Дело Петрово исказили господа, залакированные под Европу, не помнящие родства, но задававшие тон.

Во второй половине XVIII века заявлять о том, что у русских существует своя морская культура, уже считалось конфузным.

Федор Вешняков приводит такой факт: «У допросу от коммерц-конторы: куда которые суда ходили, я и похвалился своеручным чертежом. Да и ушаковский объявил, Новоземельской. Господин Присутственный смолчал, а конторские опосле говорят: «Для приезду господина члена ты бы постыдился карбасное-то художество казать. Соблюдал бы в сундуке».

Упрятанная в сундуке древняя и оригинальная картография русских поморов была забыта.

Самый стиль, самая внешность древних «морских чертежей» оскорбляли вкус помпадуров XVIII века. Все, что было сделано в русском народном стиле, определялось выражением: «в подлом вкусе».

---

* И. М. Сибирцев — учредитель епархиального древлехранилища в Архангельске.

** Поморские скиты на реке Выг, впадающей в Белое море.

*** То есть предназначенные к дальнему плаванию, за границу.

Вот почему первым картографом побережий Северного Ледовитого океана стали считать голландца Ван-Клейна. Между тем Ван-Клейн издал свой атлас только около 1600 года и пользовался для своей работы поморскими чертежами. Там, где у Ван-Клейна не хватало русских данных, чертеж его фантастичен.

В конце XVIII века в Петербурге предпринято было печатание Карты Русского Севера. Петербургские картографы рабски скопировали неверную голландскую карту. Тупоумие дошло до того, что даже искажения русских названий целиком перенесены были на «русскую» карту. Вместо «Канин Нос» на «русской» карте XVIII века напечатано «Канди Нес», вместо «Святой Нос» — «Свети Нес» и т.п.

Пренебрежение к многовековому опыту поморов было так велико, что «русский генерал» Ф. Литке (XIX век) предпочел блуждать у Новой Земли в поисках Маточкина пролива, нежели «оконфузить себя услугами мужиков», то есть поморов, досконально знавших Новую Землю.

В конце концов в сознании русского общества исчезло всякое представление о том, что на Севере существовала большая морская культура.

Ведь мало ли в матушке-России всяких промыслов? В Кимрах шьют сапоги, в Вязьме пекут пряники, иные лепят горшки, плетут лапти, ткут рогожи. А поморы ловят рыбу. Что тут удивительного или особенного?

Древние документы, письменные свидетельства о северном мореходстве исчезали, терялись, утрачивались, оставались в безвестности, потому что люди науки не спрашивали о них, не искали, не собирали их.

Старинные виды морской литературы уничтожались забвением и временем. Но сохранилась у помора как бы врожденная потребность или привычка записывать события, хотя бы личной жизни, которые казались достопамятными. Отсюда характерное для Севера явление: каждый «архангельский мужик» непременно носит с собой записную книжку.

Во второй половине прошлого столетия в Архангельске жил некто Шмидт. Дворовые постройки своего дома он превратил в своеобразный музей. Здесь сохранялись своеобразные «памяти», оставленные погибшими где-нибудь «на голодном острове» или «в относе морском» промышленниками.

Перед лицом неизбежной смерти промышленник вырезал ножом на бортовине судна или на дверях, на столешнице промысловой избы сведения о себе, о погибших товарищах. Здесь и деловитое завещание о долгах, «кому что дать и с кого что взять», здесь и отцовское благословение, и «последнее прости» жене.

Даты памятных досок доходили до середины XIX столетия.

В 1862 году мещанин посада Неноксы Афанасий Тячкин описывал историю гибели своего карбаса в обстановке, довольно неподходящей для литературной работы... Лихая непогода уже несколько дней носит по Белому морю опрокинутый вверх дном карбас. Большая часть людей утонула. Мещанин Тячкин, уцепясь ногами за киль, то погружаясь в ледяную воду, то всплывая, выцарапывает шилом на днище карбаса обстоятельное донесение о причинах гибели груза и людей. Конечно, при более человеческих обстоятельствах поморы пользовались пером и бумагой.

Всем, кто бывал на Западном Мурмане, напомню высеченную на большом камне малого островка изящную узорную надпись:

«Горевал Гришка Дудин. 1696 год».

Лодья Дудина отстаивалась здесь от шторма, и Дудин украсил пустынную морскую скалу изящной резьбой.

В Эрмитаже хранится кубок старинной холмогорской работы, вырезанный из мамонтовой кости. Резьба производит впечатление тончайшего кружева. По венцу кубка идет надпись: «На посмотрение будущим родам».

Эта любовь к достопамятности, это стремление увековечить явления живой жизни в большой мере свойственны были людям Севера. Не потому ли Северный край так долго являлся единственным хранителем русского национального эпоса?

Здесь приходится погоревать и позавидовать вот о чем: на Север с половины прошлого столетия стали приезжать специалисты по собиранию былин, специалисты по собиранию сказок и песен, специалисты по народному прикладному искусству.

В двадцатых годах Север объезжали командированные Институтом материальной культуры специалисты по собиранию и описанию оловянной посуды: кроме оловянных ложек и плошек, они не глядели ни на что!

Но, увы, никогда-никогда на Север не приезжали люди, которые настойчиво, целеустремленно спрашивали бы, искали бы, собирали бы специально морскую письменность.

Никто никогда не внушал поморам, что все «морские уставцы», «урядники», «лоции» важны для науки и имеют историческое значение. Никто специально не записывал и устных преданий, устных рассказов о славных мореходцах, об именитых судостроителях.

А ведь жизнь не стоит на месте. Забывается не только все ветхое и бесполезное, но и то, что интересно для истории, для живой науки.

Я говорил о старинных видах северной морской литературы, об уставах, урядниках, указцах, лоциях, сказаниях и т. п.

Может быть, позднейшим видом морской народной литературы Севера можно считать записные книжки поморов. Даже в начале века XX любой кормщик-шкипер, мурманский промышленник, корабельный мастер, пароходский служащий непременно имел при себе записную книгу, достаточно объемистую. Сюда заносились сведения, например, о вскрытии Северной Двины. Тут тщетные арифметические выкладки с целью сообразить, почему при расчете с хозяином он не только ничего не получил, а еще остался должен «три рубли».

В записных книжках, например, восьмидесятых годов общедоступность и дешевизна постройки деревянного парусного судна сравнивается с неприступною дороговизною постройки парохода.

Нередки в этих книжках описания штормов или «любознательных случаев», «морских встреч». Нередки записи преданий, связанных с тем или другим местом попутного берега.

У какого-нибудь старого мореходца таких записных книжек накоплялось немало. После его смерти они выносились на чердак или поступали в распоряжение ребят, которые заполняли своими каракулями свободные места.

Здесь было упомянуто, что историческая наука морской историей Севера специально не занималась, а наука географическая упоминала о северном мореходстве и судостроении вскользь, наряду с бесчисленными «местными» кустарными промыслами деревенской России. Но все же в силу какой-то интуиции в среде «морского сословия» «свеча не угасла». Сознание, что «морское преданье и морское писанье» для чего-то важны и

кому-то нужны, теплилось в среде беломорских мещан и крестьян. В начале XX столетия в Архангельске еще немало было «домов» или семейств, хранивших память о славных мореходцах и судостроителях. Были в среде моряков, пароходских служащих, в среде судостроителей отдельные лица, любители морской старины, собиратели морских преданий.

Я, пишущий эти строки, родился в Архангельске, в семье «корабельного мастера первой статьи», и половину жизни провел в среде людей, прилежащих мореходству и судостроению.

Отец мой принадлежал к числу тех поморов, которые никогда не расставались с записной книжкой. Виденное и пережитое, слышанное и читанное отец умел пересказать так, что оно навсегда осталось в памяти у нас, его детей.

Отменной памятью, «морским знаньем» и уменьем рассказывать отличались и друзья отца, архангельские моряки и судостроители М. О. Лоушкин, П. О. Анкудинов, К. И. Второушин (по прозванию Тектон), В. И. Гостев. Кроме того, что каждый из поименованных имел многолетний мореходный опыт, каждому из них сословие наше приписывало особый талант.

Пафнутия Анкудинова и в морских походах и на звериных промыслах знали как прекрасного сказочника и певца былин. Умел он также петь по-древнему, по древним «крюковым», знаменным книгам *.

Виктор Шергин мастерски изготовлял модели морских судов. Был любитель механики. Любовь к слову сочеталась с любовью к художеству. Двери, ставни, столы, крышки сундуков в нашем доме расписаны его рукой. В живописи своей отец варьировал одну и ту же тему: корабли, обуреваемые морским волнением.

Корабельный мастер Василий Гостев сохранял в искусстве своем лучшие традиции северного судостроения. Конон Тектон говорил о Гостеве: «Я в его меру не дошел». Знание Василия Гостева творчески унаследовал сын его. Этот Гостев-сын является в наши дни видным представителем деревянного судостроения.

В противоположность собратии своей, жившей интересами и бытом своего морского сословия, Максим Осипович Лоушкин был, так сказать, человеком светским. Имел чин «капитан дальнего плавания». Картинные рассказы Лоушкина о жарких странах больше всего интересовали его слушателей. Свое, северное, казалось нам будничным. Даже наезжавшие в Архангельск писатели требовали от Лоушкина рассказов о кругосветном плавании. С просьбой рассказать что-нибудь в этом роде обратился к Лоушкину и Новиков-Прибой.

— Когда я был в Марселе...— начал Лоушкин.

— Я тоже был в Марселе,— перебил его Новиков-Прибой.

— А были, дак вы и сказывайте,— отрезал Максим Осипович и замолчал.

* * *

В настоящей книге приведено несколько моих пересказов слышанного в свое время от Максима Осиповича Лоушкина о старинных северных мореходцах. К морской старине Лоушкин относился с большим интересом — чувствовал, что познания его в этой области важны и нужны.

---

* Нотная система, бывшая в общем употреблении на Руси до XVIII века.

У Лоушкина были своеручные чертежи путеплаваний его по Ледовитому океану. Интересовался М. Лоушкин и старинными картографами. По поручению Лоушкина автор этих строк незадолго до первой мировой войны делал копии с Соловецких морских чертежей.

Уже в годы гражданской войны я брал у М. О. Лоушкина для прочтения и переписки «Устьянский пра́вильник», выдержки из которого приводятся ниже.

В девяностых годах М. О. Лоушкин был капитаном морского судна, с которого архангельский губернатор Энгельгардт обозревал берега подведомственной ему губернии.

Увидев, что губернатор ведет путевые записки, капитан Лоушкин возблагодарил Бога: «Наконец-то на жизненном пути встретился человек не только влиятельный, связанный с Петербургом, но и ученый!» При всяком удобном случае дальновидный Максим Осипович начал внушать «его превосходительству» о древности северного мореходства.

Зимою Максим Осипович хвалился перед приятелями:

— Я себя не сконфузил. Энгельгардту неинтересно слушать о голых алипутах Африки. Он сам это видел. А вот встретили мы у Терского берега лодью, и я говорю: «Обратите внимание, ваше превосходительство, на этот тип судна. Это праотцы российского флота». И начну ему сказывать от книг, от старых, что помню.

— А он что, губернатор?— осведомляются слушатели.

— Он на ус мотает. Вот увидите, друзья, и наше сказанье попадет в писанье.

В 1896 году вышла книга Энгельгардта «Северный Край», посвященная его путешествию по Северу. Упомянул ли автор вдохновенного помора Лоушкина, вспомнил ли его сказания? Вспомнил и упомянул в двух словах:

«...наше судно вел М. Лоушкин, любитель поболтать».

— Знать, час наш не пробил,— вздохнули поморы.

Приблизительно в 1900 году в Архангельск пришла весть из Норвегии, что послы «Петербургского комитета помощи поморам» обивают пороги у норвежских судостроителей. Просят сочинить проект промышленного парусного судна, по которому могли бы учиться русские судостроители-поморы.

Слухи оказались верными. Уполномоченный Комитета Брейтфус привез норвежские чертежи в Архангельск. На собрании поморы задали Брейтфусу ряд вопросов:

— Зачем было ходить на поклон к варягам? Разве на севере России нет своих опытных судостроителей?

— Заказывая иностранцам проект промыслового судна, имел ли Комитет понятие, что таковому судну не должно чуждаться льдов, ни бояться заходить в отмелый берег?

Эти принципиальные вопросы поставлены были плеядой М. Лоушкина, и они остались без ответа.

Зато Брейтфус говорил о том, что и «ваш великий земляк Ломоносов ездил учиться в Германию. И великий Петр учился кораблестроению у голландских мастеров».

— Вы, поморы,— говорил Брейтфус,— плаваете по памяти, по дедушкиным приметам, а на Западе уж за сотню лет существует морская наука и морские книги...

Максим Лоушкин не стерпел, прервал оратора:

— Господин Брейтфус,— загремел старый помор,— а не будут ли наши морские книги постарше западных?!

С этими словами он выложил на стол древний рукописный морской устав.

Брейтфус был приятно удивлен, но, очевидно, все еще не пришел час, чтобы петербургская наука обратила внимание на свидетельство поморов, опросила бы их и занялась собиранием древних поморских документов.

Через несколько лет, когда в Петербурге подготовлялись к печати лоции Мурманского моря, Белого моря, в Архангельск приезжал составитель лоций Арский (или его сотрудник). Секретарь Губернского статистического комитета Голубцов с энтузиазмом отыскивал для них по городу поморские рукописные лоции.

Некоторый отзвук о том, как использовала комиссия Арского материал Голубцова, отзвук невнятный и односторонний, привелось мне услышать уже после революции там же, на родине, на выставке, посвященной культуре Севера.

Среди пышно разрисованных книг выгорецкого письма XVIII века выделялись скромным своим видом «Книга морского ходу» Федора Вешнякова и «Лоция» Ивана Лодемского.

Из случайного разговора я узнал, что как раз из этих тетрадей были некогда сделаны выписки сотрудником Арского. Но в печатном издании первоисточники не названы.

Опять, значит, если «наше сказанье и попало в писанье», то без помину запечатлено, скрыто в литературном изложении.

К рукописной литературе Севера я никогда не подходил как историк-исследователь. Я не на том коне ехал. В юности выискивал в старой книге живой фабульный рассказ. Постепенно начал я замечать и ценить образность и оригинальность языка. В старых книгах замечал только картины живой жизни, старался увидеть живых людей.

В силу такого моего умонастроения любое северное предание, слышанное из живых уст, запечатлевается во мне ярче и сильнее, чем любой письменный документ.

Да и все мы, младшее поколение «морского сословия», любили больше устный пересказ, то есть предание, а не писание.

Но и учителя наши, скажем, Лоушкин и Анкудинов, хотя и верно передавали «вытверженное по тетрадям», но зачастую тетради эти были в их руках лет пятьдесят назад. И хотя Лоушкин сохранял в передаче, скажем, «Софии Новгородской» славянизмы «абие», «бысть», «убо» и т. п., все же это было уже «устное предание».

Будучи таким же начетчиком, как Лоушкин, Анкудинов любой книжный текст излагал живой, искрометной северной речью. Рассказы Анкудинова о морской старине, взятые из морского писания, звучали совершенно так же, как его былины и сказания. Но дух истории, как старое вино, благоухал в рассказах Пафнутия Анкудинова.

В нашей семье рассказывали, что какие-то «одновытные чиновники», слушая Анкудинова, отозвались: «Не знаем, богослов ты или баснослов. Кому такое нужно?»

Анкудинов отвечал словами былины:

Я сказываю нашему морю на утишенье,
Добрым людям на услышанье,
Пустоперым воронам на пограянье,
Лайчивым псам на полаянье.

Ярким представителем «морского сословия» в следующем поколении, человеком, остро чувствовавшим богатство северной культуры, был известный мореходец-полярник Владимир Иванович Воронин. Деятельность его принадлежит советской эпохе, и в нашем поколении он, может быть, больше всех знал и живее всех умел передать унаследованное от отцов художественно-историческое слово.

Недалеко от Сумского посада, родины Воронина, находился скит, богатый рукописными книгами. Еще в молодые свои годы, собираясь писать историю родного берега, В. И. Воронин говорил:

— Соловецк, Пертозеро, Сорока — вот мои архивы.

Отцы наши поморы не дожили, не дождались того времени, когда русское имя вновь станет «честно и грозно от Запада оли до Востока».

Но отцы северного мореходства не завещали ли нам рассказать о них?

Если ты северному мореходству рожденный сын, а не наемный работник, засвидетельствуй свое сыновство, свою любовь к Родине сказаньем и писаньем.

Если я рассказал мало и неполно или что забвеньем спутал, и ты, земляк мой, архангельский помор, исправь и дополни. Подкрепи свидетельством своим мою скудость.

СОФИЯ НОВГОРОДСКАЯ

Сказанье о Софии «вытвердил по книгам» М. О. Лоушкин. Со слов Лоушкина вытвердил этот рассказ и я.

Видно, что новгородцы были не худого о себе понятия, если даже хозяйственную свою статистику поручили вести божеству.

Известно, что о московской вере, о московских святых новгородцы отзывались с кислецой. Впрочем, оговаривались:

— Никого не боимся, только Рыжебородого боимся.— Под Рыжебородым они разумели Сергия Радонежского, одного из организаторов русского национального сознания.

Но собирательница Руси, Москва, в конце концов похвалилась:

— Московские чудотворцы перекóкали новгородских!

По слову Великого Новгорода шли промышленные лодьи во все концы Студеного моря-океана. Лодьи Гостева сына Ивана ушли дальше всех. Гостев оследил нехоженый берег. Тут поставил крест, и избу, и амбары. Учредился промысел, уставился ход лодейный, урочный. Лодьи с промыслом Гостев сам вздымал до Русского берега. В урочные годы допровадит товар и до Новгорода. Отделав дела, пойдет в соборную божницу кланяться божьей мудрости Софии Новгородской. Да и опять к морю, опять ветры-туманы, паруса да снасти.

Вечно ходит солнце со встока в запад. Гуси и гагары с теплом летят в север, с холодами — в юг.

Тем же обычаем сорок лет мерил Гостев Иван неизмерное море. Сочти этот путь и труд человеческий!

Уже честная седина пала в бороду Гостева, и тут прямой его ум исказила поперечная дума: «Берег я прибрал себе самый удаленный, путь туда грубый и долгий. Не сыскать ли промысел поближе, чтобы дорога была покороче...».

В таком смятении ума стоит Гостев у кормила лодейного: «Кому надобны неиссчетные версты моих путеплаваний? Кто сочтет морской путь и морской труд?»

...Перед глазами бескрайное море, волны рядами-грядами. И видит Гостев: у середовой мачты стоит огнезрачная девица. У нее огненные крылья и венец, на ней багряница, истыканная молниями. Она что-то считает вслух и счет списывает в золотую книгу.

— Кто ты, о госпожа?— ужаснулся Гостев.— Что ты считаешь и что пишешь?

Девица повернула к Гостеву свое огненное лицо. Ответ ее был как бы говор многих вод:

— Я премудрость божья, София Новгородская. Я считаю версты твоего морского хода. О кормщик! Всякая верста твоих походов счислена, и все пути твоих лодей исчислены и списаны в книгу жизни Великого Новгорода.

— Ежели так, о госпожа,— воскликнул Гостев,— то и дальше дальних берегов пойду и пути лодей моих удвою!

«УСТЬЯНСКИЙ ПРА́ВИЛЬНИК»

В северо-русском промышленном мореходстве издревле существовало «обычное право», своеобразная юриспруденция, определяющая профессионально-деловые, а также морально-нравственные отношения промышленников друг к другу. Иногда эти жизненно-деловые отношения закреплялись письменно. Таков «Морской устав» новоземельских промышленников. Как бы дополнением к нему может служить «Устьянский пра́вильник».

«Устьянский пра́вильник» представлял собой главу рукописной книжицы (или тетради), писанной почерком XVIII века. К пунктам правил, касающихся мореходно-промышленной среды, приписаны правила общечеловеческого поведения: о том, как молодой человек должен вести себя в присутствии стариков, о вреде пьянства. Подчеркивается, что если старший велит тебе идти с ним о правую руку или посадит тебя с правой стороны, то этим он оказывает тебе честь. Если женщина сидит, положив «нога на ногу», этим она навеки уронит себя в глазах общества.

Чрезвычайно интересна психология тех «устьянских» правил, где расцениваются поступки бедняков по отношению к богатым.

Если ты, не стерпев вдовьих и сиротских слез, будешь красть для этих сирот у богатого, то в этом нет греха. Поступок похвальный, но половину хвалы пусть получит и невольно пострадавший богач.

Другое постановление: если горькие, нищие люди обокрадут богатого и он не только не подаст в суд, но даже не потужит об утере, то такое разумное поведение Христос зачтет богачу за добровольную милостыню.

Имеется любопытное объяснение, почему Никола (покровитель мореходства) имеет титул или прозвище — «скорый помощник». Оказывается, когда молишься Богоматери и разным святым, они твою молитву понесут к Богу, и уже от Бога ты получишь милость. Но Николе «вперед милость дана», то есть Николе отпущен от Бога как бы лимит. Этим лимитом Никола распоряжается непосредственно, без докладов и волокиты.

В статье «О Хмелю» упоминается Никодим Сийский, автор трактата о «разноличных художествах». Никодим был родом с Онеги, в XVII веке именит был по всей Северной Двине как искуснейший живописец.

Что касается заглавия «Устьянский пра́вильник», то, не имея сейчас под рукою оригинала, трудно судить, все ли заглавие рукописи было мною списано. С другой стороны, и составитель (компилятор-копиист) XVIII века выписки свои озаглавливал очень кратко: «Никодимово» (правило), «Геннадиево», «Соловецких»...

Сия книга устав,
Помните добрый нрав,
Како у моря жити:
Чтобы Бога не гневити
И люди не смешите.



Мореходством нашим промышляем прибыль всем гражаном... Не доведется таковую степень тратить...

Держитеся гораздого сего обычая. Не разорите мореходства доброго уставы.

...Сказали Звенило Ластольцу:

— Три чина мореходца — когда придет морская напасть и бороться с нею веселяся. Второе — когда ходит в послушании доброму кормщику...

Собери умы свои и направи в путь. Горе, когда для домашних печалей ум мореходцу вспять зрит.

Ежели покоренье навклиру (кормщику) напоказ содержится, а внутрь молва и мятеж, то ждет нас беспромыслица.

Кода дружина слушает слово твое всем сердцем, знай, что ты отвечаешь за них перед Богом.

. . . .

Ежели переступил устав и учинил прошибку, не лги, но повинись перед товарищи и скажи: «Простите меня!» — и огрех мимо идет.

Ежели кто сделал ошибку, и бедственную, но понял ее, и повинился, и исправился, не могите напомянуть ему о ней.

. . . .

За которым человеком сыщется какое воровство или татьба или какое скаредное дело, кто сироту обидит или деньги в рост давал, того в промышленный поход не брать.

. . . .

И хотя принятые бедственные люди промышляют из-за хлеба и доли не просят, но, по превосходному разуму, долю им дать.

. . . .

...От веков повелено начатки промыслу нищим давать, мореходных и промышленных людей вдовам и сиротам. Зверя давать мерного, а не детыша. И кожа чтобы не резана, не колота.

Которые от многия службы морские пришли в глубокую старость, давать по тому же.

В бочках пропащую рыбу сиротам не давать, а добрую себе не оставлять. (Люта неистовая жадность. Сытости не имеет деньголюбивая душа и на последнее зло идет.)

Кто свою братью, морскую сиротину, в пир созвать постыдится, того устыдится Христос на суде своем.

Дочку или племянницу хромую или кривую подчиненным и меньшим людям не навязывать. Гораздых девок в господу * не пихать.

. . . .

В который берег жилой придешь, где никого не знаешь, то и меньшим себя честь оказывай, как старшим.

В чужих городах не летай глазами туда и сюда.

В чужих берегах будь от баб воздержателен.

. . . .

В пустых берегах, в становых избушках, где оследиться привелось, оставлять хлебов, муки и, по силе, всякого припасу на произволящих людей. По изможенью печь поправить, дров собрать и наколоть. И огнивцев, и кудельки оставить. Что здесь о терящем человеке попечаловал, то о тебе в ином месте люди вдвое порадеют.

. . . .

Когда идешь со старшим, не опережай его.

Беседуя со старшим, не сядь, пока не повелит сесть.

И, рассмеявшись, не кажи зубы.

. . . .

О, человече! Лучше тебе дома пó миру ходити, куски собирати, нежели в море позориться, переступая вечную заповедь морскую.

Аще кто, радея о нищих, а самому подать нечем, и он украдет у богатого и даст убогому, то несть грех. Но с полдобра вменит Бог и богатому.

Которого богатого человека обокрадут. И утеря явится велика. Но он не потужит и не поклевещет, то утерю вменит ему Христос в милостыню.

О ХМЕЛЮ

Всем ведомо и всему свету давно проявлено, какая беда пьянство. Философы мысль растрясли и собрать не могут. Чины со степеней в грязь слетели.

Крепкие стали дряблы, надменные опали. Храбрые оплошали, богатые обнищали.

...Вняться надобно всякому мастеру, какова напасть пьянство. Ум художному человеку сгубит, орудие портит, добытки теряет. Пьянство дом опустошит, промысел обгложет, семью пó миру пустит, в долгах утопит. Пьянство у доброго мастера хитрость отымает, красоту ума закоптит. А что скажешь — пьянство ум веселит, то коли бы так кнут веселил худую кобылу.

. . . .

* В сословие господ.

ИЗ РУКОПИСИ
«СИЯ КНИГА — ЗНАНИЕ» ИВАНА ДМИТРИЕВА

Весною и летом наибольшую непогоду в Белом море разводит ветер-полуночник. Из окияна ударит в Горловину, что в трубу, вырвяся, катит взводень серединою Белого моря в запад.

Сей ветер можно предусмотреть по внезапной иногда смене теплого воздуха на холодной.

Но ежели в море потеплеет, жди ветра с лета.

Когда в ведрие явитца в морских далях бус или туск, жди сиверных ветров.

Ежели при тумане возьмется полуночник, то он этот туман скоро пронесет.

В те же месяцы, кроме полуночника, вздымает волнение северо-запад.

А правит с Кандалацкой губы на Летний берег через все море. И в просторном месте силой не уважит полуночнику.

Полуночник и север забирают державно середу морскую, в губы хватают только в широких местах. В Онежской губе, по-за Кий-остров, эти ветры великих непогод не разведут. А в Кандалацкой губе, за множеством островов, взводню негде разгуляться. Разве северо-запад подымет зыбь, и то необидну.

Ветры, дуючи с лета и с полдня, порухи мореплавателю не чинят. Но шелоник, бойко задевая середу морскую, разводит толкунцы. Под Терским берегом не допущает карбасо́в в речные устья.

В полном море, что сивернее, то велики непогоды живут подолгу, но бывают редко. А что южнее, непогодушка гостит не долго, но жалует часто.

В губах морских Двинской, Онежской, Кандалацкой и у Летнего берега, в межоное время, полное отишие стоит подолгу — по четыре, по пять ден и по неделе. В северных губках полное безветрие кратковременно.

В ведрие любой крутой ветер к паужне отишит, а к ночи пропадет. В ненастье ветер что к ночи, то сердитее.

Невеликая зыбь, которая во время тишины покатится с какой-либо стороны моря, нередко предвещает великую непогоду с той же стороны.

Зверь морской зачнет играть-плескать к ветру ж.

Закипела в море пена — будет ветру перемена.

В широком раздолье полого моря волна ходит порядливо, грядами-рядами, слушая ветра. По губам волна не столь сурядна. Тому пример Мезенская губа: здесь море не может нарядить правильного волнения за множеством отмелых мест и по причине разительной смены большой и малой воды.

Идучи морем, непогоды не брани и тиха не хвали.

В ненастливой, облачной день, с каковы стороны небо зачнет чистить, с той стороны жди ветра.

С каковы стороны из-за моря полетят, как перья, завивные облака, с той стороны ударит непогода.

Потому ж с каковы стороны пойдет облак как бы сенными кучами, оттуда будет ветер.

Ежели ветер, переходя от места к месту, идет посолонь, то к ведрию и отишию. А когда, дуючи, идет против солнца, то к ненастью и к непогоде.

Краснооблачный закат предвещает ветер.

Того важнее укараулить утренний рассвет, красный туск которого справедливо беспокоит мореплавателя.

Тусклый, белесо-желтый закат объявляет дождь назавтрие...

О туманах. При начале зимы вода в Белом море долгое время живет теплее воздуха. К весне морская вода долго содержит мороз. От сей разницы приражается туман. От сей же причины осенью льдина набирает толщину сверху, а к весне снизу.

Утренний бойкий ветер заподымает туман кверху — будет идти благоприятно.

А с вечера добра примета, когда туман ходит низом.

Ежели перед обеденным временем туман поредеет, то по обедах его совсем пронесет. Ежели туман до обедов не пошевелится, в тот день жди дождя.

Весною и летом бедовой туман заносит в Белое море ветер-полуночник. Сей ветер, взявшись с окияна, гонит бусую мглу в запад, на губу-Онегу и на Кандалакшу...

О зиме и о льдине. Смотря по зиме, Двинская губа оденется льдиною не ранее Михайлова дни... В морском россоле льдина долго живет тоща; и чтобы мороз хватил широко, надобно долгое безветрие. Поначалу округ всего моря, с берега установятся припаи, каковая кромка в ширину дойдет пять-шесть верст. Зимние морские непогоды накидывают на края припая торос свыше тороса.

Но возьмется ветер западный с дождем, эти ледяные города обломит и погонит в море. Двинской губой сегодня на полозьях да в санях, а мокрый запад приударил, и ты опять на карбас да за весла.

Но не только оттепель, даже лютый всток, кующий берега, не дает замерзнуть морю, разводя неистову погодушку.

А широта морская во всю зиму не становится ни на единый день. В морозное безветрие прихватит местом, а найдет больша вода на малую, всё приломает. И у ветров здесь зимой такое поведение, что чистить середу морскую. Гулящий взводень носит льдину к берегам. Побережник-ветер тоже чистоту блюдет, что метлою берег-от опахивает, несурядну торосину посылает прочь. Не спят ветры, не спит море.

При конце зимы тем гулящим торосом наше море не бедно.

Многа она, стадна льдина-матушка. Во своем море не столь груба, а в окияне страшно с торосом со становым за ручку поздороваться. У станового тороса плывущего видно только верховище, а вся нога в водах. По образу верхушки должно разгадать, широка ли нога. Садкое судно близко не води.

Молодая льдинка осенью твоего судна боится, что тонка и хила. А весною ты ее боишься: отечную матерую старуху толкнешь, она тебе ребро и бортовину выломит.

Пловущее ледяное согласие можно предугадать, еще не видя оного: в морской дальнозрачности объявится туманец, как белая городовая стена.

В облачное время белйжна движущих полей, еще никем незримых, уже дает всем зримый отблеск на небесный туск. Еще льдина за морем, а отсвет в небе знатен.

Ветер крепкий, а взводня нет — знак того, что с ветреной стороны подвигается лед и мешает взводню разгуляться.

Когда вдали от матерого берега и острова объявятся тюленьи ю́рова, моржи и птица, то несомненна близость льдов...

---

* Ю р о в о — стадо морского зверя; ю́ровщик — староста артели на промысле морского зверя, самый опытный мореход-промышленник.

Ни на день, ни на малый час и ни в какой мороз не уставится сплошная льдина в Горле беломорском. От сотворения мира здесь спокою нет, в неустанных ветрах, в быстрине течения.

О Веденьев день полуночник сюда надвинет тороса от Канина. Но ненадолго. Налетит встречный от Двины и ветер с запада, погонит тороса обратно. А север да восток опять свое, да пуще. Так зиму и воюют...

Который берег и которая губа зимою промышляют зверя у наледных промыслов, те на льдину не обидятся. Но всем губянам и поморам очень грубо, что вешний корабельный ход на океане и к Мурманскому морю задерживает Горловина.

Как Двина располонится, и на своих суднах торопимся во след за льдиной. Губой и мимо Зимний берег весело бежим, что поветерь пособная и быстрина несет. У Орловских Кошек хоть торосовато, а салма сыщется, проскочим. Но у Горловины каждогодно жди досады. И речная и морская льдина лезут в океан. Ты на промысл торопишься, и льдины дружка дружку давят, на простор спешат. Негораздые попутчики! Ах, да руками мах, а на том не перескочишь.

В Двинской губе вода с весны желта и до полулета мутновата. У Зимних гор вода зелена и прозрачна.

А что к Святому Носу — океанская вода острозрачна-зелена, а волна по цвету двоелична — зелена и лазоревата. В Белом море голубец у волны отымется, а глубь прозрачна...

У высокой льдины верхний слой годен на питье. Обливная льдина вся солона.

ПО УСТАВУ

Лодья шла вдоль Новой Земли. Для осеннего времени торопилась в русскую сторону. От напрасного ветра зашли на отстой в пустую губицу. Любопытный детинка пошел в берег. Усмотрел, далеко или близко, избушку. Толкнул дверь — у порога нагое тело. Давно кого-то не стало. А уж слышно, что с лодьи трубят в рог. Значит, припала поветерь, детине надо спешить. Он сдернул с себя все, до последней рубахи, обрядил безвестного товарища, положил на лавку, накрыл лицо платочком, доброчестно простился и сам нагой до последней нитки, в одних бахилах побежал к лодье.

Кормщик говорит:

— Ты по уставу сделал. Теперь бы надо нам сходить его похоронить, но не терпит время. Надо подыматься на Русь.

Лодью задержали непогоды у Вайгацких берегов. Здесь она озимовала.

Сказанный детина к весне занемог. Онемело тело, отнялись ноги, напала тоска. Написано было последнее прощанье родным. Тяжко было ночами: все спят, все молчат, только сальница горит-потрескивает, озаряя черный потолок.

Больной спустил ноги на пол, встать не может. И видит сквозь слезы: отворилась дверь, входит незнаемый человек, спрашивает больного:

— Что плачешь?

— Ноги не служат.

Незнакомый взял больного за руку:

— Встань!

Больной встал, дивяся.

— Обопрись на меня. Походи по избе.

Обнявшись, они и к двери сходили и в большой угол прошлись.

Неведомый человек встал к огню и говорит:

— Теперь иди ко мне один.

Дивясь и ужасаясь, детина шагнул к человеку твердым шагом:

— Кто ты, доброхот мой? Откуда ты?

Незнаемый человек говорит:

— Ужели ты меня не узнаешь? Посмотри: чья на мне рубаха, чей кафтанец, чей держу в руке платочек?

Детина всмотрелся и ужаснулся:

— Мой плат, мой кафтанец...

Человек говорит:

— Я и есть тот самый пропащий промысловщик из Пустой Губы, костьё которого ты прибрал, одел, опрятал. Ты совершил устав, забытого товарища помиловал. За это я пришел помиловать тебя. А кормщику скажи — он морскую заповедь переступил, не схоронил меня. То и задержали лодью непогоды.

НОВОЗЕМЕЛЬСКОЕ ЗНАНИЕ

Отец мой всю жизнь плавал на судах по Северному океану. Товарищи у него были тоже моряки, опытные и знающие. Особенно хорошо помню я Пафнутия Осиповича Анкудинова. Он был уже стар.

Когда собирался в гости, концы своей длинной седой бороды прятал за жилет.

Бывало, я спрошу его:

— Дедушко Пафнутий, вам сколько лет?

Он неизменно отвечал:

— Сто лет в субботу.

Отца моего Пафнутий Осипович иногда называл «Витька», или «Викторко». Я и пеняю отцу:

— Батя, у тебя у самого борода с проседью. Какой же ты «Витька»?

Отец засмеется:

— Глупая ты рыба! Он мой учитель. Я в лодье Анкудинова курс морской науки проходил.

— Батя, как же он тебя учил?

— Мы, дитя, тогда без книг учились. Морское знание * брали с практики. Я расскажу тебе о первом моем плавании с Пафнутием Анкудиновым. Ты поймешь, как мы учились...

Пафнутий Анкудинов превосходно знал берега Новой Земли, где были промыслы на белого медведя, на песца. В эти дальние берега Анкудинов ходил на лодье — большом парусном трехмачтовом судне. На таком судне Анкудинов был кормщиком. Кормщику была «послушна и подручна» вся

---

* Плавание по Белому морю, Северному Ледовитому океану и их заливам требовало большого опыта и знаний. Наука кораблевождения в той или другой части Белого моря и океана обозначилась у поморов термином «знание». Различались новоземельское знание — умение водить корабли вдоль западных берегов Новой Земли; двинское и соловецкое знания — вождение судов в сложном фарватере Двины, среди многочисленных островов и шхер. (*Примеч. авт.*)

команда лодьи. Самым молодым подручным был я. Спутницей нашей лодьи всегда бывала лодья другого архангельского кормщика, Ивана Узкого.

Однажды, возвращаясь с промысла, обе лодьи шли вдоль западного берега Новой Земли. Ветер с берега развел лихую непогоду. Наш кормщик успел укрыться в губу Пособную. Лодью Узкого стало отдирать от берега, и она потерялась из виду. Через четыре дня береговой восточный ветер сменился южным, «русским» ветром. Этот ветер держал нас в Пособной еще четыре дня. Русский ветер сменился ветром с севера. Тотчас Анкудинов подымает якоря, открывает паруса и отправляется искать Ивана Узкого.

Продолжая прерванный курс, Анкудинов опять шел вдоль берега. Поветерь была неровная. Временем накатывал туман. Мы убавляли паруса, шли тихо, по течению.

Я знал, что Анкудинов не пойдет домой, на Русь, без Ивана Узкого, и думал, что пойдем обыскивать все попутные заливы. Но кормщик наш шел подряд два дня и две ночи шел вперед, не обращая никакого внимания на берег, чуть видный сквозь туман. Я удивился еще больше, когда кормщик круто управил лодью в залив, ничем не отличный от пройденных. Не я один, и другие из команды говорили:

— Будто тебя, кормщик, кто за руку взял и повел в эту маловидную лахту.

Но действительно, здесь, в этой лахте, Иван Узкий ждал Анкудинова.

Я удивился в третий раз, когда увидел, что нас ждали именно сегодня, и Узкий с раннего утра велел готовить обед на тридцать человек, по числу команды двух лодей.

За обедом ученики Ивана Узкого говорят:

— Ты, Виктор, дивился на своего кормщика, а мы на своего. Как только мы забежали в эту лахту, Иван Узкий стал говорить, как по книге читать: «Мы сидим без дела здесь, Анкудинов тоскует там». Дня через три кормщик говорит: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения и устремился к нам. То летит на крыльях, то ползунком ползет». А вчера, в канун вашего прихода, высказал: «Завтра, в час большой воды *, можно ждать гостей...»

Прямо как колдун читал по тайной книге.

Старшие обедали в молчании, и наш разговор был слышен. Иван Узкий рассмеялся и сказал:

— Кормщик Анкудинов, объясни моим ребятам наше колдовство.

Анкудинов стал объяснять:

— Как известно, мы в разлуке были десять дней. Первые четыре дня восточный ветер меня держал под берегом, а вас гонил открытым морем. В следующие четыре дня дул русский ветер. Он опять держал меня на месте, но вам позволил справить к берегу.

Как я, оставшись далеко, в Пособной, мог предугадать, где кинет якорь лодья Узкого?..

Я знал, сколько верст в сутки могла проходить ваша лодья. За четыре дня, при ваших многотрудных обстоятельствах, вы сделали в направлении юго-запада четыреста верст. Этот счет мой сразу прекратился, когда ударил противный вам ветер с юго-запада. Немедленно, на всех парусах, вы устремились в берег.

Как мог я в точности определить место вашей стоянки?

Зная, что вы ушли на юго-запад и находитесь от Пособной на расстоянии

---

* Большая вода и малая вода — суточные приливы и отливы.

четырехсот верст, я сообразил, какие бухты и заливы там имеются. А так как у меня и у Ивана Узкого один и тот же опыт и те же мысли, я знал, что он выберет эту лахту.

Точно так же кормщик Узкий знал, что я в четыре дня берегового ветра не двинусь из Пособной. Он знал, что и в следующие четыре дня дует ветер, не попутный для меня. В тот день, когда взялся северный ветер, Иван Узкий сказал вам: «Сегодня Анкудинов выскочил из заключения».

Расстояние в четыреста верст, при попутном ровном ветре, можно одолеть за тридцать два часа. Иван Узкий учел, что за туманами мы шли без парусов, учел неровность ветра и для этих трудностей прибавил к нашему походу еще часиков двенадцать. Его расчет был точен.

День встречи и место встречи мы определили знанием ветра, знанием моря, знанием берегов, а не гаданьем и не колдовством».

На рассвете следующего дня лодьи Анкудинова и Узкого оставили Новоземельский берег и добрым порядком пришли домой, в Архангельск.

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Веку мне — «сто лет в субботу». Песнями да баснями, гудками да волынками, присказками-сказками, радостью-весельем от старости отманиваюсь и людей от смерти-тоски отымаю.

Архангельская страна, Двинская земля богатеет от моря. Угрюмо Студеное море — седой океан. И поморы, идучи на дальние промыслы, брали с собой на корабль песню и сказку.

Таковым-то побытом в молодые, давние годы подрядился я в двинскую артель идти на Новую Землю бить зверя и сказывать сказку в мрачные дни. Из-за нас, мастеров-посказателей, артельные старосты плахами березовыми бились, дрались, боем отбивали, отымом отымали нас друг у друга.

Дула праматерь морская — Пособная поветерь. Наша лодья от Двины до Новой Земли добежала в пятеры сутки. Зверя в тот год выстала несосветимая сила. Целое лето били тюленя, моржа, стреляли оленя. Такой задор одолел — гусли мои паутиной заткало, без них весело!

Осень пошла. Старики говорят: «Время обратно. На добычу задоримся, да кабы беды не дождаться!»

Здесь у ветров обычаи. Весной заведется ветер с юга — полудник. Очистит море от льда, угонит льдину на север, вдаль, в неведомый край, и держит льдину у полночи, в задвенной стране. А осенью приходит день и час — полуденный ветер умолкнет. Волю возьмет ветер-полуночник. Погонит льдину обратно к Новой Земле. Смены летнего ветра на зимний не жди!

Вот этак с вечера спать завалимся: «Ребята, завтра домой непременно». А утро настанет — ветер вчерашний. Опять тебя так и подмывает: «Колй зверя-то, стреляй! Вей золото в клубок. Женок, невест с экой добычи в шелк и в бархат оденем!»

До бортов корабль нагрузили. Староста назначил час отхода.

Тогда артель раскололась надвое. Одиннадцать зашли на лодью. Мы, одиннадцать, толкуем свое: «Плывите, доставьте добычу домой. А за нами сюда другой кораблик немедля пошлите. Мы будем ждать, новый груз припасать. Сей год зима не торопится».

Староста нас и клял и ругал. В последнюю минуту с нами остался:

— Я клятву давал вас, дураков, охранять! Слово дадено — как пуля стрелена. Твори, Бог, волю свою! Вы с меня волю сняли.

Те убежали, мы опять промышляем, барыши считаем. Прошла неделя, другая. Время бы за нами и судну быть. Тайно-то, про себя-то, тревожиться стали. На здвиженье птица улетела. Лебеди, гуси, гагары — все потерялось. Полетели белые мухи, будто саван белый спустился. Тихо припало... Заболели сердца-ти у нас. Защемило туже да туже.

Как-то спросил я:

— Староста, почто ты с лодьи книги снес — Четьи-Минеи, Зимние месяцы?

Он бороду погладил.

— Вдруг да кому, баюнок, на Новой Земле зимовать доведется... Они нам за книги спасибо скажут.

— Староста, даль небесная над морем побелела. Это от снегов?

— Нет, дитя, от льдины...— И ласково так и печально поглядел мне в глаза.— А ты ладь, ладь гусли-ти. Ежели не на корабле, дак на песне твоей поедем.

Ночевали мы в избушке за горой. В пятую неделю ожиданья на заре пошел я к морю глядеть корабля. Иду и чувствую, что холодно, что ветер не вчерашний. Шапчонку сорвал, щеку подставил, а ветер-то норд-ост, полуночник... Ноги будто подрезал кто-то, присел даже. Однако усилился, вылез на глядень. И море увидел: белое такое... Лед, сколько глазом достать,— все лед. Льдины — что гробы белые. И лезут они на берег, и стонут, и гремят. Жмет их полуночник-от... Воротился, сказываю. Только ахнули: месяц ждавши, с тоски порвались, а каково будет девять месяцев ждать!

Помолились мы крепко, с рыданием, и зазимовали. Староста говорит:

— Не тужи, ребята! Ни радость вечна, ни печаль бесконечна. Давайте избу на зиму налаживать.

Собрали по берегам остатки разбитых кораблей. Избу заштопали-зашили. Тут и снегом нас завалило до трубы. Сутки отгребались.

Стало тепло, а темно. И на дворе день потерялся: ночь накрыла землю и море. И в полдень и в полночь горят звездные силы, как паникадила.

Староста научил по созвездьям время читать, часы узнавать. В избе на матице календарь на год нарезали: кресты, кружки, рубежи — праздники, будни, посты. Заместо свечи жирник горел денно-нощно...

Тут повадились гости незваные — белые медведи: рыбный, мясной запас проверять. В сени зашли, в дверь колотили; когтищами, будто ножами, свои письмена по стенам навели. Мы десять медведей убили; семь-то матерых. Перестали гостить. Они, еретики, пуще всего свистом своим донимали. В когти свистят столь пронзительно, ажно мы за сердце хватались.

Тут и всток-ветерок из-за гор приударил. По ветру льдина с камнем летела. По две недели мы за порог не ступали — как мыши в подполье, сидели. Счет дням по жирнику вели: приметили, сколько сала сгорит от полдня до полдня. Староста дышит мне: «Пуще всего, чтобы люди в скуку не упали. Всякими манами ихние мысли уводи».

С утра мужики шить сядут, приказывают мне:

— Пост теперь, книгу читай. Да чтобы страх был!

Слушают, вздыхают... А оконце вдруг осветится странным, невременным светом. Горят в небе сполохи, северное сияние. С запада оли до востока будто река вся жемчужная, изумрудная свернется да развернется; то как бы руки златые по небу пойдут, перебирают серебряные струны...

Вечером ребята песню запросят. Староста строго:

— В песнях все смехи да хи-хи. Заводи, баюнок, лучше ста́рину.

Сказываю Соловья Будимировича:

Из-за моря, моря Студеного,
Выплывают корабли Будимировы.
Тридцать кораблей без единого,
Нос-корма по-звериному,
Бока взведены по-туриному.
А и вместо глаз было вставлено
По камню было по яхонту,
Вместо бровей было прибито
По черному соболю сибирскому...

В пост на былину-стáрину разрешено, а уж как завыговаривает старинка про любовь да как зачнут мужики сгогатывать, так староста только головой вертит да руками машет:

— Ну, разлилась масленица, затопила великий пост!

Про Лира-короля слушать любили. По книжке у меня было выучено.

— Ты, баюнок, мастер слезы выжимать. Поплачешь, оно и легче.

Был у меня в артели друг, подпеватель, Тимоша. Перед святками он замолчал.

Староста мне наказывает:

— Не давай ему задумываться!

Я заплакал:

— Тимоша моложе всех, что ему печалиться!

— То и горе. Стар человек, многоопытен — беды по сортам разбирает: это, мол, беда, это полбеды. А молодому уму несродно ни терпеть, ни ждать.

Я Тимошу отчаянно любил, жалел:

— Тимошенька, чем ты будешь зиму провожать, весну встречать? Давай сделаем гудок.

На деревянную чашу натянули жилы оленьи, гриф из вереска — вот и гудок с погудальцем.

Два коровьих рога, в чем иглы держали, то сопелки-свирели.

— Староста, нам до праздника надо сыгровку делать.

— Играть нельзя, а сыгровку можно.

«Во святых-то вечерах виноградчики стучат: виноградие красно-зеленое!»

В праздник всякий вечер ударим в гусли; запоет гудок девическим голосом, завизжат рожки. Учинится топот-хлопот, скаканье-плясанье. Зажиг от старосты пойдет: зачнет пудовыми сапожищами в половицы бухать, перстами щелкать, закружится...

У нас песни поют,
У нас гудки гудут,
Золотая труба трубит,
Переладец разговаривает...

За старостой стар и млад, ажно ветер по избе. И Тимоша с нами. Только я заметил, глаза у него блестели и губы рдели по-особому. Утром он не встал. И зачал наш Тимошенька таять, как снег.

Я обниму его, реву над ним:

— Тимошенька, не спи! Во снах тебя смерть схватит...

Он рассмехнется:

— Ты не отдавай меня смерти-то.

Нет, не укараулил я Тимошеньку, не сохранил, не уберег от смерти...

За Тимошей еще трое товарищей повалились в той же тоске. Сам староста перед ними в гудок играл и кружился. Все артельные попеременно пляса-

ли, смешили недужных. На Афанасьев день, января восемнадцатого, они рассмеялись и встали. Только Тимошеньку моего не мог я рассмешить... Положили его на глядень, откуда море видать. Графитной плитой накрыли и начертали:

Спит Тимоша-горожанин,
Ждет трубы архангеловы.

На Афанасьев-от день первый свет показался над Новой Землей. В полдень заря зарумянилась. Мы и ночник погасили на часок. На Аксинью-полузимницу солнышко-батюшко как бы с красным фонариком прошло по горам.

В Сретенев день солнышка мы навидались. В полном лике оно над морем встало. Мы-то целовались, обнимались в охапку, по снегу катались, в землю кланялись солнцу-то красному:

— Здравствуй, отец наш родной, солнце пресветлое! При тебе теперь живы будем!

Да в землю ему, да в землю ему, солнцу-то красному.

Друг друга разглядываем:

— Ты, баюнок, обородател!

— А ты поседател!

— А это кто, негрянин черной?

— Ничего, промоюсь,— краше вас буду!

И Благовещенье, и Пасху славить к морю выходили. В медные котлы звонили. Проталинки ребячьими глазками в небо загляделн. Мох закудрявился. На Ра́доницу в тысячу звонков-колокольчиков Новая Земля зазвенела — с гор ручьи побежали. На Егорьев день гуся два, чайки две, гагары две прилетели, посидели, поглядели, поговорили — опять улетели. Передовые это были. На вешнего Николу слышим сквозь сон: стон стоит на дворе. Выбежали — птица прилетела! И лебеди, и гуси, и гагары, и... все прилетели. Земли не видать, голосу человеческого не слышно. Лебедь кикает, гагара вопит, чайка кричит. Любо! Весело!

На Троицу в ночь будто орган заиграл, во Вселенной будто трубы за́пели. Это ветры сменились. Ветры с полдня, южные, летние ветры ударили. Дрогнула льдина морская, заворотилась и ушла. Море по-веселому зашумело, волна разгулялась во все стороны света белого.

По горам шиповник зацвел. Березка, вся-то она ростом в аршин, притулилась за камешком, ли́сточки по грошику, а тоже, как невеста, сережки надела. Тут и травочка маленька, и пчелка бунчит...

Мы, где эко место увидим, падем на колени, руками охапим:

— Мать-земля благоцветущая! Мать-сыра земля!

День тогда беззакатный стоит над Новой Землей, и ночи нет ни единого часу. А мы в солнечные те ночи и сон и еду потеряли. Своих ждем, корабля ждем. Так и живем на берегу, на высоком-то гляденье. Так и едим глазами край-то морюшка, откуда кораблю быть...

Раз этак задремали о полдне. Вдруг староста кричит:

— Парус! Парус! Парус!..

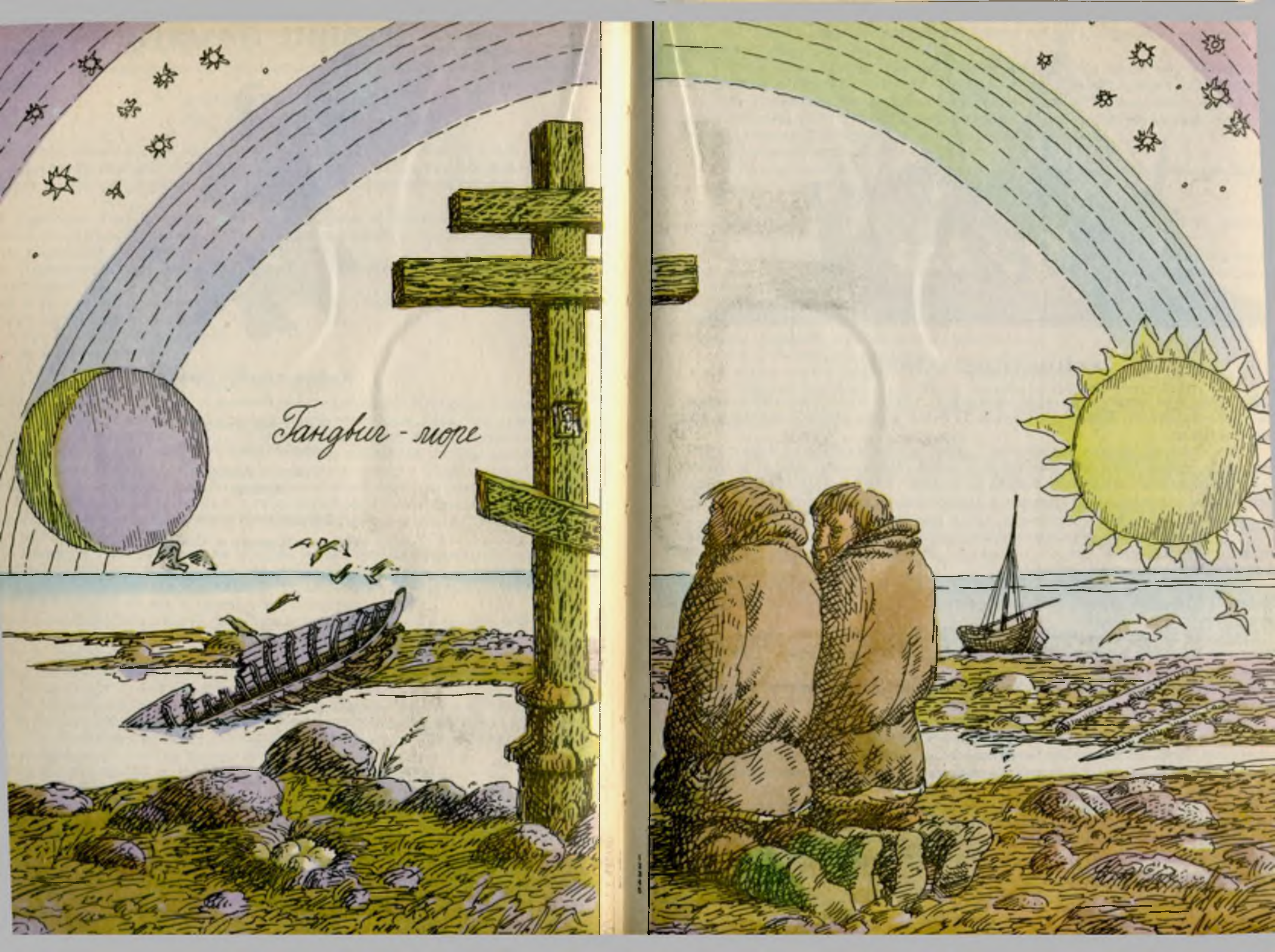
Подняло нас. Пра́вда, парус! Да не один. Вон два кораблика, вон три соколика... Наши это! С Двины за нами идут...

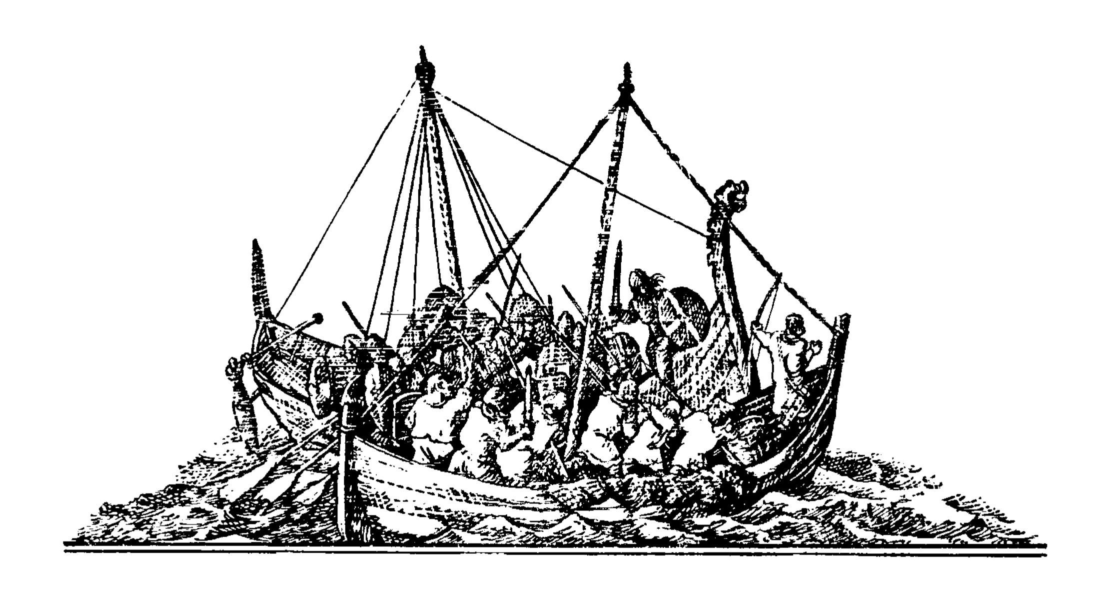
Тут опять слезы. Только — ах! — сладкие это были слезы. Слаще их ничего не живет на земле.



ДРЕВНИЕ ПАМЯТИ




Гандвиг - море



ЛЮБОВЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

У Студеного моря, в богатой Двинской земле жили два друга юных, два брата названых, Кирик да Олеша. И была у них дружба милая и любовь заединая.

Столь крепко братья крестовые * друг друга любили — секли стрелою руку, кровь точили в землю и в море. Мать-сыру землю и Синее море призывали во свидетели. Кирик да Олеша — они одной водою умывались, одним полотенцем утирались, с одного блюда хлебы кушали, одну думу думали, один совет советали,— очи в очи, уста в уста.

Отцы их по любови морскою лодьею владели и детям то же заповедали. Кирик, старший, стал покрут обряжать, на промысел ходить, а Олеша прилежал корабельному строению.

Пришло время, и обоим пала на ум одна и та же дева Моряшка. И дева Моряшка с обоими играет, от обоих гостинцы берет. Перестали крестовые друг другу в очи глядеть.

В месяце феврале промышленники в море уходят на звериные ловы. Срядился Кирик с покрутом, а сам думает: «Останется дома Олеша, его Моряшка опутает». Он говорит брату:

— Олешенька, у нас клятва положена друг друга слушати: сряжайся на промысел!

Олеша поперек слова не молвил, живо справился. Якоря выкатали, паруса открыли... Праматерь морская попутная поветерь была до Кирика милостива. День да ночь — и Звериный остров в глазах. Круг острова лед. На льдинах тюленьи полежки. Соступились мужи-двиняне со зверем, учали бить.

Богато зверя упромыслили. Освежевали, стали сальное шкурье в гору волочить. На море уж отемнело, и снег пошел. А Олеша далеко от берега забежал. Со льдины на льдину прядает; знай копье звенит, головы зверины долу клонятся. Задор овладел. Старый кормщик и обеспокоился:

* Крестовые — названые.

— Олеша далеко порато ушел. Море на часу вздохнет, вечерняя вода тороса от берега понесет...

Побежал по Олешу Кирик. Бежит по Олешу, ладит его окликать, да и вздумал в своей-то голове: «Олешу море возьмет, девка Моряшка моя будет». И снова крикнуть хочет и опять молчит: окаменила сердце женская любовь. И тут ветер с горы ударил. Льдина зашевелилась, заворотилась, уладилась шествовать в море, час ее пробил.

И слышит Кирик вопль Олешин:

— Кирик, погибаю! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!..

Дрогнул Кирик, прибежал в стан:

— Мужи-двиняне! Олеша в относ попал!

Выбежали мужики... Просторно море... Только взводень рыдает... Унесла Олешу вечерняя вода...

Того же лета женился Кирик. Моряшка в бабах, как лодья соловецкая под парусом: расписана, разрисована. А у мужа радость потерялась: Олешу зажалел.

Заказал Кирик бабам править по брате плачную причеть, а всё места не может прибрать. В темную осеннюю ночь вышел Кирик на гору, на глядень морской, пал на песок, простонал:

— Ах, Олеша, Олешенька!..

И тотчас ему с моря голос Олешин донесло:

— Кирик! Вспомни дружбу-ту милую и любовь заединую!

В тоске лютой, неутолимой прянул Кирик с вершины вниз на острые камни, сам горько взопил:

— Мать-земля, меня упокой!

И буде кто его на ноги поставил. А земля провещилась:

— Живи, сыне! Взыщи брата: вы клятву творили, кровь точили, меня, сыру землю, зарудили!

По исходе зимы вместе с птицами облетела Поморье весть, что варяги-разбойники идут кораблем на Двину, а тулятся за льдиной, ожидают ухода поморов на промысел. Таков у них был собацкий обычай: нападать на деревню, когда дома одни жены и дети.

И по этим вестям двиняне медлили с промыслом. Идет разливная весна, а лодейки пустуют. Тогда отобралась дружина удалой молодежи:

— Не станем сидеть, как гнус в подполье! Варяги придут или нет, а время терять непригоже!

Старики рассудили:

— Нам наших сынов, ушкуйных голов, не уговорить и не постановить. Пущай разгуляются. А мы, бородатые, здесь ополчимся навстречу незваным гостям.

Тогда невесты и матери припадают к Кирику с воплем:

— Господине, ты поведи молодых на звериные ловы! Тебе за обычай.

Кирик тому делу рад: сидячи на берегу, изнемог в тосках по Олеше. Жена на него зубами скрипит:

— Чужих ребят печалуешь, а о своем доме нету печали!..

Мужская сряда недолгая. На рассвете кричала гагара, плакали женки. Дружина взошла на корабль. У каждого лук со стрелами, копье и оскорд — булатный топор. Кирик благословил путь. Отворили паруса, и пособная поветерь — праматерь морская скорополучно направила путь...

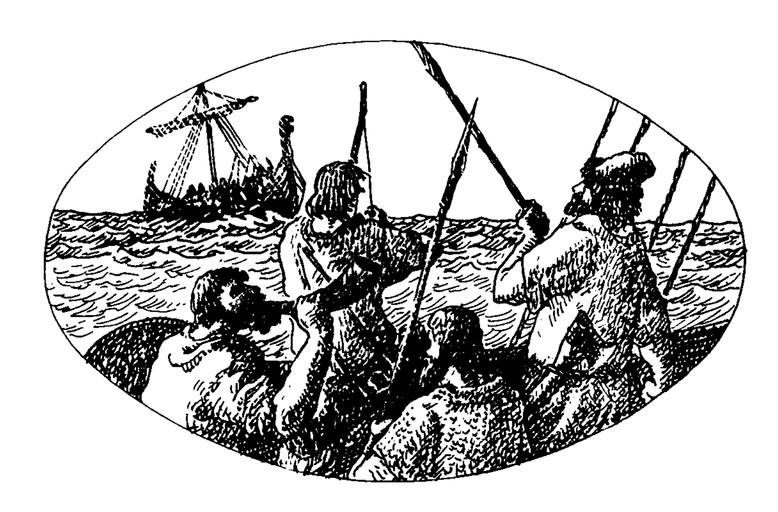
Не доведя до Звериного острова, прабаба-повотерь заспорила с внуками — встречными ветерками. Зашумела волна. И молодая дружина доверчиво спит. Кирик сам у руля. И была назавтра Олеше година.

Студеное море на волнах стоит, по крутому взводню корабль летит. И Кирик запел:

Гандвиг-отец,
Морская пучина,
Возьми мою
Тоску и кручину...

В том часе покрыла волну черная тень варяжской лодьи. И варяги кричат из тумана:

— Куры фра? Куры фра? (Кто идет?)



Кирик струбил в корабельный рог грозно и жалобно. Дружина прянула на ноги. И тянут лук крепко, и стреляют метко. Поют стрелы, гремят долгомерные копья. Кирик забыл тоску и печаль, отдал сердце в руки веселью. Зовет, величает дружину:

— Мужи-двиняне! Не пустим варягов на Русь! Побьемся! Потешим сердца!..

Корабли сошлись борт о борт, и двиняне, как взводень морской, опрокинулись в варяжское судно. Песню радости поет Кириково сердце. Блестит булатный оскорд. Как добрый косец траву, косит Кирик вражеские головы...

Но при последнем издыхании варяжский воевода пустил Кирику в сердце стрелу...

Красное солнце идет к закату, варяжское трупье плывет к западу. Сколько двиняне празднуют о победе, о богатой добыче — друга столько тужат о Кирике. Он лежит со смертной стрелою в груди весел и тих. На вечерней воде стал прощаться с дружиной:

— Поспешайте на Русь, на Двину, с победною вестью. Оставьте меня и варяжское судно в благодарную жертву Студеному морю.

И дружина, затеплив по бортам жертвенной лодьи воскояровы свечи, с прощальною песней на своем корабле убежала на Русь.

В полночь вздохнуло море, затрепетало пламя свечей, послышался крик гусиный и голос Олешин:

— Здрав буди, Кирик, брате и господине!

Ликует Кирик о смертном видении:

— Олешенька, ты ли нарушил смертны оковы? Как восстал ты от вечного сна?..

Снова пронзительно вскричали гуси, затрепетали жертвенные огни, прозвенел Олешин голос:

— Я по тебя пришел. Сильнее смерти дружеская любовь.

Две тяжкие слезы выронил Кирик:

— Люто мне, люто! Я нарушил величество нашей любви!..

В третий раз гуси вскричали, как трубы огремели, колыхнулось пламя жертвенных свечей, и Кирик увидел крестового брата. Глядят очи в очи, устами к устам. И голос Олешин, что весенний ручей и свирель:

— Кирик! Подвигом ратным стерта твоя вина перед братом. Мы с тобой поплывем в светлый путь, в Гусиную белую Землю *, где вкушают покой души добрых и храбрых. Там играют вечные сполохи, туда прилетают легкокрылые гуси беседовать с мертвыми. Там немолчно рокочут победные гусли, похваляя героев...

Завязалась праматерь морская — поветерь и взяла под крыло варяжский корабль, где Кирик навек позабыл печаль и тоску человеческую...

О былина, о песня, веселье поморское! Проходят века, а двинская земля поет, поминает под гусли Олешу и Кирика.

Смерть не все возьмет — только свое возьмет.

ГНЕВ

В Двинском устье, на острове Кег, стоял некогда двор Лихослава и брата его Горeслава. На Лихослава пал гнев Студеного моря. По той памяти место, где «двор Лихославль», до сих пор называется Гневашево.

Лихослав был старший брат, Горeслав младший. Под рукою батьки своего, мореходца, оба возросли в добром промысле. Остарев, отец надежно отпускал сыновей к Новой Земле. Так же неубыточно правили они торг у себя на Двине. Лихослава и Горeслава одна матерь спородила, да не одной участью-таланом наградила.

Горeслав скажет:

— В морском ходу любо, а в мирском торгу люто!

Лихослав зубы ощерит:

— Нет! В торгу любо, а в море люто.

Отец нахмурится и скажет Лихославу:

— Хотя ты голова делу, но блюдись морского гневу.

По смерти отца Лихослав отпихнул брата от лодейного кормила. Перешерстил всю лодейную службу, ни в чем не стал с дружиною спрашиваться:

— Я-де на ваше горланство добыл приказ.

И лодейная дружина не любила Лихослава, но боялась его.

Люди ближние и дальние говорили Горeславу:

* Гусиная Земля — легендарное представление о Северном полюсе.

— Что ты молчишь брату? Зачем ты знание свое морское кинул ему под ногу? Разделись с братом. Батько дом оставил на двоих.

Эти речи Лихослав знает и зубами скрипит:

— Ах, братец! Костью ты мне в горле встал.

Таким побытом братья опять пришли на Новую Землю.

Добыли и ошкуя и песца. Ждали попутных ветров, чтобы подняться в Русь. А Гореслав с товарищем еще побежал, на остатках, по медвежьему следу. И в этот час с горы пала поветерь, пособная ходу в русскую сторону.

Закружились белые мухи: снег лепит глаза. Гореслав и дружинник кинулись к берегу — берег потерялся из виду. И бежать грубо: в камне одну ногу сломишь, другую выставишь; и мешкать нельзя — знают, что в лодье их ждут и клянут.

А старший брат видит, что в берегах непогода, и скаредного своего веселья скрыть не может: «Я с тобой сегодня, братец, учиню раздел! Ты сам за своей погибелью пошел».

И Лихослав начал взывать к дружине:

— Сами видите, друзья, какое лихорадство учинил мой братец. Нароком он гулять отправился, чтобы меня здесь удержать да уморить. А что вы домой торопитесь, на это он плюет и сморкает.

Дружина смутилась. Некоторые сдались на эти речи. Но которые бывали в здешних берегах, те говорят:

— Непогода пала вдруг. Это здесь в обычай. Заблудиться может всякий. Надо в рог трубить и ждать. А не выйдут, надобно идти искать.

Кормщик затрубил в рог.

Лихослав освирепел:

— Ребята! У них затеяно с Гореславом против нас! Не поддадимся нашим супостатам!

Доброчестные дружинники говорят:

— Господине, это ты затеял что-то. А мы без хитрости. По уставу надобно искать потерянных до последнего изможения.

Лихослав кричит:

— Не слушайте, ребята! Они хотят вас под зимовку подвести. По уставу я ответчик за дружину. Не дам вас погубить. Они и в рог-то трубят — свои воровские знаки подают. Эй, выбирайте якоря! Эй, вздымайте паруса! Бежим на Русь!

В лодье вопль, мятеж. А погода унялась. Над землей, над морем выяснило. Гореслав с товарищем выбежали на берег и смотрят это буйство в лодье... Лихослав управил лодью к морю, кормщик отымает управленье и воротит к берегу. Одни вздымают паруса, другие не дают.

Гореслав и закричал:

— Братцы, не оставьте нас! Доброхоты, не покиньте!

Лихослава этот крик будто с ног срезал: чаял, потеряется да околеет там, а он стоит как милый.

В злобе Лихослав забыл всю смуту в лодье. Он хватает лук и пускает в брата одну за другой три стрелы. Первая стрела, пущенная Лихославом в брата, утонула в море. Вторая жогнула Гореслава в голенище у бахил. Третья стрела прошила рукавицу и ладонь, когда Гореслав в ужасе прикрыл глаза рукою.

Сказанье говорит, что, видя это злодеянье, оцепенело море и земля, окаменели люди в лодье. А Гореслав, добрый, кроткий, стал престрашен.

Он грозно простер окровавленные руки к морю и закричал с воплем крепким:

— Батюшко Океан, Студеное море! Сам и ныне рассуди меня с братом!

Будто гром, сгремел Океан в ответ Гореславу. Гнев учинил в море. Седой непомерный вал взвился над лодьей, подхватил Лихослава и унес его в бездну.

Утолился гнев Студеного моря. Лодья опрямилась, и люди опамятовались. Дивно было дружине, что все они живы и целы.

Гореслав ждал их, сидя на камне, с перевязанной рукой. Дружинники от мала до велика сошли на берег, поклонились Гореславу в землю и сказали:

— Господине, ты видел суд праведного моря. Теперь суди нас.

Гореслав встал, поклонился дружине тем же обычаем и сказал:

— Господо дружина! Все суды прошли, все суды кончились. А у меня с вами нету обиды.

С этой дружиной Гореслав и промышлял до старости. Дружина держала его в чести, а он их — в братстве.

КРУГОВАЯ ПОМОЩЬ

На веках в Мурманское становище, близ Танькиной Губы, укрылось датское судно, битое непогодой. Русские поморы кряду принялись шить и ладить судно. Переправку и шитье сделали прочно и за светлостью ночей скоро. Датский шкипер спрашивает старосту, какова цена работе. Староста удивился:

— Какая цена! Разве ты, господин шкипер, купил что? Или рядился с кем?

Шкипер говорит:

— Никакой ряды не было. Едва мое бедное судно показалось в виду берега, русские поморы кинулись ко мне на карбасах с канатами, с баграми. Затем началась усердная починка моего судна.

Староста говорит:

— Так и быть должно. У нас всегда такое поведение. Так требует устав морской.

Шкипер говорит:

— Если нет общей цены, я желаю раздавать поручно.

Староста улыбнулся:

— Воля ни у вас, ни у нас не отнята.

Шкипер, где кого увидит из работавших, всем сует подарки.

Люди только смеются да руками отмахиваются.

Шкипер говорит старосте и кормщикам:

— Думаю, что люди не берут, так как стесняются друг друга или вас, начальников.

Кормщики и староста засмеялись:

— Столько и трудов не было, сколько у тебя хлопот с наградами. Но ежели такое твое желание, господин шкипер, положи твои гостинцы на дороге, у креста. И объяви, что может брать кто хочет и когда хочет.

Шкиперу эта мысль понравилась:

— Не я, а вы, господа кормщики, объявите рядовым, чтоб брали, когда хотят, по совести.

Шкипер поставил короба с гостинцами на тропинке у креста. Кормщики объявили по карбасам, что датский шкипер, по своему благодарному обычаю, желает одарить всех, кто трудился около его судна. Награды сложены у креста. Бери, кто желает.

До самой отправки датского судна короба с подарками стояли середи дороги. Мимо шли промышленные люди, большие и меньшие. Никто не дотронулся до наград, пальцем никто не пошевелил.

Шкипер пришел проститься с поморами на сход, который бывал по воскресным дням. Поблагодарив всех, он объяснил:

— Если вы обязаны помогать, то и я обязан...

Ему не дали договорить. Стали объяснять:

— Верно, господин шкипер! Ты обязан. Мы помогли тебе в беде, и этим крепко обязали тебя помочь нам, когда мы окажемся в морской беде. Ежели не нам, то помоги кому другому. Это все одно. Все мы, мореходцы, связаны и все живем такою круговой помощью. Это вековой морской устав. Тот же устав остерегает нас: «Ежели взял плату или награду за помощь мореходцу, то себе в случае морской беды помощи не жди».

КОРАБЕЛЬНЫЕ ВОЖИ

В устье Северной Двины много островов и отмелей. Сила вешних вод перемывает стреж-фарватер. Чтобы провести большое судно с моря к городу Архангельску или от города до моря, нужны опытные лоцманы. В старину эти водители судов назывались корабельными вожами *.

Когда Архангельский посад назвался городом, в горожане были вписаны корабельные вожи Никита Звягин и Гуляй Щеколдин. Звягин вел свой род от новгородцев, Щеколдин — от Москвы. Курс «Двинского знания» оба проходили вместе с юных лет. Всю жизнь делились опытом, дружбой украшали домашнее житье-бытье. Гостились домами: приглашали друг друга к пирогам, к блинам, к пиву.

Но вот пришло время, дошло дело — два старинные приятеля поссорились как раз на пиру.

Вожевая братчина сварила пиво к городскому празднику шестого сентября. Кроме братчиков, в пир явились гости отовсюду. Обычно в таких пирах каждая «река» или «город» знали свое место: высокий стол занимала новгородская Двина, середовый стол — Москва и Устюг, в низких столах сидели черные, или чернопахотные, реки.

После званого питья у праздника в монастыре Звягин поспешил веселыми ногами к вожевому пиву. Здесь усмотрел бесчинство. Братчина и гости сидели без мест. Молодшие реки залезли в большой стол. Великая Двина безмятежно пировала в низком месте.

— Прибавляйся к нам, Никита! — кричал Щеколдин из высокого стола.— Пинега, подвинь анбар, новгородец сядет.

— Моя степень повыше,— отрезал Звягин.

— Дак полезай на крышу, садись на князево бревно! — озорно кричал Щеколдин.

Чернопахотные реки бесчинно загремели-засмеялись.

Звягин осерчал:

---

* Вож — вождь.

— Ты сам-то по какому праву в высокий стол залез, московская щеколда?

— Я от царственного города щеколда, а вы мужичий род, крамольники новгородские!

— Не величайся, таракан московский! — орал Звягин.— Твой дедушко был карбасник, носник. От Устюга до Колмогор всякую наброду перевозил. По опеке с плеши брал!

— А твой дедко барабанщик был! Люди зверя промышляют — Звягин в бочку барабанит: «Пособите, кто чем может! По дворам ходил, снастей просил — не подали».

Поругались корабельные вожи, разобиделись и рассоветились. Три года сердились, который которого издали увидит, в сторону свернет.

Звягин был мужик пожиточный, Щеколдин поскуднее: ребят полна изба. Звягин первый призадумался и разгоревался: «Из-за чего наша вражда? За что я сердце на Щеколдина держу? Завидую ему? Нет, кораблей приходит много, живу в достатке».

Задумал Звягин старого приятеля на прежнюю любовь склонить. Он так начал поступать: за ним прибегут из вожевой артели или лично придет мореходец, иноземец или русский:

— Сведи судно к морю.

У Звягина теперь ответ один:

— Я что-то занемог. Щеколдина зовите. Щеколдин первый между нами, корабельными вожами.

Еще и так скажет:

— Нынче Двина лукавит, в устьях глубина обманная. Корабли у вас садкие. Доверьтесь опыту Щеколдина.

Корабельщики идут к Щеколдину. Он заработку и достатку рад. Одного понять не может: «За что меня судьба взыскала? Кто-нибудь в артели доброхотствует. Надобно сходить, порасспросить».

В урочный день Щеколдин приходит в артель платить вожевой оброк. Казначей и говорит:

— Прибылей-то у тебя, Щеколдин, вдвое против многих. Недаром Звягин знание твое перед всеми превозносит. Мы думали, у вас остуда, но, видно, старая любовь не ржавеет.

У Щеколдина точно пелена с глаз спала:

— Конечно, он, старый друг, ко мне людей посылал!

Щеколдин прибежал к Никите Звягину, пал ему в ноги:

— Прости, Никита, без ума на тебя гневался!

Звягин обнял друга и торжественно сказал:

— Велика Москва державная!

ГОСТЬ С ДВИНЫ

В стародавние времена низовские двиняне сообща морского зверя промышляли и лодьи с торгом складчиной в чужие страны отпускали.

Четверо промышленников-складчиков отпустили своего товарища к датским берегам сдать договорный товар и получить условленную цену.

Лодья в датский город пришла скорополучно. Русский мореходец торговые дела управил, цену получил сполна.

Вечером, в канун обратного пути, идет по городу. Видит: в темном месте

стоит женщина, пригожая собой. Он был строгой жизни, красота для него неприкосновенна. Но переборол себя, подошел, спросил учтиво:

— Госпожа, ты ждешь кого-то?

Она потупилась, молчит. Он взял ее за руку, привел в гостиницу, велел учредить стол в особой горнице. Женщина вошла, прижалась в угол. Перед ней питье, еда; она и не глядит. Мореходец угощает, она будто не слышит. Мореходец посадил ее на ложе, одной рукой подносит чашу вина, другой рукой обнял.

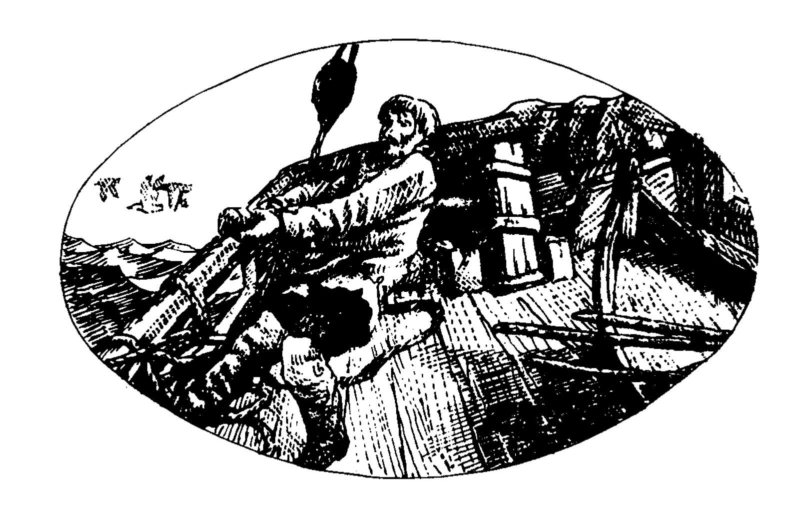
Тогда женщина ударила себя ладонями по лицу и заплакала навзрыд:

— О горе мне, горе!.. Нету помощи ни от людей, ни от бога!

Мужественный мореходец содрогнулся сердцем:

— Какое твое горе, госпожа? Какая над тобой невзгода?

Доброту и милость почувствовала женщина и заговорила:



— О, господине! Беда стряслась над моим мужем и надо мною. Муж мой корабельщик. Набрал в долг товару, отправился в дальний берег. Непогодой разбило корабль. Товар утонул. Люди еле спаслись. Муж вернулся домой бос и наг. Купцы бросили его за долг в темницу. Это было осенью прошлого года. Я стала добывать кусок хлеба поденщиной. Кормила мужа и незамогла работать. Муж в темнице голодует. Сегодня я вышла на улицу...

— Как велик долг твоего мужа?— спросил мореходец.

Женщина сказала цену долга.

Долг как раз равнялся цифре, которую должен был получить мореходец на свой торговый пай. Раздумывал недолго.

— Жди меня здесь у ворот.

Он сходил на лодью; отсчитал из общей казны столько, сколько приходилось на его долю, и вернулся к гостинице. Была ночь, женщина дрожала у ворот.

Он подал ей тяжелую шкатулку:

— Возьми, госпожа. Выкупи своего мужа из темницы.

Подал шкатулку и ушел скорым шагом. Женщина опомнилась, закричала, хотела догнать. Никого уже не было в ночном сумраке. Она пала на землю и целовала следы его ног.

Лодья вернулась на Двину. Мореходец вручает заморское серебро своим товарищам-складникам:

— Примите ваше. Здесь моей доли нет. Я свою, пятую, часть вынял.

Пайщики говорят:

— Ты из общего выхватил свое без ведома товарищей? Ты распорядился самовольно. Ты разорил общий вековой устав.

Мореходец наотрез отказался объяснить, для какого случая он вынул пай.

Той же осенью пристал к другой артели и ушел в зимовье к небывалым берегам, откуда и не вернулся.

А через пять лет приходит на Двину датский корабельщик, тот, которого русский мореход избавил от беды. Корабельщик разыскивал своего благодетеля, чтобы вернуть долг. Нашел только четверых его товарищей. Их упрашивал со слезами:

— Возьмите это серебро, господа двиняне! Раздайте в память доброхота моего.

Те говорят:

— Не нашими руками раздавать эти бесценные деньги. Тяжело нам будет «спасибо» получать.

И никто на Двине не дерзнул принять это серебро.

Тогда сдумал думу датский корабельщик и воздвиг этими деньгами каменный столп между Русским и Варяжским берегом Студеного моря-океана. И поднял колокол на этот столп с отлитым именем русского своего доброхота. Колокол звонит в туманы, в непогоду, и проходящие мореходцы вспоминают доброе дело русского человека.

ИНГВАР

В Соловецке при игумене Филиппе жил инок Ингвар, или Игорь, родом свеянин, швед. По старым памятям рассказывают так.

Свейский карбас — шесть рядовых, седьмой шкипер Ингвар — шли в Соловецкое море. Для какой потребы шли, не ведаем. Может, что купить или продать. Будучи нетверды в соловецком знании, потеряли путь и пристали в Тонскую деревню. Шкипер приказал товарищам остаться в карбасе, а сам пошел в конец деревни спрашивать вожа. Дружина, мимо слова шкипера, тотчас побежала на другой конец деревни. Свеян было мало, но и в деревне мужского полку не было. Только бабки с мелкими ребятами. Во все лето с дальних наволоков не оказывало дыму, и люди неопасно разошлись на промыслы.

Свеи начали ломать запоры у анбара. Завопили бабки, ребятишки подняли неизреченный рев. Шкипер Ингвар это слышит, ухватил железный лом и прибежал к разбою.

Увидя, что его товарищи шибают о землю ребят, стегают воющих старух и кидают из анбара кожи, обувь, сбрую и холсты, Ингвар стал благословлять грабежников железным ломом. Бил по головам и по зубам. И гонил их из деревни, посылая ломом. Один из грабежников увернулся и ударил шкипера в лоб камнем. Ингвар повалился заубито. Товарищи его вскочили в карбас и угребли из виду.

Старухи привели Ингвара в действие и, забывши страх, стали жалеть его, как внука.

Весть о свейском нагоне полетела далеко. Пришли из Сумского посада в Тонскую деревню приставы и взяли Ингвара. Также было велено имать свидетелей. Вся деревня лезла во свидетели. Отобрали десять старых бабок, самых мудрых и речистых.

Тонская деревня была соловецкой вотчиной и подлежала монастырскому суду. Ингвара судил случившийся в Суме игумен Филипп Колычев.

Дьяк объявил, что шестерых бежавших в море свеян Бог нашел своим судом. Только-де шесть свейских рукавиц, с одной руки, море выплеснуло на берег. Затем тонские свидетели заявили, что хотя судимый и явился с лиходеями, но оказался добрым человеком. И его-де надо не судить, а миловать. Судья Филипп сказал:

— Правда то, что Ингвар заступался за обидимых, не щадя и своей жизни. Но есть и кривда: почему ты, Ингвар, добрый сердобольный человек, пошел в товарищах с людьми лихими?

— Господине,— отвечал Ингвар,— все у нас затеяно бахвальством, все чинилось без ума. Но молю вас всех: не кляните их, моих товарищей, а меня не величайте добрым человеком.

Судья Филипп говорит:

— Сердце твое детское, и речи у тебя как у младенца. Ты говоришь: «Не вредите мое сердце, не поминайте мне товарищей». Лучше бы тебе о том поплакать, что из-за таких товарищей про всю вашу породу свейскую слава в мире носится самая зазорная!.. Думаю, Ингвар, что на родину тебе нельзя являться.

Ингвар говорит:

— Господине, я хочу прижаться к русским людям. Возьми меня к себе, в какой чин хочешь.

Ингвар принял в Соловецке имя Игоря.

Тут и помер в старости. И память по себе оставил —«сердобольный Игорь».

ФЕОДОРИТ КОЛЬСКИЙ

Лопин** век скитался с родом своим меж Русью и Датской. Летами он призажился и годами призабрался. По душу лопина пришла Смерть. Лопин говорит:

— Я жил непокрытую жизнь, но хочу, чтобы кости мои покрыла родная земля, отеческая.

Смерть спрашивает:

— Где твоя родная земля? Где твое отечество?

Лопин говорит:

— Я век свой скитался меж Русью и Датской. О Смерть, дай мне сроку семь дней. Я обдумаю место, где мне спать вековечным сном.

---

* Феодорит Кольский — пострижник Соловецкого монастыря, основатель монастыря святой Троицы в устье реки Колы на Кольском полуострове, известен как «просветитель кольских лопарей»: долгие годы проповедовал лопарям на их родном языке, переводил для них церковные молитвы, учил грамоте, крестил, обращая в православную веру. По сведениям Русского биографического словаря годы жизни Феодорита 1489—1571.

** Лóпь, Лóпский берег — так в старину называли Кольский полуостров, где жили лопь, лóпины, или лóпари,— исконные жители Кольского полуострова (отсюда — Лапландия).

Смерть дала ему срок. Он спрашивает своих детей и внуков-правнуков:

— К какой земле мне приложиться?

Род-племя говорит:

— Не спросить ли Феодорита Кольского. Он широко ходит.

Лопина и привезли в кережке в Русский берег, где тогда ходил Феодорит. Лопин рассказал свое недоуменье. Феодорит сказал:

— Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью, добро тебе и роду твоему и приложиться к языкам всея Руси.

Смерть пришла и спрашивает:

— Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?

Лопин говорит:

— На что спрашиваешь? Здесь хочу родной землей покрыться.

Смерть говорит:

— Знал ты, лопин, с кем подумать! Кабы ты сдумал на датскую сторону, то бы и род твой без имени остался и твоя память в забвение пришла.

ПРЕНИЕ ЖИВОТА И СМЕРТИ

Живот рече:

— Кто ты, о страшное диво? Кости наги, видение твое и голос твой — говор водный. Что гадает звон косы твоея, поведай мне?

Смерть рече:

— Я — детям утеха, я — старым отдых, я — рабам свобода, я — должникам льгота, я — трудящимся покой.

Живот рече:

— Почто стало на пути моем и говоришь немо? Пойди от нас, Смерть, в темны леса, за сини моря. А се я тебя не боюся!

Смерть рече:

— Пусты темны леса, усохли сини моря. Стану с тобой смертною игрою играти.

Живот рече:

— Тише вешней воды, ниже шелковой травы, откуда приходишь ты? О Смерть, не хочу тебе! Кому будет волосы кудрити, и лице наводити, и лазореву одежду носити?

Смерть рече:

— Молодым-молодехонек, зеленым-зеленехонек, о Живот, красота твоя сердце мое услади. И любовь моя быстрее быстрой реки, острее острого ножа.

Живот рече:

— Ты — косец, коси ты нивы твои, к жатве спеющие. Я — плод недозрелый, я возрастом юн. Здесь нет тебе дела!

Смерть рече:

— Коль сладка словеса твоя, слаще меду устам моим. О Живот, слышишь ли звон тетивы на луке моем? И се из острых остра смертная стрела, тебе уготованная.

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О Смерть, неужели я умру и не будет меня, точно меня и не было?!

Смерть рече:

— Сребролукого Феба пленивый и вспетую Афродиту низложивый Исус Христос, над богами Бог, и той вкусия мене, горькую смерть, и в мрачный сошел Аид.

Живот рече:

— О Смерть, власть твоя над людьми и богами! На что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота?!

Смерть рече:

— День гонит ночь. Скоро кочета звопят. О Живот! Время тебе снятися с души — и умереть...

Живот рече:

— Ох, увы, увы! О Смерть, отпусти меня до утра! Я пойду, я возьму от любящих меня последнее целование...

Смерть рече:

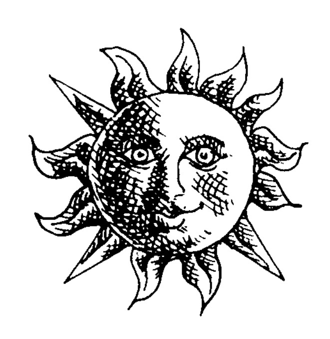
— Не имей другу веры, не надейся на брата. Днесь целует тебя, а завтра забудет. Днесь слава угасает и любовь.

Живот рече:

— О други мои милые, о братия моя! Вот я отхожу от вас, как дым расходится, как вода разливается, как огонь угасает...



ГОСУДАРИ-КОРМЩИКИ



РАССКАЗЫ О КОРМЩИКЕ МАРКЕЛЕ УШАКОВЕ

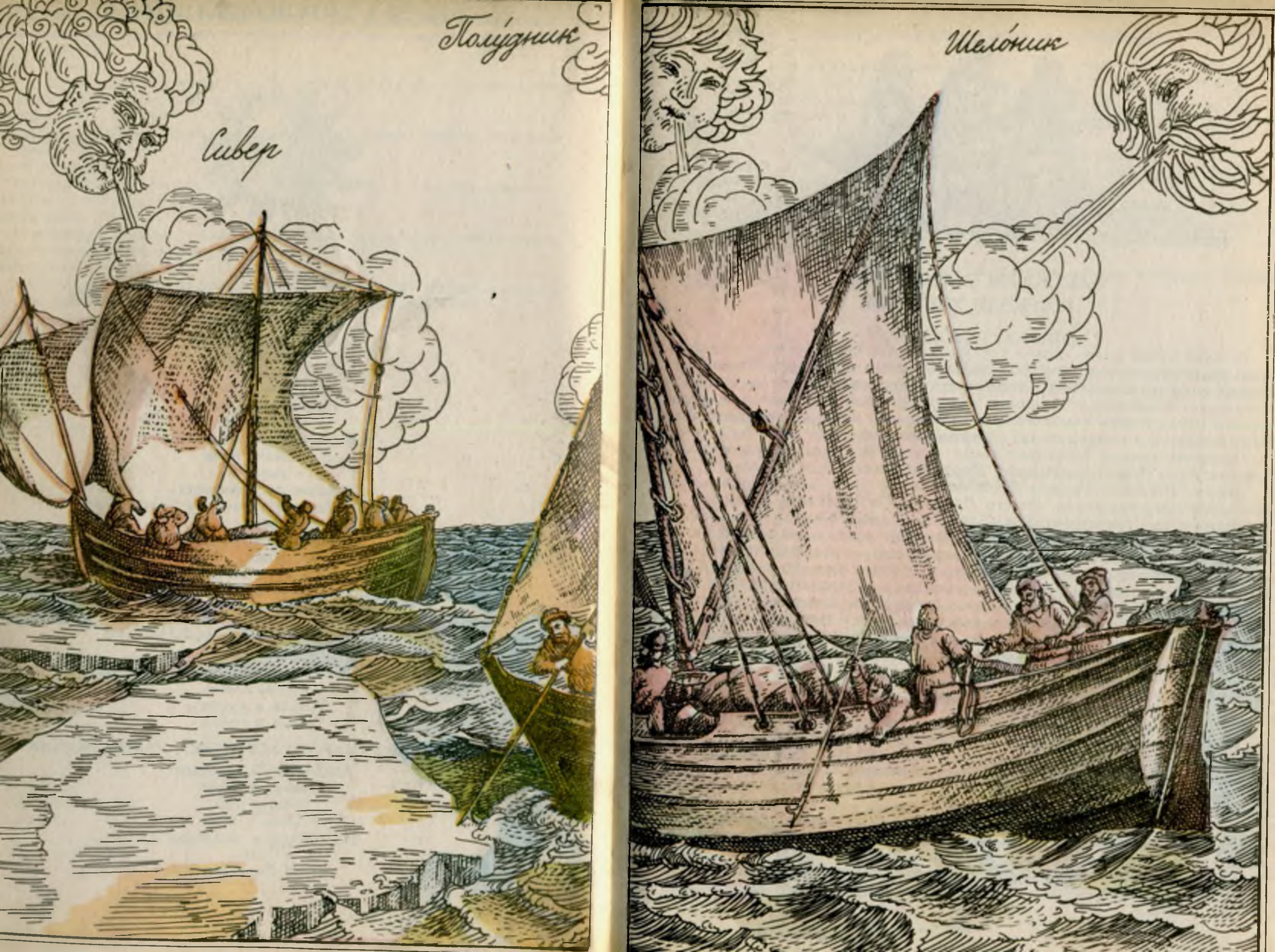
Мастер Молчан
Рядниковы рукавицы
Кошелек
Ворон
Художество
Ничтожный срок
Видение
Ушаков и Фома Кыркалов
Достояние вдов
Долг
Понятие об учтивости
Маркел Ушаков и Василий Кекин
Треух
Вера в ложке
Пиво
Ушаков и Яков Койденский
Кондратий Тарара
Маркел Ушаков говаривал

О КОРМЩИКЕ УСТЬЯНЕ БОРОДАТОМ

Чудские боги
Слово кормщика
Русское слово
Устьян и купец
Устьян и олени

РАССКАЗЫ ПРО СТАРОГО КОРМЩИКА ИВАНА РЯДНИКА

Диковинный кормщик
Вопрос и ответ
Павлик Ряб
Рядник и туин
Иван Рядник говаривал
Соль
Иван Порядник



Полуд́ник
Сѣвер
Шело́ник



РАССКАЗЫ О КОРМЩИКЕ МАРКЕЛЕ УШАКОВЕ

Русский Север долго хранил устную и письменную память о морской старине, замечательных людях Поморья. Сказания о морской старине бытовали в морском сословии Архангельска и передавались из поколения в поколение. Включенные в данный раздел рассказы являются художественным осмыслением слышанного и записанного мною в молодых годах, запечатленного в памяти от тех ушедших времен.

Примечательными представителями «поморских отцов» были Маркел Ушаков, Иван Порядник (Рядник), Федор Вешняков.

Маркел Иванович Ушаков (годы его жизни: 1621—1701) видится нам типичным представителем старого Поморья. Он имел чин кормщика и, кроме того, был судостроителем. С дружиной своей он жил «однодумно, односветно», поэтому и товарищи его были ему «послушны и подручны».

Сведения об Ушакове и Ряднике взяты мною из сборника поморского письма XVIII века «Малый Виноградец». В начале двадцатых годов сборник этот принадлежал В. Ф. Кулакову, маляру и собирателю старины, проживавшему в ту пору в Архангельске. В рассказах я старался сохранить эпизодическую форму повествования и стиль речи поморского автора, избегая излишней витиеватости и славянизмов, сохраняя отблески живой разговорной речи того времени.

МАСТЕР МОЛЧАН

На Соловецкой верфи юный Маркел Ушаков был под началом у мастера Молчана.

Первое время Маркел не знал, как присвоиться к этому учителю, как его понять. Старик все делает сам. По всякую снасть идет сам. Не скажет: принеси, подай, убе́ри.

Маркел старался уловить взгляд мастера — по взгляду человека узнают. Но у старика брови — как медведи, бородища из-под глаз растет — поди улови взгляд. Маркел был живой парень, пробовал шутить. Молчан только в бороду фукнет, усы распушит.

— Морж, сущий морж!— обижался Маркел.

Однажды Маркел сунулся убрать щепу около мастера.

Тот пробурчал:

— Что, у меня своих рук нету?

Маркела горе взяло:

— Что ты, осударь, мне все грубишь? Тебе должно учить меня, крошку, а не прыскать в бороду, как козел! Тебе неугодно, что я тут, и ты скажи, когда неугодно...

— Угодно, мое дитя. Угодно, милый мой помощник.

Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела, старик говорил:

— Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она как перо лебединое. Погладишь — рука как по бархату катится.

Наконец-то уловил Маркел взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори.

РЯДНИКОВЫ РУКАВИЦЫ

Между матерой землей и Соловецкими островами зимою ходят ледяные тороса. Ходят непрерывно, неустанно. Соловецкий трудник Ушаков водил суда меж лед бойко и гораздо.

Братия спросили:

— Чем тебя, Маркел, почествовать за экой труд?

Маркел ответил:

— Повелите выдать мне Рядниковы рукавицы.

Все удивились:

— Что за рукавицы?

Кожаный старец объяснил:

— Хаживал к игумену Филиппу некоторый Рядник-мореходец. Сказывал игумену морское знанье. И однажды забыл рукавицы. Филипп велел прибрать их: «Еще-де славный мореходец придет и спросит...» Сто годов лежат в казне. Не идет, не спрашивает Рядник рукавиц.

— Сегодня пришел и стребовал!— раздался голос старого Молчана.— Хвалю тебя, Маркел,— продолжал Молчан.— Не золото, не серебро — Рядниковы рукавицы ты спросил, в которых Рядник за лодейное кормило брался на веках, в которых службу морю правил. Ты, Маркел, отцов наших морских почтил. Молод ты, а ум у тебя столетен.

Маркел и стал хранить эти рукавицы возле книг. Надевал в особо важных случаях.

Из-за Рядниковых рукавиц попали в плен свеи-находальники.

Но расскажем дело по порядку.

Однажды в соловецкой трапезной иноки «московской породы» сели выше «новгородцев». «Новгородская порода» возмутилась. Маркел втиснулся между теми и теми и так двинул плечом в сторону московских, что сидящие с другого края лавки «московцы» посыпались на пол.

Баталия случилась в праздник, при большом стечении богомольцев. Маркела в наказание за бесчинство и послали в Кандалакшу, к сельдяному караулу.

В безлюдное время, в тумане, с моря послышался стук весел и нерусская речь. Маркел говорит подручному:

— Каяне* идут. За туманом сюда приворотят. Бежи в деревню! Нет ли мужиков...

...К Маркелу в избу входят трое каянских грабежников. Двое захватили его за руки, третий стал снашивать в лодку хлебы, рыбу и одежду.

Маркел стоит — его держат эти двое. Наконец третий, оглядев стены, снял с гвоздя заветные Рядниковы рукавицы.

Маркел говорит:

— Это нельзя! Повесь на место!

Тот и ухом не ведет.

Тогда Маркел тряхнул руками, и оба каянца полетели в разные углы. Вооружась скамьей, Маркел тремя взмахами «учинил без памяти» наскакивающих на него с ножами грабежников. Сам выскочил в сени, прижал двери колом.

Те ломятся в двери, а он стоит в сенях и слушает: не трубит ли рог в деревне?

И деревенские, как пали в карбас, сразу загремели в рог.

А в лодке еще трое каянцев. Вопли запертых слышат и дальний рог слышат. Один выскочил из лодки и бежит к свеям на помощь. С ними Маркел затеял драку, чтобы не подпустить к избе. Но рог слышнее да слышнее. Показался русский карбас с народом. В свалке один грабежник утонул. Пятеро попали в плен.

За такую выслугу Маркелу с честью воротили чин судостроителя.

КОШЕЛЕК

На Молчановой верфи пришвартовался к Маркелу молодой Анфим, к делу талантливый, но нравом неустойчивый. Сегодня он скажет:

— Наш остров — рай земной. И люди — ангелы. А в миру молва, мятеж, вражда...

Завтра поет другое:

— Здесь ад кромешный, и люди — беси. А в миру веселье: свадьбы, колесницы, фараоны, всадники...

Молчан наказывал Маркелу:

— Ты поберегай этого Анфимку. Он тебе доверяется всем сердцем. И ты за него ответишь.

Маркел удивился:

— Значит, и ты, осударь, отвечаешь за меня?

— Да, как отец за сына.

Как-то, за безветрием, стояло у Соловков заморское судно. Общительный Анфим забрался туда и всю ночь играл с корабельщиками в зернь и в кости. Днем на работе пел да веселился, вечером наедине сказал Маркелу:

— Маркел, я деньги выиграл. Хватит убежать в Архангельск. Пойдем со мной, Маркел. В Архангельске делов найдется.

Маркел говорит:

— Значит, бросить наше дело и науку, оскорбить учителя Молчана и бежать, как воры?

Анфим твердит свое:

---

* Каяне — от названия города Каяна, на территории нынешней Северной Финляндии, с которого шведы (свеи) не раз делали набеги (походы) по Поморье. (*Примеч. авт.*)

— Не запугивайся, друг! В кои веки выпало такое счастье. Попросимся на то же судно, где игра была, и уплывем.

При ночных часах Анфим с Маркелом пришли к судну. С берега на борт перекинута долгая доска. На палубе храпел вахтенный. Маркел говорит:

— Давай, Анфимко, деньги. Я зайду на судно, разбужу кептена, заплачу за проезд и позову тебя.

Сунув за пазуху кошелек, почему-то неуверенно перекладывая ноги, Маркел шел по доске... Тут оступился, тут бухнул в воду... Это бы не беда — Маркел через минуту выплыл, вылез на берег. Беда, что кошелек-то с деньгами утонул.

— Обездолил я тебя, Анфимушко!— тужил Маркел, выжимая рубаху.

— Я одного не понимаю,— горячился Анфим,— ты свободно ходишь по канату с берега на судно, а с трапника упал...

Простодушному Анфиму было невдомек, что Маркел в воду пал нарочно и кошелек утопил намеренно. Иначе нельзя было удержать Анфима от безумного намерения.

ВОРОН

Ходил Маркел по лопской тундре, брал ягоду-морошку. На руке корзина, у пояса серебряный рожок призывный. Ягоды берет и стих поет о тишине и о прекрасной Матери-Пустыне. А заместо тишины к нему бежит мальчик-лопин:

— Господине, не видал оленя голубого?

— Не видал,— говорит Маркел.

— О, беда!— заплакал мальчик.— Я пас оленье стадышко и уснул. Прохватился — оленя голубого нет.

— Веди меня к тому месту, где ты оленей пас,— говорит Маркел.

Вот они идут по белой тундре, край морского берега. А под горою свеи у костра сидят, в котле еду варят.

— Они варят оленье мясо,— говорит Маркел.

— Нет, господине,— спорит лопин.— Я видел, у них в котле кипит рыбешка.

— Рыбешка для виду, для обману. Они кусок оленины варят, а туша спрятана где-нибудь поблизости.

И Маркел, отворотясь от моря, зорко смотрит в тундру. А тундра распростерлась, сколько глаз хватает. И вот над белой мшистой сопкой вскружился черный ворон. Покружил и опустился в мох с призывным карканьем.

— Там закопана твоя оленина,— сказал Маркел.

К белому бугру пришли, во́рона сгонили, мох, как одеяло, сняли: тут оленина.

А свеи из-под берега следят за лопином и Маркелом. Как увидели, что воровство сыскалось, и они котел снимают, лодку в воду спихивают. А Маркел в ту пору приложил к устам серебряный рожок и заиграл. Свеи рог услышали, в лодку пали, гонят прочь от берега; только весла трещат — так гребут. Их корабль стоял за ближним островом. Так спешно удалились, что котел-медник на русском берегу покинули.

Этот котел Маркел присудил оленьему пастуху. Пастух не в убытке: котел-медник дороже оленя.

ХУДОЖЕСТВО

Маркел Ушаков насколько был именитый мореходец, настолько опытный судостроитель.

В молодые свои годы он обходил морские берега, занимаясь выстройкой судов. Знал столярное и кузнечное дело; превосходно умел чертить и переписывать книги. Все свои знания Маркел объединял словом «художество».

Спутник и ученик Маркела, Анфим Иняхин, спросил Маркела:

— Когда же мы сядем на месте, дома заниматься художеством?

Маркел отвечал:

— Кто же теперь отнимет у нас наше художество? Художество места не ищет.

Маркел говаривал:

— Пчела, куда ни полетит, делает мед. Так и художный мастер: куда ни придет, где ни живет, зиждет доброту (создает красоту).

У работы Маркел любил петь песню. Скажет, бывало:

— Сапожник ли, портной ли, столяр ли — поют за работой. Нам пример — путник с ношей. Песней он облегчает труд путешествия.

НИЧТОЖНЫЙ СРОК

Корабельные мастера и работные люди от пяти берегов Двинской губы собрались в Соломбальской слободе выслушать отчет своих выборных людей и воочию увидеть Лисестровскую верфь — любимое детище всех пяти берегов.

Собрались не в раз и не в час. Кого держала непогода, кто намелился, кого водило в лесах. Наконец скопились сполна, к началу собрания подоспел Панкрат Падиногин, артельный стряпчий, отъезжавший в Поморье.

Выборные люди стали докладываться, всяк по своей части. Каждый из них тут же получал оценку своей деятельности. Григорий Гневашев докладывал:

— Я удоволил лисестровские анбары дорогим припасом, красным лесом. Хватит на два года при большом расходе.

Собрание спрашивает:

— За какое время ты управил это дело?

Григорий отвечает:

— Начал с осени, по первому снегу. Завершил с началом навигации.

Собрание говорит:

— Значит, девять месяцев. Срок немалый. Благодарим, но ничего выдающегося тут нет.

Петр Сухой Лоб докладывал:

— Я обеспечил Лисестровскую верфь столярским и плотницким струментом. Итого двести наборов. Вот что я доспел!

Собрание спрашивает:

— Сколько времени ты хлопотал?

— Сколько Гневашев, столько и я. Вся зиму этим беспокоился. Итого девять месяцев.

Собрание говорит:

— Что же... Ты исполнил свою должность. Но ничего восхитительного тут нет... «Девять дён, девять верст, как сокол летел».

Докладчик Панкрат Падиногин спросил собрание:

— Известен ли вам художественный мастер и мореходец Маркел Ушаков?

Собрание отвечает:

— Ты бы еще спросил, известны ли нам отцы наши и матери! Мореходные и судостроительные чертежи Маркела Ушакова друг у друга отымаем.

— Я уговорил Маркела Ушакова принять во свое смотрительное руководство нашу Лисестровскую верфь. Придет сюда на постоянное житье. Но чтобы расположить Маркела, мне понадобился долгий срок...

— Сколь долгий?— спрашивает собрание.

— Девять лет...

Собрание, триста человек, как один, всплеснули руками, встали, закричали:

— Мало, совсем мало времени потратил ты, Панкрат Падиногин! Для столь полезного успеха девять лет — ничтожный срок.

ВИДЕНИЕ

Как-то Маркел с Анфимом жили в Архангельске. У корабельной стройки взяли токарный подряд. Маркел и жил на корабле. Анфим — в городе. Редко видя учителя, Анфим соблазнился легкой наживой — торговлей. Запродал даже токарную снасть. Маркел этого ничего не знает.

Но вот, рассказывают, пробует он маховое колесо у станка и видит будто, что заместо спиц в колесе вертится Анфимко Иняхин.

Опамятовавшись от видения, Маркел прибежал к Анфиму:

— Друг, с тобой все ли ладно?

— А что же, Маркел Иванович?— удивился Анфим.

— Ты сегодня в видении передо мной колесом ходил.

— Ужели?— простонал Анфим и заплакал:— Ты меня, отец, правильно обличил. Торговлишка меня соблазнила. Я задумал художество наше бросить.

УШАКОВ И ФОМА КЫРКАЛОВ

Ушаково мастерство Маркелово было рассудительно и с любопытством, а не только по старым извычаям.

Ушаковские суда заморские обдуманы по чертежу. Лодья уж на воду спущена, мастер еще примечает, смекает и на догадку берет. Заботился, чтобы шито было прочно; беспокоился, насколько будет красовито на ходу, под парусами. Ушаков был ученик не худых учителей. И не хотел уважить иноземным кораблям. Однако их рассматривал испытано, чая пользы своему любезному художеству.

Бывало, поручит Ушаков помощнику опробовать новопостроенную лодью, а сам выбежит на пристань, чтобы «из-под ручки посмотреть» на свое новорожденное.

Этак однажды привелся на пристани Фома Кыркалов *, поздоровался с Маркелом и говорит насмешливо:

---

* «Виноградец» примечает, что в начале царствования Алексея Михайловича Кыркалов и Ушаков ходили на Новую Землю и на Вайгач для отыскания серебряной руды, слюды и олова.

— Все ходишь, Маркел Иванович? Все любуешься на суда свои? Наглядеться, налюбоваться не можешь?..

— Нет, нет, Фома Онаньевич,— горестно и гневно отвечал Маркел.— Досадовать хожу, горячиться сам на себя хожу. Гляжу, ошибки свои считаю. Косность ума своего обличаю.

Кыркалов снял шапку и поклонился Ушакову в пояс:

— Когда так, Маркел Иванович,— ты настоящий, истинный художник!

ДОСТОЯНИЕ ВДОВ

Ушаков отлично умел делать модели кораблей. А приобучился этому в Соловецком монастыре. В монастыре не ужился: нрав имел строптивый и язык — как бритва.

Изба Маркела в Архангельске вся была заставлена маленькими кораблями. В долгие зимние вечера мастер сидел обычно на низеньком сосновом чурбане и при свете сальницы * оснащал игрушечный корабль. Около Маркела всегда множество детей. Он любил рассказывать о своих удивительных путеплаваниях. В праздники Маркел ходил ругаться со всякими начальниками.

Приехавший с Петром Первым ** знатный барин заказал Маркелу модель голландского корабля. Жена этого барина, увидев готовую модель, сказала:

— Мастер, не бери у мужа денег за эту игрушку. Я возьму их в пользу вдов и сирот.

Маркел отвечает:

— Не твое, сударыня, дело о бедняках печалиться.

— Ах ты пьяница!— вспыхнула барыня.— Я слабая здоровьем и то беспокою себя ради голодранцев...

— Нет, ты не слабая,— перебил Маркел.— Ты богатырка. Ты, сударыня, носишь на плечах достояние бесчисленных вдов и сирот. И не чувствуешь этого.

Плечи знатной барыни украшены были драгоценностями.

ДОЛГ

Молодой промысловец занял у Маркела денег на перехватку. Отдавать явился, а Маркел в море ушел. Так и побежало время: то Маркела на берегу нет, то у должника денег нет.

Оба встретились на Новой Земле. Хотя в разных избах, да в одном становище зимовали две артели. Маркел говорит:

— Что уж, парень, ни разу меня не окликнул?

Парень снял шапку:

— Не смею и глядеть на тебя, осударь. Должен тебе.

Маркел говорит:

---

* Сальница — сковорода с налитым в нее салом. В носок вставлялась льняная светильня.

** Петр Первый в молодости дважды бывал в Архангельске.

— Провались концом! Какие меж нас долги?

— Хотя бы работой какой отработать дозволили, Маркел Иванович...

Маркел говорит:

— Ладно. Всякий вечер приходи в нашу избу. Дела найдутся.

На зимовьях народ поужинают да повалятся. Должник пришел к Маркелу. Маркел не спит, живет у книги при огне. Книга — азбука, писана и рисована художной ушаковской рукой. Маркел стал показывать гостю буквы. Часа два учились. Во столько-то недель детина понял все «азы» и «буки». Когда полная тьма накрыла Новую Землю, ученик вытвердил титла.

Время катится, дни торопятся,— сколько парень радуется науке, столько тревожится: «Когда же я начну долг отрабатывать?»

Когда свет завременился над Новой Землей, паря читал по складам. При конце зимы читал по толкам. Наконец, стал с пением говорить по книгам четкого Маркелова письма.

Маркел говорит:

— Ну, друг, дошла промышленная пора. Но ты всякий день урви хоть малый час для книжного чтения.

Ученик возопил:

— Благодарствую, Маркел Иванович! Ты мне бесценное добро доспел — книгам выучил. Но когда я долг-то буду отрабатывать?

Маркел говорит:

— Сколько ты должен?

— Без двух гривен пять рублей.

Маркел говорит:

— Пускай так. Теперь считай: буквы ты учил — трудился. Значит, из твоего долга сорок алтын долой. Титла изучил — другие сорок алтын долой. Склады-слоги складывал — еще сорок алтын из долга вон. По толкам ты читал усердно — остальных сорок алтын отработал. Ты за эту зиму, дитя, сполна твой долг отработал. И больше ты мне ни о каких долгах не смей поминать.

ПОНЯТИЕ ОБ УЧТИВОСТИ

Деревня Лодьма * славна была изготовлением изящных корабельных моделей. Здесь подолгу живал Маркел Ушаков.

...Царский чиновник едет мимо ряда лодемских крестьян, сидящих на бревнах.

— Эй, борода!— кричит чиновник.

— Все с бородами,— усмехнулись крестьяне.

— Кто у вас тут мастер?— сердится чиновник.

— Все мастера, кто у чего,— отвечают крестьяне.

— Я желаю купить здешнюю игрушку — кораблик!

— За худое понятие об учтивости ничего не купишь,— слышится спокойный ответ.

Это сказал Маркел Ушаков, который по виду ничем не отличался от любого мужика-помора.

* Лодьма — деревня в устье Северной Двины.

МАРКЕЛ УШАКОВ И ВАСИЛИЙ КЕКИН

Любомудрые годы неутомленной старости своей Маркел провожал в Койде *.

В это время молодой судостроитель в городе **, Василий Кекин, добивался на учительный разряд.

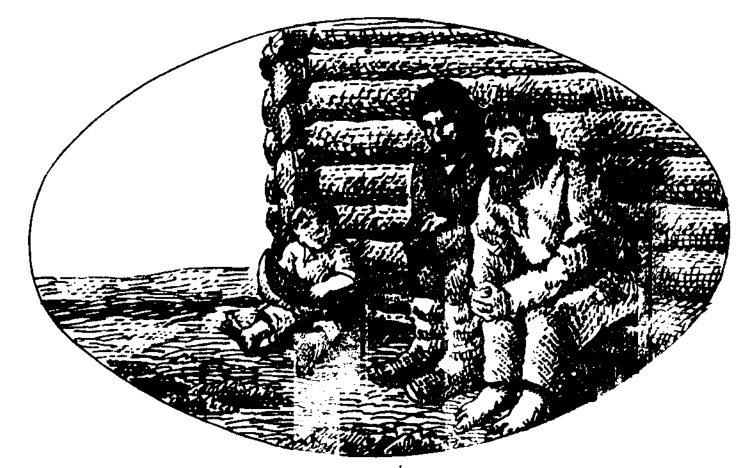
Городовые мастера сказали:

— Домогаешься высокой степени. Но похвалит ли Маркел Иванович на Койде? Спросишь его. Мы ему писали о тебе.

Кекин в Койду прибыл. Старый мастер его встретил с усмешкой:

— Пишут о тебе: строишь карбасы, а корма-то розна ***. Еще не знаю, годишься ли в ученики. Возьми полено, сделай в образец лодейку.

Кекин сделал образец художно, с вымыслом. Старый мастер поморщился:



— Изукрашенье ни к чему. Отдай эту игрушку ребятишкам. Сделай проще.

Кекин сделал просто. Старый мастер говорит:

— Поживи да поучись на Койде года три. Хлебы мои, одежа твоя... Тебе любо ли, Василий Кекин?

Кекин говорит:

— Любо, Маркел Иванович! Хотя бы тридцать лет метлой стоять, только бы у ваших учительных дверей!

Это все Маркел испытывал Василия. Вскоре Маркел послал в город грамотку, к городовым мастерам на верфи. А следом пустил и Кекина.

В городе на верфях Кекина встречают честно; разрядные мастера сказали:

— Пишет о тебе Маркел Иванович: умеешь-де ты повиноваться и учиться. Знатно, что сумеешь и начальствовать.

---

* Койда — деревня, и сейчас существующая в Архангельской области, в Мезенском районе.

** Подразумевается в Архангельске.

*** Розна — рваная.

ТРЕУХ

Пристрастие Петра Первого к кораблям и к морю заставило Маркела Ушакова полюбить преобразователя России. По рекомендации Афанасия Холмогорского Маркел был вызван к корабельному строению на Неве и Ладоге.

Тут душа старого помора начала рваться на куски. Сочувствуя Петру, Маркел негодовал на преклонение перед Западом без разбору.

— Бывало, в северных морях иноземец русским в рот глядел, ждал слова. А теперь извольте стулом становиться под голландца или шведа!

На заседании «приказных господ и членов» произошел скандал. Ушаков вылез вперед, вывернул свой лисий треух наизнанку, поставил тульей себе на голову и сидит так, помавая лисьими хвостами. Все вытаращили глаза. Председатель прервал речь. В публике раздался шум и хохот.

Тогда Маркел Иванович стукнул кулаком о стол «и рек, аки гром грянул»:

— Иноземец всех нас кверху дном поставил. Всех на обезьянин лик поворотил. И это вам не дико. А я только то и сделал, что шапку свою навыворот надел, и все смутились, все оскорблены.

«Притворя себе болезнь», Маркел вернулся в Архангельск.

ВЕРА В ЛОЖКЕ

Ушаков и товарищи пришли в Сумский посад. Был праздник, и сумляне пригласили их к столу.

Маркелов подкормщик говорит:

— Какой страх — со всеми есть и пить, а не знаем, кто какой веры! У меня и ложки с собой нет.

Маркел говорит:

— Какой страх людей обижать! В ложку ты свою веру собрал.

ПИВО

Трое молодых ребят на лодье повадились тайно пробовать пьяное пиво, которое хранилось в бочке на случай праздника.

Маркел это заметил, позвал ребят к себе в казенку и говорит:

— Ребята, что-то вы поблекли. Чем вас развеселить? Или пивком угостить?

Ребята покраснели, как брусника, и старший выговорил:

— Прости, дядюшка Маркел Иванович. Вперед таковы не будем.

УШАКОВ И ЯКОВ КОЙДЕНСКИЙ

Маркел относился к делу своему и к людям страстно и пристрастно. Но людей тянуло к Маркелу, как железо на магнит. Где бы ни кидала якорь Маркелова лодья, везде являлись у него друзья и ученики. А потом оставалась незабытная память.

Маркел искал и находил людей, призванием которых было мореходство. За таких людей он полагал свою душу.

Когда Маркел пришел на Койду и срядился плыть на Новую Землю, в лодейную дружину вступил Яков Койдянин, подросток-сирота. В нем Маркел нашел ученика, потом и ревностного помощника в судостроении.

Старый мастер веселился сердцем и умом: есть кому оставить наше знанье и уменье.

Но хмель молодости начал разбирать верного Маркелова помощника. Яков стал одолевать Маркела неотступным разговором:

— Уйду в российские города. Здесь тесно.

— Яков, у Студеного ли моря тесно? Что ты будешь делать в городах? Не отпущу тебя. Погубишь мастерство, потеряешь и себя. Ты не вернешься сюда.

Яков говорит:

— Я вернусь сюда, если ты, мастер Маркел, пойдешь вместе со мной. С тобой и я вернусь. А не пойдешь со мной, останусь там.

И старый Ушаков, тревожась и болезнуя о судьбе талантливого ученика, оставляет свой дом, свой промысел и идет за Яковом неведомо куда.

Но скитались они недолго.

Однажды Яков пал мастеру в ноги с воплем и со слезами:

— Господин мой, доброхот мой! Непостижно велика печаль твоя обо мне. Не стою я тебя. Но если можешь ты простить меня, если в силах ты глядеть на меня, то вернемся в нашу Койду, к нашему светлому морю, к нашему доброчестному промыслу.

Как-то при людях Маркел почествовал Якова, назвав его мастером... Люди подивились:

— Столь молодого ты называешь мастером...

Маркел отвечал:

— Дела его говорят, что он мастер.

КОНДРАТИЙ ТАРАРА

Слышано от неложного человека, от старого Константина.

У нас на городовой верфи состоял мастер железных дел Кондрат Тарара. Он мог высказывать мечтательно о городах и пирамидах, будто сам бывал. Сообразно нрав имел непоседливый и обычай беспокойный. Смолоду скитался, бросал семью.

Столь мечтательную легкокрылость Маркел ухитрился наконец сдержать на одном месте двадцать лет.

Удивительнее то, что и память о Маркеле держала Тарару на месте другие двадцать лет.

А хитрость Маркела Ивановича была детская.

Весной не успеет снег сойти и вода сбежать, Кондрат является в приказ:

— Прощай, Маркел Иванович. Ухожу.

— Куда, Кондраша?

— По летнему времени на Мурман или на Мезень. Может, к промыслам каким пристану.

Маркел заговорит убедительно:

— Кондраша, навигация открылась. В якорях, в цепях никто не понимает. Именно для летнего времени невозможно нам остаться без тебя.

— Ладно, Маркел Иванович. До осени останусь.

Значит, трудится на кузнице до снегов. Работает отменно. Только снег

напал — Кондратий в полном путешественном наряде опять предстает пред Маркелом:

— Всех вам благ, Маркел Иванович. Ухожу бесповоротно.

— Куда же, Кондратушко?

— Думаю, на Вологду. А там на Устюг.

Маркел руки к нему протянет:

— Кондрат! В эту зиму велено уширить кузницу, поставить новых три горна. Не можем оторваться от тебя, как дитя от матери.

— Это верно,— скажет Тарара.— Зиму проведу при вас.

Весной Кондратьева жена бежит к Маркелу:

— Пропали мы, Маркел Иванович! Тарара в поход собрался. Уговори, отец родной!

Приходит Тарара:

— Ухожу. Не уговаривайте.

— Где тебя уговорить... Легче железо уварить. Прощай, Кондрат... Конечно, этим летом повелено ковать медных орлов на украшение государевой пристани... Ну, мы доверим это дело Терентию Никитичу.

— Вы доверите, а я не доверю! Ваш Терентий Никитич еще в кузнице не бывал и клещей не видал...

Вот так-то год за годом удерживал Маркел милого человека.

В которые годы Маркела не было в Архангельске, Тарара все же сидел на месте:

— Воротится Маркел Иванович из Койды, тогда спрошусь и уйду.

Но Маркел Иванович из Койды отошел к новоземельским берегам и там, поболев, остался на вечный спокой.

А Кондрат Тарара остался в Архангельске:

— Мне теперь не у кого отпроситься, некому сказаться.

МАРКЕЛ УШАКОВ ГОВАРИВАЛ *

— От Святого Носа в немецкую сторону, этот путь я числил легким. А от Канина в Шары туда не с охоты было. Поначалу стал туда ходить из Соловецка. Положили кормщиком. Вешний путь меж лед. Нельзя оплошиться и нельзя усумниться. Бус накатится, туман — рядовые на тебя, как дети на матку, глядят. Тут напялю Рядниковы рукавицы и скажу:

— Это ты, Иване, господине, за правило держишься. И других преславных мореходцев стану приводить на ум. Весело на сердце станет. Живы они и все со мной в товарищах!

В книге пишет: «Как воск несогретый не может принять положенной на него печати, так неиспытанный, неискушенный человек не может принять учения».

Это про меня сказано. Ежели бы не прошел я смолоду и огонь, и воду, и медные трубы, не стал бы я кормщиком.

— Не без толку, не без прибыли маемся, болезнуем, терпим стужу. Эта нужда нас как солью солит: посоленные, мы неподатливы бываем к малодушию, унынию и страху.

---

* Печатается впервые.

У Маркела в долг попросят, он скажет:

— Возьми в кошеле на полке.

Принесут:

— Положи, где взял.

Маркел всегда уклонялся брать дорогие подарки:

— Отдавать нечем, а не отдаришь, замысловато будет.— Но с удовольствием примет самодельную ложку, или гребешок, или домотканый поясок.

Маркелу многие говорили:

— Что ты эту Новую Землю облюбовал? Все туда и торопишься, будто к отцу родному в гости. Все там и сидишь... Что бы тебе в Городе у судовых дел не успокоиться?

Маркел отвечал:

— В тихомирном месте, в неопасном труде нет надежного спокоя. На Новой Земле труд велик, значит, и покой душе безмерный.





О КОРМЩИКЕ УСТЬЯНЕ БОРОДАТОМ

ЧУДСКИЕ БОГИ

Шел Устьян Бородатый на кочмаре с Двины к Печоре и за встречным ветром остоялся у Канской речки. Рядовые спросили сходить по морошку и вовремя вернулись. Весельщик Ладошка не пришел и к паужне. Устьян повелел струбить в рог. По рогу Ладошка вышел к судну. С палой водой кочмара уноровила взойти в море.

Еще берег не закрылся, от переднего корга проплакало по-гагачьи:

— Кык-куим! Я к бабушке хочу!

И от заднего корга отвылось — как бы гагара:

— Баба, нингад няна! Отыми у Ладошки!..

К ряду несхожий ветер погонил кочмару в береговую сторону.

Устьян выговорил:

— Чудской кудес! Весельщик, за что тебя назвали?

Ладошка пал дружине в ноги:

— Государи! Я занес на судно двух болванцев идольских. Бравши ягоды, я заблудился, набрел на халмеры, на погребенье. Тут кол одет в бабью малицу. Старуха сделана. В пазухе у ней болванцы, дети или внуки. Я их взял, принес на судно и запрятал в коргах. По той вере, что морскому ходу будет спех.

Ладошка плачется, а черная сила кочмару в берег тянет.

Якорь кинули, и Устьян кричит:

— Давай сюда болванов!

Ладошка сползал в судно и вынес две деревянные образины.

Устьян их излучинил топором и зажег на медном листе.

Из черного дыму вылетели с воем две гагары и пропали в тундре.

Тогда снялись с якорей, открыли паруса. Паруса надунул добрый ветер, и кочмара пошла своим путем.

СЛОВО КОРМЩИКА

Кормщик Устьян Бородатый стал на якорь в Нежилой губе. Дружина говорит:

— Не худо бы сбродить на мох, добыть оленя. Приелась соленая-то рыба.

Устьян говорит:

— Ступайте. Только не стреляйте важенку — матку с детенышем не убейте.

Вот дружинники стоят на мшистой горбовине с луками. Видят непуганых оленей стадо. Маточка оленья со своим теленком ходит ближе всех. Самолучший стрелец тянет лук крепко и стреляет метко, прямо в эту важенку. В тот же миг крепкий лук крякнул и переломился.

Дружинник ударил этими обломками о землю и сказал:

— Не сломался бы ты, мой гибкий, тугой лук, ежели бы не переступил я слово кормщика!

РУССКОЕ СЛОВО

Шел Устьян Бородатый на промысел в летних судах. Встречная вода наносила лед. Тогда Устьяновы кочи притулились у берега. Довелось ждать попутную воду у Оленницы. Здесь олений пастух бил Устьяну челом, жаловался, что матерый медведь пугает оленей.

Устьян говорит:

— Дитятко, некогда нам твоего медведя добывать: вода не ждет. Но иди к медведю сам и скажи ему русской речью: «Русский кормщик повелевает тебе отойти в твой удел. До оленьих участков тебе дела нет».

В тот же час большая вода сменилась на убыль, и Устьяновы кочи тронулись в путь.

А олений пастух пошел в прибрежные ро́паки *, где полеживал белый ошкуй. Ошкуй видит человека, встал на задние лапы. Пастух, мало не дойдя, выговорил Устьяново слово:

— Русский кормщик велит тебе, зверю, отойти в твой удел. До оленьих участков тебе, зверю, дела нет.

Медведь это слово отслушал с молчанием, повернулся и пошел к морю. Дождался попутной льдины, сел на нее и отплыл в повеленные места.

УСТЬЯН И КУПЕЦ

Устьян стоял при море, у Двины, ждал попутных ветров сверху. К тому же острову пристало поврежденное погодами купеческое судно. Купец повыгрузил товар и с работными людьми отправил вверх, а Устьянова дружина стала поновлять бока купеческой лодье. Трудились за спасибо и за хлеб за соль. О деньгах разговору не было. Устьян готов был на отлет во всякий час, только бы сменился ветер. Дела у починки-поправки оставалось уж немного. Дружина конопатит да смолит... И ударил дождь. Устьян кричит:

— Ребята, повремените с делом! Не делайте по мокрому!

---

* Ро́пака, ро́паки — нагромождение льда, гряды стоящих по берегу льдин.

Работные скидали пеньковое прядево под лодью, а сами стали от дождя в укрытие.

Купец это увидел и прискочил к дружине с бранью:

— Вижу, только у питья да у еды вы мастера-то, а у дела только бы стоять да спать!

Устьян говорит с гневом:

— Ты на кого разъехался, купец? Мы тебя ничем зовем и ни во что кладем: горланишь, а дела не смыслишь. Видишь, дождь валит. Судовой припас нельзя мочить: проку не будет.

Купец свое:

— Твоя дружина у меня вторые сутки по две выти в день пьет-ест! Велю работать, будь хоть потоп!

Устьян говорит:

— Хоть потоп? Ладно, будь потоп.

Устьян твердым шагом зашел на свое судно, взял рог и заиграл грозно и жалобно. На ответ далеко в море будто шум сшумел. На берег накатился взводень и смыл купецкую лодью. Купец опамятовался от ужаса и забегал на коленках вкруг Устьяновой лодьи:

— Господине, убавь воды! Господине, не сгуби мое суденко!

Устьян говорит:

— Это не от нас. А судно против ветра никуда не убежит. Гляди, волна несет его обратно.

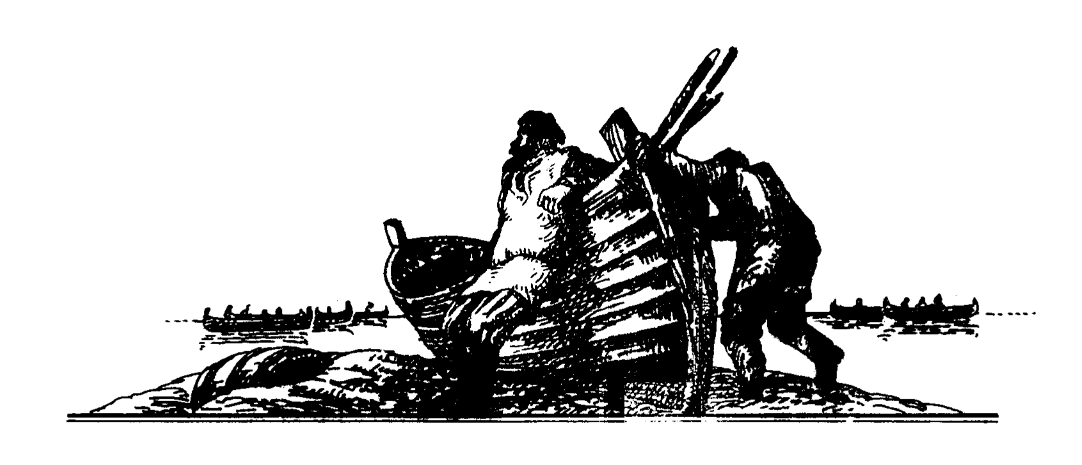
Устьянова дружина поставила купцово судно на отстой. А сами с поветерью ушли в море.

УСТЬЯН И ОЛЕНИ

Устьян шел берегом в становище, тянул промышленную снасть и чунку с хлебом. Увидел оленей-дикарей и скричал:

— Подойдите которые-нибудь!

Три оленя подошли. Устьян впряг их в чунку, и снасть положил, и сам сел. Куда повелел, туда побежали. Этот Устьян смолоду был знатлив. Промысел оставит несоблю́дно. Медведь-ошкуй подойдет, песец — понюхают и уйдут. Устьян хоть через месяц взять придет — все цело, неврежоно.



РАССКАЗЫ ПРО СТАРОГО КОРМЩИКА ИВАНА РЯДНИКА

ДИКОВИННЫЙ КОРМЩИК

Ивану Ряднику привелось идти с Двины в Сумский берег на стороннем судне. Пал летний ветер, хотя крутой, но можно бы ходко бежать, если бы кормщик правил поперек волны. Но кормщик этим пренебрегал, и лодья каталась и валялась. Старый и искусный мореходец Рядник не стерпел:

— Ладно ли, господине, что судно ваше так работепствует стихии и шатается, как пьяное?

Кормщик ответил:

— Это не от нас. Человек не может спорить с божией стихией.

— Сроду не слыхал такого слова от кормщика,— говорит Рядник.— сколько лет ты, господине, ходишь кормщиком?

— Годов десять — двенадцать,— отвечает тот.

— Что же ты делал эти десять — двенадцать лет?!— гневно вскричал Рядник.— Бездельно изнурил ты твои десять — двенадцать лет!

ВОПРОС И ОТВЕТ

Дружина спросил Рядника:

— Почему на зимовье у Мерзлого моря ты и шутил, и смеялся, и песни пел, и сказки врал? А здесь, на Двине, беседуешь строго, говоришь учительно, мыслишь о полезном.

Иван Рядник рассмеялся:

— Я мыслил о полезном и тогда, когда старался вас развеселить да рассмешить. На зимовье скука караулит человека. Я своим весельем отымал вас у болезни. А здесь и без меня веселье: здесь людно и громко, детский смех и девья песня. Я свои потешки и соблюдаю в сундуке до другой зимовки.

ПАВЛИК РЯБ

При Ивановой дружине Порядника был молодой робенок Павлик Ряб.

Он без слова кормщика воды не испивал. Если кормщик позабудет сказать с утра, что разговаривай с людьми, то Павлик и молчит весь день.

Однажды зимним делом посылает Рядник Павлика с Ширши* в Кегостров. В тороки к седлу положил хлебы житные.

Павлик воротился к ночи. Рядник стал расседлывать коня и видит: житники не тронуты. Он говорит:

— У кого из кегостровских-то обедал?

— Приглашали все, а я коня пошел поить.

— Почему же отказался, если приглашали?

— Потому, что у тебя, осударь, забыл о том спроситься.

— Ну, а свой-то хлеб почто не ел?

— А ты, осударь, хотя и дал мне подорожный хлеб, а слова не сказал, что, Павлик, ешь!

Рядник, помолчав, проговорил:

— Ох, дитя! Велик на мне за тебя ответ будет.

РЯДНИК И ТИУН

Какое-то лето кормщик Иван Рядник остался дома в Ширше

Его навещали многие люди, и я пошел, по старому знакомству. Был жаркий полдень. Именитый кормщик сидел у ворот босой, грудь голая, ворот расстегнут. Вслед за мной идет тиун ** из Холмогор. Он хотел знать мненье Рядника о споре холмогорцев с низовскими мореходцами.

При виде важного гостя я схватил в сенях кафтанец и накидываю на плечи Ивану для приличия. А Иван сгреб с себя кафтан рукой и кинул в сторону.

Когда тиун ушел, я выговорил Ряднику:

— Как ты, государь, тиуна принимаешь: будто из драки выскочил. Ведь тиун-то подивит!

Рядник мне отвечает:

— Пускай дивит, когда охота. Потолковали мы о деле, а на рубахи, на порты я не гляжу и людям не велю. В чем меня застанут, в том я и встречаю.

ИВАН РЯДНИК ГОВАРИВАЛ

Дела и уменья, которые тебе в обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то другое казалось тебе более выгодным.

В какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте казалось тебе легче и люди там лучше.

Пускай те люди, с которыми ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоил поведенье с каждым.

А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?

---

* Ширша — деревня близ Архангельска.

** Тиун — судья низшей степени (*стар.*).

СОЛЬ

В Ненокотском Усолье старуха меняла нам соль на муку. И соль, белую, как снег, и сладкую нагнетала в мерку руками, и сверх насыпала горкой.

Я же тощею горстью посыпал мучицы на дно меры и подаю старухе. И тут же выронил меру из рук от страха: с такой яростью и скорбью посмотрел на меня наш кормщик Порядник.

Он отдал старухе все, что оставалось в кисе — более двух мер.

ИВАН ПОРЯДНИК *

...Он пятнадцати годов зашел на лодью и много труд показал. Пятьдесят лет ходил кормщиком. И возрастил множество учеников, все совершенные мореходцы. Каждого можно было положить кормщиком... Как подарки приносили они Ивану стремления свои, в каких бы кто чинах или у какого берега ни ходил.

Но какой ум может изъяснить, какое слово рассказать, какое письмо передать.

Иван Рядник помирал. Дружина плакала:

— Как без тебя останемся?

Он отвечал:

— Храните и соблюдайте мое наученье, то и я с вами буду.



* Печатается впервые.

ИЗЯЩНЫЕ МАСТЕРА



Зосима

Савватий



ЛЕБЯЖЬЯ РЕКА

Есть у Студеного моря Лебяжья река. На веках только гуси да лебеди прилетали сюда по весне, вили гнезда. Потом пришли люди, наставились хоромами-домами. На одном берегу деревня Лебяжья Гора, на другом деревня Гусиная Гора. Земля здесь нехлебородная. Ради хлебного недорода народ промышляет деревянным и живописным делом. На продажу работают сундуки, ларцы, шкатулки и подписывают красками. Мастерство переходило от отца к детям. Бывали настоящие художники. И все они жили скудно. Все зависело от скупщика. Все глядели в рот хозяину. Скупщики платили не цену, не деньги — злосчастные гроши-копейки. Мастера гонялись за случайным покупателем. Из-за этого была рознь, зависть и вражда. Самолучшие живописцы Иван Губа да Иван Щека усилились однажды, сколотили артель. Артель рассыпалась. Сами учредители, Губа да Щека, до старости меж собой слова гладкого сказать не умели. Проезжающий в царскую ссылку человек выговорил им однажды:

— Не в ту сторону воюете, друзья!

— Против кого же нам воевать?

— Против тех, кому рознь ваша на руку.

— Золотое твое слово,— отвечали Губа да Щека.— Мы таких, как ты, согласны уважать. Садись в нашу лодку, берись за кормило.

Но разумного человека угонили дальше, к Мерзлому морю. Оставленные царской властью без призора, самобытные деревенские художники зачастую бросали свое художество.

Но пришла пора, ударил и час: царский амбар развалился от подмою живой воды. Как трава из-под снегов, потянулись к жизни художники-сундучники, живописцы-красильщики. Говорливая Лебяжья пуще всякой сказки расскажет о комсомольцах Гуле Большом и Васе Меньшом, которые помогли деревенским мастерам собраться в скла́дчину-бра́тчину.

Гурий Большаков и Василий Меньшенин были комсомольцы из первых в то время и по той далекой реке. Гуля председательствовал в сельсовете. Деревенские хвастались:

— Настоящий председатель. Худых людей словом одергивает, добрых людей словом поддерживает.

Гуля Большой собрал в артель остаточных мастеров Лебяжьей Горы.

Вася Меньшой и столяр Федот Деревянный связали в одну семью мастеров Горы Гусиной.

Артельное дело пошло бы ходко, да не хватало хитромудрых живописцев Губы и Щеки. Освободившись от хозяйской кабалы, оба Ивана ушли на дальние морские берега, на промыслы.

В красные дни, на песках у Лебяжьей реки, сходились обе артели. Гуля председательствовал, Вася секретарствовал. Люди говорили:

— Всякий художный запас, краски, и масло, и клей мы добудем. Кисти и прочую художную снасть сами доспеем. А как ремесленную порядню вести, чтобы наше поделье в домовых обиходах было прочно и вечно? Это мы порастеряли, в этом мы пооослабли. Вид дадим, а не красовито. Цвет покажем — полиняет. И вторая статья: как художество строить. Без Губы да без Щеки мы письмо переврем и пошиб-манеру запутаем. Живем соседственно, но в чертеже и в раскраске каждая деревня соблюдает свою добродетель. На Лебяжьей колер обожают самый нежный, тьмо-лимонный да светло-осиновый, голубой да лазоревый. Человечков писали тоненьких. На Гусиной красили пестро. Цвет пущали сильный. Мужиков писали головастеньких, а женочек коротеньких. Нам свое лицо терять не надобно. У всякой ягоды свой скус.

Старуха Губина докладывала:

— Письма от мужа были, адрес не пишет, для того что на месте не сидит. И я спрошу тебя, товарищ председатель: ужели по теперешней науке нельзя дознать местоположенье хоть бы нашего Губы? Узнать бы да стребовать письмом.

Гуля рассмеялся:

— К сожаленью, и наука не может вычислить координаты наших мастеров. Ни ихней долготы, ни широты.

Порешили на том, что будут сыскивать вестей, и по тем вестям мастеров добывать. А работу начинать, не мешкая, для того, что время горячее.

На Лебяжьей сыскались и нехудые живописцы. Гусиная Гора в живописи поскудела. Зато столяр Федот Деревянный умел резное дело: стамеской орудовал по дереву краше, нежели иной кистью по бумаге. Федот взялся приобучить молодежь столярству и резьбе.

И полезли ребята к Федоту, как мухи на брагу. Навыкали пилить и тесать, делали скамью и столе́ц чисто и чинно. Которые ребята были схватчивы и ученье принимали бойко, тех Федот садил за тонкую работу.

— Вот, Михайлушко,— толковал Федот талантливому пареньку,— вот тебе художественные снасти, пилка да топорок, долото да стамеска. Построишь тут ларец. Приладишь тут кровельку. Получится для мухи для горюхи домок-теремок. К ней постойщики приедут. Пойдет житье-бытье:

Муха-Горюха,
Блоха-Поскакуха,
Комар-Пискун,
Таракан-Шаркун.

Присмотрясь к Федотовым рукам, ребята начинали делать сами. Всякую поделку, какова она будет в дереве, сначала чертили на чертеж, на бумагу. Федотовым ученикам подражали малыши-недоросточки. Мать иному репину даст, он из репы человечью образину или птичку вырежет.

Многие из старших пристрастились к рисованию, дивились сами на себя — почему это человеку художничать охота? Федот размышлял:

— Такой уж иной человек родится: чертить, да красить, да что-нибудь мастерить, вроде как пить-есть ему надобно. Сундук, скажем, и без прикрасы в обиход пойдет. А художнику охота, чтобы этим сундуком любовались. Ну, и в карман лишняя копейка. Я вот резьбой да узором сколько покупателей приманиваю, столько же себя веселю.

Федот жил и ребят обучал в доме Ивана Щеки. На деревне все дома были великие, потому что сторона лесная, но у Щеки было особенно светло: окна рублены широко. Иван Щека, сряжась в море, сказал Федоту:

— У тебя глазишки маленькие, и оконца в твоей избе коротенькие. Там тебе работать темно. Заходи в мой дом, столярствуй, топи печи, карауль...

Когда к Федоту стали собираться артельные, он немножко-то обеспокоился: «Без спроса тут хозяйничаю». А и хозяин будто в канский мох провалился.

На Лебяжьей Горе ждали Ивана Губу. Гуля Большой заходил спрашивать вестей к старухе Губиной:

— Как думаете, не вместе Иван Егорович с Иваном Щекой промышляют?

— Могут ли вместе, Гулюшка, экие два воеводы! Весь век в два веника метут. Все чего-то делят. Однако по секрету вот что тебе расскажу: мой-то муженек Ивана Щекина работу в сундуке хранит. Две коробки писаных в полотенце увернуты, в бумагу увязаны. В праздник вынет, полюбуется, вздохнет и скажет: «По живописной добродетели ни с кем Ваньку Щекина не сравню...» Опять и такой случай был: скупщик на пристани парохода ждет, сидит на ларце — Ивана Губина работа. Щека это усмотрел, к купцу подскочил и плюху дал: «Недостоин ты в руках носить Губино художество, не то что сидеть на нем...»

Колотятся теперь о морскую льдину моржи седатые, не ведают, какие дома дела открываются. Ужо по зиме, на оленях, не будут ли.

На оленях стариков не дождались. Иван Губа приехал по весне, Иван Щека — летом.

С вешней воды Лебяжья река откладывает кисти да краски. Брались за багры, за весла, за якоря, за паруса, за рыболовные снасти. Но из области было получено приглашение участвовать в осенней выставке, и люди урывали день-другой для художества.

Гуля Большой по должности и по делам выставки гонял то в область, то в район. Никто не встретил Ивана Егоровича Губу на пристани, а Гуля не сразу явился с визитом.

Губа все это принял как невнимание, как пренебрежение и как оскорбление. Пуще всего затужил о том, что артельное дело зачалось без него.

— Я век об этом деле радел, этого времени ждал да хотел. А они мимо меня и мимо Ваньки Щекина артель составили. Нарочно скорым делом стряпали, чтобы меня не пригласить. Хотя и приглашают, да после всех.

Жена уговаривала:

— Не горазды твои речи, Егорович. Артельная телега широка, садись да катись.

— Вот уж, Ананья да Маланья, Фома да кума да и место заняли. Я не из тех, чтобы сверх канплекта проситься.

— Что тебе проситься? Гуля Большой по зиме сто раз заходил: ждем, говорит, Ивана Егоровича, как майского дня.

— Ежели я майский день, дак меня встретить да почтить должно.

— Музыки да барабану не нашли, а то бы встретили.

— Тебе, дура, смех, а мне смерть... Они и Ваньку Щекина нароком держат без вестей.

— Кто это они, не наш ли Гуля, не Вася ли Меньшенин? — негодовала старуха.

— И Гульку не за что хвалить. Обо всей реке печалится, а мне отставку дал. Пущай мое письмишко самое немудрое, но Щека — первостатейный мастер. Только норов у него тяжелый. Но я за свою добродетель не пойду в ноги кланятся. А пропитаемся мы своей промышленной рыбешкой.

Артельные тоже не знали, как подступиться к мастеру:

— Смех и грех со стариком. Вишь, для его упрямки и для гордости встречу было надобно срядить. На тарелку посадить да по деревне пронести... Теперь уж все пропало. Он теперь и всенародного моленья не услышит. А бывало, что он, что Щека за чужую обиду первые лезли в драку с мироедами.

Молодежь дивилась:

— Как же хозяева-то дерзость такую прощали?

— Потому что у Ивана Щеки да у Ивана Губы руки золотые. Хозяин да скупщик прибыль этими руками загребали.

Пуще всех Губа обиделся на Гулю Большакова:

— В городе красуется, павилиены к выставке городит, а меня не залюбил. Ему Губа не надобен, и я их всех ничем зову и ни во что кладу.

Гуля Большой прямо с парохода забежал к Губе. Встретила хозяйка со словами:

— Иван Егорович в слабом состоянии здоровья. Принять не может. Извиняется.

Вышла Гулю проводить и зашептала:

— Не оскорбляйся, Гулюшка. Старик сам не рад, да своего упрямого обычая переломить не может. Намедни сам меня послал в артель: «Узнай обиняком, что такое н о в а т е м а т и к а. Из артели парни шли и про каку-то «нову тематику» песню квакали».

Гуля это намотал на ус. Укараулил Губу на улице, учтиво здоровается и подает коробочку:

— Иван Егорович, это первый мой живописный опыт. Я пытался применить новую тематику. Позвольте узнать ваше мнение.

Старик впился глазами в рисунок: звезда, краснофлотец, корабли с гербами.

— Ты это сделал?

— Я,— отвечал Гуля.

— Коробка-то лучше тебя!

Гуля рассказал артельным. Те смеялись:

— Иван Егорович уж век такой. Скупщика, бывало, штукатурит так, что — ах! Народ гогочет, Губа и на народ с веслом, с какой ни есть со снастью налетит... Ивана Губу да Ивана Щеку на весы посадить,— ни который не перетянет.

Губа после встречи с Гулей Большаковым принялся за дело. Трудился днем и ночью, благо летние ночи на Севере светлы как день. Выточил большие деревянные блюда, какие шли для свадеб, и покрыл левкасом, мелом на рыбьем клею. Как просохло, вылощил звериным зубом. Стал левкас, как яичная скорлупа, бел и гладок. По левкасу чертил тонким угольком и обводил рисунок черни́льцем. В перо от журавлиных крыльев вдевал щепотку волоса от беличьих хвостов,— готовил кисти. Потом стирал краски с яичным желтком. Краску соберет в деревянную ложку. Много ложек под левой рукой на лавке лежит. По надобью то ту, то другую ложку возьмет, из нее кистью краску берет и пишет по блюду. Рядки серебряного кружева на бирюзе изображали море. По морю золоченые кораблики. Сверху как бы розовый вени-

чек из цветов — утренние зори. Готовое письмо, как просохло, выкрыл олифой, льняным вареным маслом. Мастер хвалился:

— Гляди, жена, олифа-то моя сколь успешна к делу. Голубец и охра здешни немудры. Багрянец из-под нашей же горы. А через олифу сколь они румяны и светлы!

Жена, любуясь, говорила:

— Гуля хоть по мелочам, а художный-то припас из города привозит. Перед распутой синего кобеля привез и нутро маринино.

Мастер усмехнулся:

— Кобальт и ультрамарин... Краски добрые, а стратит без толку. Которую краску мизинной кисточкой задевать должно, они наплавом будут пущать, ворота красить. Недавно слышал, как они об окраске полов лжесвидетельствуют: олифу с керосином, дескать, превосходно... Я в обморок упал.

Старуха переводила разговор на приятное:

— Уж и красовито у тебя, Егорович. Как сады, цветут на блюде.

— То-то! — соглашался Губа.— А разумеешь ли ты силу и смысл письма?

— Очень даже явственно. Здесь красное войско гонит из нашего моря иноземных хватов. Здесь морской парад писан: пушки с наших кораблей палят, знамена трепещутся, чайки летят. А девка с трумпеткой почто на небо залезла?

— Это Слава с трубой,— улыбался старик.— Изображено «Пришествие Красного Флота на Север...». Надокучили мне птички да цветочки. То желаю рассказать, что мой ум веселит, чему сердце радуется.

Губа решил похвастаться перед артельными, особливо перед Гулей. Старуха побежала к Большаковым. Оказалось, Гуля снова вызван в город. Снова потемнел Иван Егорович:

— Медали поехал лудить для своей канпании. Конечно, все они Птицианы и Ребрамты. Их посадят в Ермитаж на божницу при освещении електричества. А позабытый художник Ванька Губин пущай поет на мокрой мостовой: «Подайте мальчику на хлеб, он Велизария питает».

— Уж и мастер ты, Егорович, слезы выжимать,— всхлипывает старуха.— Вылизарий-то кто?

— Оскорбленная невинность,— хмуро отвечал Губа.

Вскоре ему надоело жалобить самого себя.

— Председателя нет, щегольну перед артельными.

Разбирало любопытство — что-то наготовили для выставки.

Как-то утром усмотрел, что на улице народу нет, увязал свои блюда, отправился.

— Куда, Иван? — удивилась жена.— Артель-та вся небось на пристани. Пароход пришел.

— Мели, Емеля... Будут они бегать, пароходики встречать, когда выставка на носу... А ты, старуха, не звони. Я тихомолком.

Чтобы люди не подумали чего, Иван прошел по деревне не спеша, помахивая тросточкой, и, словно невзначай, юркнул в артельные ворота. Толкнул двери мастерской. Заперто. Но внутри кто-то вовсю гремел молотком. Иван приправил стучать и кулаком и палкой:

— Ишь, какое министерство! Запершись работают. «Без докладу не входить». Нет уж, я не отступлюсь. Хоть незваный посетитель, а принимать извольте!

Из соседнего дома выглянула бабка:

— Напрасно колотитесь. Народ-то на пароход убежали, дрова грузить...

Ой, да это Иван Егорович? Не узнала тебя. Какой товар за пазухой жмешь, антиресность каку-нибудь сработал?

Из дома напротив вылезла другая бабка:

— Здравствуешь, Иван Егорович! Колотись шибче. Один глухой Петруха в мастерской-то, сковородки делает. Дай я пособлю, колом в простенок приударю...

Себя не помня, прилетел Иван Егорович домой. Шиб блюда под лавку.

— Наделал смеху: «Иван Губа в артель ломился, кланялся, просился». Подай мне ружье, старуха. На озеро уйду. С гагарами, с утятами поговорю. Успокою свое сердце. Раньше воскресенья не вернусь.

Лесная тишина не успокоила Ивана. В воскресенье брел домой безрадостно:

— Ничего, товарищи артельные... Я вам улью щей на ложку. Сам до области дойду. Перед художественными начальниками свою работу положу. Пущай решат, достойно ли Ивашку Губина от дел отбрасывать...

Возле сельсовета толпился народ. Послышались голоса:

— Губа идет! Егорович идет!..

Кто-то крикнул:

— Эй, Иван Егорович! За тобой два раза бегали. Где ты провалился-то? На собрание опоздаешь!

— Какое такое собрание?

— Гуля Большаков из города доклад привез насчет артели. И наши и гусиновские тут.

«Ладно,— подумал Губа.— Осчастливлю вас своим присутствием. Напою куплетов. Отругаю и за старое, и за новое, и вперед на три года...»

В обширном зале народу было — хоть по головам ступай. Кончились общие вопросы. Со своим сообщением вышел Гуля Большаков. Рассказывал о строительстве выставки, открытие которой приурочено к Октябрьским праздникам; о том, какое видное место предоставлено Лебяжьей реке. Иван Губа, считая, что для него все потеряно, желая досадить докладчику, начал громко разговаривать с соседями. Тогда и высокий голос Гули Большакова зазвенел, как колокольчик:

— Я слышу, что среди нас присутствует наш уважаемый мастер Иван Егорович Губин. Иван Егорович, я привез вам личное приглашение участвовать на выставке.

Иван буркнул:

— Некому меня там знать.

Гуля продолжал:

— Простите, что без вашего разрешения я показал выставочному комитету несколько ваших работ. Из тех, что хранились в артели. Ваши изделия, Иван Егорович, чрезвычайно понравились. Комитет с удовольствием предоставит вам, Иван Егорович, особую витрину или, если вы пожелаете оказать честь артели, то — в качестве ее члена, среди ее экспонатов. Вы, конечно, будете нашим украшением, Иван Егорович.

Гуля спрыгнул с кафедры, подошел к скамье, где сидел Иван Губа, и протянул ему конверт:

— Вот вам личное письмо от комитета, Иван Егорович.

Тишина стояла в зале. Сотни глаз глядели на Ивана. Иван вдруг побагровел, сморщился и... слезы обильным потоком хлынули из его глаз. Из-за слез, не видя Гули Большакова, старик нашарил его руками и обнял:

— Заботник ты мой, печальник ты мой, доброхот ты мой, Гулюшка! Не

я украшение, это вы, молодые, великодушные,— всемирное наше украшение!

Повернув в сторону артельных мокрое от слез лицо, Иван гаркнул:

— Артель, пиши меня в члены или хотя в ученики! Челом бью!

Не гуси-лебеди крыльями захлопали, артельные в ладоши загремели, закричали:

— Инструктором будешь у нас, Иван Егорович,— решено и подписано!

На Лебяжьей Горе дела идут благополучно. Про Гусиную Гору можно сказать, что если строил здесь артельное дело столяр Федот Деревянный, то увенчал Федотово строенье кровлей комсомолец Вася Меньшенин.

На Гусиной и прежде мало было живописцев. Больше столяры и резчики. В последнее время один Иван Щека умел разрисовывать-расписать шкатулку-сундучок в здешнем, особливом вкусе. И краска в Щекиной работе не темнела, не линяла, не смывалась.

— Тридцать лет столешницу мочалками сдираю,— скажет деревенская хозяйка,— а цветочки как сегодня расцвели. Щекина Ивана рукоделье!

Еще зимой Щека оповестил Федота:

— В навигацию, в корабельный приход буду дома!

Артельные обрадовались. Наготовили ларцов да ящичков: края-каемочки резные, а стенки-кровельки оставили для живописи:

— Иван Акимович приедет, нацветит и наузорит. Не поддадимся Лебяжьей Горе.

Вася Меньшой добывал рисунки, картинки о новой жизни, советской. Собирал и приговаривал:

— Пригодится нашему художнику.

Федот задумчиво покачивал головой:

— Вот только мы пригодимся ли? К своему художеству Иван Акимович относится с пристрастием. Каким глазом взглянет?.. Может, не понравится, что в его избе распоряжаемся. Мне первому достанется.

Иван Щека приехал к лету. Тут же у морской пристани узнал подробности об артели, о том, что для артельных в городе «куют медали». Недаром говорили, что Ивана Егоровича с Иваном Акимовичем посадить на одни весы — ни который не перевесит.

Щека рассердился, разгорячился на себя и на людей, а на Федота пуще всех. По Лебяжьей реке ходил нарочный пароходик. Щека не поехал домой. Засел в шатре знакомого рыбака.

О приезде мастера на Гусиной узнали в тот же день. Ждали трое суток, обеспокоились: «Не захворал ли? Не лежит ли где под карбасом?» Федот Деревянный, как на грех, поранил ногу. На разведку отправился Вася Меньшой.

Щека сидел в шатре, вязал рыбачью сеть. Не поглядел на Васю, а только покосился.

— Здрасте, молодой человек. Меньше вас некого было послать? Федотка околел?

— Федот посек ногу топором.

— Умысел и хитрость... Значит, вас послали бесприютного изгнанника глядеть?.. Возвестите населению, что Ивашка Щекин, не имея где главы преклонить, кочует по морскому берегу, подобно диким племенам.

Вася старался умягчить старика:

— Как мы вас ждали, Иван Акимович. Делов вам наприпасали — на барже не утянуть.

Щека уставился на Васю ярым оком:

— Не спросясь, меня в работники купили! Вы будете в моей избушке государить, а я у вас в холопах? Вы и с Губиным нахально поступаете. Он дурачится по старости. А в нашем мастерстве Ивашко Губин личность неизбежная.

— Я вам логику желаю доказать, Иван Акимович.

— А я вам и без логики спою: надменная аспида Федотко пущай опростает мое домишко. Сроку даю неделю. Через неделю покорнейше прошу уведомить меня.

Унылой показалась Васе обратная дорога.

«Как низко ставит сам себя Иван Акимович. Капризит хуже малого ребенка. В деревне будут пересуживать: «Знать, мошну толсту набил, то и куражится». Больной Федот опечалится. Лучше помолчу. Авось наш долгожданный мастер образумится».

На Гусиной Вася заявил, что Иван Акимович прихворнул. Через недельку просил навестить. Артельные успокоились. У Федота отлегло от сердца.

Комары, безлюдье, досада вконец одолели Щеку за эту неделю.

Вася приехал, начал добрым порядком:

— Напрасно вы на нас обиделись, Иван Акимович. Для чего не едете домой?

— В чулан меня положите или на чердак закинете? — горячился Щека.— Власти из города наедут: «Где обитель оскорбленного Ивана Щекина?» — «Под крыльцом,— отзовусь я,— заместо Шарика и Жучки лаю на разные басы».

Вася не утерпел, рассмеялся.

— Ты смеяться,— загремел старик.— Ты посольство править послан или зубы скалить?!

Рассердился и Вася:

— Что вы на меня разъехались, Иван Акимович? Если я посол, вам должно меня выслушать.

— Я хозяина-мироеда не слушался, а теперь не то время. И вот вам мой последний сказ: еще недельку потерплю. А в воскресенье приеду с этим вот березовым колом. Добром Федотко со двора не выплывет — палкой выгоню!

Ехал Вася домой, думал грустную думу: «Сам себя наш мастер хочет обесславить. А я ничего не скажу в артели. Будь что будет! Неделя — долгий срок, вдруг да обойдется стариковское сердце».

В деревне Вася сказал:

— Иван Акимович выздоровел. Посылает всем по низкому поклону. В воскресенье сам приедет.

Артельные развеселились. У Федота стала бойко заживать нога.

Дом и так содержался в порядке, но к приезду художника прибрались, будто к празднику. Ребята-ученики готовили встречу.

В воскресенье с раннего утра Вася караулил пароход, стоя на высоком берегу. С беспокойством ждал: скоро ли покажется дымок. Раньше Васи пароход увидели ребята. С криком: «Едет, едет дядюшка Иван!» — побежали к пристани. За ними поспевал Федот.

Иван Щека стоял у самого борта. В руках держал березовую палку. Одинокая фигура старика казалась мрачной.

«Наделал я делов!» — подумал Вася, медленно спускаясь вниз к реке.

Сидя у моря, Щека ждал, что к нему приедут на неделе с докладом, с приглашением. Подошло воскресенье, никто не явился. Увязав пожитки, ухва-

тив березовый батог, старик сел на пароход. Всю дорогу сам себя горячил, стукал палкой в палубу: «Ладно, приятели... Я вам не нужен, так и вы мне не нужны. Вот я вас всех ужо...»

Показалась Гусиная Гора и пристань. Щека дивится:

«Кого же это народ встречает?.. Федот в красной шелковой рубахе... Девица с букетом, парнишка с разрисованным листом. Ребята в два ряда. Не начальник ли какой в каюте едет?.. Федот шапкой машет. Все кому-то радуются. На меня глядят!»

Пароход бросил причалы. Артельные ребята не стерпели, нарушили ряды. Бегут к Ивану да кричат:

— Дядюшка Иван Акимович, с приездом!

Палка выпала из рук Ивана, гремя покатилась по палубе... Девочка сует Ивану букет. Мальчик звонким голосом читает по листу:

— Мы, ученики Гусиновской артели, приветствуем нашего художника...

Иван сгреб в охапку зараз пятерых ребятишек и спрятал лицо в их головенках, чтобы не видно было его слез. Потом крепко обнялись с Федотом.

Было над чем радоваться Васе. Приметив его, Щека сказал:

— Васенька, пройдем-ка в каюту. Сундучок пособишь снять.

В пустой каюте Иван спросил:

— Вася, ты им ничего не говорил? Они ничего не знают?

— Ничего не говорил, Иван Акимович. Они ничего не знают.

Старик поклонился Васе в ноги.

— Не я учитель, Васенька, а ты мой учитель!

Щека ходил по своему дому:

— Занавесочки, цветы, чистота... Пол-то, платком носовым продери, платка не замараешь. А эта горница почто на замке?

— Тут твое именье,— объяснил Федот.— Сундук, постель, посуда. Как уехал, так все и лежит нетронуто.

Иван зашумел:

— Эх вы, распорядители. Теснятся тут, а комнату замкнули. Вынести мое барахлишко наверх: я в светелке буду помещаться. Федот останется внизу, а этот весь этаж под мастерскую.

Вася, лукаво прищурив глаза, шепнул Ивану:

— А я, в случае чего, к себе собрался перетаскивать артель-то.

Иван засмеялся:

— У тебя улица грязна, у тебя ворота не крашены, у тебя пол не метен.

До ночи Иван не отпускал народ, а на другой же день артель взялась за краски и за живопись. Работали — «с огня хватали»: выставка была не за горами.

Щека не попал и на собранье, где Гуля Большаков так славно помирил Губу с артелью. Но гусиновцы, которые ходили на Лебяжью Гору, не то что рассказывали, а в лицах представляли и Губу и Гулю. Щека слушал, и у него сияли глаза:

— Теперь Иван Егорович и меня не оттолкнет. Ты, Вася, и ты, Федот, махнем-ка завтра на Лебяжью.

В избе у Губы сидели артельные, любовались новыми блюдами. Вдруг хозяин, уставясь в окно, ахнул:

— Небывалый гость идет! Раскатись моя поленница без дров!

Он бросился в сени, протянул обе руки Ивану Щеке.

— Ванька,— сказал Губа,— сколько годов мы друг по друге тужили?!

— Ванька,— отвечал Щека,— пускай лучше люди сочтут, сколько годов мы с тобой дружили.

Неспроста хвалились деревенские старухи, что в городе куют медали на сундучных мастеров. В октябре на выставке артели удостоились наград. На торжественном собрании сказала слово и река Лебяжья. Иван Щека говорил:

— Кто нас прежде знал да кому мы были надобны? Теперь нам от государства повелено быть у живописных дел. Бывало, никто и знать не хотел, что есть такой коробочник-ларечник Ванька Щекин. Теперь мне велено подписывать мои работы. Бывало, даже живопись такого мастера, как Иван Егорович Губин, валялась на базаре с ведрами, с лопатами. Теперь она в музее, под стеклом.

Бывало, мы бродили врозь, теперь нам настоящая дорога под ноги попала. Теперь мы на широкий шаг шагнули... Время покажет, успешно ли будет наше письмо у нового строительства.

Мне, старику, что-то тесно стало у коробочки-шкатулочки сидеть. Желаю этот потолок расписывать, на заводском театре кистью размахнуться. Чтобы не только птички да цветочки, а об устроении Земли, о войне и тишине рассказать.

Иван Губа говорил:

— Краше теплого лета эти осенние дни. Любо мне, деревенскому мастеру, быть на таком блестящем собрании. И при всех хочу назвать и от всей Лебяжьей реки спасибо сказать нашим комсомольцам Гурию Большакову и Василию Меньшенину. Ты, Гуля Большой, и ты, Вася... стараясь для пользы деревни, вы погасили многолетнюю вражду.

Любя родное художество, какое вы показали терпение! Как дальновидно сказалось ваше поведение... Нас, старых мастеров, звали вы в учителя. И вот я, именуемый учитель, приехал в большой город. Хожу, смотрю, размышляю. И... почувствовал себя учеником.

ДОЖДЬ

Эта оказия случилась годов за восемьдесят назад. Красильщики Фатьян с подмастерьями Тренькой да Сенькой Бородатым карбасом по Северной реке причаливали к деревням, красили по́ртна, набивали узором полотна. Бабы платились тем же полотняным тканьем, и дальновидный Тренька ругал мастера:

— Выискал ты реку, дядюшка Фатьян. Преудивленные народы: без денег обитают.

Фатьян отмахивался:

— Молчи ты, хилин рассудительный. Наша-то река с деньгами живет? Здесь смолу курят, мы холсты красим: денег класть не во что, кошелька купить не на что... Ужо выплывем к Архангельскому городу, холсты продадим, в барышах домой воротимся.

Архангельск встретил неприветливо. Дул шелоник — на море разбойник. Тренька с Сенькой сроду не видали моря. Боязливо слушали россказни о кораблекрушениях. Впрочем, всякий день бегали дивиться морскому чуду — пароходу. Пароход в те времена был в диковину не только деревенскому парнишке.

А Фатьяну было не до диковинок. Цены на деревенские холсты явились невыгодны. Фатьян не спал ночами, раздумывал, как быть с товаром. В таких заботах встретил земляка, именитого человека из города. Земляк выслушал Фатьяна и сказал:

— Через пять недель на острове, у морского лесопильного завода, состоит гулянье. При заводе слобода. Слобожанки — щеголихи, а купить нарядов негде. Купцы не ездят: срочных рейсов нет. У тебя, Фатьян, полотняный припас есть, набивные снасти есть. Напечатай своих ситцев, сплавай на гулянье. Я ради старого знакомства похлопочу тебе право поставить балаган у лесопильного завода.

Фатьяну совет полюбился. Заложил земляку свой карбас, купил хороших красок и дорогой олифы. Снял у бабушки-задворенки на огороде избушку и скорым делом стал печатать ситцы. Работали на совесть, чтобы прочно было и пригоже. От всего усердия стараются. Стукают да стукают тяжелыми узорными досками, пот в башмаки бежит, а мастера, как дети, как художники, веселятся незатейливыми птичками-цветочками, корабликами-домиками. Мастера любили работу, и работа удавалась. Тоже, значит, мастеров любила.

Работали, как песню пели. Но лишь только разговор заходил, что надобно плыть в море, начинались споры. Тренька бубнил:

— Эстолько товару наработано. А морем поплывем, кораблик заплеснет валами. Товар замокнет, заплесневеет, запихтевеет... Тогда куда мы, человеки разоренные и многодолжные?

Сенька, молодой курносый парень с рыжей бородищею, добавлял свои резоны:

— Мне мама дальше Архангельского города плавать не велела.

Фатьян горячился:

— Один уеду! Околевайте без меня.

— Одного тебя не пустим. Не дадим тебе кукушкой в море куковать.

Приятели согласились неожиданно:

— Вези нас, дядюшка Фатьян, на пароходе. Пароход нам понравился.

Смех с ними и грех, а дело править надобно. Два-три раза сходил Фатьян в приказ с подарками, получил именное право. Приказные говорят:

— За твою добродетель тебе такое скорое доверие. И поручитель у тебя добрый. А некоторый иноземец с весны в эту поездку домогается. Ему от нас ответа нет.

Фатьян из приказа зашел в трактир, сел в уголок, сердито разглядывал гербовый лист с печатью: «Пропали бы вы кверху ногами с вашим доверием!.. Столько товару нет, сколько пошлин правите».

В трактире привелись три иноземца. Старший, с виду опытный, бывалый, сунул нос в Фатьянову бумагу, пробежал ее бойко глазом и расплылся в улыбку:

— Любопытствуем сделать с вами знакомство, мистер Фатьян. Дозвольте представиться: Гарри Пых, мануфактур-советник, иностранец. Желаю выпить за успех вашего предприятия.

Он выудил из заднего кармана штоф, налил полстаканчика себе и стакан Фатьяну:

— Прошу, мистер Фатьян. Ваше здоровье!

Фатьян недоуменно мигал глазами, отказаться не посмел:

— Покорнейше благодарю, мистер Пыхов. Равным образом и вам желаю... Какой державы будете?

— Верноподданный заморских королей.

— Чем изволите заниматься?

— Дамский туалет, маскарад кустюм. Новейшие фасоны, заграничные модели. Фирма существует двести лет! Одним словом, мистер Фатьян, возь-

мите нас в компанию и поедем вместе на завод. Торгови дом Фатьян и Ко! Шикарно?

Фатьяну столь стыдно за себя, простого деревенского красильщика. Тяжело вздохнув, он сказал:

— Опасаюсь, мистер, что вы, по вашей склонности, имеете высокое воображение о нашей простоте. Мы являемся простые мужики. Земля у нас нехлебородна. Хлеб надо покупать. На покупку деньги достаем отхожим промыслом. Наша деревенька, скажем, вся — красильщики-набойщики. А соседняя — швецы-портные. Вот мы из каких, а не купцы первогильдейные... Однако, не хвалясь, скажу: мы мужики по званию и художники по знанью. Искони втянулись в ремесло и достигаем мастерства.

Пых закурил и пустил дым Фатьяну в лицо.

— Ваше ремесло, мой друг, получит настоящий блеск, когда вы войдете в компанию с нами... Но что же вы не пьете, друг Фатьян? Ваше здоровье!

У Фатьяна в голове хмелинушка бродит, но немножко-то он соображает:

— А вам какая выгода в моей компании? Почему от себя не промышляете, мистер Пыхов?

— Праздный вопрос, мистер Фатьян. Мы приехали сюда на малый срок. Хлопотать о мастерской и о торговом помещении нам некогда. А вас все знают. У вас на руках готовое разрешение.

— А ежели, мистер Пыхов, ваш товар пойдет, а моего аршина не возьмут?

— Барыши пополам, мистер Фатьян.

— Слово дадено, как пуля стрелена,— сказал Фатьян.— Ты как, мистер Пых, на бумаге договор будешь крепить? А по-нашему: слово да руку дал, крепче узла завязал.

У Пыха глаза сделались веселые. Он промолчал, а Фатьян ораторствовал:

— Мастерскую ты помянул. Тебе на что мастерская?

— Для производства моделей. Недельки на две.

— К бабушке-задворенке в избушку заходи и выделывай свои кадрели-модели. Мастерская — пустяки, а важность вот какая: на чем товар к месту доставим? Море сей год непогодливо.

— Я буду хлопотать о пароходе. Великое удобство!

Фатьян хлопнул Пыха по плечу так, что тот едва со стула не слетел:

— Орудуй, мистер Пых, дело подходящее. Главное, Сенька и Тренька будут рады. Они на пароходе — с полным удовольствием.

Дома Фатьян хвастал перед подмастерьями:

— На пароходе поплывем. Я себя не оконфузил. Пых свое, а я свое. И так его ловко в свою пользу насаживаю.

Сенька с Тренькой не видали мастера во хмелю. Не могут надивиться:

— Они какой державы люди? Званья какого?

— Верноподданные заморских королей... А званьев у них много. Этот Пых, он, может, урожденный граф, его светлость! Я в людях понимаю. Насквозь вижу человека.

Новые компаньоны принялись за дело не мешкая. Забрались в Фатьянову избушку. Не спросясь, схватили ведра, кисти, утюги. А главное, что повели работу с хитростью, с секретом. В избу к ним ходить никому не велели. Запрутся, как стемнеет, и пошабашат за час до свету. Удалые Сенька с Тренькой взялись доглядывать за иноземцами. Сенька Бородатый впялил глаза в дверную щель. В тот же миг тряпка с краской ляпнула в рыжую бороду. Стала

борода зеленая. Умный Тренька высмотрел сквозь ставни с улицы, в оконце. После докладывал Фатьяну:

— Намешано у них в ведрах всякого сословия: желтого, зеленого, красного и синего. И Пыхов, как паук из паутины, ветошь тянет. Помощники эту ветошку щекотурят киселями разных колеров. Я гляжу, меня так в обморок и кидает... И плюют, и дуют, и пеной пырскают. Высушат и мылом налощат. А сидят не со свечой: новомодный свет — карасин горит.

В конце другой недели Тренька доносил:

— Дядюшка, ситцы-то у них пришли в полную красу: сарафаны сделались! Полну избу кофт да юбок наработали.

Фатьян поскреб в затылке:

— Твори, господи, волю твою!

Готовые наряды иноземцы стали гладить. Из-под утюгов валил кромешный дым.

— Портной гадит — утюг гладит,— стонал Фатьян, угорая с ребятами до пропасти от этого чада. Посоветоваться, потолковать Фатьяну было не с кем. Опытный земляк ушел по должности в море.

Гарри Пых сумел подъехать к капитану парохода. Выяснил, что пароход будет грузиться на морском заводе тесом, и как раз ко времени гулянья.

Фатьяновы полотняные тюки на пароход носили — сходни от тюков гнулись. Пыховы коробки с туалетами, будто пташки, с рук на руки летали. Фатьян обиделся на Пыха, что тот ни в чем не спрашивается, а как в море вышли, Фатьян отмяк, подсел к компаньону:

— Как проворно вы управились с работой! Жаль, не удалось взглянуть, из какого матерьяла вы работаете.

— Из пены! — огрызнулся Пых.

— Хм... пена дело легкое.

— У нас за морем из пены веревки вьют.

Ночью пароход хватила непогода. Сеньку с Тренькой с ног на голову ставило, качало. Мистер Пых тоже в дело не годился, ползал на карачках. Фатьян бранился:

— Парохода вы домогались — получайте пароход!..

Потом бежал укутывать товар брезентом, молился со слезами:

— Морские заступники, скорые помощники! Не замочите коробки и мои набойки! Убавьте волну!

Путь окончился благополучно. Пароход пришвартовался к пристани. Иноземцы при постройке балагана снова показали хитрость и затайку. Поставили себе шатер особенно. Рядышком с Фатьяном, а не вместе. Сверху налепили ленту-вывеску: «Пых и К°. Базар де мод». Модный-де базар. А уж товар у них:взгляни да ахни! Колера пронзительные. Кофта: по огненному полю синие лимоны. Юбка: желтая земля, синие дороги.

Привалил народ. Бабы на заморские разводы сразу обздорились. Жужжат у Пыхова товару, будто комары. Мистер Пых того и ждал: пуще зазывает:

— Бальный туалет! Американ фурор! Модерн кустюм! Три рубля комплект!

Покупательницы из-за кофт дерутся. Юбки друг у дружки отымают. Только старые старухи опасливо косились на азартные «канплекты».

— В глазах рябит, как набазарено. А не марко ли? Не линюче ли?

Фатьян в этот день не опочинился. Склавши руки, сидел, как невеста женихов дожидаючи.

Напрасно Сенька с Тренькой раскатывали на прилавке трубы набивного полотна. Напрасно заливались звонким голосом:

— Эй, ройся, копайся! Отеческим узором украшайся!

Бабы задирали нос перед Фатьяном, фыркали:

— Вы не можете потрафлять на модный скус. Такой ли ваш фасон, чтобы показывать себя? А у Пыха туалеты, как цветы.

Фатьян негодовал:

— А мои набойки разве не цветы? Узоры не собаки, чтобы в нос бросаться.

— У тебя цвет брусничный да цвет коричный. А у Пыха будто феверки. Оделась в мериканском скусе и пошла, как колокольчик...

Утром другого дня Пых распродал свой товар до нитки.

Девки и молодки торопились нарядиться: по обеде открывалось игрище-гулянье. Старухи опять приходили глядеть Фатьяновы набивки. Приводили своих стариков, шептались. Отходили с глубокой думой на челе.

Фатьян разговаривал, гордо поворотясь к покупателям спиной:

— На здешних клоунов и на попугаев у нас товару нет. Не задорны наши ситцы для такого племени.

Тренька по-аглицки ругался с Пыховыми препозитами:

— Нахвально поступаете. Совесть у вас широка: садись да катись! Пленти мони вери гут до добра не доведут.

Фатьян становил его:

— Брось, нехорошо. Пых мне-ка слово дал, что барышом поделится.

— А ты спросил бы, дядюшка.

— Совестно.

Гулянье началось на лугу, на берегу, далеко от всякого жилья, чтобы простору было больше. Старухи, старики, женатые мужики, ребята расселись, как в театре, по бревнам, по доскам, по изгородям, по пригоркам. Все знают, что сегодня не в старинных штофниках и сарафанах бабы-девки явятся, а в модных туалетах. Всем известно, что триста «канплектов» продал Пых... Ждать долго, потому что от завода, от слободки, где бабы-девки белятся-румянятся, в туалеты рядятся, до гульбища версты полторы. День стоял пригожий, но с обеденной поры старики запоглядывали в край моря.

— Теменца́ заводится...

Заежилась древняя бабка:

— Не быть ли дожжу — вся дрожжу.

Погодя старики опять проговорили:

— Гром гремит, путь воде готовит...

Мальчишки, которые с высоких штабелей караулили дорогу, закричали наконец:

— Идут! Идут!

Щеголихи шли рядами: двести девок, сотня баб. Шествие замыкали парни с гармонями. Старики на бревнах запели:

Слетались птицы,
Галки и синицы
Стадами, стадами.
Сходились девицы,
Сбирались молодки
Рядами, рядами.

Одночасно весь берег будто цветами расцвел. Разноцветно стало на лугу. Цветасто. Девки как букеты разнопестрые. Бабы будто лампы в абажурах. И

что тут величанья, и смотренья, и манежности! У смотрящих стариков в глазах зазеленило. Старухи ахают:

— Глянь-ко, глянь-ко! Этой бы только в погребу сидеть под рогожей, а она как жар-птица!

— Эту бы давно на табак молоть, а она как фрегат под парусами. Сейчас зачнет палить из пушек.

Тут парни зараз в гармони жахнули. Двести девок, сотня баб песню завели; высоко занесли да в пляс пошли. Только и слыхать, что «ух-ух, ух-ух!». Топанье, хлопанье, плесканье, скаканье...

И в те поры дожжинушка ударил, как с горы. Не то что дождь пошел как из ведра, а — бочками, ушатами заполивало. Вдруг гроза-то с моря накатилась.

Разом триста баб и девок караул закричали. Не грозы испугались: гроза не диво. С туалетами заморскими беда стряслась: краска смокла. Краска-та плывет, и ветошь-та ползет. Бабы держат ветошь-ту да визжат, как кошки. За какой лоскут хватятся, тот в руках останется. Во мгновенье вся краса стерялась. Как не бывало туалетов. Смотреть негодно. Эти щеголихи все лохмотье мокрое с себя сбросали в кучу да, как чертовки из болота, ударились бежать.

Кому горе, кому смех! Мужики, как гуси, загоготали. Парни, старики со смеху порвались:

— Ха-ха-ха-ха-а! Вот она, чудовища-а! Европейские модели побежали-и!

Маткам, бабкам не до смеху. За дочками в погоню стелют да ревут:

— Косматки вы, трепалки вы! На всю вселенну срам наделали! Теперь ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.

Переведя дух у себя в слободке, умывшись, опамятовавшись, молодицы и девицы решили отсмеять насмешку иноземцу:

— Бабы, девки! Нельзя такого бесчестья простить! Головы не оторвем, дак хоть плюх надаем этому Пыху.

Еще до света учредились они как на битву: с ухватами, с лопатами. Мужики смеялись:

— Маврух в поход собрался... Пропал теперь заграничный Пых. Он ведь сидит и ждет: «Скоро ли де бабы меня трепать придут!»

— Пущай он хоть в утробу матерню спрятался, и там добудем! — вопияли женки.

Есть пословица: «Крой да песни пой; наплачешься, когда шить будешь». Пел Пых и у кройки и у шитья. Пел, товар с рук сбываючи. Заплакал в дождик, когда началась суматоха. Бежать на пароход поопасался: бабам нигде не загорожено, а капитан не любит неприятностей. Вместе со своими препозитами Пых залез под пристань. Всю ноченьку осеннюю там тряслись, единым словом меж себя не перещелкнули. А комары их едят.

Одна была отрада: знали, что погрузка тесу кончена и пароход утром отваливает. Решили заскочить на пароход после второго, третьего свистка. Тогда уж бабам Пыха не достать. Только бы проскочить удалось.

Фатьян в своем балагане тоже ни жив ни мертв сидит.

— Вот дак мистер заграничный! Присчитается и мне на орехи. И я с ним в паю буду... Век худых людей бегал, при старости с мазуриком связался! Рук марать не стану барышом грабительским.

— У тебя откуда барыши-то? — спросил Тренька.

— Да ведь половину барыша мне Пых-то посулил!..

— Ох, дядюшка Фатьян! Нет у тебя ума-то с наперсток. Таких, как ты, лесных тетерь, и учат.

— За мою добродетель?!
— За твою дурость, не во гнев будь сказано.
— После дела всяк умен. Уйди с глаз! — рявкнул мастер.
Ночью Фатьян не спал, бродил около палатки. На сердце росла тревога: «Влетит и мне за Пыховы дела...»
Пущего страху нагнал глухой сторож из слободки:
— Здравствуй, гость торговый. Вина штоф отпусти.
— У меня не кабак...
— Табак не надо... А вас бабы убивать придут. Я на гулянье не был, а видел, как они в деревню прибежали. Как есть — банны обдерихи.
Так и сидел Фатьян до свету:
— Убежать бы, да некуда. Укрыться бы, да негде...
На рассвете завел глаза, задремал. И тут же со страхом прянул на ноги. Услышал топот ног и воинственные возгласы:
— В воду посадить еретиков!
Несколько запыхавшихся баб сунулись в Фатьянову палатку:
— Дедко, вчерашний Пых где?
— Голубушки, не знаю. Матушки, ни в чем не виноват.
— Ты, смотри, никуда не уезжай. Тех поймаем, до тебя есть дело.
Полотняная дверца захлопнулась. Фатьян, белый как бумага, начал расталкивать Сеньку с Тренькой:
— Вставайте! Убивать нас идут! Где у нас чисты рубахи?! Помрем. Деточки, смерточка напрасная приходит.
Поняв, в чем дело, Сенька Бородатый заревел:
— О, не по красу приехали, не на великую добычу. Зачем ты нас в море сбил, седая анафема?
Тренька заорал на обоих:
— Мужики вы или нет? Бежать надо!
— А товар как? — опомнился Фатьян.
— Ведь ты помирать срядился.
— Пережить не уповаю. А своего художества непонимающим людям оставить не желаю,— торжественно сказал Фатьян.
Тренька уважительно поглядел на мастера.
— Одобряю эти слова, дядюшка Фатьян. Возьмем с вами по топору, станем у дверей. Пусть-ко сунутся которые... А ты, Сенька, лети на пристань. Нет ли там благоразумных мужиков?
Сенька побежал, на всякий случай поклонившись Треньке и Фатьяну в ноги.
Время тянулось. Никто убивать не шел. Фатьян поуспокоился, насупив брови, сел.
— Охо-хо!.. Ждать да догонять — нет того хуже...
Со стороны берега донеслись два пароходных свистка, и вслед за тем крики, брань... Фатьян опять схватился за топор.
Прошел час. Фатьян простонал:
— Тренька, ради бога, сбегай, поищи Бородатого. Матка его будет жалеть. Да не провались там!
Тренька ушел, да и провалился. Фатьян изнемог ждавши. Охал и ругался:
— Дураков пошли, да и сам за ними иди. Порвало бы вас, разорвало бы вас! Живы ли вы, деточки мои? Брошу все, сам пойду.
Не поспел Фатьян шаг шагнуть, его с ног сбили Сенька с Тренькой.
— О, леший бы вас побрал! Где вас, проклятых, задавило?
Докладывать начал красноречивый Тренька:

— Ух, дядюшка Фатьян!.. Женки по штабелям летают, в бревнах Пыха ищут, а он под пристанью хранится. Тут с парохода два свистка. Пыховы, все трое, выскочили да по мосту и лупят, а сами кричат:

«На секурс! На секурс!»

Бабы со штабелей ссыпались — да за ними. По мосту канат причальный. Пых подопнулся, и один подручный с ног долой. Бабы налетели, стали Пыха потчевать. Тут спустился с парохода управляющий заводский. Его провожает капитан. Бабы прискочили к управляющему, кладут жалобу на Пыха. Пых вопит что-то капитану на ихнем языке. А народу много, полна пристань накопилась. Управляющий говорит капитану:

«Вы что скажете, мистер каптейн?»

Капитан, такая личность представительная, с сизым носом, отвечает:

«Я совершенно ни при чем. Но мистер Пых просил дать объяснения на его товар. Это есть обычная матерний аплике, накладной бумажный кисея. Весьма боится сырость. Если бы не дождик, туалет гулялся бы на год».

Управляющий к народу:

«Вот что, женочки и девицы: вы в памяти, в сознаньи эти юбки-кофты покупали. Небось у своих ситец выбираете, жуете да лижете: не марко ли, не линюче ли?.. Цену-то какую иноземец брал?»

«Три рубля за канплект».

«Это вы иноземцу за науку заплатили. Вперед пригодится... Угодно ли еще про Пыха обсуждать и сыскивать?»

«Мы его уж обсудили. Погладили мутовкой по головке. Вишь, со страху каждый лоскуток на нем трясется. Черт с ним!»

Тут бабы к капитану словцо ввернули:

«Хотя за морем эта аплике и за обычай, однако не возите к нам таких обычаев. Держите у себя».

— Уплыл Пых-то?— спросил Фатьян.

— Угреб.

— Меня-то не помянули?

— Помянули, дяденька Фатьян! Пароход-то отвалил, старухи заговорили: «Вот что, девки-молодки, сами вы на себя в кнут узлов навязали: деньги бросили и народ насмешили. Почто было у русского гостя не брать? Вчера куражились, сегодня хошь не хошь — к нему пойдешь...»

Тренька не окончил слова: в балаган полезли бабы, девки и старухи. Поклонились, заговорили:

— Здравствуйте, гости торговые! Из ваших рук набойки захотели. Вчера к вам собирались, да кони не довезли.

Фатьян приосанился, прищурил глаз:

— Доброе дело не опоздано. Милости прошу. Наши набойки за сутки не заплесневели, не заиндевели. Только что узором не корыстны; против модного базара не задорны...

Бабы застыдились:

— Карасином бы этот базар облить было да спалить!..

— То-то,— наставительно сказал Фатьян.— За морем прок потеряли, только хитрость одна. Русский мастер у работы радоваться хочет. Вот полотно: под песню прядено, под сказку ткано, на мартовском снегу белено. Мы к ткачихину художеству свое приложили. Краски натуральные: от матушки сырой земли и от коры березовой, осиновой, от дерева сандала, от ягод, от цветущих трав. Землянную краску в пух стираем: хоть графиня рожу пудри! Сенька Рыжа Борода у выбойки, будто бабка-повивалка у родов. Тренька досточку-печатку режет, как батальный живописец. Я в свою на-

бойку сорок лет людей сряжаю. Сколько молодежи обучил, ремесло в руки дал. И от всех, кроме спасиба, другого слова не слыхал. Я не хвалюсь. Моя работа пусть меня похвалит. Такое наше поведенье вековое-цеховое...

Сколько бабам Фатьяновы речи нравятся, столько выбойки узорчатые глянутся.

— И как вчера такой красы не разглядели? Глаза отвел заморский пес.

Старухи брали по целой «трубе» столокотной, по целому куску.

Важно говорили:

— Этот мартиал хвалы не требует. Он стирку любит. От стирки в полную красу приходит.

Бабы помоложе прикидывали набойку на себя:

— Мастер, как по-вашему, это виноградье нам к лицу?

Пришли мужики. Потребовали матерьял порточный, с продольным «форнаментом». И на рубахи «форнамент попристальней».

Иноземцы торговали полтора дня, Фатьян в полдня продал все до нитки. Остатками, обрезками товара он наделил ребятишек, безденежно, в подарок.

По случаю последнего дня гулянья покупатели не торопились расходиться, сидели вкруг палатки, балаболили, хвастались покупками.

Фатьян, выйдя из пустой палатки, весело крикнул:

— Желаю всем эти обновки сто лет носить, на другую сторону переворотить да опять носить!

Переждав, пока кончится смех, Фатьян продолжал:

— Чувствительно вас благодарю за неоставленье. Иноземцы меня выучили, а вы меня выручили.

И Фатьян поклонился народу в землю. Бабы встали и ответили Фатьяну поясным поклоном:

— Промышлять вам с прибылью, гость торговый! За вашу добродетель, как вы есть превосходный мастер!..

Обратно Фатьян правился на шкуне. Парусом бежали шибче парохода.

Фатьяновы внуки-правнуки, такие же, как дед, красильщики-набойщики, работают теперь на фабриках. Дедова оказия не вылиняла, не выцвела в пересказах внучат. Дедовской пословкой и заканчивают: «За морем прок потеряли, только хитрость одна».

И объясняют:

— Тогда прок, когда делаешь дело по совести, на общую пользу. Эту прочность ничья злохитрая корысть не переможет.

ЕВГРАФ

Соловецкие суда отличались богатством украшения. Я знавал там ревнителя искусства сего рода. Его звали Евграф, был он отменный резчик по дереву.

Никогда я не видел его спящим-лежащим. Днем в руках стамеска, долото, пила, топор. А в солнечные ночи, летом, сидит рисует образцы.

Евграф беседовал со мной как с равным, искренно и откровенно.

Я восхищался легкостью, непринужденностью, веселием, с каким Евграф переходил от дела к делу.

Он говорил:

— И ты можешь так работать. Дай телу принужденье, глазам управленье, мыслям средоточие, тогда ум взвеселится, будешь делать пылко и

охотно. Чтобы родилась неустанная охота к делу, надо неустанно принуждать себя на труд.

Когда мой ум обленится, я иду глядеть художество прежде бывших мастеров. Любуюсь, удивляюсь: как они умели делать прочно, красовито!..

Нагляжусь, наберусь этого веселья — и к своей работе. Как на дрождях душа-то ходит. Очень это прибыльно для дела — на чужой успех полюбоваться.

УСТЮЖСКОГО МЕЩАНИНА ВАСИЛИЯ ФЕОКТИСТОВА ВОПИЯЩИНА КРАТКОЕ ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Любителей простонародного художества нонче у нас довольно. Уповаю, что и моя практика маляра-живописца послужит к пользе и удовлетворению таковых любителей.

Окидывая умственным взором ту отдаленную эпоху, читатель видит худощавого юношу, а еще ранее младенца, который отнюдь не получает хвалы за свое стремление к искусству, а наоборот — дёру. Рисовать и красить отваживался я только в воскресные и праздничные дни. Переводил на серую бумагу лубочные картины или из «Родины» и цветил ягодным соком, свеклой, чернилом и подсинивал краской для пряжи. Которые картинки выходили побойчее, получал за них от деревенских копейки по три и по пятаку. Тогда и родители начинали смотреть на мое художество снисходительно.

Пятнадцати годов фортуна обратила ко мне благосклонные взоры в лице устюжского мещанина, живописца Ионы Неупокоева, каковой мастер работал по наружности и по внутренней отделке.

Преодолев диковатую стеснительность, я подскакивал к Ионе со всяким угождением, и добродушный человек сговорил меня в ученики за пять рублей в месяц.

С каким душевным удовлетворением гляжу я на жизненное поприще теперешней молодежи: теперь кто имеет призвание или стремление, ему не так трудно выказать себя. Нонче всякое рачительное усердие в науке и художестве неограничительно поощряется государством.

Так ли теперешний студент, принятый в Академию художеств, доволен судьбою, как радовался Васька Вопиящин, попавши в обучение к маляру Ионе Неупокоеву?!

Истинно был Неупокоев: на одном месте не любил сидеть.

С Ионою Неупокоевым обошел я мало не все выдающие пункты Вологоцкой и Архангельской губерен. Иону ничто не держит: ни дождь, ни снег, Он все идет да едет. И я за ним, как нитка за иглой. Окрóме всякого малярного поделия, как-то: левкас, окраска, отделка под мрамор и под орех, с успехом потрафляли по художественной части. Липовой доски на Севере нету. Под краску утвари деланы из сосны, ели, ольхи.

Поновляли божество и писали изнова, свободно копируя в новейшем вкусе. Причем любопытно отметить, что население Северной Двины и Поморья имеет неопровержимое понятие к древнерусским образцам письма.

Повсеместно принятую новую живопись икон здесь почитают за простые картины, и местное духовенство нередко потакает таковому пристрастию прихожан. В японскую войну 1904 года мне довелось пособлять владимирскому иконописцу в поновлении древнего иконостаса в Заостровье, под городом Архангельском. Профессура археологов навряд ли так следит за реставрацией, каковым недреманым оком караулило нашу работу местное

население, даже простые бабы, чтобы мы не превратили навыкновенных им дохматов.

Но возвращаюсь к предыдущему периоду. Перьвой мой учитель Иона достоконально знал живописную практику и мог говорить об теории. Но благодаря тому, что Иона любитель был скитаться по проселочным дорогам, а не шаркать по городовым тротуарам, у него зачастую конкуренты удерьгивали из рук работу или заказ.

Самозванный художник, а по существу, малярешко самое немудреное, Варнава Гущин не однажды костил Иону Неупокоева в консистории якобы пьянственную личность. Но пусть беспристрастные потомки судят хотя бы по такому факту:

«Де мортуи низиль ни бебэне». Но таково было повседневное поведение самозванного Варнашки и К°. Отнюдь не оскорбляя памяти усопших, которые, напившись, пели песни в храме Божием, где имели пребывание по месту работ! Каковые несвойственные вопли в ночное время вызывали нарекание проживающих деревень.

Но мастер призва́нный, а не самозванный, Иона, когда ему доверено поновить художество предков, с негодованием отвергал, даже ежели бы поднесли ему бы кубок искрометной мальвазии, не то что простого. Но, даже и принявши с простуды чашки две-три и не могши держаться на подвязах, Иона все же не валялся и не спал, но, нетвердо стоя на ногах; тем не менее твердою рукою пробеливал сильные места нижнего яруса; причем нередко рыдал, до глубины души переживая воображенные кистью события.

С Ионой Терентьевичем ходил я десять годов не как в учениках, а в товарищах. Такого человека более не доведется встретить.

Преставился в 1895 году в городе Каргополе.

Такой удивленный житель Иона, что у него не было ни к кому хозяйственного поведения. Ходил зимой и летом одним цветом: одежонка сермяжных сукон. Прибыльные подряды на округ были в руках загребущих человеков. У Ионы его многотрудные руки простирались только к краскам да кистям, к столярным да к щекотурным снастям, а не ко граблению. Он чужого гроша под палец не подгибал.

Иона Неупокоев имел дарование писать с живых лиц — глядит и пишет. Умел милиатюрное письмо, так что предельная величина не превышала двенадцать вершков, каковым портретом занимался в среде мещанства и торгового сословия.

Но фотография подорвала уже своей дешевизной цены. Впрочем, заказывают увеличение на красках с карточек визитного размера, чтобы отнюдь не являлось черноты, но поцветнее и посановитее.

Иона для сортовых писем холстинку накладывал на тонкую дощечку и, ежели где стоим долго, писал из яйца. Я же, худой ученик, клею холст и на кардонку, да, наведя тонкий левкас*, пишу готовыми масляными красками. А из яйца писать — много обрядни. В запас яичных красок не натворишь, хотя и прочнее. Впрочем, и Иона делывал без доски. Но три холстинки одна на другую наклеит мездряным или рыбным клеем, оказывало как дощечка.

Такого рода живопись на па́волоке** имелась во флотском полуэкипаже адмиралтейства города Архангельска. Такие у Верпаховского в Рыбопромышленном музее на Троицком пришпекте, того же типа два шкапа на крас-

* Левка́с — смесь клея или олифы с мелом; левкасом густо покрывали предмет, подлежащий окраске.

** Па́волока — холстинка, которую наклеивали на доску, приготовляя последнюю к живописи, потом покрывали левкасом, лощили, полировали, а после этого наносили рисунок.

ках. Каковые шкапы делал я во свои юные годы, каждогодно посещая Архангельской город с Ионою Неупокоевым на время ярманки для письма балаганов.

У иконного письма теперь такого растения не видится, с каковым я приуготовлял тогда эти дверцы и ставеньки про свое наивное художество. Которое, впрочем, художеством никто и не называл, но не более как расписные ложки и плошки.

Господин Менк, пейзажист из превосходных, неоднократно удивлялся навыкновенной процедуре нашего письма. Он говорил: «Теперь я понимаю, для чего моя картина, висящая в гостиной, помрачнела в десять лет. А дверь, которую здешний мещанин упестрил своей варварской кистью сорок лет назад, не утратила колоритов».

Я тогда не доспросился, а, видимо, господин Менк понял: потому варварское письмо прочно и цветно, что мещанин сам и краску тер, сам олифу варил. Которую олифу варил знающий человек, и под той олифой живопись, как под стеклом. Но и краска должна вмереть в дерево, в левкас. То уж письмо вековое. Правнуки подивятся.

— Ишь,— скажут,— прежние дураки над чем старались. Рядовой работы комоды, сундуки, шкапы подписывали расхожими сужетами: вазоны, травы, цветки. Дерево или железо грунтовали охрой, крыли белилом свинцовым и писали на три краски во льняном масле.

Но возьмем предметы благородной страсти господина Верпаховского или флотского полуэкипажа. Им теперича годов по девяносту и по шестьдесят. Но они сохраняют следы былой красоты.

Но молодые бабы суть лютой враг писаной утвари. Они где увидят живописной стол, сундук или ставень, тотчас набрасываются с кипящим щелоком, с железной мочалкой, с дресвой, с песком. И драят наше письмо лютее, нежели матрос пароходную палубу.

Но любее нам толковать о художествах, а не о молодых бабах.

У стоющей работы сухое дерево проклеивали клеем, который выварен из кожаных обрезков. Как высохнет, всякую ямуринку загладим смачкой. Тогда холщовую настилку, вымочив в клею, притираем на выделяющие места, где быть живописи.

Паволока пущай сохнет, а я творю левкас: ситом сеянной мел бью мутовкой в теплой и крепкой тресковой ухе, чтобы было как сметана. Тем составом выкроешь паволоку, просушивая дважды, чтобы ногтя в два толщины. И по просу́хе лощить зубом звериным, чтобы выказало, как скорлупка у яйца. Тогда и письмо. Тут и рисованье, тут и любованье. Тут другой кто не тронь, не вороши, у которого руки не хороши.

Как деланы были шкапы на морское собрание и у чела писал панораму Соломбальского адмиралтейства, а по ставенькам постройку фрегата «Пересвет», каковая состоялась в 1862 году. Да на другом шкапу: «Бомбандирование Соловецких островов от англицкой королевы Виктории в 1854 году». Писано яичными красками и самой изящной работы.

ПАФНУТИЙ АНКУДИНОВ

Быт и искусство архангельского Севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской.

Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии — песню, сказку, былину.

Но в этом стиле, в этой стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности.

Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывал со своим бытом и укладом.

Отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печорцы, мезенцы, двиняне, онежане, кемляне непременно подряжали с собой сказочника, певца былин на очень выгодных, сравнительно с рядовым промышленником, условиях.

Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причетов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья («муж утонул в море» и т. п.), тут же, не отходя от домашней обряди, коров, складывает она песню-плач. Далее со всем родом погибшего выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором... Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленницы, пронзительный напев — картина незабываемая.

Весь народ северный вдохновенно отдается всякой игре, всякой обрядности — «театру для себя». Любимая пословица: «чем с плачем жить, лучше с песнями умереть».

Украшают песней любую работу. Например, звякая ножницами, поет портной:

. . . .
Вынимаю солодóново сукно,
Солодоново с россыпью.
Шью (имя заказчика) кафтан.
Чтоб он не долог был,
И не долог, и не короток.
По подпазушке подхвáтистой,
По середке пережáмистой,
По подолу раструбистой.

Но были на Севере талантливые рассказчики — мастера слова, которые никогда не выступали в театрах и клубах.

Умение говорить красноречиво, дары речи своей эти люди щедро рассыпáли перед своими учениками и перед взрослыми при стройке корабля и в морских походах.

Таков был Пафнутий Осипович Анкудинов, друг и помощник моего отца. Пафнутий Осипович что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали,— плачем.

По древним крюковым нотам рыдально выпевал он страшные вопли покаянных opus'ов Ивана Грозного:

Труба трубит,
Судия сидит,
Животная книга
Разгибается...

По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, эво»:

Дэнэсэ, весна благоухает,
Ай, эван! Ай, эво!

Старые манускрипты, разбросанные на Севере, были преимущественно светского содержания. Это — «антологии», «диалоги», «мелисса», «хроники» — литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особой речитативной мелодией. Считалось невежеством читать «хронику» напевом новеллы из пролога.

Глухая бабка умиляется, бывало, на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги, а книга-то «Семидневец» («Гептамерон» — родной брат «Декамерону»).

Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось Белое море — пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет «время наряду и час красоте». Запоет наш штурман былину:

Высоко, высоко небо синее;
широко, широко океан-море.
А мхи-болота — и конца не знай,
от нашей Двины, от архангельской...
. . . .

Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину... Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают, как мед пьют.

Старик иное и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду — на полатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отечеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори... Вечером народ соберется, я засказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим... Дале — один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?» — «Не спим, живем! Дале говори...»

В свободный час Анкудинов сидит у середовой мачты и шьет что-нибудь кожаное. На нем вязаная черная с белым узором рубаха, голенища у сапог стянуты серебряными пряжками. Седую бороду треплет легкий ветерок. Ребята-юнги усядутся вокруг старика.

Мерным древним напевом Анкудинов начинает сказывать былину:

Не грозная туча накатилася,
Ударили на Русь злые вóроги.
Города и села огнем сожгли,
Мужей и жен во полон свели...

Мимо нас стороной проходит встречное судно. Шкипер Анкудинов берет корабельный рог-рупор и звонко кричит:

— Путем-дорогой здравствуйте, государи!

Шкипер встречного судна спрашивает:

— Далече ли путь держите, государи?

Анкудинов отвечает:

— От Архангельского города к датским берегам.

И встречное суденышко потеряется в морских далях, как чайка, блеснув парусами.

И опять только ветер свистит в парусах да звучит размеренный напев былины:

А и ехал Илья путями дальними.
Наехал три дороженьки нехоженых.
На росстани Алатырь — бел горюч камень,
На камени три подписи подписаны:
Прямо ехать — убиту быть,
Вправо поедешь — богату быть,
Влево ехать — женату быть.
Тут Илья призадумался:
— Не поеду я дорогой, где богату быть,
Богатство мне, старому, ненадобно.
Не поеду дорогой, где женату быть,
Жениться мне, старому, не к чему.
А поеду я дорогой, где убиту быть,
Любопытствую увидеть, как меня убивать будут.—
А и едет Илья прямой дорогою.
По дороге накрыла ночка темная.
Добрый конь идет, не спотыкается;
Что по сбруе у коня камни-яхонты,
На дорогу светят, как фонарики.
Подводит дорога к лесу к черному.
В том лесу застава зла, разбойничья,
На дубах сидят разбойники, как вóроны,
Под корнями караулят, будто ястребы.
Разбойники Илью заприметили,
Со высоких дубов стали прядати,
Из-под дубова коренья завыскакивали,
На Илью они стаями насунулись,
Ладят богатыря с коня снести.
От седла Илья отхватывает палицу,
А и весу в этой палице девяносто пуд.
Вздымет, вздымет палицу выше могутных плеч,
Ударит палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо и влево стал нахаживать,
Разбойницкую силу стал настегивать.
Что тут визгу, что тут писку, что тут скрежету!..
Валятся разбойники увалами,
Увалами ложатся, перевалами.
Не осталося в живых ни единого.
А и эта ночь кромешная скороталася,
Утренние зори зарумянились,
Над зорями облака закудрявились.
Снимал Илья с головушки свой златой шелом,
На все стороны стал Илья отслушивать...
Тишина, тишина безглагольная.
Только слышно, край дороги ручеек журчит,
На лету птичка утренняя посвистывает,
На болоте сера утица покрякивает...

МАРЬЯ ДМИТРИЕВНА КРИВОПОЛЕНОВА

Родина сказительницы Марьи Дмитриевны Кривополеновой — река Пи́нега, приток Северной Двины. На Пинеге и в начале века двадцатого можно было увидеть деревянную Русь. Там во всем: в архитектуре, в одежде, в песнях, в домашнем быту — Русь, в лице граждан Великого Новгорода, освоила Север еще в четырнадцатом веке.

Неграмотная, но любознательная Кривополенова рассказывала о продвижении Руси на Север так, как будто сама в тех походах участвовала:

«Прежде на Двине, на Пинеге, на Мезе́ни чудь* жила: народ смугл и глазки не такие, как у нас. Мы — новгородцы, у нас волос тонкий, как лен белый или как сноп желтый.

Мы, русские, еще для похода на Пинегу и карбасов не смолили, и парусов не шили, а чудь знала, что русь идет,— раньше здесь леса были только черные, а тут появилась березка белая, как свечка, тоненькая.

Вот мы идем по Пинеге в карбасах. Мужи в кольчугах, луки тугие, стрелы перёные, а чудь молча, без спору давно ушла. Отступила с оленями, с чумами, в тундру провалилась. Только девки чудские остались.

Вот подошли мы под берег, где теперь Карпова гора. Дожжинушка ударил, и тут мы спрятались под берег. А чудские девки — они любопытные. Им охота посмотреть: что за русь? Похожа ли русь на людей? Они залезли на рябины и высматривают нас. За дождем они не увидели, что мы под берегом спрятались. Дождь перестал, девки подумали, что русь мимо побежала:

— Ах мы, дуры, прозевали!

Для увеселенья и запели свою песню. По сказкам-то, никому во вселенной чудских девок не перевизжать.

Было утро, и был день. Наши карбасы самосильно причалили к берегу. Старики сказали:

— Вот наш берег: здесь сорока кашу варила.

Тут мы стали лес ронить и хоромы ставить...

В эту пору здесь у водяного царя с лешим царем война была. Водяной царь со дна реки камни хватал и в лешего царя метал. Леший царь елки и сосны из земли с корнем выхватывал и в водяного царя шиба́л. Мы водяному царю помогали. И за это водяные царевны не топят ребятишек у нашего берега...

Это все мой дедушка рассказывал. Он от своих прадедов слышал. От них и былины петь научился. Я у дедушкиных ног на скамеечке сидеть любила и с девяти лет возраста внялась** в его былины и до вас донесла».

Имя шестидесятилетней сказительницы Кривополеновой известно стало науке еще в конце прошлого столетия. Но записи ее былин покоились в академических шкафах, а Марья Дмитриевна, всю жизнь тяжело работавшая, жила в большой бедности: «Не замогу работать, пойду побираться».

Побиралась, на свадьбах невестины речи пела, на похоронах вопила. Тем и кормилась до семидесяти двух лет!

---

*Чудь — чудско́е, финское племя, в древности населявшее северную Русь.

**Вняла́сь — вникла, поняла.

В 1915 году отправилась на Север О. Э. Озаровская, московская артистка и талантливая собирательница народных сказаний. Вскоре она писала в Москву:

«Собирая словесный жемчуг на Пинеге, уловила я жемчужину редкой красоты. Везу ее в Москву».

Так попала пинежская сказительница в Москву белокаменную. Не многоэтажные дома, не автомобили поразили Кривополенову. Московской старине радовалась по-детски она. Побывала в Кремле, посмотрела гробницу Ивана Грозного, нашла даже за Москвой-рекой дом Малюты Скуратова. Все, о чем пела она всю жизнь в былинах,— все оказалось правдой!

Если Кривополенова была жемчужиной редкой красоты, то Озаровская явилась для нее оправой червонного золота,— она открыла людям талант сказительницы. В Москве, в Петрограде, на Украине слушатели горячо принимали «бабушку Марью Дмитриевну». Шел 1916 год.



Помню ее выступление в большой аудитории Московского Политехнического музея.

Слушателей набралось до трех тысяч: студенты, гимназисты, художники, ученые.

Марья Дмитриевна вышла на эстраду. Молодежь приветствовала ее рукоплесканиями и возгласами:

— Здравствуй, милая бабушка!

Кривополенова ответила тремя истовыми поясными поклонами на три стороны, по старинному обычаю:

— Здравствуй многолетно и ты, Москва, юная и прекрасная!

И зазвучала странная, непривычная мелодия, несхожая с русской песней. Это был голос древней былины, и слушатели восприняли его сначала как некий аккомпанемент. Но тут же сразу вникли в слова, прониклись содержанием. Ведь былина из Киева, Новгорода, Москвы, давным-давно переселившаяся на Север, нерушимо сохраняла общерусскую родную речь.

Кривополенова, блестящая исполнительница былин, и сама по себе была каким-то чудом и счастьем для всех, кто видел и слышал ее. Маленькая, худенькая, одетая в темный, старинного покроя сарафан, застегнутый сверху донизу на серебряные пуговки, в темном вдовьем повойнике, она была похожа не то на девочку, не то на древнюю старуху. Приехав из

дремучих лесов Севера, она не боялась многолюдной аудитории — наоборот, полюбила ее, чувствовала себя непринужденно и всегда и везде умела держать ее в напряженном внимании.

Слушатели воочию видели древних богатырей — Вольгу Святославича, Илью Муромца, Добрыню,— слышали тяжелую поступь богатырских коней.

Сказительница рисует картину вражеского нашествия на Русь:

В солнце знаменье страшное,
В полночь звезды хвостатые,
Перед зарями земля тряслась,
Шла Орда на Святую Русь.
На Руси петухи поют,
Не спит Рязань полуночная,
По стенам не спят караульщики,
По уго́льным башням дозорщики...

И два, и три часа пела Кривополенова, а бесчисленная аудитория воочию видела то, что внушала вещая старуха.

Не раз приезжала Кривополенова в Москву.

Посетила Марья Дмитриевна Третьяковскую галерею. Шла по залам усталая — день ее начинался с четырех часов утра. Но перед картиной Васнецова «Три богатыря» старуха оживилась, просияла.

— Глядите-ко,— обратилась она к окружавшим ее посетителям.— Жили-были преславные богатыри. Не сказка-побаска, а жизнь бывала: Илья-то Муромец из-под ручки врага высматривает. На руке у него палица висит, свинцом налита, а ему как рукавичка.

И сказительница запела былину:

Вздымет Илья палицу
Выше могутных плеч,
Жахнет палицей впереди себя,
Отмахнет, отмахнет созади себя,
Вправо, влево стал настегивать,
Вражью силу обихаживать...

Взглянув на Добрыню, запела с улыбкой:

Три года Добрынюшка стольничал
У князя Владимира в Киеве.
Три года Добрыня в послах живал
У неверных королей, у немецких.
У Добрынюшки вежество врожденное,
Хитрость-мудрость природная...

В 1921 году Кривополенова в последний раз была в Москве. Нарком Луначарский известил Озаровскую, что рад познакомиться с знаменитой сказательницей. Его ждали с часу на час. Луначарский приехал вечером. Озаровская зовет:

— Бабушка, Анатолий Васильевич приехал!

Кривополенова сурово отвечает:

— Марья Митревна занята. Пусть подождет.

Нарком ждал целый час. Марья Дмитриевна наконец вышла:

— Ты меня ждал один час, а я тебя ждала целый день. Вот тебе рукавички. Сама вязала с хитрым узором. Можешь в них дрова рубить и снег сгребать лопатой. Хватит на три зимы...

Марья Дмитриевна и наркома покорила умом и достоинством.

... Вернулась Марья Дмитриевна на Пинегу. Снова началась бродячая жизнь сказительницы.

В 1924 году на Пинеге был недород, бесхлебица. Опять старухе пришлось себе и внукам добывать хлеб в скитаниях по деревням.

Однажды отправилась она в дальнюю деревню. Возвращалась оттуда ночью. Снежные вихри сбивали с ног. Кто-то привел старуху на постоялый двор. Изба была битком набита заезжим народом. Сказительницу узнали, опростали местечко на лавке.

Сидя на лавке, прямая, спокойная, Кривополенова сказала:

— Дайте свечу. Сейчас запоет петух, и я отойду.

Сжимая в руках горящую свечку, Марья Дмитриевна произнесла:

— Прости меня, вся земля русская.

В сенях громко прокричал петух. Сказительница былин закрыла глаза навеки...

Русский Север — это был последний дом, последнее жилище былины. С уходом Кривополеновой совершился закат былины и на Севере. И закат этот был великолепен.

СОЛОМОНИДА ЗОЛОТОВОЛОСАЯ

Мы любуемся творчеством деревенских художников, их резьбой по дереву, расписной утварью, но мы мало знаем их быт, условия труда, их самобытную философию.

Здесь передаю дословный рассказ пинежской крестьянки Соломониды Ивановны Томиловой, в замужестве Черной.

«Наша река Пинега выпала в Северную Двину. Тут леса дремучие, реки быстрые, обрывистые горы — берега.

Мы прибежали на Пинегу в те времена, когда татары накладывали на Русь свой хомут, значит, годов семьсот назад.

Наши мужья, сыновья уходили на промыслы. Мы, женки, девицы, сидели в своих деревнях, как приколочены. Я от юности до старости не бывала и в уездном городе.

Держали мы коров да овец. Промышляли семгу. Земля у нас нехлебородимая. Когда мужа взяли на первую Отечественную войну, я одна выпахала сохой поле, посеяла шесть пудов жита-ячменя. Сочти, каков был участок. Земля не оправдывала себя, а от нее не отвяжешься. Посеемся, всходы зазеленеют, а ночью с моря упадет мороз, значит, своего хлеба не будет. Тогда мужики по первому снегу пойдут промышлять белку и куницу, каждый хозяин со своей собакой. Которая собака куницу понимала, та на белку не глядит. Бывало, что муж и брат по пятьсот беличьих шкурок выносили. Куница, белка, семга — товар дорогой, а скупщики платили дешево. Одевались мы пряжей: пряли лен, пряли овечью шерсть. Пряжу красили сами. Краску варили из осиновой и ольховой коры. Изо дня в день сидим за пряжей, за тканьем. Я, бывало, за один день вытку двадцать четыре аршины полотна.

Еще у нас, у девиц, у женок, летом была забота — ягоды собирать. Я, бывало, по два пуда черники вынашивала. В лесу и ночую. Чернику вычесыва-

ли из зелени особым гребнем, как бы чашка с зубьями. Однажды беру чернику, ссыпаю в корзину и вышла на поляну, а передо мной медведица стоит с двумя медвежатами. Я прижалась спиной к березе, а медведица начала на меня плевать, потом стала мох драть, всю меня мхом залепила. А у меня с собой были спички, я и зажгла на березе ленточку бересты. А зверь огня боится. Медведица пнула ногой медвежат, они полетели в кусты, как мячики. И она за ними ушла.

Однажды проходили нашими деревнями ученые люди. Говорят: «Какая у вас природа прекрасная!» А мы работаем не разгибаясь. Бывало, ужинать сяду, ложка в руках не держится.

Так и прошла моя молодость день за днем, год за годом. Одна была отрада: я в пятнадцать лет украдкой выучилась грамоте. Отец отпускал меня к одной уважительной старушке помогать по хозяйству, а она положит передо мной книгу. Книга в кожаном переплете с медными застежками. А я не знаю, как к книге приступиться, открываю книгу с конца. А старушка стала называть мне буквы, из букв складывались слова.

И я пристрастилась к книгам. Дома читать было нельзя: девке грамота ни к чему. А меня пошлют хлев чистить, я управлюсь быстро, из-за пазухи книгу выну, сижу около коровушки и читаю.

Исполнилось мне семнадцать лет. Маменька вынула из сундука свой подвенечный наряд, в этом наряде и бабка моя венчалась. От ворота до подолу круглые серебряные пуговицы, на голову стали прилаживать жемчужное кружево, в уши вдели жемчужные серьги. Вижу на себе подвенечный наряд. Спрашиваю: «Кого замуж выдаете? Почему на меня примеряете?»

Отец отвечает: «Выдаем тебя замуж за Степана Черного. Сегодня к нам придут сваты».

Я заплакала. Отец говорит: «Сядь, молчи. Реветь будешь по уставу, когда девицы запоют песню».

А в доме у жениха такие же сборы: надели на него шелковую рубаху румяного цвета, серебряный пояс, жилетку с часами.

Сваты собрались, а Степана нет. Не в лес ли убежал? А он дома за углом сидит с ребятишками, в карты играет. У Степана были кудри мягкие, как шелк. Отец и схватил его за кудри, и ведет по деревне к нашему дому, а Степан идет, слезами обливается, плачет с причетью: «Тятенька, не хочу жениться!»

Народ смеется:

— Невеста твоя дома сидит, молчит, как каменная, а ты на всю деревню причитаешь.

Зашли в избу. Я встала, поклонилась. Спросила:

— Степан Дмитриевич, почему ты меня выбрал?

Его отец говорит:

— Выбирать не его дело и не твое. Мы, родители, сговорились, и мы тебя не за красу берем, не за отцово богатство. Берем тебя за твой ум-разум. Ты в деревне всех девиц умом-разумом перевысила.

Стала я жить у мужа в доме. Я в такой грозе дома выросла, с кем угодно и где угодно уживусь.

Муж меня ни разу в жизни не толкнул, не ударил. Разве в сердцах обзовет меня «рыжая беда». А в деревне прозвище мне было Соломонида Золотоволосая.

Кроме книг, у меня от юности до старости осталось еще одна отрада: каждый день что-нибудь деревянное поделать. Помню, нарубила чурок, вытесала птиц, зверей, людей и приколотила к крылечным столбикам. Отец за-

бранился: «У тебя на уме одни потешки». Тогда я под князевое бревно, которое крышу содержит, вытесала солнце со звездами. Отец это похвалил.

Был у меня брат Трофим. Я с топорком, а он с лоскутками, с нитками, с иглой. Мастер был шить куклы. Сошьет полотняного человечка, набьет льняными оческами и оденет по нашей моде.

Однажды пропадал где-то целую неделю, только обедать домой прибежит. Скрывался в лесной избушке и сшил целый хоровод девиц. Вся деревня приходила любоваться. Он везде лоскутки выпрашивал — шелковые и бархатные.

Трофим не любил сидеть на одном месте. Часто уезжал в Архангельск. Будучи женатым, пропал на целый год. Уж стали поминать за упокой — и получаем письмо из Москвы. Все российские города обошел и объездил.

После Октябрьской революции прибежал домой, жил неделю. День и ночь уговаривал меня:

— Ужели ты, сестра, как пень в лесу, будешь здесь догнивать? Поезжай в Москву. В Москве новая жизнь открылась. Там тебе дело найдется. Слово мое тайное и крайное. Весной по первому пароходу плыви в Архангельск, оттуда по железной дороге в Москву. Адрес дал точный.

Всю зиму я жила сама не своя. Дочери говорят:

— Ты, маменька, что-то задумала.

Я отвечала:

— Задумала сплавать в Москву на месяц. Вы взрослые, с отцом будете хозяйством управлять.

Пришла весна — большие воды. Пароход к нашим деревням подошел. Я сумку-котомку за плечи. Со всей семьей большим обычаем простилась, коровушкам в ноги поклонилась. Никто из семейных мне поперек слова не сказал. Муж до парохода проводил. Крикнул мне вслед:

— Соломонида, не плавай!

Я заплакала.

Больше я с ним никогда не виделась.

В Москве я определилась уборщицей в институт. Сюда приходили дети слушать рассказы и читать книги: один день — старшие, другой — мелкие ребятишки. Я стояла у входа, сортовала детей, чтобы старшие не путались с младшими. Канители было много.

Вечером к заведующей приходили художники казать свои рисунки. Меня пригласят к чайному столу:

— Соломонида Ивановна, расскажите что-нибудь о вашей родине.

Я рассказываю и рисую промышленные снасти, что на зверя, что на птицу, что на рыбу. Они слушают, слова не проронят. Вечера не хватит, ночи прихватим. Художники показывали свои картины. Я тоже пристрастилась к большим листам. У себя в кухне расстелю во весь стол кусок обоев и обдумываю рисунок. Чем я рисовала и красила? Наколю лучинок, свяжу в снопики, положу в печь, чтобы обуглились. На листе проведу дорожки крест-накрест, из одного угла в другой. Обозначится середина. Тут нарисую человеческий лик или звериный. По сторонам жительство людское или звериное. Круг меня художники стоят, переговариваются тихо и умственно.

Подарили мне рисовальную тетрадь и краски в ящичках. Это я убрала в сундук: пригодится внукам.

Краски мои были: вакса черная, вакса — коричный цвет. На веретено навяжу тугие узелки с черникой и другой цветной ягодой, и начнет моя рука

летать, как птица, из края в край. Нельзя уронить капельки: обои — материал рыхлый, ягодный сок жидкий.

Художники стоят, дивятся. Я говорю:

— Что же вы, государи, хвалите безграмотную старуху?

Они отвечают:

— Соломонида Ивановна, редкий из нас умеет распределить по листу рисунок так соразмерно и с такой быстротой и чистотой разнести жидкий ягодный сок.

Ночью я лежу, разбираю их речи, как книгу читаю. Великое дело, когда всем наукам обученные люди художество понимают. Не напрасно я в Москву приехала!»

ЛОМОНОСОВ

Любой век, любая эпоха нашей народной жизни всегда приукрашена чьей-либо особо яркой и могучей жизнью, деяниями особо славными.

Многие звезды украшали русское небо восемнадцатого столетия. Звездою первой величины явилась слава Михаила Ломоносова.

Я помянул, что каждое столетие связываем мы с именами достопамятными. Но были исторические деяния, которые и остались там, в своей эпохе. Остался монумент с эпитафией — и все тут. А были люди, жизненное дело которых вечно цветет и благоухает. Есть имена, вечно юнеющие. Были люди, жизнь которых всегда будет нас увлекать, умилять и вдохновлять.

Всеобъемлющей была душа Михаила Ломоносова, великого ученого и поэта.

Разумными очами он соглядал «беги небесные», движение небесных светил.

Когда возник вопрос о великом морском пути на восток, Ломоносов потщился привести в систему древнее знанье своих отцов о «морских разделах и разводьях».

Неусыпающая, ненасытная любознательность снедала душу великого человека. Нам известен ряд ученых-энциклопедистов, современников Ломоносова.

Вдохновенный пафос отличает Ломоносова. Архангельский мужик Ломоносов конгениален был великому философу древности Платону, который требовал, чтобы творческим пафосом была проникнута деятельность и педагога, и зодчего, и плотника, и кузнеца, и врача, и любого ремесленника.

Старинные люди, расценивая чью-либо многогранную деятельность, говорили: «Это вот — его дело, а это — поделье».

Делом Ломоносова современники почитали его работы по созданию русского литературного языка и действительно блестящие труды по созданию стихосложения, «сообразного натуре языка российского».

Еще с первой половины века восемнадцатого представление о формах и нормах литературного языка было весьма хаотичным. С одной стороны, живою жизнью жила живая народная речь, «великий, могучий свободный русский язык».

Здесь напомним некие обстоятельства в истории русского литературного языка.

Не позже десятого века Русь вошла в орбиту культуры греко-рим-

ской, византийской. Появилась неотложная потребность в письменности, тяга к книге, к литературе.

Переводить обширную византийскую литературу на русский язык казалось делом долгим. И Русь воспользовалась славяно-болгарскими переводами, давно бытовавшими на Балканах. В те времена язык южных славян понятен был русскому славянству.

Греко-римская литература, впитавшая в себя всю поэзию и философию эллинизма, пришлась по душе чуткому ко всякой красоте русскому человеку. Так как письменности на русском языке не существовало, язык славяно-болгарских книг стал литературным языком на Руси. Поэтически одаренные наши писатели пользовались славянскою речью с большим вкусом. Слог приобретал крылатость и торжественность.

Многовековое сожительство живой русской речи и книжного славянского наречия очень любопытно. В творческом горниле талантливых писателей получался целостный сплав этих двух наречий.

Творец «Слова о полку Игореве» замахнулся было болгарской фразой — «не лепо ли ны бяшет». Но дальше мы не замечаем славянских речений.

О литературном языке древней России приходится здесь говорить бегло. Но нельзя не упомянуть чудесного писателя четырнадцатого века Епифания. Русь назвала его Премудрым. Епифаний был другом Андрея Рублева, лаконизм, и изящество, и нежная лирика объединяют этих двух художников.

Взыскательный вкус и наших современников оценит любимый жанр писателей века пятнадцатого. Это — антии, то есть цветочки. Сборник таких повествований назывался антологии, то есть цветники. Темы здесь русские. Все напоминает русский цветущий луг: ромашки, незабудки, синие колокольчики. Недаром пятнадцатый век был эпохой расцвета и в древнерусской живописи.

В столетии семнадцатом, как бы некое поветрие, усиливается в нашей литературе страсть или мода к «плетению словес». Переухищренность, приукрашенность в литературе ценятся превыше всего. У талантливых писателей это «плетение словес» напоминает кружевное покрывало. Нет нужды, что простодушный грамотей, трудясь над чтением, растеряет и начала, и концы, и хвосты писательской мысли. Таковы были вкусы эпохи: вычурная московская архитектура, кропотливо раззолоченная живопись.

Разум народный не любит жить в застое. Неправильно мнение, что реформы Петра Первого пали на Русь как снег на голову. Ветры с Запада дунули в московскую сторону еще при царе Алексее. Наши поэты старательно укладывают славяно-латинские стихи в формы польско-латинских виршей.

Во множестве списков распространяется переведенная с итальянского книга «Звезда пресветлая». Сказания кратки, поэтичны. Жизнь перенесена в Рим, Флоренцию, Венецию. Благоухают цветы, но уже не русские, а розы, лилии, померанцы.

В середине семнадцатого века в домах москвичей появляется западная живопись. Ревнитель старины пишет:

«Боярин Ртищев казал нам голландское художество: бегают персоны, заголились, брюхасты да мордасты. Я говорю: «Девки купаться собрались?» А боярин говорит: «Умолкни. Это Ангельский собор».

Холмогорский живописец Никодим Сийский, наоборот, восторгается миловидностью итальянских мадонн. Приравнивает их к рублевским ликам...

ПИНЕЖСКИЙ ПУШКИН

Здесь предлагается текст северного рассказа о Пушкине. Происхождение его таково. В зиму 1934/1935 года, когда начиналась подготовка к пушкинскому юбилею, я читал и рассказывал о Пушкине в квартире пинежанки С. И. Черной. Я на опыте знал, что, как сама С. И. Черная, неграмотная, но обладавшая поэтическим даром, так и земляки — гости ее, в особенности даровитейшая А. В. Щеголева (сумская поморка), не замедлят отразить слышанное в ярких пересказах.

Эти пересказы, впечатления, отображения слышанного, своеобразно понятого, реплики, афоризмы, отрывочные, но эмоционально насыщенные и поэтически образные, послужили материалом для компоновки «пинежского» рассказа о Пушкине.

Он певец был, песенной наблюдатель, книгам сказатель, грамоты списатель. Землю, как цветами, стихами украсил.

Он порато в братии велик, острота ума нелюдска была.

Книги писал, слово к слову приплетал круто и гораздо. Книги работал и радовался над има.

Ленин Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал.

Он пусты книги наполнял, неустроену речь устроил, несвершóно совершил. Теперешны писатели от Пушкина взялись да пошли.

Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой, всех светле видел.

А род давношной, от араплян — этого роду черных людей, а закону греческого.

Я его карточку ночи две продержала: высокой, тоненькой... Ему только песни петь да у грамоты сидеть, а такó-то робить он не сильной.

Ужо кто у нас на Пинеге экой есть... Якуня Туголуков. Только Пушкин-то порусее.

Отроком-то читал много и часто. Всяку грамоту навык, иноземску и русску.

Ребята-ти буки, он с каждым заговорит, каждому-то уму, чтó надо, скажет. Люди-то дивятся: «Что уж этот Саня! Год бы с ним шел да слушал».

Возрастом поспел рано, красивенькой, пряменькой такой, все бы пел да веселился. У его молодость широка была, и к женскому полу подпадывал, и это умел не худо.

Долго молодцевал-то, долго летал по подругам. Ну, он не на семнадцатом году девушка. Неладно делал, дак себе...

Пушкин курил ли, не курил?.. Не курил. Выпивать выпивал, а не курил. Нету на портретах-то ни с трубкой, ни с папиросой.

Не помню, что ише проказил он мальчишечкой...

Не бывало от сотворенья, чтобы таки многолюдны книги в такой короткой век кто сложил. Век короткой, да разум быстрой: годы молоды, да ум тысячелетен. Пенье безмолчно — стихам нет конца.

У другого человека ум никуда не ходит, на спокое стоит. У Пушкина как стрела, как птица ум-от.

Что люди помыслят, он то делом сотворит. В его стихах как ветер столь ли быстрой. Вот дак птица! Поет, забудет — ел ли, пил ли...

И настолько он хитрой прикладывать слово-то к слову! Слово-то выговариваешь одно-то, друго-то ведь надо взять скоро... Пушкин говорил — как с полки брал; и все разно сказывал. Век не придумать никому, как он придумывал.

Пушкин нов чин завел в стихах. Сердцем весел, не хотел над старыма остатками. Сам повел, никого не спросился. Сел выше всех, думу сдумал крепче всех. В еговых словах не заблудиссе. Кабыть в росстúл лежит. Все-то видишь, все-то понятно: выговаривать-то не спуташь. Сколь письмо егово до людей доходже! Старых утешат, молодых забавлят, малых учит...

У Пушкина речь умильна, голос светлой, выводить-то мог без отрыву. Други водят круто либо тихо, есть читатели — читают как собаки отгрызают, он выносит каждо слово как следует; разводно поет, голос не перепевается, не дребезжит.

У других писателей колосина, и мякина, и зерно — в одно место, у Пушкина хлеб чистой.

Я даве упряг* слушала Пушкина-то. Он тяжелы мысли уводит, на скуку не молвит ничего. Весело умет, опять другó-грозно да заунывно по старому образу.

Бориса Годунова долги-ти строки, кручинны-ти речи, вот чего люблю! «Счастья нету в душе»,— голосом-то так по слезам ездит... **

В кую пору гремят трубы-ти да набаты-ти, в ту пору Годунов-от слово-то выпеват.

У Пушкина показана солева-та строка, строчной-то развод ***. В исподи головой **** горько-то слово поется. Начинают выговаривать стоя, открыто лицо-то, а станет преклоняться, проведет по лицу-ту платом. Это пенье Пушкин сам списал.

Я сегодня навидалась Пушкина-та в окне в магазине. На книгах стоит. И жёночка рядом, не в ту сторону личешком. Не эта ли Наташа-та егова?.. Краса бы холостому, как лошадка на воле? Нет, женился, влепил голову-ту. Много подруг было, одну ей пуще всех зажалел...

Наташа-та на карточки: глаза грубы, волосы как ящерицы, грудешко голо. Эку бы только на выставку, на показ стоя возить... Замуж-то с пятнадцати годов собиралась: «Не жарьте рыбы крупной. Жонихи приедут, дак чем принимать будете?..» А женихи-ти — дуга за дугой — все мимо. Хоть на пирах, на балах она всех красивее, да приданого-то — веретеном тряхнуть...

Пушкин на придано не смотрит. Сватается у ейной матери:

— Маменька, вы бы мне бы Наташу дали...

— У меня дочки как пробки замуж летят, и все за богатых. Вы ей голодом заморите. Вам папа много ли выделят?

— Я не на папу надеюсь, все на свое письмо.

— Я подумаю.

Ей родня и ругат:

---

* Упряг — мера рабочего времени в крестьянстве в прежнее время, от отдыха до отдыха,— примерно треть рабочего дня.

** Говорится об опере.

*** Разводье — время смены течений, лед в это время расходится, образуя проходы для судов.

**** С непокрытой головой.

— Что ты, дика, этажиссе, он у всех в славы, приданного не спрашиват... На сухари будешь сушить девку-ту?..

Свадьба отошла, зажили молоды... Натальюшка выспится, вылежится, вытешится, тогда будет косу плести, у ей зажигалка така была пучок завивать. Где бы пошить или чашку вымыть, у Наташи шляпка наложена, ножка сряжена погулять... Придет — рукавицы, катанцы мокры бросит кучей. Пушкин высушит, в руки ей подаст. Он чего спросит, она как не чует... Ложки по тарелкам забросат порато, хлебать сядет без хлеба. И сказать нельзя... Как скажешь?.. Пушкина матка ли, сестра ли обиходили коровта. Наталья-то не радела по хозяйству.

Живут задью наперед. С утра гости, по хлебам ходят, куски топчут, курят, о кака скверна!.. Станут плясать, гром эдакой учинится: «Держите двери-то, чтобы не зашел Пушкин. Что он мешать-то!» Гремят да шумят, да нарошно, да никак не уймешь...

Все к изъяну да к убытку пошло. Пушкин все как не во своей воле От табаку-то он весь угорел!

Пробовал Наташу-ту добра доводить. Она уши затыкат:

— Вы мне уши опеваете своими стихами, всю квартиру заставили книгами да засыпали бумагой!

Знакомые спрашивают Пушкина:

— Все-то успокоится, в ночь-то вы пишете ли?

— Весна была, дак ручей-то летел, кипел, ломал. А холодна пора, дак вода-то не шевелится...

Долго он терпел, только стихом подкреплялся, песнями отманивался от бед.

А к Наташе приезжой кавалер Дантест заподскакивал, долгой, как ящерица...

Пушкину свои наговаривают:

— Ты в бумагах-то сидишь, ничего не видишь?

— Вы ничего не понимаете!

Только горюет в стихах:

Куда бежу?
Тесен град Петров.
Негде спрятаться от клеветы,
Жена меня в беду положила,
Обещание свое борзо позабыла...
Наташа, что ты надо мною сделала?!

Которы ему привержены, плачут:

— Саня, не жалей ты жену-то; жалей, да с умом. Не падай духом. Без такого песенного наблюдателя нельзя стоять царству. Не роняй своего чину...

Вот газету добыла, почитай-ко, почему он на белом свете нажился скоро... Ужо молчи, я засказываю сама.

Ноне досмотрелись в книгах, что царь кавалера-то подослал. Дантест-от был на жалованьи, что он царю на ложе чужих жен да дочерей добывал.

Царь-то хоть бравой, как сунут кол, как палка прям, а плоть-та обленилась — дак все нова надо. Царь, а вот что проделывал!

Он Пушкина жёночку прилюбовал на гулянках. Самому ей доступать

неприлично, призжего кавалера и нанял. Ему от дела тысячу посулил. Чуть Дантест через порог, царь встречу бежит:

— Наташу видел ли? Давно ли видел? В гости-то сулилась ли?

Однако и Пушкин знат свою очередь *. Он не хочет навыкнуть срам терпеть. А некуда на царя просить. И некуда убежать...

Чины и вельможи видят, что Пушкину от царя управы не будет, стали с маху щелкать:

— Ты велик ли зверь-то, Пушкин! Шириссе больно. На твое место охочих много будет стихи писать. Кому нужны эки-ти комары летучи!

Пушкин их зачнет пинать, хвостать...

Царь тоже забоялся. Он давно Пушкина ненавидел, для того что Пушкин смала письмами да стихом властям задосадил. Этот Перьвой Николай терпеть не может людей, которы звыше его учены. Выговску пустыню, эко место знаменито, он сожгал.

Укладывают с Дантестом:

— Жёнку мы у его урвали, тепере надо самого убить.

А не убить, дак от него быть убитым. Кто его, смутьяна, хлопнет, тот у меня первым генералом будет.

Этот кавалер пободяга была всемирна, бесстрашна. Всю жизнь с пистолетами промышлял.

Пушкин этот заговор узнал, высказал Дантесту при народе:

— Мне с тобой говорить не с кем... Бесчестно мне о тебе рук марать, да уж негде деться, выходи на прямой бой...

Тут была беда месяца января в двадцать девятой день. Белы снеги кровию знаменуются. Не в городе, не в поле: в пусте месте четыре человека приходили, четыре ружья приносили. Учинился дым с огнем на обе стороны. Где Пушкин — тут огнем одено, где Дантест — тут как дым. Царски полаты затряслися, царь с вельможами, по ямам сидя, выглянуть не смеют.

Кавалер-от был стрелять горазд, пустил пулю не в очередь, отшиб звезду от месяца, убил соловья в саду. Упал наш Олександрушко, за елочку захватился:

— Рости, рости, елочка, без верха; живи, живи, Россиюшка, без меня!

Ударила Пушкину пуля под сердце, прошла меж крыл. Пал на белы снеги, честным лицом о сыру землю. Пал, да и не встал. Который стоял выше всех, тот склонился ниже всех...

Кровь-то рекой протекла кругом града. Не могли семь день из реки воду пить.

...Он выкушал смертную чашу, зачал с белым светом расставаться:

— Прости, красное солнце; прости, мать-сыра земля и все на тебе живуцие. Я в мире сем положен был как знамя на стреляние, летели на меня стрелы от всех сторон. Мне в миру было место не по чину. Я неволей пил горьку смертную чашу...

Жене сказал:

— Я устал, дак рад спокою-то. В день покоя моего не плачь.

. . . .

Тут Давыдовы псалмы, тут заунывное пение... Пушкин глаза смежил, а город розбудился. Пушкин умолк, а в городе громко стало: «Пушкин в соборе лежит, застрелен!..»

---

* Очередь — степень, чин.

К царю пристава летят:

— Народу в домах уж нет, все у Пушкина...

У Пушкина лицо светло и весело. Вокруг народное множество от мала до велика. И все плачут с причетью:

Звезда восточна на запад ушла.
Жизнь пробежала, как речнá быстрина.
Молодость прошла непомилована.
Жито пожато недозрелое!

Горе ходило под ручку с тобой.
Не мог ты от горя уехати...
Во гробе изволил вселитися,
От горя землею укрытися...
. . . .

Чтенья не слышно во многом-то плаче.

Царь в окно эти дни смотрит:

— Почему все чёрно одели, как вороны?!

— Вдовственны дни...

Где в Пушкина стреляли, тепере там пусто место без угодно; ничего не растет, только ветер свистит.

Пушкин поминал:

— Буду сказывать, дак вы забудете. Я в книгу свой ум спишу.

Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин сердце всем веселит речью своей и письмом.

Егово письмо как вешна вода. Его стихам нет конца. Сотворена река, она все течет — как Пушкин. Землю он посетил да напоил. Что на свете есть, у него все поется.

Пушкин с ласковым словом приходил. Он как летний ветер, хоть и бухат, да тёплой...

Сын дню, дитя свету, Пушкин малыми днями велико море перешел. Ему уж не будет перемены.

ЕСЕНИН

Есенина любят многие, говорят о нем с нежностью. Нежные чувства к Есенину не все исповедывают вслух, боятся встретить отповедь.

Личность Есенина производила обаятельное впечатление. Иные возразят: «Да, восторг с примесью легкой тревоги». Как хотите, но вспоминаю встречу с ним зимою 1921 года.

Шел я по Мертвому переулку в какой-то клуб, где должен был выступать Есенин. Узенькая тропка вилась между сугробов неубранного снега. Каких-то двое опередили меня. Один, слегка задев меня плечом, приостановился и сказал:

— Простите!

Я шутливо, но истово ответил:

— Бог простит!

---

* Печатается впервые.

Почему-то радостно засмеявшись, он передразнил меня:

— Бо-ог простит! А вы с Севера!

Я спросил:

— А вы какие?

Он опять засмеялся:

— Мы вот какие: у нас в Рязани пироги с глазами. Их едят, а они глядят.

Издали донесся голос:

— Сергей Александрович, вас ждут!

Коснувшись рукой шапки, мой собеседник бегом, как мальчишка, побежал вперед.

Для Есенина это была мимолетная встреча с незнакомым человеком. Но, как дыхание весны, взвеселила мне душу радостная, милая приветливость этого удивительного человека.

Одна дама-педагог вопросила:

— Какое воспитательное значение может иметь Есенин? Эти его строки:

Мне осталась одна забава —
Пальцы в рот да веселый свист —

не могут ли стать программой для озорников?

Я, пишущий эти строки, в течение многих лет общался с молодежью, учащейся и рабочей. В свободное время молодежь толкалась по дворам, где у обывателей для этой уличной молодежи не было другого звания, как «шпана». А я из бесед с этой молодежью вынес только пользу и светлость душевную.

В среде этой молодежи я обнаружил живой интерес к Есенину. Здесь я был как бы сторонним наблюдателем. Любопытно мне было отметить, что наиболее глубоко чувствовал поэта паренек, которого обыватели называли «исчадие», а сверстники-школьники звали «Апис». В музее видели они изображение египетского бычка Аписа и нашли, что два непокорных локона, свисающие на лоб их приятеля, придают ему сходство со священным бычком.

Однажды соседка по квартире окликнула меня:

— Ваш приятель в сарае стихи читает.

Я притаился под углом сарайчика. С десяток молодых ребят недвижно сидели на дровах. Чтец стоял к ним боком. Его лицо озарено было косым лучом вечерней зари, глядевшей в оконце. Глаза мальчика, не мигая, точно вопрошая о чем-то, глядели в этот свет. Апис читал лирику Есенина. Вопрошающие, трогательно-детские интонации взволновали меня, старого человека. Слушатели, точно завороженные, тоже глядели на зарю, сияющую, зовущую.

Осенью на том же дворе беседовал я с неким литературным человеком. Собеседник мой говорил:

— Надо окультурить молодежь; гульба, блатные песни недопустимы.

Апис Женя, сидевший молча на дальнем конце скамьи, повернул к нам лицо:

— Позвольте заметить, что на «сборищах» молодежи ничтожная часть. А все поют хорошие песни, душевные. А блатных песен мы не слушаем, стыдимся их. Мы и стихи читаем.

— Что читаете? — спросил гость.— Маяковского? Есенина?

— Кто что знает, то и читает,— уклончиво ответил Женя.

Отвернувшись от мальчика, гость сказал:

— Трудно понять успех Есенина в среде рабочей молодежи. Есенин говорит только о себе, выхваляет. Носится со своими переживаниями. Как они его берут?

Гость кивнул в сторону Жени. Женя встал, как ученик за партой, и начал отвечать как бы урок:

— Я вырос у бабушки в деревне. Когда меня прихватили в Москву, я целый год плакал о деревенском приволье. Пытался высказать мою грусть в бестолковых стихах. Наконец, попала в руки книга Есенина. Я с удивлением выучил описание природы. Поэт ходил у меня по уму и высказывал с нежностью мои заветные чувства. У меня была мама, недвижно лежащая. Ночами я говорил ей Есенина. Мама со слезами переслушивала стихи «Старушка моя» и «Голубчик дедушка».

Когда мама умерла, оказалось, что и я никому не нужен. Поначалу я заходил к благополучным товарищам, но «мил гость, что недолго гостит».

В стихах Есенина мне все слышнее и слышнее стали песни горькие и недоуменные. Наедине я разговаривал с Есениным: «Почему ты, Сережа, так рано стал прощаться со всеми? Ты был возвышен. Твое богатство — твой ум и талант нельзя было ни украсть, ни прожить, ни издержать.

Сережа, почему ты прежде времени начал собирать твои бренные пожитки? Ты еще не нагостился на Земле. Тебя, своего певца, встречают поклонами травы, цветы, колосья; тебя приветствует пенье птиц. Сережа, к тебе простирает руки вся красота Земли. К тебе слетаются птицы, к тебе ласкаются звери. Почему на твоих устах было только грустное, прощальное слово?»

Чтобы не подумали, что он считает свое слово чем-то стоящим, Женя небрежно сунул тетрадочку в карман и с деланным равнодушием закурил.

Мой почтенный гость поглядел на Женю снисходительно и сказал:

— Вы, молодой человек, относитесь к Есенину индивидуально. Вы ставите себя на его место. Но Есенин был окружен друзьями.

Глядя перед собою, Женя выговорил:

— У него не было друзей. Ни у кого не было жалости в сердце.

— Есенин не казался жалким.

Женя продолжал:

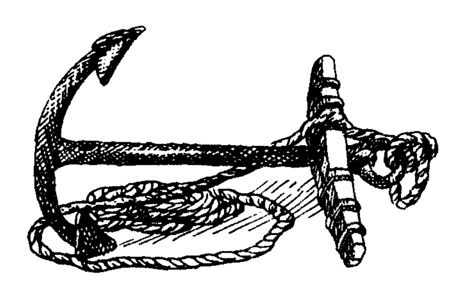
— Понятие «жалость» исходит от слова «жало». Жало у змеи, жало у пчелы, жало у бритвы. Я в детстве знал старика, у которого был «дар слез». Я отважился спросить, что это за дар. Старик ласково поглядел на меня и сказал: «Тёрн острейший жалости душу мне бодает». Терновые шипы как жало. Дружба в одну сторону не бывает.

Если у меня к тебе полнота чувства, а ты, что аптекарь, плюнешь да отчалишь.

Влюбленность остывает еще быстрей. Неутоленная страсть мгновенно сменяется злобой. Но бывает и так. Желая, не желая, ты привил к сердцу другого человека терновую ветвь. Цвет терновника благоухает как роза. Шипы вечно будут жалить неугасимой жалостью. Кто носит в сердце жало любви к тебе, тот ничего не требует от тебя, только бы ты жил без горечи.



У АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДА




Архангельск - город



ЕГОР УВЕСЕЛЯЛСЯ МОРЕМ

Впоследствии времени пущай эти слова будут мне у гробового входа красою вечною сиять.

А сейчас разговор пойдет про свадьбу. О том, как Егор жену замуж выдал. Действительно, я свою бесценную супругу замуж выдал. Замуж выдал и приданое дал! Люди судят:

— Ты, Егор, всему берегу диво доспел. С тебя будут пример снимать.

— Не будут пример снимать, ежели рассмотрят, какими пилами сердца у нас перетирались.

Жизнь моя началась на службе Студеному морю. Родом я с Онеги, но не помню родной избы, не помню маткиных песен. Только помню неоглядный простор морской, мачты да снасти, шум волн, крики чаек. Я знал Студеное море, как любой человек знает свой дом. Ты идешь в темной комнате, знаешь, где скрипит половица, где порог, где косяк.

Я судно в тумане веду. Не стукну о камень, не задену о ко́ргу.

Теперешнее мое звание — шкипер, но судовая команда звала меня постарому «кормщик» и шутила:

— Наш кормщик со шкуной в рот зайдет да и поворотится.

Мореходство — праведный труд. Море строит человека.

Наше судно называлось «Мурманец». Много лет ходили мы на нем. Пятнадцать человек — все как одна семья. Зимовали на Онежском и на Зимнем берегу. Я занимался судовым строением, увлекался переправкой парусных судов на паровые. Чертил проекты и чертежи посылал в Архангельск.

Отдыхал с малыми ребятами: делал им игрушки. На Зимнем берегу был у меня приятель Колька Зимний. Обожал меня за кисти да за краски.

На Онежском берегу меня встречала маленькая Варенька. Я ей рассказывал про Кольку Зимнего. Она ему вышила платочек. Он ей послал рябиновую дудочку.

Маленькая Варенька любила мои сказки. Впоследствии она сама рассказала мне сказку моей жизни.

Имея дарование к поэзии, я две зимы трудился над стихами. В звучных куплетах изложил мое жизнеописание. Но едва начну читать, как слушателей сковывал могучий сон.

Я тогда не думал о своих годах, о возрасте. Годы жизни были словно гуси: летели, звали, устремлялись...

Мне стукнуло пятьдесят годов.

Получаю приглашение явиться в управление Архангельского порта. Товарищи мои обеспокоились:

— Что ты, шкипер! Неужели нас покинешь? Не являйся и не отвечай.

— Ребята, я вернусь через неделю. Может, любознательность какая.

— Смотри, шкипер. Отпускаем тебя на десять дней, не более.

Я ушел от них на десять дней — и прожил в разлуке с ними десять лет.

Являюсь в Архангельск. Оказалось, что над конторой порта поставлен некто, старый мой знакомец. Он меня встречает, стул поддерьгает. Из своих рук чаем потчует:

— Садись, второй Кулибин. Я нашел твои изобретательные чертежи о примененье парового двигателя в парусном ходу. Мы в этом направленье оборудовали мастерскую. Работай и сумей увлечь мастеровую молодежь.

... Я шел по городу без шапки. Шапку позабыл в конторе. Смеяться мне или плакать?

Мастеровая молодежь оценила жизнерадостность моей натуры. Был я слесарь и столяр, токарь и маляр, чертежник и художник.

Покатились дни и месяцы.

Сравнялся год, пошел другой.

Вышеупомянутый начальник так аттестовал мою работу:

— Я не ошибся, что призвал тебя. Но не могу тебя понять. Ты механик, чинишь пароходные машины, а твои ученики только и слышат от тебя, что гимны легкокрылым парусным судам.

Так прошло пять лет. О покинутой семье, то есть о морской моей дружине, я старался ничего не знать, я усиливался позабыть...

Как весна придет, я места не могу прибрать:

— Эх, шкипер, пять годов на якоре стоишь! Выкатил бы якорь, открыл бы паруса — да в море...

... Нет, я на прибавку к якорю цепью приковался к берегу еще на пять годов.

Получаю письмо с Онеги. Варенька, которую я помнил крошкой, пишет, что за смертью отца желают они с матерью жить в Архангельске. Умеют шить шелками, знают кружевное дело.

Я жил в домике, который мне достался после тетки. Пригласил Вареньку к себе.

Встретил их на пристани. Со шхуны сходит девица в смирном платье, тоненькая, но, как златая диадима, сложены на голове косы в два ряда. Давно ли на зеленой травке резвилась, а тут... Взгляни да ахни! И какое спокойствие юного личика! Какая мечтательность взгляда! Тонкость форм не во вкусе по нашему быту, но я обожаю мечтательность в женщине.

Они стали жить у меня в верхнем покойчике.

Мне — за пятьдесят, Варе — двадцать; а я по первости робел. Она выйдет шить на крылечко, я из-под занавески воздыхаю и все дивлюсь: «Что это люди-те у моих ворот не копятся на красу любоваться?»

Дальше — Варя поступила в школу учить девиц изяществу шитья. Я тоже осмелел. Укараулю Варю дома, подымусь на вышку, будто к маменьке, а разговоры рассыпаю перед дочкой:

— Ну, задумчивая Офелия, признайтесь, кто из коллег-учителей вам больше нравится?

Варя шутливо:

— Офелию вода взяла. Ужели я с утопленницей схожа?

— Кто-нибудь да утонет в вашем сердце...

И мать вздохнет:

— Сердце закрыто дверцей. Истинная Фефелия. Хоть бы ты, Егор, ее в театр сводил.

Я за это слово ухватился. Представленье привелось протяжное. Моя дама не скучает, переживает от души. Переживал и я... В домашности даже касательство руки предосудительно; в театре — близкая доверчивость. При том воздушный туалет и аромат невинности...

В гардеробной подаю Варе шубку, а сторожиха с умиленьем:

— Ишь, папенька, как доченьку жалеет! Видно, одинака дочка-то?

Дома в зеркало погляделся: сюртук по старой моде. Борода древлеотеческая... Что же, старее тебя есть кобели и те женились на молоденьких. Мало ли исторических примеров!

Ум мой раздвоился. Корабль руль утерял, и подхватили его неведомые ветры.

Не узнают дядю Егора его ученики: брюки с напуском при куцем пиджачке, бородка а-ля Фемистофель. Во рту папироса, курить не умею.

Приглашаю Варю в оперетку. Половины действия не досидела:

— Как это можно любовь на смех подымать, а измену выхвалять?!

Как-то в мастерской наступил я кошке на хвост. Ребята рассмеялись:

— Егор Васильевич жениться задумал?

— Кто вам сказал?

— Примета такая. Рассеянность чувств.

Я постарался открыть свои чувства в стихах. Варя отвечала грустным взглядом. Наконец я изъяснился со всею тонкостью, вынесенною из книг. Варя покорно опустила глаза.

Первый-то год после свадьбы «молодой муж» на крыльях летал, на одном каблуке ходил. С лестницы бегом и на лестницу бегом. На работу побежу, жене воздушны поцелуи посылаю. А поясница аккуратно дождь и снег предсказывает. Изучил тонкую светскую манеру поведенья, ножкой шаркать и ручку целовать. Да, любовь у юноши душу строит, а у старика душу мутит.

А Варя какова была, такая и осталась. Ни вздоров, ни перекоров, ни пустых разговоров. Никогда меня не оконфузила, не оговорила, не подосадовала. Чуть припаду с простуды, она и ночь не спит. И школу посещала, ремесло свое правила радетельно. Детей любила. С улицы чужого ребенка притащит, обмоет да накормит.

Варенька была охотница до романов, изображающих высокие волнения страстей. Но к себе того не примеряла.

Таковым пóбытом мы прожили с ней четыре года. Но у меня такое чувство, будто меня обокрали. Нет, будто я кого-то обокрал.

Было ненастливое лето. В море бушевали непогоды. Ходили слухи о кру-

шениях. В один ненастный день меня требуют в контору. Начальник говорит:

— На Соломбальском острове находится шкуна по имени «Обнова», потерпевшая аварию. Шкуна принадлежит Онежскому обществу, но контора собирается ее купить. Возлагаю на тебя ремонт. Возьми помощников. Имей в виду, что шкипер этой шкуны — аттестованный механик. Приобучался в Петербурге, Николай Иванов.

— Не слыхал такого,— говорю.

Пришел в Соломбалу на лихтере. Ребята выгружают матерьялы, инструменты, а я на эту шкуну наглядеться не могу. Истинно «Обнова»! Какая легкость и изящество постройки! Разговариваю с ней, со шкуной-то, пробоины руками глажу:

— Не горюй, голубушка моя. Залечим твои раны. Будешь краше прежнего...

Вдруг кто-то меня руками сзади охапил. Оглядываюсь: молодой детина, станом крепок, лицом светел.

— Вы кто будете? — спрашиваю.

Детина состроил мальчишескую рожицу и выговорил только:

— Дядюшка Егор, срисуй кораблик!

— Колька Зимний! Ах ты, милый мой! Ах ты, желанный...

Меня почему-то страшно взволновала новость, которую мне Коля сообщил: команда его шкуны почти целиком состояла из былых моих товарищей по «Мурманцу». Старый «Мурманец» обветшал, но согласие его дружины осталось нерушимо.

Спрашиваю Колю:

— Они где теперь?

— Поспешили на родину, в Онегу. Но я слышал, что управление порта не хочет отпустить таких отменных моряков.

Варе я рассказал о встрече с Колей Зимним, а ему устроил маленький сюрприз. Он знал, что я женат, но ожидал увидеть хлопотливую старушку. Вообразите изумление молодого человека, когда перед ним предстала моя задумчивая Офелия в венце прекрасных кос.

— Варенька, вот этот джентльмен когда-то смастерил трумпетку из рябины и послал тебе в подарок.

Варенька смеется, протягивает ему руку. Он ее руки не замечает, покраснел:

— Так это вы... Это вы мне вышили платочек?..

Я хохочу в покаточку.

— Это я вас, сопленосых, сватал. Дары от жениха невесте за море возил. Упустили вы свое счастье. Сват-то сам не промах. Ха-ха-ха! А ты, Коля, почему не женат?

— Судьбы не было, Егор Васильевич.

С весельем я у этой шкуны работал.

Как матка дочку умывает да утирает, учесывает да углаживает, наряжает и любуется, так я эту «Обнову» уделывал и обихаживал. И то было умильно и утешно, что для старых моих товарищей стараюсь. Пускай добром помянут кормщика.

Варя иногда придет, шанег горячих принесет.

Как-то в обед сижу я, отдыхаю под берегом: чайки кричат, рыбу промышляют. Меж седого камня синий колокольчик, незабудки. Вдруг слышу смех: Коля с Варей собирают по уго́ру шиповник на букет. Она боится осту-

питься, он ее за руку содержит. И что у них смеху, разговору! Молодость их берет... А мне что-то скучен стал сияющий день, полиняло небо, поблекли цветы.

Стал я у́росить и обижаться. Ну, посудите сами: этот молодой человек разбил о камни судно. Заместо того, чтобы с сокрушенным сердцем помогать мне у починки этого судна, он зубоскалит с дамами, подносит им букетики.

Коля за столом пустяк соврет, Варенька смеется, как колокольчик. А я учну что-нибудь полезное объяснять — в ней захватывающего внимания нет. А уж, кажется, любезная, могла бы ты за столько лет оценить мои любопытные познания и рассудительность понятий...

А Николай что? Неосновательность мнений, невнимание к тайнам природы. От моря пошел, а к морю должного пристрастия нет. При всем желании нечем восхищаться: ни изящества воспитанных манер, ни светской обходительности... Медвежонок! Каждая лапа с ведро. Только и есть, что располагающие глаза да зубы со смехом.

Мне были тягостны такие переживания. Будто два человека боролись во мне. Один, любящий и добрый, радовался, что Варя оживилась и повеселела, а другой кто-то — ревновал и оскорблялся.

Но и Варя что-то заметила в своем сердце и чего-то испугалась. Как-то раз сговорились мы втроем на остров по морошку. Я, изобретаючи олифу, позамешкался. И Варя отказалась:

— Я без мужа ездить неповадна.

Как дом отеческий, я шкуну обновил и учинил. И отделав дела, как с домом отеческим простился. Николай остался жить в Соломбале.

Потянулась ненастливая осень. Залетали белые мухи, Варя ни разу Соломбалу не помянула, Николая не проименовала.

Николай приехал к нам по первопутку. Завидев гостя, Варя дрогнула и с лица сменилась. Он гостил у меня два дня. Варя не сказала с ним двух слов. По отъезде в глазах ее установилась смертная тоска. Молчит, склоняясь над шитьем. За оконцем неустанно-неуклонно падает снег...

Что же делает Егор в присутствии плачевной супруги? Вознамерился презрение показывать и безотрадно в том преуспевал. Оледенело сердце, и страшная была зима душевная.

Думали, конца зиме-то не дождаться...

Однажды Варя мне сказала:

— Егор Васильевич, Коля мне пишет. Письма все в красненьком столике.

Я процедил сквозь зубы:

— За низкость почитаю интересоваться подобными секретами.

Однажды ночью слышу: Варя вздыхает, плачет за своей перегородкой. Я выговорил ехидным тенорком:

— Бабушка, бывало, молилась: «Пошли мне, господи, слезную тучу». Я спишу для вас?

Остегнул ее таким словом и — ужаснулся. Я ли это? Ей ли, бедной, говорю? Хотел зареветь, заместо того скроил рожу в улыбку.

Коля явился к нам на масленой. Я только охнул. Будто кто его похитил: глаза ввалились, по привычке улыбается, но улыбка самая страдальческая. Я был маленько выпивши и запел дурным голосом:

Где твое девалось белое тело?
Где твой девался алый румянец?
Белое тело на шелковой плетке,
Алый румянец на правой на ручке.
Плетью ударит, тела убавит.
В щеку ударит, румянца не станет.

Пою... И тяжкий груз, который меня всего давил, во едино место собрался: вот-вот скину. Заплакать бы — еще не могу.

На другой день Варина мать мне, по тайности, высказывала:

— Коля без тебя заходил проститься. Они всегда молча сидят. А тут он глядел, глядел, да и пал перед Варей. Обнял ей ноги, положил ей голову на колени и заплакал навзрыд, как ребенок. Варя лила слезы безмолвно, прижимая к устам платок, чтобы заглушить рыданья. Потом отерла Колино лицо и сказала:

«Коля, много у нас цветов было посеяно, мало уродилося. Коленька, когда мы будем в разлуке, не грусти безмерно. Моя душа всякий раз слышит твою печаль и скорбит неутешно».

Я прибежал к себе, зачал бороду рвать и кусать: «Ирод ты! Журавлиная шея, желтая седина! Что ты, мимо себя, на людей нападаешь? Что ты свою жизнь надсаживаешь?!»

Опять весна пришла, большие воды, немеркнущие зори. Было слышно, что старые товарищи мои согласились поступить на «Обнову». Контора их ждала со дня на день. Но какое мне дело до вольных людей!

Какой-то вечер мы сидели с Варей, молчали. Приходит Зотов, пароходский знакомый. К разговору спрашивает:

— Что это ваш Николай Зимний затевает? Подал в управление порта просьбу о зачислении его в команду Новоземельской экспедиции. Вторую неделю живет в городе. Остановился у меня.

Варя сделалась белее скатерти. Вышла из комнаты. Слышу, наверху в светелке дверь скрипнула.

Когда Зотов ушел, я поднялся к Варе. Она, где плакала, у окна на сундучке, тут и уснула. И столько было ейного возрыданья, что и рукав и плат мокры от слез. Негасимый свет летней ночи озарял лицо спящей. И грозно было видеть неизъяснимую печаль на сомкнутых глазах, горечь в сжатых устах.

Жалость пуще рогатины ударила мне в сердце. И, опрятно встав, руки к сердцу, заплакал я со слезами. И тихостным гласом, чтобы не нарушить скорбного сна, зачал говорить:

— Дитятко мое прежалостное, горькая сиротиночка! Где твоя красота? Где твоя премилая молодость? Ты мало со мною порадовалась. Горьки были тебе мои поцелуи. Я неладно делал, лихо к лиху прикладывал. Совесть меня укоряла, я укорам совести не верил. Видел тебя во слезах и стыдился утешать. Сколько раз твоя печаль меня умиляла, но гордость удержала.

Кукушица моя горемычная, горлица моя заунывная! Звери над детьми веселятся, птица о птенцах радуется,— ты в холодном гнезде привитала. Так как солнце за облаком, терялась, мое милое дитя ненаглядное! Был я тебе муж-досадитель, теперь я тебе отец-похвалитель...

Шепчу эти речи, у самого слезы до пят протекают. А красное всхожее солнышко золотит сосновые стены.

Так я в эту ночь свою гордость обрыдал и оплакал.

Но часы-время коротаются, утро — в полном лике. Прилетел морской ветерок, и занавески по окнам залетали, как белые голуби. Внизу я наказал, чтобы покараулили Варин сон, чтобы, как проснется, шла она к Коле на квартиру и ждала меня там, у Зотова.

А сам достал из сундука поморскую свою одежду коричневых сукон, узорную рубаху, бахилы с красными голенищами, обрядился, как должно, и легкою походкой отправился в контору.

В конторе прямо подлетаю к начальнику, не обратив вниманья на людей, сидящих вдоль стены:

— Господин начальник, я по личному делу...

Удивленно взглянув на меня, он показал рукой на сидящих:

— Ты с ними не знаком, Егор Васильевич?

Я оглянулся и... повалился в ноги им, старой дружине моей.

Сколько у меня было слов приготовлено на случай встречи с ними! А только и мог выговорить:

— Голубчики... Единственные... Простите.

Они встали, все как один, и ответно поклонились мне большим поклоном:

— Здравствуй многолетно, дорогой кормщик и друг Егор Васильевич!

Меня усадили на стул. А я все гляжу на них, вековых моих друзей, на их спокойные лица, степенные фигуры.

Начальник говорит:

— Ты пришел, Егор Васильевич, более чем кстати... Да ты ведь по личному делу?

— Я шел сюда проситься в команду «Обновы».

Начальник говорит:

— Я ожидал этого. Но правление не отпустит тебя, если не представишь заместителя. А такого не предвидится.

Я спрашиваю:

— Верны ли слухи, что Николай Зимний ушел с «Обновы»?

— Ушел. Отказался от этой службы категорически. По каким-то личным обстоятельствам.

Я говорю:

— Господин начальник, вот бы кто поставил мастерскую на должную высоту. Николай Зимний — судовой механик с аттестатом.

Начальник даже крякнул:

— Эх, Егор! Лучшего бы выхода и для тебя и для меня не было. Но Николай Зимний рвется в дальние края. Он заявил мне: «Если не устроите меня в Новоземельскую экспедицию, я уйду в дальние зимовья на купеческих судах...» Уперся, уговаривай его хоть год.

Я стукнул кулаком о стол и говорю:

— Господин начальник, я берусь уговорить Николая остаться в городе. И сроку мне понадобится не год, а пять минут.

Все глаза вытаращили.

— Каким образом?..

— Цепью его прикую к пристани.

— В добрый час, Егор! Орудуй!

Я побежал к Зотову, где жил Николай. Остоялся в сенях, слушаю... Варя плачет с причетью:

Не одна родитель нас родила,
Одной участью-таланом наградила:

Что любовь наша — печаль без утешенья.
Мне не честь будет старого мужа бросить.
Он не грозно надо мной распоряжался,
Не обидел меня грубым словом.
Он много цветов посеял, мало уродилось.

Николай говорит:

— Мне должно уехать, Варенька, но не терплю без вас быть!

Я дверь размахнул, за порог высокоторжественно ступил:

— Принимайте меня с хлебом-солью! Доченька! Много ты потерпела бедностей, и ты ныне возрадуйся! Я, твой бывший муж, ныне же твой отец, торжествую над собой пресветлую победу. Отдаю тебя Николаю на руки, Ивановичу нáвеки... Николка, я твою думу разбойницкую всю знаю. Не затевай! Не езди!

Он прослезился горько и отер слезы:

— Егор Васильевич!.. Мы вас не согласны обидеть...

Варя пала мне в ноги:

— Благодарствую, Егор Васильевич! Спасибо на великом желаньице. Ты доспел себе орлиные крылья, нашел в себе высокую силу.

Ты мужскую обиду прощаешь,
Превысоких степеней отцовских доступаешь,
Перед тобой мы безответны и нéмы.
. . . .

Я подхватил ее с полу, как ребенка:

— Дочка, подыми лицо и более ни перед кем не опущай! Дети! Я упал больно, встал здорóво. Теперь буду вашей радости пайщик, вашего веселья дольщик, вашего счастья половинщик.

Видя мою радость, Коля с Варей стали краше утра.

Я учредил их в моем домишке и, как куропать, вырвавшись из силка, устремился к старой и вечно юной морской жизни.

Радость одна не приходит: дружина моя объявила портовой конторе, что подпишутся в службу только в том случае, ежели шкипером на «Обнове» положат старого их кормщика Егора Васильева.

Вот и настал этот торжественный день, день моего освобожденья, день отпущенья. Низменная конторская палата будто светом налилась. Все мы собрались сполна. Начальник конторы сам перо в чернильницу обмакнул и подает мне:

— Подписывайся, кормщик.

Я говорю:

— Дозвольте, господин начальник, чин справить, у дружины спроситься.

Товарищи зашумели:

— Егор Васильевич! Это чин новоначальных. Ты старинный мореходец.

Я говорю:

— Совесть моя так повелевает.

Они сели вдоль стены, чинно. Я встал перед ними, нога к ноге, руки к сердцу и выговорил:

— Челом бью всем вам, и большим, и меньшим, и середним: прошу при-

нять меня в морскую службу, в каков чин годен буду. И о том пречестности вашей челом бью, челом бью.

И, отведя руки от сердца, поклонился большим обычаем, дважды стукнув лбом об пол.

Они встали все, как один, и выговорили равным гласом:

— Осударь Егор Васильевич! Все мы, большие, и меньшие, и середние, у морской службы быть тебе велим, и быть тебе в чину кормщика. И править тебе кормщицкую должность с нами однодумно и одномысленно. И будем мы тебе, нашему кормщику, послушны, подручны и пословны*.

И вот я опять в море. Попутный ветер свистит в снастях. Волны идут рядами, грядами.

Обгоняем поморскую лодью. Они кричат нам:

— Путем-дорогой здравствуйте!

Я отвечаю:

— Вам здоровья многолетнего на всех ветрах!

От них опять доносится:

— Куда путь правите?

Я отвечаю:

— Из Архангельского города в Мурманское море...

И опять только волны шумят да ветер разговаривает с парусами.

О море! Души моей строитель!

ВАНЯ ДАТСКИЙ

У Архангельского города, у корабельного пристанища, у лодейного прибегища, в досельные годы торговала булками честна вдова Аграфена Ивановна. В летнюю пору судов у пристани — воды не видно; народу по берегам — что ягоды-морошки по белому мху; торговок-пирожниц, бражниц, квасниц — будто звезд на небе. И что тут у баб разговору, что балаболу... А честну вдову Аграфену всех слышней. Она со всем рынком зараз говорит и ругается. Аграфена и по-аглицки умела любого мистера похвалить и обложить.

Горожане дивились на Аграфену:

— Ты, Ивановна, спишь ли когда? Утром рано и вечером поздно одну тебя и слыхать. Будто ты колокол соборный.

— Умрем, дак выспимся,— отвечала Аграфена.— Я тружусь, детище свое воспитываю!

Был у Аграфены одинокий сын Иванушко. И его наравне с маткой все знали и все любили. Не только своя Русь, но и гости заморские. Не поспеет норвецкое суденышко кинуть якорь, Иванушко является с визитом, спросит: по здорову ли шли? Его угощают солеными «би́шками»— бисквитами, рассказывают про дальние страны.

Иванушко рано запросился у матери в море. Четырнадцати лет приступил вплотную:

— Мама, как хошь, благослови в море идти!

Мама заревела, как медведица:

— Я те благословлю поленом березовым! Мужа у меня море взяло, сына не отдам!

* Пословны — повинующиеся по первому слову.

— Ну, я без благословенья убежу.

Ваня присмотрел себе датский корабль, покамест тот стоял у выгрузки-погрузки. Явился к капитану:

— Кэптен, тэйк э брод! Возьмите с собой!

У капитана не хватало матросов. Бойкий паренек понравился.

— Хайт ин зи трум! Ступай в трюм!

Ваня и спрятался в трюм. Таможенные досмотрщики не приметили его. Так и уплыл Аграфенин сын за море.

Аграфена не удивилась, что сын не пришел ночевать. Не очень беспокоилась и вторую ночь: «На озерах с ребятами рыбу ловит». Через неделю она выла на весь рынок:

— Дитятко Иванушко! В Датску упорол, подлец!

И не было об Аграфенином сыне слуху двадцать лет...

Нету слез против материх. Нет причитанья против вдовьего. По утренним лазорям Аграфена выходила на морской бережок и плакала:

Гусем бы я была, гагарой,
Все бы моря облетела,
Морские пути оглядела,
Детище свое отыскала.
Зайком бы я была, лисичкой,
Все бы города обскакала,
Кажду бы дверь отворила,
В каждо бы оконце заглянула,
Всех бы про Иванушку спросила...

А Иванушко за эти годы десять раз сходил в кругосветное плавание. В Дании у него жена, родилось трое сыновей. Ребята просили у отца сказок. Он волей-неволей вспоминал материны песни-былины. Видно, скопились старухины слезы в перелетную тучку и упали дождем на сыновнее сердце.

Припевая детям материны перегудки, Ваня слышал материн голос, мать вставала перед ним как живая...

А Ивану было уже тридцать четыре года. Тут по весне напала на него печаль необычная. Идет Иванушко по набережной и видит — грузится корабль. Спрашивает:

— Куда походите?

— В Россию, в Архангельский город.

Забилось сердце у нашего детинушки: «Маму бы повидать! Жива ли?..» И тут же порядился с капитаном сплавать на Русь и обратно в должности старшего матроса.

Жена с плачем собрала Ваню в путь:

— Ох, Джон! Узнает тебя мать — останешься ты там...

— Не узнает. И я не признаюсь, только издали погляжу.

Дует пособная поветерь. Шумит седой океан. Бежит корабль, отворив паруса. Всплывают русские берега.

На пристанях в Архангельском городе людно по-старому. Точно вчера Иванушко бегал здесь босоногим мальчишкой... Теперь он идет по пристани высокий, бородатый. Идет и думает: «Ежели мама жива, она булочками торгует».

Он еще матери не видит, а уж голос ее слышит:

— Булочки мяконьки! По полу катала, по подлавочью валяла!

Люди берут, хвалят. И сын подошел, купил у матери булочку. Мать не узнала. Курчавая борода, одет не по-русски.

У пристани трактир. Ваня у окна сидит, чай пьет с маминой булочкой, на маму глядит...

Неделю корабль стоял под Архангельском. Ваня всякий день булочку купит, в трактире у окна чай пьет, на маму смотрит. У самого дума думу побивает: «Открыться бы!.. Нет, страшно: она заплачет, мне от нее не оторваться. А семья как?»

В последний день, за час до отхода, Ваня еще раз купил у матери булочку и, пока Аграфена разбиралась в кошельке, сунул под булки двадцать пять рублей.

Так, не признавшись, и отошел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — двадцать пять рублей лишних! Зашумела на всю пристань:

— Эй, женки-торговки! Кто-то мне в булки двадцать пять рублей обронил! Может, инглишмен какой полоротой?.. Твенти файф рубель!

Никто не спросил ни завтра, ни послезавтра.

После этого быванья прошла осень грязная, зима протяжная. Явилась весна разливна-красна. Закричала гагара за синим морем. Повеяли ветры в русскую сторону.

Опять Иванушко места прибрать не может: «Надо сплавать на Русь, надо повидать маму».

Опять жена плачет:

— Ох, Джон! В России строго: узнает мать — не отпустит.

— Не узнает. Я не скажусь ей, только издали погляжу.

Опять он порядился на корабль старшим матросом и приплыл к Архангельскому городу. Идет в народе по пристани. И мамин голос, как колокольчик:

— Булочки-хваленочки: сверху подгорели, снизу подопрели!..

Ваня подошел, купил. Потом в трактире чай пьет, из окна глядит на маму. И жалко ему: постарела мама, рученьки худые... Упасть бы в ноги! Может бы, и простила и отпустила... Нет, страшно!

Неделю корабль находился в порту, каждодневно сын у матери булочки покупал, а не признался. Только в последний день, перед отходом, сунул ей в короб пятьдесят рублей и ушел в Данию.

Аграфена стала вечером выручку подсчитывать — пятьдесят рублей лишних!

Все торговки подивились:

— Что же это, Аграфена! Прошлый год ты у себя в булках двадцать пять рублей нашла, сейчас пятьдесят. Почто же мы ничего не находим? Уж не сын ли тебе помогает?

— А и верно, сын! Больше некому! — И заплакала.— Дитятко мое роженое, почто же ты не признался! Поглядела бы я на тебя... Верно, уж большой стал. Дура я, детища своего не узнала! Теперь каждому буду в руки смотреть.

Таковым побытом опять год протянулся, с зимою, с морозами, с весною разливной. Веют летние ветры; кричит за морем гагара, велит Иванушке на Русь идти, мамку глядеть. Плачет жена:

— Ох, Джон! Я не держу тебя, только знай: не так я беспокоилась, когда ты на полгода уходил в Америку, как страшусь теперь, когда ты плывешь одним глазом взглянуть на мать...

Дует веселый вест, свистит в снастях Иванова кораблика. Всплывают

русские берега... Вот сгремели якоря, опустились паруса под городом Архангельском. На горе стоят, как век стояли, башни Гостиного двора. Под горой сидит, как век сидела, булочница Аграфена. Теперь она зорко глядит в руки приезжим морякам: не сунет ли кто денег в булки.

Иванушко тоже свое дело правит: у мамы булку купит, в трактире чай пьет, на маму глядит.

И в последний раз, как булку купил, сует матери в корзину сто рублей. А старуха в кошельке роется, будто сдачу ищет, а сама руки покупателя караулит.

Как он деньги-те пихнул, она ястребом взвилась да сцапала его за руки и разинула пасть от земли до неба:

— Кара-у-ул! Грабя-ат!!!

Ване бы не бежать, а он побежал. Его и схватили, привели в полицию.

Аграфена тихонько говорит приставу:

— Это не грабитель, это мой сын. Он мне сто рублей подарил. Он двадцать три года терялся. Я хочу, чтобы он сознался.

Пристав подступил к Ване:

— Признавайтесь, вы ей сын?

— Ноу, ноу! Ноу андестенд ю!

Аграфена закричала с плачем:

— Как это «но андерстенд»! Не поверю, чтобы можно было отеческу говорю забыть... Иванушко, ведь я тебя узнала, что же ты молчишь!

Ваня молчит, как бумага белый. И все замолчали. А народу множество набилось. По рынку, по пристани весть полетела, что Аграфена сына нашла. А она снова завопила:

— Ежели так, пущай он рубаху снимет! У него на правом плече три родимые пятнышка рядом.

Пристав приказывает Ивану:

— Раздевайтесь!

Тогда Ваня пал матери в ноги:

— Маменька, я твой сын! Только не губи меня, отпусти! У меня в Дании жена и трое сыновей. Вот тебе все мои деньги — пятьсот рублей. Возьми, только отпусти!

Аграфена застучала кулаком по столу:

— Убери свои деньги! Мне не деньги — мне сын дорог. Я без сына двадцать три года жила. Я о сыне двадцать три года плакала...

Заплакал и Ваня:

— Мама, пожалей своих внучат! Пропадут они без отца...

Заревели в голос и торговки:

— Аграфена Ивановна, отпусти ты его!

Аграфена говорит:

— Ладно, дитя, я тебя прощаю и отпускаю тебя. Только ты сними с божницы Спасов образ, сними своими руками и поклянись мне, что на будущий год сам приедешь и старшего внука мне на погляденье привезешь.

Действительно, на другой год привез старшего сына. Аграфена внука и зимовать оставила:

— Я внученька русской речи, русскому обычаю научу.

Мальчик пожил у бабушки год и уезжать не захотел. Ваня привез среднего сына. И этот остался у бабки, не пожелал лететь из теплого русского гнездышка. Тогда приехала жена Ванина с младшим сыном. И полюбилась кроткой датчанке мужнева мать:

— Джон, останемся тут! Здесь такие добрые люди.

Аграфена веселится:

— Вери гуд, невестушка. Где лодья ни рыщет, а у якоря будет.

Аграфенины внуки-правнуки и сейчас живут на Севере, на Руси. По имени Вани, который бегал в Данию, и фамилия их — Датские.

МИМОЛЕТНОЕ ВИДЕНЬЕ

Рассказ портнихи

Корытину Хионью Егоровну, наверно, знали?.. Горлопаниха: на пристани пасть дерет — по всему Архангельскому городу слышно. И дом ее небось помните: двоепередый, крашеный? Дак от Хионии Егоровны через дорогу и наша с сестрицей скромная обитель — модная мастерская...

... Дело давнишнее: после первых забастовок пустила Хиония Егоровна петербургского студента ссыльного... И видно, что Лев Павлович был не из простых. Разговор, манеры... Мы с сестрицей, несмотря на страшный недосуг, всякий день забежим, бывало, к Корытихе чашечку кофейку выпить и, грешны богу, элегантного квартиранта повидать. Его томной бледностью многие дамы восхищались, но, казалось, его снедал роковой недуг. И мы с сестрицей сразу диагност поставили: не столько суровость северного климата, сколько разлука с любящей супругой истерзала молодую грудь. Два-три письма еженедельно в Питер Катюше своей пошлет. Одно-два от нее получит. А уж ни с Хионьей Егоровной, ни с нами, ейными приближенными фаворитками, не поделится своей сердечной тайной. А мы, не будь дуры, Левины-то письма, да и супругины нежные ответы при случае распечатаем и прочитаем. Пособить не пособим, а хоть поплачем над ихней прелестной любовью.

Зима тот год была дождлива. Наш изгнанник поляживает да покашливает. И весь он, как лебедь унылый, который улететь-то не в силах.

Этак сидим однажды у Хионьи, не то по пятой, не то по девятой чашечке кофейку налили, а Лев Павлович и заходит.

— Не откажите в любезности бросить письмо... (Почтовый ящик у нас на воротах.)

Хионья и осмелилась:

— В свою очередь, Лев Павлович, окажите любезность дамам выпить с ними кофейку. Также, извините за нескромный вопрос, почему бы вашей супруге не приехать сюда? Я чужих писем не читаю, но по всему видать, что ее счастие — быть возле вас.

— Да. Катя там тоскует без меня, но климат здешний...

— На! Чем этта не климант — у дров да у рыбы?!

— У Кати там должность.

— Этта тоже можно письменны упражненья найти!

— Катя такая хрупкая...

— Будь она хоть рюмочка хрустальна — она бы здесь кофейком отпилась!

Зима пошла на извод, наш Левушка — вовсе на исход. А свою принцессу все успокаивает: здоров да благополучен. Мы с сестрицей взяли да на семи ли, на восьми страницах, вкратце, и открыли этой Кате всю ужасную действительность. Ответа ждем, а она сама является, как майский день! И знаете, действительно принцесса! Такой тип красоты парижанки: блондинка при черных бровях. При этом ежели парижанкин тип, то лик неизбежно втолсту

отщекатурен. Но у Кати, окроме добродетелей, ничего в лице не выражалось. И одета просто, но с громадным вкусом: во все белое и во все черное. Мы с сестрицей портнихи не из последних: в туалетах можем понимать!

Боже, как они с Левой встретились! Конечно, может ли какой презент быть превосходнее сего. Даже нам с Хионьюшкой досталось по нескольку поцелуев... А багажу-то дорогая гостьюшка не ахти сколько привезла. Один чемодан, да и тот веретеном тряхнуть... Но не поспела она этот чемоданчик расстегнуть, как сразу разговор на копылья поставила: какие в городе конторы и насколько личность, многознающа в науках, может найти упражнения. А мы с сестрицей не последние люди в городе. В деловых кругах знакомства, и весь бомонд на вестях. Раскинули умом да, несмотря на страшный недосуг, на другое же утро и порхнули в роскошный особняк купцов Маляхиных.

Фирма «Маляхин и сын» преименитая — свои пароходы, рыбой торговали.

Об эту пору мы молодого Маляхина супруге Настасье Романовне шили гардероб домашний и а-ля́ променад. Заказчицы обычно к нам являлись на примерку, но на сей раз мы сделали исключение, в рассуждении застать домовладыку.

И папенька и сын дома оказались. Простодушно беседуя с заказчицей, расставляю я свои коварные сети насчет новоприезжей особы, что-де умна и прекрасна, как мечта, и на двенадесяти языках поет и говорит. А Федька, молодой-то Маляхин, ужасти какой был бабеляр. Закатался, будто кот, на бархатных-то диванах.

— Папенька, какой сюрприз для нашей фирмы! При наших связях с заграницей!..

А папенька, медведь такой:

— Хм... Какая-нибудь на велисапеде приехала.

Одним словом, принялась наша протеже служить в маляхинской конторе. И мы с сестрицей ходим, поднявши нос, как две виновницы торжества. Ох, ежели бы знать, к каким это приведет плачевным результатам, дак волосы бы на себе лучше было драть и свою безумную главу толченым кирпичом посыпать... Тем более под ярким впечатлением видела я сон: будто катаемся в шлюпке при тихой погоде я с сестрой и Катя с Левой. И вдруг нас качнуло... Агромадный пароход валит на нас, обдавая рыбным запахом... Я заревела... Сон сестре рассказываю, а она:

— Вольно тебе рыбну кулебяку на ночь под носом оставлять...

Ну, ладно... Не успела наша Катя на должности показаться, всее мужчины принялись кидать на нее умильные взоры, а молодой хозяин ус крутить и ножкой шаркать... И нельзя винить: прежде за диковину была служащая дамочка. Притом Федькина жена, Настасья Романовна, взята была из поморского быта. Платья по журналам шить согласилась, а уж парчового повойника с головы сложить не соизволила: «Это женский венец! Не от нас заведено...» Ну, куда же современный муж такую патриархальность поведет? Ни в театр, ни в концерт. А тут на глазах, при своей конторе, богиня красоты — юбка плиссе с воланом, блузка с утюга...

Обзадорился Феденька на свою подчиненную, а какими средствами ее достигнуть, не знает. Это не певичка, в «Золотой якорь» не позовешь.

Каких только промыслов он над Катей не чинил! В пасху плюшевое яйцо, ростом с бочку, четыре оленя к Хионьиным воротам подвезли. Из яйца выпал карлик и подал Кате самовар с французскими духами. Хионья этими духами больше году поливалась.

Опять на Катин день рожденья пряник от Маляхина, в пуд весу, прикатился. И литеры К и Ф — Катя и Федя — сахаром на прянике выделаны...

На улице молва пошла: ссыльна барыня купеческого сына присушила, приворотным зельем опоила...

Убежала Катерина из маляхинской конторы. Хотя мы и советовали: «Терпи с выжиданием». Да уж Федька-то... что ступит, то стукнет. А ведь этаку фарфоровую штучку, вроде Катеньки, надо полегонечку обдерживать, вкруг да около манежно переступывать.

Соболезнуя Настасье Романовне, мы не раз к Маляхиным для ради примерки являлись, испытующим оком выраженье ейной личности изучали. Но ничего прочесть не могли. Уродится же такая дура, не от мира сего!

А Левушка не долго прожил после этого. В июньскую сияющую ночь смерть исторгла его из объятий рыдающей супруги.

На провожании мы с сестрой Катю под руки вели. Хионья Егоровна заместо духовенства впереди ступала. Шла в старинном косоклинном сарафане, в шитом золотом платке. Несла в руке ветвь благоцветущего шиповника и пела плачную причеть. Мы с сестрицей подхватывали на голоса. Все плакали, выключая молодой вдовы.

— Катя, для чего ты не плачешь?

Она — что каменная. А мы выревемся, нам и легче.

Шесть недель она к Леве на могилку ходила. Молча сидела. Домой воротится вся в комарах искусана.

Тут опять на сцену донжуан выходит. Ежели Феденька Маляхин при живом муже светским приличием пренебрегал, то теперь открыто повел лобовую атаку.

В Ильинску пятницу идем с сестрой из магазина, а у корытовских ворот маляхинский рысак. И Хионья из окна подает отчаянные знаки. Несмотря на страшный недосуг, летим к ней черным ходом.

— Душенька, что у вас?

— Формальное предложение сделал!

— Кто?

— Федька.

— Вам?

— Черт ли мне! Катерине...

Мы даже заплакали: «Забыть так скоро!..» Коварная, прельстилась на богатство... К дверям Катерининым припали... Нет! Почтения достойное творенье ничем не обольстилось.

Федоров голос из-за двери:

— Дом отделаю во вкусе, и сад во вкусе. Определю вас в золотую оправу, подобно жемчужине.

А Катин голос:

— Стыдитесь, господин Маляхин, не меня, а вашей достойной жены!..

Мы в куски рвемся под дверями-то: «Дура ты, дура ты, Катерина! Благодарение бы надо воссылать такому благодетелю. И ты-то, Федька, дурак! Тебе бы сначала пару белых лилий поднести, потом альбом грустных сонетов, потом букет пунцовых роз, а ты: «На содержанье возьму!..»

Опять и Настеньку, Федькину жену, вспомнили. Настя-то за какие прегрешения скорбную чашу будет пить?! Смолоду на нее шьем! Слова худого, взгляду косого не видели.

... Разоряемся этак под чужими дверями, а Федор и вылетел да хлоп Хионью дверью в лоб!.. Пал в коляску, ускакал. Еще бы: обожаемый предмет заместо сабли все чувства становит.

Мы с сестрицей в тот же вечер к Настеньке Маляхиной с примеркой пожаловали. У нее, у голубушки, личность от горячих слез опухла и губы в кровь искусаны, однако разговора на острую тему не поддержала, хотя мы и делали прозрачные намеки. «Ну,— думаем,— ежели сердечного участия не понимаешь, дак и черт с тобой!»

Домой шли, ругались, а дома заревели:

— Настенька-голубушка! Назвала бы ты нас суками да сводними. Через нас твой благоверный в рассужденьи Катерины изумился.

Недели не прошло, принимаем мы заказчицу, супругу жандармского полковника. К зимнему сезону шила плюшеву ротонду на лисьем меху. У нас первостатейны дамы шили. Прикидываю ей сантиметром по подолу, а жандармша и погляди в окно:

— Ох, какая роскошная упряжка мокнет под дождем!

Я посмотрела, да и села со всего размаху на пол: у Хионьиных ворот старика Маляхина карета.

— Душенька, что с вами?

— Это у меня на почве сердца. Сестрица, выведи меня на воздух.

Сдали барыню помощнице, а сами кубарем через забор да соседским двором, чтобы жандармша не увидела, к Корытихе. Подолы ободрали, в крапиве обожглись — наплевать!

Хионья в коридоре на своем посту обмирает; молча нам кулаком погрозила... Папенька Маляхин в гостях. Мы к дверям припали, не смеем дух перевести.

К началу представленья не попали, однако все понятно из дальнейшего. Старик говорит:

— Возьмите отступного полтысячи, даже тысячу и удалитесь в родные палестины.

Катя с гневом:

— Какое вы имеете право ко мне приезжать? Как вы смеете мне это говорить?

— А вы какое имеете право женатого человека завлекать?

— Я служила в вашей конторе на глазах у всех. По отношению к вашему сыну я держала себя, как любой из ваших служащих. Я сразу же ушла, увидевши себя в ложном положении.

— Порядочная женщина должна оберегаться мущин, а не действовать над ихним воображением. Мало тысячи, получите полторы, ежели вы такая практикованна особа...

Тут Хионьюшка двери рванула да как налетела на Маляхина-то:

— В моем доме нету практикованных! Со всеми соседями ставлю во свидетели, что вы благородную невинность оскорбляете. Вон отсюда, рыбьи глаза! Я честна вдова, тридцать лет вдовею! Меня сам отец Иван Кронштадтской знат да уважат!

Старик шапку в охапку, пал в карету, ускакал.

Мы пых перевели, а по всему дому чад, окон не видно. Хионья кофей жарила, да и забыла с гостем-то. Сожгла огромадну сковороду. Пока окна-двери отворяли, Катя мимо нас на улицу бегом, с самым жалким выражением своего миловидного лица. А дождик с утра поливал. Хионья говорит:

— Пущай по ветерку пробежится. Я свежего кофею зажарю. Она кофейком отопьется.

А моя молчаливая сестрица и прове́щилась:

— Может, Катя-то тонуть ушла...

Хионья заревела, а мы с сестрицей подолы на голову закинули а-ля Помпадур и потрепали за Катей. Для того и носим нижние юбки на шелку, чтобы их на дождике показывать. А Катя не к реке, привела нас на кладбище. Катя мостиком пошла, мы оврагами махнули, да и спрятались в елочках, где Лева-то лежит. Катя подошла молча, постояла, молча пала на могилку. Потом и простонала:

— Левушка, мне надо уехать. Как же я оставлю тебя одного?..

В эти немногие слова такую она скорбь вложила, что заревели мы голосом в своем сокровенном убежище. Не нам Катеринушку, а ей нас успокаивать пришлось:

— Не оплакивайте меня, я ведь на минутку духом упала.

— Катенька, мы тебя своими руками в беду положили, к Маляхину свели! И в корытовском доме нет тебе покоя от визитов. Переходи к нам. Мы тебя на фарфорову тарелку посадим и по комнатам будем носить.

Она развеселилась, засмеялась. Тут и дождь перестал, и солнышко выглянуло.

Однако до Хионьи кто-то допихал наши речи. Принимали мы мадам ван-Брейгель, супругу датского консула. И Хионья налетела, будто туча с громом:

— Я честна вдова! Меня отец Иван Кронштадтской знат да уважат! Я сама за моих квартирантов умею кровь проливать!

Тут опять является на сцену Феденька Маляхин.

Как вечерняя заря небо накроет, так несчастный донжуан и заслепит Корытихину улицу золотыми часами и золотым портсигаром. Как перо на шляпе, мимо Корытихина дома ходит. Соседям не надо в театр торопиться. Корытихин дом — всем открытая сцена. У Егоровны, конечно, имелись с Федькой разговоры. Она калитку размыхнет, выпучит глаза, а Маляхин в ейну сторону табачным дымом пустит.

— Что, Корытиха, стоишь? На кого глядишь?

— Стою для опыта. Гляжу твоего дурацкого ума.

— Ах ты, раковы глаза!..

— Ах ты, сомова губа!..

Мы браним Хионью-то:

— Вы хоть бы Катю пожалели, не делали бесплатных спектаклей для соседей. С пьяным связываетесь.

— Не подумала, что пьяной. Катенька, прости меня. Не могу своего характера сдержать.

Вот эдак, скажем, сегодня она покаялась, а назавтра еще с большей талантливостью сыграла... День-то рыбу в погребу укладывала, перед ужином вышла в залу отдохнуть. И покажись ей, что Маляхина нету. Обрадовалась: «Хоть один,— думает,— вечерок подышу чистым воздухом, без шпионов». Окна-то распахнула — под окном-то Федька!

Хионья Егоровна Корытова цветы с подоконника срыла, да и выпихалась на улицу задним-то фасадом. Бесчествует купца первой гильдии Федора Маляхина... Прохожие путники во главе с уличными детями вопиют:

— Гордись, гордись, Корытиха, не сдавайся!

А мимо наша девка воду несла. Федор схватил ведра да мадам Корытову и окатил с головы до пят... Страм!

После этого день прошел, и неделя прошла. Господин Маляхин что-то перестал являться на своем посту.

А вечера чудные, непохоже, что осень. Несмотря на страшный недосуг, оделись мы с сестрицей для прогулки, побежали за Катей.

— Прекрасная затворница! Позвольте вас пригласить для приятной прогулки по набережной, тем более ваш Отелло исчез!

Катя, как птичка, радехонька...

Вот и шествуем три элегантные дамы. У моей сестрицы новой выдумки нарядное фуро, у меня прозаический чепец а-ля́ Фигаро, а Катя всегда комильфо и бьен ганте.

Оживленно беседуя, вдруг наталкиваемся на толпу. Что такое? У гостиницы «Золотой якорь» народ, извозчики, точно свадьба. Пробираемся поспешно через публику, а все в окна глядят. А там песни, бубны, топот, звон посуды и беспредельный бабий визг. На улице темно, в гостинице светло, нам некуда деваться, в окна смотрим... О, ужас! Табун девок захватились вокруг Федора Маляхина и скачут, ажно ветер свистит... Лампы и свечи то вспыхнут, то померкнут... Федор опух, обородател, глаза остолбели... И он вопит:

— Сволочи, песню! Мою песню!

Прихлебатели и девки грянули под музыку:

Кат-тя, ты меня не лю-убишь!
Кат-тя, ты меня погубишь!
. . . .

В толпе кто-то и выговорил:

— О-хо-хо!.. К каждой песне Катю помянет. Пятые сутки пьет напропалу, любовь-то утолить не может.

Слава богу, нас не узнали в темноте. Я схватила Катю за руку, перебежали через дорогу и — окаменели, как две Лотовых жены: у чужих ворот прижалась-притаилась Настасья Романовна Маляхина и тоже глаз не сводит с ужасных сияющих окон «Золотого якоря»...

Катерина моя охнула да бежать. Чем дальше бежит, тем громче плачет.

... Что вы думаете — в одну ночь она собралась. Мы с сестрой вещи пособляли увязывать, а Хионьюшка сидела на полу да причитала:

— Опустеть хочет корытовско подворьице!

У нас вокзал за рекой. Катя пароходом плыла мимо города. Но последний взгляд был брошен ею не на ельник, не на кладбище. Она смотрела на маляхинскую набережную, неутолимо глядела на маляхинский дом.

Она не велела никому сказывать о своем отъезде. Но разве в нашей провинции могут быть секреты!

Катя днем отбыла, а в вечерню к Хионьи Егоровне явился Федор Маляхин в черном сюртуке, в черном галстуке.

— Куда уехала? Докуда билет брала?

Хионья и сама ничего толком не знала. Билет нарочно до ближних станций был бран, чтобы следы затерять. И Федор не стал искать. Всю зиму, как медведь, в лавке сидел. Пощелкает, пощелкает на счетах, потом уставится в одну точку, долго так сидит. Весной на пароходе в Норвегу уехал и жил там до белого снегу. Катя у него далеко стала, все перегорело, он и обошелся. Домой приехал, жене голубого шелку на платье привез, а себе в кабинет заграничную картину в золотой раме. Изображена молодая особа в виде нимфы, порхающая над бурным ручьем. Многие находят, что черты нимфиного лица напоминают Катю. Называется картина: «Мимолетное виденье».

МИТИНА ЛЮБОВЬ

У меня годов до двадцати пяти к дамам настоящего раденья не было. Конечно, при гостях пронзительность глаз делаешь, а... все не мои. Притом холостой да мастер корабельный, дак сватьи налетают, как вороны на утенка:

— Погоди, Митька! Роешься в девках, как в сору, одна некрасива, друга нехороша, а криворота камбала и достанется.

— Скажите, как напужали!

— Небось напужаешься! Над экими, как ты, капидонами вымышляют колдуны-ти. В гости тебя зазовут, в чаю, в кофею чего надо споят, страшну квазимоду и возьмешь, молекулу.

А я живу, какого-то счастья жду, судьбы какой-то. А дни, как гуси, пролетают.

... Позапрошлая наступила зима, выпали снеги глубоки, ударили морозы новогодни. Три дня отпуску, три билета в соломбальский театр. Соломбала — города Архангельска пригород. От нашей Корабельщины три часа ходу.

У вдовы, у Смывалихи, остановился. Вечером в театре жарко, людно. В антракт огляделся: рядом особа сидит молодая. Сроду не видал такого взора! Не взгляд — тихая заря поздновечерняя. Больше во весь вечер не посмел в ейну сторону пошевелиться.

Другой день ушел в гости к вечеру.

Народушку в театре — как тараканов на печи.

— Ишь, лорд какой расселся, член парламента! Расшеперил лапы-то!

Ейно место охраняю... Идет. Голову гордо несет, щеки, уши пылают. Стыдится. Честного поведения, значит. Привстал ей. Мило улыбнулась.

«Грозу» Островского представляли... Вместе ахнем, вместе рассмеемся, а слова за сто рублей не сказать. В антракт осмелел:

— Не угодно пройтись в фойе?

— С кем имею честь?..

— Такой-то.

— Марья Ивановна Кярстен.

И в слове и в походке она мне безумно нравится. У ей все так, как я желаю.

— Что на меня зорко глядите?

— Очень вы, Марья Ивановна, ненаглядны. Только во взорах эка печаль...

— Оттого, что родом я со печального синя-солона моря...

— У меня тоже не с кем думы подумать, заветного слова промолвить. Марья Ивановна, мы другой вечер рядом сидим, вы меня вчера заметили ли?

У ней и смехи на щеках играют, оглядывает меня.

Экипажецка рубашка,
Норвецкой вороток.
Окол шеечки платок,
Словно розовый цветок!

— ... Ну, как вас не заметить?

— Это я для вас постарался, гарнитуровым платком повязался.

А в последнее действие уливается моя соседка слезами:

— Люблю слушать, как занапрасно страдают...

— Любите, а эдак плачете.

— Я сама в том же порядке.

Проводить не дозволила, одна убежала.

На третий день представленья не было, только дивертисмент музыкальных номеров. В мире звуков рассказываю Марье Ивановне, что-де у меня мамы нету, сам хлебы пеку, тесто жидко разведу — скобы у дверей и у ворот в тесте...

А она:

— Говорите, говорите!.. Я потом вашу говóрю буду разбирать, как книгу.

— Марья Ивановна! Мы по своим делам часто в Соломбале бываем. Дозвольте с вами видаться!

— Да что вы! Ведь я замужем!

Как нож мне к сердцу приставила...

— Дак... от мужа гуляете?..

— Гуляю? За пять лет замужества случаем в театр попала... С добрым человеком поговорила... Может, до смерти нигде не бывать...

— Теперь эта неволя отменена.

— Неволя отменена, да совесть взаконена!

— Вот вы наделали делов — бросаете меня... Куда я теперь?!

Но горячность моих упреков умиротворяет чудная мелодия вальса:

Зачем я встретился с тобою,
Зачем я полюбил тебя?
Зачем назначено судьбою
Далеко ехать от тебя?

Марья Ивановна сделалась в лице переменна... Встала, выхватила у меня из грудного карманца батистовый платочек... Публика музыкантам хлопает, а я слышу тихое, но внятное слово:

— Пока я жива, это мне лучезарная память. А умру, глаза вашим платочком накрыть прикажу.

И ушла. Как век не бывала. Опомнился да побежал вслед — знай, метелица летит в глаза да адмиралтейская часозвоня полночь выколачивает...

А Смывалиха на квартире:

— Сегодня в Соломбале два дива было. Первое диво — Машенька Кярстен в театре показалась, второе диво — с некоторым молодым человеком флиртовала.

— Она чья? Она кто?

— Мужняя жена. Замужем живет, честь наблюдает. Муж-то пьюшшой, хилин такой. Она мукой замучилась, а уж ни с кем ни-ни... Сама портниха, рукодельница...

Замужем живет... Честь наблюдает... Мне тоже бесчестно баловством-то сорвать. Кабы навеки моя, а так, баловством, мне не надо!..

И той же ночи побежал я домой. Бежу пустыми берегами, громко плачу, как ребенок:

— Эх ты, Машенька Кярстен! Навела мне беду!..

И поклялся я забыть эту любовь. За троих работу хватаю. Сам себе внушаю: «Не думай про нее! Знай, что она не твоя». Да, а ночь-та моя; а кто же рад один-то!.. Бывало, не лягу в хороших брюках, все увертываю да углаживаю, а теперь... Обородател, похудел...

Зима на извод пришла. На верфях стук да юк рано и поздно. У меня топор в руках, чертежи в глазах, на уме Машенька Кярстен. Голос ее, духи ее слышу — «Лориган»...

— Эх, Митя, Митя, упустил ты свое счастье!..

Не курил — закурил...

Притом эту сплетню из Соломбалы принесли в нашу Корабельщину. То прежде дамы по своей части меня хладнокровно укоряли, теперь, видя полноту переживаний, в другую сторону заобиделись. Заведующая парикмахерской как-то при гостях на меня затужила:

— Не желаем соломбальску прынцессу! Счас парикмахерску замкну и ключ в море брошу. Пущай населенье ходит в диком образе!

Пришла весна-красна, с летичком теплым, с праздничком майским. Со всем народом, со всем славным шествием пришел я в Соломбалу. И скопилось три дня свободных. Куда пойду?.. А Смывалиха на углу и стоит.

— Здравствуй, Митенька! Да, помнишь Машеньку Кярстен, в театре-то увлекались?.. Овдовела: до краю допил...

— Она где живет?!

— В город переехала отсюда.

— Улица какая, дом какой?!

— Дом номер восемнадцать, улица... Погоди ужо; дом номер восемнадцать... улица... Забыла. Ново какое-то переменено название.

— Она где с мужем-то жила?

— Эво, где домичек зеленый!

В зеленом домике самовары лудят да паяют, никакой Марьи Ивановны не знают. Сунулся в возледворные соседи...

— Мы у ей на новоселье не бывали, городского пива не пивали. Гордиянка была и скрытница...

Я на перевоз да в город. В адресном бюро дежурна подает адрес прежний, соломбальский.

— В город она переехала!

— Может, и год проживет не прописана. У нас не торопятся.

Все пропало! Машенька Кярстен, утерял я тебя!.. Вылез на крыльцо, а кругом-то весна! Река ото льда располнилась, в море плывет, чайки кричат, пароходы свистят. На домах, на пристанях, на кораблях флаги, ленты, банты... Отвяжись худая жизнь, привяжись хорошая!

Искать пойду! Обойду город с верхнего конца до нижнего. В каждую улицу загляну, в каждой улочке дом номер восемнадцать найду. Везде спрошу Марью Ивановну Кярстен. Взял да и пошел. Три дня ходил. Как лесом, пошел этими домами. Номер восемнадцать увидаю — так сердце и замрет. У старушки пить попрошу:

— Здесь проживает портниха та́кая-то?

Ответ один:

— Не знаем, не знаем никаку Марью Ивановну.

По дворам собаки приведутся, за ноги хватают. На Мхах одушевленна собачка, за штанину ухватясь, две улицы на мне ехала. Иду, фасон не теряю. Иду в желтых щиблетах, пальто серого драпу, норвецкая кепи. Дома «Дели» или «Спорт» курю за шестьдесят пять, тут «Пушку» купил. Инде домоуправляющий выскочит, как пробка из бутылки:

— Санитарной инспектор являетесь? Помойны ямы смотреть?

— Иду своим путем, за своим делом.

Ничего не доспел, а той же отвагой к Смывалихе ночевать явился.

— Нашел?

— Найду.

— Присушили тебя. Приворотным зельем опоили. А то опять кошки есть

троешерстны... Завтра пойдешь шляться, зайди в «Ледовитый океан». У ворот бабка-гадалка живет...

На другой день ходил главными улицами. Помню, в комфортабельну квартиру зашел, а потолки трясутся, в шкапах посуда говорит... Спрашиваю:

— Что это у вас, кабыть... Последний день Помпеи?

— Это у нас пенсионер Иван Авдеич физкультурой занимается. По своему этажу кровать с перинами катает.

«Нет, моя жемчужина сюда не закатилась».

В обед на реку выгулял, тут кафе «Ледовитый океан». У ворот старинна избушечка, кабыть из-под ягой бабы. Постучался.

— Хозяйка жива?

— Жива маленько-то...

Хорошенька беленька старушоночка у оконца вяжет. И котенок у печки из чашечки лапкой ест.

— Бабушка, я не гадать.

— Что тут гадать, без гаданья видать. Нарядной, возволнованной, судьбу свою ищешь.

— Бабушка, я остался без невесты!

— Значит, курвяга кака-нибудь.

— Нет, уж всех честнее да прекраснее!

— У тебя-то, дитя, простота в лице детская, ненаглядная. Ежели она стоющая женщина, ты у ейного сердца прижат.

— Потеряю ее — буду пить, в карты играть!

— Не дичай. Праведная любовь не потеряется.

— На тебе, бабушка, на гостинцы.

— Не надо, не надо! Свадебного принесешь, пряничков мятных.

Как меня эта маленька старушка развеселила! А к вечеру еле ноги перекладываю: новые ботинки жмут. А полночь в Лодейну улицу выбрел. Над городом тихо припало. Солнце присело на воды, как утка. Вот и дом номер восемнадцать, а как зайдешь... Стою, булочку доедаю. А на крыльце человек и пошевелился.

— Вам кого?

— Дозвольте с вами на крылечке посидеть, опоздал на пароход.

— Даже прилечь не угодно ли! Вот вам оленья постель. Я как выпью, меня женка всегда на улицу выгонит и постелю высвиснет. Для гостя можно бы в избу поколотиться, да боюсь, чем бы не огрела...

А я на оленину пал, пальтишком накрылся... Как у мамы за пазушкой.

Пароходные свистки разбудили. В горницах хозяева ругаются. Больше слыхать выговор женственный, полный, окатистый. Я застегнулся да наутек... И не поблагодарил. А день серый, с дождем. Поглядел на себя: весь в оленьей шерсти. О, кто бы меня шомполом оловянным настегал! За тенью гоняюсь, за ветрами бегаю. А тут и городу конец; невеличка осталась Кузнечевская слободка. Домишки, как коробки худые, а нельзя не пройти. По дороге канава: с горы вода летит, льет. Мостик был, да сплыл. Я размахнулся да — р-раз на ту сторону. Тут оступился, каблук отсадил и карман оторвал. А глины на ногах, на боках!.. Тут я духом упал, тут весь форс потерял.

«Эх, Митя, Митя!.. Век над людьми смеялся, теперь сам всех насмешил!»

И поворотил я обратно — скорее бы на пароход да домой. Плакать не плачу, а слеза бежит.

«Эх, Машенька Кярстен, потерял я тебя!..»

А поперек дороги под старым карбасом сапожник, как в магазине, сидит. Тремя гвоздиками прихлопнул мне каблук.

— Мастер, вы худо сделали.

— Худо сделал, дак и опять ко мне прибежишь. Крепко сделаешь, дак и без денег сиди...

— Мастер, вы мне карман не прилепите хоть на живую бы нитку?

— Наша фирма этими пустяками не занимается. Эво где, за углом, портниха живет, дом номер восемь.

Дай схожу, хоть пальто зашьет да почистит, а то хуже пьяного... Дом номер восемь... Крылечко и сенцы чистенькие, половички тканые. За дверью швейна машина стучит. Поколотился.

— Зайдите.

За порог ступил, у оконца... она!

... Радость любезна бывает слезна... Захватилась за меня, руками за шею напала.

— Вы въявь ли мне видитесь?! Не во сне ли мне кажетесь?!

— Машенька, в день веселья моего не плачь!

— Жить-то начинать без вас тошно было! Как в погребу сидела, с вами рассталась...

— Я-то тебя искал, в домах заблудился, в дождях замочился. Дому номер наврали: надо восемь — восемнадцать сказали...

Третий год с нею живу. Каждый день как в гостях гощу. Така хозяюшка, така голубушка!.. На пароходе со мной в море выпросится.

— Машенька, там тебя заплеснет валом.

— Митенька, ты меня крепче держи-то.

Смывалиха встретилась:

— Поздравляю, Митенька! Умно ты родился да умно и женился.

— Соврала номер-то, вралья редкозубая!

— Забы-ыла!..

СТАРЫЕ СТАРУХИ

На Севере принято долго жить. Но стогодовалые старики бывают хуже малых ребят.

«Домоправительница» наша Наталья Петровна в деревне привыкла с лучиной сидеть — у них свадьбы при лучинах рядят,— керосиновой лампой пренебрегала. Откопала в чулане древний светец, сидит — прядет или шьет у лучины.

— То ли дело соснова лучинушка! Сядешь около — светло и рукам тепло. И хитрости никакой нету. Нащипал хоть воз — и живи без заботы. Лес везде есть... А керосин — вонища от него, карману изъян, на стекла расход; лампу от ребят храни... Люблю свет, который сама сделала.

Сама с сеновала к коровам идет — лучина в зубах пластает, сено в охапке.

— Петровна, дом спалишь!

— Вы с лампами не спалите.

Наконец провели у нас электричество. Тут объявила протест тетенька Глафира Васильевна, отцова сестра. Над головой у нее сияет «осрам», а на столе, у самого носа,— керосиновая лампа.

— Не сравню настоящего огня с вашими пустяками. То ли дело керосиновая лампа — тепло, удобно, куда сдумал, туда с ней и гуляй. А этот фальшивой пузырь чуть что — и умер. На той неделе у нас погасло, и у Люрс погасло, и по всему проспекту погасло. Полгорода на бубях

остались... А уж Лампияда Керосиновна не выдаст... лампу ли, свечу зажигаешь — сначала аккуратненький огонек, потом разгорится, а тут выскочит свет — так и дрогнешь. Люблю огонь, который сама сделала.

Бывало, заведут избомытье — подобием постная Наталья Петровна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей,— Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:

— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!

Мать равным образом поклонится в пояс:

— Мойте-ко, голубушки, благословясь!

Наталья Петровна, не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашеные. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой да во всю мочь. При этом вслух сравнивает обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой: «Мной хоть полы мой да пороги затирай!..» А пол отдерет — как желтилами выжелтит.

Наталья Петровна любуется на нее:

— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Надоть мосты выстилать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.

Гризельда польщена:

— Бело — не бело, да дело-то ведено!

— То и ладно, то и хорошо. Тебя замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.

— Ты, Петровна, поглядывай вот, как я...

— Не сравняться мне, потому что веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то! Все минуло...

При двух-то лампах, электрической и керосиновой, тетушка Глафира Васильевна со своей подругой Татьяной Федоровной Люрс в карты играют... Обеим по восемьдесят лет, обе глухи, ссорятся каждую минуту. Гостья первая забунчит:

— Горе мне с глухой тетерей! Врет — глазом не мигнет. Последний раз играю!

И Глафира Васильевна не поддается:

— Беда с теми играть, которые из ума выжили!

Одна другую не слышат, им и не обидно.

Утром тетенька станет на молитву. В землю поклонится — и вдруг ахнет:

— Вот он! Вот он, бубновой-то король!.. Под Люрсихиным стулом лежит. Вчера думаю: «Куда козырь девался?» — а эта шельма его под себя срыла. Недаром и выиграла!

Положит карту на стол и продолжает молиться. То опять, поклонясь в землю, обидится, что пол худо вымыт. Высмотрит, что пыль под комодом не вытерта...

Раз, под праздник вечером, вымытый пол только что высох, тетенька перебирала чернику на пирог. Ягоды на пол сыплются, тетка не слышит, только видит — бегут по полу черные катышки. Подумала — тараканы; давай летать — давить. Испортила пол,— чернику не скоро выживешь.

Татьяне Федоровне Люрс пришла однажды фантазия помыться у нас в бане. Своя была у нас банька на огороде. А там как раз парилась помянутая дева Гризельда. И видит вдруг Гризельда: лезет из предбанника чудо, стуча клюкой, косматое, скрюченное. Умная девка сразу смекнула,

что это «банна обдериха», заверещала не по-хорошему да в чем мать родила — на улицу... Девку водой холодной обрызгивают, она — свое:

— О, тошнехонько! Я моюсь, а обдериха из-под полка́ и вышла!

Жених Гризельды, Егорша, как настоящий рыцарь, схватил топор, дует обухом в банную дверь да орет:

— Где ты, обдериха?! Зашибу!..

Татьяна Федоровна ничего не уяснила, слышит, что в двери бухают, думает: замок чинят. Как голубушка вымылась, села с Глафирой Васильевной кофей пить (первые восемнадцать чашек без сахара). Пьет и в зеркало на себя любуется:

— Я сегодня рогозинной мочалкой вымылась, дак мяконька стала. Помнишь, Глафира Васильевна, какой кавалерчик норвецкой на мне сватался?

— А?

— Помнишь, говорю, на мне толстик сватался норвежин?

— Медвежин?

— Тьфу! Молчи, глуха, меньше греха... К счастью, дворник паспорт рассмотрел. Кавалер-то оказался женатой!

Нашей Наталье Петровне мадам Люрс заказывала и свое «умершее» платье:

— Сошьешь, Петровна, саван, как положено по уставу, только кружева, и рюш, и воланчики добавишь, и чтобы сзади прорехи ни в коем случае не было. Может, на страшном суде генерал или другая благородная личность сзади будет стоять...

И тетеньку, и мадам Люрс я нередко фотографировал. Они к этому относились саркастически:

— Боря-то зря аппаратом треплет, вовсе снимать не умеет. Столько морщин наделает, вроде обезьян. Ужасти как непохоже! Помнишь, Глафира Васильевна, мы с тобой у француза снимались?.. Как живые вышли. И не так давно было, в Турецкую войну... Только Боре-то не надо говорить, что не умеет... обидится. Бог с ним...

А сами кричат одна другой в ухо, на улице слыхать.

Мамина мать, Олена Кирилловна, на моей памяти уже вдовела. И ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусная мастерская. Бабушка иногда явится к мастерам с тростью, в повойнике, в черном шерстяном сарафане. Если ей тотчас поддернуть стул, обидится:

— Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется... Нет, еще жива маленько. Еще шалнеры гнутся... Это вам все бы сидеть да лежать, а мне не до сиденья. У меня делов — на барже не утянуть!..

Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подали:

— У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами, как гости, на стульях сидят, а старой человек стой перед ними навытяжку, как рекрут на часах...

Застучит тростью, уйдет.

Лет восьмидесяти двух бабушка Олена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию — в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью. Придумают пошутить над ней: бойкая Аниса прибежит с рынка да и спросит старуху:

— Аниса-то где у вас?

Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает.

— Убежала в рынок на минуту да и провалилась. Верно, чаи да кофеи с пароходскими распивает.

— Давно ушла?
— Часа два, поди... Пока у тех кофейники-то скипят...
В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение.
Сядет рядом.
— Олена Кирилловна, как поживаете? Невестки-ти каковы?
— Ничего невестки.
— Лучше-то котора?
— Обе хороши.
— Котора-нибудь лучше уж?
У бабки на лице появляется заговорщицкая мина. Хрипит в ухо вопрошающей:
— Петькина-то уж не совсем... не очень... (а «Петькина» с нею разговаривает). Кофейком уж не угостит...
— Бабенька, да ты целый день за кофейником!
— Свой пью. Никому дела нет...
Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку — непременно.
У Олены Кирилловны курочка Хохлатка тоже аредовы века доживала. Вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала Хохлатку красавицей:
— Курочка не так чтобы молода, а оперенье какое пышное! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся.
Голая Хохлатка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит:
«Ко-ко-ко-ко...»
Мы жили в городе, бабушка — на Соломбальском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься:
— Бабушка, прощай!
— Какой такой среди ночи чай?
И Хохлатка оттуда, из-за полога, сердито:
«Ко-ко-ко-ко?»
Восьмидесятилетней Олене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела; однако, потрясенная операцией, захворала... Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали. Реву было у домочадцев, причитания:
— Ты промолви нам последнее словечушко!
Болящая раба божия молчала, глаз не открывала.
Поднесли ко рту зеркало: дышит ли?..
Раба божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз:
— Попов сколько было? Выдать по пятишнице на плешь. Пели умильно...
Наша Петровна воротилась домой ночью, опять запричитала:

В печи вода поставлена
Олену Кирилловну омывать.
Ох, деточки, бабушка у нас
Тепере часова,
Не векова...

Утром Наталья Петровна надела черный костыч с белыми рукавами, взяла псалтырь, отправилась над «покоенкой» читать... Пришла, дверь к бабушке открыта, а та как ни в чем не бывало сидит у окошка, шьет... Косо так на Петровну посмотрела:

— Ты куда, могильна муха, срядилась? Что за пазуху-то пихаешь?

— В баню пошла... к вам забежала...

— Давно ли в городу-то бань не стало? В Соломбалу мыться пришла?!

Но Петровны и след простыл.

Однако через три года Олена Кирилловна заумирала не шутя.

Дочери говорят:

— Мама, мы батюшку пригласили.

— Созвали бы старух из Амбурской пустыни. Поп-то — «ба-ба-ба», да и все. А наши-то старухи за рублевку три часа поют да поют.

Однако иерей явился:

— В чем грешна, раба божия?

— Ну, батько, ты и толст, сала-то, сала! Ты светло загоришь в аду-то.

— Тебя саму за эти слова в муку!

— Я тоща, я худо загорю; головней возьмусь, да и... Ох, кабы кучей мучиться-то!.. Все бы веселее...

— Раба божия, я буду тебя исповедовать, ты отвечай.

— Нет, ты мне отвечай! Вот скажи: кто меня так крепко со всех сторон пожалеет, так обнимет, что уж не вывернешься?

Священник недоумевает, все молчат...

Старуха рассмехнулась:

— Могила, кто же больше!.. Ну, простите. Не велю вам скучать.

Тут и все.

А тетка Глафира Васильевна, умирая, сказала:

— Не хочу больше на Севере репу есть. Поеду по яблоки в южные страны.

АНИСА

У отца было три сына. Старшие вовремя выучились и к торговому делу присвоились. Во пору женились и гнездо развели. Только про младшего родители горевали, а люди судачили. Санька в грамоту был вострой, кончил коммерческу школу, а про торговлю слышать не хотел. Три дела держал на уме: первое — на корабельных верфях мастерам пособлял, еду и сон забывал; второе — в картишки играл; третье — соломбальскую красавицу Анису обожал. Знаком не был, издали любовался. Ее увидел Санька на масленой, во время гулянья, когда бывает шествие по Архангельскому городу оснащенного корабля. Корабль везут по главной улице одношерстные кони. На корабле стоит живой бык с позолоченными рогами; кругом нарядные девицы и кавалеры. Увидел Анису Санька и закручинился. От людей слышал, что девка насмешница, баловница, почтенных родителей дочь. Санька в городе жил, она на Соломбальском острове, и парень редкий день в Соломбалу не бегал — взглянуть, как с крылечка спустится, в карбас сядет, рукой парус возьмет. А попадись она лицом к лицу на мосту или в лодке, Санька в воду бы пал. Так его юность проходила.

Потом прошел слух, что Аниса замуж ушла в Норвегию. Санька надолго пропал из дому. Выпросился в подмастерья к именитому кораблестроителю Конону и два года работал в Помории — забывал свою любовь. Санькина мать радовалась:

— Теперь я спокойна — Конона корабельщика вся вселенна почитает.

Отец в ответ:

— Конон Иванович отменитой мастер. Только не страм ли нашей фами-

лии, если мой сын с топором в руках будет за гроши поденщичать, а сторонние люди его корабли станут товаром нагружать, за море отправлять да тыщи загребать. Не для того я парня от солдатчины откупил, чтобы он чернорабочим сделался.

Весной Санька приехал домой на побывку, и отец начал со старшими сыновьями советовать, как бы беспутного в купеческое дело впрячь. Те говорят:

— Сосед в Норвегу шкуну сряжат. Пошли-ко с Санькой мучки хоть немножко. Пущай на рыбу выменят. Рыба сей год у нас будет дорогá.

Отец вызывает Саньку:

— Ты, парень, в полных годах. И красен телом, да мал делом. Пора робячьи бобушки бросить. Сосед в Норвегу похóдит и тебя прихватит. Доверяю тебе муки двадцать кулей. Норвега промену даст рыбой. Трешшочки, пáлтасинки привезешь, этта продадим, у барыша ты в паю будешь.

Парень затужил было по мастере Кононе. Конона кто раз узнал, век почитать будет, однако и за границу попасть охота. Сошили нашему путешественнику тройку хорóшу шевиотову, рубах накрахмалили, подорожников напекли. Спровадили.

Когда в море выбежали, на волю, на ветер да на простор, радость Саньке припáла. Будто новый сделался.

Капитан дразнит:

— Порáто весел, Саня! Обратно ужо плакать будешь.

И в Норвéге все веселит, он тут сам себе барин. Брúтой да модной сходил с визитом к консулу, дале отправился в город. На угóре норвецка керке и там орган играт, было воскресенье. Санька зашел, да и перекрестился. И кряду на него некотора прекрасна дама глаза приворотила. Народ сидят, в книжки нос улепили, а эта на парня зáрится. И Санька на ей зглянýл, и сердце у него остановилось. Такá она, какý ему надо. У ей все такó, как он жалат. А дума думу побиват:

— Я эту особу где-то видал?! Ейно лицо мне знакомо...

Народ из керки завыходили. Санька сзади этой барыни ступат. Она оглянулась, говорит:

— Думаю, не рýсской ли вы?

— Рýсской. И вы по говóри-то рýсска?

...И вдруг его как ударило:

— Аниса!! Я вас знаю! Вы Аниса!

Норвéжана на них запоглядывали. Санька застыдился и отстал. Однако досмотрел, что дом, куда она дошла, с магазином. Вернулся на шкуну, пал на койку, костюма не сложил. Капитан подивился:

— Саня, здоров ли?

— Болен. Влюбился.

В виде шутки помянул про свою встречу. Капитан говорит:

— А ведь я слыхал про эту особу. Взета сюда из Архангельска за старого кýфмана. У мужúшка-то, бывало, во всю навигацию притон, карты, пьянство. А твоя-то красавица, сказывают, многим была на радость. Ты сходи, понюхай...

Назавтра Санька таким ли щеголем ходит мимо тот дом. Из лавки и лезет пузатой старичонко, кричит:

— Тýзи так! Заходи в мой крам!

Санька не отказался, думат, не покажется ли она.

Купчишко около юлит:

— Может, в картишки перекинемся? А то... есть у меня на дому товар тебе по уму. Приди, как магазины закроют. За погляденье сто рублей.

Парню жарко стало: «Видно, капитан-то не соврал!.. Не чай пить куфман приглашат».

На пристань прибежал, муку свою, не спросившись, не сказавшись, первому попавшему покупателю за сто рублей бросил и в потемéнках явился к бретому старику. Тот лавку замкнул и садом провел его к себе на квартиру. Посадил в большой залы на диван, зажег лампы, занавесил окна и позвал:

— Аниса!

Зашла в зало Санькина красавица. Разделась перед зеркалом гóла, и старик провел ей нагý кругом залы. Санька вскочил как безумный, кинул сто рублей и убежал на шкуну. Там спешка — завтра плывут обратно в Русь. У Саньки ни товару, ни денег. А всю дорогу от любви плакал, не о товаре:

— Эх, Аниса, Аниса! Как ты мне на сердце села.

Дома отец покричал, покричал, да и махнул рукой. Санька эту зиму из-за прилавка не выходит, кули таскат, счета ведет. На уме-то: уважу, дак в Норвегу спустят... Зимы конца не было, а весна пришла. Санька не пьет, не ест:

— Папа, спусти в Норвегу, сейгод не подкачаю!

Отец и доверил на полтретьяста норвецких крон.

Как пьяницу на вино, так Саньку в тот дом с магазином. Товар прилюбился, дак и ум отступился. Опять старичонко его зазвал и нагу красавицу при свете ламп и свечей показал. Она этот раз тихонько, как бы в танце по залы прошлась, против гостя приостановилась, рассмехнулась. Санька бросил старику весь бумажник и убежал на шкуну. А в бумажнике вся выручка, без мала полтысячи... И тысяча была бы, не пожалел бы для этой Анисы.

Домой приплыл, будто после запоя. Отец — ни на глаза. Всему племени бедно над злосчастным:

— Беда с Санькой! Оприкóсили, испортили его норвежана!..

В зиму мати стряхнулась было с женитьбой — на сына не худы зáрились, да он и разговору не повел. Об Анисы пуще старого заскучал. И ото всех таит, никому не сказывает. Это тяжеле всего.

Опять весна пришла, лето и... о Норвеге заикнуться нельзя. Санька дробовку за плечо да на бор. Неделями дома нету. Обородател, похудел. Родитель только однажды ему проговорил:

— Жалко, ах как жалко, что тебя от солдатчины откупил. Люди-те при мне тебя бродягой взвеличали!

День за днем, мрачно время приходит, осень, распута. Бредет оногды Санька по набережной, а знакомой почтовой чиновник и окликáт:

— Саня, тебе загранично письмо до востребованья есть!

Санька на почту прилетел, конверт разорвал, читат:

«Вы́знала ваше дорогое имя у пароходских. Почто сейгод не гостили? Ждала цело лéто. Обажаю вас, Саничка, с первого взгляду в керки. Я тогды тебя забыду, когда закроюцце глаза...»

Письма не дочитал, полетел по пароходским конторам.

— Пароходы в Норвегу еще будут?

— Завтра последний с тесом походит...

Дома матери в ноги:

— Где хошь, к утру сотенну добывай! Нать в Норвегу.

— Дитетко, не плавай! Санюшка, не теряйся!

— Маманька, напрасно... Папы скажи — уехал либо добыть, либо домой не быть...

Этот раз и Белым и Мурманским морем из-за осенних туманов долго шли.

Санька лежит в каюты, не думат ни о чем, никаких планов не строит. У норвежского берега те же дожди. Нашему путешественнику это на руку. В воскресенье он застегнулся дождевиком, кепку на нос нахлупил, шагат в керку. У норвежан в праздник работы не задевают, как в клуб, в керку свою идут. Аниса хоть не моляша, тоже была. Санька из дверей смотрит, ждет... После пенья народ повалил. Санька в темном переходе прижал свою прекрасну даму за бок... Не охнула и не ахнула — вот сколь бабы не крепки! — только побелела, как береста, уронила сумочку, и пока Санька подымал, шепнула:

— В полночь, черным крыльцом!

О полночь он зашел во двор — ни дворника, ни собаки. Залез в сени... Кто-то его обнимат, припадат, в горницу тащит. Золото с золотом свилося, жемчужина с другою скатилась!

Санька говорит:

— Ты меня весь мой век мучила...

— Нет, ты меня мучил! Разве настояшшой мушшина так поступат? Придешь, эдаки деньги из-за меня старому черту бросишь да издале и любуиссе!

— Я к тебе и дороги не смел прокладывать. Думал, эдака королева...

— А ты чем не король? Я отсель тебя скоро не выпущу. Согласись у меня в секрете пожить?

— Да, Аниса. Я тебя с семнадцати годов жадал.

— А о старичонке не беспокойся. Я его во свои комнаты года два не пускаю. Да он что-то стал временем будто не в полном уме. Знат, деньги считат да в карты тешится.

Жирует Санька у своей желанной тайно от всех. Спит под ейным отласным одеялом. Утром кофейку попьет, книжку почитает, а там завтраки, обеды... Подружка куда пойдет, дружка на ключ закроет. Эдаким побытом зима на извод пошла.

Санька что-то невесел:

— Аниса, бесчестно мне у твоего куфмана в доме жить.

Честна жена на него с гневом:

— А я здесь не хозяйка? Я разве гола сюда приехала?! Мало приданого сюда привезла? Мало денег ему здесь нажила?!

— Что я спрошу тебя, Аниса, почему ты за старого пошла?

— С дику, бажоной. Перед подружками нать было похвастаться, что муж иностранец. Вышла шутя, думала, что за Европа, что за Норвега. Далее узнала... У старика тогда шикарной ресторан был, картеж... И я главна приманка. За одно погляденье англичана деньгами, американа бральянтами платили. Пять годов я как на горячем отюге жила. Дале заскучала, домой, в Русь тошнехонько захотела.

Мужишко заметил, что я приуныла, до копеечки меня ограбил. Судей купил, в опеку меня взял, сундучишки мои к себе перенес. Ну, я всегда была на это незавидна. Хватай, думаю, только меня в покое оставь... И вот ты, Санюшка, жизнь моя, явился. Я как из гроба встала...

Стариковы комнаты находились в верхнем этаже, и внизу было слыхать,

как супруги бранятся по хозяйству. Как-то раз Аниса прибежала от мужа в слезах:

— О, надоело, пятаками да четвертаками у этого Кощея выманивать: на керосин и то спрашивай...

Этой ночью она вдруг спросила Саньку:

— Вот что, бажоной, ты в карты не мастер?

— Игрывал.

— Да вот како дело, хватит тебе мышью в подполье сидеть. Сходи сразись со стариком в картишки. И еще я придумала — наложи егову шапку оленью. Он будет на шапку дивить, а ты не зевай.

— Ведь он тому подивит, что я не в показанное время явился?

— Не подивит. Есть этта от пароходов остается шляющих.

Санька намылился, набрился, нарядился, вылез задним двором, обошел сад и ступает мимо лавки. Куфман сбарабанил в окно. Санька зашел. Хозяин стул поддерьгат:

— С приездом! В картишки сыграем?

— Можно.

Играют, и вдруг купчишко обратил вниманье на гостеву шапку: «Моя шапка!.. Ни у кого такой не бывало...» А спросить неловко... Спутался несчастной и проиграл. Три раза сыграли, и все он не о картах, а о шапке... Продул Саньке триста. Заеретился:

— Подемте красавицу за сто рублей глядеть?!

— Благодарим, насмотрелись.

Хозяин лавку запират, а Санька к Анисы.

Она шапку схватила, бегом унесла наверх. Старик пришел, зашумел на лестнице:

— Аниса! Где моя шапка?

— Кака шапка?

— Моя шапка белой оленины со звенышками!

— А куда ложишь? Верно, в шкапу!

Шкап открыли, она там и висит. Старик дивится:

— Что за лешой! Чик в чик сегодня таку шапку у покупателя видел... Тьпфу!!

Санька говорит подруге:

— Против совести, против характера мне этот картеж.

Аниса вспыхнула:

— Ты для меня добывашь! Это мои деньги! Судом не высудишь, силой не схватишь. Одно остается — хитрость.

Опять сколько-то времени живут. Аниса забралась к мужу наверх, добыла празничну вышиту рубаху. Нарядила любовника.

Куфману отыграться охота, увидел, выскочил из магазина:

— Пожалте, пожалте! Вы гуляете, а картишки скучают!

Санька пальто скинул, партнер на рубаху бельма вылупил.

Карты нà руках, а в головы двоит: «Моя рубаха... А пес знат, мало ли рубах... Нет, моя, руска вышивка...»

Из-за этой рубахи парень опять триста рубликов унес.

Только рубаха на место попала, муж летит:

— Черт! Тьфу! Кому ты, тварина, мою рубаху дала? Я други триста от рубахи прогадал!

— Где быть твоим рубахам, кроме комоды?.. Вот она! Что ты орешь-то, скоблено рыло еретик! Ах ты, балда пола, сатана плешива!

Досыта наругалась невина, обижена женщина, отвела душу.

На третий раз (на дворе-то уж весна пошла) Аниса перстень мужев выудила. Санька перчатку напялил, идет. Куфман за ним в сугонь.

— Не дам с выигрышем уехать! Хоть раз нажгу!

За игрой наш обдувало перчатку снял. Кольцо-то и воссияло. Бедного старика опять игра сбилась: «...Мое кольцо... Мой фасон... Спрошу... Нет, неудобно...»

Всего за три раза наказали наши земляки почтенного старичка на девять сотенных. Теперь они сами себе господа!

А Санька о другом забеспокоился:

— Аниса, я в городе показался. Время вешно, народу людно. Заметят, что у тебя живу.

Она день-два со стариком ладно поразговаривала, сказыват любовнику:

— Барину моему на лето прикашшик надо рыбу закупать. Ты эким анделом зайди, дешево запроси. Он тя схватит.

Санька заходит в лавку, куфман козой глядит:

— Нет уж, в карты наигрались!..

— Не до карт, господин куфман! Я посоветоваться. У меня шкуну разбило, незастрахованный товар потонул. Я разорен. Ищу работы.

— Так и надо! Потому и потонул, что не обыгрывай в карты. А каку работу можешь?

— Доверенным, приказчиком...

— Мне русской приказчик надо. Сколько просишь?

Санька назвал смешну цифру. Старик на дешево лакомой. Сладились. Теперь не надо прятаться, входя-выходя. Ловче жить стало.

— А мне этого стало мало,— припадат к дружку подружка.— Мы с тобой молоды да могутны, нам песню-ту во весь голос надо спеть. Мне при всех хоть однажды охота с тобой рука в руку погулять, чтобы все увидели, все позарились. Шурочка, век наш недолгой, выпьем по полной!

— Аниса, у твоего старика в дому я связан... Каша не наша, котел не свой...

— Ужо погоди, проведаю, ладит ли он у моря дачу снимать.

Невдолги видит Санька — его любезна пляшет да поет.

— Что за радость?

— Меня посылат на дачу, тебя по рыбу, сам при лавке останется. Что губы надул? Дача-то ведь в том же рыбном становище. В одном домичке будем жить у водички. Вечерком двойма в лодочки — ты грести, я править... На мох по морошку пойдем.

— Кряду и донесут.

— Пушшай доносят. Я придумала запутать муженька.

Назавтра и приказчик наш с новостями:

— Хозяин спешно выпроваживает, боится, как бы конкуренты впереди не забежали. И тебе, Аниса, велит сряжаться.

Аниса полетела наверх.

— Вот что, милостивый осударь, ты помощника имеш, и я без прислуги одна в рыбну бочку не полезу.

— Оставайся дома. На прислугу лишних капиталов нет.

— На лешой твои капиталы! Ты прикащика жени, вот мне дарова кухарка.

— А то верно! Только с улицы бабу в дом не допущу.

— Черт ли с улицы! У соседа девка — куда с добром!

— Не помню такой. Надо посмотреть.

— А завтра чуть свет она крыльцо мести будет. Ты сходи.

На заре вверху половицы заскрипели, тот девку смотреть засобирался. Аниса набивной сарафанишко надернула, ситцевым платком завязалась, задним двором в соседи забежала и пашет крыльцо. А благовейный ейной пройдет мимо да поглядит, пройдет да поглядит. Дале ушел. Она опять кругом обежала, переоделась и наверх.

— Видел девку? Какова?

— Что за черт! До чего на тебя похожа! И ростом и постатью и всем. Как же люди разбираться будут — где барыня, где кухарка?

— Знамо, что котора в хорошем платье — дак барыня, а в немудром — дак кухарка.

Аниса и на самом деле бедного соседа девчонку взяла, только никому не показала, а скорехонько и с ней и с любовником усвистала на дачу. Оттуда бросила мужу открытку, что приказчик женился.

У старика делов тоже выше головы. В гавани полно пароходов, моряков. Он винишком поторговыват, с шулерами заодно деннонощной картеж заварил. Спать некогда.

Аниски с Санькой давно хорошо. Открыто с прихехе жоночка загуляла. Хоть день, да мой! Всякой вечер в шлюпке под паруском катаются, на угоре при публике в обнимку сидят, в ресторанчике вместе выпивают, закусывают. Аниска завсе в новых туалетах. Санька тоже вытягается. И все на их глядят, все завидуют:

— Ах, кака прелестна парочка. Это счастливы молодожены медовый месяц провожают.

А дни, как гуси, пролетают.

Санька увидал как-то два-три знакомых лица.

Ночью поскучал:

— Нам аккуратно бы надо, Аниса! Прихлопнет нас твой благоверный.

— Ты меня, Саня, не брани. Я как чудный сон гляжу, с тобой гуляю. А туда написано, что прикащик соседской дочерью оженился. Пусть разбират.

Экой приятной скандальчик, что супружница кавалера наружно любит, старичку, конечно, рассказывают — каждой, кому не лень.

Он над дураком хохочет:

— Бросьте, господа! Сплошно недоразумение! С ним не моя жена, а его собственна. Это кухарка наша. Действительно, она с женой очень похожи. Я сам поражаюсь...

А счастливым молодоженам как-то вдруг стало не до смеху. Им письма обидны заподкидывали, сторони люди нахально заощерялись... Санька брови хмурит:

— Довольно, Аниса, по ножевому острею ходить. На волоске повисла наша хитрость.

И вдруг на Анисе телеграмма:

«Буду по первому пароходу. Встретить вышли приказчика с женой».

. . . .

— Что, Санюшка, далее хитрить да прятать, али расставанье приходит?

— Аниса, убежим со мной!

— Возьмешь, дак...

— Я бы с первых ден. Да некуда взеть-то! Везде кошелек спросят.

— Саня, я тебе все ише нать?

— Век будешь нать, Аниса!

— Велико ты слово сказал... Теперь бежи, купи вина корзину. Половина коньяку, другу рому норвецкого. Сам-от завтра будет, срядим встречу на радостях, а там увидашь...

Утром хитра баба спровадила настоящу-то кухарку в гости на три дня, а к пароходу вышла с Санькой.

Старик не здоровается.

— Зачем сама? Где его жена?

— Прихворнула, ко своим отпросилась

Молча пришли к Анисы в номер... Цветы, закуски, салфетки, бутылки в четыре ряда. Старик хлопнул стаканчик-другой и отмяк.

— Ну, поздравляю тебя, любезный, с законным браком. Бабу свою завтра же мне предъяви. А пока выпьем.

Рюмка за рюмкой, дорогой гость песню запел.

Три дня его поили. И когда в лежку лег да кокушкой закуковал, Аниса говорит:

— Он таков, ден пять проживет. Я за кухаркой побежу, ты чемодан увязывай. Корабли на Русь по утрам уходят.

Управились. Наказывают девчонке:

— Хозяин заболел наблюдай его, не отходи. Мы по торговому делу дня два проездим. Вот деньги, хватит на поправку.

На катере к утру добрались до города. В тот же день сели на русское судно. Саня ни праха не дозволил Анисе с собой взять:

— Оставь куфману эти часики да браслетки, шляпки да гаржетки. В Архангельске я у корабельного строения кряду работу добуду.

И таким побытом в радости угребли на Русь.

Ни Санька, ни Аниса наперво не показались своей родне. Он с парохода побежал на Соломбальские верфи, к корабельщику Конону. Сразу получил работу и квартиру.

Потом и у своих побывали Саня да Аниса. Никто слова поперечного не посмел нанести.

Эту пору так радовался Санька, что и времени на сон тратить жалел.

В солнечную ночь плывет с Анисой под парусом, сам все рассказывает:

— К этому берегу, Аниса, я лета два ходил, тебя караулил... Под этой пристанью, Аниса, я однажды ночь просидел, тебя с гулянья дожидаючи, весь от дождя перемок...

МАРТЫНКО

Мартынко с артелью матросов в море ходил, и ему жи́ра была хорошая. Хоть на работу не горазден, а песни петь да сказки врать мастер, дак все прошшали. С англичанами, с норве́жанами на пристанях толь круто лекочет, не узнать, что русский. Годы подошли, взели на военную службу. Послали караульным в стару морску крепость. Место невесёло, начальство строго, навеку бедной парень эдак не подчинялся, не покорялся.

Вот оно́гды на часах у складов и видит: подъехали конпания лодкой и учали в футбол играть. Мартына и раззадорило:

— Нате-ко меня!

Ружье бросил и давай с ребятами кубарем летать.

В это время комендантова супруга на балкон сели воздухом подышать.

Ей от Мартынова пинка мяч в зубы прилетел и толь плотно сел, дак фельшер до вечера бился, добывал.

Мартынку утром суд. Перва вина, что благородный дамы в рот грезной футбол положил, втора вина — с поста убежал. На ночь замкнули в башню. Башня заброшена, хлам, пыль, крысы, паутина. Бедной арестант поплакал, полежал у порога, и захотелось ему исть. В углу стол. Не завалялось ли хоть сухаря в ящике? Дернул вытяжку, есть что-то в тряпице. Развернул,— как огнем осветило — карт колода золотых, на них нельзя насмотреться. А в каземат часовой лезет:

— Тебе с огнем играть!!!

Тут на карты обзадорился, тут сели играть. И видит Мартынко — карты сами ходят, сами на хозяина играют. Часовой арестанту в минуту все гроши продул.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: «Я с этими картами жить зачну», Часовому долг простил, выгонил его, в потеменки раму вынял, железно прутье вышатал да окном и выпал.

Утром арестанта хватились, а он уже в городе, в порту похаживает. В портерной иностранного кептена присмотрел, ему карты показал. Кептен ум потерял, сел с Мартыном, не то что деньги, с себя мундир проиграл. Мартынко говорит:

— За проигрыш перепехни меня за море на своем пароходе.

Вот Мартынко в заграничном городе разгуливат по трактирам да по пивным. Где карты явит, там люди одичают. Мартынко один с барышом. Денег стало черту на печь не закинуть. Тогда загрустил: «Мне это низко, желаю по своим капиталам в высшее общество». Заказал брюки клеш, портянки сатиновы, нанял такси:

— Вези в трактир, куда первостатейны господа ездят.

Ну, завезли в самолучшей ресторан. Зеркала до потолку, посуда, самовары, публика ослепительно одета.

«А что тако,— думат Мартын,— нисколько не совестно за свои деньги...»

— Эй, молодцы, бутылку водки!

Чтобы ловкость показать — и штопору не взел, а по-мужицки о долонь половинкой как хватит. Пробка соседке в плешь, водка соседу во что ешь... Тотчас вся зала заверешшала, налетели господа с орденами в лентах:

— Вон отсюда, невежа! Твое место под забором с бродягами распивать!..

— На свои пью, не на ваши!

— Ты понимаешь, куда забрался? Этта генералитет, а которы есь и министры, чай пить соизволяют. Король приворачиват. Этта рюмка водки рублем пахнет.

Потащили бажоного вон за шиворот. Бажоный затужил:

— Вот как! Вот как!! Набывался в высшем свете.

За прилавок зачалился, карты из-за пазухи вывернул:

— Предлагаю сразиться в картишки.

Эких карт на веку никто не видывал. Льзя ли отказаться? И проиграла почтенна публика и коней и кареты, и одежду и штиблеты. Мартынко ихни брюки да сертуки нафталином посыпат да в ломбард отправлят. Далее удоволился, говорит:

— Содвигай столы! Угощаю пострадавших за свой счет!

Этим генералам да профессорам все одно делать нечего. Голой домой не побежишь. У кого дома телефон, позвонили, чтобы костюм послали,

у кого телефона нет, с запиской лакея турнули, а сами сели закусить. Мартынко выпил и отмяк:

— Друзья! Наша игра не более как милая шутка. На фига мне ваши клячи да кареты. Получай обратно ламбардны квитанции. Пущай всяк при своем!

Тут хмель сборол Мартынка. Он поговорил, песенку еще спел да и растянулся на полу.

Дежурной генерал с докладом к королю:

— Явился в ресторане субъект, с первого взгляду малостоющий. Выкинул на прилавок необыкновенные карты и этими картами всех до копейки обыграл. Но проигрыши не токмо простил, а и всех собравшихся самолучшим питьем и закусками удоволил.

Король говорит:

— Эта личность где сейчас?

— Где гулял, тамотки и повалился.

Король туда лично пальнул в легковом автомобиле, спрашивает лакеев:

— Где-ка гостя-то положили?

— Они сами под стол удалились.

Мартына ростinnocent рострясли, душетырного спирту дали понюхать, в сознание привели. Король с им за ручку поздоровался:

— Мимо ехал — и вдруг жажда одолила, не иначе с редьки. К счастью, вспомнил про этот лесторан.

Мартынко осмелел:

— Ваше королевское величие, окажите монаршее внимание с выпитием рюмочки при надлежашшей закуске.

— Ха-ха-ха! Вы в состоянии короля угошшать?

Мартын сидельцу мигнул, лакеи полон стол наносили. Король сколько сам уписыват, боле в чемодан складыват:

— Деточкам свезу гостинчика.

— Не загружайте тары эким хламом, ваше величие. Есть у нас кока с соком в чемодан ложить.

— Это вы не про карты ли?

— Имеются и карты.

Король колоду позадевал:

— Этих картов я и на всемирной выставки не видел.

Сели за зелено сукно. И проиграл король Мартыну деньги, часы, пальто, автомобиль с шофером. Тогда расстроился:

— Тошнехонько машины жалко. Летось на именины ото всей инперии поднесёна...

— Ваше величие! Папаша всенародной! Это все была детская забава. Велите посторонним оставить помещение.

Король выпнул публику, заложил двери на крюк, подъехал к Мартынку. Нас бы с вами на ум, Мартынка на дело. Говорит:

— Ваше велико! Держава у вас — место самое проходное. В силу вашего географического положения пароходов заграничных через вас плывет, поездов бежит, ероплaнов с дипломатами летит ужасти сколько. Никакому главному бухгалтеру не сосчитать, сколько через вас иностранного купечества со своима капиталами даром пролетит и проплывет... Ваше велико! Надеюсь, вы убедились, кака сила в моих картах... Поручите мне осударственну печать, посадите меня в главно место и объявите, что без пропуска и штенпеля нету через вашу границу ни пароходу проходу, ни ероплану пролету, ни на машине проезду... Увидаете, что будет.

Король троекратно прокричал ура и объявил:

— Министром финанцевым быть хошь?

— Велите, состоим-с!

— Завтра в обед приходи должность примать.

Отвели под Мартына семиэтажной дом, наголо окна без простенков. По всем заборам наклеили, что «через нашу державу без пропуска и министерской печати нет ни пароходу проходу, ни на ероплане пролету, ни на машине проезду».

Вот Мартын сидит в кабинете за столом, печати ставит, а ко столу очередь даже во всю лестницу.

Иностранно купечество, дипломаты — все тут. Новый министр пока штемпель ставит, свои карты будто ненароком и покажет. Какой капиталист эти карты увидал, тот и ум потерял. Не только что наличность у Мартына оставит, сколько дома есть денег, все телеграфом сюда выпишет.



Ну, Мартынкино королевство разбогатело. Сотрудникам пища пошла скусна. Ежедень четыре выти, у каждой перемены по стакану вина. В каком прежде сукне генералы на парад сподоблялись, то сукно теперь служащи завседенно треплют.

Однако соседним государствам ужасно не понравилось, что Мартынко у них все деньги выманил. Взяли подослали тайных агентов — какой бы хитростью его потушить.

Тут приходит вот како дело рассказать. У короля была дочерь Раиска. И она с первого взгляду влюбилась в нашего прохвоста. Где Мартынко речь говорит или доклад делат, она в первом ряду сидит, мигает ему, не может налюбоваться. Из газет, из журналов Мартынкины портреты вырезат да в альбом клеит. Уж так его абажат. А она Мартыну ни на глаза. Он ей видеть не может, бегом от ей бегат. Однажды при публике выразился:

— Эту Раиску увижу, меня так блевать и кинет!

Которые неосторожные слова прекрасно слышали тайны агенты других держав и довели до сведения Раиски... Любовь всегда слепа. Несчастна девица думала, что ейна симпатия из-за скромности на нее не глядит. А тут, как ужасну истину узнала, нахлопала агентов по харе, также отдула неповинных фрелин и упала в обморок.

Как в себя пришла, агенты говорят:

— Вот до чего довел вас этот тиран. Конешно, дело не наше, и мы этим не антиресуимся, а только напрасно ваш тятенька этого бродягу в главно место посадил. Вот дак министр с ветру наскочил! И вас своими секретами присушил. Такого бы без суда в нужнике давно надо утопить. Но мы вас научим...

Утром получат Мартынко записку:

«Дорогой министр финансов! Пожалуте выпить и закусить к нам на квартеру антиресуимсе каки таки у вас карты известная вам Рая».

Мартынко этой Раи боитсе, а не идти неможно, что он у ней с визитом не бывал.

Только гость созвонился, агенты за ширмы, а Мартын заходит и от угошшения вежливо отказывается. Заговорили про войну, про погоду. А Раиска речь пересекла:

— Я слыхала, у вас карты есь бутто бы золоты? Я смала охвоча карты мешать.

И зачала она проигрывать деньжонки, кольца, брошки, браслетки, часики с цепочкой — все продула гостю.

Тут он домой сторопился:

— Однако поздно. На прошшанье дарю вам обратно ваши уборы. Мне-ка не нать, а вам от папы трепка.

А Раиска нахальнё:

— Я бы все одно в суд подала, что у тебя карты фальшивы.

— Как это фальшивы?

Она искусственно захохотала:

— А вот эк!

Выхватила колоду да к себе под карсет.

— Докуль у меня рюмку-другу не выпьете, дотуль не отдам.

Делать нечего. Дорогой гость две-три рюмочки выкушал и пал на ковер. В графине было усыпаюшшее зелье. Шпионы выскочили из-за ширмов, раздели сонного догола и кошелек нашли. Тело на худой кляче вывезли далеко в лес и хвоснýли в овраг, куда из помойных ям вываливают.

На холоду под утром Мартын очнулся. Все вспомнил:

— О, будь ты проклята, королевнина гостьба! Куда теперь подамся, нагой, без копейки?

Како-то лохмотье вырыл, завесился и побрел лесом. Думат:

«Плох я сокол, что ворона с места сбила».

И видит: яблоки растут белого цвету.

— Ах, как пить охота!

Сорвал пару и съел. И заболела голова. За лоб схватился, под рукой два волдыря. И поднялись от этих волдырей два рога самосильных.

Вот дак приужáхнулся бедный парень! Скакал, скакал, обломить рогов не может. Дале заплакал:

— Что на меня за беды, что на меня за напасти! Та шкура разорила, пристрамила, разболокла, яблоком объелся, рога явились, как у вепря у дикого. О, задавиться ли, утопиться?! Разве я кому надоел? Уйду от вас навеки, буду жить лучче с хичныма хехенами и со львами.

Во слезах пути-дороженьки не видит и наткнулся опять на яблоню. Тут яблочки красненьки, красивы.

— Объистись разве да умереть во младых летах?..

Сгрыз яблоко, счавкал друго,— головы-то ловко стало. Рукой схватился

и рога, как шапочку, сронил. Все тело согрелось, сердце звеселилось и напахнула така молодось, дак Мартын на голове ходить годен.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: этих красных молодильных яблоков нарвал, воротился на старо место, рогатых яблоков натряс, склал за пазуху и побежал из лесу.

Дорога в город повела, а Мартынко раздумался:

«В эдаких трепках мне там нельзя показаться. В полицу заберут».

А по пути деревня, с краю домик небольшой — и старуха кривобока крыльцо пашет. Мартынко так умильно:

— Бабушка, дозвольте в ызбу затти обогреться. Не бойтесь этих ремков, меня бродяги ночесь раздели.

Старуха видит, парень хоть рваной, а на мазурика не похож, и запустила в кухню. Мартынко подает ей молодильного яблока:

— Баба, нако съешь!

Баба доверилась и съела.

— Парень, чем ты меня накормил, будто я вина испила?

Она была худа, морщевата, рот ямой; стала хоро́ша, гладка, румяна.

— Это я ли? Молодец, как ты меня эку сделал? Мне ведь вам нечем платить-то!

— Любезна моя, денег не надо. А нет ли костюма на мой рост — мужнева ли, братнева ли? Видишь, я наг сижу.

— Есь, дитетко, есь!

Отомкнула сундук.

— Это сынишка моего одежонка. Хоть все понеси, андел мой, благодетель!.. Оболокайся, я самоварчик согрею.

Мартыну гостить некогда. Оделся в простеньку троечку и в худеньки щиблеты, написал на губы усы, склал свои бесценны яблоки в коробок и пошел в город.

У Раискиных ворот увидал ейну стару фрелину:

— Яблочков не прикажите-с?

— Верно, кисляшши.

— Разрешите вас угостить.

Подал молодильного. Старой девки лестно с кавалером постоять. Яблоко на обе шшоки лижот. И кряду стала толста, красна, красива. Забыла спасибо сказать, полетела к королевны:

— Раичка, я-та кака!

— Машка, ты ли? Почто эка?

— Мушшина черноусой яблочком угостили. Верно, с этого... У их полна коробка.

— Бежи, ростыка, догоняй. Я куплю, скажи, королевна дорого даст!

Мартынка того и ждал. Завернул пару рогатых, подает этой Машки:

— Это для барыни. Высший сорт. Пушшай едят на здоровье. За деньжонками потом зайду.

Раиска у себя в спальны зеркалов наставила, хедричество зажгла, стала яблоки хряпать:

— Вот чичас буду моложе ставать, вот чичас сделаюсь тельна, да румяна, да красавица...

Ест яблоко и в зеркало здрит и видит — на лбу поднелись две россохи и стали матёры, и выросли у королевны рога долги, кривы, кабыть оленьи.

Ну, уж эту ночку в дому не спали. Рога те и пилой пилили, и в стену она бодалась — все без пользы.

Как в зеркало зглянет, так ей в омморок и бросат.

Утром отправили телеграмму папаше, переимали всех яблочных торговцев, послали по лекарей.

Нас бы с вами на ум, Мартына на дело: наклеил бороду, написал морщины, наложил очки. Срядился эким профессором и с узелочком звонится у королевиной квартеры:

— Не здесь ли больная?

— Здесь, здесь!

Раиска лежит на постели, рошшеперя лапы, и рога на лямках подвешаны Наш дохтур пошшупал пуп — на месте ли, спросил, сколько раз до ветру ходила, и были ле дети, и были ле родители, и не сумашеччи ле были, и папа пьюшшой ле, и кака пинтературa?

Также потребовал молоток, полчаса в пятки и в темя колотил и дышать не велел. Тогда говорит:

— Это вполне научное явление с рогами. Дайте больной съись два куска мыла и ташшыте в баню на снимок.

Она ела-ела, тогда заревела:

— О, беда, беда! Не хочу боле лечицца-а! Лучче бы меня на меленки смололи-и, на глину сожгали, на мыло сварили-и!

Тут Мартын выгонил всех вон и приступил на́коротки:

— Я по своей практике вижу, что за некотору подлось вам эта болесь!

— Знать ницего не знаю, ведать не ведаю.

Тогда добрый лекарь, за рога ухватя, зачал ей драть ремнем:

— Признавайся, дура, не обидела ле кого, не обокрала ле кого?!

— О, виновата, тепере виновата!

— В чем виновата?

— У тятенькиного министра карты высадила.

— Куда запехала?

— Под комод.

Мартын нашел карты. Достал молодильные яблоки:

— Ешь эти яблоки!

— О, боюсь, боюсь!

— Ешь, тигра рогатая!

Она яблоко съела,— рога обмякли и отпали; друго съела — красавица стала. Была черна, суха, стала больша́, кра́сна, налита́!

Мартынко взглянул, и сердце у него задрожало. Конешно, против экой красоты кто же устоит! Глядел, глядел, дале выговорил:

— Соблагово́лите шайку воды.

Подала. Он бороду и краску смыл. Раиса узнала,— где стояла, тут и села. Мартынко ей:

— Рая, понапрасну вы на меня гору каменну несли. Это я из-за многих хлопот не поспел вас тогда высмотреть, а тепериче страстно абажаю.

Дальше нечего и сказывать. Свадьба пошла у Мартынка да у Раиски. Песни запели, в гармонь заиграли.

Вот и живут. Мартынко всех в карты обыгрыват, докуль этих карт не украдут. Ну, а украдут, опять и выпнут Мартына.

ВАРВАРА ИВАНОВНА

Якуньки была супруга Варвара Ивановна.

И кажной день ему за год казался. Вот она кака была зазуба, вот как па́губа. Ежели Якунька скажет:

— Варвара Ивановна, спи!

Она всю ночь жить буде, глаза пучить. А ежели сказать:

— Варвара Ивановна, сегодя ночью затменье предвешшают. Посидите и нас разбудите.

Дак она трои сутки спать будет, хоть в три трубы труби.

Опять муж скажет:

— Варя, испекла бы пирожка.

— Не стоишь, вор, пирогов.

А скажет:

— Варя, напрасно стряпню затевашь, муку переводишь...

Она три ведра напекет:

— Ешь, тиран! Чтобы к завтрию съедено было!

Муж скажет:

— Варя, сходим сегодня к тетеньке в гости?

— Нет, к эдакой моське не пойдем.

Он другомя:

— Сегодня свáтья на именины звала. Я сказал — не придем.

— Нет, хам, придем. Собирайся!

У сватьи гостей людно. Варвара пальцем тычет:

— Якунька, это чья там толстомяса-то девка в углу?

— Это хозяйская дочь. Правда, красавица?

— А по-моему, морда. Оттого и пирогов мало, что она всю муку на свой нос испудрила.

Муж не знат, куда деться:

— Варя, позволь познакомить. Вот наш почтеннейший начальник.

— Почтеннейший?.. А по виду дак жулик, казнокрад.

Тут хозяйка зачнет положенье спасать, пирогом строптиву гостью отвлекает:

— Варвара Ивановна, отведайте пирожка, все хвалят.

— Все хвалят, а я плюю в твой пирог.

И к Варваре кто придет, тоже хорошего мало.

Который человек обрадуется угощению, тот ни фига не получит, а кто ломаться будет, того до смерти запотчует.

Мода пришла, стали бабы платьишки носить ребячьи. Варвара нарóсне ниже пят сарафанов нашила. Всю грязь с улицы домой приташшит. Вот кака Варвара Ивановна была: хуже керосина. Она и рожалась, дак поперек ехала. Муж из-за такого поведения сильно расстраивался:

— Ах ты... прóваль тебя возьми. Запехать разве мне ей на службу? Может, шелкова бы стала?

Вот наша Варвара Ивановна на работу попала. Ежели праздник и все закрыто, дак Варвара в те дни черным ходом в учрежденье залезет и одна до ночи сидит, служит, пишет да считат.

А ежели объявят:

— Варвара Ивановна, эта вся будет спешна неделя. Пожалуйста, без опозданиев...

Дак Варвара всю эту неделю назло дома лежит.

Настанет праздник какой, Варвара одна в учрежденье работу ломит. Муж дак за тысячу верст рад бы от этой Варвары уехать, из пушки бы ей рад застрелить.

Оногды идет он со службы, а домой неохота. И видит: дядьки на бочке за город едут. Ах, думает, хорошо б и мне перед смертью на лоно природы.

— Дяденька, подвези!

За папиросу вывезли и Якуньку за город. Стали навоз в яму сваливать. Яма страшна, глубока. Якуня думат:

— В эту бы яму мою бы Варвару Ивановну!

Яма смородинным кустьем обросла. Это Якуня тоже на ус намотал. Домой явился:

— Хотя ноне и лето, ты, Варвара, за город ни шагу!

— Завтра же с утра отправимся! И ты, мучитель, со мной.

Утром бредут за город. Варвара Ивановна, чтоб не по-мужневу было, задью пятится.

К ямы подошли, к смородиннику. Якунька заявил:

— Мои ягоды!

— Нет, холуй, мои! Лучче и не подступайся!

Замахалась, скочила в куст, оступилась и ухнула в яму. Якунька прослезился и бросил следо три пачки папирос:

— Прости, дорогая!

Затем домой воротился. Никто его не ругат, никто его не страмит. Самоварчик наставил, сидит, радуется:

— Вот кака жисть пошла приятная!

Однако соседи вскоре заудивлялись, почему из Варвариной квартиры ни крыку, ни драки не слыхать. Донесли в участок, что не на кирпич ли даму пережгли, боле не орет. Начальник вызвал Якуньку:

— Где супруга?

— Дачу искать уехала.

— Смотри у меня!

Якунька до полусмерти напугался:

— Лучче побежу я добывать свою Варварку.

С веревкой полетел к ямы. Припал, слушат... Писк, визг слыхать...

...А вот и Варин голосок...

Слов не понять, только можно разобрать, что произношение матерное. Якунька конец размотал. Начал удить:

— Эй, Варвара! Имай веревку! Вылезай!

Удит и чует, что дернуло. Конец высбирал, а в петле кто-то бояzкой сидит, не боле фунта. Якунька дрогнул, хотел эту бедулину обратно тряхнуть, а она и проплакала:

— Дяденька, не рой меня к Варвары! Благодетель, пожалей!

— Вы из каких будете?

— Я Митроба, по-деревенски икота. Мы этта в грезной ямы хранились, митробы, иппузории. Свадьбы рядили, сами собой плодились. И вдруг эта Варвара на нас сверху пала, всех притоптала, передавила. Папиросу жорет, я с табаку угорела. О, кака́ беда! Хуже сулемы эта Варвара Ивановна, хуже карболовой кислоты!

Якунька слушат да руками хлопат:

— Ах да Варвара! Ну и Варвара! А все-таки по причине начальства приходится доставать.

— Якуня, плюнь на их на всех! Порхнем лучче от этого страху в Москву.

— Что делать-то будем?

— Там делов, дак не утянешь на баржи. За спасение моей жисти от Варвары я тебя наделю капиталом. Я Митроба и пойду вселяться по утробам. За меня дохтура примуцца, а я их буду поругивать да тебя ждать. Ты в дом, я из дому.

Якунька шапку о землю:

— Идет! Отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая!

Митроба завезалась в шелково кашне, на последни деньги билет купила да в Москву и прикатили. На постоялый двор зашли, сели чай пить. Икота в блюдце побулькалась, заразговаривала:

— По городу ле в киятры ходить, у меня платье не обиходно, да и на Варвару боюсь нарвацца. Лучче без прогулов присмотрю себе завтра барыну понарядне да в ей и зайду.

— Как зайдешь-то?

— Ротом. С пылью ле с едой.

— А мне что велишь?

— Ты в газету объяви, что горазен выживать икоты, ломоты, грыжу, дрип.

Утром Якунька в редакцию полетел, а Митроба в окне сидит, будто бы любуется уличным движением. Мимо дама идет, красива, полна, в мехах. Идет и виноград немытый чавкат. Митроба на виноград села, барына ей и съела. И зачало у барыни в животе урчать, петь, ходить, разговаривать. Ейной муж схватил газету, каки есь дохтора? И читает: «Проездом из Америки. Утробны, внутренни, икоты, щипоты, черевны болезни выживаю».

Полетели по адресу. Якунька говорит:

— Условия такая. Вылечу — сто рублей. Не вылечу — больной платы просит.

Наложил на себя для проформы шлею с медью.

Приехали. Икотка барыниным голосом заговорила:

— Здравствуй, Якунюшка! Вот как я! Все тебя ждала. Да вот как я! Лише звонок, думаю, не Якуня ли! Вот как я!

Якуньке совестно за эту знакому:

— Ладно, ладно! Уваливай отсель!

Икота выскочила в виде мыша, только ей и видели. Больна развеселилась, кофею запросила. Американского дохтура благодарят, сто рублей выносят.

Теперь пошла нажива у Якуньки. Чуть где задичают, икотой заговорят, сейчас по него летят. У Якуни пальтов накуплено боле двадцати, сапогов хромовых, катанцей, самоваров, хомутов, отюгов быват пятнадцать.

Бедну Митробу на дому в дом, из души в душу гонит, деньги хáпат. Дачу стеклянну строить зачал, думал — и век так будет. Однако на сем свете всему конец живет. Окончилась и эта легка нажива.

Уж, верно, к осени было. Разлетелся Якунька одну дамочку лечить, а Икота заýросила:

— Находилась более, нагулялась!.. Пристала вся!

Якуня тоже расстроился:

— Ты меня в Москву сбила! А кто тебя от Варвары спас?

— Ну, черт с тобой! Этта ешше хватай, наживайся! А далеша! Я присмотрела себе подходяшшу особу, в благотворительном комитете председательшу. В ей зайду, подоле посижу. Ты меня не ходи гонять. А то я тебя, знахаря-шарлатана, по суд подведу.

Якунька удобéл:

— Ну, дак извод с тобой, боле не приду. Не дотрону тебя, чертовку!

Получил последню сотенку, тем пока и закончил свою врачебную прахтику.

А Икотка в председательшу внедрилась. Эта дамочка была така бойка, така выдумка, на собраньях всех становит. Речь говорит — часа по два, по

три рот не запират. Вот эдак она слово взела, рот пошире открыла, Митроба ей туда и сиганула.

Даму зарозбирало, бумагами, чернильницами зачала на людей свистать. Увезли домой, спешно узнают, кто по эким болезням. В справочном бюро натака́ли на Якуньку.

Якунька всеми ногами упирается:

— Хоть к ераплану меня привяжите — нейду!

Забегали по больницам, по тертухам, по знахарикам. Собрали на консилиум главную профессуру. Старший слово взял:

— Науке известны такие факты. Есть подлы люди. Наведут, дак в час свернет. В данном случае напушшено от девки или от бабы от беззубой. Назначаю больной десеть баен окатывать с оружейного замка.

Другой профессор говорит:

— И я все знаю скрозь. По-моему, у их в утробы лиситéр возрос. Пушшай бы больно селедку-другую съела да сутки бы не попила, он бы сам вышел. Лиситéр полдела выжить.

Третий профессор воздержался:

— Мы спину понимам, спину ежели тереть. А черев, утробы тоись, в тонкось не знам. Вот бабка Палага, дак хоть с торокана младень — и то на девищу доказать может.

Ну, они, значит, судят да редят, в пятки колотят, в перси жмут, в бани парят, а больна прихварнула пушше.

Знакомы советуют:

— Нет уж, вам без американского дохтура не сняцца.

К Якуньки цела делегация отправилась:

— Нас к вам натакали. Хоть двести, хоть триста дадите, а без вас не воротимсе.

Якунька весь расслаб:

— От вот каких денег я отказываюсь!.. Сам без прахтики живу, в изъян упал.

Он говорит:

— Ваш случай серьезной, нать всесторонне обдумать.

Удалился во свой кабинет, стал на голову и думал два часа тридцать семь минут. Тогда объявил:

— Через печать обратитесь к слободному населению завтре о полден собраться под окнами у недомогающей личности. И только я из окна рукой махну, чтобы все зревели не по-хорошему:

— Варвара Ивановна пришла! Варвара Ивановна пришла.

Эту публикацию грамотной прочитал неграмотному, и в указанной улицы столько народу набежало, дак транваи стали. Не только гуляющие, а и занятой персонал в толпе получился. Также бабы с детями, бабы-молочницы, учашшиеся, инвалиды, дворники. Все стоят и взирают на окна.

Якунька подкатил в карете, в новых катанцах, шлея с медью. Его проводят к больной. Вынимат трубку, слушат... Митроба на его зарычала:

— Зачем пришел, собачья твоя совесть?! Мало я для тебя, для хамлета, старалась? Убери струмент, лучче не вяжись со мной!

Якунька на ей замахался:

— Тише ты! Я прибежал, тебя, холеру, жалеючи. Варвара приехала. Тебя ишшет!

У Митробы зубы затрясло:

— Я боюсь, боюсь!.. Где она, Варвара-та?

Якунька раму толкнул, рукой махнул:

— Она вон где!

Как только на улице этот знак увидали, сейчас натобили загудели, транваи забрякали, молочницы в бидоны, дворники в лопаты ударили, и вся собравшаяся массыя открыли рот и грянули:

— Варвара Иванна пришла! Варвара Иванна пришла!

Икота из барыни как пробка вылетела:

— Я-то куды?

— Ты,— говорит Якунька,— лупи обратно в яму. Варвара туда боле не придет!

Народ думают — пулей около стрелили, а это Митроба на родину срочно удалилась. Ну, там Варваре опять в лапы попала.

А Якунька, деляга, умница, снова, значит, заработал на табачишко...

ВОЛОДЬКА ДОБРЫНИН

У Архангельского города, у корабельного прибе́гища жила вдова Добрыниха с сыном. Дом ей достался господский, да обиход в нем после мужа повелся сиротский. Добрыниха держала у Рыбной пристани ларек. Торговала пирогами да шаньгами, квасом да кислыми штями. Тем свою голову кормила и сына Володьку сряжала.

Володька еще при отце вырос и выучился. Кончил немецкую навигацкую школу. Знал языки и иные свободные науки. Как отца не стало, он связался с ссыльными. Они уговорили Добрынина поставить к себе в подполье типографию — печатать подкидные листы против власти и против царицы Катерины.

Володьке эта работа была по душе. Он стоял у станка, остальные пособляли.

И случилось, что один товарищ поспоровал с ними и донес властям. А полиция давно на Добрынина зубы скалила, ногти грызла.

Однажды заработались эти печатники до ночи. Вдруг сверху звонок двойной — тревога. Ниже подполья подвал был с тайным выходом в сад. Володька вывернул а́ншпугом половицу:

— Спасайтесь, ребята!.. Лезь в тайник! А я останусь. Все одно человека доискиваться будут. Не сам о себе станок ходит...

Товарищи убрались, и только Добрынин половицу на место вколотил, полиция в двери:

— Один ты у станка?

— А что, вам сотню надо?

Повели Володеньку под конвоем.

Дитятка за ручку, матку за сердечко.

Плачет, как река течет. А сын говорит:

— Не плачь, маменька! За правое дело стою смело.

Конвойный рассмехнулся:

— Какое же твое правое дело, мышь подпольная?

Володька ему:

— Ничего, дождемся поры, дак и мы из норы.

Его отдали в арестантские роты, где сидели матросы.

Близ рот на острове жил комендант. Дочь его Марина часто ходила в ро-

ты, носила милостыну. И сразу нового арестанта, кручинного, печального, оприметила, послала няньку с поклоном, подошла сама с разговором.

Бывало, за ужином отцу все вызвонит, что за день видела да слышала, а про Володьку неделю помалкивала. До этой поры, до семнадцати годов, не глядела на кавалеров, а Добрынин сразу на сердце присел. Раз полдесятка поговорила с ним, а дальше и запечалилась. От няньки секретов не держала — старуха не велела больше в роты ходить, молодцов смотреть.

Отец Маринин, как на грех, в это время дочери учителя подыскивал. Люди ему и насоветовали Володьку:

— Не опущайте такого случая. Против Добрынина мало в Архангельском городе ученых. Молодец учтивой и деликатной. Суд когда-то соберется. До тех пор ваша дочь пользу возьмет.

Не хватило у Маринки силушки отказаться от учителя. Зачал Володька трижды в неделю ходить к коменданту на квартиру. Благодарно смотрел он на ученицу, но почитал ее дитятею.

Дни за днями пошли, и внимательная ученица убедилась, что глаза учителя опять рассеянны и печальны. Люто и ненавистно Володьке возвращенье в роты. Уж очень быстролетны часы свободы. О полной воле затосковал. Бывало, придет, рассмехнется, а теперь — как мать умерла у маленького мальчика.

Нянька спросит по Марининому наученью:

— Опять видна печаль по ясным очам, кручина по белу лицу. Что-то от нас прячешь, Володенька.

— Ох, нянюшка, думу в кандалы не забьешь!

Лету конец заприходил. Скоро суд и конец Марининому ученью.

Смотрит бедный учитель в окно. Не слышит, что читает девочка. За окном острова беспредельная ширь устья Двинского, а там море и воля.

Нянька говорит:

— С вашей читки голову разломит. Вышли бы вы, молодежь, на угор.

Володька говорит:

— Меня вдаль караульны не пустят.

— С лодкой не пустят, а пеших не задержат, кругом вода.

Пришли на взгла́вье острова. Под ногами белые пески, река в море волны катит, ветер шумит, чайка кричит.

Нянька толкует:

— Сядем этта. Солнце уж на обеднике, а в окурат в полдень от города фрегат немецкой в море пойдет. Матросы сказывали. Подождем, насмотримся. Вишь ветер какую волну разводит... Володя, почто побледнел?

А у Володьки мысли вихрем: «Либо теперь, либо никогда. Спросить Марину?.. Нет, бросится за мной. Моя дорога неведома. И жив останусь, дак всяко наскитаюсь. Жалко ее. Поскучает да и забудет».

А вслух говорит:

— Марина Ивановна, нянюшка, что я вас попрошу — сходите на болото по ягодки на полчасика. А я выкупаюсь.

Старуха зорко на него посмотрела, заплакала и потащила Марину на мох за горку.

Володька еще крикнул:

— Потону, матерь мою не оставьте!

Разделся и бросился в волны. Нянька вопила что-то ему вслед, но пловец уже не слышал. Вопль старухи заглушали голоса вод.

Над городом встала ночь, когда Марина и нянька, опухшие от слез, вернулись домой. Видя, что Добрынина долго нет, встревоженная и обеспоко-

енная девушка заставила добыть лодку, и сколько хватило сил, гребли они в сторону моря. Марина не хотела, не могла поверить, что ее любезный учитель, такой сильный и отважный, утонул. Нянька натакáла до поры до времени не оповещать никого. Люди могли донести куда следует, и тогда спасенный пожалел бы, что его спасли.

Только через сутки комендант послал в город донесение о том, что Добрынин утонул во время купанья. Свидетелем ставил сам. На том дело и покончили.

Только мать как узнала, столько пролила слез, дак ручей столько не тек. Тут уж Марина Ивановна в грязь лицом не ударила, сколько было в сердце нежности к сыну, всю на матерь его перенесла.

Володька не погиб.

Есть счастливцы, которые в огне не горят и в воде не тонут. Слушая об иностранном фрегате, ему пришло в голову, что на таких великанах всегда нуждаются в матросах. И берут людей без разбора. Почто не испытать судьбу?

Чтоб избежать горького расставанья с ученицей, он решил плыть к морю, и корабль сам его догонит. А не хватит сил, так выйти на любой попутный остров, дождаться и объявить о себе криком.

И он не ошибся. Судьба улыбнулась смельчаку. Чувствуя, что больше не в силах бороться с волнами, Владимирко выбрался на песчаную отмель. И пока он дрожал тут нагой, зубов не может сцепить, мимо начал проходить величественный четырехмачтовый корабль. Володька закричал по-немецки и побежал по берегу.

Его заметили. Спустили шлюпку, подняли на борт, одели, согрели, напоили ромом. Судно было немецкое, из Гамбурга. Почуяв себя на воле, убедившись, что его отнюдь не собираются отправить обратно или сдавать русским властям, Володька ожил, развеселился. Свободно владея немецким языком, полюбился всем — от капитана до последнего юнги. Все ему рады. Вот какой уродился. Не говоря об уме, полюбился станом высоким, и пригожеством лица, и речами, и очами.

Капитан фрегата, проницательный и бывалый, часто беседовал со спасенным и однажды сказал:

— Завтра будем дома. Я убедился, господин Вольдемар, что вы человек талантливый и одаренный. Если угодно, представлю вас своему другу бургомистру Гамбурга. Смелые сердца нам нужны, и вас никто не спросит ни о чем лишнем.

Добрынину остается только кланяться.

В Гамбурге капитан отвел свою находку к верховному бургомистру, старому старику.

В те времена Гамбург не был подвержен никакому королю. Управлялся выборным советом. Оттого назывался вольный город. Председателем был бургомистр. Стар был бургомистр, много видели на своем веку почтенные советники гамбургские, а и они не могли достаточно надивиться разуму и познаньям молодого пришельца.

Кроме родного, Володька знал язык немецкий, английский, норвежский, шведский, и его положили доверенным к приему иноземных послов.

Так четыре года прошло. Четыре холодных зимы, четыре летичка теплых прокатилось. Володька доверие Гамбургского совета полной мерой оправдал. Он кому и делом не приробится, дак лицом приглянется. Дом, родина, арест, побег, как сон, вспоминается. Здесь все иное и дума другая.

Городской совет постоянно благодарил капитана за его находку.

Скоро сказывается, а дело долго делается.

Тут приходят на вольный город две напасти. Умер старый многоопытный бургомистр, а прусский король задумал нарушить с городом досельные договоры, лишить его старинных свобод. Приехали гордые прусские послы и подали лист, что прежним рядам срок вышел и больше в Гамбурге воле не быть, а быть порядкам прусским. Сроку дается месяц.

День и ночь заседает Гамбургский совет. Силой противустать город не может. Надо Пруссию речами обойти, деньгами откупиться. Сделали перебор трем главным советникам.

Один сказал:

— Берусь вырядить вольности на полгода.

Другой сказал:

— Моего ума хватит добыть воли на год.

Третий, годами старший, сказал:

— А и моей хитростью-мудростью больше как на три года вольности не вырвать...

Володька был тоже созван в ту ночь к городской думе.

И тут его сердце петухом запело.

Встал и сказал:

— А я доспею воли городу до тех пор, пока солнце сияет и мир стоит...

Выбирать не приходится.

Его и послали рядиться с пруссаками.

С утра и до темени оборонял Владимир гамбургскую волю. Где требовал, где просил, где грозил, где выгоды сулил. Говорит — как рублем дарит. Красное солнце на запад идет, у Володьки договорное дело, как гусли, гудет. Складно да ладно. Пруссаки против его доводов и слова не доискались:

— Вы, гамбурцы, люди речисты, вам все дороги чисты.

Новые грамоты печатями укрепили. Теперь нельзя слова пошевелить. Писано, что Добрынину надо:

«Быть Гамбургу вольным городом донележе солнце сияет и мир стоит. А королю не вступаться и прусским порядкам не быть».

Только и вырядили послы ежегодно два корабля соленой рыбы королевскому двору.

Ну, рыбы не жалко. Рыбы море-кормилец несчетно родит.

В честь столь похвального дела в стену думского ратхауза была вделана памятная плита. И на ней золотыми литерами выбита вся история и вся заслуга Владимира Добрынина *. А сам он возведен в степень верховного бургомистра. По заслугам молодца и жалуют.

И в новом чину он служит верно и право. И опять лето пройдет, зиму ведет. Но на седьмой год Володя, как от мертвого сна пробудясь, вдруг затосковал по родине, по матери, по Марине.

Мамушка, жива ли ты?
Может, где скитаешься?
Марина, помнишь ли меня?
Простили ли вы меня?

И слезы его как жемчужные зерна. Стал молодой бургомистр в простецком платье по корабельным прибегищам похаживать, с архангельскими по-

* Архангельские поморы уверяют, что доска эта на том же месте и сейчас.

морами поговаривать. Оказалось, они уже слыхали, что здесь в больших русский человек. Вдаль простираться с расспросами Володька не стал, а пришел на совет и заявил:

— Прошу отрядить под меня приправный корабль. Прошу месяц отпуска. Поеду в Русь добывать свою матерь.

Советники понурили головы:

— Любезнейший наш бургомистр. Время осеннее, годы трудные... В море туманы, в русской земле обманы. Боимся за вас, не покидайте нас!

Он на ответ:

— Никто нигде не посмеет задеть верховного бургомистра славного Гамбурга... А не отпустите — умру!

В три дня готова шкуна трехмачтовая, команда отборная и охранная грамота.

Парус открыли, ветер паруса надунул. В три дня добежали до Двинской губы. Теперь наш Володенька и с палубы не сходит, не спит и не ест. Так и смотрит, так и ждет.

У Архангельского города якоря к ночи выметали. В корабельной конторе отметились, и захотелось нашему бургомистру той же ночи к родному дому подобраться, тайно высмотреть своих. Переоделся в штатское платье и направился окраинными улицами в обход, чтоб на кого не навернуться.

И тут его схватили грабители, отняли верхнюю одежду и хотели убить. Темна́ ночь, черны дела людские...

Володька закричал:

— Что вы, одичали, на своих бросаетесь! Я сам мазурик, на дело бежал...

Тут один рычит:

— Убить без разговоров!

— Кряду ножом порешить.

— Убежит, на нас докажет.

Другие возражают:

— Утром зарежем. А то с кровью проканителимся, ночная работа пропадет. Петухи уж вторые поют.

Володька надежды не теряет:

— Возьмите вы меня на ночную-то работу. На это против меня не найдете мастера!

— Ну, идем... Только уж смотри, закричишь или побежишь — тут тебе и нож в глотку.

Долго шли по продольной улице, свернули на поперечную, остановились у высокого дома. И сквозь мглу ночную узнает пленник — улица их Добрынинская и дом их.

Главный шепчет:

— Здесь старуха живет, Добрыниха. Налево пристройка, окно с худой ставней. Тут у них кладовая клеть. Медна посуда есть, одежонка... Пусть один в оконницу пропехается, будет добро подавать, мы принимать.

У Володьки сердце то остановится, то забьется:

— Я горазд в окна попадать. Меня подсадите.

— Тебя одного не пустим, лезьте двое.

К чужим бы не суметь, а свои косяки пропустили. И ставня под хозяйской рукой не стукнула. Следом за Володькой протискался еще один.

В опасности голова работает круто. Закричать?.. Стены глухие, кто услышит ли?

Стучать? Нет ли чего тяжелого...

Наткнулся на весы. Нащупал гирю. А страшный компаньон к нему:

— Мы что, гадюка, играть сюда пришли?! Ломай замок у сундука!

Вместо ответа Добрынин левой рукой схватил его за горло и подмял под себя, а гирей в правой руке и ногой приправил, что было сил, грохотать в стену, в двери, во что попало, неистово крича:

— Карау-ул! Спаси-и-те!

В доме поднялась тревога. Забегали люди, замигали огни. Мазурик вырвался из рук Добрынина, ударил его ножом да мимо, только сукно рассек, затем кинулся в окно и выбросился наружу.

Скоро далекий топот ног известил, что мазурики скрылись. С чем нагрянули, с тем и отпрянули.

Того разу дверь в кладовую размахнулась, и несколько человек бросились вязать мнимого вора. Он закричал:

— Не троньте меня, не смейте. Ведите сюда хозяйку Добрыниху.

А хозяйка Добрыниха бежала по сеням с фонарем.

И тут у нее ноги подрезало, и она закричала с рыданьем:

— Не смейте!.. Это сын, сын Володя, воротился!

Пала мать сыну на грудь:

Беленькой ты да голубочик!
Миленький мой да соколик!
Желанненько мое чадышко!
Из глаз-то ты уехал,
Из памяти ты да не вышел!
Как я тебя жалела,
Да как я тебя дожидала!

Тут не бела береза подломилась, не кудряве зелёна поклонилась, повалился сын матери в ноги.

— Дитятко, не мне кланяйся. Благодари Марину Ивановну — только по ее милости я эту прискорбную пору пережила. Она меня заместо матери почитала.

— Маменька, где она?!

— Тут она! За калачами пришла, да и ночевать осталась... Точно знала.

И Марина, станом высокая, а нежным лицом все та же, держит Добрынина за руки, не дает ему падать в ноги. И говорит, говорит, торопится:

— Володенька, как тогда жить-то зачинать без вас горько было. Отец женился, няня померла, я у маменьки у вашей больше гощу. А вас первое время и в живых не чаяли. Потом весть пришла, что пловца кораблем подобрали. На остатках узнали — в Гамбурге морского найденыша главным начальником положили. На вас думать боялись, а надежды не теряли.

И Володька на ответ:

— Тошнехонько! Бил вас денечек, сам плакал годочек! Марина Ивановна, мама! Перемените печаль на радость, слезы на смех. Я и есть главный бургомистр города Гамбурга. И я за вами на корабле пришел.

Погостил тут Володя сколько привелось, а потом сел с матерью да с невестой на корабль и с вечерней водой, под красой под великой отправились в путь, чтобы жить вместе и умереть вместе.

МАТВЕЕВА РАДОСТЬ

На новой беломорской верфи расхвастались старые поморы, кто в жизни больше работы унес.

Матвей Иванов Корельской сказывал:

— Родился я в Корельском посаде на морском бережку. Отец был корелянин, мать русская. Род наш на Мурмане, у Семи островов, промышлял. Отец там и утонул. Матка стала поденщичать в людях. Года за два до смерти робить не замогла, по миру пошла и меня с собой повела.

Шести лет начал я скитаться по чужим дворам один-одинешенек. Лохмотья с плеч валятся, колени в дыры выглядывают. О, горе сиротам! Каждому в глаза гляди, каждого надо бояться...

В такой маете, в такой позоре́ и вырос. О празднике молодежь на улицу пойдет петь, гулять, играть, а я в лес побежу, чтобы моих трепков да грязи не увидели. Весь я пристыдился. Так уж и привык, что мое счастье — дождь да ненастье.

Двенадцати годов ушел я на Мурман в зуйки. Ведь я не на смех родился. Работы я не боялся.

Три лета в зуйках ходил. Ушел на Мурман бос и наг, в три навигации стал на человека похож и голову поднял. Может, думаю, и я не хуже других.

И загорела у меня, у сиротины, душа в люди выбиться. Зачал я у вывозки, у выгрузки работу ломить.

У меня такой ум-от обозначился — нать свое нажить.

Сверстные ребята наряжаются, а я убогой лопарской малицы не сменяю. Копейки, значит, выколачиваю. Молодой, а задорной стал; давно ли с сумой бегал, а теперь задумал карбас, свою промыслову посудину строить.

Нам, поморам, море — поилец, кормилец. Но море даст, что возьмешь. А чтобы взять, надо суденышко. Без своей посудины, хоть самой утлой, помор не добытчик, а раб богачу. Смала я это понял и терпеть не мог. Редкую ночь суденышко мое мне не снилось: вижу, будто промышляю на нем, и рыбы — выше бортов.

Год за годом двенадцать лет медными копейками собирал Матюшка Корелянин, сколько нужно, на карбас.

До тонкости у меня было все сосчитано, что возьмут за доски, за гвозди, за снасти, за работу. Насчет матерьяла с лопью договорился, мастера в Коле нашел.

Люди строят к весне, а я, как деньжонки собрались, осенью построился. Карбас недолго сошить. Карбас работали, как именинницу сряжали. Я на работу, как в гости, ходил.

Время бы к снегу, а молодой «хозяин» новым-то суденком подрядился триста пудов жита в Норвегу доставить. Моря бойся пуще осенью, а молодецкое сердце зарывчиво. Веку мне тогда стукнуло двадцать пять годов. Так бы карбас-то взял в охапку да пешком по водам побежал...

Погрузились. Поплыли океан-морем. Не доходя Тана-губы * пала несосветима погодушка. Парус оборвало, мачту сломало, руль не послушался. Положило карбас вдоль волны, бортом воды зачерпнуло. Не поспели мешков выкидать, опружило кверху дном. Было народу пять человек, трое поспели за киль ухватиться, двоих отхватило прочь...

* Та́на — фиорд.

Сутки океан-батюшко нашим карбасом играл как мячиком. Наигрался, в камни положил. Мы трое на гору выползли, а суденышко мое погибло. Я ноги и живот ознобил, идти не замог, послал товарищей объявить жителям, а сам еще двои сутки на этой горе волосы драл да рот открывал. Для чего я двенадцать лет силу складывал, недопивал, недоедал?! Прости, моя свобода...

Добры люди доставили меня на родину, в Корелу. От морской горькой погибели постигла меня болезнь. Ползимы день и ночь трясло кабыть от морозу от большого, хотя на печке лежал. Одна вдова с молоденькой дочкой жалели меня, водились как с родным. У них в избе я зиму огоревал.

Тут весна подошла. Лед из губы вынесло, дни заблестели.

Как-то хозяйка ушла карбас смолить. И вижу, на подоконник чайка села и закричала на меня по-своему: долго ли, мужик, бока править будешь?

Меня ровно кто на ноги поставил.

Вылез я на улицу, забрался на глядень — и охнул: волны морские играют, шумят; стада лебединые под север летят, и облака небесные туда же плывут, и корабли белопарусные в ту же океанскую сторонушку... А свету! А солнца! А ветру!

И Матюшка Корелянин от болезни, как от сна, пробудился... Топнул ногой о камень да кричу:

— Остер топор, да и сук зубаст! Турью гору своротчу, а полечу в океан на своих крыльях! Да не на шнеке, а на шкуне!

Так я выздоровел. Опять, значит, работу, как бешеный, хватаю.

Часов шестнадцать подряд отчубучу, сунусь отдохнуть, да как сдумаю, будто я на своем суденышке плыву, и паруса, что снег, и я вольный промышленник,—дак и окутки в сторону и постели прочь... И ночь не сплю, работу ворочаю.

Люди надо мной посмеиваются: «Пока,— говорят,— Матюша, твое солнце взойдет, роса очи выест».

Пожалуй, эта пословица не мимо дела. Работал я в кабале у богатея. Главная-то отчего у нас кабала учинилась? Своего суденка нет — в ложке за море не поедешь. А у богача судно — да еще океанское, трехмачтовое. У него снасти из Норвегии да из Англии, у него все возможности...

Поморская земля нехлебородима; зима нас прижмет, вот и явимся к благодетелю: дай муки, дай хлеба, дай круп, дай денег, дай того-другого. Он добр — он даст в долг, чтобы летом у него на судах да на промысле отрабатывали.

Что же выходит? Товар-то свой по самой бессовестной цене поставит, а работу нашу оценит грошами. В одну навигацию зимнего долгу не отработаем, а другая зима подходит — в новые долги заберемся у того же хозяина. Одно остается петь:

Осудари наши,
Воля ваша!
Хоть дрова на нас возите,
Лишь не помногу кладите!

И то знай: этот твой хозяин — и единственный торговец на всю деревню. Кроме него, ни спичек, ни соли, ни мыла, ни аршина ситцу купить негде.

Теперь понимаете, как трудно копейку ту откладывать. А я откладывал. У меня, как звезда в ночи, как маяк в пути, свой-то кораблец, своя-та волюшка.

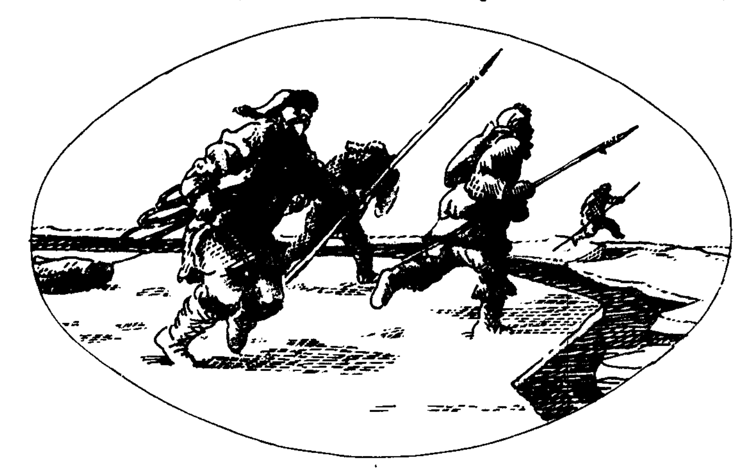
У какого дела надо втроем-вчетвером, я один берусь. Товарищи косо на меня глядят. Они на работе сидят да лежат да перевертываются, а я не могу тихо работать.

Чтобы люди дружны были, следует пить и других поить, а я над каждой копейкой трясусь, меня и не любят. Иродом зовут.

...Опять год за годом десять лет пробежало. Вижу, что не зря сказано: пока солнце взойдет, роса очи выест. Хозяину — рубль, рабочему — нищие копейки; хозяин осенью в Архангельск едет бумажки на золото менять, а у меня те же медяки.

Тут я чуть было маленько с копыл не сбился.

Что такое, думаю: мне тридцать лет, а я не наряживался, не гуливал... Купил в Норвеге брюки клеш, синюю матроску с большим воротником, полотняну манишку, платок шейный шелковый и явился на родину, в Корелу. Парень я был высокий, плечистый, говорили, что и с лица красивый.



И... тут я большой шаг шагнул: женился на дочери той самой старухи, которая меня десять годов назад пожалела.

Женился и испугался: «О, зачем за себя баржу привязал?! Мне ли гнездо разводить! Теперь не выбиться из бедности».

А пожил с Матреной и увидел в ней помощницу неусыпающую, друга верного. Она со мной заодно думу думала. При ней я на свои ноги начал вставать.

Я на Мурмане, жена дома сельдь промышляет, сети вяжет, прядет, ткет, косит, грибы, ягоды носит. Матреша моя и мужскую работу могла. Тес тесала, ёзы * била, кирпичи работала...

Ребятишки родились — труднее стало. А Матрешка, хоть какая беда, уж тихонько она сдумает, ладно скажет...

В шесть годов мы избу свою поставили. Вместе лес возили, стены рубили, вместе крышу крыли.

В эту пору я кинул якорь у Василия Онаньевича Зубова, нашей же Корелы у богатеющего купца: на Мурмане своя фактория, промысловое оборудование, три шкуны, одна — что твой фрегат.

В море ли, на берегу ли работаю — все нет-нет да погляжу на чужие ко-

---

* Ёзы — колья, которые вбивают в дно реки и переплетают прутьями для ловли семги.

раблики, как они плывут, брызги на сторону раскидывают. Погляжу да подумаю: «Ничего! Проведу и я свою борозду».

Деньжонки я усердно копил, а что строить буду не малую скорлупку, а заправскую шкуну, это я давно решил.

Семья в Корелах, я на Мурмане; что добуду, им оторву, остальное в кошель; на себя ни полушки. И кошель на груди носил.

Каждый рубль — что гвоздь на постройку моему желанному кораблю, каждым рублем я на волю выкупался сам и детей выкупал.

Я людей-то насмешил: в Соловецке картину заказал, два рубля потратил, написана приправная норвецкая шкуна.

По праздникам на эту картину любовался. Любовался — не думал, не гадал, какая гроза над моей головой собирается.

Хозяин мой, Василий Зубов, в нас, в рабочих, не входил. Платит грошами, в зиму пропащей рыбой кормит — и ладно, думает, дородно им.

Покамест я у него в кулаке сидел, хоть и жужжал, да не рвался, он до меня ровный был. А как усмотрел, что Корельской на ноги встает, запосматривал на меня немило.

Осенью, при конце промысла, не утерпел, скричал на меня при народе:

— Эй, любезный! Люди смеются, да и вороны каркают, будто кореляки собственные пароходы заводят. Ты не слыхал?!

— Про людей не слыхал,— говорю,— может, и пароходы. А вот насчет шкуны я подумываю.

Он зубы оскалил:

— Подумываете? Ай да корельская лопатка! А по-моему, спустить бы тебе на воду нищу коробку, с которой по миру бегал, а заместо паруса маткина нища сума. Экой бы корабль по тебе!..

Это он меня да матерь мою нищетою ткнул...

Сердце у меня остановилось:

— Ты! Ты, который нас по миру с сумой пускаешь, ты сумой этой нас и укоряешь? Мироед! Захребетник мирской! Погоди... Умоетесь вы, пауки, своею же кровью!..

. . . .

Кругом народ, стоят, молчат.

Уж не помню, чего я еще налягал языком; что было на сердце, все вызвонил. Хлопнул шапку о землю, побрел прочь.

Иду — шатаюсь как пьяный. Сердце себе разваредил.

Тут испугался: «Пожалуй, заарестуют меня». Урядник все слышал, он Зубову слуга... И до того мне Матрешку да ребят увидать захотелось!.. А мимо пристани гальот знакомого человека и плывет, в Ковду пошли. Ковда с Корелой рядом.

Взяли меня без разговоров. Ничего, что пассажир без шапки.

Долгу за Васькой семь рублей с полтиной оставалось, я всего отступился.

Дома сельдь промышляю, а сердце все неспокойно. Не простит мне Васька Зубов. Через годик можно бы кораблик тяпать-ляпать, а тут как бы помеху какую Зубов не сунул...

Скоро и он сам домой пожаловал. Я мимо иду, он в окошко окликнул:

— Корельской, ты что, чудак, тогда от меня убежал? Кроме шуток: скоро ли шкунарку свою ладишь стряпать?

— Мне ведь не к спеху, Василий Онаньевич. Через год, через два...

Он воровски огляделся:

— Ну-ко, зайди в сени.

В сенях и шепчет:

— Хочешь, тебя со шкуной сделаю на будущую весну?

Я и глаза вылупил, а он:

— Ум у тебя дальновидный, ты опыт имеешь, практику знаешь. Пора, пора тебе, Матвей Иванович, в люди выходить.

Такой лисой подъехал. Я и растаял. Слушаю — как мед пью. А Васька поет:

— Знакомый норвежский куфман запутался в делах. Наваливает мне за гроши — за две тысчонки — новенький пароходик. А у меня деньги все в дело вложены. Денег нет. Ничего не решив с куфманом, поехал в Архангельск, а в Архангельске частная контора на упрос просит сосватать пароходик тысяч на восемь... Понимаешь, Матюша,— Васька-то говорит,— мы норвецкий пароходик и сбагрим им за восемь тысяч, а сами за него заплатим две. Барыш-то по три тысчонки на брата...

Я глазами хлопаю:

— Это кого же вы в братья-то принимаете?

— Как кого? Да тебя! Принимаю тебя, Корельской, в компаньоны. Тысячу рубликов я у себя наскребу. Тысчонку ты положишь.

Я заплакал:

— Не искушай ты меня, Василий Онаньевич! Всего у меня капиталу семьсот семьдесят четыре рубля шестьдесят одна копейка.

— Давай семьсот семьдесят четыре рубля. Прибыль все одно пополам.

Я воплю:

— Дай до утра подумать!

Ночью с Матреной я ликую:

— Три тысячи барыша... Мне их в двадцать лет не выколотить. А тут сами в рот валятся. Три тысячи! Ведь это шкуна моя, радость моя, к моему берегу вплотную подошла: «Заходи,— говорит,— Матюша, берись за штурвал, полетим по широкому раздольицу...» Ох, какой человек Василий Онаньевич! Напрасно я на него обиделся!

Жена говорит:

— Может, так и есть. Только бумагу вы сделайте.

Утром сказываю свое решение Зубову, что согласен, только охота бумажку подписать у нотариуса. Он глазищи опустил, потом захохотал:

— Правильно, Корельской! Ты у меня делец!

Поехали на оленях в уезд. На дворе уж зима. Зубов к нотариусу пошел, долго там что-то вдвоем гоношили.

Потом меня вызывают. Чиновник бумагу сует:

— Подпишись.

А я неграмотный вовсе. Только напрактиковался чертить свою фамилию. Надо бы велеть прочитать, что в бумаге писано, а я где дак боек, а тут как ворона лесна.

Накаракулил подпись, может, задом наперед,— и получил копию. Сложил Зубов мои денежки в сертук, во внутренний карман, и еще наказывает мне:

— Ты смотри, до времени языком не болтай и бумагу не показывай. Мы с тобой потихошеньку да полегошеньку.

Конец зимы Зубов в Колу на оленях уехал, оттуда хотел в Норвегу, а я дома проживаю в радужных мечтах. Барыши делю. Тысячи свои распределяю.

Началась навигация. Лето. Жена с ребятишками рыбешку добывают, а Матвей Корельской от компаньона телеграммы ждет.

Пришла весточка, что пароходик этот в Архангельске продан. Я телеграмму жду. И на Мурман это лето не пошел.

Весь распался что-то, весь поблек.

Жена уговаривает:

— Погоди ты падать духом. Мало ли какие в городах, в конторах да в банках задержки. Может, Зубов и денег еще не получал.

А у меня сердце болит, в трубочку свивается.

Осень пришла, и Зубов домой прибыл. Приехал ночью. Я с утра дорогого гостя ждал, обмирал.

В паужну сам полетел.

Он разговаривает, расхохатывает, о деле ни слова. «Может,— думаю,— семейные мешают». Шепчу:

— Мне бы с вами, Василий Онаньевич, по секрету...

А он на всю избу:

— Что? Какие у нас с тобой секреты?

— А дельце наше, Василий Онаньевич?

— У Василия Зубова с Матюшкой Кореляком дела?!

— А пароход-то!

— Что пароход? Скорее, Корельской! Мне некогда.

— Да ведь деньги-то у меня брали...

— Что? Я у тебя, у голяка, деньги? Ха-ха-ха!

Я держусь обеими руками за стол, все еще думаю — он шутит.

— Василий Онаньевич, бумагу-то нотариальную забыли?

— Какую бумагу?

— Зимой делали.

— Мало ли я зимой бумаг сделал! Неси ее и приведи писаря.

Слетал домой за бумагой, добыл писаря. А руки-то, а колени-то трясутся.

Зубов рявкнул:

— Читай Корельскому его бумагу!

Писарь читает:

—«Я, крестьянин такой-то волости, Матвей Иванов Корельской, сим удостоверяю, что промышлял на купца Василия Ивановича Зубова на обычных для рядового мурманского промышленника условиях. Договоренную плату деньгами и рыбой получил сполна и никаких претензий не имею. В чем и подписуюсь.

М. Корельской».

. . . .

...Не хочу рассказывать плачевного дела! Две недели я без языка пролежал. Опомнюсь — клубышком катаюсь, поясом вьюсь. Мне сорок годов, я до кровавого поту работал — и все, все прахом взялось!

Все отнял Зубов, оставил с корзиной...

Тут праздник привелся. Я вытащил у жены остатние деньжонки, напился пьян, сделался как дикой. Полетел по улице да выхлестал у Зубова десять ли, двенадцать ли рам. Меня связали, бросили в холодную.

После я узнал, что в тот же вечер мужики всей деревней приступили к Ваське Зубову, просили мои деньги отдать. Он от всего отперся.

— Пусть подает в суд. Вы ставаете свидетелями?

Мужики ответили:

— Не знаем, Зубов, не знаем, можно ли, нет ли на тебя в суде доказать, по делам твоим тебе давно бы камень на шею, безо всякого суда. Помни, Зубов, собачья твоя совесть, что придет пора, ударит и час. Мы тебе Матюшкино дело нарежем на бирку.

Спасибо народу, заступились за меня. Не дали мне духом упасть. Я не спился, не бросил работать и после Зубова разоренья, только радость моя потерялась, маяк мой померк, просвету я впереди не увидел. Годы мои далеко, здоровье отнято. Больше мне не подняться.

Да я бы так не убивался, кабы одинокий был. Горевал из-за ребят, из-за жены.

С воплем ей говорю:

— Ой, Матрешка! Мне бы тебя в землю запихать да робят в землю, вот бы я рад сделался, что не мучаетесь вы!

Она рядом сядет, мою-то руку себе на голову тянет:

— Матюша, полно-ка, голубеюшко! Мы не одни, деревня-та как за нас восстала... Это дороже денег! Гляди, мужики с веслами да с парусами несутся: видно, сельдь в губу зашла, бежи-ко промышляй!

Однако я в море не пошел, поступил в Сороку на лесопилку. Мужики ругают меня:

— Эдакой свой опыт морской под ногу Ваське хочешь бросить! Мало ли хозяев, кроме Зубова...

— Все хозяева с зубами.

Доски пилю — в море не гляжу, обижусь на море. Сколько уж в сонном видении по широкому раздольицу поплаваю... Сердце все как тронуто. Я в Корелу не показываюсь, фрегата Васькиного видеть не могу.

Копейки, конечно, откладываю. Не на корабль — кораблем батраку Матюшке не владеть,— откладываю робятам на первой подъем, чтобы не с нищей корзиной жизненной путь начинали. Дети мои зачали подыматься, об них мое сердце заболело. Боюсь, не хочу, чтобы дети к Зубовым в вечну работу попали.

После Зубова разоренья еще пятнадцать лет я не отдыхивал ни в праздник, ни в будни, ни зимой, ни летом. Было роблено... Сердита кобыла на воз, а прет его и под гору и в гору.

В одном себя похваляю: грамоте выучился за это время, читать и писать.

Матрешке моей тяжело-то доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не заможет, сунется на пол:

— Робята, походите у меня по спине-то...

Младший Ванюшка у ней по хребту босыми ногами и пройдет, а старшие боятся:

— Мама, мы тебя сломаем...

Тяжелую работу работаем, дак позвонки-ти с места сходят. Надо их пригнетать.

Матрена смолода плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее тошнехонько жалко:

— Матрешишко, ты умри лучше!

— Что ты, Матвей! Я тебе еще рубаху стирать буду!..

Пятнадцать годов эдак. Всю жизнь так!..

Что же дальше? Дальше германска война пошла. Два сына кочегарами на пароходе ходят, я на заводишке дерьгаюсь; только и свету, что книжку посмотрю.

А потом — что день, то новость. В Петербурге революция, у нас бела власть. Про свободу сказывают, а Зубов в Учредительно собрание срядился.

Преполовилась зима девятьсот двадцатого года. В одно прекрасно утро бреду с завода, а в Сороке переполох. Начальники и господа всяких чинов летят по железной дороге, кто под север, кто под юг... Что стряслось?

— Бела власть за море угребла. Красна Армия весь северный край заняла...

Наутро мне из Корелы повестка с нарочным — явиться спешно в сельсовет. Все как во сне. Бежу домой, а сам думаю: «Судно зубовско где? Красна власть отобрать посмела ли? Вдруг да Васька на меня из-за лесины *, как тигра, выскочит...»

С женкой поздороваться не дали, поволокли на собранье. Собранье народа в Васькиных палатах идет вторы сутки.

Сажусь у дверей, меня тащат в президиум и кричат всенародно:

— Товарищи председатели! Матвей Иванов Корельской здесь!

Над столом красны флаги и письмена, за столом товарищи из города, товарищи из уезда. Тут и мое место. Васька бы меня теперь поглядел... Шепчу соседу:

— Зубов где?

А председатель на меня смотрит:

— Вы что имеете спросить, товарищ Корельской?

Я встал во весь рост:

— Василий Онаньев Зубов где-ка?

Народ и грянул:

— О-хо-хо-хо!! Кто о чем, а наш Матюша о Зубове сохнет! О-хо-хо-хо!!.

Председатель в колокольчик созвонил:

— Увы, товарищ Корельской! Оставил нас твой желанный Василий Онаньевич, усвистал за границу без воротищи **.

— А судно-то егово? Это не шутка, трехмачтово океанско судно!

— Странный вопрос, товарищ Корельской! Вы — председатель местного рыбопромышленного товарищества, следовательно, весь промысловый инвентарь, в том числе и судно бывшего купца Зубова, в полном вашем распоряжении...

— Я?.. В моем?..

— Да. Вчера общее собрание Корельского посада единогласно постановило просить вас принять председательство во вновь организованных кооперативных промыслах, как человека исключительного опыта.

Я заплакал, заплакал с причетью:

— Я думал, мой корабль — о шести досках, думал, по погосту мое плаванье, а к моему плачевному берегу радость на всех парусах подошла: «Полетим,— говорит,— по широкому морскому раздольицу!» Сорок восемь годов бился ты, батрак Матюшка Корельской, в кулацких сетях, а кто-то болезновал этим и распутывал сеть неуклонно, неутомимо...

И чем больше реву, тем пуще народ в долони плещут да вопиют:

— Просим, Матвей Иванович! Просим!

Ну, и я на кого ни взгляну, слезы утирают. И вынесли меня на улицу и стали качать:

— Ты, Матвей, боле всех беды подъял, боле всех и чести примай!

...Кому до чего, а кузнецу до наковальни: запустил Зубов, до краю заездил свой фрегат — и я по уши в ремонт ушел. Сам с робятами лес рубил

* Лесина — дерево.
** Воротища — возврат, возвращение.

для ремонта, сам тесал, сам пилил. Сам машину до последнего винта разобрал, вычистил, собрал. Сам олифу на краску варил. Перво охрой сплошь грунтовал, потом разукрасил наше суденышко всякими колерами. До кильватера — сурик, как огонь, борта — под свинцовыми белилами, кромки — красным вапом, палубу мумией крыл по-норвецки, каюты — голубы с белыми карнизами.

Обновленный корабль наименовали мы «Радостью». На носу, у форштевня, имя его навели золотыми литерами: «Радость». И на корме надписали: «Радость. Порт Карела».

За зиму кончил я ремонт. Сам не спал и людям спуску не давал. В день открытия навигации объявили и нашу «Радость» на воду спущать. Народушку скопилось со всего Поморья. Для народного множества торжество на берегу открылось.

Слушавши приветственные речи, вспомнил я молодость, вспомнил день выздоровленья моего после морской погибели... Сегодня, как тогда, чайка кричит, и лебеди с юга летят, как в серебряные трубы трубят, и сияющие облака над морем проплывают. Все как тридцать пять годов назад, только Матюшка Корелянин уж не босяком бездомным валяется, как тогда, а с лучшими людьми сидит за председательским столом. Я уж не у зубовского порога шапчонку мну да заикаюсь, а, слово взявши, полным голосом всенародно говорю:

— Товарищи! Бывала у меня на веку любимая пословка: «Ничего, доведется и мне, голяку, свою песенку спеть». Вы знали эту мою поговорку и во время ремонта, чуть где покажусь, шутили: «Что, Матвей Иванович, скоро свою песню запоешь?»

Я отвечал вам: «Струны готовы, недалеко и до песни».

Товарищи, в сегодняшний день слушай мою песню. И это не я пою — моими устами тысячи таких, как я, бывших голяков, поют и говорят...

Двенадцати годов я начал за большого работать. В двадцать пять годов ударила меня морская погибель. Сорок пять лет мне было, когда меня Зубов в яму пихнул. Шестьдесят лет мне стукнуло, когда честная революция надунула паруса купецких судов не в ту сторону и подвела их к бедняцкому берегу. Наши это корабли. Все наше воздыхание тут. Каждый болт — наш батрацкий год. Каждая снастиночка нашим потом трудовым просмолена, каждая дощечка бортовая нашими слезами просолена... Слушай, дубрава, что лес говорит: теперь наша Корела не раба, ейны дети — не холопы! Уж очень это сладко. Не трясутся наши дети у высоких порогов, как отцы тряслись; не надо им, как собачкам, хозяевам в глаза глядеть.

Уж очень это любо!..

Мое сказанье к концу приходит. Ныне восьмой десяток как на свете живу. Да годы что: семьдесят — не велики еще годы... Десять лет на «Радости» капитаном хожу.

Как посмотрю на «Радость», будто я новой сделаюсь, как сейчас из магазина. При хозяевах старее был.

Оногды землянá старуха, пустыньска начетчица, говорит мне:

— Дикóй ты, старик,— все не твое, а радуиссе?!!

А я ей:

— Дикá ты старуха,— оттого и радуюсь, что все мое!



СКОМОРОШЬИ СКАЗКИ



Барыня

Козуля



ПЕСЕНКА СКОМОРОХОВ

Я вставал поутру-ввечеру.
На босу ногу топор надевал.
Топорищем подпоясывался.
Не путем, не дорогой шел.
Возле лыка гору драл.
Увидал на утке озеро.
Топором в нее шиб — недошиб.
Другой раз шиб — перешиб.
В третий раз попал, да мимо!
Утка всколыбалась, озеро улетело.
Я пошел на поскотину.
Там корова хозяйку пасет.
Я говорю: «Тёта, дай мне полтора молока парного стакана».
Она меня послала к сватье.
Живет сватья против неба на земле в непокрытой улице.
Я пришел. Сватью печка топит.
Я говорю: «Тёта, пусти обогреться».
Она выхватила из полена печку да за мной.
Я на улицу, а там собаки.
Я выхватил из оглобель сани, тем и оборонился.
Сам с горя спать повалился!

СКАЗКА О ДИВНОМ ГУДОЧКЕ *

У отца у матери был сынок Романушко и дочка Осьмуха. Романушко настолько кроток, его хоть в воду пошли. У Осьмухи глаза завидущие, руки загребущие. Вкруг деревни, сколько глазом окинь, все мох, серебряный мох. Летом Романушко с сестрой ходят по ягоды. Берут ягодки синие, ягодки красные. Им матерь однажды говорит:

— Кто сегодня больше принесет, тому опояска лазóрева, атласна.

* Известна былина М. Д. Кривополеновой «Вавило и скоморохи». «Сказка о дивном гудочке»— другой вариант этого сюжета, который, как говорит сам Б. Шергин, он слышал от своей матери.

Ступают брат и сестра по белым тем оленьим путищам, берут ягодки синие, ягодки красные. Брателко все в коробок да в коробок, сеструха все в рот да в рот.

Полдень. Жарко, солнечно. У брателка ягод класть больше некуда. У сеструхи две ягодичины по коробу катаются, гремят. Ей и пала на ум думка. Она говорит:

— Брателка, солнце уж на обеднике. Привались ко мне, отдохни, я у тя буду головушку учасывать частым гребешком.

Романушко привалился к сестре на колени, и только у него глазки сошлись, она занесла нож...

Не пуховую постель брату постилала, не атласным одеяльцем укрывала, положила брателка в болотную жемь *, заокутала оленьим белым мохом.

Домой прибежала, братневы ягодки явила.

— Вот вам ягодки синие, ягодки красные, пожалуйте мне-ка поясок лазоревый, атласный.

— А Романушко где-ка?!

— Не слушался, убежал, лесной царь его увел.

Романушка заискали, в колоколы зазвонили. Романушко не услышал, на зов колокольный не вышел, только стала над ним расти на болотце тонка рябина кудревата.

Ходят по Руси скоморохи, утешают людей песнями да баснями, гудками да волынками. Идут по болотцу, где Романушко лежит, увидели рябинку, высекли тесинку. Сделали гудок с погудáлом **. Не успели погудальце на гудок наложить, из гудка голосок родился и запел:

Скоморохи, потихоньку,
Веселые, полегоньку...
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Скоморохи говорят:

— Эко, государи, диво какое! Гудок-от человеческим языком выговариват!

Вот идут скоморохи по дороге, да в ту деревню, где Романушкин-то дом.

— Государь хозяин, пусти веселых людей ночь переночевать.

— Государи скоморохи, здесь не до веселья, сын потерялся. Ушел по ягоды — не воротился.

Скоморох Вавило говорит:

— Возьми-ко, хозяин, погудальце. Не расскажет ли тебе гудок какого дива.

Не поспел отец погудальце на гудок наложить, запел из гудочка попечальный Романушкин голосок:

Тятенька, потихоньку,
Миленькой, полегоньку...
Зла меня сестрица убила,

---

* Жемь — здесь: болотистое, сырое место.

** Погудáл, погудáльце — смычок для игры на гудке.

В белые мхи положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Мать-то услыхала:

— Дайте мне, дайте гудок-от!

Не поспела матерь погудальце на гудок наложить, запел с гудочка печальный Романушкин голосок:

Маменько, потихоньку,
Родненька, полегоньку...
Зла меня сестрица убила,
В белый меня мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Не кипарисны деревца пошаталися, не изюмины ягодки посыпались, отец с матерью заплакали. Сошлась родня вся, порода *. Собрались порядовные соседи **. Девку Осьмуху имают и на суд перед собою ставят.

— На-ко ты играй!

Не поспела Осьмуха погудальце на гудок наложить, запел гудочек тонко, и грозно, и жалобно:

Сестрица, потихоньку,
Родненька, полегоньку...
Ты меня убила,
В белый мох положила
За ягодки за красны,
За поясок за атласный!

Осьмуха сшибла от себя погудальце.

Скоморох Вавило погудальце перехватил и стегнул Осьмуху крест-накрест. Она и перекинулась сорокой; прострекотала три раза и улетела в темный лес.

Скоморохи поводят народ и родителей на болотце, где шумит над Романушком тонка рябина кудревата. Скоморохи отымают белый мох. Родители видят свое детище, мрут душой и телом. Скоморохи говорят:

— Не плачьте, родители, нынче время наряда и час красоте.

А народ и скоморохи запели:

Грозная туча, накатися,
Светлые дожди, упадите,
Романушко, пробудися,
На белый свет воротися!

И летает погудальце по струнам, как синяя молния. Сгремел гром, и на болотце накатилось светлое облако и упало живым дождем на Романушка. И ожил Романушко. Из-под кустичка приходит серым заюшком, а из-под камешка приходит горностаюшком. Скоморохам-то на славу, родителям на радость, а народу-то на диво.

---

* Порода — родственники.

** Порядовные соседи — жители соседних домов, расположенных по одну сторону улицы.

ЗЕРКАЛЬЦЕ *

Это было в старинные времена — еще люди зеркалов не знали. Один дядя привез в свою деревню зеркальце карманное. А от людей его таит и жене не показывает. А жена порвалась от любопытства: что такое муж разглядывает утром рано и вечером поздно? А спросить не смеет, как спросишь?

Однажды муж со двора пошел, зеркальце в сундук сунул. Жена это доглядела, в сундук сплавала, зеркальце выудила. Разглядывает:

— Хм, пустяковина какая-то... Блестит... Что же это такое?.. О! Морда бабья!.. Баба написана. Чья же эта баба?? Ох, тошно-о! Это он в городе подругу себе завел. Харю ейную, патрет ейный домой привез, не постыдился-а-а!

И что тут у нее слез и крику! Соседки сбежались. Хозяйка сидит ревет:

— Поглядите-ко, голубушки! Мой-то, подлый, подругу в городе завел. Личность ейную на патрет списал и в кармане у сердца носи-ит!

Бабы сроду зеркалов не видали и не слыхали. Та зеркальце схватит, другая схватит:

— Ну-ка, ну-ка, какая у него полюбовница-то?

Старуха за зеркальце взялась:

— О, беда-а! Каку облизьяну полюбил! Она морщевата, у ей рот ямой, у ей зубов нету...

Другая за зеркальце взялась:

— Как зубов нету? Зубы у ней как у лошади. А губы-то, губы! Хоть студень вари. Ну и морда!

Опять третья на зеркальце уставилась:

— Личность у нее полненькая, решетом не покрыть. Глазки заплылись. Носик у ей как пуговка, роток как копилочка...

В этой толпе мужик привелся:

— Ну-ка, бабы, дайте посмотреть, что там за подруга у соседа завелась?.. О, господи помилуй! У ней и борода рыжа!

СУДНОЕ ДЕЛО ЕРША С ЛЕЩОМ

Зачинается-починается сказка долгая, повесть добрая.

Все ли в сборе? Все ли сели? Сядьте по местам, как сокола по гнездам. Слушай, многограмотный народ, пиши-записывай, набело переписывай.

Судное дело Ерша с Лещом,
как у них суд был
за озеро Онего.

Ходило Ершишко, ходило хвастунишко с малыма робятишками на худых санишках о трех копылишках по быстрым рекам, по глубоким водам. Прожился Ерш, проскудался. Ни постлать у Ерша, ни окутаться, и в рот положить нечего.

Приволокся Ерш во славное озеро Онего. Володеет озером Онегом рыба Лещ. Тут лещи — старожилы, тут лещова вотчина и дедина со всем родом-племенем. Закланялось Ершишко рыбе Лещу. Ерш кланяться горазд — он челом бьет, затылком в пол колотит:

---

* Печатается впервые.

— Ой еси, сударь, рыба Лещ! Пусти меня, странного человека, на подворье ночь переночевать. За то тебя бог не оставит, родителям твоим царство небесное...

Пустил Лещ Ерша ночь обночевать.

А Ерш ночь ночевал и две ночевал... Год жил и два жил!.. И наплодилось в озере Онеге ершей втрое, впятеро против лещей. А рыба ерш ростом мала, да щетина у ей, как рогатины. Почали ерши по озеру похаживати, почали лещей под ребра подкалывати. Да те ершовы дочери со своима барабан нагуляют, а на Леща сказывают. В суд Леща тянут, просят с Леща на роди́ны и на кстины, на именины и на хоронины.

С этой напасти заводилась в озере Онеге бой-драка великая. Бились-дрались лещи с ершами от Петрова́ до Покрова́. И по той лещовой правде взяли лещи Ерша в полон, рот завязали, к судье повели.

Судья — рыба Сом с большим усом — сидит нога на ногу.

Говорит Лещ:

— Вот, осподин судья... Жили мы, лещи, в озере Онежском, ниоткуда не изобижены. Озеро Онего век была лещова вотчина и дедина. Есть у меня на это письма и грамоты и судные записи. Откуль взялся в озере Онеге Ершишко Щетинников не ждан, не зван? Лисий хвост подвесил, выпросился у меня в Онеге ночь перележать. И я за его сиротство, ради малых робят, на одну ночь пустил. А он, вор, ночь ночевал и две ночевал. Год жил и два жил... И теперь поганых ершей в озере впятеро больше против нас, лещей. Да та худа рыба ерши ростом мала, а щетина у их — что лютые рогатины. И они по озеру нахально похаживают, лещей под ребра подкалывают. Наши деушки-лещихи постатно себя ведут, постатно по улочке идут, а ерши наших девок имают, сарафаны с их дерут, худыми словами лают. А Ершовы дочери — юбки до колен, папиросы в роте носят, своих ершов машут. А сбылась котора с барабаном, и она доказыват на Леща. В суд Леща тянет, грабит с Леща на родины, на кстины, на именины, на хоронины. С этой беды заводилась у нас с ершами драка немилостива, и по моей Лещовой таланести взяли мы Ершишка Щетинникова в полон и к тебе привели: сидите вы, судьи, на кривде, судите по правде!

Говорит судья рыба Сом:

— Каки у тя, у Леща, есь свидетели, что озеро ваше, лещово?

Лещ говорит:

— Нас, лещей, каждой знат. Спроси рыбу Семгу да рыбу Сига. Живут в озери Ладожском.

Спрашивает судья Ерша:

— Ты, ответчик Ерш, шлессе ли на таковых лещовых свидетелей, Семгу да Сига?

Ерш отвечает:

— Слаться нам, бедным людям, на таковых самосильных людей, на Семгу да Сига, не мочно. Рыба Семга да рыба Сиг люди богатые. Вместе с лещами пьют и едят. И хотят они нас, малых людей, изгубить.

Судья говорит:

— Слышишь, истец Лещ. Ерш отвод делат... Еще какие у тебя есть свидетели-посредственники?

Лещ говорит:

— Еще знают мою правду честна вдова Щука да батюшко Налим, живут в Невы-реки, под городом Питером.

Спрашивает судья Сом:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим тебе, Ершу, годны ли свидетели? На их шлессе ли?

Ерш в уме водит:

«Рыба Налим... У его глаза малы, губища толсты, брюхо большо — ходить тяжело, грамотой недоволен... Он не подет на суд... А Щука... она пестра, грамотой вострa, вся в меня, в Ерша. Она меня не выдаст».

И Ерш говорит:

— Честна вдова Щука да батюшко Налим — то общая правда, на тех шлюся.

Посылат судья рыба Сом Ельца-стрельца, пристава Карася, понятого Судака по честну вдову Щуку, по батюшка Налима.

Побежали Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак из Онега-озера на Ладогу, с Ладоги на матушку Неву-реку. Стали щупать, нашли Щуку. Учали батюшка Налима искать. День искали и два искали, не пили, не ели и спать не валились. На третьи сутки — день к вечеру, солнце к западу — увидали под островом Васильевским колодину. Колодину отворили — под колодиной батюшко Налим сидит.

Елец-стрелец, пристав Карась, понятой Судак челом ударили:

— Здравствуешь, сударь-батюшко Налим! Зовет тебя судья — рыба Сом с большим усом — во славное озеро Онего во свидетели — на посредство...

— О-о, робята! Я человек старой, у меня брюхо большо, мне иттить тяжело, язык толстой, непромятой, глаза малы — далеко не вижу, перед судьями не стаивал, у меня речь не умильна... Нате вам по гривенке. Не иду на суд!..

Привели на суд Щуку.

Суд завелся.

Вот судья рыба Сом сгремел на Ерша:

— Сказывай, ответчик Ерш, каки у тя на Онежское озеро есть письма и крепости, памяти и грамоты?!

И Ерш ответ держит:

— У моего-то папеньки была в озере Онежском избишка, в избишки были сенишки, в сенишках была клетишка, а в клетишки сундучишко под замчишком. В этом сундучишке под замчишком были у меня, доброго человека, книги и грамоты и судные записи, что озеро Онего — наша, ершова отчина. А когда, грех наших ради, наше славное Онего погорело, тогда и тятенькина избишка, и сенишки, и клетишка, и сундучишко под замчишком, и книги, и грамоты, и судные записи — все сгорело, ничего вытащить не могли.

В те поры Леща и Щуку и всех добрых людей, которые рыба из озера Онега, горе взяло:

— Врешь ты, страхиля! Нища ты коробка, кисла ты шерсть. Наше славное озеро Онего на веку не гарывало, а у тебя, у бродяги, там избы не бывало!

А Ерша стыд не ймёт. Он соржал не по-хорошему да опять свое звонит:

— Удивляюсь, что тако?! Был у моего тятеньки дворец на семи верстах, на семи столбах. На полатях бобры, под полатями ковры, самоваров было, быват, десять — и то все сгорело... А лещовы девки не хваленки, а хуленки, суки оне и навязихи. Оне сами за нами, ершами, как сомошеччи, гоняются. Кабы лещихам волю дать, робят бы в озеро не вошло... А нас, ершей, знают в Питере и в Москве и в Соломбальской слободе, и покупают нас, ершей, дорогою ценою. И варят нас с перцем и с шафраном, и великие господа,

с похмелья кушавши, поздравляют... А Лещ что за рыба? Множко ли в ем еды? Ребра одны!..

И честна вдова Щука не стерпела:

— Подстега ты, подтыкало! Банно ты поддавало! На овчины ты сидишь, про соболи сказываешь. Тридцать ты лет под порогом стоял, куски просил. А кто тебя знает да ведает, тот без хлеба обедает. Останется у голи кабацкой от пропою копейка, дак на эту копейку вас, ершей, сотню выдадут. А и уху сварят — не столько наедят, сколько расплюют.

И Ерш к Щуке подскочил и ей плюху дал:

— Ах ты, рвана дыра! А я думал, ты честна вдова Щука...

И Щука запастила во весь двор:

— Порвало тебя бы, разорвало тебя бы! А озеро Онего век было лещово, а не ершово! Лещово, а не ершово!

Судья возгласил:

— Быть посему! Получай, Ерш, приказ от суда: уваливай из озера Онега.

Ерш на ответ:

— Я вашими приказами гузно тру!..

И Ерш хвостом вернул, головой тряхнул, плюнул в глаза всей честной братии, только его и видели.

Пошел Ершишко, пошел хвастунишко на худых санишках о трех копылишках с малыма ребятишками по быстрым рекам, по глубоким водам... По пути у Леща в дому все рамы выхвостал... Из Онега-озера пошел Ерш на Бело-озеро. С Бела-озера в Волгу-реку.

Река Волга широка и долга. Стоит в Волги-реки Осетер. Тут осетрова отчина и дедина.

Закланялось Ершишко рыбе Осетру, челом бьет, затылком в пол колотит:

— Ой еси, рыба Осетер, пусти меня в Волги-реки одну ночь перележать. За то тебя бог не оставит... Родителям вашим царство небесное...

А рыба Осетер хитра и мудра. Она знат Ерша.

— Не пушшу!

Да Ерш на него с кулаками:

— Убью!.. Молись Николы, пока глаза полы!..

Ерша схватили, с крыльца спустили.

Ерш придумывает: «Рыба Осетер хитра-мудра, а если будет вода мутна, Осетер в гости пойдет и невода не минует».

Начал Ерш Волгу-матушку со дна воротить, с берегов рыть. Волга-река замутилась, со желтым песком вода смешалась. Стали люди поговаривать:

— О, сколько рыбы поднялось! Воду замутили...

Люди невод сошили, стали рыбу промышлять... А рыба Осетер хитра-мудра, видит — вода мутна, и она дома сидит и в гости не ходит.

Это Ершу хуже ножа. Он мимо Осетровых хором свищет, рад оконцы выстегать.

— Эй ты, Осетрина! Стара ты корзина! Кой кур в подполье загнелась? Не хошь перед смертью на лоно природы выехать? Мутной ты воды боиссе? Выходи битьсе, я тебе рожу-ту на спину заворочу!.. Только счас на квартеру сбегаю...

Побежал Ерш да и попал в невод...

Пошли Ершовы телеса в медной котел, а Ершова душа в вечную муку.

Простите его, отцы и братия,
Поминайте его грешную душу!

Уху сварили,
Хлебать сели,
Не столько съели,
Сколько расплевали.
А хоть рыба костлява,
Да уха хороша!

Сказка вся,
Больше врать нельзя!
Всего надо впору,
Я наплел целу гору.

КОБЫЛА

Северная сказка

Этот год у нашего государя женин брат гостил, немецкой король. Из-за гостя наш-то и на теплы воды не поехал.

— Лучше,— говорит,— нам навестить скромные хижины наших поселян.

В бедной деревнюшке приворотил к старичонку напиться квасу. Старичонко весь залетался, дочку свою загонял:

— Куда провалилась-то, кобыла?..

— Квасу тащи, кобыла!

— Поклониться, кобыла, не умеешь!

А девка, как Волга: глаза с поволокой, роток с позевотой, косы до пояса. Поклонилась и убежала.

Государь, на нее глядевши, все глаза растерял.

— Эта бы красавица мне.

А как скажешь? Потоптался. Вышли за калитку.

— Дед, а где кобыла?

А у старичка была кобыла, кляча рабоча.

«И в каку пору,— думает старичонко,— государь мою кобыленку успел увидать?»

— Дед, почему Кобыла нейдет нас проводить?

— Хы-хы, дак ведь известно ихнее кобылье понятие, ваше величие: сейчас наработавши в огороде и сейчас валяется где-ле на задворье вверх копытами.

— Она много работает?

— Что бы не работать! А вот сосед Егор, извольте радоваться, утром увел и одночасно на огороде ногу ей вывернул.

— Вы ее не жалеете!

— Хы-хы! Как тоже не жалеть. Она понятна така! Утром сейчас к окну и губы на подоконник: фр-р-р. И ногой вот эк. Значит, хлеба давай; схряпает полковриг и в знак полного удовольствия хлоп на спину, и туды ногами, и сюды ногами. Изволите видеть, перед домом какое место выката-ла! Это все она.

— Дед, уступи ее во дворец.

— А с полным нашим удовольствием! И не сумлевайтесь, что в данный момент грива в репьях и с хвоста замаравши. Есть там у вас во дворце кому скоблить да шоркать.

— Да, да. Вот тебе триста рублей, и — никаких претензий.

— Дай вам господи. Пошли вам и деточкам вашим!

— Ладно, ладно. Приведи утром пораньше.

— Будьте благонадежны. Как часики. Хвост заплетем и алле маширом. Поимейте в виду: сзаду аккуратнее заходите, она лягаться охотница.

Утром его величество с дорогим гостем, с немецким королем, кофей пьют, а камердинер и входит:

— Ваше величество, там кобылу привели.

— Да-да, проведите ее наверх.

— Она грязная.

— Устройте ей ванну, оденьте ее, приготовьте кофе и печенье. Уложите ее в постель.

Вот лошаденку в верхни покои заводят. В ванной моют, шелковый капот на кобылу напялили. Кофею она выдула два ведра, ящик печенья съела. С кофею ее, голубушку, разобрало. Далее на кровать кобылу повалили, шелковым одеялом покрыли; только хвост выпущен наружу.

Немецкому королю до всего дело есть:

— Дорогой брат. Кого это вы в постель приказали уложить?

— Замечательную красавицу, мой дорогой. Нашел ее в деревне. Глаза, зубы, косы до колен!

— Верю вашему вкусу, братец. Уступите мне эту красавицу.

Что вы думаете! Уступил ведь государь за тридцать тысяч эту красоту германскому королю.

— Вот идет король в верхни покои. Кобыленка на постели развалилась, с головой кружевным покрывалом закутана, только хвост наружу выпущен

У короля во рту пересохло. Пал у кровати на коленки:

— Красавица, не отвергайте меня! Дозвольте расцеловать вашу роскошную косу!

Сграбился за кобылин-то хвост, кобыла дрогнула, размахнулась да как бабахнет немецкого короля копытом в лоб, дак немец окном из комнаты вылетел. У ворот двух городовых сбил. Ему, бедному, дурно стало. И от денег своих отступился, на родину упорол.

ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО

Жили Ванька двоима с матерью. Житьишко было само послéдно. Ни послать, ни окутацца и в рот положить нечего. Однако Ванька кажной месяц ходил в город за пенсией. Всего получал одну копейку. Идет онóгды с этима деньгами, видит — мужик собаку давит:

— Мужичок, вы пошто шшенка мучите?

— А твое како дело? Убью вот, телячьих котлетов наделаю.

— Продай мне собачку.

За копейку сторговались. Привел домой:

— Мама, я шшеночка купил.

— Што ты, дураково поле?! Сами до короба дожили, а он собаку покупат!

Через месяц Ванька пенсии две копейки получил. Идет домой, а мужик кошку давит.

— Мужичок, вы пошто опять животину тираните?

— А тебе-то како дело? Убью вот, в ресторант унесу.

— Продай мне.

Сторговались за две копейки. Домой явился:

— Мама, я котейка купил.

Мать ругалась, до вечера гудела.

Опять приходит время за получкой идти. Вышла копейка прибавки. Идет, а мужик змею давит.

— Мужичок, што это вы все с животными балуете?

— Вот змея давим. Купи?

Мужик отдал змея за три копейки. Даже в бумагу завернул. Змея и провещилась человеческим голосом:

— Ваня, ты не спокаиссе, што меня выкупил. Я не проста змея, а змея Скарапея.

Ванька с ей поздоровался. Домой заходит:

— Мама, я змея купил.

Матка язык с перепугу заронила. На стол забежала. Только руками трясет. А змея затенулась под печку и говорит:

— Ваня, я этта буду помешшатьсе, покамес хоро́ша квартира не отделана.

Вот и стали жить. Собака бела да кошка сера. Ванька с мамой да змея Скарапея.

Мать этой Скарапеи не залюбила. К обеду не зовет, по отчеству не величат, имени ни спрашиват, а выйдет змея на крылечке посидеть, дак матка Ванькина ей на хвост кажной раз наступит. Скарапея не хочет здеся жить:

— Ваня, меня твоя мама очень обижат. Веди меня к моему папы!

Змея по дороги — и Ванька за ей. Змея в лес — и Ванька в лес. Ночь сделалась. В темной дебри стала перед има высока стена городова с воротами. Змея говорит:

— Ваня, я змеиного царя дочерь. Возьмем извошыка, поедем во дворец.

Ко крыльцу подкатили, стража честь отдает, а Скарапея наказыват:

— Ваня, станет тебе мой папа деньги наваливать, ты ни копейки не бери. Проси кольцо одно — золо́тно, волшебно.

Змеиной папа не знат, как Ваньку принеть, куда посадить.

— По-настояшшему,— говорит,— вас, молодой человек, нать бы на моей дочери женить, только у нас есь кавалер сговоренной. А мы вас деньгами отдарим.

Наш Иванко ничего не берет. Одно поминат кольцо волшебно. Кольцо выдали, рассказали, как с им быть.

Ванька пришел домой. Ночью переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новый хозеин, нать?

— Анбар муки нать, сахару-да насыпьте, масла-да...

Утром мати корки мочит водой да сосет, а сын говорит:

— Мама, што печка не затоплена? Почему тесто не окатываш? До ночи я буду пирогов-то ждать?

— Пирого-ов? Да у нас год муки не бывало. Очнись!

— Мама, обуй-ко глаза-те да поди в анбар!

Матка в анбар двери размахнула, да так головой в муку и ульнула.

— Ваня, откуда?

Пирогов напекли, наелись, в город муки продали, Ванька купил себе пинжак с корманами, а матери платьё модно с шлейфом, шляпу в цветах и в перьях и зонтик.

Ах, они наредны заходили: собачку белу да кошку Машку коклетами кормят.

Опять Ванька и говорит:

— Ты што, мамка, думаш, я дома буду сидеть да углы подпирать?.. Поди, сватай за меня царску дочерь.

— Брось пустеки говорить. Разве отдадут из царского дворца в эдаку избушку?!

— Иди сватай, не толкуй дале.

Ну, Ванькина матерь в модно платье средилась, шляпу широкоперу налóжила и побрела за реку, ко дворцу. В палату зашла, на шляпы кажной цветок трясется. Царь с царицей чай пьют, сидят. Тут и дочь-невеста придано себе трахмалит да гладит. Наша сватья стала среди избы под матицу:

— Здрасте, ваше велико, господин амператор. У вас товар, у нас купец. Не отдаите ли вашу дочерь за нашего сына взамуж?

— И кто такой ваш жених? Каких он родов, каких городов и какого отца сын?

Мать на ответ:

— Роду кресьенского, города вашего, по отечесьву Егорович.

Царица даже чай в колени пролила:

— Што ты, сватья, одичала?! Мы в жонихах, как в сору каком, роемся-выбираем, дак подет ли наша девка за мужика взамуж? Пускай вот от нашего дворца да до вашего крыльца мост будет хрустальной. По такому мосту приедем жениховo житье смотреть.

Матка домой вернулась невесела: собаку да кошку на улицу выкинула. Сына ругат:

— Послушала дурака, сама дура стала. Эстолько страму схватила...

— На! Неужели не согласны?

— Обрадовались... Только задачку маленьку задали. Пусть, говорят, от царского дворца да до женихова крыльца мост будет хрустальной, тогда придут жанихово житье смотреть.

— Мамка, это не служба, а службишка. Служба вся впереди.

Ночью Иванко переменил кольцо с пальца на палец. Выскочило три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать, штобы наша избушка овернулась как бы королевскима палатами. А от нашего крыльца до царского дворца мост хрустальной и по мосту машина ходит самосильно.

Того разу, со полуночи за рекой стук пошел, работа, строительство. Царь да царица спросонья слышат, ругаются:

— Халера бы их взела с ихной непрерывкой... То субботник, то воскресник, то ночесь работа...

А Ванькина семья с вечера спать валилась в избушке: мамка на печки, собака под печкой, Ванька на лавки, кошка на шешки. А утром прохватились... На! што случилось!.. Лежат на золоченых кроватях, кошечка да собачка ново помешшенье нюхают. Ванька с мамкой тоже пошли своего дворца смотрять. Везде зерькала, занавéсы, мебель магазинна, стены стеклянны. День, а ланпы горят... толь богато! На крыльцо выгуляли, даже глаза зашшурили. От ихного крыльца до царского дворца мост хрустальной, как колечко светит. По мосту машинка сама о себе ходит.

— Ну, мама,— Ванька говорит,— оболокись помоднé да поди зови анператора этого дива гледеть. А я, как жаних, на машинки подкачу.

Мама сарафанишко сдернула, барыной наредилась, шлейф распустила, зонтик отвóрила, ступила на мост, ей созади ветерок попутной дунул,—

она так на четвереньках к царскому крыльцу и съехала. Царь да царица чай пьют. Мамка заходит резво, глядит весело:

— Здрасте. Чай да сахар! Вчерась была у вас со сватеньем. Вы загадочку задали: мос состряпать. Дак пожалуйте работу принимать.

Царь к окошку, глазам не верит:

— Мост?! Усохни моя душенька, мост!..

По комнаты забегал:

— Карону суда! Пальтё суда! Пойду пошшупаю, может, ише оптической омман здренья.

Выкатил на улицу. Мост руками хлопат, перила шатат... А тут ново диво. По мосту машина бежит сухопутно, дым идет и музыка играет. Из каюты Ванька выпал и к анператору с поклоном:

— Ваше высоко, дозвольте вас и супругу вашу всепокорнейше просить прогуляться на данной машинке. Открыть движение, так сказать...

Царь не знат, што делать:

— Хы-хы! Я-то бы ничего, да жона-то как?

Царица руками-ногами машет:

— Не поеду! Стрась эка! Сронят в реку, дак што хорошего?!

Тут вся свита зауговаривала:

— Ваше величие, нать проехаться, пример показать. А то перед Европами будет канфуз!

Рада бы курица не шла, да за крыло волокут. Царь да царица вставились в каютку. Свита за запятках. Машина сосвистела, звонок созвонил, музыка заиграла, покатились, значит.

Царя да царицу той же минутой укачало — они блевать приправились. Которы пароходы под мостом шли с народом, все облеваны сделались. К шшасью середи моста остановка. Тут буфет, прохладительны напитки. Царя да царицу из каюты вынели, слуги поддавалами машут, их в действо приводят. Ванька с подносом кланяится. Они, бажоны, никаких слов не примают:

— Ох, тошнехонько... Ох, укачало... Ух, растресло, растрепало... Молодой человек, вези нас обратно. Домой поворачивай.

Свадьбу средили хорошу. Пироги из печек летят, вино из бочек льется. Двадцать генералов на этой свадьбы с вина сгорело. Троих сенаторов в draки убили. Все торжесво было в газетах описано. Молодых к Ваньке в дом свезли. А только этой царевны Ванька не надо был. У ей в загранице хахаль был готовой. Теперь и заприпадала к Ваньки:

— Супруг любезной, ну, откуда у тебя взелось эдако богасьво? Красавчик мой, скажи!

Скажи да скажи и боле никаких данных. Ванька не устоял против этой ласкоты, взял да и россказал. Как только он заспал, захрапел, царевна сташшила у его с перста кольцо и себе с пальца на палец переменила. Выскочило три молодца:

— Што, нова хозейка, нать?..

— Возьмите меня в этих хоромах, да и с мостом и поставьте среди городу Парижу, где мой миленькой живет.

Одночасно эту подлу женщину с домом да и с хрустальным мостом в Париж унесло, а Ванька с мамкой, с собакой да с кошкой в прежной избушке оказались. Только Иванко и жонат бывал, только Егорович с жоной сыпал! Все четверо сидят да плачут.

А царь собрался после обеда к молодым в гости идти, а моста-то и нету, и дому нету. Конешно, обиделся, и Ваньку посадили в казематку, в темну.

Мамка, да кошечка, да собачка христа-ради забегали. Под одным окошечком выпросят, под другим съедят. Так пожили, помаялись, эта кошка Машка и говорит собаке:

— Вот што, Белой, сам себе на радось нихто не живет. Из-за чего мы бьемся? Давай, побежим до города Парижа к той б...и Ванькино кольцо добывать.

Собачка бела да кошка сера кусочков насушили и в дорогу переправились через реку быстру и побрели лесами темныма, пошли полями чистыма, полезли горами высокима.

Сказывать скоро, а идти долго. Вот и город Париж. Ванькин дом искать не долго. Стоит среди города и мост хрустальной, как колечко. Собака у ворот спреталась, а кошка зацарапалась в спальну. Ведь устройство знакомо.

Ванькина молодуха со своим прихохотьем на кровати лежит и волшебно кольцо в губах держит. Кошка поймала мыша и свистнула царевны в губы. Царевна заплевалась, кольцо выронила. Кошка кольцо схватила да в окно да по крышам, по заборам вон из города! Бежат с собачкой домой, радехоньки. Не спят, не едят, торопятся. Горы высоки перелезли, чисты поля перебежали, через часты дебри перебрались. Перед има река быстра, за рекой свой город. Лодки не привелось, как попасть? Собака не долго думат:

— Слушай, Маха, я вить плаваю хорошо, дак ты с кольцом-то седь ко мне на спину, живехонько тебя на ту сторону перепехну.

Кошка говорит:

— Кабы ты не собака, дак министр бы была. Ум у тебя осударсьвенной.

— Ладно, бери кольцо в зубы да молчи. Ну, поехали!

Пловут. Собака руками, ногами хлопат, хвостом правит, кошка у ей на загривки сидит, кольцо в зубах крепит. Вот и середка реки. Собака отдувается:

— Ты, Маха, молчи, не говори, не утопи кольца-то!

Кошке ответить нéкак, рот занет...

Берег недалеко. Собака — опеть:

— Ведь, ежели хоть одно слово скажешь, дак все пропало. Не вырони кольца!

Кошка и бякнула:

— Да не уроню!

Колечко в воду и булькнуло...

Вот они на берег выбрались, ревут, ругаются.

Собака шумит:

— Зазуба ты наговориста! Кошка ты! Болтуха ты проклята!

Кошка не отстават:

— Последня тварь — собака! Собака и по писанью погана... Кабы не твои разговоры, у меня бы за сто рублей слова не купить!

А в сторонки мужики рыбину только што сетью выловили. Стали черевить да солить и говорят:

— Вон где кошка да собака, верно, с голоду ревут. Нать им хоть рыбины черева дать.

Кошка с собакой рыбьи внутренности стали ись да свое кольцо и нашли...

Дак уж, андели!

От радости мало не убились. Вижжат, катаются по берегу. Нарадовавшись, потрепали в город.

Собака домой, а кошка к тюрьмы.

По тюремной ограды на виду ходит, хвос кверху! Курняукнула бы, да кольцо в зубах. А Ванька ей из окна и увидел. Начал кыскать:

— Кыс-кыс-кыс!!

Машка по трубы до Ванькиной казематки доцапалась, на плечо ему скочила, кольцо подает. Уж как бедной Ванька зарадовался. Как андела, кота того принял. Потом кольцо с пальца на палец переменил. Выскочили три молодца:

— Што, новой хозеин, нать?!

— Нать мой дом стеклянной и мост хрустальной на старо место поставить. И штобы я во своей горницы взелся.

Так все и стало. Дом стеклянной и мост хрустальной поднело и на Русь поташшило. Та царевна со своим дружишком в каком-то месте неокуратно выпали и просели в болото.

А Ванька с мамкой, собака бела да кошка сера стали помешшаться во своем доме. И хрустальной мост отворотили от царского крыльца и перевели на деревню. Из деревни Ванька и взял себе жону, хорошу деушку.

ЗОЛОЧЕНЫЕ ЛБЫ

На веках невкотором осударьсве царь да ише другой мужичонко исполу промышляли. И поначалу все было добрым порядком. Вместях по рыболовным становищам болтаются, где кака питва идет, тут уж они первым бесом.

Царь за рюмку, мужик за стокан. Мужичонка на имя звали Капитон. Он и на квартире стоял от царя рядом.

Осенью домой с моря воротяцца, и сейчас царь по гостям с визитами заходит, по главным начальникам. Этот Капитонко и повадился с царем ходить. Его величию и не по нраву стало. Конешно, это не принято.

Оногды амператора созвали к главному сенатору на панкет. Большой стол идет: питье, еда, фрелины песни играют. Осударь в большом углу красуется. В одной ручки у его четвертна, другой рукой фрелину зачалил. Корона съехала на ухо, мундер снят, сидит в одном жилету. Рад и тому, бажоной, што приятеля нету. Вот пир к концу заприходил.

Царицы Аграфены пуще всех в голову вином ударило. И как только ейной адъютан Королев в гармонь заиграл, она вылезла середка залы и заходила с платочком, запритаптывала:

Эх, я стояла у поленницы, у дров.
По угору едет Ваня Королев.
Отчего далеко видела:
От часов цепочка светила.
Цепочка светила в четыре кольчика,
У милого нету колокольчика.
У милого коробок, коробок,
Я гуляю скоро год, скоро год.

Сенаторы, которы потрезве, смеются:

— Хы-хы! При муже хахаля припеват. Вот до чего — и то ничего.

И вдруг это веселье нарушилось. Капитонко в залу ворвался, всех лакеев распехал, увидал, что царица Аграфена утушкой ходит, сейчас подлетел, ногами шарконул и заходил круг ей вприсядку с прискоком, с присвистом. Песню припеват:

Разве нищие не пляшут?
Разве песен не поют?
Разве по миру не ходят?
Разве им не подают?

А у самого колошишки на босу ногу, у пинжачонка рукав оторван, корманы вывернуты. Под левым глазом синяк. И весь Капитон пьяне вина. Царь немножко-то соображат. Как стукнет по столу, как рявкнет:

— Вон, пьяна харя! Убрать его!

Капитонко царя услыхал, обрадовался, здороваться лезет, целоваться:

— На, пес с тобой, ты вото где! А я с ног сбился, тебя по трактирам, по пивным искавши!

Придворны гости захихикали, заощерялись... Это царю неприлично:

— Кисла ты шерсь, ну, куда ты мостиссе?! Кака я те, пьянице, пара? Поди выспись.

Капитонку это не обидно ли?

— Не ты, тиран, напоил! Не тебя, вампира, и слушаю! Возьму батог потяжеле, всех разбросаю, кого не залюблю!

Брани — дак хоть потолком полезай. Царь с Капитоном драцца снялись. Одежонку привали, корону под комод закатили. Дале полиция их розняла, протокол составили.

С той поры Капитона да амператора и совет не забрал. И дружба врозь. Мужичонко где царя не увидит, все стращат:

— Погоди, навернессе ты на меня. Тогда увидам, которой которого наиграт.

Судятся они с друг другом из-за кажного пустяка. Доносят один на другого. Чуть у царя двор не убрали или помойну яму закастили, мужичонко сейчас к квартальному с ябедой.

Вот раз царь стоит у окна и видит: Капитонко крадется по своему двору (он рядом жил) и часы серебрены в дрова прятат. Уж, верно, крадены. Царь обрадовался:

— Ладно, зазуба! Я тебе напряду на кривое-то веретено.

Сейчас в милицию записку. У мужика часы нашли, и самого в кутузку. Он с недельку отсидел, домой воротился. И даже супу не идет хлебать, все думат, на царя сердце несет. Вот и придумал.

У царя семья така глупа была: и жена, и дочка, и маменька. Цельный день по окнам пялятся, кивают, кавалерам моргают, машут. Царь их никуда без себя не спускат в гости. Запоежжат на войну ли, на промысел, сейчас всех в верхной этаж созбират и на замок закроет.

А в окурат тот год, как промеж царем да Капитонком остуда пала, в царстве свекла не родилась и сахару не стало. Капитонко и придумал. Он в короб сору навалил, сверху сахаром посыпал да мимо царской дворец и лезет, пыхтит, тяжело несет... Царские маньки да ваньки выскочили.

— Эй, мужичок! Откуда эстолько сахару?

— На! Разве не слыхали? Загранишны пароходы за Пустым островом стоят, всем желающим отсыпают.

Ваньки-маньки к царю. Царь забегал, зараспоряжался:

— Эй, лодку обрежай! Мешки под сахар налаживай!

Аграфена с дочкой губы надувают.

— Опять дома сидеть... Выдал бы хоть по полтиннику на тинó, в тиматограф сходить. Дома скука, вот так скука дома!

Царь не слушат:

— Скука? Ах вы, лошади, кобылы вы! Взяли бы да самоварчик согрели, грамофон завели да... Пол бы вымыли.

Вот царь замкнул их в верхном этажу, ключ в домовой комитет сдал, мешки под сахар в лодку погрузили и, конешно, пива ящик на свою потребу. Паруса открыли и побежали за Пустые острова. С царем свиты мужика четыре. Провожающий народ на пристани остался. Все узнали, што царь на сахар кинулся. Капитонко укараулил, што царя нету, сейчас модной сертук напрокат взял, брюки клеш, камаши с калошами, кепку, заместо бороды метлу, штобы не узнали, привязал. Потом туес полон смолы, пеку черного налил, на голову сдынул, идет по городу да вопит:

— Нет ли лбов золотить?! А вот кому лоб золотить?!

К царскому дворцу подошел да как вякнет это слово:

— А нет ли лбов золотить?!

Царева семеюшка были модницы. Оне из окон выпехались, выпасть рады.

— Жалам, мы жалам лбов золотить! Только ты, верно, дорого спросишь?

— По причине вашей выдающей красоты отремонтируем бесплатно. К вам которойду зайти?

— Мы сидим замчёны и гостей к себе на канате, на блочку подымам.

Вот они зыбочку спустили, тот примостился:

— Подымай, готово!

У Аграфены силы не хватает: мужик толстой, да смолы полпуда.

Аграфена девку да матку кликнула. Троима за канат ухватились, дубинушку запели.

Эх, што ты, свая наша, стала!
Эх, да закопершика не стало!
Эй, дубинушка, ухнем!
Эй, зеленая, сама пойдет!

Затянули Капитона. На диван пали, еле дышут:

— Первой экой тяжелой мужик. Вы откулешны будете, мастер?

— Мы европейских городов. Прошлом годе англиску королеву золотом покрывали, дак нам за услуги деплом из своих рук и двухтрубной мимоносец для доставки на родину. Опеть французскому президену, извините, плешь золотили.

— А право есть?

Капитонко им стару облигацию показыват, они неграмотны, думают, деплом.

— А, очень приятно. Этого золота можно посмотреть?

— Никак нельзя. Сейчас в глазах ослепление и прочее. Во избежание этого случая, докамест крашу и полирую, глаз не отворять. Пока не просохнете, друг на дружку не глядеть и зеркало не шевелить.

Царицы жалко стало золота на бабку:

— Маменька-та стара порато, уж, верно, не гожа под позолоту-ту... Маменька, ты в позолоту хошь?

— Ась?

— Хошь, говорю, вызолотицце?

— Ась?

— Тьфу, изводу на тебя нету! Вот золотых дел мастер явился. Хошь обработат?

— На, как не хотеть! Худо ли для свово умиления ко празднику вызолотицца!

Капитон их посадил всех в ряд.

— Глазки зашшурьте. Не моги никотора здреть!

Он смолы поваренкой зачерпнул да и ну, ту да другу, да третью.

— Мастер, что это позолота на смолу пахнет?

— Ничево, это заготовка.

А сам насмаливат. Мажет, на обе щеки водит. У их, у бажоных, уж и волосья в шапочку слились.

А он хвалит:

— Ах, кака прелись! Ох, кака краса!

Те сидят довольнёхоньки, только поворачиваются:

— Дяденька, мне этта ишше положь маленько на загривок...

Капитон поскреб поваренкой со дна. Потяпал по макушкам:

— Всё! Ну, ваши величья! Сияние от вас, будто вы маковки соборны. Сейчас я вас по окнам на солнышко сохнуть разведу.

Аграфену в одно окно посадил, девку в друго, а бабенька на балкончик выпросилась:

— Меня,— говорит,— на ветерку скоре захватит.

Мастеру некогда:

— Теперь до свидания, о ревуар! Значит, на солнышке сидите, друг на дружку не глядите, только на публику любуйтесь. Папа домой воротицца, вас похвалит; по затылку свой колер наведет. Ему от меня привет и поцелуй.

Тут Капитон в окно по канату, да только его, мазурика, и видели.

У царя дом глазами стоял на плошшадь, на большу, на торгову. Там народишку людно. Мимо царский двор народу идет, как весной на Двины льду несет. Окна во дворце открыты, как ворота полы. В окнах царска семья, высмолены сидят, как голенища черны, как демоны. Бабушка на балконе тоже как бугирь какой сидит. Народ это увидел и сначала подумал, што статуи, негритянска скульптура с выставки куплена. Потом разглядели, што шевелятся; рассудили, што арапы выписаны ко двору. А уж как царску фамилью признали, так город-от повернулся. Учали над черными фигурами сгогатывать. Ко дворцу изо всех домов бежат, по дороги завязываются. Матери ребят для страху волокут:

— Будете реветь, дак этим черным отдаим!

Мальчишки свистят, фотографы на карточку царску семью снимают, художники патреты пишут...

О, какой срам!

Напротив царского дома учрежденье было — Земной Удел. И тут заседает меницинский персонал. Начальники-ти и увидали царску фамилью в таком виде и народно скопление. Не знают, што делать. И тут ешше явились извошшичьи деликаты. На коленки пали и сказали:

— Господа начальники! Потому как бабенька царская, прах с има, в черном виде на балконе сидят, дак у нас лошади бросаются, седоки обижаются, потому двоих седоков убило. Пропа-а-ли наши головушки! И-и-хы-хы-ы!

Извошшики заплакали, и все заплакали и сказали:

— Пойдемте всенародно умолять ихны величия, не пожалеют ли, пожалуйсто, простого народу!

Вот запели и пошли всема́ ко дворцу. Выстроились перед палатами в ширинку, подали на ухвате прошение. Аграфена гумагой машет да кивает. И бабка ужимается и девка мигает. Оне думают — народ их поздравлять пришел.

Што делать? Нать за царем бежать. А всем страшно: прийти с этакой весью, дак захвоснет на один взмах. Однако главной начальник сказал:

— Мне жись не дорога. а бутылку даитé, дак слетаю.

Чиновники говорят:

— Ура! Мы тебе и ераплан либо там дирижаб даим, только ты его за границу не угони.

Начальник в ераплан вставился, от извошшиков деликат в кучера. Пар розвели, колесом завертели, сосвистели. Ух, порхнули кверху, знай, держи хвосты козырем!

Пока в городе это дело творицца, царь на Пустых островах в горях, в лютой досады сидит. Ехал ни по што, получил ничего. Ехал — ругался, што мешков мало взяли, приехали — сыпать нечего. Ни пароходов, ни сахару; хоть плачь, хоть смейся. Сидит, егово величие, пиво дует. В город ни с чем показаться совесно. Вдруг глядит — дирижаб летит. Машина пшикнула, пар выпустила, из ей начальник выпал с деликатом. Начальник почал делать доклад:

— Так и так, ваше высоко... Вот какие преднамеренны поступки фамилия ваша обнаружила... Личики свои в темном виде обнародовали. Зрителей полна плошшадь, фотографы снимают, несознательны элементы всякие слова говорят...

Царь руками сплескался да на дирижаб бегом. За ним начальник да деликат. Вставились, полетели. Деликат вожжами потряхиват, начальник колесом вертит, анператор пару поддает, дров в котел подкидыват. Штобы не так от народу совесно, колокольчик отвязал. Вот и город видать, и царски палаты. На плошшади народишко табунится. Гул идет. Меницинской персонал опять стоит да кланеится. Мальчишки в свистюльки свистят, в трумпетки трубят. Царь ажно сбрусвянел:

— Андели, миру-то колько! Страм-от, страм-от какой! Деликат, правь в окно для устрашения!

Народ и видит, дирижаб летит, дым валит. Рра-аз! В окно залетели, обоконки высадили, стекла посыпались, за комод багром зачалились.

Выкатил царь из машины — да к царицы.

За коршень сграбился:

— Што ты, самоедка... Што ты, кольско страшилишшо!

Царь дочку за чуб сгорстал. У ей коса не коса, а смолена веревочка.

Царь на балкон. Оттуда старуху за подолташшит, а та за перила сграбилась да пасть на всю плошшадь отворила. Народ даже обмер. Не видали сроду да и до этого году. Еле царь бабку в комнату заволок:

— Стара ты корзина! Могильна ты муха! Сидела бы да о смертном часе размышляла, а не то што с балкона рожу продавать.

Вот оне все трое сидят на полу — царица, бабка да дочка, и воют:

— Позолоту-ту сби-и-ил, ах, позолоту-ту сгубил! Ах, пропа-а-ла вся краса-а!..

— Каку таку позолоту?!

— Ведь нас позолотили, мы сидели да сох-ли-и.

— Да это на вас золото??? Зеркало сюда!..

Ваньки-маньки бежат с зеркалом. Смолены-ти рожи глаза разлепили, себя увидали, одночасно их в омморок бросило.

Полчасика полежали, опять в уме сделались. Друго запели:

— Держите вора-мазурика!.. Хватайте бродягу!

Царь кулаками машется:

— Сказывайте, как дело было.

Вот те в подолы высморкались, утерлись, рассказывают... Царь слушал, слушал и сам заплакал:

— Он это! Он, злодей Капитонко, мне назлил... Он, вор, меня и из города выманил. Не семья теперь, а мостова асфальтова! Ишь, пеком-то вас как сволокло... Охота людей пугать, дак сами бы сажи напахали, да розвели, да и мазали хари-ти... Дураки у меня и начальники. Кланяться пришли... Взяли бы да из пожарного насоса дунули по окнам-то. Холеры вы, вас ведь теперь надо шкрапить...

— Ничего, папенька, мы шшолоку наварим и пусть поломойки личики наши кажно утро шоркают.

Царь побегал, побегал по горницы, на крыльцо вылетел.

Народишко, который ради скандалу прибежал, с крыльца шарахнулся. Царь кричит:

— Стой! Нет ли человека, кто мужика со смолой в рожу видел?

Выскочили вперед две торговки, одна селедошница, друга с огурцами:

— Видели, видели! Мушшина бородатой, в сертуке, туда полз с туесом, а обратно порозной.

— В котору сторону пошел?

— А будто по мосту да в Заречье справил.

— Тройку коней сюда!— царь кричит.

Тройку подали. Царь с адъютаном сел, да как дунули, дунули, только пыль свилась, да народ на карачки стал. Через мост к зарецким кабакам перепорхнули. Катают туда-сюда: спрашивают про Капитонка.

— Тут?

— Нет, не тут.

— Тут?

— Нет, не этта!

Буди в канской мох мужичонко провалился... А Капитонко ведь там и был. Учуял за собой погоню, бороду, метлу-ту, отвязал, забежал в избушку. Там старуха самовар ставит, уголье на полу месит.

— Ты, бабушка, с чем тут?

— Чай пить средилась. А ты хто?

— Чай пить? Смертный час пришел, а она чай пить... Царь сюда катит, он тя застрелит.

— Благодетель, не оставь старуху!

— Затем и тороплюсь. Скиновай скорей сарафанишко да платок, в рогозу завернись да садись под трубу заместо самовара.

Живехонько они переменились. Капитонко уж в сарафане да платке по избы летат, самовар прячет, бабку в рогозу вертит, на карачки ей ставит, самоварну трубу ей на голову нахлобучил:

— Кипи!

Тут двери размахнулись, царь в избу. Видит, старуха окол печки обрежаится:

— Бабка, не слыхала, этта мужик в сертуке мимо не ехал?

А Капитонко бабьим голосом:

— Как не видеть! Даве мужик мимо порхнул дак пыль столбом.

— В котору сторону?

— Не знай, как тебе росказать... Наша волость — одни болота да леса. Без провожатого не суниссе.

— Ты-та знашь место?

— Родилась тут.

— Бабка, съезди с моим адъютаном, покажи дорогу, найди этого мужика... А я тут посижу, боле весь росслаб, роспался... Справиссе с заданием, дак обзолочу!

Мазурик-то и смекат:

«Золотить нас не нать, а дело состряпам».

— Сидите, грейте тут самоварчик, мы скоро воротимся, чай пить будем.

Капитонко в платок рожу пуще замотал да марш в царску коляску. Только в лесок заехали, эта поддельна старуха на ножку справилась, за адъютана сграбилась, да и выкинула его на дорогу; вожжи подобрала, да только Капитонка и видели.

А царь сидит, на столе чашки расставлят. Бедна старуха под трубой — ни гугу.

На улице и темнеть стало. Царю скушно:

— Што эко самовар-от долго не кипит?

Его величество трубу снял, давай старухе уголья в рот накладывать... Удивляется, што тако устройство. Потом сапог скинул, бабки рожу накрыл, стал уголье раздувать. Старуха со страху едва жива, загудела она, зашумела, по полу ручей побежал... Царь забегал:

— Ох-ти мне! Самовар-от ушел, а их чай пить нету. Скоре надо заварить.

Хотел самовар на стол поставить.

— На! Где ручки-те?

Старуху за бока прижал, а та смерть шшекотки боится: она как взвизгнет не по-хорошему... И царь со страху сревел — да на шкап. А старуху уж смех одолил. Она из рогозы вылезла.

— Ваше величие, господин анператор! Не иначе што разбойник-от этот и был. Как он нас обоих обмакулил, омманул...

Ночью царь садами да огородами пробрался домой, да с той поры и запил, бажоной.

А Капитонко в заграницу на тройке укатил и поживат там, руки в карманах ходит, посвистыват.

ДАНИЛО И НЕНИЛА

В некотором месте королёшко был старой, у́тлой, только тем поддяржился, что у его в секрете вода была живая. Каждо лето на эти воды ездил, да от воды наследники не родятся. Люди натака́ли знающу старуху. Старуха деньги взяла вперед и велела королевы нахлебаться щучьей ухи. Щуку купили, сварили, у́шки поела королева и ейна кухарка. И с этой ухи обрюхатели. Стара королиха принесла одного Федьку-королька, а у молоденькой кухарки родилось два сына, два белых сыра — Данилко да Митька, по матери Девичи.

Время идет, Данило рос, как на опары кис, Митька не отставал, а королек все как котенок. Он с мала вралина был, рева и ябеда. Братья много из-за него дёры схватили. И в училище Данило впереди учителя идет, а Федька по четыре года в каждом классе.

Вот пришли молодцы в совершенны лета. Данило Девич красавец и богатырь; высок — под полати не входит. И Митька в пару. А Федька-королек — чиста облизьяна. Отчишко оногды спьяна розмяк, своей шипучей воды сыну полрюмки накапал, да росточку-то уж не набавил.

А хоть сморчок — да королю сын. Куда поедет — на мягких подушках развалится, а Данило — красавец, да на облучке сидит.

Вот однажды Федькин отчишко прилетел с рынку, тычет наследника тросью:

— Ставай, дармоедина! Счастье свое просыпаш! Соседка наша Ненила Богатырка, из походу воротивши, замуж засобиралась. Женихи-ти идут и едут. Из ейной державы мужики наехали, дак сказывают. А добычи-то военной, добра-то пароходами притянула! Деветь неверных губерен под свою руку привела. Небось не спала!

— Я, папенька, воевать боюсь.

— Где тебе воевать, обсечек короткой! Тебе чужо царство за женой надо взять... Ох, не мои бы годы!.. Ненилка та — красавица и молода, а сама себя хранит, как стеклянну посуду. А работница! Бают, жать подет, дак двенадцать суслонов на упряг. А сенокосу-то ей, пашни-то! Страм будет, ежели Ненилину отчину, соседню, саму ближню, чужи люди схватят.

— Папенька, мне бы экой богатыркой ожениться. Люблю больших да толстых, только боюсь их, издали все смотрю.

— Ты-то любишь, да сам-от не порато кус лакомой. Ей по сказкам-то матерого да умного надо. Испытанья каки — те назначат, физическу силу испытыват. Однако поезжай.

— Я Данилку возьму.

— Да ведь засмеют. Ты ему до пупа!

— Адиеты! Кто же будет ровнеть мужика с королями.

Все же к Федькиным новым сапогам набавили каблуки вершка на четыре. А у Данила каблуки отрубили. Дале Федьке под сертук наложили ватны плечи и сверьху золоты аполеты, также у живота для самовнушения. Подорожников напекли и проводили на пристань. Плыли ночь. Утре в Ненилином городе. Чайку на пристани попили и к девети часам пошли на прием к королевы. Дворец пондравился — большой, двоеперёдой, крашеной, с подбоями, с выходами.

Думали, впереди всех явятся, а в приемной уж не мене десятка женихов и сватовей. Королек спрашиват секретаря:

— Королева принимают?

— Сичас коров подоят и прием откроитсе.

А публика на Данила уставилась:

— Это какой державы богатырь?

Федьке завидно, командует на парня:

— Марш в сени!

А министры Федьку оприметили, докладывают Ненилы:

— Осударына, суседского Федьку испытывайте вне всяких очередей и со снисхождением. Ихна держава с нашей — двор возле двор. Теперь вам только руку протянуть да взять.

— Ладно, подождет. Открывайте присутствие, а я молоко разолью да сарафанишко сменю.

Погодя и она вышла в приемну залу. Поклонилась:

— Простите, гости любящи, задержалась. Скота обряжала да печь затопляла.

Федька на богатырку глянул, папироса из роту выпала. Девка — как Волга: бела, румяна, грудь высока, косы долги, а сама полна, мягка, ступит — дак половица гнется, по шкапам посуда говорит. Федька и оробел. Королевна тоже на его смотрит: «Вот дак жених — табачна шишка, лепунок...» И говорит:

— Твоя рабоча сила нать спробовать, сударь. У меня в дому печи дров любят много. Бежи, сруби вон лишну елку, чтобы окна не загораживала.

Федька затосковал,— ель выше колоколен, охвата в три. Однако нашелся:

— Стоит ли костюм патра́ть из-за пустяка. Это и мой кучер осилит.

У Данилы топор поет, щепа летит. Ненила в окно заглянула, замерла:

— Откуль экой Бова-королевич?! Где экого архандела взели?

Королек сморщился:

— Я сказал, что мой кучер.

Зашумело, ель повалилась. Ненила пилу со стены сдернула:

— Побежу погреюсь. Роспилю чурку-другу́.

Одночасно Данило да Ненила печатну сажень поставили, хотя не на дрова, а друг на друга глядели. Да с погляденья сыт не будешь.

Утром королек торопит:

— Сударына, когда же свадьба?

— Добро дело не опоздано. Нам еще к венцу-то не на чем ехать. Зимой дядя от меня у подряду дрова возил, дак топере кони-ти на волю спушшены. Дома один жеребеночек, в упряжи не бывал. Ты бы объездил.

Федька сунулся в конюшну, пробкой вылетел. Конь — богатырю ездить — прикован, цепи звенят.

— Таких ли,— Федька говорит,— я дома рысаков усмиряю, а этого одра мой Данилко объездит.

Данило не отказался, спросил бычью кожу, выкроил три ремня, свил плеть, в руку толщиной, пал на коня. Видели, богатырь на коне сидит, а не видели повадки богатырские. Только видят: выше елей курева стоит, курева стоит, камни, пыль летят.

Королек от такого страху давно в избу убрался и дверь на крюк заложил. Одна Ненила середи двора любуется потехой богатырскою. Двор был гладок, укатан, как паркет, конь и всадник его что плугом выбрали. Теперь на жеребца хоть ребенка сади.

Назавтра и Федька, разнаредясь, верхом проехаться насмелился. Конешно, Девич повода держал.

Советники к Ненилы накоротки заприступали:

— Как хотите, сударыня, а Федькины земельны угодья опустить нельзя. Дозвольте всесторонне осветить по карты. Вот ихна держава, вот наша. Вот этта у их еловы леса, этта деревья кедровы...

— Мне спать не с деревом кедровым и еловым, а с мужиком! Дня три поманите.

Ненила грубо советникам отрезала, а сердце девичье плачет.

Веселилась, да прираздумалась, радовалась, да приуныла, пела, да закручинилась. Полюбила Даниловы кудри золотые, завитые.

День кое-как, а ночью — соболино одеяло в ногах да потонула подушка в слезах:

— Данилушко, я твой лик скоро не позабуду!

И во сне уста сами собою именуют:

— Данилушко!

Данилушко не дурак — это заметил. Тоже сам не свой заходил. Ненила где дак бойка, а тут не знает, как быть. И сроку не то что дни, часы осталися считанные.

Данило пошел на заре коня поить, Ненила навстречу. Мешкать некогда. Он выговорил:

— Неужели, госпожа, ты моя, да моя?!

— Уж и вправду, господине, твоя, да твоя!!

И любуют друг друга светлым видом и сладким смехом.

Федька это вышпионил, сенаторам наскулил. Сенаторы опять поют:

— Ох, государыня... Конечно, Федька против Данилы — раз плюнуть, но ведь за Федькой-то земельных угодьев у-ю-ю!

Ненила заплакала:

— Ах вы, бессовестные хари! Я на двенадцати войнах была, разве мало земли добыла?!

Сенаторы Ненилу зажалели, отступились уговаривать. Корольку сказали:

— Наша Ненила досюль была спяща красавица. Данило ее разбудил. Пущай она дичат, как знат.

Федька взял да купил знающу личность по медицине. Личность дала травы сбрунéц, от которой память отымается. Федька подсыпал сбрунца Нениле в чай. Она выпила две чашки и сделалась без понятия. Федька забегал по дворцу:

— Сию минуту сряжать королевну под венец!!

Фрейлины испугались, что Ненила молчит, однако живо обрядили, к венцу повезли. Тут Девич налетел, растолкал свадебников, схватил Ненилу за руку:

— Госпожа! Ты помнишь ли?

Она долго на него смотрела:

— Ваша личность мне кабыть знакома...

Он заплакал навзрыд. Ушел к морю.

На обрученье Ненила только одно слово выговорила:

— Данилушко, ты у меня слезами полит, тоскою покрыт!

Ей ни к чему, что возле-то Федька.

Сенаторы и народ засморкались, слезы заутирали. И как венчать стали, невеста второ слово высказала:

— Венчается Данило Нениле, а маленька собачка Федька не знай зачем рядом стоит.

Тут весь народ и с попами по домам полетели:

— Это свадьба не в свадьбу и брак не в брак!

Личность, у которой королек траву купил, тоже спокаялась, отыскала Девича, шепчет ему:

— Не реви! Этот угар у королевны к утру пройдет. Мы обманули Федьку. Он на месяц дурману просил, а мы дали на сутки.

А Федька скорехонько погрузил Ненилу на пароход. Она в каюте уснула как убита. Плыть всю ночь. Данило вахту дежурит, по морю лед идет весенний, по молодецкому лицу слезы.

И королек свое дело правит. Подкрался да оглушил Девича шкво́рнем. Тело срыл в море.

Утром берег стал всплывать и город.

Федька ходит козырем:

— Ненилка месяц будет не в уме. Я ее выучу по одной половице ходить.

Повернулся на каблуке, а Ненила сзади стоит, здорова и в памяти, только брови, как медведи, лежат:

— Я как сюда попала?

У Федьки живот схватило:

— Вы, значит, со мною обвенчавши. И плывете, значит, в наши родные палестины-с!

Ненила вдруг на палубу упала, руки заломила:

— Что со мной стряслось? На войне я была удала и горазда, а тут...

Она вдруг сделалась стра́шна, гро́зна.

— Где Данило Девич?!

— Данило накачался на свадьбе как свинья; не свалился ли в воду с пьяных глаз...

Но тут пароход к пристани заподоходил. Музыка, встреча, отчишко с министрами, народ. В пристанском буфете сряжен банкет. Все в одну минуту напосудились без памяти. Явился Митька пытать о брате. Королек насильно налил Митьку вином, с отцом пошушукался и под шумок стянули они пьяного в лодку. Отчишко уплавил тело к морю, валил на пески, ножом вывертел сонному глаза и угреб обратно.

А Федька, как за стол-то воротился, думает, ничего никто не приметил. Глядь, Ненила подходит:

— Кого куда в лодке повезли?

— Митьку, Данилкинова брата, папаша вытрезвлять поехал.

Мать Данилы да Митрия тут привелась, заревела медведицей:

— Убивать повезли моего детища! И Данилу убили!!

На дворе тишина стала. Ненила, как туча грозова, приступила к Федьке:

— Где Данило?!

Королек завертелся собакой:

— С пароходу пьяной упал, на моих глазах захлебнулся.

Матка опять во весь двор:

— Врешь ты, щучий сын! Не пьет мой Данилушко, в рот не берет. Где они?! Где мои рожоны дети?!

Ненила королька за плечо прижала, ажно он посинел:

— Сказывай, вор, где ейны дети?!

Федька вырвался, по полу закатался, заверещал свиным голосом:

— Эй, слуги верны-ы! Хватайте мою жену Ненилку, недостойную королевского ложа! Я Данилку ейного своеручно в море спихнул, как комара, а ее, суку, на воротах расстреляю! Вяжите ее! Каждого жалую чином и деньгами!

Середи двора телега привелась ломовая, оглобли дубовы велики. Ненила Богатырка вывернула эку семисаженну снасть да как свиснет, свиснет наокруг: по двору пыль свилась с каменьем, из окошек стекла посыпались. Брызнул народишко кто куда, полезли под дом, под онбары, на чердак, на сенник, в канаву. Сутки так и хранились, как мертвы. Старой королешко ухватил с собой десяток мужиков поудалее, да на двух телегах и удрал неведомо куда.

Воля во всем стала Ненилина.

Перво дело она послала людей к морю искать Данила и Митрия, да от себя подала во все концы телеграммы. Посыльны бродили неделю, принесли голубой Данилов поясок:

— Не иначе рыбы съели братанов. По берегу есть костья лежит.

Ненила убрала в сундук цветны сарафаны, наложила на голову черной плат. Ни с кем боле не пошутит, не рассмехнется. День на управленье да при хозяйстве, а после закатимого сядет одинохонька у окошка, голубу Данилову опояску к сердцу прижмет и запричитат:

Птичкой бы я была воронкой,
Во все бы я стороны слетала,
Под кажду бы лесинку заглянула,
Своего бы дружочка отыскала.
. . . .

Месяц мой светлый,
Почто рано погиб?!
Цвет мой прекрасный,
Почто рано увял?!

Народ-от мимо идут, дак заслушаются.

А Федьке королевна объявила:

— Не знаю, что скажет осень, а нонешно лето будь ты пастух коровий в Митькино место.

Он и пасет, вечером домой гонит. Ненила с подойником у хлева ждет и считает, все ли коровы. Пересчитат и велит корольку последню под хвост поцеловать. Эта корова так уж и знат. Дойдет до конюшны, остановится и хвост подымет.

А Данило не утонул, с парохода упал. Примерз рукавом к льдине. Утром прикачало к берегу. А встать не может, ноги умерли с морозу. Федьки боится, в лес на коленцах бежит, ноги, как кряжи, волокет. И вдруг слышно — лес трещит впереди. Не медведь ли? И закричал:

— Зверь али человек?!

И увидел слепого брата. Поплакали, посидели, рассказали друг другу.

— Помрем лучше, братец,— говорит слепой,— кто нам рад эким-то?

— По миру будем ходить, коли работать не заможем,— утешит безногой.— У тебя ноги остались, у меня глаза. Посадишь меня на плечи, целой человек и станет. А теперь затянемся в тайболу, переждем, не обойдецце ли Федькино сердце.

Зашагал слепой под север, на себе несет брата, тот командует:

— Право!.. Лево!.. Прямо!..

У глухого озера нашли избушку, от ветру, дождя схорониться. Связали из вичья морды-ловушки — рыбку промышляют.

Ненилины послы далеко заходили, а глухого озера половины не дошли.

Живут братья, быват, и месяц.

Оборвались, в саже умарались. Данило и сказыват:

— Вот что, Митя, зима этта пострашне будет Федьки. Топора нет, ножа нет, соли нет, спичек нет. Надо выходить на люди. Я надумал вот чего попытать. Отсюда под юг должна быть трактова дорога. Я смала езжал. По дороге, все под юг итти, Федькиного отчишка летней дом с садом. В саду гора, в горы две дыры вьюшками закрыты. Одна дыра шипучих минеральных вод, друга дыра огнедышаща, подземну лаву выкидыват. Шипуча-та вода прежде всем хромым, слепым пользу подавала. Про это заграбучий Федькин папенька пронюхал, сад и гору каменьем обнес, никому ходу не стало. Только сам летом окатываться да пить наезжат. К этой воды станемко подвигаться.

У озера отмылись, вяленой рыбки увязали, сел хромой слепому на плечи, командует:

— Право!.. Лево!... Прямо!..

Подойдут да полежат у ручейка либо где ягод побольше. Нашли трактову дорогу, по дороге в сутки добрались до королевской дачи. Кругом горки и сада высоченна ограда. Рядом деревнюшка. В деревню бедны странники и зашли. Кресьяне забоялись эких великанов, на постой не пускают. Что делать? Сели у колодца, рыбки пожевали, напились. И пришла по воду девица, тоненька, беленька, личушко как яичушко, одета пряжей по-деревенски. Данило и заговорил:

— Голубушка, не бойся нас, убогих людей, мы случаем жили в лесу, оборвались, обносились. Приволоклись сюда по добру живу воду.

Девица покачала головой:

— Напрасно трудились, бедняжки. Единой капли не добудете. Видите, коль ограда высока. А тепере королешко приехал, дак и близко ходить не велено.

— Старик приехал? Когда?

— Да уж около месяца. Прикатили на двух телегах, кони в мыле... Не стряслось ли чего в городе?

Данило весь стрепенулся — не моя ли там желанна воюет? Да поглядел на свои ноги, приуныл — кому я, увечной, надо?.. Дале говорит:

— Голубушка, обидно ни с чем уходить. Охота здесь вздохнуть хотя недельку. Не слыхала ли баньки, кухонки порозной? У нас цепи есть серебряны, мы бы хлебы и постой оплатили.

Девица на братьев посмотрела: хоть рваны, убоги, а люди отменйты, приятны, красивы, обходительны.

— У меня горница свободна. Я одна живу сирота. За постой ничего не надо. Я портниха, зарабатываю.

Девицу звали Агнея. Братья тут и стали на постое.

Данило на хозяюшку все любуется, свою зазнобу вспоминат, а Митя разговору не наслушался бы. Настолько Агнея приветлива, разумна, рассудительна. Данило и спрашивает:

— Скажи-ко, Агнея, старик-от в деревню показывается ли?

— Навеку не бывал. Только и видим — в усадьбу едет да оттуда.

— О, горе наше, горе! Чашечку бы, ложечку этой доброй водички — стали бы целы. Помрем лучше, Митька!

Агнея слушат, зашиват ихну одежду, свою думу думат. Назавтра принесла деревенски вести:

— Королешко-то сторожа в деревню гонял, нет ли бабы для веселья... Жалею я вас, молодцы, может, ради водички схожу туда?

— Брось, Агнея! Слушать негодно!

Вечером она срядилась по-праздничному:

— Я, братцы, к девушкам на игрище.

Вот и отемнало, люди отужинали, ей все нету.

Митрий пошел к соседям:

— Сегодня и́грище где?!

— В страду что за игрища?!

Братья заплакали:

— Она туда ушла! Ушла ради нас!

А она и идет:

— Не убивайтесь, каки вы эки мужики! Никто меня не задел. Уверилась только, что воды ни за каки услуги старичонко не даст. Добром никак не взять, надо насильно.

Митька перебил:

— Ты, Агнея, с краю сказывай.

— Я даве, нарядна-то, прохаживаюсь возле ворот, меня король и оприметил. Сторожа выслал. «Пожалуйте в сад». Зашла, трясусь, а королешко возле ездит, припадат, лижет. Я будто глупенька — зачем гора, и зачем вода, и кто сторожит? Он вилял, вилял, дале рассказал. Перва от ограды труба и есть минеральная, дальня огненна. Крышки у труб замкнуты и ключи затаены. Вам придется ломать. Вся дворня спит в дому. У ворот один сторож. Вот, братаны, завтра у нас либо грудь в крестах, либо голова в кустах.

Сегодня я отдулась, завтра ночевать посулилась. Вы к ночи-то будто пьяны, валяйтесь там у ворот. Я караульного напою и вас запущу.

— Благодарствуем, Агнеюшка, целы уйдем — в долгу у тебя не останемся.

На другой день, на закате, Агнея опять приоделась, в зеркало погляделась — лицо бумаги беле. Нарумянилась и брови написала, в узелок литровку увязала, простилась, ушла. Как вовсе смерклось, и хромой со слепым полезли туда же. Один ломом железным подпирается вместо клюки, другой, на короушках ползет, видно, что оба пьяне вина. Дальше стены пути не осилили. Тут запнулись, тут захрапели.

И Агнея свое дело правит. Позвонилась, со сторожем пошутила, бутылку ему выпоила. Короля по саду до тех пор водила, пока дворня спать не легла. Как огни в дому погасли, и Агнея на отдых торопилась. Кавалера в спальню завела, сапоги с него сдернула, раздела, укутала, себе косы расплела, да и заохала:

— О, живот схватило!

Вылетела из дому, в сторожке храпят. Ключ схватила, ворота размахнула, а хромой уж оседлал слепого. Она Митрия за руки и — в сад:

— Ближну трубу ломайте с одного удару. Лишний гром наделаете, тревога подымется, умыться не поспеете. Я побежу, старик хватился.

Старик в самом деле на лестнице ждет.

— Что долго?

— Сударь, пожалуйте в горницу! Ночь холодна.

Вдруг грохнуло где-то, окно пожаром осветило. Старик всполошился:

— Что это?

— Луна выкатилась больша, красна. А стукнуло — охотники в лесу стрелили.

Сама плешь ему одеялом кутат, обнимат, балует. В саду опять гременуло, люди забегали.

Старик соврал Агнее, что с живой водой ближний колодец, соврал не без умысла. Данило подполз на коленях к первой трубе, ахнул ломом по чугунной крыше, оттуда лава огнедышащая. На счастье, братьям опалило только волосы и одежду, а огнем осветило в стороне другой колодец. Данило бросился туда ползунком,— лом вместо костыля, да опять как грянет в чугунные затворы... Замки, краны отлетели, чохнула вода ледяна, игриста. Данило пал под поток, зовет:

— Митя, Митя!

А слепой уж тут, глаза полощет.

От доброй воды живой срослися кости с костями, вошли суставы в суставы. Данило вскочил на ноги, и Митька во все глаза смотрит — стал видеть. А радоваться некогда. Дворня бежит с топорами, с саблями. Ну, теперь-то Данило да Митрий богатыри, целы да здоровы — никого не испугаются. Как туча с громом, налетели на королевску челядь, у Данила лом в руках, у Митьки столб оградной, только воевать не с кем. Кто лежит, кто за версту бежит.

Агнею нашли, весело поздравились. Лакей из тех, что со старичонком приехал, выложил все новости.

Королевство под Ненилой, а под Федькой — коровы. А королевна Ненила каждый вечер Данила оплакиват — за версту слыхать.

Данило боле не терпит:

— Сегодня же в город!

Митрий добавлят:

— Агнея с нами. Она за меня замуж согласилась.

Покатили с колокольчиком. Дорогой коней три раза кормили. В городе Митя с Агнеей на постоялом стали, Данило попозже задней улицей подошел ко дворцу. Слышит, скот мычит, Федько коров гонит. До того Данило думал — встречу, изуродую. А тут жалко стало. Спрятался за навозны вороты и видит — Ненила в черном платке, с подойником вышла и прислонилась у конюшни. Стали коровы заходить, а последня остановилась и хвост призняла и Федька ей целует... Этого Данило не стерпел. Налетел как орел, схватил коровенку за хвост, ажно шкура долой. И Ненилу за косу да о землю:

— Как ты можешь над мужиком эдак изгиляться??!

Ненила как с ног слетела, так и не встала. Обняла парня за праву ножечку, плачет да смеется:

— Бей меня, трепли, убивай! Ведь я твоя, твоя, Данилушко! Изгасла по тебе!

. . . .

Как дорожны-ти люди в себя пришли, села Ненила с Данилом рука об руку — неделю с ним проговорила:

— Отступиться хочу здешнего о́сьего гнезда. Этта все не мое и сердце ни к чему не радет. А дома короушки, осударственно управление, огороды, мельница — все на людей кинуто. Поедем ко мне, Данилушко, вместях будем королевствовать. У нас место обширно — пашня тут и сенокос тут. Агнею с Митей утенем з собой. Агнюшка нас с мели сдернула.

Вот и уехали, увезли свое счастье Данило и Ненила, Агнея и Митька. Матерь-та при них же.

А Федька с отчишком и остались на бубях.

СКАЗКИ О ШИШЕ

КУРИЧЬЯ СЛЕПОТА

Недалеко от Шишова дома деревня была. И была у богатого мужика девка. Из-за куриной слепоты вечерами ничего не видела. Как сумерки, так на печь, а замуж надо. Нарядится, у окна сидит, рожу продает.

Шиш сдумал над ней подшутить.

Как-то, уж снежок выпал, девка вышла на крыльцо.

Шиш к ней:

— Жаланнушка, здравствуй.

Та закланялась, запохохатывала.

— Красавушка, ты за меня замуж не идешь ли?

— Гы-гы. Иду.

— Я, как стемнеет, приеду за тобой. Ты никому не сказывай смотри.

Вечером девка услыхала — полоз скрипнул, ссыпалась с печки. В сенях навертела на себя одёжи — да к Шишу в сани. Никто не видал.

Шиш конька стегнул — и давай крутить вокруг девкиного же дома. Она думает — ух, далеко уехала!

А Шиш подъехал к ее же крыльцу:

— Вылезай, виноградинка, приехали. Заходи в избу.

— Да я не знай, как к вам затти-то. Вечером так себе вижу.

— А у нас все как у вас. И крыльцо тако, и сени... Заходи — да на печь, а я коня обряжу.

Невеста с коня, а Шиш дернул вожжами — да домой.

А девка на крыльцо, в сени, к печи... На! — все как дома...

Сидит на печи. Рада, ухмыляется. Только думает: «Что же мужня-то родня? По избе ходят, говорят, а со мной не здороваются...»

Домашние на нее тоже поглядывают:

— Что это у нас девка-то сегодня как именинница?..

А она и спать захотела. Давай зевать во весь рот:

— Хх-ай да бай! Хх-ай да бай! Вы что молчите? Я за вашего-то парня замуж вышла, а вы, дики, ничего и не знаете?!

Отец и рот раскрыл.

— Говорил я тебе, старуха, купи девке крес, а то привяжется к ней бес!..

ШИШ И ТРАКТИРЩИЦА

По свету гуляючи, забрел Шиш в трактир пообедать, а трактирщица такая вредня была, видит: человек бедно одет — и отказала:

— Ничего нет, не готовлено. Один хлеб да вода.

Шиш и тому рад:

— Ну, хлебца подайте с водичкой.

Сидит Шиш, корочку в воде помакивает да посасывает. А у хозяйки в печи на сковороде гусь был жареный. И одумала толстуха посмеяться над голодным прохожим.

— Ты,— говорит,— молодой человек, везде, чай, бывал, много народу видал, не захаживал ли ты в Печной уезд, в село Сковородкино, не знавал ли господина Гусева-Жареного?

Шиш смекнул, в чем дело, и говорит:

— Вот доем корочку, тотчас вспомню...

В это время кто-то на хорошем коне приворотил к трактиру. Хозяйка выскочила на крыльцо, а Шиш к печке: открыл заслонку, сдернул гуся со сковороды, спрятал его в свою сумку, сунул на сковороду лапоть и ждет...

Хозяйка заходит в избу с проезжающим и снова трунит над Шишом:

— Ну что, рыжий, знавал Гусева-Жареного?

Шиш отвечает:

— Знавал, хозяюшка. Только он теперь не в Печном уезде, село Сковородкино живет, а в Сумкино-Заплечное переехал.

Вскинул Шиш сумку на плечо и укатил с гусем.

Трактирщица говорит гостю:

— Вот дурак мужик! Я ему гуся загадала, а он ничего-то не понял... Проходите, сударь, за стол. Для благородного господина у меня жаркое найдется.

Полезла в печь, а на сковороде-то.... лапоть!

ШИШ ПРИХОДИТ УЧИТЬСЯ

Шиш бутошников-рогатошников миновал, вылез на площадь. Поставлены полаты на семи дворах. Посовался туда-сюда. Спросил:

— Тут ума прибавляют?

— Тут.

— Сюда как принимают?

— Экзамен сдай. Эвон-де учителевы избы!

Шиш зашел, котора ближе. Подал учителю рубль. Учитель — очки на носу, перо за ухом, тетради в руках — вопросил строго:

— Чего ради семо прииде?

— Учиться в грамоту.

— Вечеру сущу упразднюся, тогда сотворю тебе испытание.

После ужина учитель с Шишом забрались на полати.

Учитель говорит:

— Любезное чадо! Грабисся ты за науку. А в силах побои терпеть? Без плюхи ученье не довлеет. Имам тя вопрошати, елика во ответах соврешь, дран будешь много. Обаче ответствуй, что сие: лапкой моется, на полу сидяще?

— Кошка!

Учитель р-раз Шиша по шее...

— Кошка — мужицким просторечием. Аллегорически глаголем — чистота... Рцы паки, что будет сей свет в пещи?

— Огонь!

Р-раз Шишу по уху:

— Огонь глаголется низким штилем. Аллегорически же — светлота. А како наречеши место, на нем же возлегохом?

Шиш жалобно:

— Пола-ати.

Р-раз Шиша по шее:

— Оле, грубословия твоего! Не полати, но высота!.. На конце восписуй вещь в сосуде, ушат именуемом.

— Вода.

Р-раз Шиша по уху:

— Не вода, но — благодать!

Я тут не был, не считал, сколько оплеух Шиш за ночь насобирал. Утром учитель на улку вышел, Шиш кошку поймал, ей на хвост бумаги навязал, бумагу зажег. Кошка на полати вспорхнула, на полатях окутка зашаяла, дыму до потолка... Шиш на крыльцо выскочил. Хозяин гряду поливат. Шиш и заревел не по-хорошему:

— Учителю премудре! Твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту, неси благодать, а то ничего не видать!!!

Сам ходу задал,— горите вы с экой наукой!

ШИШ СКЛАДЫВАЕТ РИФМЫ

Тащился Шиш пустынной дорогой. Устал... И вот обгоняет его в тарантасе незнакомый мужичок. Шишу охота на лошадке подъехать, он и крикнул:

— Здорово, Какойто Какойтович!

Мужичок не расчухал в точности, как его назвали, но только лестно ему, что по отчеству взвеличили. Тотчас попридержал конька и поздоровался.

— Что,— спрашивает Шиш,— аль не признали?

Мужичок говорит:

— Лицо будто знакомое, а не могу вспомнить...

— Ды мы тот там год на даче в вашей деревне жили.

— А-а-а!.. Извиняюсь!.. Очень приятно-с!

— Как супруга ваша? — продолжает Шиш.

— Мерси. С коровами все... Да вы присядьте ко мне, молодой человек. Подвезу вас.

Шишу то и надо. Забрался в тарантас, давай болтать. Обо всем переговорил, а молча сидеть неохота. И говорит Шиш спутнику:

— Хозяин, давай рифмы говорить?!

— Это что значит рихмы?!

— Да так, чтобы было складно.

— Ну, давай.

— Вот, например, как звали твоего деда?

— Кузьма.

Я твоего Кузьму
За бороду возьму!..

— Ну, уж это довольно напрасно! Моего дедушку каждый знал да уважал. Не приходится его за бороду брать.

— Чудак, ведь это для рифмы. Ну а как твоего дядю звали?

— Наш дядюшка тоже были почтенные, звали Иван.

Твой Иван
Был большой болван!

Шишов возница рассвирепел:

— Я тебя везу на своем коне, а ты ругаться!.. Тебя как зовут?

— Леонтий.

— А Леонтий, так иди пешком!

— Дяденька, это не рифма...

— Хоть не рихма, да слезай с коня!

Дядька с бранью уехал, а Шишу остаток пути пришлось пройти пешком. И смешно и досадно.

ПРАЗДНИК ОКАТКА

Смолоду-то не все же гладко было у Шиша. Ну, беды мучат, да уму учат. Годов-то двадцати пришвартовался он к некоторой мужней жене. Муж из дома — Шишанко в дом.

Собрался этот муж в лес по бревна.

— Жена, с собой чего перекусить нет ли?

Она сунула корок сухих:

— Жена, неужели хлеба нету помягче, с маслицем бы?

— Ладно и так. Не маслена неделя.

Муж уехал, а к ней Шишанушко в гости. Засуетилась, блинов напекла гору, масла налила море, щей сварила.

А у мужа колесо по дороге лопнуло, он сторопился домой. Жена видит в окно:

— О, беда! Мой-то хрен без беды не ездит. Ягодка, ты залезь в кадку, она пустая... Он скоро колесо сменит...

Муж заходит:

— Колесо сменить вернулся... Ишь как у тебя дородно пахнет. Дай закусить.

Жена плеснула щей.

— Я блинка любил бы...

— Блины к празднику.

Взяла миску с блинами и выпружила в кадку спрятанному Шишу.

— Жена! Ты что?!

— Сегодня праздник Окатка — валят блины в кадку...

Муж и догадался. Схватил чугун со щами:

— Жена, ты блины, а я для праздника, для Окатка, щей не пожалею.

И чохнул горячими щами в кадку.

Шишанко выгалил оттуда на сажень кверху — да из избы...

БОЧКА

В каком-то городе обзадорилась на Шиша опять мужня жена. Одним крыльцом благоверного проводит, другим Шиша запустит.

Однажды муж негаданно и воротился. Куда друга девать? А в избе бочка лежит. Туда Шиш и спрятался, да только сапоги на виду.

Муж входит — видит сапоги...

— Жена, это что?!

— А вот пришел какой-то бочку нашу покупать, залез посмотреть, нет ли щелей... Продадим ему, нам бочка без пользы... Эй, молодец! Ежели высмотрел, вылезай, сторгуйся с хозяином!

Муж не только что бочку продал, а и до постоялого двора домой нести Шишу пособил...

ШТИ

Одна Шишова любушка крепко его к другой ревновала. Бранить не бранила, а однажды с горя шуточку придумала.

Поставила ему шти с огня, кипячие.

Да забылась, хлебнула поваренку на пробу и рот обварила. Не стерпела, заревела.

Шиш дивится:

— Ты чего? Обожглась?

А эта баба крепка была:

— Не обожглась, а эдаки шти маменька-покоенка любила. Как сварю, так и плачу...

А Шишу в путь пора. Ложку полну хватил и... затряс руками, из глаз слезы побежали.

Ехидна подружка будто не понимат:

— Что ты, желанный? Неуж заварился?

— Нет, не заварился, а как подумаю, что у такой хорошей женщины, как твоя была маменька, така дочка подла, как ты, дак слезы ручьем!

ТИЛИ-ТИЛИ

Какой-то день прибежали к Шишу из волости:

— Ступай скоре. Негрянин ли, галанец приехал, тебе велено при их состоять.

Оказалось, аглицкой мистер, знающий по-русски, путешествует по уезду, записывает народные обычаи, и Шишу надо его сопровождать. На Шише у всех клином свет сошелся.

Отправились по деревням. Мистер открыл тетрадку:

— Говорите теперь однажды!

Шиш крякнул:

— Наш первой обычай: ежели двоим по дороге и коняшку нанять жадничают, дак все одно пеши не идут, а везут друг друга попеременно.

Мистер говорит:

— Ол райт! Во-первых будете лошадка вы. Я буду смотреть на часы, скажу «стоп».

— У нас не по часам, у нас по песням. Вот сядете вы на меня и запоете. Доколь поете, я вас везу. Кончили — я на вас еду, свое играю.

Стал Шишанушка на карачки. Забрался на него мистер верхом, заверещал на своем языке песню: «Длинен путь до Типперери...» Едут. Как бедной Шиш не сломался. Седок-от поперек шире. Долго рявкал. Шиш из-под него мокрехонек вывернулся. Теперь он порхнул мистеру на загривок.

— Эй, вали, кургузка, недалеко от Курска, семь верст проехали, семьсот осталось!

Заперебирал мистер руками-ногами, а Шиш запел:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..

Мистер и полчаса гребет, а Шишанко все нежным голосом:

Тили-тили,
Тили-тили,
Тили--тили!..
. . . .

У мистера три пота сошло. Кряхтит, пыхтит... На конце прохрипел:

— Вы будете иметь окончание однажды?

Шиш в ответ:

— Да ведь песни-то наши... протяжны, проголосны, задушевны.

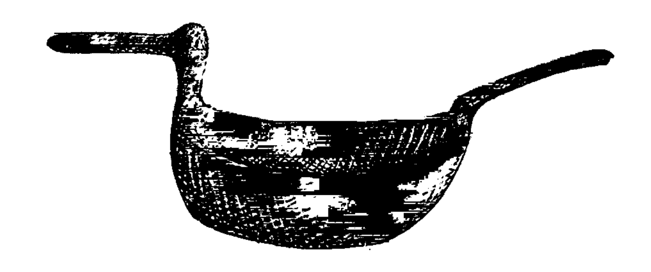
Тили-тили,
Тили-тили,
Тили-тили!..
. . . .

Бедный мистер потопал еще четверть часика да и повалился — где рука, где нога:

— Ваши тили-тили меня с ног свалили!



НАРОД-ХУДОЖНИК



Беломорская Русь
Слово устное и слово письменное
Пословица
Загадка
Красное словцо
Пословицы в рассказах

СТИХОСЛОЖНЫЙ ГРУМАНТ
Грумаланский песенник
Грумант-медведь
Общая казна
Болезнь
Грумаланские отцы
Сказочник
На Мурман
В море
Ловля белух
На выволочный
Новоземельские промыслы на моржа
Сельдяной промысел в Ледовитом океане
и Белом море

ИЗ ЗАПИСЕЙ
Село Сура на Пинеге
Деревня Кижма на Мезени
Дорогая гора на Мезени
Знакомство с женихом
Из рассказов Опроксеньи Тимофеевны, 35 лет
В деревне
Ответ отца
Якорный мастер
Дети
Сказы о вождях

17 Б. Шергин

Царь-птица

Счастье-птица



В дневнике Б. Шергина есть такая запись: «В свое время писал работу, принята была, но не пошла в ход, не опубликована была, время и обстановка затеряли ее. И я махнул рукой, не в подъем мне эта работа протаскивать самому...»

В автобиографической заметке, составленной, как можно предположить, вскоре после войны для какого-то учреждения, есть следующие слова: «В 1941 году по договору мною представлена в Гослитиздат книга «Народ-художник». Книга эта, выход которой задержали военные события, содержит собранный и обработанный мною матерьял по народной устно-поэтической философии труда...»

Можно предположить, что речь идет об одной и той же рукописи.

Вот еще известный художник И. С. Ефимов в своих воспоминаниях (М., «Советский художник», 1977) говорит: «У него хранятся записи и материалы о старинных мастерах резьбы, крестьянской росписи, по древнему кораблестроению... И в нашу ли эпоху может совершиться такая ошибка, чтобы эти жемчужины русской речи пропали, засыпанные и раздавленные мусором убогой жизни, в которой этот несравненный человек живет в преклонном возрасте...»

Нетрудно предположить, что это была за рукопись, потому что тема эта —«народ-художник»— настолько органична всему творчеству Шергина, всему тому, что он «записал» и что написал сам, что такое название вполне подошло бы и к любой его изданной книге.

Здесь предпринята попытка соединить в одной «главе» тот материал, который прямо можно отнести к обозначенной самим Шергиным теме.

Вообще для Шергина всегда было трудной задачей придать своим рукописям, которые составлялись из сказаний, «древних памятей», народных песен, былин, старин, сказок и записей современного устного народного творчества, книжный вид, который бы легко, без всяких сомнений и вопросов воспринимался нашим издательским производством. Ведь одно дело — роман, повесть или сборник рассказов, тут все и всем привычно и понятно. А здесь? Еще куда ни шло, если, к примеру, сказки отдельно, былины отдельно... Да и как быть с авторством, если все это — народное, то есть как бы и ничье? Да и можно ли считать полноценным автором — в нашем беллетристическом понимании,— если он одно «записывает», другое «запомнил», третье «списал» из старой рукописной книги? И вот такие затруднения внешнего порядка всегда оказывались трудно преодолимым барьером при издании книг Шергина. Может быть, по этой причине прежде всего первые книги Шергина — до «Океана — моря русского»— носили явно выраженный ф о л ь к л о р н ы й облик, они не претендовали на выражение некой сознательной мысли автора о художественной и философской сути народного искусства, вообще о первостепенности народа во всем историческом, социальном и культурном жизнестроительстве. Да

такие мысли были не только не в почете у господствующих в науке и в искусстве представлений, но подвергались и самым прямым преследованиям. Поэтому ничего не было странного в том, что рукопись с названием «Народ-художник» затерялась и пропала в издательских недрах.

Но если в довоенных книгах Шергина был преимущественно «материал», который бы мог послужить хорошим поводом для такой важной, но не востребованной общественной мыслью темы о народном художественном гении, то первая же послевоенная книга «Поморщина-корабельщина» (1947), в которой была прямо высказана мысль о народе-художнике, не только не была поддержана фольклорной наукой, не только не была замечена и воспринята, но подверглась суровому разгрому уже вполне созревшими к тому времени строгими блюстителями мертвой «фольклорной науки» и новой «официальной народности».

Так была отвергнута попытка Шергина сказать о самом важном и самом заветном, о том, что составляет сердцевину всего народного живого искусства,— о живых художественных традициях, о связях народного «речения» со всем образом жизни человека (правда, этот образ жизни получался уже как бы прежний, бывший), со всем кругом его интеллектуального бытия: характером нравственного сознания, восприятием истории, поэтическим осознанием окружающей природы и себя как ее одухотворенной части, наконец — с «народной устно-поэтической философией труда» как творчества, которое имеет целью не какие-то абстрактные госзадания, госпоставки и планы, а здоровую и свободную, радостную для человека жизнь. Ведь возможность такой именно жизни открывала человеку Октябрьская революция, и недаром рыбак-помор Матвей Корельский, герой шергинского рассказа «Матвеева радость», называет ее «честной революцией».

Среди материалов, которые составили главу «Народ-художник», на первое место нужно, видимо, поставить размышления Шергина о языке народной устной и письменной речи, о «живом творческом говоре»— именно здесь, по мнению Шергина, нагляднее всего выразился художественный гений народа, и выразился без участия «посредников», которые неизбежны в тех видах искусства, которые народ так или иначе заказывает — в иконописи, например, или в архитектуре. Конечно, такие «посредники» неизбежны и при переводе устного слова в письменное, какими, например, оказываются филологи-фольклористы. Но Шергин никогда не принадлежал к таким фольклористам. Задачей его «записей» было не столько слово, сколько сам человек, выражающийся в своей речи, в живой интонации, в жесте,— все это для Шергина было таким же красноречивым и многоговорящим материалом, как и слово.

Даже короткие «записи», какие он делает в поездах, на пароходах, на улице, свидетельствуют о том, что слово здесь это ключ к внутреннему миру человека, к его чувству и переживанию, к тому, как он воспринимает красоту окружающего мира. Писатель А. К. Югов, глубоко знавший русский язык, называл Шергина «волшебником русского слова» и «непогрешимым художником». Но в чем состоит это волшебство и непогрешимость художественного вкуса?

Только в том, что слово его никогда не бывает внешним, суетно-пустым, но всегда с предельной точностью выражает самое высокое душевное движение человека, и оказывается, что для этого вовсе не нужно много слов, но нужно только одно-единственное точное слово. Посмотрите: при всей обычности персонажей как они свободны от забот меркантильных, мелких, от бытовой суеты, от всего, что второстепенно, что как бы само собой разумеется и не требует выражения вслух. Это не значит, что люди эти, как и сам Шергин, в быту своем были не от мира сего или жили исключительно святым духом. Нет, разумеется. Но дело в том, что слово обнажает, что эти души, этот внутренний мир человека не был заставлен и захламлен низкими и суетными заботами, что душа эта была распахнута навстречу красоте, в чем бы

эта красота ни содержалась — в истории родной земли, в той или иной культурной традиции, в ремесле, в обыкновенном поступке, в красном слове. Шергин как автор, как художник, воспринимал человека прежде всего так потому, что и его душа с раннего детства была распахнута навстречу красоте.

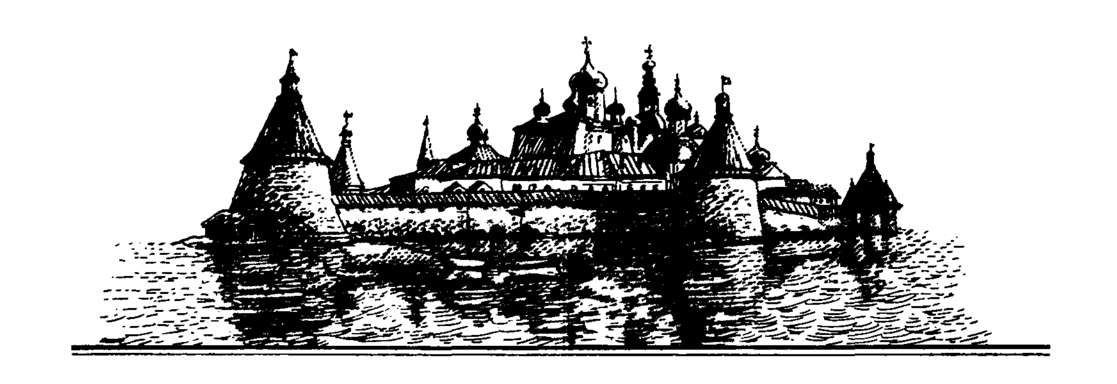
Можно, конечно, сказать, что время-де упростило живой великорусский язык и что это процесс объективный. К этому можно добавить еще и то, что и вообще все народное искусство упростилось и свелось к фольклору, даже к его концертно-эстрадному варианту.

Может быть, причины тому и на самом деле важные, например, всеобщая производственно-служебная потребность в языке информативном, в слове, которое имеет однозначный, безличностный, как бы исключительно арифметический смысл. И если наши общественные и личные взаимоотношения и дальше будут такими же темпами упрощаться, если интеллектуальные интересы сведутся окончательно к одной-двум темам, то и язык нашего общения будет еще более упрощен, и в наших словарях еще больше появится слов с примечаниями вроде «обл.», «разг.», «стар.», «устар.».

И что тут следствие, а что причина, уже и понять трудно. Однако этому как бы стихийному стремлению к удобству упрощенного языка можно не потакать, можно сознательно поощрять и поддерживать иные стремления в человеке, даже если они задавлены сейчас «объективными обстоятельствами» и всей правдой реального существования. Во всяком случае, разве не писатели, которых еще называют «мастерами слова», прежде всего — одним только фактом своего ремесла! — ответственны за то слово, на которое опирается человек, называемый часто еще и читателем? Духовная жизнь — это ведь такая же неопровержимая реальность, как и пресловутые «объективные обстоятельства», пусть даже реальность эта и невидимая. Вот почему слову, всей родной речи необходимы постоянные высокие примеры, которые поощряли бы и укрепляли добрые творческие начала в душе человека. Но для этого необходимо слышать такое слово и в поезде, и на пароходе, и на улице, видеть его и в старой книге, и в новой.

Все это яснее понимаешь, читая и «беседные» очерки Шергина о языке письменной и устной речи, о художественных традициях в быту северного крестьянина, о его умении высказать себя в слове и показать на деле, и его «записи» случайно услышанных признаний, и «красные слова», мимо которых Шергин равнодушно не мог пройти, где бы и от кого он их ни слышал, в старой или новой книге ни вычитывал, запоминал их, записывал — и вот эта работа, которая у Шергина никогда не прекращалась, как будто предназначалась для книги «Народ-художник»,— настолько ясно и явно выражается в слове очерков и записей именно это свойство и эта мысль Шергина.





БЕЛОМОРСКАЯ РУСЬ *

Быт и искусство архангельского Севера до последнего времени сохраняли остатки культуры новгородской и феодально-московской.

Поморянин, поэтически одаренный, вполне укладывался творчеством своим в традиционные формы устной поэзии — песню, сказку, былину. Но в этом стиле, в этой стихии он чувствовал себя хозяином и являл свое творчество не только артистическим исполнением, но и безудержной импровизацией, отвлечениями в сторону самой злободневной современности.

Поморская среда ценила и поощряла такой талант. Это способствовало тому, что носитель таланта не порывал с своим бытом и укладом.

Отправляясь на промысел зверобойный, рыбный, лесной, печорцы, мезенцы, двиняне, онежане, кемляне непременно подряжали с собой сказочника, певца былин на очень выгодных сравнительно с рядовым промышленником условиях.

Таким же признанием пользовалась женщина-поэтесса, слагательница причетов, плачей, песен, истолковательница чужого горя и радости. Ей расскажут обстоятельства несчастья («муж утонул в море» и т. п.),— тут же, не отходя от домашней обрядни, складывает она песню-плач. Далее со всем родом погибшего выходит к морю и строфа за строфой читает свой причет. Женщины вторят ей жалобным хором. Шум морского прибоя, крики чаек, воздетые руки вопленицы, пронзительный напев — картина незабываемая.

Весь народ северный вдохновенно отдается драматической игре. Любимая пословица: «Чем с плачем жить, лучше с песнями умереть».

Украшают песней любую работу. Например, звякая ножницами, поет портной:

. . . .
Вынимаю солодоново сукно,
Солодоново с россыпью.
Шью (имя заказчика) кафтан.
Чтоб он не долог был,
И не долог и не короток.
По подпазушке подхватистой,
По середке пережимистой,
По подолу рострубистой.

---

* Предисловие к книге «Поморщина-корабельщина», 1947.

Страсть к театру расцветала в коляду и на масленице. Масками ходили все от мала до велика. Почтенные отцы семейств и мамаши, облачившись в дедовские шубы, наложив «хари» и «личины», ходили с визитами из дома в дом часов с девяти утра.

Не снимая шуб и масок, прели в тридцатиградусной избной жаре, вели «салонную» беседу. То та, то другая гостья, распустив до полу семиаршинные рукава, водила «Утушку» с песней.

Ах, все бы плясала,
Да ходить мочи нет...
. . . .

В то же время мужчины помоложе разыгрывали по домам народные драмы, вроде «Царя Максимилиана». По улицам (в Архангельске) бродило до полусотни таких трупп. Импровизация на таких представлениях обязательна.

Скоморошество достигало апогея к Новому году. В пинежских деревнях улицы загораживались громадными куклами. Куклы эти представляли собою шаржи на местное начальство, кулака, духовенство.

Близ деревни Карпова Гора (р. Пинега) на святках, незадолго до революции, в доме богатой купеческой вдовы гулял становой. В утро Нового года сани станового оказались поднятыми на крышу двухэтажного купчихиного дома. На санях в недвусмысленных позах красовались две соломенные фигуры в человеческий рост — купчиха и становой. Недели две саней было «некому снять».

Весной, пародируя хороводы девиц, наряженных в традиционные парчовые конусы на головах и в обязательные шелковые шали, расшалившиеся «женки» водят рядом свой круг. На затылок у них напялены берестяные бураки, по плечам развешаны мужневы брюки.

Степенные старцы, выполняя чин своеобразных «сатурналий», бегали по улицам, подвесив к нижней пуговице пиджака редьку.

Я говорю о творчески одаренных северянах. Но «всякий спляшет, да не как скоморох». Таким «скоморохом», поэтом и артистом был, например, старик Анкудинов, архангелогородец, штурман дальнего плавания, друг моего отца и мой приятель. Пафнутий Осипович что хотел, то и творил с людьми. Захочет, чтобы плакали,— плачем.

По древним крюковым нотам рыдательно выпевал он страшные вопли покаянных опусов Ивана Грозного:

Труба трубит,
Судия сидит,
Животная книга
Разгибается...

По той же нетемперированной нотации, дающей такой простор художнику-исполнителю, с пергаментов XV века пел Пафнутий Осипович эллинистические оды с припевами «Эван, эво»:

Дэнэсэ, весна благоухает,
Ай, эван! Ай, эво!

Старые манускрипты, разбросанные на Севере, были преимущественно светского содержания. Это —«антологии», «диалоги», «мелисса», «хрони-

ки»— литература античная и эпохи Возрождения. Каждый такой литературный жанр исполнялся особым речитативом. Считалось невежеством читать «хронику» напевом новеллы из пролога.

Глухая бабка умиляется, бывало, на внука, вычитывающего что-то приятелю из древней книги, а книга-то «Семидневец» («Гептамерон»— родной брат «Декамерону»).

Весной побежим с Пафнутием Осиповичем в море. Во все стороны развеличилось Белое море — пресветлый наш Гандвик. Засвистит в парусах уносная поветерь, зашумит, рассыпаясь, крутой взводень, придет «время наряду и час красоте». Запоет наш штурман былину:

Высоко, высоко небо синее;
Широко, широко Океан-море.
А мхи-болота — и конца не знай,
От нашей Двины, от архангельской...

Кончит былину богатырскую, запоет скоморошину... Шутит про себя:

— У меня уж не запирается рот. Сколько сплю, столько молчу. Смолоду сказками да песнями душу питаю.

Поморы слушают, как мед пьют.

Старик иной и зацеремонится:

— Стар стал, наговорился сказок. А смолоду — на полатях запою, под окнами хоровод заходит. Артели в море пойдут, мужики из-за меня плахами лупятся. За песни да за басни мне с восемнадцати годов имя было с отчеством. На промысле никакой работы задеть не давали. Кушанье с поварни, дрова с топора — знай пой да говори... Вечером народ соберется, я засказываю. Мужиков людно сидит, торопиться некуда, кабаков нет. Вечера не хватит, ночи прихватим... Дале — один по одному засыпать начнут. Я спрошу: «Спите, крещеные?»—«Не спим, живем! Дале говори...»

И в наши дни сказку-новеллу услышите еще и от старика и от молодого. Кроме исконных сюжетов, молодежь русифицировала, обработала на говоре и сказки Гримм, и романы Дюма и Гюго. Прочитанная и понравившаяся мелодраматическая повесть непременно будет жить в устном пересказе женщин. Героический, приключенческий роман включат в репертуар мужчины. В устном пересказе фабула приобретает сжатость, четкость. Полностью, по законам устной речи, перекраивается архитектура книжного произведения, меняется язык.

Один малограмотный заводский сказочник в Архангельске показал мне том переводного романа XVIII века —«Родольф, или Пещера смерти»:

— Вот, сын читал мне три вечера, а я обскажу в час-полтора.

— Как же ты запоминаешь?

— Хорошо да худо помнится, а середне забывается.

То есть, слушая, он запоминает остов, схватывает контрасты.

В 1927 году пишущий эти строки рассказал «Короля Лира» по Шекспиру на двинском пароходике. Затем новеллу Боккаччо о женщине с ланями. Через несколько дней, едучи обратным рейсом, я узнаю мою новеллу в устах буфетной уборщицы. Рассказывает бабам-молочницам, совершенно переработав обстановку новеллы и имена. Донна Беритола превратилась в Домну Дверипολу, Флоренция — в Лавренцию. Героиню находит на Голодном острову рыбак-промышленник (у Боккаччо — герцог Флорентинский).

На мой вопрос, все ли она помнит, что слышит, уборщица с парохода ответила:

— На всякий цветок пчелка садится, да не со всякого поноску берет.

Включили в свой репертуар наши сказочники и «Лира». Через два года после моего рассказа «Лир» был записан на лесопильном заводе, бывшем Фонтейнес. Лир превратился в адмирала Рылова.

Поэт-северянин не всегда непременно сказочник, песенник — он и в ежечасной речи, в беседе поэтизирует, одухотворяет все, что его окружает дома, на работе, на промыслах. Здесь предлагаются — может быть, случайные и недостаточно яркие — примеры разговора, высказываний, сопровождающих работу, даже самую черную, обыденную. Бывало, дома, в Архангельске, заведут избомытье — подобием постная Степанида Павловна и телоносная Опроксенья (по выговору моряков-скандинавов, отцовых приятелей — Гризельда). Рано, перед лазорями, мать обряжается у печки. Мытницы подойдут с ведрами и мочалками, справят челобитье:

— Благослови-ко, хозяюшка, полы шоркать!

Мать равным образом поклонится в пояс:

— Мойте-ко, голубушки, благословясь!

Степанида Павловна не спеша, на коленцах, мягким вехтем моет полы крашеные, левкашеные*. Опроксенья сдирает пол белый струганый, только пена из-под голика. Доски, лавки, полки, скамьи — дресвой да во всю мочь. При этом вслух сравнивают обшарпанный веник с бородой жениха, а свой характер — с тряпкой: «Мной хоть полы мой да пороги затирай!..» А пол отдерет — как желтилами выжелтит.

Павловна любуется на нее:

— У тебя и бело, Опроксеньюшка! Мне надо двери запереть, чтобы не зарились на твой пол. Жалко ногой ступить. Нать мосты выстлать, гостей принимать, столы столовать да пиры пировать.

Гризельда польщена:

— Бело — не бело, да дело-то ведено!

— То и ладно, то и хорошо. Тебе замуж, мне в землю, Опроксеньюшка.

— Ты, Павловна, поглядывай вот, как я...

— Не сравняться мне, потому что и веник не так шарчит. Потому старых и кладут в землю. Помоложе — дак рублем подороже. Ох, было и у меня ждано хвалы-то. Все минуло...

Наглядно, просто северянин-мужик дает ребятам первые понятия по «технологии дерева»:

— Как наша лиственница, таков дуб-от. И лиственнично бревно и дубово мало видно из воды. А березу не видно, вровень с водой плывет. Сосна тоже тяжела, плот мало накату несет. Елка всех легче, на виду в воде, как поплавок. Сосна намокнет, ель не мокнет. Шест — на стружке ** итти — вытеши еловой, прям да гладок, конец окован, чтобы о дно не щепилось. И обручи на посуду еловы. Ель не ломится, сосна — та сломится... Осина не гниет и мягка, и в работе ловка. Осинову лодку не крась, не смоли, а шей лодку вересом. Он как ель кренева — не мнется, не рвется. При гвоздях бортовины скоро отпрянут, а прошьешь вересом — веково... У грабель зубы делай черемуховы: не расколются, не размокнут. Посуду деревянну — из ольхи. От горячих щей чашка березова лопнет и сосна треснет, ольхова все вытерпит...

Сложнейшие объяснения по каботажному плаванию помор облекает в формы настолько образные и красочные, что схватываются сведения эти

* Левкас — меловая грунтовка.

** Стружок — челн.

молодежью на лету и запоминаются навсегда. Книжный теоретик испишет по тому же поводу полсотни страниц.

То же у поморцев при обучении певческим невмам, крюковой нотации. Музыкальные иероглифы называются, например, «матерни слезы», «сорочья ножка», «вожжи», «лев» и т. д.

Учит ребенка грамоте:

— Вот эта с брюшком — «о», а лепунок с крылышками — «ф», а крючок — «г», а ящичек — «д», а букашка — «ж». А где пуговка пришита внизу, тут и в окошечко посмотреть можно, точка это.

Северный человек никогда не прочь побеседовать и с предметами неодушевленными:

— Ты упряма, печка, сухи дрова любишь. Машкину печь только подсвети — сразу завоет, а у тебя плачут дрова-те... Дрова сыры, дак они... спят, ждут, чтобы еще накинули, а сухим дровам не надо угождать.

Вспомнив перед сном, что забыла загасить лучину, бабка бежит в кухню и возвращается с просветленным лицом:

— Лучина-то умна, сама загасла — куда, говорит, старуху денешь, без того ей горе...

Но не только это, повторяю, даже самые сложные сведения, самый серьезный опыт поэтическая мудрость народа преподносит не в виде неудобоваримой снеди, а по совету рукописных поморских азбук — в виде «молока, меда», шутки. О, как часто у себя на родине, на берегах пресветлого Белого моря, я наблюдал этих художников повседневной жизни, одержимых творческой радостью! И как убедительно было, что лишенный этого свойства — не поэт.

На Севере часто слышишь выражения: «Сегодня не буду ткать, радости нету — неровно натку»; «Хотел Митьку грамоте поучить, да радости нету, лучше спать лягу»; «Сегодня с утра ладил крыльцо рубить, да боюсь, несоразмерно будет — радости что-то нету»; «Зовут на отпев, да нейду; заставят причитать, а какой плач — радости нету...»

Народная жизнь, труд, народная лексика являются неиссякаемым родником поэзии. У писателя, по сравнению с поэтом устно-народным, могут быть иные масштабы, иной словесный арсенал, иные образы, но творческая радость поэтов фольклора должна быть свойством всех, кто работает со словом.

Вот еще несколько примеров северного разговорного антропоморфизма:

... Льняна рубаха скоро утюг позабывает; эта рубаха врет, что неглажена, у нее матерьял такой; эта кастрюля вралья: чищу, чищу, она все в пятнах; крашеный пол вымоешь, он дня три правду говорит, а тесаный на другой день врать зачнет.

Лучина помнит, что в печи была (сухая). Лучина забыла про печку (отсырела). Печь тепло помнит. Пол краску не помнит. Платок духи помнит. Весна зиму вспомнила (снег выпал). Керосин давно вылил, а жестянка все еще его помнит.

Северянин поворачивает слово так, что оно блестит разными гранями (беру несколько случайных примеров): слово «хвалить» в смысле рекомендовать: березовы почки хвалят; крапиву хвалят; камышовый карандаш хвалят. «Хвалят» в смысле слушают, исполняют, соглашаются: сын отцов совет хвалит, матрос приказанье хвалит, работник работу хвалит.

Глагол «пасть» в смысле наступить: ветры пали; пало разводье; лихо припало, обидно палось; судьба палась несчастлива.

Оттенки глагола «любить»: не люблю утонуть; окно открыть любишь ли, перчатки сегодня любишь ли.

Борода у тебя седеть хочет. Снег таять хочет. Бабушка! Простимся, ты умереть хочешь!.. Обижусь на деньги... (нет денег) и т. д. и т. п.

Москва, 1946

СЛОВО УСТНОЕ И СЛОВО ПИСЬМЕННОЕ

Любую нашу мысль мы излагаем на бумаге не в той форме, в какой высказывали эту мысль в разговоре. Вразумительность разговорной речи подкрепляется интонацией голоса, отчасти мимикой и жестом.

Эмоциональность живой речи, восклицания, паузы исчезают при записи. Устная фраза, перенесенная на бумагу, всегда подвергается некоторой обработке, хотя бы по части синтаксиса. Фонетическая запись устной речи утомит читателя своей пестротой.

Отсюда законы речи литературной, необязательные для речи устной, живой. Вот одна из причин различия между живой речью и речью письменной. Имеются высказывания, что народная устная словесность и словесность литературная суть две самостоятельные стихии.

Не правильнее ли думать, что хотя эти стихии неслиянны, но и нераздельны?

Полностью, точно и достоверно изложить многовековую жизнь устного народного слова — вещь многотрудная. Много здесь надобно догадок и домыслов. Много явится, как на ландкарте, белых мест. Сомнительно мнение, что народная поэтическая память донесла до нашего времени как раз все самое ценное, самое отборное. Нет, многое быльем поросло и останется беспамятно.

Перечень известных нам со школьной скамьи видов устного народного творчества невелик: богатырские былины, сказки, песни обрядовые и лирические.

Есть мнение, что ритмизированная форма наших былин устоялась или сложилась не ранее шестнадцатого века.

Какова же была форма древнейших эпических сказаний? «Слово о полку Игореве» тем и драгоценно для нас, что в нем отразился лад и строй забытых русских рапсодий.

И древнегреческий эпос и эпос других европейских народов, в том числе героический эпос Древней Руси,— все это не читалось, не декламировалось, по-особому напевалось.

Слушая, как исполняют былины архангельские поморы, можно представить, как звучали эпические песни древней Европы. Если вздумаем счесть века и возраст устной нашей поэзии, если положим в начале вещего Баяна, перед нами откроется тысячелетний песенный путь. Школьные хрестоматии водят нас по оазисам этого пути. Водят, как по музею: это — былины, это — сказки, это — песни. Но устное слово в книге молчит. Напомнят ли нам о цветущих лугах засушенные меж бумажных листов цветы?

Мы говорим: «Далекая пора, старина».

Если нам утомительно сыскивать, в чем же красота и жизнь устной народной словесности, поверим на слово столь чуткому к русской красоте Римскому-Корсакову, удивительному Мусоргскому, Врубелю и Васнецову.

Эти и подобные им люди чувствовали песенную и художническую душу народа.

Известные нам виды устной поэзии назвал я «оазисами». Не песчаная пустыня окружает эти оазисы, кругом были вечно зеленеющие луга жизнетворческой народной речи. Избыток творческих сил создавал тот или иной вид поэзии.

Бытие отдельных видов устной словесности рассмотрено учеными-исследователями. Но последовательную историю жизни устной словесности трудно уяснить и по ученым трудам. Впрочем, ведь мы не особенно горюем и о том, что не знаем подробностей своей семейной хроники.

Былины, песни, сказания — это гнезда, свитые под сенью вечно зеленеющего, густолиственного дерева.

Тьмочисленная, тысячеголосая светло-шумная листва — это живая народная речь. Бесчисленными голосами шелестела и звенела живая речь. И это был аккомпанемент к былине и сказке. Живой творческий говор рождал поэзию.

Наряду с разговорной народной речью жительствовала на Руси особливая речь письменная, литературная. Русские люди — северное славянство — книги читали и книги писали на языке южнославянском, а именно — на болгарском.

Обособленность литературного языка от народной речи примечательна была не только в Восточной Европе, но еще резче в Европе Западной.

В Европе Западной со времен раннего средневековья во Франции, Германии, Англии, Скандинавии образованные люди писали на языке латинском, непонятном народу.

Такое явление объясняется тем, что образованность здесь воспринята была от Рима, одного из центров «средиземной» ультуры.

Восточная Европа (славянские народы) приняла образованность от греков — из таких центров мировой культуры, как Царьград, Афины, Александрия. Это была образованность эллинистическая, по существу — античная.

Принципы эллинизма требовали, чтобы литература классическая преподносилась на языке той страны, того народа, который принимал эллинизм. Таким образом, греческая литература переведена была на языки балканских славян: болгарский, сербский.

Русь (северное славянство) приняла греческую образованность не позже IX—X веков. Не представлялось особой нужды переводить греческие книги на русский язык. Русский язык был наречием единого общеславянского языка. Болгары, сербы, поляки, чехи и русские в те времена свободно понимали друг друга.

Русь воспользовалась греческими книгами, ранее переведенными на славяно-болгарский язык.

Большую роль в распространении греческой культуры сыграло высокое совершенство греко-византийского искусства.

Византийская архитектура послужила образцом для создания романского архитектурного стиля в Западной Европе. Вплоть до эпохи Ренессанса итальянские живописцы следовали канонам живописи византийской. Величественные здания возводились на Руси византийскими зодчими. Чуткому ко всякой красоте русскому человеку восхитительной казалась великолепная греческая живопись, мозаика.

Русский народ, народ-художник, восхищение свое «эллинской премудростью» перенес и на литературу. Предлагаемая народу на славянском языке литература содержала «эллинскую премудрость», как и другие виды эл-

линского художества. Было отмечено, что язык поступавших на Русь книг был понятен русским. У всех славянских наречий корни слов одни и те же. Словарный состав един. Но грамматика южнославянского (болгарского) наречия, ставшего на Руси языком литературным, не тождественна была грамматике языка русского.

Славянская форма слов — младой, златой, брада, врата — нимало не затрудняла. Русские говорили: молодой, золотой, борода, ворота.

Мудрены были формы глагольных спряжений. Например, в живой речи русский человек говорил: «Я уснул, и спал, и встал». Но в книге эти слова излагались так: «аз уснух, и спах, и восстах». Русскому читателю отнюдь не казался странным этот особливый книжный язык. Ведь книга трактовала о вещах необыкновенных. Естественно, что и речь должна быть необыкновенной, небудничной. Южнославянские грамматические формы стали обязательными для образованного писателя. Употребление русских грамматических форм считалось признаком необразованности.

Убеждение в том, что в писаниях о вещах серьезных и важных должно применять и грамматику особливую — такой взгляд господствовал в России до конца XVII столетия. Надобно подчеркнуть, что язык древнейшей нашей литературы прост, лаконичен, от него веет свежестью.

Вот рассказ летописца о смерти князя Олега.

«Бе осень, и вопроси Олег кудесников, волхвов:

— Отчего ми есть умрети?

И рече ему кудесник един:

— Княже, конь, его же любиши и ездиши на немь, от того ти умрети.

Рече же Олег:

— Николи же сяду на конь, не вижу его боле того.

И пребысть несколько лет не видя коня. Дондеже и на грекы иде. И пришедшу ему Киеви помяну конь свой. И бысть ответ:

— Умерл есть.

И поеха Олег на место идеже бяху лежаще кости коневи голы и лоб гол. И наступил ногою на лоб, рече:

— От сего ли лба смерть ми взяти?

И выникнучи змея и уклюну князя в ногу. И с того разболевся, умре».



Если мы посмотрим на письменность нашу, скажем, с конца века XIV по конец века XVII, то увидим, что «славянская» одежда облекает уже иного человека. Грамматика остается, по-видимому, прежняя, но композиция повествования имеет мало общего с древней литературной речью. Литераторы этой эпохи увлекаются «плетением словес».

Епифаний, писатель второй половины четырнадцатого столетия, пользуется «плетением словес» с большим композиторским тактом. У Епифания это или прелюдии к его сказаниям, или полные живым лирическим чувством интерлюдии. Вот образчик Епифаниевой речи:

«Коль много лет многие философы эллинские собирали и составливали грамоту греческую и едва уставили многими трудами и многими временами едва сложили; пермскую же один чернец сложил, один составил, один сочинил, один в едино время, а не в многие времена и годы; один уединенный, один единственный.

И так азбуку сложил, грамоту сотворил и книги перевел в малые лета; а они, семь философов, едва азбуку уставили; и семьдесят мужей-мудрецов перевод истолковали, книги с еврейского на греческий язык перевели».

Епифания Премудрого Древняя Русь почитала образцовым мастером слова. Эллино-византийскую литературу Епифаний изучил на месте, в Константинополе.

Обладая высоким поэтическим чутьем, Епифаний понимал, что русский язык по богатству равновелик греческому. В житиях Сергия Радонежского и Стефана Пермского не знаешь, чему дивиться: богатству русского языка или мастерству, с которым Епифаний показывает это богатство читателю.

О том, что Епифаний чутко прислушивался к народному поэтическому слову, свидетельствует, например, «Плач пермских людей о Стефане». Этот «Плач», нежный и красноречивый, весьма близок к русским народным причитаниям.

«Извитие словес» высоко ценилось в XVI и XVII веках и позднее. Но в структуре житийных повестей устанавливается отчетливый трафарет: начало, изложение, заключение. Вот образец такого начала у писателя конца XVII века Андрея Денисова:

«Аще, убо, древле творцев Омир толико тщание, толико подвизание, толикий труд показа, во еже написати Тройска града начало, жительство и разрушение, тем же, убо, нам...» (Далее излагается история Соловецкого монастыря). «Если древний поэт Гомер такое старание, такой подвиг, такой труд показал, чтобы описать города Трои начало, жизнь и разрушение, тем более нам...»

Писатели сторонятся богатств народной красной речи. Любое «житие» обильно уснащается трафаретными стихами — цитатами из Псалтыри.

Протяженно сложенные силлогизмы напоминают ткань, до преизбытка заполненную узором. Очевидно, это было и во вкусе читателя. Москва, например, обожала пеструю узорочность даже в каменной архитектуре.

Разгадку устойчивости древнеславянских форм в нашей письменности не даст ли титул центров русской образованности: Славяно-греко-латинская академия в Москве (XVII век) и другая — старейшая — в Киеве?

Русь, войдя в орбиту греко-славяно-латинской культуры, сознательно шла по избранному пути. Новые идеи, возникавшие в литературе восточноевропейской, ярко и творчески отображает письменность русская.

В XIV веке и ранее образованные русские люди питают ум и душу премудростью книжной. Устная народная словесность уже не удовлетворяет.

Но былины, сказки, песни по-прежнему украшают быт.

Русские люди, стоявшие на уровне славяно-греко-латинской культуры, не могли снижать общий для всей Восточной Европы высокий литературный стиль. В свою очередь, и читателю, и слушателю простая разговорная речь в книге показалась бы весьма неуместной. Вкус к высокому стилю деревенские грамотеи сохранят и в веке XIX.

В XIV веке завременились на Русской земле зори освобождения от ненавистного монгольского ига.

Вдохновенная проповедь единства Руси, пламенный призыв к единому национальному сознанию были для русского народа как живая вода, как дождь для иссохшей земли. Славяно-греко-латинская премудрость поставлена была на божницу, когда услышала Русь победные трубы с Куликова поля.

Когда Русь сбросила с плеч татарский хомут, душа великого народа широко и державно расправила крылья. Забылись эти речения: мы — тверичи, а мы — москвичи, мы — рязанцы, а мы — новгородцы. Ведь все говорили единым русским языком, и русская народная речь приходила из силы в силу.

Любопытно, однако, что в XVI — XVII веках, при непрекословном следовании правилам грамматики словенской, у писателей-книжников остро и неожиданно прорывалась живая, окатистая народная речь.

Тому пример такой начетчик, как Иван IV. Доказывая Курбскому законность единодержавия, исписывает целые тетради бесконечными словенскими цитатами. Но темперамент Ивана Васильевича известен: он вдруг перескакивает на речь русскую, притом бранную.

«... Единого моего слова гневного ты стерпеть не похотел. Ко врагу нашему, кралю Жигмонту сбежал. И оттоле лаешь на нас, как пес из-под лавки. Только укусить не можешь».

«... Вы будете государить, а царь при вас, как староста в деревне: сиди да вам в рот гляди да притакивай».

Курбский, человек также темпераментный, но сдержанный, литературно образованный, в ответных писаниях с удовольствием колет глаза царю его литературной безграмотностью. Как-де можно в образованном государстве писать таким избным слогом?!

Однако язвительная острота царских эпистолий проняла сердце Курбского. Он говорит, что нельзя так «грызть кусательно» человека, живущего на чужбине.

Ивану IV тесно было в рамках условного схоластического наречия: «Серце яро, места мало, расходиться негде».

Родословную свою Иван IV выводил из Древнего Рима. Узнав, что шведский король Густав Ваза тоже считает себя потомком кесаря Августа, Иван IV пишет Густаву: «В которых своих чуланах ты, Густав, сыскал, что ваш род от Августа? А наши купцы, бывши в Стекольном *,видели, как родитель твой, в рукавицы нарядясь, ходит с кнутом по торгу, у кобыл зубы считает, коней торгует. А потому ваш род самый мужицкой. Еще пишешь ты, что Москва на Украину задорится и на Волынь... И то бы не дико: язык един, вера едина. А что пишешь, будто мы у тебя хотим жену отнять, и мы тому, на Москве, много смеялись. Неграмотные твои толмачи перевели наше слово «рубеж» словом «жена». О рубежах речь была. А твоя жена нам не надобна. Никто ее у тебя не хватает».

В семнадцатом столетии распространена была по России «Грамматика, сиречь наука о еже право писати и право глаголати». Этот солидный том в кожаном переплете с медными застежками был пособием и для прозаиков, и для поэтов. Однако это была грамматика все того же условного, схоластического «словенского» языка.

Наряду с этим в середине семнадцатого столетия раздается пламенный призыв к употреблению русского народного языка в литературе.

---

* Стокгольм.

Знаменитый Аввакум Петров автобиографию начинает так: «Не позазрите просторечию нашему, люблю свой русский природный язык, виршами философскими не обык речи красить.

Небрегу о красноречии, не уничижаю своего языка русского. ... Ох, ох, бедная Русь! Чего-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев».

Аввакум пишет царю Алексею: «Вздохни-тко по-русски. Ведь ты, Михайлович, русак, а не грек».

Сосланный в Сибирь Аввакум так описывает путь по Тунгуске:

«О, горе стало! Горы высокие, дебри непроходимые; утес каменный, стеной стоит, и поглядеть — заломя голову!»

Народная молва так оценила борьбу Аввакума за народность языка: «Яснее солнца письма Аввакумовы».

Однако возникла и оппозиция. Пуристы находили невероятным допустить в литературу «деревенских баб басни».

Лишь в середине девятнадцатого века сочинения Аввакума Петрова были оценены как замечательный памятник живой русской разговорной речи.

Со времен Петра I литературный язык наш испестрили слова немецкие, голландские и французские.

Сам преобразователь даже в быту любил щегольнуть голландской фразой. Проезжая Белым морем, поставил он на берегу памятный крест. На поперечном дереве вырезал собственноручно: «Дат крус макен Питер Михайлов» («Этот крест сделал Петр Михайлов»).

Во второй половине семнадцатого века появляются в Москве ученые люди с Украины. Ученый ритор обучает москвичей ораторскому искусству:

«Наиперше маем зложити з письма святего фему. Бо ведлуг тея фемы мусится все казане чинити... Же бы що обецалем мувити и показати, то и мувилем и показалем» («Сначала выберем тему из писания. Вокруг той темы сочиним все сказание. Что обещали, то и скажем и покажем»).



Нестроение литературного языка упорядочил Ломоносов. Он составил грамматику языка русского. Ломоносов переновил корабль русской литературной речи. Обветшавшее убрал с дороги. Славянский язык остался в книгах церковных.

Когда Пушкин принял в руки руль — правило корабельное, литература русская пошла по курсу державному, славному. В паруса дунули русские ветры.

Сколько веков полноводная река живой народной речи плыла рядом с речью книжной!

Хотя бы бегло взглянем, рядом жили эти две стихии или вместе?

Русские люди искони любили слушать книгу. Фабула книжного сказания, если она была разительно яркой, запечатлевалась в памяти слушателей.

Устно-народное поэтическое слово, заимствуя книжный сюжет, никогда не воспринимало форм грамматических. Полюбившийся сюжет народ непреклонно обогащал русскою красотою.

Наблюдаются явления и обратного порядка. Например, в XVI—XVII веках писатель-историк, собирая материал для биографии той или другой исторической личности, иногда обращался к памяти народной. Если в устах народа все эти памяти были живыми цветами, то переведенные на условный литературный язык цветы эти нередко видятся нам поблекшими.

Таким образом, стихия живой народной речи и стихия речи литературной условной существовали хотя нераздельно, но и неслиянно.

. . . .

«Помянув родителей», то есть века XVII, XVIII, выходим на широкое раздолье русской литературы XIX века.

Тургенев сказал: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!»

В этой похвале Тургенев объединяет и живую народную речь, и русскую речь литературную.

Язык классической нашей литературы XIX века весьма богат потому, что создавали его люди глубокой мысли, люди высоких стремлений, страстно искавшие правду.

Многосложны человеческие характеры, но проницательный взгляд художника-психолога видит и высоту неудобовосходимую, и глубину неудобозримую.

Русские классики XIX века в подлинниках штудировали авторов французских, немецких, английских. Блестящее знание литературных форм Запада изощрило русское писательское мастерство.

Каково соотношение русского языка, закрепленного в литературе, и русского языка разговорного?

Если язык русский есть богатство, наследие отцов наших, то славные писатели наши, как добрые сыны, приумножают отцово наследие.

Не департамент одобрил их речь, не министерство рекомендует — нет, весь народ русский на Севере, на Волге, в срединной России, в Сибири читает и слушает эту речь и находит, что все сказано статно и внятно.



Толстой изображает судьбу человека внимательно, последовательно, детально.

Психолог Достоевский тонко-прозрачно раскрывает перед нами и свет, и тьму, и доброе, и злое — все, что скрыто бывает в глубинах сердец человеческих.

Но ни нравоучительность Толстого, ни громоздкость Достоевского не отягощают. Это потому, что и Толстой и Достоевский являются художниками слова. Чувство эстетического удовлетворения все время сопровождает работу нашей мысли.

Но сейчас для меня важен лишь следующий вывод: писатели-психологи бессознательно, незаметно внушают нам и приучают нас внимательно и вдумчиво относиться к поведению людей, нас окружающих. И тогда обогатится и расширится твоя мысль, тогда у тебя и речи будут.

Итак, русский язык стал языком литературы. Что же, река живой народной речи и река русской речи литературной слились воедино? Нет, они остались неслиянны, хотя и нераздельны.

Это потому, что у писателя (классика) все сковано единой идеей: и фундамент, и стены, и кровля — все сцементировано единой мыслью («Война и мир», «Воскресение», «Анна Каренина»).

К творению писателя-классика ничего ни прибавишь, ни убавишь. Органически целостны и мысль, и язык. Толстой, Достоевский, Тургенев, Гоголь монументальны. Эти здания знали наши деды, и отцы, и мы с вами.

Но рядом, но вокруг неутомленно бегущая, терпкая разговорная речь. Можно к разговорной речи применить стих Державина:

Алмазна сыплется гора
С высот, четыремя стенами,
Кипит внизу, бьет вверх буграми...

Еще видится нам теперешняя речь рекой без берегов. Сколько струй чистых и мутных, светло-прозрачных и иловатых!

В последнее время и в печати не раз поднимался вопрос о чистоте литературного языка.

Порою также делаются ребятам краткие, но убедительные внушения:

— Нельзя говорить: одел калоши, раздел пальто. Калоши надо надеть; раздеть можно человека, пальто надо снять. Правильному языку учитесь у великих наших классиков. Если первые две заповеди конкретны, то последняя абстрактна (по-русски говоря).

Правильно и достойно поступают, когда велят молодежи учиться языку у классиков.

Школьная программа предписывает знакомство с некоторыми образцами классической литературы. Что имеет в виду школа? Ответ дают темы программных ученических сочинений: характеристика Онегина, Чацкого, Печорина; роль крестьянства в «Кому на Руси жить хорошо».

Следует отметить, что если в классическом произведении налицо яркая фабула, то молодежь причтет такое произведение к числу интересных книг.

Но получив задание учиться у классика языку, ученик по-иному должен перестроить свои мысли.

«Учись языку у Толстого»... Это целая программа. Ученик раскрывает «Войну и мир». С чего начать? Разобрать фразы по частям речи и по частям предложения?

Кто будет проходить такой «заочный курс»?

В планах обучения языку у классиков есть еще один важный пункт: любая литературная эпоха очень быстро становится историей.

Боюсь сплетать силлогизм — не сделать бы вывода, что Пушкин, Толстой, Достоевский являются уже историей литературы и произведения их — исторические памятники.

Нет, живы они и, во-первых, потому, что писатели эти запечатлели несравненную глубину русской философской мысли. Живы они точно так же, как живет и вечно юнеет могучая русская музыка Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Чайковского.

Неумирающая сила дышит и в изобразительном искусстве того времени: Серов, А. Иванов, Суриков, Репин и др.

18*

Древний философ говорит о Гомере: «Гомер каждому, и дитяти, и мужу, и старику, столько дает, сколько кто может взять».

Если книга заключает в себе светлый разум, чистую совесть, поэтический талант — в такой книге великая сила и угодье.

В греческом языке слово «логос» обозначает и слово, и ум. «Слово есть провозвестник ума». Мы должны всячески обогащать свой ум, свою речь.

Философ Платон требует, чтобы творческий пафос присущ был и педагогу-учителю, и плотнику-строителю, и ремесленнику.

Гениальный Ломоносов воплотил в себе идеи Платона. Ломоносов был и физик, и химик, и филолог, и историк, и ученый-электрик, и географ. И любой вид деятельности Ломоносова озарен, как солнцем, творческим пафосом, поэтическим вдохновением.

Разнообразны виды человеческого труда. Но интерес к литературе, к книге объединяет людей различных профессий.



Родимый край, реку, берег любят не за красивые пейзажи. У меня стопа открыток — виды Севера. Бумага и бумага. А берестяной туесок из-под морошки сколько лет хранит живое благоухание родины!

Как птицы по весне летят на Север и поют: «В крае суровом, ненастном, далеком родина наша, родные леса»,— так неутомленно стремится наша молодежь в края небывалые, но прекрасные.

Свойства поэта и художника чудодейственны. Творческая сила одного человека заставит десятки людей почувствовать пленительную нежную красоту северной природы. тень дремучего бора, сияние цветущих лугов, жемчужные нюансы неба и воды...

Вспоминаю северную сказку. Парень идет с девицей по берегу, спрашивает: «Богата ли ты?» Она отвечает: «Я богаче тебя. Видишь, за рекой черный ельник и белый березник?» Он говорит: «Ну что — елки да березы боговы». Она говорит: «Нет, мои эти ели и эти березы! А видишь, летят по реке лебеди и утки?» — «Ну что, лебеди и утки боговы!» — «Нет, мои эти лебеди и утята!»

«Учить — свой ум точить!» И ты, творческая душа, руководитель, передовик, оттачивай свой ум и свою речь на алмазном камне художественной литературы.

Ты, дорогой мне человек, перекинемся душевным словом: каких писателей ты успел полюбить? Я, например, люблю Чехова и Пришвина. По-моему, никто так, как Чехов, не видит человека.

Лаконизм, простота, изящество, высокая художественность — все собрал в себе Чехов. И Пришвин: уж ты все свои бока обтер, лазая с ним по тундрам, по лесам, по горам, по долам. Это он научил тебя видеть и понимать природу, и землю, и всякую тварь, на ней живущую.

Гляжу на Чехова, на Пришвина. Они ничем от нас не отгорожены, как и те светлые, которые жили и творили в прошлом столетии.

Если хочешь стать добрым, разумным и желанным собеседником, читай книги, в которых словам тесно, а мыслям просторно. Найди поэта, который видит солнце «и в малой капле вод».

Полюби книгу, которая научит тебя видеть «разумное, доброе, вечное». Читай то, что обогащает твой ум.

Если в тебе самом есть содержание, то и каждый твой день будет содержательным. «Хозяин что ступит, то дело найдет».

Когда научишься видеть, что «серенькое» русское небо богаче красок жемчужной раковины, когда почувствуешь глубину беседы простых людей, тогда любое твое слово к товарищам будет живым.

Как учиться у художника? Поживи с Чеховым. Вникни в те рассказы, где Чехов вяжет героя с природой.

Каким художником является Чехов в ряде своих «весенних» рассказов! Ранняя, зябкая весна, недавно оттаявшие поля, подмерзшие лужицы — будто карандашный набросок. Но велико изящество этих скудных линий. Чехов как истинный поэт видит, что сквозит и тайно светит в этом предначатии русской весны.

Чехов не берет взаймы и у словесности фольклорной. Речь его разительна богатством мысли. Чехов облекает мысль в простые слова, «но им без волненья внимать невозможно». Иной чеховский рассказ «тих, как день ненастный», но оттенки северного жемчуга нежнее и изящнее брильянтовых изделий. В противоположность, например, Гоголю у Чехова нет речений роскошных, обворожительных.

Тонкое изящество чеховской мысли таково, что вопрос — «язык чеховских рассказов вместе или рядом с живой народной речью?» — вопрос этот окажется примитивным или тяжеловатым.



Вопрос о том, как поживает «народная» речь в наши времена, есть вопрос школьный, отвлеченный. Быт города и деревни нивелируется. Устанавливается массовый язык.

Поэтически одаренные люди давным-давно равняются по тому или иному направлению общей литературы.

Я упомянул, что словарь печатной речи и речи устной в наши дни стал нейтральным. От газетного пошиба не убежишь.

Если говорить о разговорной речи, то как прежде, так и теперь люди не записывают своих высказываний. Устное красноречие не теряется. Если человек талантлив, если мышление его живо, таких людей ценят: «У него есть что призанять».

Над языком, над речью в первую очередь должен думать писатель.

Тусклое пренебрежение, косное предубеждение к «простонародному» языку зиждет язык литературный не на живой речи, а на литературно-бумажном наследии. Словарь русского народного языка просеивают не через решето, а через сито. Вместо доброй муки не пойдут ли в дело высевки?

Разговор о языке, о речи, как о всякой вещи, тогда будет на пользу, когда ты видишь в речах собеседника «раздумьице великое». Если он не удовольствован знанием, науками, ты добавляй. И спор не беда: в споре истина сыскивается.

ПОСЛОВИЦА

Виды и формы поэзии очень разнообразны. Самым кратким по форме поэтическим произведением будет пословица и загадка. Пословица и загадка — это изречение, состоящее всегда из немногих слов, но в этих немногих словах всегда много мудрости. Как солнце в малой капле вод, отражается в пословицах народная жизнь, народные нравы и обычаи. Пословицы и загадки есть у всех народов мира. Многие пословицы и загадки сохранились от самых древних времен.

В особенности удобна для оживления и украшения разговора, любой беседы пословица. Благодаря своей краткости, живости, выразительности пословица уместна везде — и в живой речи, и в книге. Вот несколько пословиц о разговоре красноречивом, живом и интересном:

В умной беседе ума набраться, в глупой свой потерять.
Красное словцо не ложь.
Беседа не без красного словца.
У него слово слово родит, третье само бежит.
Он шутку в быль поворотит.
Ласковое слово что вешний лед.

О человеке, не умеющем говорить, пословица выражается так:

У него слово на тараканьих ножках ходит.
У него слово слову костыль подает.

О трудном для произношения слове: С морозу не выговоришь.

Вот образцы пословиц, из которых видно, каково жилось народу:

Дай вам Бог пировать, а нам крохи подбирать.
Посулил пан шубу, да не дал, ин — слово его тёпло.

Сквозь горе в пословицах отразились и надежды народа на лучшее будущее:

Кандалы на ногах, а думка на воле.
Дождемся поры, дак и мы из норы.
Доведется и нам свою песенку спеть.
Придет пора — правда скажется.

Вот пословицы, сложенные бедняками, начинающими поднимать голову из-под кулацкого ярма:

Богатые топитесь, бедные к берегу гребитесь.
Не кланяюсь богачу — свою рожь молочу.
Ты, гроза, грозись, мы друг за друга держись.

Пословицы, которые можно сказать о народах нашего Союза:

Говóря чужая, да дума родная.
Не одних мы яслей, да одних мыслей.

Об учении:

Ученый водит, неученый следом ходит.
Голова без ума, что фонарь без свечи.

ЗАГАДКА

Остроумный человек, чтобы испытать чью-нибудь догадливость, сообразительность, сумеет о самой простой вещи спросить хитро и весело, занятно и забавно. Это и будет загадка. Ничего нет проще веника, а и о нем можно загадать так:

Маленький Ерофейко
подпоясан коротенько.
По полу елозит,
ничего не занозит.

В загадку можно спрятать, загадкой можно засекретить все на свете. Загадкой можно спросить о небе, о звездах, о ветре. Есть загадки о человеке, о зверях, о птицах.

Как в малом семечке содержится жизненная сила целого дерева, так в загадке собраны поэтическое чувство и вкус народа, народное остроумие и талантливость.

Теперь в загадки играют ребята да еще деревенская молодежь тешится загадками на вечеринках. В древности особыми загадками испытывалась мудрость и ученость. Седые старики состязались в загадывании и отгадывании. Об этом часто напоминают нам старинные сказки и песни. В древних загадках, как и в пословицах, отразились первобытные верования человека.

Остроумные и поэтически одаренные люди складывают загадки и в наше время.

Возле уха завитуха,
в середине ярмарка
(радионаушники, телефонная трубка)

«КРАСНОЕ СЛОВЦО»

Из записей Б. Шергина

Журьба твоя часовая, гульба моя вековая.
У Сталина легка рука: что ни пригрозит, то и поживем.
Грозит мышь кошке, да издалече.
Таскал волк, потащат и волка.
Есть и на черта гром.
Не дразни собаку, и хозяин не ощерится.
Спорили мыши за лобное место, где будут кота казнить.
И круты горы, да забывчивы.

Дома рука и нога спи, в дороге и головушка не дремли.
Море что горе — хорошо со стороны.
На веку-то и поплачешь, и попляшешь, и накашляешься, и начихаешься.
— Язык за порогом оставил?
Про волка речь, а он навстреч.
— Как поживаете? — А в своем виде.
— Я дороги не знаю, а то бы плюнул на всех и сам к Гарибальди пошел.
Прежде воровство-то до низкого сословья только принадлежало.
— Я ей политично сказал, а она меня по наружности.
Сами провоняли и народ огнусили.
— Ах ты, лошадиная пятка!
— В лес? Там тебе Михаил Потапыч с загривка шкуру сдернет и патрет завесит.
Он как труба, и она из песен сделана.
— Тебя бы только на дрова пилить, а еще губы мажешь!
Собаке не верит, сам лает.
Говорили день до вечера, а в люди вынести нечего.
— Я не с маком крынка, не вымачут.
Говорят за углом да за кустом, в глаза скажешь — виноват будешь.
Час терпеть, а век жить.
На дворе мороз, а денежки тают.
Не лгут книги, что времена лихи.
Не мог себе прилюбовать невесты.
Добра не смыслишь, и худа не говори.
Желанной гость зова не ждет.
— Глу́па ты копейка!
То я слышал, то мои и речи.
Слова понятны и голоса приятны.
Рукою погоняй, а другою слезы утирай
Горе молчать не будет.
Есть слезы, есть и совесть.
Праздник на небе, когда грешник плачет.
По полугорю не плачут, а плачут по целому.
Не полни моря слезами, не тешь супостата печалью.
Натерпишься горя, узнаешь, как жить.
Своей бедой всяк себе ума купит.
Беда вымучит, беда и выучит.
Такая припала тоска, что не выпустил бы из рук куска.
Беда — что с горы вода.
Под силу беда — со смехами, а невмочь — со слезами.
Час в добре пробудешь, все горе забудешь.
День меркнет ночью, а человек печалью.
Не все по затылку, ино и по голове.
Сам от себя не утаишь.
Не криви душой — кривобок на тот свет уйдешь.
Первое счастье, коли стыда в глазах нету.
С такой совестью жить хорошо, да умирать плохо.
Не глаза видят, а человек, не ухо слышит, а душа.
Глухому много чуется, сытому много видится.
Невзирая на суровость погод...
Друг от друга стали уклоняться...
Смирились между собою: «Прости, без ума на тебя гневался».

Для затмения своих мыслей пьют горячие напитки.
Весь Город о сем известен.
Дети, не доспевайте похвалы поганым!
Дебрь глубока, человеку непроходна.
Красота воину оружие, а кораблю паруса.
Чай пить все мастера.
Уличный чай вкуснее всех.
Сани припружились, меня водой полощет, держусь да реву.
Река нас как гостей ждала — не шевелилась.
Где любо уму, там и становище.
Заря пришла в полную красу.
Лицом не хуже и плечами не уже.
Мужиков война подобрала.
Работник по званью, хозяин по знанью.
«Вы не можете потрафлять на мой разговор».
«Ейной супирант».
«Зверские начальники».
Косой вид неудовольствия.
Не пори, когда шить не знаешь.
И кует, и дует, и сам не знает, что будет.
«Ума два гумна да баня без верху».
— Не видал я такого ума, как твой, все либо у́же, либо шире.
Глупому не страшно и с ума сойти.
Простите на глупости, не осудите на простоте.
С дураком ни поплакать, ни посмеяться.
Бьешь не по делу, учишь не уму.
Узда дороже лошади.
Утопший пить не просит.
Лесом шел, а дров не нашел.
В лес дров не возят, в колодец воды не льют.
На комара с рогатиной...
Выше клотика не лазить.
Ни в пир, ни в мир, ни в добры люди.
Правду похоронишь, дак сам из ямы не вылезешь.
Прямым путем по кривой не ездят.
Кяхтинский чай да муромский калач...
И по Двине на судах ходила...
Крестьянин всегда готовится к смерти, но она страшится тех, которые видят ее.
«Утешительныя наставления».
Про него никто не знал, что он драться умеет.
Ради твоей печали и он опечалился.
«Всежелательно распутное поведение».
Плач нежный и красноречивый
При моих годах, на моих глазах...
«Я реву как кошка».
Ей глаз коли, она другой выставит.
«Как чертовка».
По слезам слова-ти плывут.
Ноги ничего не понимают — онемели.
Сердцу не хочется, дак и язык не воротится.
О, бестолковые глаза!

Грубо встретила да скудно угостила.
Сказка больше хлеба глянется?
Сердцу-то жалко, а умом-то я рад.
Жизнь-та дух перевести не дает.
Сам на себя бéды манит.
Пляшут — кажна кость ходит.
Настегались, напосудились...
С моря туча накатится, на Город темень навалится.
Важную видимость потерял...
Не сажено, не сеяно, зазеленело зелено.
Ругаются без сердитости — для балаболу.
Сел к окну покрасоваться.

У нас девки толще всех,
У нас шаньги мягче всех,
У нас пироги всех скуснее,
У нас бороды гуще да длиннее,
У нашего старосты в бороде
Медведьползимы спал.

«Я уж около слез сижу».

Озерной пеной умывались,
Конским хвостом утирались...

Лежит красавица в чародейном усыплении.

«Горожанка была девица, в Городу родилася, в Архангельском рощена, калачом вскормлена, в Соломбалу выдана...»

«Мы бы рады ходити, разговоры носити, да ворота скрипливы, а собаки брехливы, вы и сами бранливы».— «Мы делу поможем: в подворотню сала положим, а собакам пóлоть мяса, на семью сон напустим...»

Язык велеречив, сердце гневливо.
«Худо глазами-то видит, ездит руками по столу...»

«Трофим кукол шьет, а я коней делаю из лучин да мужиков навяжу. Я не любила кукол шить...»

У него на эту речь ухо заложило.
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило.
Родных нет, а по родимой стороне сердце ноет.
В чужом доме побывать — в своем гнилое бревно увидать.
Добрый путь, да к нам больше не будь.
Кто жить не умел, того помирать не выучишь.
На небо крыл нет, а в землю путь близок.
Дай справиться, и нам будут кланяться.
Вольный свет на волю дан.
Скажу крепче, сердцу легче.
Придорожная пыль неба не коптит.
Бог долго ждет, да больно бьет.
«В ненышнем году слых до нас дошел...»

ПОСЛОВИЦЫ В РАССКАЗАХ

ПЛОТНИК ДУМАЕТ ТОПОРОМ

Ваня и бабушка наблюдали работу плотника, который обновлял ограду и крыльцо напротив Ванина окна.

— Гляди, Ваня,— говорила бабушка,— плотник выбросил дряблые доски из ограды. На месте остались крепкие доски, но между ними оказались просветы разной ширины. Чтоб закрыть просветы, плотник взял новые доски и начал обтесывать их, сообразуясь с шириной просветов. Теперь плотник посадил новые доски между старыми. И так они плотно сели меж старыми, будто век тут сидели. Теперь хоть молотом бей — ни одна доска не выскочит. И гвоздей не надо. Не гвозди держат, а добрая пригонка.

Теперь мастер принялся за крыльцо. Крыша на крылечке была как шапка старая: виду не давала, на глаза лезла. Подпирали крышу два столба, вкопанные в землю. Плотник выкопал оба столба и выдернул из земли. Оказалось, столбы сильно подгнили. Плотник начисто отрубил всю гниль и слегка обтесал столбы снизу. Далее на место нижней худенькой ступеньки он кладет добрую. По концам колоды вырубил гнезда и одним махом посадил в эти гнезда оба столба.

Так все рублено и тесано соразмерно, будто эти столбы выросли из колоды и верхушками своими приподняли кровлю крыльца. Крылечко теперь смотрит молодцевато и щеголевато.

Теперь плотник сдумал привести крылечные столбы в полную красоту. Он вырезал на столбах пояски, будто браслеты надел. Звенья между поясками сверху и снизу закруглил. Получилось, будто столбы составлены из кувшинчиков. Просто все и нехитро, но как нарядно! Простая снасть — топор, но в умелых руках всякое дело родится красовито. Неправильно говорят, что, например, живописец — это художник, а плотник, столяр — это просто рабочий.

Живописец, что сдумает, то изобразит краской, кистью. Можно сказать, что живописец думает кистью.

То же можно сказать о плотнике. Плотник что задумал, то сделает топором. Отсюда и пословица: «Плотник думает топором».

«АКУЛЯ, ЧТО ШЬЕШЬ НЕ ОТТУЛЯ?»

Однажды Ваня, сидя у окна, рисовал. Подошла бабушка, похвалила:

— Конура подходящая, и собака в ней, а окно сверх конуры без понятия.

Ваня ответил:

— Учитель велел срисовать вид из окна: двор, сад. Я и начал рисовать наш двор. Это Жучка в конуре. А окно — это дом, что напротив нас. В окне нарисована кошка Муська.

— Тебе задано срисовать и двор, и дом, и сад. А у тебя Жучка да Муська весь лист заняли.

— Я и сам вижу, что несоразмерно, без плана. Сейчас Жучку с Муськой растушую карандашиком и все сотру резинкой начисто.

Бабушка рассмеялась:

— Про тебя, Иванушка, пословица говорится: «Акуля, что шьешь не оттуля?» — «Я еще, маменька, пороть буду».

ДЛИННАЯ НИТКА — ЛЕНИВАЯ ШВЕЯ

Есть еще поговорка: «Длинная нитка — ленивая швея».

Была ленивая баба-молодка. Шитья много. Нитку в иголку вдевать надо часто, а молодка этого терпеть не могла. У окна шить сядет и нитку вденет длинную-предлинную. Шьет — рука в окно машет.

Мимо шел солдат. Видит, кто-то ему из окна рукой машет. Солдат забежал в избу:

— Хозяйка, ты зачем меня звала, рукой в окно махала?

Она говорит:

— Что ты, с ума сошел? Я шью, нитка длинная, рука далеко машется.

Солдат и закричал сердито:

— Ты нитку-то укорачивай и солдата с дороги не сворачивай!

ШЕЙ ДА ПОРИ, НЕ БУДЕТ ПУСТОЙ ПОРЫ

Эту пословицу можно ко всякой бестолковой работе применить.

Помню, ученицам велено было в двух комнатах оклеить простенки меж окнами. Они полосу обоев клейстером намазали и приклеили; побежали в другую комнату — тоже. Пошли поглядеть в первую комнату, а там обои под потолком просохли — ветерок из форточки прихватил,— и снизу крепко прихватило, от отопления. А середина отстала от стены. Эти девчурки разгоревались: что делать, как быть?

Пока ахали да охали, в другой комнате та же оказия: от форточек и от батареи верх и низ крепко притянуло, а середина, как флаг, треплется.

Я на другом этаже работала, но забежала взглянуть, как у них дело клеится. Вижу, все пузырем висит. Девчонки говорят:

— Где пузырем вышло, мы ножом распорем и клейстеру подпустим.

Я говорю:

— На вас, дурочки, пословица исполнилась: «Шей да пори, не будет пустой поры».

КОНЯ В ГОСТИ ЗОВУТ НЕ МЕДУ ПИТЬ, А ВОДУ ВОЗИТЬ

Как-то бабушка, повязавшись кружевной косынкой, сказала Ване:

— Меня пригласила к себе чай пить одна дама. Я вернусь через час.

Часа полтора Ваня ждал бабушку. Его утешала старуха соседка:

— Сейчас придет твоя бабка. И к какой она даме чай пить ушла?

Наконец бабушка появилась. Соседка ахнула:

— Подружка, чем ты руки замарала? Что к чаю-то подавали?

— Лак черный.— Бабушка рассмеялась и села рядом.— Ну, слушайте. Встретила я утром новую свою знакомую. Умоляет прийти на чашку чая со свежим медом. Прихожу к ней. Она меня тащит к буфету:

«Посмотрите, бабулечка, что наделал столяр — запятнал черным лаком наружную полку буфета и ушел. И лак оставил. И две недели не показывается».

Я говорю:

«Эти пятна надо циклевать, то есть отскоблить, и два раза покрыть полку лаком».

Дамочка со слезами обняла меня:

«Бабулечка, завтра день моего рождения! Будут гости. Вот вам лак и кисточки. Займитесь этой полочкой, а потом я угощу вас чаем с медком».

Деваться некуда. Я стеклом пятна отскоблила, два раза полку лаком крыла и сушила. Говорю:

«Принимайте работу, сударыня. Я домой спешу».

А она:

«Бабулечка, я вас медом и чаем хотела угостить».

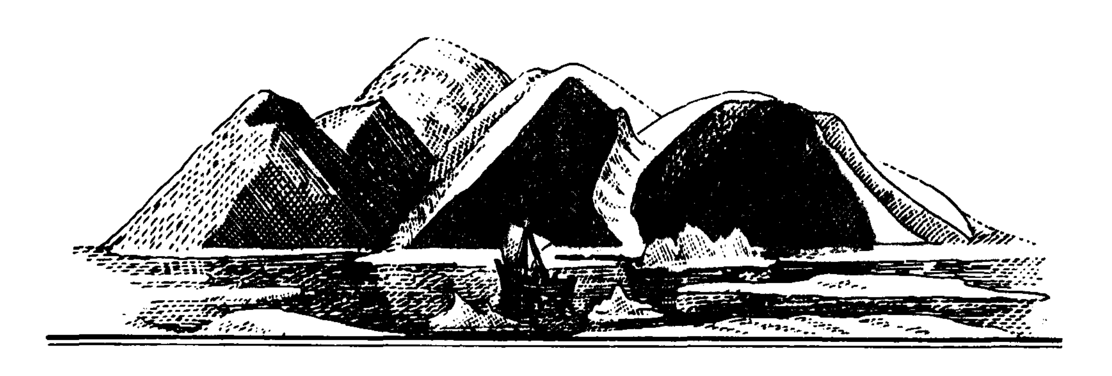
Я ответила ей:

«Коня в гости зовут не меду пить, а воду возить» — старинная пословица».

— Ну и много ли ты заработала? — засмеялась соседка.

— «Подали спасибо, да домой не донес». Это тоже пословица.





СТИХОСЛОЖНЫЙ ГРУМАНТ

На моей памяти молодые моряки усердно обзаводились рукописными сборниками стихов и песен.

Иногда такой «альбом» начинался виршами XVIII века и заканчивался стихотворениями Фета и Плещеева.

В сборнике, принадлежавшем знаменитому капитану-полярнику В. И. Воронину, находился вариант «Стихосложного Груманта», написанный безвестным помором.

В старинном сборнике поморских стихов «Рифмы мореплавательны», принадлежащем моему отцу, также был вариант названной песни. Напечатанный здесь текст «Стихосложного Груманта» представляет собою свод двух вариантов.

СТИХОСЛОЖНЫЙ ГРУМАНТ

В молодых меня годах жизнь преогорчила:
Обрученная невеста перстень воротила.
Я на людях от печали не мог отманиться.
Я у пьяного у хмелю не мог звеселиться.
Старой кормщик Поникар мне судьбу обдумал,
На три года указал отойти на Грумант.
Грумалански берега — русский путь изведан.
И повадились ходить по отцам, по дедам.

Мне по жеребью надел выпал в диком месте.
...Два анбара по сту лет, и избе за двести.
День по дню, как дождь, прошли три урочных года.
Притуманилась моя сердечна невзгода.
К трем зимовкам я еще девять лет прибавил,
Грозной Грумант за труды меня не оставил.
За двенадцать лет труда наградил спокойством,
Не сравнять того спокою ни с каким довольством.

Колотился я на Груманте
Довольны годочки.
Не морозы там страшат,

Страшит темна ночка.
Там с Михайлы, с ноября,
Долга ночь настанет,
И до Сретения дня
Зоря не проглянет.
Там о полдень и о полночь
Светит сила звездна.
Спит в молчанье гробовом
Океанска бездна.
Там сполохи пречудно
Пуще звезд играют,
Разноогненным пожаром
Небо зажигают.
И еще в пустыне той
Была мне отрада,
Что с собой припасены
Чернило и бумага.
Молчит Грумант, молчит берег,
Молчит вся вселенна.
И в пустыне той изба
Льдиной покровенна.
Я в пустой избе один,
А скуки не знаю,
Я, хотя простолюдин,
Книгу составляю.
Не кажу я в книге сей
Печального виду.
Я не списываю тут
Людскую обиду.
Тем-то я и похвалю
Пустынную хижу,
Что изменной образины
Никогда не вижу.
Краше будет спланова ть
Здешних мест фигуру,
Достоверно описать
Груманта натуру.
Грумалански господа,
Белые медведи,—
Порядовные мои
Ближние соседи.
Я соседей дорогих
Пулей угощаю.
Кладовой запас сверять
Их не допущаю.
Раз с таковским гостеньком
Бился врукопашну.
В сенях гостьюшку убил,
Медведицу страшну.

Из оленьих шкур одежду
Шью на мелку строчку.

Убавляю за работой
Кромешную ночку.
Месяцам учет веду
По лунному свету,
И от полдня розню ночь
По звездному бегу.

Из моржового тинка
Делаю игрушки:
Веретенца, гребешки,
Детски побрякушки.

От товарищей один,
А не ведал скуки,
Потому что не спущал
Праздно свои руки.

Снасть резную отложу,
Обувь ушиваю.
Про быванье про свое
Песню пропеваю.
Соразмерить речь на стих
Прилагаю тщанье:
Без распеву не почтут
Грубое сказанье.

ГРУМАЛАНСКИЙ ПЕСЕННИК

В старые века живал-зимовал на Груманте посказатель, песенник Кузьма. Он сказывал, и пел, и голос с него, как река, бежал, как поток гремел. Слушая Кузьму, зимовщики веселились сердцем. И все дивились: откуда у старого неутомленная сила к пенью и сказанью?

Вместе со своей дружиной Кузьма вернулся на Двину, домой. Здесь дружина позвала его в застолье, петь и сказывать у праздника. Трижды посылали за Кузьмой. Дважды отказался, в третий зов пришел. Три раза чествовали чашей — два раза отводил ее рукой, в третий раз пригубил и выговорил:

— Не стою я таких почестей.

Дружина говорит:

— Цену тебе знаем по Груманту.

Кузьма вздохнул:

— Здесь мне цена будет дешевле.

Хлебы со столов убрали, тогда Кузьма запел, заговорил. Его отслушали и говорят:

— Память у тебя по-прежнему, только сила не по-прежнему. На зимовье ты как гром гремел.

Кузьма отвечал:

— На зимовье у меня были два великие помощника. Сам батюшка Грумант вам моими устами сказку говорил, а Седой Океан песню пел.

ГРУМАНТ-МЕДВЕДЬ

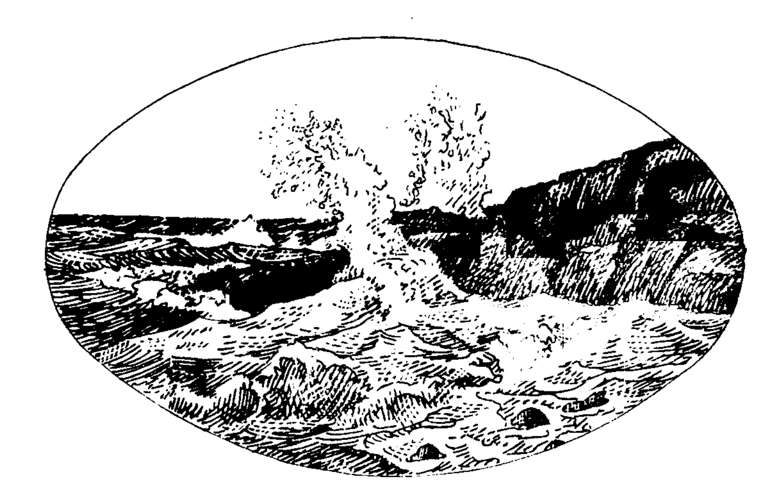
Зверобойная дружина зимовала на Груманте. Время стало ближе к свету, и двое промышленников запросились отойти в стороннюю избу:

— Поживем по своим волям. А здесь хлеб с мерки и сон с мерки. Старосте они говорили:

— Мы там, на бережку, будем море караулить. Весна не за горами.

...Наконец староста отпустил их. Дал устав: столько-то всякий день делать деревянное дело, столько-то шить шитья. Не больше стольких-от часов спать. В становище повелено было приходить раз в неделю, по воскресеньям.

Оба молодца пришли в эту избу, край моря, и день-два пожили по правилу. До обеда поработают, часок поспят. Вылезут на улицу, окошки разгребут. В семь часов отужинают и спать. В три утра встают и печь затопляют. И еду готовят. Всё, как дома, на матерой земле.



День-два держались так. Потом разленились. Едят не в показанное время. Спят без меры. В воскресенье не пошли к товарищам. В понедельник этак шьют сидят, клюют носом:

— Давай, брат, всхрапнем часиков восемь?

К нарам подошли и вместо шкур оленьих видят белого медведя. Будто лежит, ощерил зубы, ощетинился...

Не упомнят молодцы, как двери отыскали да как до становища долетели. Из становой избы их издали увидели. Староста говорит:

— Им за ослушанье какой-нибудь грумаланский страх привиделся. Заприте двери. Их надо поучить.

Братаны в дверь стучат и в стену колотятся; их только к паужне пустили в избу. Они рассказывают:

— Мы обувь шьем, сзади кто-то дышит-пышет. Оглянулись — медведище белый с нар заподымался. Зубами скалит, глаза, как свечки, светят... Староста говорит:

— Это Грумант вас на ум наводит. Сам Грумант-батюшка в образе медведя вас пугнул. Он не любит, чтобы люди порознь жили. Вы устав нарушили. Грумант вас за это постращал.

ОБЩАЯ КАЗНА

Был дружинник — весь доход и пай клал в дружину, в общую казну. И некогда пришло на ум: «Стану откладывать на черный день. А то вклады у нас неравные, мне не больше людей надо».

Стал давать в общую казну, равняясь по маломочным.

Бывало, когда он все отдавал, дак и люди ему все отдавали. А он отскочил от людей, и люди не столь его жалеют.

Однажды не пошел на ловы: «С меня запасу хватит». Захворал. И, бывало, как он неможет, двое при нем останутся — знают его простертую руку. А теперь никто не остался.

Он в эти дни одумался, опомнился.

— Нет, лучше с людьми. Люди в старости меня не оставят.

Скоро товарищи вернулись. Они беспокоились о нем:

— Мы твое добро помним.

И опять он стал весел и спокоен: поживи для людей, поживут и люди для тебя. Сам себе на радость никто не живет.

БОЛЕЗНЬ

Опять было на Груманте.

Одного дружинника, как раз в деловые часы, начала хватать болезнь: скука, немогота, смертная тоска. Дружинник говорит сам себе:

— Меня хочет одолеть цинга. Я ей не поддамся. У нас дружина малолюдна. Моя работа грузом упадет на товарищей. Встану да поработаю, пока жив.

Через силу он сползал с нар и начинал работать. И чудно́е дело — лихая слабость начала отходить от него, когда он трудился.

Дружинник всякий день и всякий час сопротивлялся немощи. Доброй мыслею побеждал печаль и победил цингу: болезнь оставила его.

ГРУМАЛАНСКИЕ ОТЦЫ

Григорий Иванович «поживе в горе́, в Берунской» пять годов. Приговорился шить бахилы, но делом управлял отечество *. В каковые лета ходил и к древним русским погребеньям петь канон.

Тем обычаем пришел со Степкой Селезневым, и видят похоронку датскую. И подпись нонешнего году. Но, сие оставя и управя пенье по отцах, сели на кивотах ** отдохнуть. Григорий поглядел на солнце и сказал:

— Ночь преполовилась. Одночасно птица хай подымет.

И со словом закричала, завопила всякая морская птица, неумолчно и неисчислимо.

Григорий и усмехнулся:

— Что кричат, что делят? Мертвого разбудят.

А Степка говорит со страхом:

— Это ведь не птичий голк. Это грумаланские отцы с новым подсоседником бранятся.

---

* Был отцом по чину беспоповцев.

** Дощатые кровли намогильные.

Тогда, сквозь птичий крик и крылатий свист, учуял и Григорий явственные речи:

«Не присваивайся к нам, чужеземец! Мы здесь от древних лет лежим и ждем, когда сгремит последняя труба. А ты с какого ветру наскочил? Не подыскивайся к нашему спокою. Нам с тобою не сообщно».

Григорий и Степанко Селезнев это все расслушали, и после рассказали в Городе.

А проявлено на обличенье, что мы теперь друг перед другом иноземцев лижем.

Рукописный «Цветник». Деревня Мяндино Архангельской области.

СКАЗОЧНИК *

Как обыденной ** промышляли у Соловков, подолгу на островах жили, в избушках: яренжане, лопшари, золотичане. Вот тут-то сказки и сказывали.

Николая Нестерова в середку посадят. Первое место дашь ему, потому что сказочник. Находились люди такие — табак наготово навертывают, только: «Расскажи, пожалуйста».

Николай сказки отовсюду брал, всякие были: и книжные, и такие, что услышит — все перескажет. У него слово слово родило.

Морянка падет, на море ехать нельзя, либо ввечеру: «Ну-ка, Николай Нестерович, сказывай сказку, скорее время-то пройдет». И засказывает про царей, про попов, а то и страшные были, про нечистую силу. Всю ночь, бывало, сказывал. Уж любитель настоящий был, вовеки так, как он, не расскажешь.

Деревня Дураково, Л. Г. Бронников

НА МУРМАН

Ранее-то все уходили мужики, одни только бабы оставались, хозяйство вели.

Всегда их провожали. Перед отходом, вечером накануне, натопят баню. Утром встанут, бабы калачей, шане́г настряпают, рыбников напекут. Потом созовут своих родных: тестя, тёщу, брата, сестру, как не в одном доме жили — пригласят на отва́льно. Мореход утром еще сам ближнюю родню обойдет, попрощается и позовет. Они и придут.

Самовар согреем, что есть — на стол принесем: вина попьют, чаю напьются, иногда пообедают. Из-за стола выйдут — стола не обирали, что на столе — все оставалось, еще другой скатертью сверху накинут. Сядут все по лавкам.

Зажгёт батька или матка лампадку. Потом принесет матка шубу овчинную, положит наземь кверху овчинами. Батька с маткой около шубы стоят, сын, который на Мурман походит, им в ноги кланяется — руки на шубу кладет: «Татка, прости меня»,— два раза поклонится, два раза скажет. А третий раз батька не дает ему до ног доложиться. У него на руке на правой дельница ***, тоже из овечьей шерсти. Дельницей за плечо захватит, сын-то вста-

* Записи этого рассказа и далее печатаются впервые.

** От — «обыденный», промысел от утра до вечера.

*** Дельница — рукавица.

нет, он его по голове гладит и говорит: «Поди, Бог с тобой!» Потом батька передает дельницу матке, и с ней таким же образом: тоже поклонится матке два раза, а третий раз матка не допустит, те же слова ему говорит, так же по голове гладит. Тут уж все на ногах стоят.

Потом он ходит со всеми прощается, руку дает: «Прости, ну хоть — Устинья Степановна, прости, Григорий Павлович!» Потом уже все и вон из избы пойдут.

Деревня Малошуйка, И. Барышева

В МОРЕ

На Сретенской неделе * станем на ледок, куда ветер потянет, в ту сторону и отправишься.

Несет и несет... И понесло нас однажды туда, к Канину, к северным нисакам, а там кошки среди моря: ледяные горы наломило. Вот нас к ним принесло, мы на них и поднялись, чтобы дальше не унесло; три лодки, семь человек было.

Ветер-то сначала был шелонник, потом пошел от нас на запад, да и на побережник. И все более его: сила, сила и сила! Пошел взводень, и начало лед ломать. А мы что, повалились было спать, а нет — засвистело-зашумело. «Ну, ребята, не спанье, надо что-нибудь делать».

Из лодок вышли — ночь, темно. Мы лодочки приоттянули: две с промыслом вошли на тартышóк, а третью поставили к самой кромочке, товарищи тут, у лодочки, и стояли.

Потом нисак и заразваливался. А у меня на себе-то была шубенка худая, а в клади-то, в одной из лодок, мáлица хорошая. Думаю: мне пропасть в этой шубе. Я-то сейчас в лодку, малицу вытащил из кладки, кисý с платьем тянул — не мог вытянуть, ульнýла, а ребята кричат: «Беги, нисак-то разваливается!» Ну, я малицу схватил, винтовку сгреб и побежал. Едва я перескочить к ним успел: такая щель, с целую сажень разлезлась. А ветра — сила! И вода только заприбывала, там еще внизу — далеко, нельзя лодочки спустить.

Простились друг с дружкой тут, поплакали. Стоим, кончины ожидаем. Стояли-стояли, под нами и под лодочкой нисак начало прýжить, лодка отъехала в пýло, мы в лодку все, да отпихнулись прочь. Очутились на воде и приехали в заводь. Тут тоже тартышник пловучий, и держит его в заводи. На воде и стоим. Взводень сильный... гнев, прямо страшно стоять. Взводень крепко матёрый, высокий... ой-ой-ой!

Свет стал, только одни черепочки у нисака, где мы были, одни черепочки, все приломано взводнем; малехонькие льдинки остались, и через них взводень ходит — прыск летит! А потом нас и завыводило на лоцманцы — на тартышки на маленькие. Вот мы с тартышка на тартышок начали перескакивать и лодку за собой; оттягивали дальше от чистой воды, от взводня, а то и пропали бы ведь на середке моря.

Взводень ходит, лед сколет и перескочишь; как раздернет — перетянуть нельзя, тут и выстаивали. Потом стали ее заводить и заводить: от воды дальше, дальше и дальше. Увели, чуть воду видно, нам и легче стало.

Весь день прошел, опять ночь пришла, надо собираться в лодочку спать. Ночью перезябли: одежда теплая, одевальницы оленьи, в тех лодках оста-

---

* В феврале.

лись со всем промыслом, сорок зверей было, кажется, напромышлено. Кое-как дождались света, тут уж стихло.

Так и носило нас; недели три, думаю, мучились, все к земле попадали и попадали. Мы и по воде едем; где тартыш плотный, и по тартышу тянемся. Ветры с горы все летние были, все нас вниз несло. Маленькие чаечки на льду были, мы их ловили в петелку, больших — стреляли из винтовок. Чаечками все и питались. Мука, крупа были в лодке; сделаем мучнички, куркашков, рыбка была. Зверей уловим для вари, сало возьмем для огня, мало-мало дровец было наколем — разживим; их было можно как следует настрелять, да хлеба мало — сила не берет, и в одну ложку не сложишь все. Мы с братом в малице согревались, не в малице — дак пропали бы.

Через три недели попали на землю, на Канин. Никакого жилья не было. Сутки постояли. На берегу-то есть всякий кокорник, дров насобирали и поехали, поехали в свою сторону.



Все ехали, и ехали, и ехали по воде, приехали мы в Волосово *. Там самоедское жилье, а людей — никого. Нашли наважьих головушек и наварили, а не могли поесть, истлели все. Опять поехали.

Долго ехали. Ветры встречные. Надо ехать по пало́й воде — все̇ против воды, а в прибылую в торос натянет. Поехали до Конушинна наволока, на нем жили мезены. А нельзя доехать было, все затянуто в торос, лед не пропускал. Мы с товарищем на землю, на угор вышли смотреть — есть вода или нет. Ничего не видно. Там еще сопка была, выше. Мы на ту сопку, и увидели — из тундры человек идет. А ежели человек, дак промышленник с Конушинной, мы и побежали на этого человека.

Прибежали прямо на Конушинну. Из семи лодок живет людей, промышленников. Избушки у них наделаны, тут и жируют, ожидают тюленя, надо за кожей идти. Прибежали, им в ноги пали: «Не дайте замереть нам!» (У нас уж и хлеба почти не было, только четыре коврижки оставалось.) Они нас накормили и напоили, а потом и товарищи наши прибежали вслед за нами.

---

* На речке Волосово (Канино-Тиманская тундра) стояла тогда одна промысловая изба; в ней останавливались крестьяне бывшего Мезенского уезда, приезжавшие на промыслы в определенное время года.

Эти мезены людей своих направили за нашей лодкой, чтобы они лодку притянули.

Тут мы несколько дней жировали, у них и кормились. Потом отвал сделался, лед отошел от земли, опять поехали. Они нам надавали хлеба, мяса надавали.

Приехали в Сёмжу-деревню, и тут мы сколько-то времени тоже жировали, поветери не было, а потом опять в лодочку. Придумали рекой Кулоем ехать, морем может задержать — время уж позднее, а у нас семь человек в лодке, грести есть кому.

Кулоем приехали на Щелье... около Кýлогоры перетянулись на Пи́негу на реку, оттуда на Двину, а с Двины и в Архангельск приехали. Из Архангельска и домой.

Без промысла — все море отняло.

Деревня Лопшеньга, Семен Никифорович

ЛОВЛЯ БЕЛУХ

Как взводень, они белым-бело... Одна за одной и пойдут и пойдут... Воду сушили: буде без воды идут.

В тишину-то лучше ловить, а как взводень — больше наловишь.

В июле месяце вся деревня белух ловила. Бывало, что по сто человек ездили враз, да и больше. Ездили на море против деревни, а то и за пять верст, за десять от деревни, на карбасах. Новыжды * все в один день выедем.

Зверя ждем о море перво на берегу — на песке сидим, жонки да девки: кто шьет, кто вышивает; мужики — кто помелье кладет, кто поплавки к снасти, кто пестери делает, кто к чему горазд.

Они заходят стаями; так и забелеют, так и забелеют, как покойники, а чуханья, а чуханья-то у них... головы поднимут да как фыркнут! — дак страсть, будто кони. Как заходят, вот и скорее в карбаса, скорее, кто только как может, и котлы новыжды с кашей и с рыбой в котельне на огне останутся. В карбаса падем, по четверо в карбас, вот и жмем прямо в море. Кто сильнее да удалее, те и передом. Едем-едем, как въедем в море, мы-то мористее, а белухи-то бережее останутся, вот мы снасть-то и выкидываем. Потом стянем юнды, белухи, как во дворе, в юндах, буде в стенах останутся.

Мужики вот и станут с кутилами на нос, а бабы держат весла. Вот и сидим, и гребем. Они как кутила-то в нее улепят, кровь забрыжжет, так кверху и идет, будто из бочки квас. Одно кутило, два, три... из разных карбасов. Вот она карбас и завозит, как кони, да не бывать и коням, только и кричат мужики: «Держите-ко на веслах!» Подъедем, новыжды еще и пешнями влепят. Она в ту пору и мертвая сделается, а вода в море — гольная кровь. Их, зверей, новыжды десять, новыжды пятнадцать, бывает, что и тридцать уложат. Убьют уж всех, угомонят, петли на ласты наденут, за веревку привяжут к карбасу, вот и прем прямо на берег.

Вот на берег выйдут, белух навезут как льду белого, мужички и пороть да пластины ** таскать, а нас, баб, заставят могилы копать, чтобы костье хоронить. Копаем и песни поем. Той порой веселья сколько хочешь у мужич-

---

* Нóвыжды — иногда.
** Пластины — белужье сало.

ков и у баб и сколько хочешь песен... граю-смеху, не приведи бог! Поработаем, поедим, попьем, поспим; а потом — кто пластины белушьи в деревню на карбасах везет, а другие в море опять. Пластины напродаем богатым мужикам, а они вытопят — в бочки, в город.

Деревня Лопшеньга, М. И. Майзерова

НА ВЫВОЛОЧНЫЙ

Выволочный промысел: зверя на берег тянут, от этого и называется так. Норд-ост задует с моря, говорят: «Выволочный ветер потянул, промышлять будем».

С берега пойдут, на берег и стараются попасть на ту же воду. Отправишься из избы * — вода будет нажимать, на землю пойдет лед. Знаем уж время, когда отлив, когда прилив. Без часов прежде-то жили мы: на стамуху выйдешь ночью либо днем, смотришь звезду, как есть — поглядишь, примечаешь, в какое время звезда живет на каком месте: или в трубы подзорные следили за прохождением льда и за зверем.

На море находишься, учитываешь, когда вода должна остановиться: тут хоть промысел, хоть не промысел — отступайся, беги на гору, три-четыре минуты не поспеешь — унесет.

Один долгощельский промышленник как-то случайно замешкался в море, запоздал. Вода прочь пошла, идти нельзя на гору: ведь лед раздвинется, со льдины на льдину не перейдешь! На другую воду попадал, тоже не мог попасть: вода не позволила, да и ветер унес далеко, к нисакам принесло, он на нисак и попал. Уж на шестнадцатые сутки обратно на Моржовец прибыл, при попутном ветре. Не считали, что он живой будет, а он оказался жив.

Добывал молоко будто бы от утельги, народ-то сказывал, из вымени у нее много молока бежит, как убьешь. А зверей бил, сырым звериным мясом питался: дров-то ведь не было, да и спичек.

На этом деле ловкость нужна большая. Случалось, людей заминало, лодки ломало. Это давно было, а теперь течение слабее, не мнет.

Мы и ночью ходили в сильные погоды, в темень. Метель такая бывала, ничего не видно. И удача падала, случалось — зверя еще больше напромышляем. В потемь зверя распорем, оснимаем, обделаем ощупью. Потом на лямку, на поводу и тащим на гору. Пот льет, усталь берет, все силы положишь, а делать нечего — тяни и тяни. Нужно вытянуть быстрым темпом.

Бредешь по худому месту, дак, бывало, ропак в грудь упрет — не видно, а зверя-то найдешь: среди ропаков чернеет, когда лед жмет — кричит. Только гул стоит во всех сторонах.

Ветер крепкий, идем смелее в море и держимся долго; ежели слабый — вдаль не ходим; ветер с горы — совсем не пойдем.

И теперь на выволочный ходят. Сей год с Кедов промышляли, да не много. В нынешнее время ночью уж не пойдут.

Деревня Койда, А. В. Малыгин

---

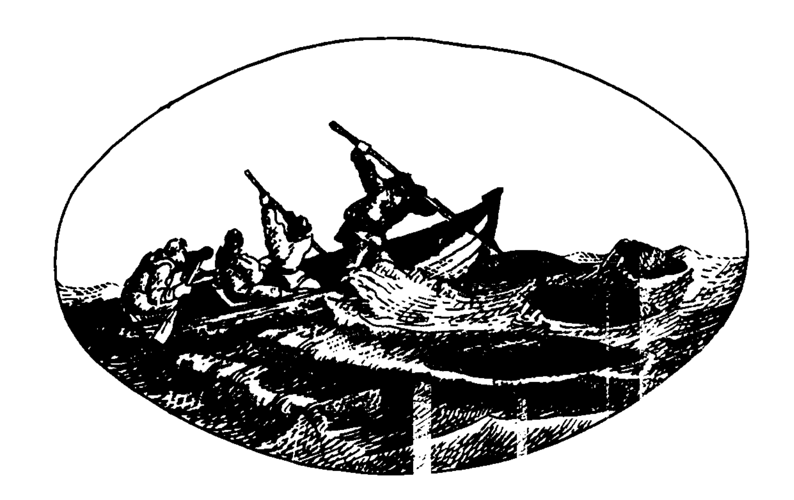
* Из промысловой избы.

НОВОЗЕМЕЛЬСКИЕ ПРОМЫСЛЫ НА МОРЖА

В наши дни моржа находят только в дальних концах Северного Ледовитого океана, в Карском море, на Земле Нансена (б. Франца-Иосифа), на Шпицбергене. Прежде, когда на Новой Земле не было постоянных жителей-самоедов, морж в изобилии плодился и на западном новоземельском берегу, где и добывали его наши деды-морячки.

Со слов старых промышленников записаны эти рассказы.

Ходили мы по моржа на Новую Землю в лóдьях. Теперь таких кораблей не строят. Подымала лóдья до пятнадцати тысяч пудов. Моржа, может, вы на картинах видели. А мы с этим чудом морским лицо к лицу беседовали. Он велик корпусом, морж-то. Из большого зверя пудов пятнадцать, двадцать сала вытапливали. Да шкура, крепче да толще ея в свете нет, да клыки, тинки́, по-нашему,— все товар барышный.



Морж рыжий весь, головища — как котел, на морде щетины насажены, как усы у кота, шея толстая, будто бревно проглотил. В плечах он широк и грудаст; такой богатырь! Он еще страшнее кажет, как ты ему в лицо глянешь. Глазишки у моржа крохтенные, а кровью налиты, как угли. Как у лихого пьяницы глаза. Ну, он глазками худо видит, морж на нос лют. Пойдешь на него по ветру, он за версту, за две тебя учует, ничего, что нос невелик. На груди у моржа ка́тары, ноги толсты да коротки. Изо рта к ногам идут тинки. Тинками он и страшен. Бойся-перебойся того зверя, у кого тинки врозь идут. Как быка будачего по рогам видно, так и моржов характер по клыкам.

Ходят моржи стадами-юровами. Осенью ложатся казак с казачихой, дух от них такой, что мимо кораблем пробежать непереносно. По лушине этой мы издалека узнаем, где моржовые стада залежу себе сделали. Весной любят моржи отдыхать по пустынным берегам океанским, где нога человеческая не ступала. Полезут на берега вместе с молодежью.

Выстанет морж из воды, за камень, либо за льдину клыками упрется и вылезет. И повалится у воды. Другой вылезет, рядом ляжет. Третий так же, четвертый... Как бревнами берег застелют, ряд за рядом. Новые из воды лезут, видят, что берег тушами обложен, начнут тинками отодвигать товарищей, потесней ложатся.

Старые старики в прибыльные, удачные для промысла годы видали такие моржовые залежки, что сплошь версты на две от берега.

И спит на берегу морж крепко, шибко во сны западает, надеется на своего сторожа. Они, как вот гуси, всегда часового у стада ставят. Чуть он услышит дух человеческий, сейчас своим языком рыкнет:

— Враг близко! Спасайся!

Тут только считай, как в воду зачнут опрокидываться.

СЕЛЬДЯНОЙ ПРОМЫСЕЛ В ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ И БЕЛОМ МОРЕ

Удары норда и оста, буйных ветров... Сельдь несет к берегу прибоем, кидает о каменные пáхты-утесы. После бури бывали такие случаи, сельди на берегу вал лежит.

На веках около города Колы сельдяное юрово обсохло на песках. Закинуло сельдь штормом, а потом вдруг вода ушла, а сельдь осталась. Рыбы лежало выше колен, люди черпали ведрами. Запасли сколько могли, потом девать стало некуда. Рыба гнила на песках не один год.

Мурманская сельдь бывает крупная, три штуки на фунт идет.

Много сельди бывает и в Белом море. Тут есть и своя сельдь, которая не из Океана приходит, а рождается в беломорских подводных долинах. Промышляют сельдь беломорскую в Кандалакше, в Княжой губе, у Соловецких островов, у Онеги, в Ковде; в Двинской губе, у Зимних гор.

Летом сельдь солят в бочонки. В этих бочечках-сельдянках и развозят по всем городам.

Сороцкая и соловецкая сельдь некрупна, но свежая настолько вкусна, что и стерляди в ухе не уважит. Сельдяным промыслом живут деревни Кандалакской губы («госпожа Кандалýха-губа»). Кандалакшане летом сидят на берегу да гагар наблюдают. Ежели гагара нырнет в воду да вынет рыбку, промышленники начинают готовиться. Сельдь пришла, но еще глубоко в воде. Вот и чайки залетали, заплавили, заныряли в воде. Скоро и сельдь начала играть на виду, плескаться. Народ с карбасами с неводом спешит на ловлю.

До самой революции в той же Кандалакше невода были легонькие, малые, чуть рыба подальше от берега или поглубже в море, народ не могли ее брать. Глядит с горы, а взять нечем.

В наши дни в Кандалакше оборудована консервная фабрика. Промышляя в прежние времена, люди могли надеяться только на случай. Главным помощником, конечно, очень ненадежным и случайным, был тюлень. Жируя в стаде сельдей, он загонял ее чуть не на берег. Деревенским оставалось только хватать. Присутствие сельди у берега зависело от присутствия зверя, так же, как обилие трески близ мурманского берега, по уверению поморов, зависит в большой степени от присутствия в океане китов.

На карельском берегу Белого моря был такой случай. Приехал карелянин из лесов в поморское село за сельдью. Спрашивает — есть ли?

— Есь! Карбас полон с верхом, да на берегу куча.

Стали торговаться. Кареляк купил весь карбас за рубль.

Хозяин велит:

— Бери всю.

— Ладно, тебе небось не оставлю.

Стал карелянин рыбу береженько на воз укладывать. Промышленник стоит дожидается, нет-нет он и припугнет покупателя, чтобы скорее поворачивался.

Навалил тот рыбы полон воз, и класть больше некуда, а в карбасе рыбы много остается. А рыбак покрикивает:

— Всю бери! Всю купил, дак чтобы ни хвоста не осталось!

— Да мне боле некуда. Тебе дарю...

— Ты бы мне еще песку морского подарил!.. Сбирай рыбу, мне-ка с ей только берег ќасти́ть.

Опять покупатель рыбу прячет, уминает, да мало вошло.

— Нет, не могу! Бери — дарю!

Промышленник заругался, начал помогать рыбу укладывать, своими боками уминать начал.

Ну кое-как распростились. Дело к ночи было, промышленник спать повалился, покупатель домой поехал. Ночью мужик и слышит: кто-то в окно колотится...

— Кто там?

— Это я, рыбку у тебя купил.

— Ты что?

— Лошадка пала! Переселась с возом-то...

— А не хватал бы всего карбаса!.. Ну ладно... Пошутил я даве с тобою, да и негораздо. Побросай с воза — то еще, да бери моего конька.

В Сороцкой губе промышляют сельдь осенью, когда губа уж лед ожидать начнет. Как базар, как ярмарка бывает этот лов. Стар и мал в карбасах на воде. Промышляют неводом и мережками. Глубина невода двенадцать метров. Невод тянут за концы два карбаса рядом. На носу стоит человек и пробует глубину веслом, если сельдь нащупывается редко, плывут дальше. Вот весло увязло в рыбе, как в каше. Тотчас распускают невод, и оба карбаса разъезжаются, начинают омётывать стадо неводом. И в то время все, кто есть на воде, начинают бить по волнам веслами, шестами, чем попадя — понуждают рыбу итти в сети. Тут смеху, тут крику, тут ругани... А потом оба карбаса съедутся. Рыбу из неводов и мережек черпают прямо в карбаса порочками, саками и ковшами. Иной невод даст грузу на двенадцать карбасов.

Пока море чисто от льда, все можно промышлять сельдь. Но зимой рыба опускается глубже. Море, согревшись на летнем солнце, в глубинах остывает очень медленно. Там сельдь и ходит... На ветхом месяце, в последней его четверти сельдь не ловится. Эта зависимость добычи рыбы от фаз Луны резко заметна везде на Севере и в реках, и в озерах. Ветры благоприятные для зимнего хода седьди и корюшки:

запад — вест.
летний — зюйд.
шалоник — зюйд-вест.

Ветры враждебные, производящие бурю, посылающие рыбу вдаль от берегов:

восток — ост.
полуночник — норд-ост.
побережник — норд-вест.

До революции сельдь промышляли и налаживали в продажу по старинке. Бочки-сельдянки худые, соль грязная, и скупо ее клали. Оттого аккурат-

но уложенная и посоленная голландская и шотландская сельдь в славе, а не наша муромская и беломорская. Но если сравнить вкус сельди нашей, только что из воды вынутой, и голландской, наши несравненно жирнее, белее, нежнее. И рядом голландку не клади! Но у нас был худ засол.

При Советской власти * в Кандалакше, центре сельдяной промышленности, построен консервный завод: рыбу маринуют, выделывают кильки и шпроты.

Организатором завода был рабочий крупнейшей Ревельской килечной фабрики. Он хотел доказать, что в СССР могут делать консервы не хуже заграничных.

Преемник этого настойчивого человека вздумал перешагнуть не только ревельского фабриканта, но и Европу, но и Америку. Серьезное внимание обратила на консервное дело в Кандалакше и наша центральная власть. Скоро беломорскую сельдь оценят все.



---

* Рассказ записан в 20-е годы.



ИЗ ЗАПИСЕЙ

Изящество и художество встречались в крестьянском дворе там, где, казалось, не было особой нужды в искусстве. Помню, в знойный день в одной заволжской деревушке приманила меня тень крытого соломой сеновала. Меня подивили золотые сумерки обширного помещения. Далее мне показалось, что на полу спят люди в золотых зипунах. Чинно лежат ряд за рядом и вкушают послеобеденный сон. Солнечное блистание лилось в полые воротца. Первый ряд снопов нестерпимо сиял: отсюда эта золотистость воздуха, эти червонные тени в самых дальних углах.

Подивился я и развеселился, когда поглядел вверх.

Высокая соломенная кровля сарая, белесая извне, изнутри сияла густыми тонами червонного золота. Приемы золотого плетения, приемы чисто практические, можно было сопоставить с техникой красовитого золотого шитья. Пряди золотистых шнуров, узлы, симметрично расположенные,— все это делано рассудительно, а получалось художество.

Наш хозяин польщен был моей попыткой срисовать соломенную вязь.

— Это мое рукоделье, первоучебное. Вот за рекой, в Барноге, во двор зайдешь — прямое восхищенье: будто у сенатора с мундира снят узор. Я сто раз глядел эти узоры и сто раз восхищался.— Свой гимн золотой соломе калязинский дядя закончил словами: — А главное: ни зимою в оттепель, ни летом в ненастье ни одна капулечка воды сквозь это художество не прольет.

Простые люди ценили искусство, которое пригожалось бы в доме. Одна поморянка из Кеми писала мне: «Вырежь ты ложку коренную * и пришли. То уж будет памятка довольная: ложка всегда в руке».

Общеизвестна истина, что творческое, веселящее душу вдохновение свойственно человеку любой профессии. Бывало, в Архангельске в июньскую сияющую ночь, когда вода и небо кажутся половинками жемчужной раковины, сидят на берегу и резчик из Холмогор Узиков, и маляр Кулаков, и судоремонтник Петунов, и художник из Москвы П. И. Субботин. Сидят молча, не подберут слов, чтобы обсказать чувства, возбуждаемые красотой природы.

---

* Из корня крепкого дерева. Такие ложки не ломятся. (Прим. Б. Шергина.)

Но веселье душевное, некрадомое, неиждиваемое каждый выскажет по-своему. Резчик Узиков, веселясь, мастерит узорный ларец. Кулаков вдохновенно размалевывает фойе кино «Мулен руж», судоремонтник обшивает борт корабля, будто мать дочку сряжает. А служитель «чистого» искусства Субботин, он делает эскиз за эскизом, веселье умное тщится отобразить в картине, в пейзаже. И у всех у них — у живописца и у маляра, у резчика и у столяра — одинаково светлы лица во время работы.

В. Ф. Вопиящин, маляр по званию, истинный художник по призванью, говаривал: «Что увижу, то и мое». Рассказывал:

— Ходил я в один дом три года — сундук нравился расписной. Купить не на что. Тогда я в этом доме полы выкрасил и стены шпалерами выклеил. Мой стал сундук. По главному прешпекту вез этот сундук, многозначительно, чтобы вся Вселенная дивилась.

Преподаватель Баллад во всеуслышанье сказал:

— Триумфаторы на колеснице такого вида не имели, как ты на ломовой телеге.

Другая творческая душа, холмогорец Узиков высказывался: «Ежели какая вещь понравилась, мне надобно эту любезную утварь своими руками сделать. Вот и примусь жадность свою утолять: пилю, тешу, режу, или кую, или лью. То уж будет мое».

Острозначный ум северных умельцев — «что увижу, то и мое» — был, по силе, и моим свойством. Но шатровую башню, глядящую в воды Двины, не унесешь домой. Каменное крыльцо, похожее на крыло лебедя, не отнимешь от стены. Я уж помянул, что пристрастился делать модели желанного зодчества. Тогда становилось у меня «сердце на месте, душа в горсти». Сохранил я клад последний: страсть делать модели домов, веселит она и молодит душу. Время тратить на игрушки совестно. Отряжу себе три дня. А дело заведется на три месяца. Чердаки, балконы, лестницы... Сделать надо красовито и прочно. Так, чтобы, когда внук сядет на этот дом, ничего не погнулось...

У знатного каменщика и штукатура Ивана Акимова были друзья среди молодых инженеров, а один архитектор в письмах называл его «милый мой батька» и «старый мой друг». История этой дружбы такова.

Архитектор этот, сын простого рабочего, работал с отцом по штукатурной части. Парень кончил среднюю школу, в то же время неуклонно помогал отцу во все свободные часы, дни и месяцы. Профсоюз обещал отправить его в специальную или высшую школу.

В летнее время штукатурили они с отцом казенное помещение. Отец помер внезапно, сын решил не сдаваться: этой работой он как бы сдавал экзамен. Взявши помощника, продолжал работу. Он был упорный, пристрастный человек. Начал штукатурить потолок в зале. Штукатурка повисает, не держится. То ли песок неладен, то ли известь не в порядке. Парень еще опыта большого не имел.

А было два десятника, Захаров и Акимов. Захаров не взял во внимание старательность, трудолюбие, усердие Руневского и, видя, что дело неладно идет, советом не помог, а отругал Руневского. Назавтра Руневский сидит на лесах под потолком чернее тучи. А работу не оставляет, ладно не ладно — замазывает трещины. И опять Захаров налетел, начал срамить:

— Паразит, дармоед.

Руневский разгорячился да пнул ведро с водой. Ведро полетело вниз. Захаров побежал жаловаться, что Руневский озорничает.

Руневский опять сидит в черных горях:

— Брошу эту специальность, будь она проклята! Ненавижу эту грязь. Кончено!

И входит в залу Акимов. На доски залез, щупает здоровую часть потолка. Заметил Руневского.

— Здравствуй, молодой человек! Ты это штукатурил? Отлично! На добрую совесть делаешь. Белить жалко, как мрамор. Я старый штукатур, а с твое не будет, сила не та! Рад за наше дело, ежели такие, как ты, усердные ребята выросли.

— Вы серьезно? Что же хорошего видите?

— Та половина работы удалась, а вот этот угол — стыд и срам... Потолок ты штукатурил материалом отцовой заготовки. Старый мастер знал пропорцию. А твоя заготовка — песку перепущено, известь сунули не такую.

Акимов два дня с Руневским поработал. Дело ходко пошло. Парень расцвел. Не захотел этого дела бросать. А с Акимовым дружба пошла. Он в районных архитекторах теперь уж, Руневский-то.

Говорят: Акимов подход знает. Нет, Акимов к делу своему пристрастен и людей, любящих его дело, любит, ищет и душу за них кладет.

Старый холмогорский резчик Узиков говорил:

— На выставке граф N в восхищение пришел от моих изделий. Пришел на выставку с иностранцем, хвалит мои работы. Далее спросил у начальника: «Этот резчик здесь?»—«Вот он стоит». Граф ко мне: «У тебя есть еще что-нибудь? Я купил бы».— «Есть»,— говорю. «Принеси мне завтра утром на дом». Дал адрес. А сам опять к окружающим: «Чего только не сумеет сделать наш русский мужик. Уверяю вас, господа, блоха не выдумана Лесковым».

Утром являюсь. Швейцар с усмешкой говорит: «Что ж ты в парадное лезешь? Ступай черным ходом».

В кухню зашел. Горничная пошла докладывать: «Господа еще не вставали».

Час прождал.

«Господа кофей стали пить».

Час пили. Гости у них там оказались.

Говорю горничной: «Мне некогда, доложи, что ухожу».

Та вернулась: «Граф говорит: скажи, что я занят, пусть ждет, что-де за хамство?»

Я разгорячился: «Скажи графу, что хамство заставлять ждать на кухне мастера-художника!» Выговорил это, подойдя уже к двери.

Да, кто художество наше любит, а мастера презирает, тот лжет. Кто действительно мастерство народное любит, любит и художника. А кто спесивится перед нашим братом, не любит искусства нашего, кто оскорбляет художника — искусство его оскорбляет.

Бобрецову сказали: «Картина «Последний день Помпеи»— искусство. А твоя резьба что же?» Он ответил: «Солнце отражается и в малом ручейке. А все то же солнце. Только бы от любви сделано».

Мы, может, младшие братья в семье художников, но оставьте себя в рубле да не кладите нас в копейку.

Вот теперь, при Советах, нас в Союз художников принимают и понимают, что в большом доме необходимо имеется утварь и серебряная, и золотая, и медная, и деревянная, и глиняная. И вся она нужна, и вся на пользу. Ни без той, ни без другой не обойтись.

Василий Иванович преподавал в художественной школе. Парнишку-ученика пустил к себе на время. Тому жить было негде. Парень и зажился. Старику стеснительно, но ценил он талантливость паренька. А тот не всегда сообразит, что старику и отдохнуть надо время или старику неможется.

Знакомые негодуют:

— Василий Иванович, гоните вы вон этого верзилу! С какой стати вы себя стесняете?

— Вот с какой стати: он настоящий художник. Иной раз сгрубит, я разгорячусь. Он уж сует мне тетрадь, альбом новых работ. Меня как светом освежит: талантлив, сукин сын! Конечно, я могу его прогнать. Но куда он пойдет? Конечно, мне будет спокойнее, но... Ничего я не могу сделать с собой, когда вижу его работы. Это настоящий художник. Вижу талант — и мне крыть нечем!..

В Архангельске молодой Доронин искусно резал медальоны и пуговицы-монограммы. Эти пуговицы горожанки носили вместо брошек. Охотно покупали их и иноземцы-корабельщики. Иного материала, кроме слоновой кости, молодой резчик не употреблял. Старые городские мастера считали это гордостью, и когда Доронин заявил, что желает приобучать своему искусству молодежь, старики ответили:

— Работаешь ты изрядно. Но можешь ли ты быть учителем? Вот ежели бы Бобрецов признал тебя способным воспитателем, мы с легким сердцем посылали бы к тебе ребят.

Доронин отвечал:

— Ладно, старики. Воспользуюсь случаем познакомиться с мастером, искусство которого ставлю очень высоко.

В свою очередь Бобрецов знал работы Доронина, восхищался ими, но явившегося к нему на Холмогоры молодого мастера встретил с напускной суровостью:

— А, пуговичник приехал. На днях письмо насчет тебя получил из Архангельска: за учительскую степень грабишься. Погости у меня годик-другой. Тогда посмотрим. А может, и пять годов у меня корпеть будешь.

Старик говорит это, а сам караулит лицо Доронина: не испугается ли, не побежит ли?

Доронин не испугался: восторженно впившись глазами в бюст Ломоносова бобрецовской работы, он воскликнул:

— До смерти рад у вас учиться! Действительно я пуговичник, а вы скульптор-ваятель.

Бобрецов ведет свою линию:

— Еще не знаю, возьму ли тебя в ученики-то. Вон сук березовый. Распили и сделай гребень.

Гость сделал гребешок и украсил изящнейшей резьбой.

Бобрецов говорит:

— Резьба ни к чему. Старухам не видно будет вшей бить. Делай гладко.

Изготовлять простые, неукрашенные вещицы считается делом первоучебным, ребячьим, но Доронин с увлеченьем сделал пару простых гребешков.

Доронин гостил у Бобрецова целое лето. Бобрецов оценил в нем любовь к скульптуре, внушил любовь к деревянной резьбе, к монументальным вещам. Как раз к этому времени Бобрецов закончил деревянную статую Петра Первого во весь рост, на коне. Было чем увлекаться Доронину.

В то же время Бобрецов и медальоны и резной гребень Доронина послал в Петербург с письмом: «Новая звезда взошла на нашем небе». Такое же письмо послано было и в Архангельск.

Осенью Доронин вернулся в Архангельск и встречен был с почетом. Первеющий соломбальский мастер Самсонов Доронину руку пожал и выговорил:



— Бобрецов про тебя пишет, умеешь-де ты учиться, умеешь подчиняться. Следственно, сумеешь и учить и начальствовать. Из-за любви-де к художествам не погнушался ты последним местом, следственно, достоин и первого.

Я хвалю золотые руки, которые все умеют сработать, что в доме служит к пользе и увеселению.

Выше, к разговору, я сказал, что например, невнятная картинка, висящая над диваном, не участвует в домашнем житье-бытье. Условно и относительно это мненье. Помню, в Хотькове, под Москвой, поднялся я на Митину горку и поглядел в долину, по которой семь раз извилась речка Пажа. Я подумал: «Первый снег». Надо запомнить краски — их три: небо — нейтральтон, силуэты деревьев — черная тушь. Снег — оставлю чистый ватман. Но если бы я был художник, я бы увидел, что гамма тонов русского серенького неба богаче нюансов перламутра. Если бы я был художник, я увидел бы, что рисунок лишенных листвы сучьев и ветвей изящнее любых ювелирных изделий. Если бы я был, скажем, художник-пейзажист, я бы жадно устремился, чтобы богатство это стало моим.

К слову, сделаю привод из северной сказки. Парню понравилась в хороводе девица. Вышли они на речку поговорить. Стоят на высоком угоре, а на той стороне стена елового бора и на этом фоне белые березки. Парень спрашивает: «Какое у тебя именье? Есть ли что свое?» Девица, широко пове-

дя рукой, воскликнула: «Я богатая! Мои эти елки, мои березки!» Парень объясняет: «Надо говорить, елки да березы — боговы».— «Нет, мои!» По реке пролетела вереница лебедей, потом гуси. Девица восторженно кажет на птицу рукой: «Это мои лебеди, это мои гуси». Парень рассердился: «Глупая ты. Лебеди и гуси — боговы».— «Нет, мои, мои, мои!»

Истинный художник была эта девица.

СЕЛО СУРА НА ПИНЕГЕ

В 1923 году ездил собирал материал для Северного отдела Сельскохозяйственной всесоюзной выставки в Москве.

Село Сура на Пинеге. Праздник Параскевы Пятницы.

В Суре местный праздник.

На квартире разбираю свой багаж, готовлюсь к этюдам.

— Маменька! Глянь-ко, Анка Погостовска в большом наряду идет.

— Аа-анка... Андели!.. Андели!.. Анка Погостовска да в большом наряде! Да умеет ли выступить? Сделат ли?

— Сделат, маменька, сделат, онодысь делала, дак ладко вышло.

Не удержался, спросил:

— Что вас так дивит Анка Погостовска?

— А то и дивит, что из бедного житья. Наряд-то взяла на одеванье — отрабатывать будет. А наряд-то большой первый раз одела. А ты пойдешь Петровшину смотреть? Коли пойдешь, дак не проклаждайся — к началу опоздашь.

Наскоро свернул свои пожитки и поспел «к началу». Девки в больших нарядах: в цветных шелковых сарафанах, в парчовых коротеньках, высоких золотых повязках, белые рукава повязаны лентами. Шелковы шали перекинуты на руку. Беленькие платочки в руках.

Пышные белые рукава подчеркивают переливчатую яркость золота и цветного шелка.

Спросил у старухи:

— Бабушка, я не опоздал?

— Отвяжишь, сбиваешь глядеть.

Оглянулась ко мне, оглядела и уже ласковее заговорила:

— Ты у Феклы Анисимовны остановился. Сказывают, ты снимальшик. Ну так не опоздал. Только сошлись, расшипериваться начали, потом телеса уложат, личико сделают, чунушки сделают, тогды и пойдут. Да ты смотри.

Смотрю. Как не смотреть.

Перед глазами было живым, сегодняшним прошлое — XVII век.

Девки «расшиперивались». Расправляли рукава, расправляли ленты. Тетки и другие старшие родственницы помогали изо всех сил и очень серьезно, сосредоточенно. Ведь это не простая забава «большого наряда», а большое и очень важное дело. Расшиперились. Начали «телеса укладывать»— выправились.

«Личико делать»— сделать спокойное лицо. Чунушки — часть улыбки. Девки учатся чунушки делать перед зеркальцем: не открывая рта, говорится «апельсины-персики готовы». Моя соседка старуха вся замерла в восторженном ожидании. Впрочем, что старуха — все люди как-то замерли перед торжеством действа.

Какой-то незаметный знак — девицы колыхнулись и поплыли. Ни Гельцер, ни Павлова не выступят так.

Пышные, как павы, плыли лебедями.

И вдруг дождик, как набежала туча.

— Ох-ти мнеченьки, што девкам делать: и фасон сбить нельзя, и наряд мочить нельзя.

Девки вопрос решили просто: подол на голову, и под навес.

Анка Погостовска выдержала экзамен. И кумушки, и тетушки, и соседки признали.

— Хорошо Анка шла, как и не первоучебна.

ДЕРЕВНЯ КИЖМА НА МЕЗЕНИ

День жаркий. У окна сидит старуха с пряжей. Нитку скет, веретено крутит и дремлет, засыпает за пряжей.

— Лихо прясть из-за солнышка, споро прясть из-за отничка... ох, хо-хо-о.

— Бабушка, ты прилегла бы пошла, чем маять себя.

— И то — повалилась бы пошла, я уж на повети подпахала, из горницы место принесла, да тебя совещусь, приезжево человека,— обсудишь.

— Нет, бабушка, не осужу. Отдохнешь, снова за работу сядешь.

— И ладно, коли так. Люди разны бывают. Новы придут, глаза попучат — пойдут да и насучат. А севодня я рано зажила. Севодня у нас помочь. Стряпала да пекла, а печеному да вареному не долог век. Сели да поели — и все тут.

ДОРОГАЯ ГОРА НА МЕЗЕНИ

Местный праздник, девки в больших нарядах собираются. Идет девица полем в большом наряде или лугом идет. А большой наряд золотой парчой, цветным шелком переливается. Как золотисто-радужный цветок движется. Девицы для сохранности подол несут в руках.

Придя в деревню, сарафан распустят, весь наряд расправят и плывут, «текут» к месту сборища, становятся в круг по две в ряд. Стоять надо «истуканшей». Вся прямая стоит девка стройно. Лицо спокойное на вид и чуть улыбка (чунушки). Подходят еще и еще, круг ширится. К одной паре подходит третья девица, с другого края — лишняя, поворачивается, отходит к другой паре и снова застывает «истуканшей». Третья лишняя отходит и т. д. Эта игра называется «столбы». Одна из древнейших игр. Тут девицы показывают себя во всей красе.

Меня поразила красота величавого достоинства, с которым девки стояли «в столбах».

После «столбов» местные девицы пошли приглашать девиц-гостей принять участие в хороводе.

Более почетных приглашали в первую очередь.

— Девушки-гостьюшки, почествуйте наш праздник, нашу Петровшину, станьте в наш хоровод.

Первые охотно откликались. Кланялись и шли за пригласившими их.

Одна девица в синем сарафане с голубыми широкими, да длинными до земли лентами в косе отказалась итти.

— Покорно благодарим.

Откланивалась, но в хоровод не шла, ее чуть не последнюю приглашали. Вступились старухи:

— Да што вы, девки, на Катьку Зотиковскую глядите, иш кобенится. За косу ее поставить нать.

ЗНАКОМСТВО С ЖЕНИХОМ

— Сидели на беседе: песни пели, ходили уточкой *. Он приходит, я и не знаю, что жених, еще не видывали.

Отходили уточкой первый раз, я и пошла к чужим, которые у дверей стоят (у нас мужчины все стояли у дверей). Вот подошла к Гавриле, эдак поклонилась, платочек подала беленький. Мы с подружкой пошли, с Афанасьей, она тоже с платочком к чужому, тоже был лопшеньский парень. Они за платочки взялись, мы четверо пошли уточкой. Вот и ходили-походили, песню спели всю, какую поют: «У Гурьевых у ворот», другой раз отходили и садимся, он сел с нами. Посидели на беседке и пошли: мы по домам, мужчины по деревне.

Пришла, пообряжалась, нужно опять на беседку. Еще не ушла из дома — молодцы и пришли к нам, тут и Гаврило. С нами поздоровались, мать и говорит: «Наставляй, Сусанья, самовар». Я крутехонько самовар наставила, пока на стол что следует положила, и самовар поспел.

Сели пить чай, винца принесла — поугощались. Девицы бегут: «Идите на беседу!» Мать говорит: «Пообождите, гости сидят». Это жених сидит, а я все не думаю, что жених, даже умом не вожу. То — другое поговорили, Гаврило и сказал матери: «Нельзя ли посватать дочку?» А мать: «Какая невеста, молода еще». Я посмеялась: «Ну, да не худая невеста»,— смешком так.

Мы на беседку удрали, тоже они потом приходят. Приходит, садится ко мне: «Вы, Сусанья Петровна, понравились мне больше нашей лопшеньской Павлы, вы за меня нейдете замуж?» А я смешком: «Какие мы невесты, далеко еще нам до невест». (А мне двадцать, двадцать первый год.)

Беседка отошла, в тот же день вечорка, в той же избе с делами сели: кто вышивать, кто везьбить **, кто чем занимался. Я тоже вышиваю рубаху. Он пришел ко мне и сел, посидел, опять о том же заговорил: «Я буду надеяться, вы посулите мне, сей год жениться не буду. Мы походим на море (на Зимнее спускались море), до весны». Отказала: «В чужую деревню не иду».

У меня на шее красна бумага висела, вышивальная, он с шеи ниточку снял, «бобы сметал» (все метали: складывали в несколько рядов нитку). Мечет, сам говорит: «Ежли дорога падет, будешь за мной». Ну, он разрезал, завязал кончики и раздернул нитку, вышла дорога. «Гляди,— говорит,— все одно ты будешь за мной». Я говорю: «Нет, в чужую деревню не пойду». Потом «бобы» взял, свернул, в карман положил. Я сижу, шью-вышиваю, иголочкой рубаху к сарафану приткнула. Он вынул иголку — говорит: «Будешь за мной, иголку в Лопшеньге отдам», иголку взял. Потом он с вечорки ушел, и они домой поехали. В Лопшеньгу уехал, на море на Зимнее спускались, в уносе были страшном, далеко были. Приехал, осенью и засватали.

Деревня Лопшеньга, С. П. Майзерова

---

* Традиционное хождение «уточкой»: под песню девушки и парни шли парами; расходились, опять сходились.

** Везьбить — особым способом накладывать цветной узор на холст.

ИЗ РАССКАЗОВ ОПРОКСЕНЬИ ТИМОФЕЕВНЫ, 35 ЛЕТ

— Я маленька была, ссыльной у нас на квартеры стоял. Книгу читает весь день. Мы скота обрядим — слушам, как конфету едим. Бывало, в гости сбегашь, что это как в людях невесело?— дома веселе.

С мужем полдесятка годов прожила, в партию зашла. Училась, из помойки все бумаги бросовы исписала. Как не стирка — ночь читаю. Пряду — книга тут лежит. Мужу это очень в перелом: «Ты, учена, хоть себе поись наладь». Корку суху буду грызь — от книги не отступлюсь!..

Тошно было. В сельсовете доклады эти — пена из головы! Уросит на меня мужик. Другой раз недели две со мной молчит. Все дразнит, не скажет «ширпотреб», а «шир-дыр-портрет». Не назовет «электромеханик», а «электро-техни-пехни-механик». Обидимся друг на друга, врозь спим... Ох, кто бы меня шомполом горячим настегал, чтобы я о муже не тужила!..

Ох, эта любовь зла! Недавно с молодыми мужиками плыву на карбасе. А они:

— Опроха, каки у тя косы рыжи-красны!

— А что?

— А то, что нам лисьего воротника охота померять.

Я дрогнула. Я одна. Я говорю:

— Мужики, почерпните воды с той стороны карбаса и с другой. Везде вода одинакова. И жонки все однаки.

Они помолчали.

— Красотой-то уж не однаки!..

— Отец у нас был коротенькой, а в семь с половиной пудов весу. И заболел. И рыжского бальзама пил, и лекарства — все без пользы. Насоветовали съездить к знахарке, туды к Суздалю. Избушка маленька, и старушка маленька. Икон полон угол. Налила в чашку воды, поставила под образами и стала шептать. Мы сзади стоим. Мать у нас высока, и глянула старухе через плечо. В чашке чашка белая — будто карточка фотографическая: будто стол, за столом компания сидит полдесятка человек, и отец, как живой, как написан в чашке-то. Старушка и говорит отцу: «Тебя в компании испортили».

— Зубы болят? Скажу средство, век меня будете благодарить. С утра, как одеваешься, перво левую ногу обувай и штанину левую натягивай. И рубахи левой рукав, и пинжак, все левой. Никогда не будут зубы болеть.

— У нас не землей интересовались, а в Москву ездили. Отец подрядчик был. На Маросейке Сытину, на Тверской Капырину... Он своими каменщиками дома строил. Без мала восемь пудов весу папенька-та имел. Шуба песцовая еще осталась: диван этот закрыть можно. В деревню приедет, муки, рыбы, закусок, вин, чаев, конфет, сахару воз привезет. И особо подарки...

— Как я смолоду любил эту пору — зима-та окротеет... Вот надо по дрова. Мать в три часа разбудит. Лошадь у нас не на улице, а во дворе запрягают... Тебе ворота отворят, в тулупчике развалишься , темно еще, едешь по-

дремываешь. По деревням петухи пропевают. В седьмом начнет светать. Дымы лезут у баб. Жареным попахивает. С лучком жарят. А тихо... Вот молодка за водой с коромыслом пройдет. Старичок снег раскидывает от двора. «Дедушко, как ближе вот туда-то проехать?» — «А, сударик, поедешь прямо, а от ельничка влево своротишь...»

— У нас село, пять трактиров. Как смеркнется, чаю попьешь, гармонь за плечо и в трактир. Там опять чай закажешь. К чаю брали карамель: «Сиамского короля», «Гоголь», «Раковы шейки». Полсела по эту сторону знала свои трактиры, те опять к нам редко ходили. Через село большая почтовая дорога. В праздник гулянье, как река плывет народу. У мужчин шубы на хорьковом меху, ворота бобровые. У баб гейши на лисьем меху, ворота собольи. Орехи, пряники.

— У нас в Боголюбском монастыре колокола в тысячу пудов, в семьсот пудов. Мы так привыкли, так любили этот звон... Вот меня маленького лет четырнадцати возили в Рузу. И гостили там с месяц. А звон жидкий в Рузе, как на пожар. Возвращаемся домой. Вечер, завтра воскресный день. И ударили в Боголюбове ко всенощной. Не слышно ударов, а только будто поет кто низким, а светлым голосом. И я заплакал. Такое умиление к сердцу подкатило... Скажи, пожалуйста, а раньше как бы и не замечал!..

В ДЕРЕВНЕ

Старуха с полатей:

— Правда ли, нет ли, в Москвы в клиниках человеку голову отрубили, дак он еще с полчаса матерился?

— Да как не правда, Михейша в газеты читал... О, осподи, что делают ученые! У человека голову как стекло с лампы снимут и опять наденут...

Другая старуха ехидно:

— Мы тоже газету выписывам, «Правду». Фураган прошел, Ипонь утонула! Ипонь провалилась, и Москва провалится! Безбожники вы бесстыдны! На Двины куманисту царица небесна явилась, а он на ей козой глядит. Она говорит: «Что ты, дурак, не молиссе, ведь я Богородица!» А он: «Богородица — дак сидите в киоты!» Вот какой невежа!..

ОТВЕТ ОТЦА

Сын онежского кормщика, живший на Двине у судового строения, заболел. Придя «к кончине живота», он пишет отцу в Онегу:

«Государь батька! Уже хочу умереть. Поспеши притти и отпустить меня».

Отец отвечает ему:

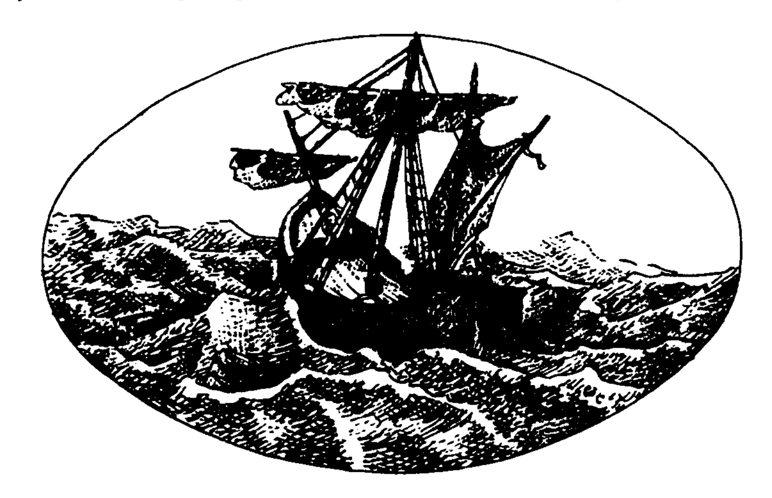
«Сын милый, пожди до Похвальной недели. Буде можешь, побудь на сем свете с две недельки. Прибежу оленями. Буде же нельзя ждать, увидимся на будущем.

Но се аз, батько твой, отпускаю тебя, и прощаю, и прощения прошу».

ЯКОРНЫЙ МАСТЕР

На веках, у судового строения жил якорный мастер. Однажды, за спешностью дела, ковал ночью. Мимо шла «барабантская девица». Прельстясь молодым кузнецом и не зная русской речи, она задрала подолы и принялась плясать перед мастером. Растерявшись, мастер голою рукой схватил разженное железо из горна и жогнул девицу по «толстым мясам». Она с ревом убежала.

А якорному мастеру «за целомудрие дана бысть благодать»: он с той поры, не ужасаясь, брал разженное железо голою рукой.



ДЕТИ

Восхищает меня неустанное, живое творческое начало в детях. Готовые ли игрушки (зачастую мертвенно-бездарные), дощечки ли и чурочки — все оживляется и расцветает в детской творческой мысли.

Творческое воображение детей неиссякаемо. Маленький Мишечка большею частью играет один. Свяжет цепью коробочки — это поезд. Свистит, стучит... Ту же коробочку привяжет за нитку — это рыба. Залезет на стол, удит. Боится упасть «в воду». Уставит рядом стулья, соберет отовсюду старых и малых, рассадит — это театр. Четырехлетний Сашка, трехлетний Лёка и он, пятилетний Мишук,— артисты. Поют кто во что горазд... Минут через десяток Мишук лазает под нашими стульями, стучит молотком, вяжет что-то бечевкой. Оказывается, мы сидим в вагонах, сейчас поедем, и Мишук проверяет колеса...

Человек, сохранивший и пронесший через всю жизнь вдохновенное творческое воображенье и детскую впечатлительность, такой человек есть художник. Художник и поэт в любой области, будь то искусство, наука, техника.

Что дети — художники, об этом говорили тысячу раз. Но всякой раз ум веселится, наблюдая или участвуя в этом радостном творчестве, в детской игре.

СКАЗЫ О ВОЖДЯХ *

Ряд лет я записываю разговорную речь, главным образом у себя на родине, в пределах бывшей Архангельской губернии.

Промышляю словесный жемчуг «по морям и по волнам», на пароходах и на шхунах, по пристаням и по берегам песенных рек нашего Севера.

Слушаю, как говорит народ и что говорит.

Ежели собеседники меня не видят, заношу в тетрадь тут же, буквально и фонетически. В противном случае слышанное и упомненное записываю дома.

Записываю северную речь, потому что дар поэтического слова чрезвычайно свойствен людям Севера.

Северный художник слова (рыбак, зверолов, лесоруб, заводский рабочий) большею частью малограмотен и поэтическую свою одаренность выказывает естественней и скорей всего в разговорной речи — беседе.

Такой поэт и не подозревает, что он художник, художник слова. Ведь он стихотворений не пишет, рассказов не печатает.

И в то же время картинная, насыщенная образами речь доказывает с несомненностью, что перед нами поэт. Его лаконически выразительные, неожиданно остроумные реплики в беседе зачастую более ценны, чем многие из напечатанных на ту же тему стихотворений.

И ведь он, этот твой или мой собеседник, нисколько не думает о красоте своей речи. Он всего лишь стремится выразить свою мысль как можно вернее, он хочет быть понятым как можно лучше.

Вот, к примеру, материал о Ленине и Сталине. Эти речи записаны из уст людей, в данный момент (момент разговора) слишком серьезно настроенных, чтоб украшать свою речь.

Образность и сила этих речей — исключительно от стремления говорящего быть наиболее убедительным, точно и правильно понятым.

Записываю я и отдельные выражения, сколько-нибудь поразившие слух, и целые рассказы. Кроме упомянутых «песенных рек» такому промышленнику, как я, много дают вагонные разговоры (мне часто приходится ездить между Москвой и Архангельском), ожидальные залы при вокзалах...

Повторяю,— записано в разное время и от разных людей, но объединено здесь в интересах широкого читателя.

Сводки этих речений располагаю хронологически. Высказывания о Ленине записаны в 1927 году.

1

Ленин с Марксом издали закон — ни прибавить, ни убавить. Потом всяки от них наотходили да назвались: эсеры, меньшевики. Эти слабо закон ведут: «Большевики силой взяли, а мы — умна собачка. Мы лаской будем выманивать куски». Ленин их всех рассмотрел, как в бутылке воду. Ленин доказывает книгами, в каки годы капитализм можно, в каки невозможно. Ленин грамоту очень востро знал. Книг от него осталось сколько сундуков,— всё его ум. Промеж Маркса ученьем и Ленина ученьем нитки не продернешь. О, как надумано, да как сказано, да как положено-то!

Ленин смолода зачал на царя тучу грозовую собирать: «Царь, в каку ты яму Россию пихнул!» Царь говорит: «Ленин меня всего заругал. Я больше из

* Из книги «У песенных рек», 1939.

мочи вышел. Рад из царства-то уехать!» Царя не стало, временно правительство вылезло, как вошь на гребень. Ленин их тоже прижал к ногтю.

Ленин не с войском, с маленькой звездочкой пришел. Ленин из ничего человека-то сделат. Не выпугат человека. Человек-от маленькой, худой, Ленин его распрямит да поставит.

Ленин откуда едет, робят рваных кучу везет. Другой вовсе робенок сопливой, под одну коростину закрылся. Ленин уж не опротивится: «Тебя в гости повезу, шапочку куплю».

Ленин заумирал, народ за его захватились, за френчик: «Куда ты сторопился?! Ишь, дождь гремит! Нужда еще не вылезла из дому!»



В самое утро Советское к Ленину приехали гости других держав. Они приняли на смех это слово: «товарищ». «Это — детско слово. Надо: «господин такой-то».

Ленин созвал собрание. Велел принести весы. На одну чашку положили слово «товарищ», на другую — «господин».

Дак «товарищ»-то о пол брякнуло. Тяжеле золота.



Из роду человеческого мы Ленина пуще всех жалеем!

Ленину надо попасть в Россию, а война перегородила. Солдаты говорят:

— Мы тебя всем войском в пазухе унесем.

(Т. Томилов)



Николай с одной стороны, Вильгельм с другой стороны — посылают солдат воевать. А боев все нету да нету...

Поехали узнавать, что случилось...

А это Ленин. Разнял драку, стоит меж войсками и говорит:

— Братню вы кровь проливаете! Не в ту сторону воюете!..

С леву руку германские стоят, его слушают, с праву руку российские стоят, его слушают... Война-та перестала.

(Северн. ж. д., 1922 г.)

Ленин скромной был, узнал, что его в главно место приехали приглашать, он в лес убежал, в ельнике спрятался. Его с аэроплана усмотрели, взяли.

(Т. Томилов)



Еще в военное время было. Ленин делал доклад, а некий, прибывший на собрание прямо с поезда и сидевший рядом с Ильичем товарищ уснул... Члены президиума сконфузились, не знают, как быть. Стали ложечками

брякать в стаканах, чтобы разбудить. И Ленин им кулаком затряс, зашикал на них, а сам свое пальто с локотника взял да тому под голову подложил:

— Ему завтра опять на фронт.

(Мурманская ж. д.)

Проездом с фронта на фронт должны были явиться к Ленину в Москву два товарища. Оба в одинаковых заслугах.

К Ленину они попали порознь. Один спросил отпуску на три дня, и другой спросил отпуску на три дня... Вечером оба встретились в гостинице:

— Получил отпуск?

— Нет. А ты?

— Я получил.

Обиженный — к Ленину:

— Почему ему дали, а мне нет?

— Потому что он беспартийный, а ты член партии. С тебя много и спрашивается.

(Архангельск, 1927. М. Лазарев, служащий)



На каком-то съезде Ленин с доверенными ходил в сад обедать. Однажды и посадил с собой нищего старика от ворот. Старик ест худо. Ленин говорит:

— Дедко, не унывай, устроим тебя.

А старик:

— Ничего не надо, только поднеси простого рюмку. Привык.

Ленин велел подать, товарищи вознегодовали:

— Какой пример!..

Ленин назавтра и не спросил для старика. Тот и ушел так... Доверенные товарищи и зажалели:

— Нет, уж лучше угостить его!

— То-то!.. Ему восьмой десяток. Он с этим умрет. Ему весело — с людьми рюмку, а один он больше выпьет.

(Ленинград)



У них всем ландрин выдавали, где Ленин-то работал. Вот товарищам и неловко: «Не можем же мы Ленину ландрину баночку дать...»

Ленин узнал и заобиделся:

— Что я - царь Горох, что меня выделяете?! Подать мне коробочку ландрина! Больше не надо, а мое подай.

(Белое море. Р. Маймакса. На лесопилке)



...Нагрянули было к Ленину праздные посетители. Заслышал разговоры да смехи — как будешь отказывать?! Пальто насунул, воротник поднял, щетку в руки — да марш коридором... Тогда электричество темно горело, гости думают — с уборкой ходит человек... Дали ему убежать...

(г. Архангельск)



...Ленин столько трудился...

Про него смолоду опытны люди сказали:

— Из этого парня старик не будет...

(Архангельск, 1925 г.)



Ленина несли хоронить, звезда красна над гробом шла. А как закрыли, и не стала.

...Какой-то ум придет... *

И смотришь, какое лицо, и одежду смотришь.

Спит Ленин. Музыка, трубы, гром пушек— ничто не разбудит.

Спи, ты все добре управил!

(1924 г. Москва. М. С. Кундюбникова, уборщица)

ПУГОВКА

...К нам на завод приезжает Ленин. Мне кричат: «Наторова, ты примешь пальто...» В клубе жарко. Ленин стал говорить, скинул пальто на стул. Я схватила — да в гардеробную. Вижу, у левой полы средней пуговицы нет. Я от своего жакета оторвала да на ленинское пальто и пришила толстым номером, чтобы надолго. Он уехал, не заметил. А пуговка немножко не такая... И так мне это лестно, а никому не открываю свой секрет.

Тут порядочно времени прошло. Иду по Литейному, а в фотографии «Феникс» в окне увеличенный портрет Ленина. Пальто на нем то самое... Я попристальней вглядываюсь, и пуговка та самая, моя пуговка.

Он в эту же зиму и умер. Я достала в фотографии на Литейной заветной тот портрет...

Он у меня около зеркала в раме теперь.

Каждый день подойду, посмотрю да поплачу:

— А пуговка-та моя пришита...

Слышал в Ленинграде, на Волковом кладбище,
от Наторовой, приезжей из Архангельска.



Первый зажиг не в России вспыхнул. Маркс в иной стране этого огня добывал. Ленин угля живого за пазухой в Россию принес, Сталин дров нарубил, костер затопил и во весь свет пламенный привет запосылал.

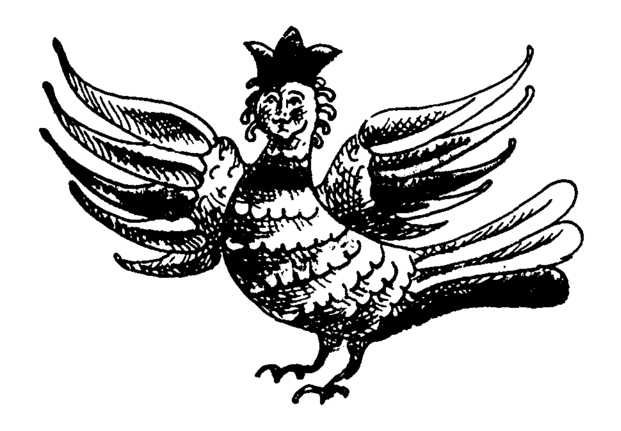
(Архангельск, 1934 г. Маймакса)



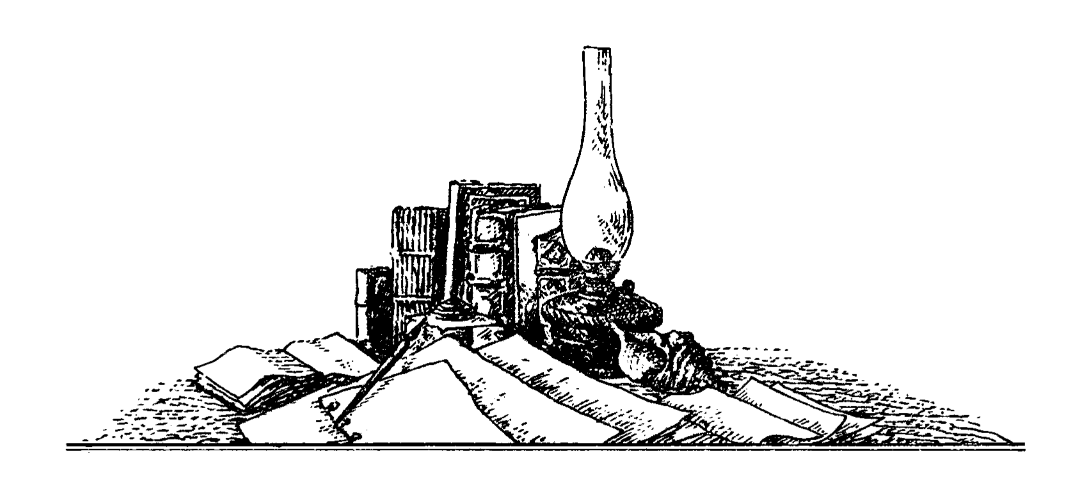
---

* То есть что-то возникает в памяти: является в воображении.

ИЗ ДНЕВНИКОВ
1942—1953




Покровка



Дневник Б. В. Шергина занимает особое место в его литературном наследии. И это особое место и значение Дневника объясняется тем, что вносит в наше понимание народного искусства, народного мировосприятия неопровержимое понятие о личности, о том, что в истоках и народного, то есть как бы безымянного искусства стоит всегда личность, но личность эта не заслоняет дела и не противоречит ему.

В самом деле, сказка, былина, песня или даже пересказ того, что слышал и запомнил, предполагают прежде всего талант, пусть даже талант и особый, но внутренняя жизнь, личное как бы умонастроение при этом необязательно: артист обязан только передавать, исполнять, и чем талантливее, тем лучше. И вот при чтении книг Шергина, при чтении его рассказов о государях-кормщиках, при чтении сказок и новелл из архангелогородского житья-бытья (сборник «Архангельские новеллы») сам этот материал был настолько красноречив, настолько был заодно с миром общей, коллективной жизни «морского сословья», что автор со своим личным «я» был как бы при этом и необязателен.

Но вот обнаружились в архиве Б. В. Шергина его Дневники — самодельные, зачастую сшитые из грубой толстой бумаги тетради (сейчас эти тетради, как и большая часть архива Шергина, находится в Пушкинском доме в Ленинграде). И со всей очевидностью открылось то, что смутно предполагалось — личность художника! И присутствие личности делает народное искусство уже не каким-то бесхозным краеведческим музеем, в котором удобно распоряжаться профессионалам от эстрады или соискателям ученых степеней, но вполне определенно заявляет о том, что и у этого искусства есть автор, что предполагаемая полнота и цельность человеческой жизни, которых как будто нет в народном искусстве, происходят вовсе не по причине наивности самой художественной работы или по незнанию всей правды о том, что из себя представляет душа человека, но с точным знанием того, что много всего посеяно в душе человеческой, да не всякое семя должно пойти в рост, а только доброе.

Некоторая трудность восприятия книг Шергина может происходить из того, что жизнь, о которой он пишет, предстает не в привычном для нас романном, цельном виде, но в виде некоей громадной мозаики: от века, когда новгородцы только осваивали берега Северного моря, до дней нынешних, до «честной революции». Но чтобы воспринять эту мозаику картиной цельной, как будто чего-то недоставало, во всяком случае приходилось делать некое усилие, предполагать, даже ставить себя в эту жизнь, в эту природу, в этот своеобычный мир. Но ведь это легко сделать тому, кто с этим миром, с этими людьми, с этим строем речи знаком. И вот этот отчасти

краеведческий характер «материала» совершенно устраняется личностью автора, которая в Дневнике со всей полнотой и естественностью только и могла проявиться.

Нет, даже и в Дневнике речь идет не о сугубо личных бытовых заботах и переживаниях, но о том прежде всего, чем живет душа, чему радуется сердце, во что старается проникнуть мысль.

Вот мы часто говорим: духовность, духовная жизнь. Говорим об этом, но как-то уж очень смутно представляем, что это такое, как это выглядит на самом деле. Но духовность человека, духовная жизнь — это как раз и есть та самая жизнь, которой жил этот человек. Вечная крайняя скудость «житухи-бытухи», весь трагизм времени, которое он пережил, весь тот страх, которым была угнетена вся жизнь вокруг, оказались не способны сломить эту душу. У него нет интересов официальных и личных, нет забот служебных и домашних, но даже при том, что иногда он был и вынужден делать как писатель (сочинять, например, «слова» о вождях), подчиняясь гонениям «века сего», только ломало, искажало его внешнюю жизнь, но не внутреннюю, не нарушало высокий духовный строй этой жизни. Житейские щелчки и пинки, которые оказались неизбежны в «веке сем», не смогли вызвать озлобления на весь белый свет, не превратили каждый день в слепое число, в тусклый будень, но могучей силой духа и памяти каждый день для него сохранил свое имя, свое значение, свое место и, следовательно, свое жизнестроительное начало: «Светлый понеделок», «Великий четверг», «Егорьев день», «Сегодня день памяти родителя моего...» И как будто за этой жизнетворческой работой, которая идет в душе и в мыслях человека, продолжается неостановимо т ы с я ч а л е т. Это особое состояние души, особое восприятие единства трех культурных сфер (народная, церковная и светская), между которыми нет никаких нарочитых границ. На этом неразрывном триединстве воспитывается и крепнет миропонимание и умонастроение человека, этим определяется и самостоятельность нравственного поведения, нерушимая твердость духа. И как уж совсем тяжело станет от этой «житухи-бытухи», на помощь придут воспоминания счастливого детства, «жизни в родимом крае», и опять как будто свету прибавилось и дышать легче.

Шергин обладал тем мягким русским характером, про который сказано: гнется, а не ломится. Может быть, себе на беду и не ломится. Иногда ведь человеку легче, удобнее бывает и сломиться. Тем более талантливому: талант всегда найдет способ оправдать даже свое приспособленчество. Но это говорит, наверное, прежде всего о том, что и таланты бывают разные, разное за ними стоит. И вот еще этой гибкости приходится противостоять, сторожить себя самого. Но для чего?— для того ли только, чтобы не забыть и не отречься как-нибудь ненароком от своих святынь? Кажется, иногда бывал даже и предельный край, все!— дальше и сил нет терпеть, дожились, пишет, до краю... Но неусыпная стража стоит рядом и в тяжкую минуту вдруг коснется сердца и спросит: «А ты кем быть обещался? На что ты родился?..»

Он исполнил завет земли своей и свое призвание —«сберег былины до Москвы», до всей России, сберег живое русское слово, сберег в слове живой облик милой Родины, ее вечную красоту. И в этой красоте родной земли сберег и себя.

«У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходятся. И вот-вот спаяются края оного таинственного... А когда концы кольца оного дивного сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца из того же чистого злата, каким было младенчество, ковать...»

Борис Викторович Шергин умер в 1973 году.

Была поздняя осень, серый безветренный день. По всему Кузьминскому кладбищу лежал снег. Черные деревья, белый снег, жемчужное низкое небо... Это был «его день», это была его красота... Пятнадцать лет ждал Бориса Викторовича в же-

лезной оградке его названый «богоданный» брат, с которым они прожили рядом такие трудные и довоенные, и военные, и послевоенные годы, и какие прекрасные, пронзительно драматические страницы Дневника запечатлели эту жизнь братьев! — и вот они опять были рядом, опять вместе...

«Не имей другу веры, не надейся на брата,— внушает Смерть Животу в притче «Прения Живота и Смерти».— Днесь целует тебя, а завтра забудет. Днесь слава угасает и любовь».

И хотя Смерть редко ошибается, и всякие слова ее правда, но похоже на то, что здесь она ошиблась.

В настоящем издании Дневники впервые печатаются в наиболее полном виде.



1942

Передают сонату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпевать Зосиме и Савватию Соловецким. И вот нисколько не вразрез и не оскорбителен аккомпанемент музыки гимну святым пустынникам... Благодатный свет соловецкой святыни разливается сегодня по морю Севера. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу: это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за рядом набегают на серебряные пески соловецкие, это волны с гребнями, озлащенными уже осенним солнцем Севера, плывут к стенам святой обители и лобызают камни ея... Соната Шумана... Там, на Соловках, поет ли сегодня славу хотя один голос человеческий? Но море поет стихиры, как пело века... Торжественно и властно звучит музыка... Как перезвоны колоколов, рояль. И скрипки, будто вдохновенное «Хвалите» молодых иноческих голосов... Вот я слышу: набегают мелкие волны, целуют камни основания стен соловецких и отхлынут обратно... А вот молчаливо подходят, как монахи в черных мантиях с белыми кудрями, ряды больших волн. Выравнявшись перед древними стенами и став во весь рост, валы враз творят земной поклон. Сегодня кудри припали к подножию стен. И вот встают в рост и, оправив темные, тьмо-зеленые мантии, уже пошли с другими вокруг острова как бы в торжественном крестном ходе.

Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимы, и Савватия, и Ге́рмана, и прочих соловецких святых, любовь к ним... О, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала в родной семье я привык слышать святые имена Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галерееею. И начал я копировать их, едва научась держать в

руках карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург, 1873.) Патерик этот принадлежал тетеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к соборной пристани, я еще был мал, но любил рисовать. Придя в гости ко крестному, я срисовывал и «вид» с циферблата старинных часов, и цветы из «Цветника-травника», и вот особенно мною любимые «виды» из помянутого патерика. Тетенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно. И теперь, спустя сорок лет, все цело...

Дорогие, любимые, заветные воспоминания... Город жил морем. Отец ходил в море. Он часто по рейсу мурманского парохода заходил на Святые острова. Иной год мать и тетки ездили к преподобным. Маленьких нас, ребят, брали не всегда. Надо плыть 16 часов морем, в хорошую пору лета. На Преображенье, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда «ходило» богомольцев. От Соловецкой пристани, что на Соломбальском острове (под Городом) отходили на празднество 3—4 августа соловецкие пароходы. Что сказку вспоминаю теперь эти пароходы... Золоченые кресты на высоких мачтах. Нос парохода, корма, основания мачт были украшены деревянной резьбой, ангелы, святые, цветы... все было раззолочено, расписано лазурью, киноварью, суриком, белилами. Команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы да скуфейки выдавали чин ловких матросов... Вот пароходу, до отказу заполненному богомольцами (приехавшие из средней России со страхом ждут морской качки), время отваливать. Пароход свистит, стучит машина, гул толпы... И вдруг раздается голос штурмана: «Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» Капитан, бородатый помор, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат (но на плечах у него коротенькая — как бы воротник — манатейка), нахлобучивает на глаза соловецкий клобук, крепче накручивает на руку четки (четки и у всей команды) и, по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу и на палубе, и в машине, и в каютах: «Молитвами преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» «Аминь, аминь»,— гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем... Ночь, белая, сияющая, небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами. Грань воды и неба теряется в золотом свете. Струящие жемчужное сияние небо и море... как створы перламутровой необъятной раковины... Мало кто спит. Чтется соловецким речитативным напевом жития преподобных. А тишина блаженная, умиленная... Запоют тихо тропарь: «Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна-моря, преподобные...»

— Глядите-ко,— скажет кто-нибудь,— из воды кто вышел...

Это нерпа, за нею другая, третья — помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, неслышно перебирая руками-плавниками... А к утру, как видение, покажется как бы вознесенная над водами обитель. И как спутники, окружают судно белые соловецкие чайки. Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты... И вот уж слышны звоны.

А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезенных из Соловецка гостинцах. Все необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезенная отцом из Соловецка, писанная на

тонкой столешнице: золотой корабль, серебряные паруса, черные валы моря в серебряной пене, белые чайки, снасти вырисованы пером... Море малых нас страшило. Но знали, что «там, за далью непогоды, есть блаженная страна». Камешки оттуда привезут. Круглый он как мячик, обкатан морем... Годы лежит камешек, и всегда от него аромат моря. Еще привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трои-четверы сутки монастырь всех поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба. Чудесно выпеченного, необыкновенно вкусного. Замечательны были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалевые образки, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И еще ложки с рыбой в рукояти, или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная. И всюду изображена чайка — герб соловецкий...

С Успенья не протянул руки к перу. В пусте дни проходят. Обо всем разоряюсь, о внешнем и о внутреннем. На себя и на людей в досаде. На братишку * опрокинулся, сел ему на шею и когда слезу — не предвидится. Весь упал, весь ослаб. Толя... на троих он один добывает. И деньгу он добудь, и на деньгу ухитрись купить. И приготовь обед и ужин, и одень, и зашей, и... все он один. До ночи не присядет. А я, а моя функция в доме в том состоит, чтобы скандалить с нарушающими мое настроение, срывающими мое преуспеяние. К ночи придет братишко-то, еле приползет, за косяки держится, за стенку, сумчонка болтается, бидончик гремит... Мы за еду, он и есть не может. Глазишки его чистые, светлые, серые... Сколько в них усталости смертельной. Я у окошечка дома с книжечкою сижу, в церковь схожу да покушаю, да вечером картинки разбираю. А он и в союз **, и в столовую, на кухню, и в очередь, то в одну, то в другую. Все удары, все обиды, все стражи, бесконечное околачивание порогов с просьбами, с прошениями, с ходатайствами, ежедневное барахтанье в море беспредельного блата, несмотря на усталость свою смертельную, невзирая на болезнь, все на себя брателко мой взял, измученный, голодный, больной. Каждый день — может, не может — с утра ему надлежит в битву бросаться. Денежки выколачивать, купить еду, купить подарки тем-то и тем-то, умздить, упросить, одарить, выстоять, выждать, из-за куска хлеба, из-за фунта картошки десять раз съездить по начальству, выпросить, доказать... Ино высшее даст записку на кило капусты, дак низшее «саботирует», этих надо смазать... Придет домой-то, да и упадет... А я всегда в ярость, что настроение мирное нарушил, с своими буднями, злобами дня. Я тру в три горла братом добытое, добытое через пот кровавый (он добывает, да он же и готовит), братом мне под нос подставленное. Да я же на любое самомалейшее проявление его усталости нечеловеческой, невзирая на то, что он болен тяжко (а лечиться разве он найдет минутку времени?!),

---

* Крог Анатолий Викторович — дальний родственник Шергина по материнской линии. Отец А. В. Крога был родом норвежец. Как видим, сродство довольно условное, но еще с юности этих людей соединили духовные пристрастия, единодушие, единомыслие, и родство по этой линии оказалось, несомненно, братским. Шергин называл Анатолия Викторовича «названым братом», «всей моей жизни поводырем», и со времени переезда Шергина в Москву (1921), в «город брата моего», они жили вместе, «одной семьей». По профессии А. В. Крог был актер, но в те годы, о которых идет речь в дневниках Шергина (40-е, 50-е), А. В. Крог работал художественным руководителем драматического самодеятельного кружка на одном из заводов в Хотькове.

** Должно быть, Союз писателей, членом которого Б. Шергин состоял с начала его создания — в 1934 году.

я же любую минуту с яростью, с визгом, скандалом затеваю, что он нарушает мой покой и умонастроение. Отлаю последними похабными словами, не стыдясь, не страшась, не стесняясь мальчика *, и, хвостнув дверью, вылечу на улицу, чтоб, ежели дело к ночи, успокоить расходившееся сердце, умирить непонятную, неоцененную мою душу лицезрением звездного неба. Брат, истерзанный и людьми за день (каждый день людьми истерзанный), истерзанный заботами, тревогами (ведь все на нем, ни из чего надо ему одному все создать), истерзанный болезнью и усталостью, да вдобавок мною обруганный, опозоренный, побитый, брат сидит, хватаясь за голову, не дыша, не шевелясь, он уж и плакать, как, бывало, из-за меня или обо мне плакал, не может, а и отдыхать нельзя, надо мне и Мише ужин готовить... А я, наполнив дома стены матерной исступленной хульной бранью, облив грязью измученного работой на меня человека, двадцать лет с беспредельной нежностью заботящегося обо мне, как ни одна мать в мире не заботится о ребенке, я, избив и оскорбив его, втоптав в грязь, я, вышед на улицу, возвожу очи на небо, взираю на звезды, жду, «дондеже утишатся вся чувствия»... Жду, когда он пойдет искать меня. Ходит, зовет с тревогой. Найдет, просит простить. Я поизмываюсь да покуражусь еще, тогда прощу, а иное и дерусь, ударю его, раз железной палкой по ноге ударил...

Выбрался сегодня за заставу, за Калитники. И точно в другом «городе» побывал. Сколько неба, сколько света, воздуху сколько! Веселье какое-то дает природа: осень сейчас, и ветер резкий в тени, ветер с дерев лист сносит, лист кружится по ветру; чудно глядеть: вереницы листьев, точно живые, гонятся друг за другом по дороге, кружатся венком под ногами, будто дети играют. Трава пожелтела, поздний лист летит с дерев. Облака златосеребряные к солнцу, с исподи дымного цвета по-осеннему. Но радует сердце эта воля, простор, купол небесный, который, выйдя за город, опять увидал я от края до края... Широкая дорога, тропинки, ряды дерев идут далеко-далеко и манят тебя идти. И все бы шел по этим коврам опавших листьев. Подойду да постою... Вон меж дерев старая церковь, покосившаяся ограда. И безлюдье, и тишина. Только птицы чиликают, да ворона крячет на коньке заколоченной избушки...

Я навеку здесь не бывал, а все здесь мое, все мне здесь любо. Здесь все так, как мне надо. Тишина, безлюдье (даже удивишься!), много неба с златосизыми облаками, дорога, вдаль уходящая, лист осенний. Ты-то стоишь, душа, точно вот птичка эта, из груди вылетает, чирикнет да на той березке посидит, опять к небу взмоет. Ты-то стоишь, клюкой подпертый, а душа-та рада, что из стен городских, из асфальтов слепых вырвалась, душа-та твоя везде налетается, наиграется. Вон как любо небо-то блестит, облака-те сияют сквозь голые ветви дерев. Облака-те что корабли плывут... Обо всем наигралась душа, и меж дерев, и над деревьями, и вокруг старой колоколенки, и над крышами далеких домиков. Ты-то недалеко на липовой ноге, на березовой клюке убежишь, а душа — ох, как она далеко слетала по дороженьке той... Трамвай-то долго ползет долгими улицами до заставы, да от заставы до Таганки, от Таганки до Солянки. Деревянная Москва... Домишки двух-, одноэтажные, флигельки, дворы покрыты травой, деревья из-за заборов... Какая здесь была уютная, настоящая жизнь. Какой спокой. Как жизнь проходила по-человечески... Покосилось, похилилось все сейчас... Было быто, да было жито...

* Речь идет о Михаиле Барыкине, с юношеских лет жившем в семье Б. Шергина, который называл его племянником.

Будто в каком-то сне тоскливом, дни мои идут. И рад бы обрадоваться, и неоткуда радости ждать. Радость и мир надо заработать, надо других обрадовать, тогда и сам радость получишь. «Тако да просветится свет ваш пред человеки...» А я весь мгла, весь муть и туман по отношению близких моих. Простой мирской честности нет во мне, кругом ложью живу, свое бросаю, чужое хватаю, лгу людям, лгу и себе. Глубоко в тине барахтаюсь, а требую от других уважения...

И я сегодня день-от вился как белка в колесе. Сейчас Толька понес Мишке в джаз хлебца, и я урываю писнýть. Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живем в иные времена. Но это не значит, что иное время — «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сегó, и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времен. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»

Вот так опомнишься на мал-то час, очнешься, от будней бесконечных упразднишься на мал час хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник: сыном света, чадом божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим его. Я в церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю как собака, что в мире сем обойден да не взыскан, не пожалован!..

Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... Толкотня, жмут, ругают. А над городом, за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснет. Бледное северное небо. В беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен еще легкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины... В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем. Но ничто не может нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре, Савватий отошел на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед Савватием. И вот он бежит в пустыни Белого моря, на берега, в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца — Германа. И вот садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.

В движениях инока Савватия, во взгляде его очей, в выражении его светлого, но изможденного постом лика столько величия неземного, что инок Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в великом смирении своем...

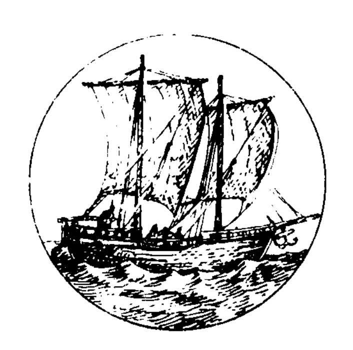
Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навернутым парусом лежит вместе с веслами и багром. Пестерь с сухарями, мешок с сушеной рыбой, бочонок воды — вот и вся кладь иноков-мореходцев.

— Господи, благослови путь...

— Аминь. Бог благословит,— тихо говорит Савватий...

Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в свое суденышко, отпихиваются веслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за весла. Берег все дальше и дальше. В тишине только и слышен стук весел. Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...

Эти вот дня два все мыслью туда, к святыне родины моей возвращался. Я маленький и скаредный, а сокровище родины моей, которому и я наследник, святыня Соловецкая велика, и неистощима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия, и будто кто меня взял и поставил на бреге пресветлого Гандвика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук весел, и крик чайки...



1944

Новое лето как бы, думаю, с новой тетрадки начать, но не искусственно ли таковое расселение. Жизнь ведь та же, мысли те же... Божье что-нибудь сдумать-то охота. Нельзя жить совсем без радости. А вправе ли я на себя радость-ту натаскивать? Чем тянемся... Конфетешки, ежели удастся выграбастать по пайку, то и продадим, или жиры. Паек-то не выдают. За две рубахи семь кило картофеля дали. В ночи брателко-то долго не спит, дума думу побивает. Я все с головной болью очнусь. Брателко порошков даст, горчичник на затылок, чаю крепкого. Я и ползаю опять из угла в угол. А он, может — не может, уйдет... Как он трудится! И как я хочу ему в помощь быть! Валеночки у него на ножишках — одни заплаты. Без подошв. Вечером прибежит в худых душах, а еще Мишку в Таганке надо проведать. Жалеет

его... Я куда сброжу, простужусь, лежу — ходите вокруг меня. Неделю «болею», братец по докторам, по аптекам (две аптеки на Москву) гоняет до ночи в дождь и в мороз... Хвораю я с чувством, с толком, с расстановкой. Того ради не любит меня братец одного отпускать куда-ле... Изноет весь: как я улицу перейду, как на трамвай сяду, как бы кто меня не сронил, да как бы кто не раздавил... Ночь-ту сидит мне рубашонки зашивает. Я и дома рваный не хожу, заплаточки и те выглажены. А уж о нем некому подумать. Тонок что былиночка, худ что щепиночка, бледен до прозрачности. Как приляжет на минутку и встать не может, тик у него нервный сделался. Но на его худеньких плечах все заботы, у него на плечах я — неразвезимая, гнилая колода. Врожденное чувство долга и ответственности какую-то дивную силу дает хрупкому, точно фарфоровому, существу моего бедного братишечки. И вот там, где я, как навозная куча, расползаюсь во все стороны, он как хрустальная рюмочка звенит на морозе. Истинно, брателко ты мой, хрустальная ты чаша милосердия...

Встал рано, напрял мало.

Главные две дымокурки в коридоре враз затопили, дак уж нам, соседям, чуть что не окнами пришлось на улицу выбрасываться... Из коридора набьется дым во все комнатенки. Ждем, когда его вытянет сенями на улицу. Тогда из комнатенок дым в тот же коридор выпущаем. Что было тепла запасено, накурено да надышано, все уйдет. Но надо не пропустить момент замуроваться снова. Ибо начнут топить других две старушки. Оглянешься, а уж опять вкруг тебя полотенцами дым, как на картине Мясоедова «Самосожжение». Но люди говорят: «У вас хоть дымком-то пахнет...» Где центральное отопление, там и эту зиму в шубах сидят. Сестренка на Самотеке коченеет. Брателко на Пречистенку ходил вчера занять до четверга (без гроша сидим)... А еще морозов не было. Сестренка говорит: «Слава Богу, зима-та сиротская...»

Хотелось сон записать. Редко я хорошие сны вижу. Будто сидим в большой кухне (кабыть на родине это). Окно полое — летний день. И по улице идет высокая пожилая женщина, одетая по-домашнему для обрядни. Повязана платочком, темное длинное платье, подпоясана фартуком. Худощавое, смугловатое, но румяное лицо. И необыкновенно прекрасные глаза, окруженные темными кругами. Глаза выразительные, в глубь себя смотрящие. Я все утро помнил впечатление этих глаз и вспоминал речи Исаака Сирина о мучениках, упившихся вином божественным, чашею Христовою... «Кто она?»— спрашиваю я. «Как же вы не знаете, это наша Дунюшка...» Отозвались о женщине так, как говорят о блаженных, юродивых, святых. А я (во сне) ощутил какую-то радость, что-де вот с этой женщиной мне надо побеседовать. И я будто знаю, что она пошла к вечерне в собор (больше-де нет церквей). И опять будто недоумеваю: в церковь идучи, она бы не так по-домашнему была одета... А сам будто, скорехонько забежав домой (дом наш в Архангельске), поспешаю к вечерне, чтоб видеть эту женщину, святую, с прекрасным, на нем несколько резких морщин, лицом, загорелым, с очами, не видящими суеты вокруг. Поспешая к вечерне, помню, будто погода, как после первой грозы, парит еще, и листики березовые нежные... Да! Еще полупроснувшись, под сладким впечатленьем сна я уже знал, что вечерня, к которой шла та, прекрасная, была на День Святого Духа. Березки, помню, благоухали...

Со мною не раз бывало такое: в городе ли, в старом проулке, в деревне ли, застигнет тебя, обнимет некое сочетание света и теней, неба и камня, дождя и утра, перекрестка и тумана... и вдруг раскроются в тебе какие-то тайновидящие глаза. (Или это разум вдруг обострится?) И одним умом думаешь — когда-то в детстве-юности шел ты, и видел ты схожее расположение дороги, света, тени, времени и места. А разум твой раскрывает тебе большее, то есть то, что сейчас с тобою происходит, отнюдь не воспоминание, но что бывшее **тогда** и происходящее сейчас соединилось в одно **настоящее.** И, всегда в таких случаях, чтоб «вспомнить», когда я это видел, мне надобно шагнуть **вперед** (отнюдь не назад).

«Шедший сзади был впереди меня».

В такие минуты ясности и истинности сознания я не успевал обычно охватить и сформулировать того, что в такой отчетливости и несомненности уяснилось мне.

В такие минуты ум становится широким и ясным, мысль дальновидной. Отходил труд калечных ног, не нужны были подслепые глазишки и очки, не нужен стариковский костыль.

Потом опять тянулись дни и месяцы обычного житья-бытья. Но уж это мне ясно и видно, что в «те минуты» я отнюдь не выходил из себя, но **приходил в себя**. Это были минуты сознания и знания. И я отчетливо видел (понимал), что многолетнее мое житье-бытье проходит как бы в комнате без окон. И я не сознаю этого. Может, и окна есть, но мне они ни к чему, вроде украшения. И вот окно отворилось-распахнулось, и я узнаю, что есть иной мир, иное сознанье, иное бытие, настоящее.

...Как-то я уже поминал: старая девица (из богатых), как настанет Велик День или Святки, и она в те дни опухнет от слез. Вишь, юность и детство вспоминает: как-де у них празднично было...

Это мне непонятно. Вот хотя бы мое дело: наследством, по родителех, не судил Бог владеть. Но воспоминания детства для меня богатое наследство! Неиждиваемое, неотымаемое, непохитимое, неистощимое. «Не говорю с тоской — их нет, но с благодарностью»— оно есть у меня, оно при мне. Золотое детство не воспоминания для меня, а живая реальность. И она веселит меня. В труде весь свой век и весьма небогато жили мои родители. Но жили доброчестно. И тихое сияние этой благостной доброчестности чудным образом светит и мне. Светит и посейчас. В этом какой-то великий и благостный закон. О, как это должны знать теперешние молодые родители, имеющие детей!

И вот именно поэтому люди любят рассказать-вспомянуть свое детство-молодость. Бабки-деды — внучатам, отцы-матери — детям, бабы-хозяйки — у печки, у плиты — друг дружке.

Бывает, что человек вынес в жизни множество горя и — представьте!— он с годами, рассказывая о бедностях, об утратах своих, уже не жалуется, а хвалится ими! Потому что самый незначительный человек, вынесший много горя, становится значительным, заслуженным.

Старики, когда скорбные случаи их жизни, бедствия, утраты отодвинулись, начинают говорить о них как бы хвалясь. Перенесенные скорби становятся приобретением.

В течение тридцати лет знаю женщину, теперь уже старуху. К двенадцати годам лишилась родителей и пошла работать «на торф». Вышла замуж за горького пьяницу, который удавился, оставив ее с кучей детей. Сын пропал в уголовной тюрьме. Теперь эта старуха живет относительно спокойно, нянчит дочкиных детей. За последние годы я не раз слышал ее рассказы об

ее жизни. Старуха эта всегда производила впечатление существа забитого. Но год от году рассказывает она всю жизнь интереснее, художественнее, вдохновеннее. Лет двадцать назад она немногословно-кратко вспоминала о том, как умер ее отец: «Пошел отец-то к утрене, весна была, воды. Он меня, крошку, на руках нес. А утреню отмолились, на обратном пути (из села в деревню) он присел отдохнуть и умер».

Недавно в кухне опять я слышал от этой старухи рассказ о смерти отца. Все детали выросли, стали знаменательными, провиденциальными. Уже отец ея, стоя у заутрени, чует близкий свой конец и произносит мольбы о грядущей судьбе дочери. В таком плане старуха осмыслила и другие скорбные эпизоды своей жизни. Чувствуется какая-то гордость.

Передавая печали и бедности своей жизни, человек, конечно, и вздохнет, и задумается. Зато как любо, как весело пересказывают люди светлые картины своего житья-бытия. Об уюте родительского дома, о доброй воркотухе-бабушке, о труженике-отце, о нежно-заботливой матери. Все они давно умерли, и кончина их, в аспекте прошлого, представляется рассказчику закатом тихим и мирным.

О бабушках, о тетушках своих люди рассказывают много забавного, любят описывать, как проводились в семье большие праздники, именины. В том же настроении, веселяся, опишут и случившиеся пожар, покражи.

У всякого человека есть что вспомнить, но у человека бездарного ничего не отпечатлелось. Бездарному все ни к чему, все мимо носу прошло.

Самая великая печаль человеку — утрата близких, вековечный уход их. Уходит отец и мать, муж, жена, брат, сестра, дети, друзья верные. Пусто, тошно, несносно обживаться без человека, с которым жил однодумно и советно, который всегда был на глазах, которого ласковые речи всегда были в ушах. Но проходит время, «годы катятся, дни торопятся», пустота заполняется. Глубокий ров скорби, которому, казалось, не было дна, уравнивается жизнью, ее неизбежными ежедневными заботами, событиями, новыми огорчениями и радостями. И человек помнит и ощущает только яркость и светлость, интересность и занятность бывшего спутника и участника жизни. Конечно, чем дольше шел ты по жизненной дороге с близким твоим, тем дольше будет и неутешность твоя. Скорбь об ином утишит тебе только мать-сыра земля. Но у большинства людей время залечивает эти раны (старость нередко приносит известное нечувствие).

О, как досадно слышать:

— Все это было, да прошло. Что прошло, то не существует. Чего не видишь глазами, чего не ощущаешь руками, того нет...

Немысленная речь! Невещественное прочнее осязаемого. Полено хоть сто лет в пазухе носи, полено и есть. А вот матери своей или сестры я годами не видел, без меня обе померли, но любовь и благодарность к ним живы со мною. Все, что было, то я в себя вобрал, и оно есть. Горестное бывало, но надобно вразумиться сердцем и принять бедности все как науку, как врачество, как опыт для остаточных дней и — почувствуешь удовлетворение.

Все, что ты видел, все, что ты делал, что переживал, во что вникал, над чем радовался или скорбел, все это, как некие неиждиваемые дрожди, остается в тебе. Ежедневная твоя жизнь должна быть и есть творчество (твои думы, твоя работа, отношения с людьми, разговоры с ними...)

Из сказанного вытекает силлогизм, ради которого я и весь этот разговор завел: мне часто пеняют, и на меня дивят, и меня спрашивают: «Для чего ты в старые книги, в летописи, в сказанья, в жития, в письма прежде отошед-

ших людей, в мемуары, в челобитные, во всякие документы вникаешь? Надобны разве для жизни эти «дела давно минувших дней, преданья старины глубокой»?» И я отвечаю: «Совершенно так же, как веселит и богатит меня жизнь — история моей семьи, отца-матери, бабок-дедов...»

Прочитываю книгу «Чиновники колмогорские соборные». Первый завод Афанасьев на Севере... Бывал там, видал места те. Шумящие под ветрами воды, песчаные берега. Древний деревянный городок и поотдаль меж старых елей белокаменное Афанасьево зиждительство. Великого размаха был человек. Под стать Петру-то. Какая художественная нарядность, какая цветистая картинность!.. Как декоративны, каким восхитительным зрелищем, истинно театральным, были даже эти «большие и малые провожания» Афанасия из его дома к службам и обратно. Перезвоны, обрядное пенье, узорные аксашиты, разноцветные штофы... И все это на фоне строгой и прекрасной природы, под жемчужно-восковым небом Севера. Сколько тут было для народа посмотренья-погляденья! Было на что полюбоваться! А ведь не про это, про другое любованье мне поквакать было охота. Ведь то моя родина... Чины колмогорские соборные старинные глазами читаю, а сердечное, а умное-то око видит, как все это при мне, во дни юности моей было. Чины Великого Поста, Велика дня конца XVII века читаю, чины служб церковных, а по свойству моему вижу обтаявший пригорок у южной стены собора. И мосточки тут вытаяли и обсохли. Бугор соборный, хоть пообсох с юга, трава еще бурая, прошлогодняя. Старухи тут сидят в шубах с долгими рукавами. Изпод шуб видны сарафаны с репейчатыми пуговками. С холма далеко видать: реки еще не вышли, но уже лед посинел. Под Куростровом, где стоит древний ельник, уже вон какие забереги: попадут ли куростровские к заутрене... А что Матигоры, что Курострова — они художники, любители до чинов, до обрядов, до всяких прекрасностей, интересностей!

Долга предвесенняя и весенняя пора на Севере. Долго вешние воды шумят и поют; долго глядится весеннее небо в полые разливы рек. Долги вечерние тихостные апрельские зори. А в три утра светает. В Велик пяток на Погребенье, бывало, бежишь: светло-облачно, с моря ветерок, инде полоса снегов, инде воды по улицам. Середка реки водой взялась, от ветра рябь идет. Меж островами лед стоит. В распуту весеннюю бывает холодно с ветром, когда реки идут, а весело на сердце! Бывает, река еще стоит, а уж Город утопает в водах. По улицам на плотах ездят, и к страстным службам чужими дворами ходят — тыны-заборы нарочно разбирают.

Таким образом, читая о XVII столетии, вижу я свою пору и о своей поре веселюсь. Соглядая художественность быта оного столетия, радуюсь тому богатству впечатлений, переживаний и настроений, которыми так обильно упивалась душа моя там, на родине.

И вот ведь какое чудо! Эти впечатления и переживания отнюдь не воспоминания, отнюдь не прошлое для меня. Что было, потом лишь прибавилось к тому, что было раньше. Скажем: в юность отец-мать подарили мне сто рублей, а я прибавил со временем другие сотни. Ведь первая-та сотня не потерялась!!!

Может быть, я не вспомню по частностям тех фактов, которые сладко поражали мою впечатлительность. Очевидно, не факты, а сила радости, рождаемой фактами, неустанно клала свои печати на душе моей. А душа есть вещь непреходящая, нестареющая.

Вот почему веселить может «воспоминание».

Уж в каком же мрачно-унылом состоянии духа, но и тела, выползешь ввечеру из подвала своего потемненнаго... А глянешь в высокое, тончайшею пеленою нежнейшаго серого оттенка потянутое небо, как бы жемчужнаго тона кисеею волнисто убранное, озришься на этот пролиянный на землю свет прозрачных апрельских сумерок — и пошевелится в отупевшем сознании просвет какого-то удивления о красоте неба и земли.

В безлюдном углу бульвара обтаявшая, просыхающая земля. Серо-золотистая отава-трава прошлогодняя. Деревья прозрачными метелочками, тоненькими, гибкими веточками тянутся к небу вечернему. Нечто празднично-прекрасное, некая сладкая грусть в этой тихости ранневесенней. Эту благостную тихость не может одолеть будничность лязгающего инде трамвая, не могут нарушить повседневные подворотни, мимо коих ступаю обратно.

Воспоминание о рае; и вновь, и вновь виденье рая для меня — эта вот тишина земли апрельской.

Расточились снега, отшумели ручьи. Весна — утро для Земли-Матери. Глинистая, овеваемая ветрами Земля глядится в тихость небес и беседует шорохом безлиственных еще дерев, шелестом пролетающих в ночи ветерков.

— Благослови, отче,— говорит Земля. И, незримо благословляемая, учнет наряжаться на пир брачный, в благоуханную прозрачность первой зелени.

С запада веет хладень. Изредка подносит легкие капельки дождя. Свод неба над Городом окинут прозрачно-льняной пеленой. При солнце, в резких тенях и бликах улиц все как бы как-то беспричинно веселится, иное и невпопад. Но когда в полдень небеса отуманятся безмерной ровности пеленою, всегда кажется, что небо и земля задумались. Эта задумчивость родит тишину. Эта задумчивость природы родит тихость в сердце человеческом.

Спешат куда-то человеки, лают машины: ведь день, ведь дела, ведь — Город!.. Но эта новая песнь Земли, эти глины... эти певучия уносящияся в тихость неба веточки, вся эта тихогласная апрельская песнь без слов — эта всеблаженная музыка больше и слышнее улично-жилищных лязгов, визгов, хрястов.

У природы лик всегда живой... Любая веточка, любой цветочек всегда живы и чудесны. Сколько годов я гляжу зимою и летом, ночью и днем на купу деревьев, что против моего оконца... Всегда они живы, всегда скажут что-то.

В деревьях, в цветах — чудо вечноюнеющей жизни. Деревья напоминают нам об утерянном рае. Сад был рай. Как любят люди, когда в углу асфальтового двора, на дне двора-колодца вырастет хотя бы чахлое деревцо. Издалека заботливо везут полевые цветочки в свои комнаты-коробки. В свободный день с трудом выберутся за город, отыщут под забором квадратный аршин травки — то и дача...

Карнизы потемненных зданий, оттененные сумраком углы — неплохая рама для картины ночного неба. Дождался такого, моего, особливо желанного весеннего неба. Нежнейшее кружевное шитье. Шелковый тончайший тюль, ровно истканный бледно-золотыми цветами. Сквозь это несказанно нарядное кружево сквозит синий бархат ночи. Сквозит плывущая там по жемчужно-облачным волнам сияющая ладья молодого месяца. Через всю ночь гонится он за утреннею звездой...

Все хворает мой брателко. Сбродил до магазина, нет ли выдачи, и приуныл, мой свет. Я в таких грустях бродил вокруг дома-то. Облачно, ветрено. Падал вечерний суморок. То и хорошо, думалось, то и ладно. Уж как сумрачность эта созвучна моей унынности. Тем-то я и люблю тихо-ненастливые дни. В резво-веселую погоду ты особо ходишь, отъединенно.

«Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему?» Это в мои дни начинает природа тихомолчную беседушку. Природа задумчиво-грустная чашу успокоительную же и лекарственную мне подает дружелюбно. Тихостный полусвет-полусумрак реял по земле...

Сумерки тихие с ночью — матерь мне и матерь звериная, покровительница. Такого веселья нет, ино. Дружня рука на плече...

На бульварах пусто: публика не любит такого времени: надоело зябнуть, неуютно, поздно, проносится ветер тороками — порывами. Нахохлившись, пробежит прохожий... На соседней скамье одиноко сидит дама. Завидев мужскую фигуру, дама воркует: «Вар-вар-вар...»— из фильма «Мушкетеры». Приуныв, дама долго закуривает, кляня спички. Перхая, обдав дымом махорки, она бредет, шаркая ботами. Голые опухшие коленки, детская юбочка... Везде горе, у всех. И конца ему не видится. И я дома братика оставил унылаго. Житуха вокруг самая бедственная, никому друг до друга дела нет. Никто не пособит, никто не поможет... Приуныв, одумался: ведь апрель, весна ведь. И коснулась сердца радость моя вечная. Огляделся: тихо-светло так... и уж не городской бульвар, а «насадил Бог сад, еже есть рай». Дорожки видятся чистыя, как бы речным песком усыпанныя. Нежно и тонко нарисованные весенние деревца тихими рядами. Как бы внове вижу это воздеяние гибких тоненьких веточек. Человек-от живет, мятется: день так, и век так: сгибайся, падай, подымайся. А эти божьи деревца и во дни среди шума особо стоят, с суетою неслиянно, светлы и тихостны, умильные дети Матери Земли. Одно ведают — тихость неба, благость света, животворную силу весны.

Угасив огни, управившись спать, а брателко уже почивал, уж ночь пришла ко утру глубоку, но еще сущей тьме, пало мне на ум: что там на дворе. Раскутал стеколко, и — как вечно любимая невеста, глянула апрельская ночь, весна ночная. В куполе неба над Городом еще ночь, но побледнели уже края небосвода, а северная страна небес вся брезжит нежно-изумрудной прозрачностью. Переулок еще спит. Его домы, углы, крыши блазнят как слепая стена, но крышечки ее уже четко выписаны в мерцании зелено-золотом, предутреннем. Переулочек безмолвен, но не пуст. Сказывает мне таинственное. По взгляду, по виду мы давно понимаем друг друга. На рассвете переулок, вернее, перекресток наш, кажется особливо выметенным, прибранным. Точно «кто-то» сейчас пройдет или прошел только-то... Мосточки так ровно белеют, а дорога светло углажена.

(Учуяв, что я бодрствую и, несомненно, что-нибудь ем, вылезла из своего будуара — комодного ящика — кошка Уляшка. Уронила с печурки Толькин башмак. Толька закашлял.)

Снова развешиваю уголок оконца: сине-зеленая озаренность небес прозрачна несказанно. Весь северо-восток точно иконостас нерукотворный...

Еще домы человеческие спят сплошною стеною. Но — как прекрасны живы деревья!

Негасимые, немеркнущие весенние зори Севера, которыми от лет младенчества любовался я всегда сквозь узор стройных берез, стоявших перед домом родительским, навсегда запечатлелись в сердце как нечто прекрасней-

шее. И теперь, и всегда было сладко мне видеть утренний рассвет. И диво мне, что и здесь, у второй родины, в городе брата моего любимейшего, что и теперь, на пороге старости живу я опять оконцами на Север, опять в стогодовалом доме, опять сквозь узор деревьев сияют мне весенние зори утром и вечером. Там, далеко на родине, в юности, в трепетные часы рассвета ждал, и ждал, и мечтал я сладко о дружбе, о любви. И вот молодость прошла. Много ли годов впереди?.. А позади много. И слава тебе, Богу, благодетелю моему, за все, что мне послал... Добро мне скорбь и печаль настоящего житья. О, каким бы я себя считал счастливым, ежели бы пособил мне Бог устроить жизнь брателку моему... В болезнях влачу жизнь. И это от мира сего. Это плотское, малое. Это должно стать безразличным, это недостатки телесные... Как бы тяжело ни приходилось телу, сладко и благодарственно поет душа, радостно и трепетно сознает ум присутствие Бога через любовь милующую брата моего. Дивно мне и сладко видеть не в книгах, а на себе милость Божью всеблагую. Изнемогает подчас тело, не носят меня хромые ноги, но идет со мною брателко, и крепко держат меня его рученьки, и чудится, знаю я, что это сам Христос идет со мною. Худо видят убогие глаза, худо разглядываю людей, но светло, но явно вижу зрак Христов в очах благословенного спутника жизни моей, брата и друга моего.

— Это Я,— говорит Господь,— это Я!..

О неведомом счастии (о какой-то радости), о неведомой радости без слов молилось сердце в дни юности, там, у светлого моря, когда, забывая о сне, глядел я в жемчужные, таинственные зори белых северных ночей.

Теперь я понимаю, что природа жива. И ежели людская, денная, пылесосная, суетливая житуха обезличивает, обезразличивает природу в городе, то в оный нареченный, предутренний час глядите, как живут своею таинственною, не видимою «невооруженным» глазом, жизнью эти деревья. Они — лицо вечной живоначальной матери Природы. Кругом «жилдома́» №, №, №.., набитые людьми,— кто их знает... Но меж домов благолепно возрастила Мать Земля эту кущу дерев. И шепчутся они с небом, и живут они целою, правою жизнью с Природою, матерью всех. Эта целая, правая жизнь, жизнь здравая, долгоденствующая. Положена и человеку жизнь с природой, с весною и осенью, с небом и солнцем, с ветрами и дождями. Надо жить, чтобы в полночь слышать пение петуха, а на рассвете мы к коровушки, чтобы у ворот лаял пес, чтобы слышать, как осенью барабанит в крышу дождь и шумит в трубе ветер, а по весне поют птицы...

Бродя по городу, я все остановлюсь да полюбуюсь, сломана ограда, дак и поглажу дерево. Дома-те люди сложили, кто их знает... А деревья эти чудно вызваны к жизни из семечка. Мать Земля питает их животворными соками...

О, какая чудная, несравненная картина глядит на меня из рамы убогого подвального оконца! В свете зари, как на золоте иконы, написана эта малая купа дерев.

В тишине рассвета, в тихости утра внятна и радостна мне разгадка таинственной жизни природы. Живы и прекрасны эти веточки, как сияние, расходятся они от сучьев. А сучья воздеты к небу. И деревья тихостью, в благом молчании склоняются друг к другу, глядят в зарю. И еще лучезарней глядит заря сквозь очертания стволов, сквозь узор ветвей. Не спят, живут деревья, глядят в занимающиеся зори утра. «Живы они и свет вечный видят».

Егорьев день. Коровушек, овец на волю выгоняют вербочкой... Меня бы, скотину застоявшуюся в нечищеном хлеву ума моего, меня бы, клячу сорокапегую, в сию зиму безбожия, скаредно сердце ознобившую, выгонил бы Господь на пажити весны своей вечно юной, жизнедательной. Скотина-та я очень уж чахлая. На тело бы плевать, но... купно с телесным дряхлованием и душа изубожилась недобре. Вижу рассыпающийся «столп моего тела», невозбранно выносит оттуда враг всякое богатство духа — «обретает бо душу невооруженну».

Запустил, забросил я ежедневное житейское попечение о хлебе насущном, все опрокинул на брателка. А и он вконец изнемог, телом и духом... Я не бегаю от дела мне причного *, приятного, легкого. Но свирепа борьба за жизнь. Всяк за себя. А я бы рад уж башку-то влепить куда-ле, только бы Тольке пособить. Слаб мой дух... Будто собака, потерявшая хозяина, тучусь я невпопад, под ногами мира сего. И никому нет дела до меня, а иной и пнет. Я долго гарчу из-под лавки, а укусить не смею. Из знаемых-то никто самохотно куска не бросит, все надо выскулить да вырвать. Я сейчас как чеховская Каштанка, к клоуну попал. Только чеховско-ет клоун кормил собачонку досыта...

А вдруг да позовет, найдет да позовет меня истинный мой Хозяин... Найди ты меня, мой добрый, вечный Хозяин! Приди в цирк, где на задних лапках я хожу, приди, да и позови...

День светел; широко открыв глаза глядит. Ровный, светлый туск неба; как тусклое зеркало, отблескивает мокрый булыжник, асфальт, плитняк. Дождь не стучит в оконце, но мокро шлепают калоши, раскрыты зонты.

... А надо сказать, что благополучные, так сказать, спортивно-здоровые люди, в большинстве случаев равнодушны, не замечают, не ценят, да и не подозревают великого значения, несказанной значимости красот природы. Обыватель не подозревает, что природа — это книга богооткровенная... Здоровые не ценят... Это не значит, конечно, что всякой человек, заполучив острое или хроническое заболевание, начнет переживать отражение облаков в луже. Сказываю о тех, кто может вместить, кому дано.

Незавидна доля умываться заместо воды слезами, но дивно то, что как дождевые потоки уносят пыль и грязь с мостовой, так слезы (столь болезненные!) очищают очи мысленные, омывают зрение сердечное, прозрачными творят очи ума.

Таким образом, человек становится счастливым через свои несчастия. Видит прекрасное и великое там, где большинство не видит ничего, обретает богатство в том, мимо чего мир сей пробегает пуст и нищ...

Бреду бульваром. Безлюдно. Пасмурный вечер... Как благородна эта однотонность картины. Ежели б я мог рисовать!.. Водицей разбавил сепию, провел дорожки и, чуть посмуглее, набавив к сепии охрицы и индиго, залил клинья прошлогодней отавы. Это земля. А от бисеринки туши разлил бы это жемчужистое небо. И это небо, и эту землю соединяла бы у меня лента уходящих дерев. Ближние деревья — липы, их сучья видятся контрастно, а дальше идут тополя, восковым становится оттенок их, а дальнейшие блазнят, как паутинки.

Скажут: где, в чем красота ненастья? — а разве не прекрасны серые шелковые одежды, притом шитые жемчугом?

* От — причинять.

За день-то изорвется сердце...

Вечера попроведать уж на поздней заре вышел. Все хвалю поля небесные, блакитные. Тихость облачная, исполняющая землю, успокаивает тебя. Боль проходит. Ты учиняешься на дальнейшее способье. Но тихая, прозрачная заря поздневечерняя, успокаивая боль души, умиротворяя скорбь сердца, она подает сладкую надежду, она зовет и манит... Тихая, песненная вечерняя заря!.. Тихомирное, кроткое сияние долго, долго стоит над Городом. Глядят в него люди, и тише становится болезнь, и печаль, и воздыхание. Этот свет «пришедшу на запад солнцу» рождает сладкую надежду на грядущие радости, надежду на некое блаженное утро. С этим утром соприкоснется там угаснувшая здесь эта прощальная заря.

Люблю я соглядать зори утра. Сердце трепещет здесь, предузнавая некую тайну воскресения. Заря вечерняя — не образ ли это блаженного успения о Христе, успения о надежде радостного утра...

... Пора моей весны пришла. Не подумай, что «вспомнила бабка свой девишник». О временах года баю. Природа украсилась зеленью. Деревья пышно завесились листвою. Не видать неба сквозь веточки. Зелень еще нежная, чудесная. Май наступил. Все поэты эту весну воспели. Соловей, черемуха; тут уж я бессилен, идите к Фету. Пышный пир для детей своих Мать Земля готовит: растите, множьтесь, наполняйте Землю...

На днях, ожидая трамвая на бульваре, еще издали услышал сладкую такую и тихую музыку... Наконец начал проходить оркестр, за ним взвод за взводом — молодежь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойныя молодые лица... Все одеты по-походному. И подумалось: вот мы, старые, как цепляемся за житуху, как разоряемся, расстраиваемся, что не наелись, мерзнем, зиму еще одну доживем ли и т. д. и т. п. А эти, молодые, прекрасные, спокойные, сильные, еще и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют, покорные, кубок жизни. Отводят от себя кубок жизни царственным таким, великодушным жестом. А мы, старичонки, тесня, давя друг друга, друг у друга отымая, лезем к кубку тоя жизни беззубыми деснами, цепляемся, имаемся за него. (К слову, в башку пришло: вишь, англичане поношенных брюк, пиджаков, пальтов насобирали да нам послали. Дак у нас не то что рвань вроде меня, а... (неразб.— *ред.*) заявлений наподавали. Не на себя, а на родителей просят.)

Ряды за рядами... Молодые, полные жизни, сил...

Темноглазый флейтист оркестра, промаршировавший мимо и окинувший публику серьезным взглядом, а пальцы его быстро бегали по флейте, он до того похож показался мне на милого нашего Мишку, что, вслед за старухой, прошептавшей: «Милые сыночки, как мне вас жалко!»— и я сморщился по-стариковски и, будто от ветра, утер слезу... Всегда у меня сознанье вины перед братиком, но и перед Мишуком. Никогда не выскажет, а всегда точно упрек в беспомощном взгляде больших ребячьих глазищ. Я-то рос до 25 годов у маменьки за пазушкой. А у этого юностные-те годы ничем не украшены, не помилованы. Не за горами то время: встанет в семейные оглобли, наденет хомут труда и заботы пожизненной, а покамест юн, попраздничнее жизнь тому же Мишуку обязан я сделать. И тошно, и горько мне обо всем.

Люблю рассветы, паче дня.

Люблю кануны праздника больше, чем праздники.

Люблю предначатие весны, нежели цветущую пору ея. Никаковы полности божьего свету нету в моем сердце. Разве пробрезжит временем некоторое предвестие утренних лазорей... Всяко наг, всяко скуден и беден, всяко повоначален, того дня утро-то и явится мое. Мои весны зачала, но не рассвет. С утрами, с рассветами, с канунами единочувствует бедная, обнаженная душа моя. А еще о роскоши дня, о пышности лета: не станет меня с это...

Я заблуждающийся, претыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слепотствующий, из кривого и безумного своего опыта делаю самовольные выводы. Я, например, никак не жду над собою чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение, не перестанет отмирать зрительный нерв. Материя должна умирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения «мира сего», я из тех людей, каких называют «несчастными». Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то похлопал меня по плечу и, всегда холодный, равнодушный, участливо взглянул:

— Не много ли для одного человека?

Но я думаю: как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных, особливо в последние смертоносные годы. Для кого, как не для нашего времени, сказано Тютчевым: «Слезы людские, о слезы людские! Льетесь вы ранней и поздней порой, льетесь безвестныя, льетесь незримыя, неистощимыя, неисчислимыя, льетесь, как льются струи дождевые в осень глухую порою ночной».

... Так мало счастливчиков, в такову печаль упал и лежит род человеческий, особливо сынове российские, что в полку сих страдающих спокойнее быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружающимися и обремененными куда почетнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками. «Счастье» этих немногих на бедствии премногих стяпано-сляпано воровски-грабительно. «Поплачем здесь, да тамо воспоем, поскорбим здесь, да тамо возрадуемся».

И вот я не понимаю... Люди — рабы страстей и хвалящиеся своими страстями, плотоугодные, злые, обидчики, насильники, угнетатели, скупые, жадные, сластолюбцы, ненавистники, люди глупые и тупые, клеветники, наушники, обжирающиеся (а вокруг голод), пышно одетые (а кругом бродят нагие), такие вот «деятели» с одной стороны; а с другой стороны «массы» слабые, ленивые, характеры ничтожные, а в-третьих — всякой средней руки обыватель, им же числа нет,— вот все они (мы) ходим в церковь, служим молебны перед иконами, просим у икон чудес, исцелений, требуем от икон активности, а наша активность ограничивается тем, что пришли в храм да купили свечу...

Чудо есть, и Богу вольно человека чудом найти. Богу нигде не загорожено... Да мне-то надо раденье приложить. Вот, скажем, я иду путем и получаю известие, что за этими лесными болотами живет любимый мой друг, которого я давно ищу и который меня ищет. Неужели я не буду всяко трафиться за эти болота?! Неужели я буду сидеть да ждать, разве хватит у меня терпенья сидеть в бездействии: он-де сам меня найдет. Нет! Ползком и бродом, днем и ночью примусь я попадать в город, где друг-от меня ждет. Я к тому сказываю, что чуда-то не надо дожидаться спамши да лежамши...

В человеке заложено семя тли. Человек самохотно взрастил в себе это тление и ныне услаждается им. Ныне человек ослеп умом. Не видит Бога ни в чем, не чувствует сердцем...

Старовер Трофим говаривал, бывало:

— Быват, заживешь, что и помолиться со вставанием негде и некак, и некогда будет. Дак на улицу выйдя, по пути хоть на восток посмотри, то велико добро...

День-от настанет, житуха-та пресмыкающая, не дни ведь, а будни. Дак какое добро с утра «на восток-от поглядеть»...

Собирать надо такие минуты. Оно хоть лоскуточки все разноцветные, а ведь и одеяло, глядишь, выйдет. Нарядны бабушкины всецветные эти одеяла. Житуха-та знобит, а ты такое одеяло сошей, тебе и тепло будет. Еще и внучата тебя, дедко, или тебя, бабка, помянут... Кабы мне из моих настроений сошить одеяло-то. Али лоскут худ? Вернее: ворох-то лоскутья велик, а воедино сошить силы-времени нет. Вот хоть эти записки мои. Собрать да перечесть бы!.. Не будет ли одеялишка?

Нежно шелестят, звучат, прядут звук так шелковисто-нежно скрипки кузнечиков. С утра-та все хотела душа прославить Успение Божия Матери, а с дровами пробился, с печью. День тих стоял, светлооблачен; дубы, березы, точно опустив ресницы, слушают исходное пение, тайну дня. И в тысячу прялочек прядут цикады. Может, то не работа, а в гусельки они играют, день славят...

И вот добро и светло жить. Ведь есть в мире, оставлено нам, положено такое прекрасное, такое живоносное, такое сияющее...

С весны аж до Петрова дня была вода у нас здесь в прудочке. Своя была вода для грядок. С полулета усохла — что Бог с неба дождя пошлет. С молоду бил родничок радости в сердце моем, своя была радость. Под старость не выжмешь ничего. Со стороны кто польет, то и рад... Чего ни хватись, того нету. «Внимай себе», а в себе-то джаз кунявит нечто меланхолическое. Иссяк прудок радости моей: мал был. Я как лягуша ползаю по суху, прошу у Зиждителя: создавый мя, дак и помилуй мя!

Богат дождь-от сходит на верные сердца. Как сойдет, так человек все беды забудет. Надо добиться, брате, в широтах жить, где-ка эти дожди сходят.

...Ночи-те худо спятся, в 4 часа светает. За окном лес стеною, все погляжу, обозначились ли на светлеющем небе верхушки дубов. А в комнате печка из потемок вылезет. Брателко худо спит, все желудком неможет, к утру забудется, а уж вставай, надевай котомку да бежи. Я изныл над ним. Все: ах, да руками мах, а на том не переедешь. Рад бы я жизнь за него отдать, как он для меня остаточки здоровья и сил ежечасно убивает, но время идет, а я ни с места. Брателко мой делом всю свою жизнь исполняет повеление: «друг друга тяготы носите и тако исполните Закон Христов». Моя вера без дела, потому и мертвою является для всех, кто меня знает. Имя Божие не светится во мне...

Давно ли я, приехав в лес-от сюда, дивился прозябающей молодой травке, нежным листочкам орешника, нежной зелени дубов и берез... И вот на днях ветер был, и летел, летел желтый лист. Разноцветиться начинают леса. Сей год, говорят, рано листопад зачался... Сегодня в ночь и туман опускался, прозрачен, но осенью пахнуло. А в ночах я все звездному сиянию дивлюсь. Величавы стоят тени дерев. И по вершинам, и над вершинами что свечи мерцают в храме Господнем, толь славно и пречудно. Похоже еще, как дома, смала, бывало, войдешь в темное зало и чудишься мерцанию звездному сквозь узор тюлевых гардин...

С тех пор, как я «писать пишу, а читать в лавочку ношу», уже не под силу мне стало всякое чтиво беллетристическое и научное. Выбор чтения «сузился». Т. е. перестал я хватать с полу всякий окурок...

Ночи прохладны, на заре холодно. А с вечера мочило. В шесть часов небось всхожее-то взойдет. Низко, красно по земле меж дерев светит. Птиц уже не слыхать. А я, недоспав, видно, в горестном равнодушии ползаю. Брателко все неможет. Гадаем до зимы здесь * прожить, но, знатно, не по силам будет Толе при дождях да грязях. Дровишек наготовили, но как-то в Москву перетянем?.. А о братишковом нездоровье так беспокойно, и через этот ров не могу перескочить на тот берег, берег мира душевного. Все слышу: «Каин, где брат твой Авель?» Вот потому у меня и мира, и умиления, и молитвы нету. Скулю к Нему докучно как собака, а у Бога одно ко мне: «Каин, где брат твой?..» Вот у меня сердце-то все и стонет, вот я все и трясусь.

Вот я твердо, ясно и несомненно знаю, что мое дело жизненное... А оказался я с теми, кто дьяволу нанялся свины рожцы возделывать и плевелы в умы братий моих всевать. И хоть самый ленивый я в них, однако «лай не лай, а хвостом виляй»! Горе человеку надвое мыслящу и грешнику в два пути ходящу! Ведь мир душе тот может стяжать, кто «ум не разделен имеет». Ною об этом как нищий, всем надокучил... А дармоеды нигде не надобны. Еще не таково телесное мое убожество, чтоб сложа руки сидеть! А я братишке, слабенькому, всей тушей на руки присел.

Навряд ли может статься, но ежели бы хоть часть какую писаний моих прежалостных прочел кто имеющий дар рассуждения, то — отче или мати, сотвори молитву о убогой душе моей, о душе «глаголавшего и не делавшего».

Кто-нибудь подосадует: все одно да одно пишет, жует свою жвачку, отрыгнет да опять жует. Верно! Это потому, что внутренне-ет мой человек младенчествует. Недоносок он, не ходит, не говорит, не смыслит. Исприбился я с ним, только перепеленаю, он опять обосрался...

Вчера, ужинавши, простер к брателку слово о том, что дуб шелестит не как береза, а шум сухой травы опять же иная музыка.

А брателко: «Ох, объявили дрова-то по прошлогодним талонам. Какие хитрые! Где искать талоны эти? А новых до января дадут... Объявлено. Чем топить? Осень пришла...» Я и разинул пасть: не о том-де сокрушаешься, не о

---

* Видимо, речь идет о деревне Митино близ Загорска.

хлебе-де едином... О многом-де печешься. И к черту я его, и к матери, и извод бы-де тебя, дохлого, взял, жить-де мешаешь... Он пал на койку-ту, лицо ручонками закрыл. Я на крыльцо вылетел, еще деру поганую свою глотку... В четыре утра он встал, к поезду.

Я все Север хвалю — тем торгую. Но Север — родина, дом,— те годы там — лишь заставицей расписною, золотой былик книге жизни. А жизнь-та вся с брателком прожита. Чувство беспредельного уважения, преклонения и благодарности, с чувством самой рыдательной любви, неутолимой жалости, денно-нощной тревоги о его здоровье — вот что меня и держит и укрепляет, но и разоряет, но и ломит за мое неустройство, за мою неисправность.

Брателко и сегодня укатил в Москву. Ночь-ту я караулю: не утренний ли свет? Нет, все еще месяц светит. Березы-те что бумажные! А и встали: не часы ли, думаем, вперед убежали: долго темно. Нет, в пять пастух затрубил, и к шести быстро рассвело. Утро прекрасное, кабы не головная боль. Брателко, умываючись, вопит со двора:

— Скорее на улицу иди!

С запада высокий месяц светит, а с востока утренняя лазорь. Свет так пречудно меняется. И долго так свет зари утренней с ночным светом месяца, как Иаков с Богом, боролись. Восхожее солнце красными лучами стелет низко меж деревьев, по сухим осенним травам сквозь тоненький туманец, а месяц все над лесом стоит, бледный, одинокий. Один остался без ночи. Люди проснулись, а невнятный ночной сон забыл потеряться. И сон и явь, и сияние зари, и лунный свет встретились. При первых красных лучах дым от костра золотой в лес пойдет, а приподымется солнце, и дым будет голубой... Низкое-то солнце березы окрасит, и оне что свечи пасхальныя. Утро было мудро, птицам на разлет, добрым молодцам на расход... Петухи редко так пропевают. Птичка тоненько булькает. А я, добрый молодец, пирамидончиком обожравшись и чаю крепкого надувшись, сердечныя капли потом буду пить. А брателко никакого чаю не дождется —«Что мне твой чай», корочку либо картофелину схватит «с солькой» и убежит. А я бачерничать сяду, вздыхать...

Все рыжебородаго, златобородаго, солнцевласаго дума-та хочет величать... Сергия, говорю, Радонежскаго. Он всяко люб. Позднейшие иконники худеньким старичком пишут с седенькой бородкой. На кушнаревских хромолитографиях, большими оне тиражами шли, Сергиё-то вконец больным, измождалым смотрит. На древних иконах, пущай оне измождали, а как дубы святые-те. А у новейших «богомазов» все как старички больничные. Конечно, у Нестерова Сергий хорош, духовен, хотя тоже сухонькой старичок. А в картине Русского Музея в Петербурге «Сергий Радонежский» он и похож.

— Да ты разве видел его —«похож»?

И видал, и люди видали: свидетельства есть, каков бяше преподобный

образом телесным. Брада была большая, густая, златорусая. Власы главные густо же обрамляли высокое чело. При честных, святых и благоуханных костях Преподобнаго (кои свидетельствуют, что он был велик ростом), видел я и власы его, как бы пясть золота, или златоцветнаго шелка.

На древних монетах малоазийских сохранился лик Зевса. Тип Фидиева олимпийскаго Зевса. Вот каков был, на кого похож, судя по древним иконам, Сергий Радонежский. Но не тщедушный старичок. И постническая изможденность Сергиева была величава.

Он ходил пешком по Руси. А дорога от Маковца до Боровицкого холма, до Кремля Московскаго, исхожена его стопами многократно. Как солнце, ходил он от Троицы по Ярославской нашей дороге к Москве. Тут все Его помнить должно, Ангела Русского...

В 39-м, в 40-м году, как жил я в Хотькове, все мне там дышало и говорило о нем, «первом игрушечнике». И что узнавал, то я списывал. Много радости насписывал карандашиком...

Кости Сергиевы пресвятые я видеть сподобился и руку целовать. Эти кости — основание твое, Русь Святая. Всяк должен одеть в себе сии живоносныя кости плотью и кровью. Сии праведные, благословенные кости, подобные свещам яраго воску, подобныя корням всесвятого некоего древа, и есть корни твои живоносные, о Русский народ, о Земля русская!

...В Александров день с эстрады вякал два часа. Публика — художники. На улицу-ту вышел: поносит меня. Да, песни пой, избу крой, а шесть досок паси... Худой стал я. От силы на сотню публики меня хватит, а уж на большой сцене опасность. Боюсь, что с воронежскими гастролями одни разговоры.

...«Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

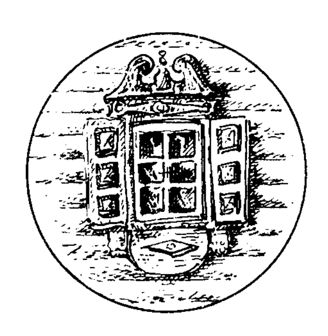
«Ох, думы мои, думы мои, лыхо мене з вамы...» Обрадоваться охота чему ништо! Братишку надо бы от упряжки освободить. Не по силам ему!

Ино мои-то заработки всегда вилами по воде писаны: вспомнят, ткнут в какой-нито концертишко. А не вспомнят, сиди, жди. А здоровьишко худое. Голос кроток стал, звонкость потерялась.

Не порато стары мои годы, а радости в душе, в сердце, в сознании не стало. Видно, не в кованой скрыне хранилось, а в деревянной чашке штяной налито было мое «сокровище духовное». Чашица-та обветшала, трещину дала, сила духа утекла.

На дворе смерклось к пяти часам. Месяц назад к четырем смеркалось.

...Я, нижайший, все в худых душах, вернее, в худом теле. Печку еле истоплю. Ниче не сплю. Лежу, сам себе в уме какой ни-то рассказ рассказываю. Людям-то некогда меня слушать, а мне им рассказывать негде. И я сам себя веселю. От печальных мыслей себя увожу.



1945

...Горе сердцу надвое мыслящу!... Попажа в церковь трудна, у трамваев мерзнуть, ехать, в церквах нетоплено, а я и дома в шапке сижу. На липовой моей ноге, на березовой клюке уж сползал бы, с грехом пополам, на Хитров к Петру и Павлу. Но вопят там певчие (сытые) неистово. Уж лучше бы бабы голосили...

В сердце человеческом да в природе Бог-от. Мое сердце у нужды в руке зажато. И никто не вызволит, не пособит мне. Какую же радость себе или людям выжму я от такого сердца?! Граблюсь я за природу. Но как лягушка из канавы, как таракан из щели взглядываю я на природу. Иное обрадуюсь о ней, дак после оскомина — будто украл что. То неба украл кусок, то серп апрельского месяца на стеклянном небе, то аромат весенней земли, то галочий крик ввечеру. Это ничье, это Богово. А и не мое. Это все дано справным людям. Всем дано, одному не дано — я баню не топил, дров не носил.

В сумерки все поспешаю выползти на улицу. Будто устюжский мастер на старом серебре навел этот изящный тонкий и густой рисунок деревьев. Белые крыши, белый переулок, серый туск домов...

Даже у Тютчева живы и живут в нас, и вечны, и могущественны лишь тема смысла существования, тема Бога, темы философские, также несравненные типические описания природы, картин природы. А темы политические уже отошли. Не трогают нас, сколько бы пафоса ни влагал сюда поэт...

Глубокая и чистая искренность человеческая поражает нас в Тютчеве, в его поэзии и влечет нас к нему. Это был человек-философ-поэт с миросозерцанием цельным и законченным.

Поэт был человеком светским и семейным. Была привязанность и «на стороне». Но печать великости душевной у Тютчева и к дальним, и к ближним.

Человек великого и острого ума, великого сердца, Тютчев был религиозен. Поэтому и ныне все взыскующие Бога не могут не приникать к поэту, творчество которого запечатлено касаниями к миру горнему. Мы не можем не любить философа, достойно и вправе «горняя мудрствовавшего». Взыскуя Бога, Тютчев далеко не всегда праздничен, просветлен; не часто он славит и хвалит. Когда тоска хватает и жмет многоскорбное сердце поэта, когда сердцем овладевают отчаяние, одиночество, пустота, поэт как бы не находит Бога и в небе, и в природе...

Кого из «верующих» шокируют «срывы» Тютчева, тот еще более соблазнится и смутится несказанной искренностью Евангелия. Например, отношением учеников к воскресению Христа.

Январь месяц... Мороз скрипит. Оконце мое что шубой одето белой. Сквозь узор ледяной ясень брезжит крепкая. Деревья закуржавели. Народишко бежит, утуляя лицо в воротник. Как там воюют дети наши? Михайлушко забежит в шинелишке — согреться не может. А се и нам, старикам, согреться негде...

Брателко по хлеб бегал — ножонки откоченели. Слезы выжимает мороз-от. Тоненькой братишко-то, бледненькой — ни кровиночки, мерзнет. А дома ни картошины, сегодня в рот нечего положить — надо на рынок, пол-литра на картошку сменить. И взмолился братишко-то:

— Матерь Божья, святитель Николае, замерзну я на рынке!..

А из сеней и лезет солдатёнко: «За водку картошки-морковки не надо ли?» Мы и радехоньки. Брателко ликует:

— Бог-де не убог, и Никола милостив!

Хоть несколько дней от морозу поотсидеться. На рынке в холод-от жмутся, трясутся, скачут с ноги на ногу... На рынке картошка 14 р. Нам по 6 р. обошлась.

Как брателко сядет, понуря свою кудрявую головушку: как-де перевернуться, где взять?— он пригорюнится, и я распадусь... А управит он хоть картошки, хоть на три дня, и я, как глупенькой, развеселюсь. Мы и тянемся так уже не первый год. Братец тянет воз-от. А я такой, я по-реченному: скоморох голос на гудке настроит, а житья своего не устроит. И другое писанье: «Мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Я вот стою разиня рот: что музыку, слушаю звонкие, такие игрушечные галочьи голоса, как они в прозрачной румяности зимнего вечернего неба стадом летают. А у людей, мимо бегущих, целеустремленность дела да комбинации у всех. Тот меня толкнет, другой обругает: стоит дедко, ворон считает. Они правы.

С субботы метель метет. Приятно вздумать: город стал мягкий, белый, нарядный. Часа в три ночи нароком выскочил я на улку. Ни огонька... Серебристо-белый свет от напавших везде — крыши, карнизы, заборы, деревья, дороги — снегов белых, пушистых. Будто и не ночь, а день, только не наш будничный, а день в сказке, полудень-полуночь в некотором царстве. Молча падают снега, все молчит, ждет продолженья сказки. Сказочная свадьба снежного царевича неслышно должна проехать этими уготованными к празднику лебяжьми переулками... Как люди-те уснут, снега устелют дороги, чисто, неслышно припадет — тут сказка и свершится.

Ходил сейчас проведывал чашу мою небесную. Моя чаша, и небо в ней мое. Мне дадеся. И как она разнолика! Сейчас исполняет чашу облак снежен...

Ненаглядна переменчивая, живая красота неба. Чаша моя — абрис неба над московским двориком в виде чаши...

Помню, отец, бывало, сказывал: «На Новой-де Земле на Офонасьев день в полдень светло явится, на часок светильник погасят зимовщики». Здесь, слава Богу, порядком дня прибыло. Скоро 5 часов, а в нашем подпольице еще можно писать. Только из-за дыму дня не видишь, во всех комнатенках затопимши, на четвереньках жильцы ходят, ребят на улицу выставят. Заросли трубы сажей. С морозов картошка вздорожала: 18—20 р.

«Ярослав мутен сон видел», а я сегодня сон светел видел, дорогого наставника детства, учителя светлаго о. Зосиму. Будто он вошел уже в класс, и ученики стихли. А я по-за двери бегаю, извинительную фразу придумываю своему опозданию... Смущенно подхожу к кафедре, но о. Зосима встречает меня веселым и радостным лицом. Бледный, худощавый, серьезный лик дышит радостью. Уста, очи сияют улыбкой. Восторженно возликовав о таком расположении учителя, я хочу поклониться ему в ноги. Он удерживает меня, и я целую наперсный его крест и затем ланиту... На о. Зосиме серая нанковая риза, в какой он обычно ходил на уроки.

Я проснулся, уже светало, в комнатенке холодно, тяжело кашлял брателко, видя, что я сижу, спросил пирамидон. Я скорей начал напяливать на себя свои лохмотья. Но радость какая-то светилась еще на сердце...

Люблю писания протопопа Аввакума — удивительное, яркое проявление русского духа. И какая-то нерусская сила характера. Расколоучитель... Мне кажется, в каких-то судьбах своих, в каких-то планах справедливости, Вечный нелицеприятный Судия призрит пламенеющее любовью ко Христу сердце Аввакума. И не пошлет страдальца за старую веру в ад.

Мне кажется, что все веры, преемлющие древлецерковные догматы, предания и уставы, как-то: восточная православная церковь, армянская, абиссинская (а в недрах русской церкви — староверие), затем церковь римско-католическая,— пусть эти церкви пока не общаются, разъединены на земле, Небесная Правда, Вечный Судия зрит и видит сердца праведников и той, и другой, и третьей церкви. Но я родился в православной церкви, и довлеет мне, и любо мне в ней пребывать.

Итак, трещины, разъединяющие православие и староверие, православие и католичество, не идут насквозь до преисподних земли, но где-то, и не так уж глубоко, исчезают. Где-то, и не так уж глубоко, христианство едино.

Откуда поэт-художник? Что это такое? О чем истинный поэт нам толкует? Тот поэт, кто не почивает на житухе обывательской сытой ли, голодной ли. Мысль поэта имеет «криле позлащение голубини». И любо поэту, когда мысль его в каковом-либо месте, в каковой беседе с единомысленным человеком может привитать...

...В незакатной белой ночи Севера любо «криле-те голубини» расправить, чуда слетать. Там мое радование... Не пуста Россия-та! Люби, храни сердцем и мыслию места-те святые Святой Руси. И не сомневайся, что оне и есть на своем месте...

Тепло и светло на душе, и жить самому легче, и Бога преславишь, как отрясши сон житухин, доброю и здравою мыслью очувствуешь, уразумеешь радостно, какой сегодня день-от...

Соломонидушка, бывало, скажет:

— Ты все дома, как печь. Печи никуда не надо...

— Я, Ивановна, умом летаю, где мне любо. Везде на оконце посижу...

«Разумом молчи, разумом глаголи». Правило основное в быту и премудрое. Живя в разуме, сам себя бережешь и ближнего. Беречи ближнего, войди и в разум сего святоотеческого слова: «Кто себя видит, в брате не видит». Ежели б мог я себя по-настоящему, каков я есть красавец, увидеть, дак

ужаснулся б я. Брат-от ангелом бы показался. А ежели и бросил отругиваться, опомняся, захлопнул пасть-ту свою окаянную, дак без злобы язык-от прикуси...

Лукавой ведь может подсунуть тебе сознание: «Вот-де МНЕ что приходится выносить! Вот-де что Я терплю!..» Ложно сказано: «Не видал я праведника оставленнаго...» Вот эта собственная бешенина и застит нам глаза, не дает понять, что не мы терпим, не я терплю, а от меня, и только от меня терпят.

Тепла все еще нет. Сухо. Ввечеру сквозь мреющий в небе туманец сквозит молодой месяц. Город, улица, люди живут чем? Война б скорее кончилась, пых бы перевести. Живут страхом: нова б не началась... Живут тем: к пайку б что добавить, безразлично какими средствами — блат основное. Добыть дровишек, ужулить электр. ток, ухватить паек, достать картошки, перелицовать лохмотья, добыть что-нибудь на ноги... Плюс ко всему из строя выходят водопроводные трубы, валятся дымоходы. На этом фоне всевозможны слухи, ожидания, предположения о конце войны, о союзниках, о японцах... что-де будет дальше и т. п. Люди выжаты, измотаны, измочалены. На уме одно: как бы живым вообще остаться. Эта бедственная житуха заботит, трясет, мучает людей...

Уж не воротится эта чудная в году пора — начало апреля. Уж сухо в городе, но еще нет пыли. Еде голы деревья и сквозит меж ветвей блещущая лазурь, а вечерами высоко, в зените неба стоит маленький серп молодого месяца. Утрами хрустит еще ледок в колеях уличных перекрестков...

...Наука века сего с важною миною говорит: у меня все на опыте и точности. Но удивительное дело: сколь скаредны, убоги и жалки у них сии опыты и точности. Мертвое дело!..

Что мне в том, что пересчитала, перебрала ты, «наука», все мои жилы?! Для жизни мне нужна радость. Без нее не перенести мне неизбежных скорбей, бед, болезней. А радость эту ты, «наука», выдергиваешь из-под моих ног, что мост ломаешь через яму. Без радости человеку незачем таскать свое тело. Что мне в теле моем, болеющем, имеющем разложиться? Мне важен дух, поддерживающий, окрыляющий тяжесть тела. Чувства мои должны питаться только радостью...

...Брату говорю: пока сумерки да небо видать, сплаваю переулком. А и опоздал, выскочили электробельма, скрало небо. Я дал задний ход во двор. Но по случаю теплого вечера отворены все окна примыкающего к нашему двору пятиэтажного дома... Тряся одеялом за окно, какая-то Роза кому-то апеллирует:

— А все-таки Эмепшумг есть Эмепшумг! Что?..

Из окна другого этажа несется как бы предсмертная икота: певица изображает алябьевского «Соловья»... Да, пришла весна, там лето... Все, что боялось зимы, пряталось в своих ящиках, вылезло на улицу. Зима без разговоров затыкала рты... Осень всех заставит убраться по своим конурам. Зима одна царствует, белая, звездная, чистая. А лето — оно бессильно в городе. С апреля погано станет: вонюче, оруче, пыльно.

Стою в закоулке двора, где только стены без окон темнеют да неба тихого полоса. Занакрапывал украдкою дождь. А мне стало весело. Да что же я тужу! Разве я прикован?.. Да сядь на трамвай, и вывезет в тихость весеннюю. Велик ли город-от по сравнению с просторами светлыми, где не затоптана, не скована, не заплевана мать-сыра земля. Много лесов, много полей чистых, тихих. Велики просторы Руси родимой. А се и в городе есть тихий час рассвета, весною особливо прекрасный.

А потом, а главное: «се грядет час и ныне есть», что в себе самом возрастет, откроется, расширится Храм-от светлый. Ты сам будешь храм, ино куда пришел, там и служба божия, там и тишина... Не одолит лязг трамвайный... Самоед, лопарь везде у себя дома. Куда прибежали олешки, там он и расставил свою вежу, и огонь развел, и постели — как век тут жил. Сердце свое сотвори велико, широко, в нем и будешь жить. Телешко твое низенькое, а сердце твое сотворится широко, велико. У тебя пазуха-та что царский дворец будет. В нем ходи да ходи...

Не посетовал на город в это утро. Свежесть ранняя, дышать резво. В Ивановском переулочке особливо хорошо. Подойду да постою, полюбуюсь. Великие облака, что с ночи стояли, на мелкие роились. Барашками небо взялось, что ангелочками. И лазурь меж облак чиста несказанно. Переулочек омытый, камешек к камешку, плитняк чист. Тоненькие веточки еще безлистые на фоне весеннего неба... И воробьи на монастырской стене: «Чив-чив, чив-чив!..»

Один из мудрецов века сего (Д. Бедный) изрек однажды, что все талантливые люди — поэты, художники, музыканты — непременно имеют большой вкус к плотскому любострастию. Сей опыт дебелой плоти противоположен иному опыту. Опыт иного сознания и самопознания, опыт иного ведения предлагает: оставим плоти сладострастие, возрастим души дарования. Чтобы расцвели творческие (единые на потребу!) силы, надо, как одежду грязную, как раз чувственность-ту и сбросить. Пусть человек отдаст долг плоти сладострастию в молодые свои годы, пусть отдаст долг матери Природе. Этот хмель пройти должен, разум должен очиститься. До сорока годов пущай хмель-от одолевает, после сорока протрезвится. Очисть ум-от, мысль-ту от хмельных грез. А то и тело уж старое, слабое будет, а привыкшая к молодым сластям мысль и воображенье все еще позорно будут нудить к жалкому разврату немощное тело. Не позорь возраста. Пусть молодость там, в «долине роз», в чашечках своих цветков копошится. Пусть молодость и воображает, что вокруг пола все в мире вращается. Им дальше... и видеть не должно. А уж зрелому-то разуму иные горизонты открываются. Что у юного красота, то у старого срамота.

Трудно бывает человеку перейти малость и низменность телесных похотей, понять, осознать и вовремя им их место указать. Поэзия, музыка, живопись, скульптура как раз внушают, что в плотском сладострастии главная сущность бытия. Отсюда неудовлетворенность, разочарованность, мрачность, пессимизм пожилых людей.

Бывало, как важно держал себя старик, как значительно было его лицо. Недаром вечная книга заповедует: «Перед лицем седого восстани и почти лице старче». Старость стала презренной, уж если не в силах ты молодым казаться, дак тебя и на свалку.

Но эта торжествующая дикость и примитивизм не стоят внимания...

Итак, иным венком, чем юность, должна венчать себя зрелость человеческая. Очистивший сердце от мути сладострастия, а через это стяжавший себе и ума светлость, с улыбкой глядит на утехи молодости. Просветленный ум знает, что все это надобно — и красование юности, и утехи брачные, знает это разум и благословляет, но соглядает и простирается к тайнам и глубинам иным.

Из оконца виден день, блещущий облаками. Вчера дождили они, сегодня гонит их резвый ветер, что стаю птиц. Ребятишки играют на солнышке. А я... будто и не мой день-от, не моя весна... Око мысленное сырым телом обремененное, что из каземата и на праздник глядит. Не мое-де...

Все эти годы страшные, весь груз непосильный житья-бытья доблестно влачил на себе брателко мой. А в эту, 4-ю зиму припадать стал духом, и здоровьишка негде уже взять... Обтрепались, обносились. Война кончилась, будет ли какая ослаба. Газетешку-ту нюхают, да трут, да копают: выжать-то надёжу какую поскорее тщатся.

Я так уж себя и считаю юродом, бездельником: не у чего-де живу, ветры ловлю, за тенью бегаю. Сверстники-те — председатель, при академии, с орденом, дачу и машину имеет; мимо проедет, грязью оконце мое обдаст, не увижу я ни облачка, ни соседнего забора... Что же, неужели в самом деле смолоду-то надо было не лазури небесные соглядать, а что собаке-ищейке носом в землю практически обеспечивающие дорожки вынюхивать?.. Бежать по следу такого хозяина, у которого кока с соком запасена... Конечно, у .... (неразб. — *ред.*) верный нюх, знают, где жареным пахнет. Давно у тех окон сидят, хвостом виляют. И много их. Теплая компания. Овсянку с мясом им дают. Сахару на нос положат, скажут: «Пиль!» Они фокусы умеют показывать... Нам так не уметь.

Ложью век пройдешь, да назад не воротишься. Умирать все будем. Тошно будет при смертном-то часе. Для чего-де жил? Исполнил ли то, что тебе задано было в жизни? О чем сердце смолоду горело, к чему живая душа твоя рвалась, то куда ты дел? Вот что при конце-то жизни совесть спросит.

Это, конечно, к Леоновым не относится. Их сознанье совестью сроду не было обременено...

Весна идет, на сердце все прискорбно, неустройно житьишко-то. На мели сижу. Никто с мели не сдернет. Нужда братко держит, не вывернешься. Горе-злосчастие — свет из очей теряется, долу меня гнет. Извне веселье — весна идет, а внутри меня нету радости. Знаю, что она должна быть во мне, сердце мое — ларец, и положена была в него радость, да ключ теперь теряю часто, не знаю, куда засуну, память худая.

Голодуха, скудость во всем, лохмотья всех наокруг одолели. На сытых и одетых глядят жадно, завистливо. И всеобщий, всеодержимый, единственный у всех идеал и смысл существования: урвать и мне свое от жизни. 10% сыты, пьяны, и нос в табаке. 50% воруют напропалую. 40% из кожи лезут, колотятся-бьются, не хотят подыхать. В деревне идеал: огородишко... еще козу купить... Мечта и тема разговоров: пара башмаков, хоть одна на всю семью. Событие: получить брюки, рубахи, платьишко бумажные... Жить надо, как вор на ярмарке вертеться. Под лежач камень вода не подойдет. На дом к тебе никто за твоим товаром не придет. Не расхожий у тебя товар-то. На любителя...

...Человек века сего удачливый ли, неудачливый ли, спокою не ищет. Ежели он много нахватал, дак знает, что и зависти самой лютой в окружающих породил, и все окружающие в ложке воды его такого ловкаго утопить рады. И с опаской, с опаской он хватает. Ему и ночь не спится. Посмотри-ка на счастливчика сего света, как у него — чуть что — глазки-то забегают опасливо. Во время чумы-то пировать, ох, многодельно и заботливо!..

А что мне около мертвых псов стоять, вонь пропащую слушать да про падаль сказывать?! Знатно, что в нужнике, окроме дерьма, нет ничего...

Сегодня валаамским преподобным Сергию и Герману праздник. Как бы золотую ризу накладывает на житейский день праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с Севера родимого, от светлых озер и дремучих лесов в заповеданные дни года идет и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный оный и блаженный свет... Сергий и Герман Валаамские, основавшие обитель Преображения на озере Нево, в первые века христианства русского, благодатно жили и в века последующие. Каким огнем сиял свет иночества на Валааме, доказывает век XIX...

Нонешние времена из правил вышли. Еще Златоустый сказал, что можно спастись и в городах...

Теперь «дом отдыха», «дача»... А бывало, чем красно было лето в моем родном городе... Город стоял на водах — порт, близ моря. Мало кто ездил «на дачу», но семья хоть раз в лето собиралась «на богомолье» — к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану и Логгину Яреньским, к Вассиану и Ионе Пертоминским... Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт, не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти, и смерть, как праздник. Жили в монастырях люди умершие для радостей мира, но как тускнели и умалялись радости мира перед святым иноческим житьем. На Соловках у многих из наших горожан были родственники монахи... и уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюродного брата монаха Иустиниана.

Омытыми, новыми возвращались мы из обители. И привезенные из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры — так это потом любо было...

Кто-нибудь подмигнет мне и скажет: «Знаем мы монахов — абие-бабие», «игумен вокруг гумен» и т. д. И я отвечу: «Всякой находит, что ищет, всякой видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужну кучу разрывая, ухитрялись «навозное» зерно иные любители находить.

Липы мои, что через дорогу, за оконцем, поредели; ветер гонит желтый лист. Точно и не было густолиственной купы. Неба стало много видать, чему я рад. Вчера к сумеркам брел Ивановским, Подкопаевским переулочками. Подойду да постою. Гляжу, не нагляжусь: старая стена уступами вниз, одинокий купол и высоко, высоко в тихом небе реденькие облачка. Тихость коснется души и ума. И там властна эта тихость неба. Больше она толчков и пинков, властнее шипа, свиста и машинного лаянья...

Говорят, война кончилась... Нет, мир сей, век сей, житуха наша — война нескончаема. О мире сем древле сказано: «Человек человеку волк». Воюют люди друг на друга люто и неустанно. Схватились в своей «борьбе за

жизнь», и разве мертвые отвалятся один от другого. Каждому надо урвать свое. Одни бьются и колотятся для того, чтоб ухватить корку хлеба для ребенка или покрыть хоть тряпицей какой трясущегося зимою брата, воюют, плача и проклиная, чтоб ухватить ломоть да снести его в тюрьму, больницу сыну, мужу, отцу... А эти вот сражаются остервенело, чтоб удесятерить запасы вин, хрусталя, пополнить коллекции всяких редкостей и драгоценностей...

Полезнее вспомнить: «Если, обличая кого, придешь в раздражение, то свою только страсть утолишь...»

Трудновато человеку поднять себя за волосы. Трудно исполнить: «Отойдем да поглядим, хорошо ли мы сидим». Надо исполнить! «Да отвержется человек себя». Из самого себя надо выскочить. Надо за дурной сон вменить себе все, что в мире сем видишь, надо заставить себя проснуться, очнуться...

Дни сухие, солнечные. Свежий ветерок. Вечером так желто-призрачно. Вечерняя заря глядит мне во все оконце. Деревья напротив скоро последний лист уронят, а мне любо от этой прозрачности. Того для и люблю я деревья весной до пышного листа, до «соловьев» (с Фетом мои вкусы не сойдутся), и осенью, и в самый листопад. А «пышное природы увяданье», вообще всякая «пышность», и даже летняя,—«с это меня не станет». Какая картина прославленного мастера заменит мне мое оконце. Из старинной, не менявшейся со времен Павла I рамы глядится ко мне и в низенький покойчик то зима, то лето. Как я люблю, когда белая скатерть застелет перекресток, на который глядит наш дом! А весной — что зеркала, протянутся лужицы талого снега. Вот сейчас по бледно-зеленой гаснущей заре взялись розовые облака: завтра будет ветрено.

...Часто употребляют фразу: «Доброе старое время». Но и в «доброе старое время» во всех ли людях светился свет?..

Обращая мысленный взор в прошлое, а я, например, люблю глядеть в девятнадцатый век, ибо там все мои корни и все заветное мое, я люблю соглядать там «жизнь живую», то, что не умрет, люблю знакомиться, и знать, и жить с людьми, кои были современниками дедов моих...

К такому «прошлому», вечно живому, я люблю приникать, думая о своей родине.

...Один добрый человек, умный, ученый, образцовый семьянин, два сына у него было — надежда и утешенье родительское, этот человек в беседе говорил: «Монашеское умиление и просветленность... хм... что же в этом, какой смысл?.. Человек живет для детей. Смысл жизни и счастье человека в детях. У меня растут дети — вот мое умиленье и просветленность, моя радость. Семья, дети — вот стержень и мудрость жизни. Я гляжу на моих сыновей, и я — царь! Я Бог! В детях моих основа моего жизненного тонуса, моего творчества...»

Это было пять лет назад. Оба его сына убиты на войне. Недавно я встретил этого ученого. Его и жену. Она в свои 50 лет кажется девяностолетней старухой. Он прям, продолжает говорить о своей науке, но временем забывается, молчит, уставясь в одну точку. Идет по улице — лицо каменное. Инженеры-сослуживцы с уважением говорят: «Какой стоицизм, но какая пустота в глазах. Он стал мертвый...»

Скажут: «Что уж ты все древних-те людей хвалишь, чем они такие отменитые?» Да! Древность и, скажем, средневековье — это была юность, молодость человеческой душевно-сердечной, умно-мыслительной восприимчивости и впечатлительности. Древний человек несравненно был богат чувствами, воображением, памятью. Ныне одряхлел мудрец. Мало радуют ныне «специалиста» его знания. Будто кляча с возом...

До осязательности живо, как бы наяву, предстает мысленному взору то, чем сладостно жил в годы отрочества там, на Севере, на родине милой. Места по Лае-реке временем вспоминаются каким-то садом Божиим. Река Лая, таинственная в тихости сияющих летних ночей. Протяжные крики ночных птиц, всплески рыб... Тишина ночи, сияние неба, подобные зеркалам озера в белых мхах, плачевные флейты гагар... Или днем: лесная тропинка, бор-корабельщина, меж колонн, благоухающих смолою паче фимиама, цепь озер, отражающих нестерпимое сияние неба. Некошеные пожни-луга, цветы, каких московские и не видели. На лугах, на полянах малинник: ягод некому брать, а я боялся змей, пока не скосят траву...

Круглое тундряное озеро (чарус) с плачущими гагарами лежит в версте от Лайскаго дока, где мы жили. Мимо озера к деревне Рикасиха идут и едут берегом Белого моря (Летним) в посад Нёноксу. Четырнадцати годов я живал в Нёноксе. Посад отгорожен от моря дюнами: с колоколен видать воздымающуюся над горизонтом высокопротяженную стену черно-синих вод. А шум и как бы некий свист моря слышен в домах днем и ночью, при ветре и без ветра.

Вкруг Нёноксы ячменные поля, пожни-луга с синими цветами, холмы, покрытые белыми оленьими мхами, и всюду-всюду так нарядно, как бы в садах, рядами и кругами богонасажденный черемушник, рябинник, малинник, смородинник. Из ягодника вылетит нарядная тетера и сядет поблизости. Зайцев тех летом не трогал никто.

Уж ягод и брать некуда: корзина полна морошки, туес полон малины, а все идешь: места открываются одно другого таинственнее по красоте. Круглая сухая поляна белаго мха, по белому моху синие крупные цветы — колокольчики, незабудки и великолепный папоротник в пояс человеку. Поляну окружает стена розовой ольхи и рябины. Пройдешь эту стену (под ногами несметно черники), и уж в глазах золотится полоска жита (ячмень), в жите поет птица «симануха». И тут же непременно речка в белых песках, непременно журчит по камешкам. Речка прячется в папоротнике, в ягоднике или, отражая высокое жемчужное небо, изогнется меж сребромшистых холмов «высокой тундры». Сколько звезд на небе, столько в архангельском крае озер. И речки наши серебряные текут меж озер и через озера. И с этих озер, куда бы ты ни зашел с ранней весны (с постов великих) до поздней осени, крики птицы водяной слышатся днем и ночью. Слаще мне скрипки и свирели эти ночные крики птиц, музыка родины милой... Лебеди, когда летят, трубят как в серебряные трубы. А гагары плачут: куа-уа! куа-уа! куа-уа!

Далеко от посада не уходил, все в глазах держал высокие шатры древних нёнокских церквей. Иногда в тишине белой ночи поплывут звуки заунывного колокола: кто-нибудь в лесах, во мхах заблудился из ягодников. На колокол выйдет.

«И страна моя Белая Индия преисполнена тайн и чудес»,— поет о Севере поэт Клюев. Удивительное, странное и сладостное состояние овладевало

мною иногда, среди этой природы, в этой несказанной тишине. И любил я ходить один, а не с ребятами-сверстниками. Какая-та сказка виделась воочию. В те годы, сначала на Лае-реке, потом в Нёноксе, выходя из возраста детства, впервые вглядывался я в окружающий меня мир Божий. И самыми сильными, самыми разительными были непосредственные впечатления северной природы.

Нёнокса было место удивительное, там еще царствовал XVII век, в зодчестве, в женских нарядах, в быту. Художник, любитель старины, эстет зашелся бы от восторга. Красота старины северной пленила меня навсегда годов с шестнадцати (Николо-Карельский монастырь). Но красоты природы могущественно, таинственно и сладко начали пленять мою душу с девяти годов.

В р. Лаю впадает лесная речка Шоля. Отец брал меня, малого, туда на охоту. Мы вставали на заре, я трепетал от счастья: Шоля, покрытая белыми кувшинками, стада чирков — мелких уточек, все это было для меня путешествие в сказку. Всюду воды, всюду на веслах или с парусом. Воды северных рек прозрачны. О, как я любил соглядать подводные эти страны. Помываемые глубокими течениями леса водорослей, похожия на косы русалок... Серебряные рыбы меж зеленых кос, раковины. О, как любо было, купаясь, нырнуть в яхонтовый этот мир да оглядеться там на мгновение.

Воды всегда шепчутся с берегом, а в карбасе с парусом встречь волнам — то-то у вод разговору с карбасом остроносым. И в Городе у пристаней, бывало, где много деревянных судов, суда поскрипывают, вода поплескивает: то-то молчаливая беседушка.

Я ни зверя, ни птицу не стрелял, я смала в белые ночи рыбку любил сидеть удить. Ладно, ежели на уху свежей достану, а я за этим не гонился. Озеро или Лая-река в июльскую ночь как зеркало. Всплески рыб, крики птиц, тихое сияние неба, сияние вод... Сидишь на плотике и боишься комара согнить, чтоб не упустить какой ноты чудной симфонии северной ночи...

Гребу утре в важнецкое учреждение, а «начальники», на прием к которым гребу, без шапок летят на улицу, в машину садят ММ. А этот ММ в молодости в дружбе мне клялся, гостил у меня. А теперь навряд узнает. Надысь, впрочем, два пальца подал: «Ну что, старик?..»

Пришел домой, разгоревался я на нужду свою неизбывную. Плакать мне над собою али смеяться?!

Человек уносит с собой на тот свет только духовную свою сущность, только моральную свою цену, только нравственную свою стоимость.

Все страшнее и страшнее становится жизнь рода человеческого. Уже не знают, знать не хотят, что добро и что зло, что смрад и что благоухание, что свет и что тьма. Правда, любовь, красота, честь, милость, прощенье, мир Христов, радость, вера — все потоптано, забыто. Счета нет истинным негодяям, преступникам, мерзавцам. Но несть числа и «ни добрым, ни злым». Они сознательно зла не делают, да и добра от них никому нет. Человек века сего нередко от младости до старости гоняется за личными страстями, увлекается науками-искусствами. Около такого человека компания подобных ему. И все ловят жалкие, мишурные блестки скоротлимых ценностей, «мышиное золото» века сего. «Ученый», «писатель», «художник», «артист», иной какой «деятель» празднуют юбилей за юбилеем: 50 лет деятельности,

80 лет со дня рождения. Всерьез-невсерьез шумиха, суетня человеческая около всех этих «делов», а вопросы «правды вечной», а вопросы «смысла жизни», добра и красоты, завет «взыщите Бога»— где все это?

Дни короткие, по-нашему, по-северному, зима уж... Снег нападает да стает. Вчера лужи, сегодня выморозило: сухо без снегу. Туск небесный быстро смеркнется, а все, где увижу меж домы деревья, особливо старые, ветвистые — и не могу досыта наглядеться, усладиться рисунком сучьев и ветвей, так чудно вырисованных на туске небесном. Кабы мне прежние глаза, только бы я и рисовал, только бы и отводил бархатистую черноту ствола, пальцем бы вывел могучий изгиб... Потом сучья, и это ненаглядное, нарядное плетение веточек. Сумерки спускаются быстро, и нежныя кисти веточек, как шелковыя нити на атласе, соединяются с небом. Чувствую неслучайность древесных изгибов и извитий. Дерево слушается солнца, ветров, дождей, соображается с широтою усадьбы...

Конец месяца (сегодня 27-е), дак на мели сидим. Братишко ломает голову, я покорно-тих: делайте со мной что хотите...

Все применяю к себе горестные слова нашей деревенской хозяйки: «Что уж, какая у меня душа красивая, а лицо, как куричья жопа». Мое бы дело какую ни есть работу хватать, где палец протянут, там за всю руку хвататься, а я с прохладцей. А люди — отскочи на пядень, они отскочат на сажень. Не знаю я, что у людей на душе, на сердце: бегут ли с кошолками, топчутся ли на трамвайных остановках или у булочных, продавая паек... Диапазон моих знакомств узок, но нет-нет да и получу приглашение на «вернисаж», на «творческий вечер», «выставку». Среди «голи и моли», которой надо же где-то забыться от очередей, от холода, от нужды, от грязи домашней, разглагольствует полдесятка «взысканных».

В пятом часу уж темнеет. Брел бульваром. Высь небесная еще прозрачна, хотя и облачна, а за домами низкое небо дымно-свинцово...

В Николин день звенел морозец; вчера и сегодня сыро, лужи стоят. Брателко неделю хворал, я не у чего, около себя разорялся, пропадал. Тут поманило заработком, выколотил я малую толику, планы плановал: вот-де заживем!.. Но и опять захирело. «В людях много милости (много??), а вдвое лихости».

Опять то же: «Садка день не зовут на почестен пир, другой не зовут на почестен пир...» Ну, ин ладно, ты, Садко, ежели не о деньгах, дак возьмись опять за свой промысел: о Боге возвеселись!

Давно я оттерт от «пирога-то». Удачливее меня много лизоблюдов. Видно, они зазевались: «Позвали Садка на пир» (у черного крыльца постоял!). А я и о парадной прихожей возмечтал...

...В родном городе, в музее, было множество изумительных моделей старинных церквей, домов... Была нарядная утварь в виде зверей, птиц. И я, еще подростком, наглядевшись, налюбовавшись, точно пьяный, охмелевший от виденных красот народного искусства, у себя дома резал, рисовал, раскрашивал, стараясь воспроизвести виденное в музее. Сказка, волшебство творчества заражает, вдохновляет, подвизает художника к творчеству.

Тихий зимний день, белый дворик, серо-фаянсовое небо, бесшумно кружащиеся белые пчелы; время точно остановилось... Творческое счастье ох-

ватывает тебя. Вот она, сказка о заколдованном Городе... Святые вечера, святые дни. Далече будни. Ныне время наряду и час красоте... Как бы матери голос слышу, поющий северную старину-былину:

Королевичи из Кракова
сели на добрых комоней...

А пушистые хлопья кружатся над Городом и неслышно ложатся в снег.

Да, святые вечера над родимым Городом: гавань в снегах, корабли, спящие в белой тишине... Над деревянным городом, над старинными бревенчатыми хоромами, над башнями «Каменного города» так же вот без конца кружатся белые мухи. И падают, и падают. И уже все покрыто белой, чистой праздничной скатертью. Святые вечера. «Во святых-то вечерах виноградчики стучат...» «Виноградие»— северная коляда. Сколько сказок сказывалось, сколько былин пелось в старых северных домах о Святках. Об Рождестве сказка стояла на дворе: хрустально-синие, прозрачно-стеклянные полдни с деревьями в жемчужном кружеве инея. И ночи в звездах, в северных сияниях... А по уютным многокомнатным домам тепло, «как сам Бог живет»... Тут-то бабки и дедки сыплют внукам старинное словесное золото... И в первый день Рождества мужчины-мореходы ходили по домам с серебряными трубами, славили Христа... Бородатые почтенные мужи. А для «святочных вечеров» женщины вынимали из сундуков и парчу, и жемчуга нарядов XVII века, фижмы и робы елисаветинских мод и фасонов.

Но что вспоминать детство?! Сказке нигде не загорожено. Вот она прилетела с Севера сюда и заворожила...



1946

Есть совсем «простые сердца»; потребностей, кроме как попить, поесть да поспать, нет никаких. Эти «простые сердца» даже кино не интересуются: ведь там ничего не дают. Есть опять сорт голов пустых, но которым требуется чем ни то заполнять эту врожденную пустоту. Поверхностная щекотка нервов в местах общественного пользования вроде всезаполняющего кино их удовлетворяет. Публика поцивилизованнее, интеллигенты,— этим нужен театр, лекция о научной сенсации и т. п. Эта интеллигенция всерьез; но без разбору, интересуется литературой, поэзией. Какой бы хлам ни выбросил рынок, эта «культурная публика» живет этими «новинками». У всех

у них пустыя сердца, пустыя умы. Но они чем-то непременно должны заполняться, заполняться извне — книжонкой, газетой, киношкой, папироской... Иначе — невыносимая, нестерпимая пустота, скука, тоска...

Есть люди тонкой психической организации, они любят музыку. Они знатоки и ценители ее... Но где-нибудь в лесу, в хижине они не могут долго пробыть. Нужны внешние возбудители.

А между тем у человека должно быть сокровище внутри себя, должна быть внутренняя сила, собственное богатство. Человек должен светить из себя.

В человеке, в самом себе должна рождаться естественно, могуче и светло музыка. И когда ты, человече, остаешься один, ты можешь услаждаться скрипками и арфами, своими мыслями и чувствами. Великая внутренняя содержательность, внутреннее солнце, звездное небо, дивная музыка внутри себя заставляла инока бежать в пустыню, в лесную дебрь, на необитаемый остров. И все вокруг для такого отшельника было царственно-радостным, все было для него насыщено содержанием благодаря богатству внутреннему. Творческая содержательность внутри себя может быть свойственна, скажем, и талантливому поэту, и ученому века сего и мира сего, но творческий порыв современного поэта не выше «потолка», доступного аэроплану, а «глубина» исследований современного ученого зачастую инфернальна.

Я упомянул пустынников. Но и везде молитва, дар молитвы есть дивное проявление внутренней содержательности. В нашем доме, здесь, жила порвавшая с семьей из-за «старой веры» поморянка Соломонида Ивановна. Она любила быть одна в своем сыром темном чулане под лестницей... Молилась по уставам, по правилам, с лестовкой. Молилась по праздникам одна, ночи напролет. Как светло ее лицо, какие радостные струились слезы: «Весь ты, спасе мой, радость! Нет тебя, Господи, краше!..»

Это не значит, что, ежели внутри тебя поет птица райская, ты непременно должен особиться. Ты, скажем, арфа, а он скрипка, а у третьего виолончель, а тот вон труба сладкогласная: ежели бы вы сошлись, не составится ли чудный симфонический оркестр?! Таковы бывали обители.

Слушал Реквием Моцарта. Чрезвычайно сильное впечатление. Произведение барочного стиля и в то же время выше стилей и эпох. Солисты слабы. Понимают ли они латынь? Во всяком случае религиозного воодушевления нет. Но музыка потрясает. И эта священная латынь сама по себе ходатайствует к Великому Судии, хотя бы и произносима была неумелыми, может быть, и равнодушными устами.

Реквием исполняется концертно. Это как бы ожерелье из драгоценных камней различной формы. Они не скреплены для слушателя священнодействованиями богослужения. И все же впечатление единое и мощное... Точно грохот разбиваемого вдребезги мира слышится. Слышатся вопли рода человеческого, припадающего к Грозному Судии. «Когда поставятся престолы, и книги разогнутся, и Судия возсядет...»— поет церковь восточная. Восток ниц повергается, моля «неосужденно предстати усопшему к страшному престолу Господа Славы». Восток умиленно и сладостно, и тихо поет над новопреставленным: «Со святыми упокоит Христе душу усопшего раба своего...» Скорбь и радость в дивной этой песне Востока, певаемой над мертвым. Когда ее поют, ниц лежат близкие, родные отошедшего, и печаль облегчается токами слезными.

Латинская месса Моцарта (глупый конферанс возвещает, что эта вещь «выходит из узких пределов культовой музыки») требует милосердия, мольбы с угрозами, молит, потрясая кулаками. Наша панихида, как тихая заря золотая, уносящая представившегося к свету невечернему. Здесь моление бурею подымается к небу... О, какая сила, какое дерзание в заупокойной службе у Моцарта! Эта музыка конгениальна псаломским воплям Давида, который столь же грозно судится с Богом. Но ведь и Вечный говорит: «Придите и стяжемся!..» И Запад стяжается с Богом в этой музыке над бездыханным безгласным трупом: «Не дал ты ему поцарствовать на Земле, так дай ему небесное царство!» Но Восток, видя светлое лицо отошедшего брата, поет о чудных краях, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания...

В капелле, расписанной Микель Анджело, где фигуры грозных ангелов клубятся как облака, где Судия так неумолим, как уместен моцартовский Реквием.

Реквием Моцарта... Ряд солистов временем маловыразительны, не волнуют, хотя и старательны, как приходской хор, разучивший сложную вещь и заботящийся лишь о том, чтоб не спутаться. Но музыка, орган и оркестр великолепно передают всемирную трагедию Страшного Суда. Мощно звучит и хор с органом, с смычковыми инструментами.

Страшный Суд... Какому гению под силу такая тема? Только древнему церковному пению. Но наяву и то, что и творчество индивидуальное, творчество гения, такого, как Моцарт, может так же мощно брать за сердце и исторгать слезы.

Смала был я любитель рисовать, красить. На то и учился, падая по цветам древнерусского стиля. Любителем навек остался. Потом былинами и сказками стал управлять. На том коне и еду. Но не интересна мне автобиография эта. Никак! Главное: чем душу питаю. Зрение утекает, как из утлой посудины вода. Прислушиваюсь к музыке. За целые века много тут дива положено. «Светская» европейская музыка. Не только оперетки, но и большинство опер... Верди, Бизе в XIX столетии... Но и Рахманиновы, но и Скрябины, думается мне (я еще не вникал сюда), не для меня. Но говорить об операх и судить... не своим я тут товаром торгую. Я вот на сем свете несказанно, невыразимо люблю природу. У Римского-Корсакова в музыке есть картины природы. Есть у Глазунова, скажем: «Четыре времени года». Вот сюда мне хочется внимательно приникнуть. В такую «светскую» музыку. Ведь я люблю и народные песни «весенния», и стихотворения о весне, осени, зиме, положенные на музыку.

В молодости я мало думал о том, что восприятие природы у художника, у композитора может быть непосредственным и живым. Интересуясь древней церковной музыкой, я мало думал, что природа, вечно юная, хвалит Создателя, и композитор, любящий природу и отображающий ее, так же, как и тонкий живописец-пейзажист, сам хвалит Творца. И мне, если я мало и отчасти уже касаюсь рисунка, мне можно и должно искать свое желание и в музыке...

В музыке русских композиторов надо мне подслушать, нет ли там мною любимого — тонко-тусклого, сребро-прозрачного неба, голых весенних веточек и этого: «Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят...» Рахманиновская музыка на эти стихи мне не нравится. Светлой грусти весенней нет в этой музыке.

Не забуду одного дня. Мы жили в деревне. Был сияющий, солнечный ветреный день. Я сидел на широкой поляне под дубом, древним, раскидистым. Свежий ветер правил по небу ряды злато-белых облаков. Как корабли, они плыли от норда к полдню, как корабли, блещущие парусами, кидая на поля бегущие тени. Ветер свистел, веселяся в вершине дуба, но нижние сучья с вырезными листами были недвижны, казалось — сам златокузнец Челлини вычеканил их из бронзы, вычеканил и вызолотил.

В руках у меня был Платонов «Федр», я читал о вещем священном дубе близ Афин. Под сень дуба в полдень приходил Сократ, и в этот час нисходило на мудреца божественное исступление...

В этот сияющий день, в этот час бегущих облаков, когда эолова арфа ветра пела в бронзовых ветвях прекрасного дуба, когда сердце и ум трепетали, радостно внимая вечно оным и вещим глаголам древнего мудреца, я сладко ощутил, узнал и увидел: вот здесь, вот это и есть невыразимая слабыми моими словами —«слава Отцу и Сыну и Святому Духу»!

«Приди Лице, бегущее от человеческаго постижения»,— вопиют к Духу уста светлого мудреца наших дней. «Дух дышит, где хощет». Не знаешь, когда и куда Он приходит...

Сегодня опять слушал Моцарта. Симфония «Юпитер». Музыка величественная и веселящая сердце. Музыка растет в душе, «как сокол ширяся на ветрах». Величество нарастает. Сердце веселится, как птаха малая, взмывая над облаки, в лазурь. Дух-от захватывает, не может птаха навеселиться...

И Моцарт, и, к примеру, Штраус оба были людьми светскими, оба выступали в салонах. Моцарт любил оперу и был блестящим оперным композитором, как, например, Верди, Гуно, Бизе. Но, слушая Штрауса, представляешь себе венские роскошные гостиные, великолепные танцзалы. А Моцарт выше своего времени, он парит выше европейских столиц. Не прикладываю музыку Моцарта к русской природе... Но инде соединяется с этой светлой музыкой сердце...

На концертах серьезной музыки видишь много людей, пришедших в концертный зал не потому, что «все будут», не для встреч и развлечений, но чтоб послушать любимые произведения. Многие из этих людей вне религиозных переживаний, не думали о Боге. Переживания, связанные с музыкой и вызванные ею, являются здесь эквивалентом молитвы. У людей же, взыскующих Бога, здесь я разумею и церковных людей, музыка приводит, подвизает к молитве. Во всяком случае независимо даже от намерений композитора может вызвать настроения и чувства религиозные.

Морозов боимся: одежонка плоха, да и такое мокро—горе: калошики забыли, когда и были. Снег с дождем. Я выплыву из крыльца в лужу, ну и домой. А брателко в матерчатых башмачонках в снег и в воду... Светик мой, доброхот.

Через два дня неделя мытаря и фарисея. Заслышим уже недалекую поступь поста, издали донесется бряцание постного кадила... Еще масленица не была, но в церковных службах уже слышим фимиам «святых постов», как дальний зов постного колокола, звучит песня «покаяния отверзи ми двери»...

В свое время писал работу, принята была, но не пошла в ход, не опубли-

кована была, и время и обстановка затеряли ее. И я махнул рукой; не в подъем мне эту работу протаскивать самому. А о том, чтоб кто могущий помочь, с мели дело это сдернул, смешно и думать: есть у меня горький опыт. Сегодня узнал я, что некто таковую ж работу представил, но несравненно в виде гораздо более слабом и худшем, по сравнении с моим трудом. И этот конкурент мой, как имеющий сильные связи, схватил большие деньги.

Что же мы-то с брателком колотимся, а все нищие... Как же еще до сильных-то людей добиваться, лизать их или за пятки по-собачьи хватать?

Побродил по улице: снег, слякоть... Все немо. И я взял, открыл от Иоанна, словеса Христовы к ученикам после тайной вечери. Он говорит Петру: «Душу ли свою за меня положишь? Петух трижды не пропоет, как ты отвержешься меня...» И сразу пало на сердце: Сыне Божий, ведь это **мне** он говорит!

Бог да добрые люди пособляют на ноги встать. Только ноги-ти охудали порато. Завелася толкотня с деловыми людьми. Вижу рвачей, привыкших брать помногу, брать спокойно, важно и бессовестно. Они сумели так наладить жизнь, что к ним тысячи сами текут в карман. Сколько достоинства в их лицах, сколько подобострастия со стороны окружающих!.. Опять вижу хапуг, которые хватают с визгом и руганью. Эти тысячи-то свои тоже схватят, но достается им не без беготни, не без хлопотни. Около тех и тех кормятся «люди молодшие», не сумевшие стяжать имени и лавров, людишки вроде меня.

Это я об артистах глаголю...

В один вечер слушал и Реквием Моцарта и «поэму на смерть сына» одного поэта «из ведущих». Вот — два полюса. Тут о смерти, и там о смерти. Тут мировоззрение, и там нечто вроде. Здесь скорбь как орел возносится, скорбные очи орлиные соглядают солнце и миры, и века. Скорбь веры, рыдая об усопшем, поет хвалу Вечному. Господь даде, Господь отче,— буди имя Господне благословенно вовеки! У христианина скорбь плывет на крилех орлиных выше неба и выше времен и веков. Рыдая, хвалит Вечнаго. Рыдая над усопшим в «надгробном рыдании», поет верующим ликующее: «Где твое, смерть, жало?!»

А у сего «гада века сего» рев звериный, унылый, страшный. Точно в ящике забитый бьется человек. Материт убивших сына: «сволочи», «убью!..» «Ваши сыновья блядуны, безносые, воры, жулики... Мой любил кино, радио, спорт, уважал девушек!..» Какой жалкий тупик. Жалкий Реквием сыну.

«Красота спасает жизнь»,— говорит Достоевский. Чаще всего здесь под именем «красоты» разумеют искусства: музыку, поэзию, живопись. Ныне меньше всего занимаются философией своего искусства сами профессионалы — музыканты, поэты, художники. Тут, у профессионалов, деньги и честолюбие — единственный двигатель творчества. Халтуры во всем 99% .

Бескорыстно, «для души» любят «искусство» потребители. На концертах «серьезной» музыки я чаще всего ценю публику больше чем «рвачей» — исполнителей.

Не поспел на ноги встать, удачливый (и талантливый) пианист, скрипач, актер, а уж он об одном только думает: как бы коллег своих перегнать, за один вечер в пяти местах гонорар сорвать.

Меня не интересуют эти «жрецы искусства», честолюбивые и всегда алчные. Меня интересуют люди, «живущие» музыкой, поэзией, посетители концертов, почитатели поэтов...

Жизнь наша, жизнь большинства — «юдоль плачевная». «Пусть человек, иже жив будет и не узрит смерти». А пока жив — болезни, потери близких, старость, всякие несчастья и неизбывные скорби... Конечно, в час скорби ты не пойдешь ни в кино, ни «на Дунаевского» и т. п. сор. Но сердцу и душе скорбящим смертельно что дадут и красоты Штрауса, Верди, Бизе?..

Ты выберешь, конечно, что-нибудь подходящее к настроению у Чайковского, у Рахманинова, у Глинки. Ну, они заставят тебя слезу пролить. А дальше что? Ведь вот и в крематории «музыка играет» вещи классические, подходящие к моменту, «когда мертвого садят в печь», но не сожигающие ли, не испепеляющие ли душу слезы вызывает эта музыка?

«Массы», простодушный обыватель музыку ассоциирует с развлечением. Музыка и кино — лишь бы «рассеяться».

Вопрос о музыке, как о чем-то большом и нужном для жизни духа, не ставится не только среди «простых масс», но и среди рядовой «интеллигенции»...

У народа была своя исконная музыка, пронизывающая быт, делающая его праздничным и как бы благословляющим. Были у народа поэзия и музыка, в которых человек рождался и умирал. Семью, род эта бытовая музыка удовлетворяла. Эстетическая ценность этой музыки безусловно велика. Возвышенно настроенные умы и сердца эта поэзия, бытовая, не удовлетворяла. Этим душам орлиного полета подавала руку поэзия и музыка вселенская, надмирная, поэзия и музыка вечная.

В дедовский наш быт с его неповторимой красотой нам уже не влезть... Но над этим, столь любезным сердцу нашему бытом, вечно пребывало зиждительное Творчество, вечно пребывала Мысль и Мудрость... Не поскорбим, что исконная красота старинного быта выветрена сквозняками века сего. Вековой, песенный уклад дедовской жизни был как бы дитятею. Он должен был вырасти «в мужа совершенна»... Все народы имели свою национальную красоту. Век сей — «прогресс и цивилизация» яростно устремились на отцовские уклады жизни. Но народы успели стяжать себе щит и оружие — христианство. Оно выше быта и национального уклада.

Бог — творец, Бог — художник, Бог — поэт... Поэзия, философия, музыка, театр, пляска нисходили древле на людей от Творца-Зиждителя, который есть начало истинного творческого вдохновения. Так было в библейской Иудее, в Египте и в Элладе. Пророк и царь Давид «скакаше играя». Исполнение трагедий у эллинов было богослужением. Христианская литургия есть трагедийное действо о Боге страдающем и воскресающем...

Век сей и мир сей унесли с собой только шелуху, только красивую скорлупу празднственного (так у Б. Шергина — *ред.*) пафоса жизни.

Творческий гений человека имеет божественное начало. Пафосом божественности, пафосом религиозного творчества пронизаны и одержимы были некогда не только поэзия, музыка, философия, но и медицина, и история, астрономия...

И слагатель песен, и драматург, и философ, и врач, и художник одинаково отдавали себя в служение божеству. И труд их, имея начало в Источнике Жизни, в Боге, был на великую пользу людям.

Бог Аполлон и музы — «богини свободных наук» для христианина лишь аллегории. Но здесь глубокая истина, глубокое проникновение, высокое знание истоков творчества, светлая озаренность разума древних людей.

В Элладе, в Египте театр был храмом. Музыка, поэзия дивно и всепраздственно сознавали свою божественность участвовать в трагедиях — мистериях, петь, играть, плясать в музыкальных действованиях значило соприкасаться с божественными началами.

Живыми и свободными были «искусство и науки» древних, древним дано было величайшее веденье: все окружающее — небо, звезды, земля, реки, деревья,— все живо и имеет разум.

Провидение тайн древними чрезвычайно туманились кровью, похотью плотскою, похотью мужескою. Творческая радость древних, даваемая им прозревать великое, отуманена была буйным хмелем еще не зрелой молодости.

Очень многие мифы Эллады являются пророчественным прозрением или прообразом истин христианства. Все эти сказания о том или другом цветке, дереве, реке не являются красивой поэтической сказкой. В этих «сказочках» о цветах, птицах, ручьях — важное и глубокое проникновение в суть вещей.

Холодный норд с ночи стал торкаться в ветхие наши оконца. Земляк мой северный ветер — первому мне весть подает, с первым со мной здороваться прилетит. Чтобы-де не забывал родину. Где забыть?! В дни страстной недели особливо и животворно возвращаюсь к юности. Сильно и всеодержно переживались там, на родине, светлые, благодатные дни.

Таинство страстей Христовых неизреченно, но неизменно совершается в эти великие дни. Детство и юность, когда душа еще не ослаблена грешной жизнью, остро и непосредственно касались невидимых потоков таинства страданий и воскресения. И это приобщение чуду осолило всю последующую жизнь.

В дни юности на Пасхи я как бы действительно надевал «одежды брачные», а потом пошли годы... Волей или неволей, я «ум растлил, тело осквернил, душу погубил». Полсотни лет прожил... Как проспавшийся пьяница, одурело осматриваюсь: борода и ус в блевотине...

Чтобы таинство, силу и угодье наступивших, жизнеподательных дней ощутить и быть живоносному всемирно совершающемуся таинству причастником, надо умыться слезами умиления, покаяния. А вот грех-то жизнь-та, проведенная как попало, в слабостях, в праздностях, в унынии, в празднословии лютые оставляет последствия... Грешное тело и душу съело. Опали крылья у души, у мысли, у впечатлительности. Так вот и «в смерть» можно уснуть. И «враг» посмеется над всеми «упованиями»... Когда-то воспрянет душа моя и явит дело, а не будет растекаться в словесном балаболе?!

Господь говорит устами Златоуста: «Отдал ты дьяволу юность и силы, дак ныне хоть трясущиеся твои кости мне отдай!» И недаром поет Давид: «Возрадовавшая кости мои!»

Гёте, капризничая, как дитя, не хотел видеть, что младенчествовать, веселяся над игрушечным «роем богов родимых», нельзя было без конца

роду человеческому. Я говорю об эллинах, об их «рое богов». Но и у нас, русских, как и у народов романских, германских, был свой «рой богов родимых»— русалки-наяды, лешие-сатиры и т. п. Но примитивна была наша мифология. Не долетала до заоблачных высот Платонова мировоззрения. Но платонизм был вершиною, с которой видна была уже лазурь христианского неба.

Но и высокая философия (языческая), как и языческая народная религия, не могли бы уже бороться с тем роковым и неизбежным положением, что «мир во зле лежит». Человек, которому Зиждитель дал свободную волю, избирал, чем дальше, тем чаще зло. Зло усиливалось соответственно тому, как усовершалось о Христе добро.

Если бы не пришел Христос, никакой свет давно уже не светил бы, давно уже все было бы объято тьмою «мира сего».

Жизнь на земле должна была усложниться, люди, печали, несчастья, скорби должны были возрасти, умножиться. Наивная, детская религия с «роем богов родимых», что могла бы пользовать в дни века сего, как и чем отирала бы она море слез, тоску и скорбь человека, стонущего посреди «прогресса и цивилизации», когда «науки» занялись изображением смертей...

Вчера упомянул я интеллигенцию, людей, не лишенных в той или другой мере духовных потребностей. Они считают, что потребности духа современный человек может удовлетворять в музыке, в художественной литературе (проза, поэзия), в научной работе и т. п. Но масштабы, но горизонты наук и искусств, равно как и философских учений, приемлемых современным человеком, ограничены узкими рамками «мира сего»... И эта «серьезная» музыка и поэзия, которую только и приемлют «серьезные» люди века сего, не более как «рой богов родимый», который беспомощен в вопросах смысла жизни, в вопросах смерти и бессмертья, в вопросах о смысле страданий.

Оставим ученых, изобретателей смертей, и не ко всякому произведению будем предъявлять непосильных вопросов. О, род человеческий: у воды стоишь, а пить просишь...

Поэты, художники, люди, отдающиеся музыке, философы... им свойственно вдохновение, «муки творчества». Эти люди ощущают счастье. Их можно сравнить, но и нельзя сравнить с людьми, совершающими таинства церковные, и с людьми, участниками таинств веры. Нельзя сравнить, п. ч. у поэтов и «певцов» века сего все «похоть плоти и похоть очей», все у них житейское, все у них лишь поднятые на ходули будни. Все у них матрацы на пружинах, надутые воздухом шары; все у них самолеты на нефтяном «горючем». Чудо творчества века сего вещь малая, очень отвлеченная, относительная, вещь частная. Поэзия, философия, музыка, свободные художества, науки, все, чем мнят «творцы» века сего украсить, возвысить, осмыслить, объяснить, облегчить жизнь,— все это не может претендовать и не претендует на то, чтоб быть или стать всемогущею силою, всеобдержимым чудом, чудом, которое властно над жизнью и над смертью.

Мне скажут: почему ты «жизнь в церкви», религию сравниваешь, применяешь к поэзии, к творчеству художника? Ведь религия занимается «добрыми делами», делами любви, служением человеку и т. п., не верно ли применить «церковность» к общественно-полезной деятельности?

Я отвечу: конечно, никто и ничто не в силах так, как Церковь, отереть всяку слезу от лица земли. Общественно-полезными учреждениями являются и кассы взаимопомощи, и дома призрения, и приюты...

Поздний вечер, а за домами стоит еще тихая заря. По переулкам в весенних лужах отражается золото неба и деревья. Тишина ранней весны над городом. Она могущественнее городского шума.

Днем над грузными унылыми домами небо столь хрустально чистое, лазурь бледно-голубая, в легких, как кисея, барашках... Стоишь, забудешь, что твой трамвай подошел... Какая тишина блаженная там, за городом. Тишина полей, еще не просохших... Грачи прилетели...

...Видно, я впрямь старею, все брюзжу. Не вижу хорошего, только неладное на сердце садится. Одно на уме-то: выйти бы в поле, в леса. Здесь... во все стороны от машин озираешься, через рельсы скачешь, а в трамвае жмут, опять ждешь «транспорта». В великий четверг еле я под автомобиль не попал, ушибся, братишку напугал.

Мне б хотелось где — меж Хотьковом и Троицей тихонечко брести... Михайлушко сказывал, речки там разлились, тишина стоит, только потоки инде светло шумят. Радонежские холмы в золотистой прошлогодней травке-отаве, тоненькие беленькие березки, тихое небо...

Говорят: счастье в нас, а не вокруг нас. Да. Но бывает, задохнется радость твоя в городском-то гаме и лязге, в пустошном балаболе...

Термин «богоискательство» вышел от сектантов или придуман интеллигентами-богоискателями.

Я смолоду не раздумывал над вопросом: есть Бог или нет? Бытовое православие было стихией. О вере особенно не рассуждали. Наступил пост, посильно постились, а потом радовались празднику. И праздники, понятие святых, церковные службы, поклоненье святым местам, обители, мощи, чудотворные иконы — все это озаряло и просветляло, украшало жизнь. Быт земной просвечивал небом. Я не рассуждал, есть ли Бог? Лет с семнадцати меня страстно занимала мысль: которая вера права? Старая, дониконовская, или «новая», в которой я крещен. И много лет сердце мое склонялось в сторону староверия. Жил я в северном городе, где народ вообще уважает старину... Много лет страсть к древней иконописи и к древнему церковному пению, любовь к старому обряду были моей жизнью, слабохарактерность (это ли?..) помешала мне перейти к старообрядцам.

Прошли годы... Род человеческий по всей земле стал терять Бога. Встает вопрос не о том, кто прав, католики ли, восточные ли наши, реформисты ли, а вообще вопрос о том, как под напором атеизма воинствующего уяснить себе и людям, что потерять Бога — лишенье роковое, ведущее к страшным последствиям для души человеческой.

Годы мои, беды да печали и меня с ног скачали. Я стал понимать, что такое «взыщите Бога».

А для многих, многих вопросы о Боге, о смысле жизни, о смысле страданий стали «устаревшими», отвлеченными. Эпоха-та трясет людей как лихорадкой, все вызнобила, выдула. Прокормить семью, вырастить ребят, «заиметь» копейку на черный день — это стало так сложно, что ни у кого на всякие вопросы и времени нет.

Когда вопросы о Боге, бессмертии случайно коснутся современного человека, то эти вопросы для него заведомо решены современной наукой. Есть ли теперь люди, или среда, где бы, как бывало, стали страстно спорить о Боге... Налетом холодного пепла покрыт этот «вопрос» и «эти вопросы».

А нет ли горящей искорки в этой золе?.. Есть! Ты, современный человек, равнодушен к «вопросам религии». Тебя даже раздражают «эти темы». Ведь наукой все доказано!

А тепло ли тебе или холодно, что «наукой» все доказано? И что это «все»?! Как ты ни строй каменное лицо, а люди вкруг тебя и везде по лицу Земли воют от скорби, от болезней, от лютой неправды, от равнодушия всех ко всем. Беги, хватай, рви, борись, грызись. Чуть ты ослаб, тебя стопчут, и нет тебе, слабому, милости... Наука, прогресс, цивилизация — эта «тройка удалая» безразлична к добру и злу. Ты уповаешь на «науку», ты козыряешь ее достижениями, уж не сознаешь, что пока что самыми показательными делами современной «научной» мысли явилась страшная военная техника, от которой, пожалуй, и древний Ад и Смерть содрогнулись.

Итак, если тебе не двадцать лет, если ты не кормишься от этих кровавых, палаческих, душегубных «наук», если ты кое-что выстрадал в жизни, ты не будешь уповать ни на технику, ни на физику, ни на химию. Ты скажешь: эти науки можно повернуть на пользу, например, сельского хозяйства. Ты скажешь: сейчас атомная бомба разрушает «грады и страны», а может быть, когда-нибудь ученые одним выстрелом вспашут десять га земли... Вот видишь, насколько слепо, глухо, немо, бездушно это чудовище: сейчас она в одну секунду стерла в кровавую жижу целый город, а завтра — какая радость! — завтра или через сто лет эта кровомесилка изготовит клумбочку под цветочки...

Ты скажешь: ну ладно, есть наука астрономия, например, она не убивает никого... Друже! Что мы будем перечислять предметы и дисциплины всех институтов и университетов?! Когда горе тебя возьмет да сердце зажмет, не помогут тебе ни телескопы, ни микроскопы. Ты опять скажешь: медицина помогает во многих серьезных случаях... Медицина нужное, необходимое и доброе дело... Но и микстура, и порошки, и капли — все до поры до времени в общем и целом. Врач телесный тогда в состояньи помочь своим искусством, когда дух наш бодр. Посмотри: как повально все подпали под душевные и нервные болезни. Стар и мал, и не только голодные и раздетые, а и сытые — одетые «ни весть с чего» поголовно болеют нервно-психически.

И вот у человека не стало внутренней жизни. Душа современного человека не томится «желаньем чудным». Это живая смерть. Это — живые мертвецы.

Но, может быть, под этим мертвенным холодным пендом есть живая искра?

Тютчев, который весь был «желанье чудное», говорит: «Растленье душ и пустота, что гложет ум и в сердце ноет... Кто их излечит, кто покроет? — Ты, риза чистая Христа!»

Есть в мире Добро — Бог, и есть Зло. В душу, в сердце, в мозг, оставшиеся без Бога, непременно входит зло.

Зло — дьявол пустил род человеческий в погоню за материальными благами, за земными почестями. Страшная эта бесовская погоня родит войны... Земля залита кровью... И...

слезы людские, о слезы людские,
неисчислимые, неутомимые,
льетесь вы ранней и поздней порой...

Бездушный, немой идол науки и прогресса» не отрет этих слез!..

Праздник сегодня у родимого Белого моря...

Родина моя!.. Еще и реки не распленились от ледяных оков, а уж веют горные ветры, шумят, падают ручьи. По заберегам у рек плавает гагара и чайка; и гусь прилетел, и серая утица. Еще плавают вкруг Святого Соловца тороса ледяные, но праздник восходит сегодня над островом, над его берегами и тихими озерами, как светлая весна...

Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься — это облечь и тело и сознанье в какой-то безрадостный траур. Мир никогда не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной.

Есть и такие христианские учения, которые толкуют, что монашество — это-де себялюбие. Надо-де оставаться в миру, помогать людям. Надо-де жить, как все, завести жену, родить детей. Надо-де, живя своим домком, проповедывать слово Божье. Будет у тебя... хозяюшка в дому, что оладушек в меду, и — тогда толкуй на полном ходу о Христе, о Голгофе...

Время показало, что мир сей самохотно и самосильно будет затыкать свои уши...

Помню, я еще подростком был, богатый рыбопромышленник Окладников тужил в разговоре с моим отцом:

— Поехал на Варзугу по семгу. Приворотил к Соловецким. на Анзеры на часок, да и прогостил там неделю. Каждодневно ходил к старцу в пустыньку. Избенко об одном оконце, на пню, что на курьей ножке. Гряда репы. На себе крашеная ряска — вот и все именье. Я говорю: «Не велико твое богатство, отче!»—«Больше твоего»,— отвечает. Посадил меня на порог избеночки своей: «Гляди!» Гляжу: тишина спустилася, ночь светлая, белая... Келья-та на горке, леса по увалам вниз сбегают, а наокруг, сколько глазом достать, морская гладь сияет. Вдалеке монастырь над водами белеет. И над всем, над всем несказанный свет небесный. И тишина, разве чайка крикнет, гагара сплачет, комар запоет... «Отче, говорю, у Вас целый день богомольцы толклись, Вам отдохнуть надо». Он смеется: «Изо сна не шубу шить. Зимой высплюсь. Миряне-то свои дела распутывать сюда ко мне приносят. У того с женой неладно; та детей жалеет; этого по службе обошли... Придут: «Отче, расчавкай с нами, как нам быть? Тебе с горы виднее». Я сам и с женой живал, и в чинах бывал, полсотни годов в такой ли суматохе вертелся... По убогому своему опыту, по совести потолкуешь с мирянами-то... Хлебца подадут, я ребятам отдам: зимою трудники — ребята молодые из монастыря прибежат дров поколоть». Месяц дома не был. Приезжаю: запутались без меня. Жена и старшие дети с сердцем с таким встречают, приказчики с недоуменьем — привыкли, чтобы я воз-от вез, впереди бежал... Доверенный в банке акции вовремя не продал — убыток большой; старший сын с певичкой гуляет, выманил у матери деньги и глаз домой не кажет; на Мурмане трески пятьсот пудов сквасили: суденко с солью непогоды задержали. К дочке, дурехе, актеришко подскакивает: невесть кто и откуда. Вот и скачи во все стороны, и рвись на куски... Что мне, что костюм на мне аглицкий, да к столу ренское подают... Кругом

пустые люди, и я с ними один пляс пляшу... Нету мира душевного, нету радости! Вспомню старца-то анзерского и всплачу: «Ох, отче, отче: насколько ты богаче, насколько счастливее меня!..»

В детстве, приплывая в обитель Зосимы и Савватия, любил я и дивился настенным изображениям из жизни преподобных... У себя дома я старался зарисовать соловецкую живопись по памяти.

Более новою стенописью, но по-своему очаровательною, и глубоко содержательною, соловецкие монахи украсили и прекрасную свою церковь в нашем городе «Церковь соловецкого подворья».

Когда «открыта» была Новгородская икона, отошли в сторону музейно-ювелирные представления о древнерусской живописи, существовавшие в России, скажем, до Выставки древнерусского искусства в 1913 году.

До тех пор почему-то с представлениями о древнерусском искусстве связывались или «фотографии Барщевского» (чеканка, орнамент), или «боярский стиль» (картины Шварца, Маковского и др.). Васнецов, Нестеров, «Абрамцево» подвели к «новгородской» иконе. И вот точно завеса упала с глаз: увидели и удивились. Увидели искусство как бы другой планеты. Искусство светлое, широкое, «простое», но как бы искусство иного мира, даже иного народа. Четыре столетия, отделяющие нас от XIV—XV веков, веков расцвета русской культуры, чрезвычайно изменили характер художественных восприятий народа.

Но не о древнерусской живописи собрался я сейчас говорить.

Новое, великое и чрезвычайно своеобразное искусство «новгородское» ведь одна из граней жизни той замечательной эпохи, столь отгороженной от нас. О той эпохе, или эпохах, мыслим мы или схемами и хронологиями учебников истории, или приходят на ум, если мы хотим представить живых людей, исторические романы XIX века: Загоскин, Соловьев, Мордовцев, также оперы: «Жизнь за царя», «Руслан и Людмила», «Чародейка», «Князь Игорь», «Борис Годунов», «Снегурочка»...

Историческая беллетристика и «историческая» опера XIX века могут быть сами по себе хороши, изобличая таланты авторов, но историческая беллетристика — это почти сплошная фальшь. Также картины Маковского.

Но я ушел в сторону. Все они, и романисты-писатели, и живописцы, включая Васнецова и Сурикова, и музыканты, включая Мусоргского и Римского-Корсакова, показывают нам XIX век, с середины которого началось «возрождение национального русского искусства» в живописи, и в архитектуре, и в музыке (только не в литературе), все они показывают только свое представленье о жизни и людях Древней Руси. И в этом их право.

Может быть, здесь в чем-то мы видим Русь XVII века, даже XVI. Но подлинного лика удивительных эпох «Новгорода», «Радонежа», «Андрея Рублева» здесь нет.

Теперь, после «раскрытия» икон, мы видим, какою была живопись, столь связанное с жизнью и бытом, столь почитаемое искусство.

Мы говорим: «Вот оне какия, эти жизненныя святыни наших предков! Какая она странная, и непонятная, и прекрасная душа наших праотцев, отобразившая себя в этих картинах на доске. Как все это, говорим мы, не похоже на привычные наши представления о Древней Руси...»

Итак, мы видим икону, то, что было прижато у сердца древнерусского

человека. Но в такой же яви, в такой же непосредственности и подлинности, столь же осязаемо и ощутимо мы не видим, как жил с этою иконою человек XIV—XV века. Лик иконы выдвинулся из глубины веков, а люди и дела, с которыми икона жила, остались в туманной дали преждебывших времен.

Жития русских святых, исторические документы, документы юридические, также эпистолярная литература Древней Руси — вот что, при умении видеть и слышать, может оказаться крыльями, которые перенесут тебя в ту эпоху и поставят тебя на ту землю, на те дороги, по которым ходит интересующая тебя жизнь и люди. В особенности важны «жития», как произведения фабульные, связные. Они дают картину яркую и подлинную. К великому сожалению, до нас лишь в немногих случаях дошли первые редакции житий, представляющие собою непосредственные записи с уст самовидцев и очевидцев.

Литературные вкусы XVII века, любовь к «краснословию» и «плетению словес» подвергла переработке драгоценные подлинники житий. И все же наша любовь и внимательность увидит там живых людей и живые дела. Историк Ключевский, как никто, сумел увидеть и умел показать живую эту жизнь.

Ночью, стоя под липою, люблю глядеть сквозь ее ветви на небо. Сквозь ветви небо кажется особенно близким и пасхальным. Летом дерево нарядится в пышные веники листвы. А сейчас так чудно на облачном небе нарисован узор ветвей. И тонкий рисунок кружевного плетения весь унизан и преукрашен крошечными крылышками младенцев-листочков.

Вчера слышал музыкальную эту «поэму» о Рафаэле, которого кардинал клянет за привязанность к Форнарине, даже сзывает народ, чтоб все видел, что натурою для прославленных мадонн служит художнику земная краса. Народ сбежался, кардинал отдергивает завесу с картины, только что оконченной... Музыка, рисующая негодованье кардинала, шум толпы, прерывается... пауза... И начинает звучать возвышенный гимн Царице ангелов, Таинственной Розе, Единой чистой и благословенной... Где там земные черты Форнарины... Божественный, исполненный царственного величия, но и кротости неизреченной, глядит на толпу, преклонившую колена перед великим созданием Рафаэлева гения. Восторженно молится чудному лику Богоматери и сам кардинал. В музыке и словесном сопровождении этой «поэмы» много оперно-итальянской ариозности, довольно слащавых и шаблонных эпитетов: «блаженство любви», всяких ахатей, но все же... хорошо!..

Иконы, почитанье икон, поклоненье иконам... Век я любил, чтобы лики святых были в комнате, никогда не прятал их, век теплю лампаду. Не так давно, придя от обедни, на что-то разгорячась, произнес перед брателком тираду. Что-де мне иконы! Доски и краски. Я сам их не одну сотню написал! Я-де Бога чту, а не иконы... Обедню-де, литургию божественную, когда-де ангелы трепещут и херувимы лица закрывают... А в эти страшные минуты бабы кучами лазают по церкви, толкаются к иконам со свечками, лижут-де иконы, стоя задом к алтарю... Священник возглашает: «Твоя от твоих...» Хоры поют: «Тебе поем...» А бабы гудят: «Какому там... мою свечу поставили?!! Я велела Ипатию, зубному целителю...» Старухи-де в обедню зевают, спят и оживают только тогда, когда заводится молебен Ивану Воину или об обретении украденных вещей. Какому-де образу молиться от

какой болезни знают, а насчет великих действований литургии — хоть кол на голове теши! Редко кто колена преклонит в момент пресуществления, а в целом толпа... не смыслит... и не спросят, и не поинтересуются!

Брателко меня выслушал и, помолчав, тихо сказал: «Иконы ругаешь... А я всегда готов приникнуть к лику Богоматери кроткому, скорбному...»

Братец у меня тоже запальчиво любит поговорить... И я подивился тону его слов — тихому, задумчивому.

Лик Матери Божьей на наших русских, заветных, старых иконах скорбный, милостивый, в сердце наше смотрит. Как же святой, заповедный этот лик не любить...

Когда в Европе началось столь справедливое и полезное увлеченье художниками раннего Ренессанса, Рафаэля многие похулили. От него-де пошла болоньщина, барокко и т.д. Для нас, восточных, правду сказать, далеко не все его мадонны что-нибудь говорят уму и сердцу. Хотя, например, «Мадонна в креслах», круглое «тондо», перешла даже в народную нашу иконопись под именем «Трех радостей». Картину эту копировали ростовские финифтяники (XVIII—XIX века). И все-таки это прекрасная дама с довольно холодным лицом. Но лик Сикстинской Богоматери (Дрезден) божественен. И несомненно, что великому художнику были откровения; конечно, душа Рафаэля касалась мира горнего.

Полна тишины и молитвы икона-картина Эрмитажная. Богоматерь как бы в мафории. Она держит молитвенник, в который смотрит младенец. Вдали весенний пейзаж...

С конца XVIII века русский человек навык молиться иконам западного пошиба. Но насколько сильнее радеет наше сердце к древле-преданной, родимой, завещанной от святых отец иконописи греческой и древнерусской! Прекрасный, скорбный, непостижимый лик Владимирской Богоматери — искони запечатлела этот лик Русь Святая в своем сердце, в сокровенных тайниках души народной. В лике Владимирской иконы русский народ искони видел идеал лика богородичнаго. «О, пречудная Царица, Богородица!..» — ликует песнь-тропарь, сложенная в похвалу именно этому лику. Сколько высокопоэтических сказаний, чудес, легенд сопровождают почти тысячелетнее пребывание на Руси этой заповедной нашей святыни. Былинный запев: «Высота, высота поднебесная! Глубина, глубина, океан-море!» — просится на уста, когда встанешь перед Владимирскою иконою и взглянешь в Ее лик. И тут дрогнет сердце и встрепещет благоговейным восторгом: «Перед этим самым ликом изначала своего бытия молилась и плакала Русь моя...»

Высокое выражение скорби в иконах Богоматери навсегда полюбил русский человек. И в бесконечных пространствах России, в деревнюшках, затерянных среди дремучих лесов, всегда увидим мы умиленный и скорбный лик «Заступницы Усердной».

Русская народная молитвенная мысль чтит Богоматерь, как «в скорбях и печалях утешенье». В любимых и заученных народом песнопениях богородичных непременно встречаем: «Молений наших не презри в скорбех...», «... перед пречистым Твоим образом со слезами...», «Не имамы иныя помощи, не имамы иныя надежды...», «Призри благосердием, всепетая Богородица... исцели души моя болезнь», «Душу мою помилуй, благая!..», «Притецем, людио, к тихому сему пристанищу...», «Моленье

теплое...» Наконец название одной из любимейших икон: «Всех скорбящих радость».

Идея «Богоматери Умиления» и «Богоматери Скорбящей» слилась в русских иконах воедино.

Древнейшая византийская иконопись изображала Богоматерь в царственном величии (мозаики), сидящею на троне, стоящею с воздетыми руками —«нерушимая стена». В течение многих веков и западное искусство, находясь под обаянием греко-восточной культуры, следовало типу византийских икон. Итальянская живопись раньше других стран Европы начала придавать изображениям Святой Девы земную «человечность». Что дальше, то больше западную религиозную живопись в изображении Богоматери занимает тема «матери и дитяти». Здесь зачастую нет не только «догматичности» греческих икон, но нет зачастую и ничего возвышенного, никакой глубины. Тут просто миловидная дама с пухлым ребенком. Сзади помещается пожилой супруг (Иосиф).

Мадонны Мурильо, мадонны Болонской и т. д. школ — это салонные картины. Святая Русь не могла молиться этим приятно-сладким картинам...

Древняя византийская иконопись отличалась торжественностью, монументальностью. Но вот перед нами станковые иконы XI—XIII веков. Уже здесь мы видим тип богородичной иконы «Умиления». Ошибочно утверждали исследователи, что Италия из учениц Византии превратилась быстро в ее учительницу, что Италия внушила нежность и лиричность типа Пресвятой Девы. Византия самостоятельно переживала свой Ренессанс в XI—XIII веках.

Как бы то ни было, «умиленность» ранней итальянской иконописи к XVI веку перестала отличаться от типов светской живописи.

Западные изображая Св. Деву с младенцем, изображают семейное счастье. Тем более тут всегда присутствует и Иосиф. У нас обручник на иконах Богоматери не изображается. А Она, Царица Небесная, глядит с иконы, как бы привидя страшные грядущие судьбы рода человеческого. И отрок, припадая к лицу Матери, как бы стремится утешить Ее.

«Когда на земле дети мать обижают, на небесах Матерь Божия горько плачет»,— говорит русский народ.

Два дни ненастье с дождем, вчера и со снегом. Однако бульвары, палисаднички городские приоделись в тонко-прозрачное, нежно-зеленое кружевцо.

Дождь с ветром, ползет трамвай бульварами. А в окна на фоне серых домов, как нежно- шелковая кисея — весенние деревья. Потом все закроется махавками листьев, а теперь не налюбуешься досыта изящным рисунком сучьев и веточек, приубравшихся в нежную прозрачность весенней зелени, как невеста под венец.

Есть книга для юношества: «Чудеса природы». Изображены огнедышащие вулканы, ниагары, пропасти, баобабы, фундуклеи, карликовые деревья, одним словом, что чуднее. А истинное чудо природы, на что надо учить детей любоваться,— это благоуханная нежность клейких листичков, вербных барашков, барашков сначала серебряных, потом золотых. Надо, чтоб дети почувствовали красоту белой весенней березки, как невеста украшенной сережками.

Вечно меняющееся весеннее небо нашей Руси... никогда не устанешь на него любоваться. ...Узорно, как бывает только весною, серебрились

облака. Легкий узор открывал два глубоких синих просвета: с юга и с запада. В южное окно строго и молитвенно, как одинокая свеча в храме, теплилась яркая звезда. В окно с запада сиял серп месяца.

То ли не чудо, этот «блакитный» терем во все небо. И два узорных окна в голубую бездну. И два света небесных — звезда и месяц, поставленных на этих окнах светить Земле. Древнерусские художники видали и запечатлели для нас такое небо...

Долго не гаснет тихость апрельского вечернего неба. Но под домами назойливые мелькают суетливые электрические огоньки. Как мыши, блестя глазками, шмыгают вдоль бульвара машины. А подымешь лицо: над верхушками весенних лип, над городом — тихая заря, а с востока, где небо смерклось к ночи, стоит месяц...

Вспомянул Сергия Радонежского и обрадовался...

Отщепенцы, гордясь и надмеваясь, называют себя «духовными христианами». Эх, не форси, сектант, в пустом-то кабаке, без денег-та! Немножко поучись да подрасти, приникни к истории Церкви... Сергий Радонежский не духовен?

И что есть та духовность? Поразительное дело! Все отходившие от Церкви люди не понимали искусства. Им чуждо чувство красоты. Лютер, Кальвин, всякие реформаторы, наши сектанты довольствовались кодексом прописных моралей, а в сущности, были заядлыми рационалистами. Недаром католические апологеты говорят, что из-за спины Лютера выглядывает антихристова физиономия Штрауса.

Помянул Сергия Радонежского и возрадовался...

Блаженное искусство Святой Руси чудно помогает нам (и не достигшим каковы-либо меры преуспеянья духовного) жить с Сергием и радоваться о нем по нашей малой мере. Посети Радонежскую землю. Ты увидишь холмы то покрытые лесом, то пашнями. Узенькие реки отражают серебристо-облачное небо... Если ты любишь Сергия, любишь Святую Сергиеву Русь, мысленное око твое радостно увидит и Его: с деревянным ведерышком Он подымается в гору, серебряные капли падают на сухую глину. Вот Он поднялся на взлобье холма, поставил тяжелое ведро на землю и глядит в долину: леса без конца, синяя даль сливается с небом. Сергий тонок и изящен станом, но плечист. Лицо его постнически бледно, но лик ангела едва ли может быть столь же прекрасен...

Сейчас игумен любуется лесною прекрасною пустынею, что бескрайно простерлась у его ног. Но сердце Сергиево непрестанно молится, и от непрестанного действия сердечной молитвы эта непостижимая вдохновенность лика, этот серафический божественный пламень в очах в час литургии: «Сергий причащается огнем».

Весенние грозы трепещут временем в светлом лике игумена Радонежского. Когда игумен совершает литургию, он бывает весь как серафим пламенеющий. Это видели, знали и засвидетельствовали ученики святого. Но богомольцы простые, но дети чаще видели простое, благостное, умиленное лицо игумена. С ласковой улыбкой благословлял он ребенка и давал ему деревянную птичку-игрушку.

Разум, волю и власть и грозу видели в лике игумена, власть и грозу слышали в Сергиевом обличительном слове князья, готовые изменить общему русскому делу в борьбе с татарами.

Из нескольких избушечек состояла обитель Сергиева при жизни его. В посконной сермяге ходил игумен, а праздничная иерейская его фелонь-риза была из деревенской крашенины. Ходил в лаптях, лучина, дымя и треща, светила в церквице, которую сам же Сергий и срубил. Но великие князья и бояре, военачальники падали ниц, в землю кланялись «нищему игумену нищей обители». Таково было сияние святости, всепобеждающая нравственная сила, духовная красота, нравственная чистота, таково было блистание разума в слове и совете Сергия. Уклоняясь от всяких почестей в убогой своей дремучей пустыньке, Сергий был (и остался на все века) совестью Руси. Такова была моральная сила, нравственное величие, обаяние личности радонежского пустынника, что пред ним склонялись и праведного его гнева боялись земные владыки, воины-князья.

Когда орлиные очи сего Ангела-Хранителя России закрылись на земле, когда он стал небесным заступником народа русского, могущество Сергиева имени засияло еще ярче. «Как печать положу тебя на сердце своем»,— сказала Русь своему возлюбленному отцу.

Сергий Радонежский... наша весна, вечно юнеющая, благодатное утро Руси Святой, наше возрождение, наша радость неотымаемая! Блаженное имя Сергиево как весенний цветок распускается в сердце, озаряет ум, окрыляет мысль. Сергий преподобный, заря русская, звезда утренняя. Имя Сергиево, освящение ума, радость мысли, сияние памяти, веселье духовное...

Я не ждал, не гадал, а братишечко мой управил мне летнее пребыванье за городом, вблизи леса, в хорошем доме. В глазах вся красота небесная. Рядом лес-«заповедник». Войдешь как в церковь: тихо, листва шелестит, в светлом сумраке птицы посвистывают... Думаешь: во сне видится. И комната светом налита до самой ночи. Я давно отвык в таком сияньи жить. «Не к роже кокошник...»

Печаль неизбывная на сердце. Никак я не вправе «благорастворением воздухов» услаждаться. Братишечко мой здоровьем добре хрупок, и неисходно у меня в сердце слеза дрожит. Не о том, дак о другом прискорбно.

Он побежит в Город-то: «У тебя цветнее лицо стало, я рад. Ты поешь без меня. Ты в лес-то сходи». А сам как травинка, колосинка тонок да трепетен.

Причитать-то я мастер, только делом пособить меня нету.

С брателком вычитали мы ряд исследований — Милле, Диль, Айнагов, Покрышкин и др. об искусстве Сергиевой эпохи на Руси, о византийском Ренессансе XIV века. Все вот думалось: XIV век, дремучая, лесная Русь... А на самом деле — какая культура расцветала по Европе восточной и западной! Готика, ранний благоуханный Ренессанс, Джотто, эпоха Палеологов, Феофан Грек, Рублев. Не примитивы, а блестящие вершины, завершения прекрасного константинопольского тысячелетнего искусства. Чудные цветы христианского искусства Малой Азии, Балканских стран, перенесенные на Русь в эпоху Сергия Радонежского...

Эпоху преподобного Сергия можно мыслить только в аспекте золотых, блистательных зорь античности и эллинизма.

Ясно и известно, что простотою несказанною сиял быт Руси XIV века. Но на северных реках, в дни моего детства, еще сравнительно мало затронутых машинною цивилизацией, я навидался этой «простоты» и «первобытности». Поистине изысканна и антично прекрасна была «простота» предметов обихода и быта. Особенно поражала эта «античность» по верх-

нему и среднему течению р. Пинеги. Срубы домов, громоздящиеся над водами, утварь, промысловые доспехи, одежда, обрядность ежедневного обихода, ритм жизни, украшенный как жемчугом древнерусским образно-поэтическим словом, словом творчески чудесным не только в песне, былине и сказке, но и в живой, обиходной речи.

Резьба и расцветка в древнем архангельском доме применялись очень скупо и редко. Здесь поражала красота архитектурных пропорций. Богатырские косяки дверей и окон, пороги, лавки, пропорции углов, все это золотое царство дерева, голубизна еловых полов, резоватость лиственничных стен... Часами хотелось сидеть в этой сказке...

В ходу была самодельная деревянная посуда — ступы в средний рост человека, ендовы, братыни, солоницы в виде птиц и коней, также самодельные чашки, ложки, ковши... Все поражало изяществом форм. Бывала и оловянная и медная посуда. Все поражало изяществом линий, изгибов, скромным аристократизмом украшений.

Одежда была домотканою — полотна и сукна. Но льняные полотна были тонки и изящны, как шелк. Посредством деревянных вырезных досок крестьяне умели наносить узор на полотно, и набойки эти оставляли чарующее впечатление драгоценных восточных аксамитов и «хрущатой камки».

Краски добывали сами из земли: охра, мумия, белая глина; или же растительные: из ольхи, осины, из коры других пород.

«Бедность» древних храмов была такова, что и медь и олово были роскошью. Подсвечники и все сосуды, включая святой потир-чашу, все было из дерева. Кадильница глиняная, фелони и стихари из полотна, но льняная фелонь сияет краше шелка, складки ее приведут в восторг Фидия, оплечье, набитое вручную, богаче «рыта бархата». Древние, иерейские литургийные пояса, свисающие кистями до полу, выпрядены из крученого, неокрашенного льна. Но сама Византия подивилась бы изяществу этих посконных пряжек и кистей. А венцы для брачующихся из бересты. На простом ободке расцветает ряд как бы «королевских лилий». Аристократизм формы этих венцов совершенно удивителен.

Так что вот, изящество, красота, аристократизм, тонкий вкус, культура предметов обихода-быта не зависят от материала. И когда я помышляю о скудости и бедности первоначальной Сергиевой обители, я в то же время знаю, что этим деревянно-посконный обиход, с точки зрения нас, художников декоративного искусства, этот обиход Руси XIV века был высокохудожественным, прекрасным, преисполнен высокой художественной культуры.

Прочитывал антологию греко-римскую. В сущности, эротические стихи Овидия, Лукиана, Марциала, Пентадия, Лукреция и др. Звенящая, как бронза, латынь. Язык — музыка...

Нарцисс, Гиацинт — все эти исполненные ароматом и свежестью весны мифы Эллады, оживляющие, обожествляющие природу, как обаятельны эти вечно юные сказки, вернее, это миросозерцание.

Эллин видел природу живою, разумною, обожествленною, и это великое и насущнейшее знание во многом искупляет и покрывает зачастую чувственно-мутное «эллинское баснословие», позднейшую греко-римскую нагроможденность мифологии.

После жары неделю дул норд-вест; было холодно, но дождь перепадал редко. Последнее время опять солнечная летняя погода. Картофель поправился, но хлеба по многим местам сгорели. Год, слышь-ка, будет неурожайным...

Мне только бы радоваться: в хорошем доме, среди хороших людей поживаю. Посиживаю во спокое на вышке, что в ласточкином гнезде. И столько неба наокруг, то лазурного, то облачного, не наглядишься, не налюбуешься. Да заболела сестренка. Чахнет в больнице. Душа ноет, ведь сестра единственно кровный последний человек, что на земле остался. Я не заботился о ней. А мы вместе выросли, там, на родимом Севере.

Как мне отдыхать, когда и брателко мой крестовой, по милости того, что я, как печь, из избы ни шагу, и он до краю дожил, исхлопотался, избегался, ему пых некогда перевести. Он и в Город бегом, и из Города бегом, и дома как волчок. Надо копейку добыть, и купить, и приготовить. Мне и тарелки не даст вымыть. В лес погулять да на небо поглядеть — только и есть моего дела. Брателко к ночи домой прибежит, евши — не евши падет на постелю, я ему и рассказываю про птичек (у нас на балконе ласточки живут), да про облака, и он вздохнет: «Как хорошо... а у больницы сегодня (где у нас сестра лежит) инвалиды костылями дрались, а у булочной бабы сумками дрались...»

Больше месяца была засуха-то, потом с дождями зажили. Теперь ден пять ежедневно дождь да и с грозою. С утра, с четырех часов, солнышко в беленькой дачной нашей комнатке. Не могу нарадоваться утренней ранней поре, всхожему красному солнышку. На балкон двери, полы, и что сияния по стенам и на полу. А по обеде облаками небо возьмется. Точно перламутр самосиянный.

Воды здесь нету, речки никакой, отражающей небо. Вода — благодать. Но небо, лазурное ли, облачное ли, ведреное ли, дождевое ли, оно покоем покрывает сердечную печаль и воздыханье.

Вот не было дождя недель с шесть, и пылью взялись поля, гряды. А стали перепадывать дожди-те, и — не узнать, как все позеленело, от леса дух идет приятный, легкий...

С утра дождило, за полдень дует сырой ветер. Ровно — облачное небо, любимое, пасмурное глядит в большие окна дачного дома; над рощею за картофельным полем кричат вороны. Брателко уехал в город (выдача в магазине, рынок, аптека...) Мне нездоровится. На столе цветочки и керосиновая лампа с абажуром, каких я не видал лет сорок... Взял томик Чехова и нашел рассказ удивительного проникновения, разительной действенности, удивительной тонкости... Сюжет удивительного этого чеховского рассказа несложен. Холодный, ветреный вечер страстной пятницы. Лужи подернулись морозными иглами: непохоже, что послезавтра Пасха. Студент Иван Великопольский, возвращаясь с тяги, греется в поле у костра и рассказывает караульщикам евангельские события сегодняшней ночи... Протягивая к огню озябшие руки, студент говорил, что точно так же девятнадцать веков назад грелся у костра Петр... пустынное поле, одинокий огонь... Взволнованная речь юноши, слезы баб-караульщиц... Потом студент опять одиноко шел домой. Был близок холодный рассвет, на горизонте резкой полосой глянула заря. Ветер морозил пальцы, но в душу юноши пахнула неизъяснимая радость...

«Студент пожелал вдовам спокойной ночи и пошел дальше. Наступи-

ли потемки, и стали зябнуть руки. Дул жестокий ветер, в самом деле возвращалась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха.

Теперь студент думал о Василисе: если она заплакала, то, значит, все, происходившее в ту страшную ночь с Петром, имеет к ней какое-то отношение...

Он оглянулся. Одинокий огонь спокойно мигал в темноте, и возле него уже не было видно людей. Студент опять подумал, что если Василиса заплакала, а ее дочь смутилась, то, очевидно, то, о чем он только что рассказывал, что присходило девятнадцать веков назад, имеет отношение к настоящему, к обеим женщинам и, вероятно, к этой пустынной деревне, к нему самому, ко всем людям.

И радость вдруг заволновалась в его душе, и он даже остановился на минуту, чтобы перевести дух. «Прошлое,— думал он,— связано с настоящим непрерывною цепью событий, вытекающих одно из другого». И ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся до одного конца, как дрогнул другой.

А когда он переправлялся на пароме через реку и потом, поднимаясь на гору, глядел на свою родную деревню, а вдали узкою полосою светилась холодная, багровая заря, то думал о том, что правда и красота, направлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и вообще на земле... и невыразимо сладкое ожидание счастия, неведомого, таинственного счастья, овладело им мало-помалу...»

. Сколько есть «пасхальных» рассказов с настроением: «вербочки», «12 евангелий», «заутреня пасхальная», «куличи», «звон»... Но Чехов, без этих, пусть заветных и обаятельных аксессуаров страстной и светлой недели глубоко-правдиво, как бы оголенно и даже безотрадно показал русскую раннюю весну, мартовскую или апрельскую холодную ночь с замерзшими лужами... Но радость как острие ножа, разверзает завесу скорби, и завеса распахивается от верхнего края до нижнего. И радость топит душу человека в такие именно русские предвесенние рассветы...

Я пишу, ведь не учу и я не выдумываю. Заношу в тетрадку то, что становится для меня ясным, что в моих мыслях высветляется для меня. Вынашивая «свою веру», сам с собою об одном и том же и беседую. Все «зады» твержу, чтобы вперед-то надежнее ногу поставить...

Хромому да подслепому, всякой шаг мне затруднителен. Вот и сижу я у оконца в Городе ли, в деревне ли, справив малую порядню домашнюю (пол вымести, самовар согреть...), сижу и гляжу я на небо. Меняется оно ежеминутно — туча накатится, облака пройдут грядою с просветами. Вижу я лик неба выразительным, многоглаголивым. В зиму ли, в осень ли, весною ли, особенно выразительна и беседлива блакитная пелена небесная...

Лик Земли человек может испохабить и измертвить (в какой-то степени). Но до лика небесного человеку не доплюнуть. Погляжу на землю: там, где в прошлом годе был лес или поле с цветами, там сей год казарменные корпуса химзавода... А подыму лицо вверх, и небо все тот же любимый лик ответно и мне поглядит в мои мысленныя очи. И то знаю: какова эта ненаглядная, серо-жемчужная таинственная пелена бывала тысячу лет назад, такова эта переливная жемчужность и сейчас. Каковым

это небо соглядал Сергий Радонежский, таковым лик заветный, блакитный вижу и я, нищий.

То мне по уму, то мне любо с облачным-то небом, что, урвавшись на минуту «от дел», выставишь рожу свою несчастную в небо-то, оно кряду и положит тебе на сердце слово тайное и заветное, надобное, будто рука протянется нежным мановеньем. Я и дождливое, ненастливое небо люблю, когда и лес-от дальний туманцем потянут, и вороны мокрые сидят на изгороди. Очень уж с тихим ненастным днем мне душевно и понятно. По городским улицам люблю в дождь: точно я с приятелем хожу.

Видно, осень заводится: бухает ветер, облачно весь день. Скрипят окна-двери: напоминает родину с ея морскими ветрами. Отемнало, ударил мелкий дождь...

С утра, при тусклом солнце, зажундели мухи: подумаешь — лето. А по обеде опять затянуло дождичком.

Жизнь с природою — телу здравие и душе веселие. Однодумно надо жить с нею и поступать. Надобно знать и переживать, дождь ли идет, ветер ли, непогодушка — ты слушай, люби. Первый снег напал, ты празднуй, как дети-те об этом празднуют. Хиреет творчески человек, изолировавший себя от жизни природы, от времен года городским комфортом. Надо чувствовать, надо любить, надо переживать времена года.

Смотри-ко, как вместе небо с землею. Как земля живет и дышит, как зависит от неба. Я говорю здесь о дождях, о снеге, о ветрах... Лес, поля, вот эти кустышки, травы, глинистые дороги с глубокими колеями, с дождевыми лужами, стаи галок, ворон, то прилетающие, то опять исчезающие куда-то,— как все это связано с временем года, с состоянием погоды...

Уж таково-то душевно и душевно насытил я сей год свое сердце «небесьем» осенним, величавым, среброоблачным. Осень подошла величавая. Вечерами, по залесью, туманисты дали. Застегнувшись да шапчонку нахлупив, посиживаю на улице, поглядываю. Что же я так рад приходу осени? Или она мне по нраву, или я ей по душе?

По горизонту то ли облака земли касаются, то ли мать-сыра земля туманы возносит... Обвечерело, суморок опустился, в перелеске галки на сон гнездятся, еще тараторят. Не наговорились за день-то... А се и писать не видно. Далеко на огородах костер замигал...

Я трепетно обожаю предначатие весны. Но весна для меня — «невеста неневестная». Душа моя молится таинственной поре — времени марта...

Осень приемлется в иных переживаниях и настроениях. Когда поля сжаты и побурели, леса оголены, дороги блестят лужами, ветер гонит по небу серые облака, утро туманно, а ночью стучит в окно дробный дождь,— кому желанна эта пора? А мне она люба и желанна. Потому что никто ее у меня не отымет, никто не станет оспаривать. Я сватаюсь на осени, и она идет за меня. Венчаться, венчаться надобно человеку с природою, с временем года и жить вкупе и влюбе.

Роскошь фетовской весны, май, соловьи, ахи и вздохи под черемухой душистой — этому я не пайщик. Не станет меня с это. Ну и «золотая осень», олеографичная: на нее все зарятся. Я люблю рисунок мокрых сучьев и веток на фоне серого неба «осени поздней».

Семен-день — летопроводец. К полдню солнышко подтеплило, а чуть ветер — и холодит. В ночи, к рассвету, все же дождь перепадает. Грязей еще нету, мы и отдуваемся, не торопимся в город.

Голова опять худа и дурна. А и сквозь худость, краем зрения не могу не поглядеть, нельзя не похвалить тихости осенней, небесной. Как же оно просве́тло, как же оно радостно, осеннее «серенькое» русское небо! Вот у кого был бы дом или палата, крытая перламутровым куполом. И светлая радужность этой кровли все бы время менялась. Уж как бы любовался хозяин, купно и все приходящие таковым чудом! Ты скажешь: в сказках есть наврано тех чудес. Нет, не наврано, не мною затеяно. Воочию всякой день и всякой час гляжу... эту красоту...

Сейчас над лесом продольно собрались облака-те, легкими рядами, нежною позолотою проложены. Любуясь, душу-мысли свои омываешь. Коль оно любо, коль желанно гляденье это, коль несытно, коль доброзрачно!

Высота поднебесная, широкая даль так и льется в душу, что купелью душа-то чистится. Свободно да вольно ей. Дыхание долгое, глубокое. А в городу, в кирпичах да в людях зажат, разве вздохнешь вольно да свободно!

Блуд, как его поэты ни называйте, как его художники ни преподносите, блуд, жадность эротическая, разнузданность чувственная есть, во-первых, рабство и слабость, во-вторых, дело растленное и самоубийственное...

Знал людей талантливых, одаренных, ярко чувствовавших всякую красоту. Как дети в дорогих игрушках, как гурман в изысканных яствах разбирались, рылись, лакомились, хвастались и величались они и «Русью Святою», и «сладостью церковных книг», и «отроками», и «ладаном», и «Николы», и «в совокупленьи ... корчится с отроком бес...».

Ежели божественный Павел вопил, что: «дадеся в плоть мою ангел сатанин», то он, великая душа, позорил этим себя, унижал свое сознание. Видя над собою, против своих подвигов милость Божию, преклонял свою выю долу «ниже всей твари».

А вот наши «певцы и художники» данного им в плоть «ангела сатаны» несут или несли как знамя, несут, красуясь и любуясь собою.

Конечно, всеобъемлющая душа наших поэтов шире и поместительней «всего этого». Поэт всюду ищет лишь того, что ему приятно и нравится. Безмятежно он «играет неиграемым». Православие, староверие, хлыстовство и ... надо всем «пламенный дуб у Федота в ночи, на печи...».

Но самоубийственно услаждение плотское, ежели оно культивируется как «искусство для искусства».

Хмель пройдет, и горько проснувшемуся пьянице видеть «свою бороду и ус в блевотине», как говорит Аввакум.

Чувственная страсть, цель которой наслажденье, как друг неверный и корыстный, непременно выдаст и предаст человека в позор тоски и разочарования.

Не хулю плотской любви. Упоение ею красит и венчает молодость. Страстность любовная свойственна молодости, как раз ее аромат.

Но сия вся «пета бяху». Кто же не знает, что молодость прекрасна и любовь упоительна?

Горе в том, что прекрасностям этим не видится границ. То, что благословенно и благоуханно в свое время и на своем месте, превращается в раз-

врат. Уж у плоти-то и силенок не хватает, а распутное воображение без конца напущает ее на упражнения, которые тем жальчее и напраснее, чем старше человек.

Эти мои, вероятно, прописные рассуждения вызваны ярким впечатлением: на днях была у нас в гостях молодая чета, муж и жена, принесли с собой и младенца, сына-первенца. В обоих неизъяснимый трепет весны, и утра, и вместе с тем зной и расцвет... Нам, поэтам, есть над чем тут распустить слюни и распалить наше болотистое и расслабленное воображение...

Что же юная пара, которую мы исступленно призываем «заголиться и обнажиться» ради всеобщего любования, что же юные Адам и Ева не слушают нас?! Она только что покормила грудью трехмесячного сына. Чадышко спит... Свет чистоты, сияние непорочности, блаженный великий мир в личике столь малого детища, в трогательно сложенных ручонках. Оно только что гукало, чмокало соской, махало крылышками. И вдруг оно успокоилось. Вечная святость младенчества опочила на нем...

Муж и жена, юные, нежно обнявшись, склонились над своим сыном, и тихий свет чистоты и мира непорочного, озаряющий дитя, отразился и дивно сиял на лицах его родителей.

И по моему лицу, лицу старой сморщенной обезьяны, прокатилась умиленная слеза; и не то где-то в небе, не то в моем убогом сердце пел кто-то слова апостольские:

— Брак чист, ложе нескверно... Тайна сия велика есть...

Погодка стала строптивиться. На дню-то и дождь не раз пробрызнет, и ветер со всех румбов, и солнышком с краю поманит. Облаки все уж по сезону: с темной подкладкой. Холодное сей год «бабье лето»...

Отвык давно от этого ощущения счастья. Душа, точно беспокойная, бесприютная, безнадежная птица нашла родимое гнездо. Есть ли большее счастье, как улучить, обрести это единство, тождество своего душевнаго устроения с душевным состоянием природы? Не сады, не парки, не луга, не нивы... Заунывная равнина. Ухабистые глиняные дороги. Изрытые и брошенные поля. Молчаливо, согняся под мешком картофеля, опираясь на лопату, пробредет человек — и нет никого. Над молчащею равниною низко склонилось облачное небо. Быстро опускается вечер. Редкие корявые сосны вдоль дороги теряются вершинами в сумеречном небе. Печаль убогих полей, пустынность дорог, одиночество этой равнины... О, любимая моя царица-бедность.

Говорят, душа не хочет расстаться с телом, тогда начинают петь и играть гусли. И душа птицею устремляется на этот зов.

Я увидел, узнал, нашел себя бесконечно своим этой заунывной осенней заре, бесприютности этих вечерних полей и дорог. Душа находила свое, она летала, как птица; сладко ей было пребогатое молчание заунывных далей, безглагольных дорог. Никакая музыка не бывала столь вожделенной, никакая песня столь родимой, ничто не звало душу столь властно. Давно не слышал я столь родимого голоса и зова, каким позвал меня этот осенний пустынный вечер.

На западе, низко над землею все время сияла широкая, как река, лента зари. Ее немеркнущее золото было как обещание, как победа. И радость единства убогой души с бедною природою венчалась венцом надежды на счастье таинственное.

В Богородицыно Рождество перебралися опять в городское свое пребыванье. А се я и не тужу. Оконца ладим чинить. «Уж небо осенью дышало. Уж реже солнышко блистало. Короче становился день...»

Дня два сухо. Ветер гоняет по переулку желтые листья. Брел переулком, а листы, сухо шелестя, летели с лип и берез; шурша, бегут по дороге. Серые дома, серые мостовые в строгом, ровном свете дня.

Близятся зори Сергиева дня. В тихости великой сердечной надобно расслушивать, встречать сладкую музыку преподобнической славы. Надобно, чтобы твое сердце, о человече убогий, пело славу Преподобному, а ты бы внимал себе, радуясь. Ведь «царство божие внутри вас есть». Но подслепа нищая моя душа: худо разглядывает зори своего счастья, туг я на ухо: недослышу жизнеподательнаго рокота радонежских гуслей.

Душа моя, сознание мое что захламощенная кладовка. Ежели и бывало что доброе, надобно выискивать, рыться во всяком соре и мусоре. Вся моя «вера» построена на песке. Во мне одна только любовь к «светлым настроениям» и погоня за этой настроенностью. Мне непременно нужна соответствующая «обстановка». И горе тем, кто срывает «светлую» мою настроенность. Пропадай все, а я выколочу, выполю и вымещу вам за то, что сдернули меня с любимого конька.

Безусловное и позорное отсутствие «дел веры» способствовало тому, что жизнь моя, существование мое, поведение мое закопились «делишками» мусорными, грязными, жалкими. Камня я не подмостил под себя. Вот и порывают душевное мое состояние всяческие ветры. Стоит дохнуть противному ветру, и все мои настроения облетают, как одуванчик. Опять остается голый стебелек.

Будучи такою «мимозой», я и гоняюсь за тихостью природы. Я гоняюсь за покоем. Потому, как сказано, он и бежит от меня. Всякое отсутствие сильного характера и воли, при наличии беспутной самочинности, привели меня к такому жалостному устройству.

...Ведаю, что «внутри нас царство», что счастье это, радость сия в нас. Но великое сокровище это подвигом великим добывается. А я, губы распустя и расшеперя лапы, век свой проболтал. Эта дума есть богатство-то схватить, а только бы без труда.

Настал и прошел день преподобного Сергия и день Савватия Соловецкого. А я молол на житухиной мельнице. Мелева было много, а помолу нет.

Празднична работа впрок не идет.

С вечернею зарею кануна праздник-от придет. И самый день до вечера праздник стоит. Можно бы уму и сердцу «упраздниться» на мал час... Можно бы ухватиться за край ризы не Сергиевой, дак Савватиевой. Но подсунет лукавый спешку «деловую» именно на эти дни. И ум-от уж не златую праздничную нить, а пропыленную паутину из угла на свое веретено сучит.

Умишко-то о «делах» тревожится, как мячик под прохожими ногами, катается мысль, и устанешь ты этот мячик к месту прибирать... Знаешь, что праздник и свет сегодня, и сердце-то спросится робко: «Припасть бы к преподобническим ногам, очень-де лик-от светел у святого...» Но недол-

го прядется светлая златошелковая нить. Боязливо обрывает ее унылое веретено сознания. Снова и снова наматывает свой привычный, будничный шпагат.

Северное серебряное небо. Ряды за рядами волны с белыми гребнями. На лодье плывет преподобный Савватий. Морское поветерье шумит в снастях. Святой стоит на корабельном носу, глядит в безбрежную даль, в даль веков... Ветер играет воскрылием мантии.

«... чтим святую память твою...» Уж нету времени, годов, дат живших, умерших поколений... Все то же небо, и те же волны, те же белые пески, тот же ветер дует сегодня, что и век назад. Вечность вечно юнеет. И сегодня, сегодня ходко бежит корабль преподобнаго Савватия по морю Соловецкому...

Осень чудесная стоит. Опавший лист у оград, у заборов. Уж мало его на деревьях. Не застит света тихаго вечерней зари купа дерев, что против моего окна... В шесть часов уже не видно писать и у окна.

Дни сухие, солнечные, с холодком: редкий год так об эту пору. Сегодня вечер ясный, с праздничною вечернею зарею.

... Не могу забыть: вчера, на ветру, в сумерки, на людном перекрестке стоит плохо одетый, нестарый человек и продает букет — пучок опавших листьев, каких много под ногами... Видно, нечего больше продавать. Но никто не глядит на эти «цветы». Может, он и не ел сегодня, этот человек.

А сегодня по обеде вот как дунул север да со снегом (на мал час снег-от и в первый раз), дак без дела и не усидишь на улице. О, как бы я любил в деревне и зиму, и весну встречать. Однодумно, единосмысленно с природою пожить.

В вечерню над домами, над крышами надходили с холодным сиверным ветром снежныя тучи. Падал снег с мокром. Но на западе все время блестела сильным опаловым холодным светом низкая заря. Заря блестела низко меж чернеющих домов, отражалась в лужах. Забелели крыши...

До вечера я бродил, дышал настроением осени в этих старых переулках. Везде вставлены окна, подоконники проложены ватой. Приземистые дома, спешат люди...

Я как-то... уж не любуюсь, не наблюдаю «осенний» пейзаж, а сам себя чувствую частью такого пейзажа.

Китеж, светлый град упования твоего, глубоко утопи в заветных тайниках души. Подальше положишь, поближе возьмешь. А не делай из своего упования, из своей «веры» лавки. Тогда уж, хочешь — не хочешь, будешь сидеть да торговать. Будешь сидеть как на ярмарке. Притом из тысячи, может, одному надобен твой товар. Остальные будут тебя тягать, что непоказанным товаром торгуешь, иные вразумят тебя, что давно вылинял или выдохся твой товар.

Кто Христа на базар ходил продавал? — Только Искариот. Упованье наше Христос. Кто его взыскует, не по базарам тот ходит.

Вера — невидимый град Китеж, озеро Светлояр, тайная тайных нашего сердца. Пусть подземный сей родник питает твою сердечную мысль. Не делай упования твоего фонтаном на площади.

У тебя полет орла, а у меня воронин. Ты поешь соловьем, а я грязной воробей из-под худой застрехи. Ты лев, а я заяц.

Ознобно ветр прижал к земле травы и цветы. Зиме время быти. Напрасно вы, цветики, головки подымаете. Не время красоваться, не время величаться наружной пышностью.

От многих времен какое множество заведено было наружного, показного. И все облетело, как маков цвет. Только те не обнищали, только те до последней духовной срамоты не обнажились, у кого в сердечной скрыне собрано-запасено было истинное, некрадомое богатство. «Не ищи ни Рима, ни Иерусалима, ни больших собраний...» Всею мыслию своею приникни к тем, походи, хоть умом-то, вслед тех, которые во все времена держались надежнейшаго и вернаго понятия о жизни... То есть, что эта жизнь есть внутренняя, сокровенная.

Вопросы собственнаго миросозерцания, собственнаго умозрения ныне редко перед кем встают. Не время философствовать. Впрочем, вопросы любомудрия, темы умозрительныя казались оторванными от практической жизни уже сто лет назад. Норвежца Стеффенса, ученого и философа, жившего в эпоху блестящаго расцвета философских школ в Германии (Стеффенс был современник Шеллинга, Фихте, поэта Гёте и др. замечательных философов, поэтов, ученых), Стеффенса уже тогда беспокоила оторванность и разобщенность философии с «жизнью».

Образованность уже тогда порвала с религией. Религия перестала быть умозрением всех. Философия Канта, Шеллинга, Гегеля заняла у «образованных» место религии. А затем, с середины XIX века, эта достаточно отвлеченная философия уступила место учениям гражданственным, социальным.

Кант вперял умное око в «звездное небо над нами и в нравственный закон внутри нас».

Величавое спокойствие (довольно безотрадное) внушает нам Спиноза.

Шеллинг... он как сокол, весь в природе, купаясь в воздухе, носится за добычей. Шеллинг так увлекал молодежь с ее сколько пылкими, столько неясными идеалами.

Но, очевидно, жизнь усложнялась. Соответственно настроенные умы занялись вопросами богатства — торговли, рынков. Если Стеффенс и его друзья, любители философии и поэзии, учась в университетах Гамбурга, Киля, задыхались от атмосферы купли-продажи, при всяком удобном случае убегали в горы, в леса и поля, уходили в море, то появились мыслители, теории которых более соответствовали новейшим временам.

Но что же?! Звездное небо над нами; желание чудное, томящее душу: мир и радость, которую дает нам общение с природой. Эти вопросы никого уже не занимают? Затем такие темы, как вопросы о смысле жизни человеческой, смысл неизбежных страданий и смерти; так же вопросы любви, героизма, самопожертвования, свойственные душе человека и еще не истребившиеся. Эти свойства, откуда оне?!

Сознание единства человека с природою, с «Матерью-Сырой Землей» дело живоносное, спасающее, оздоровляющее ум-сознанье и тело, физическое и духовное существо человека.

Удивительно благодарное и жизнетворное дело привыкнуть к учителям-мыслителям, стоявшим на этом верном пути, искавшим и обретшим эту воду живую.

Но почему Стеффенс? — меня привлекает это имя, потому что он был уроженец Северной Норвегии, довольно пишет об ее природе и людях.

Между тем эта страна сходна природою с моею родиной. А быт ее, описанный в Стеффенсовой автобиографии, живо напоминает мне обстановку и людей, среди которых я родился и вырос. Хотя нас разделяет целый век, хотя мыслитель этот родился в стране протестантизма...

Киреевский привел только молодые годы Стеффенсовой автобиографии. Но и на том спасибо русскому любомудру. А читаешь с сердечным весельем. Только чудно мне, как Стеффенс, восторженный взыскатель Бога и веры, с не меньшим энтузиазмом делает модные тогда опыты над электричеством, тратит остатки средств на устройство вольтова столба, гальванизирует лягушек...

На Михайлин день с вечерен полетела над Городом метель-поносуха. Несло с кровель, завивало на перекрестках; белые сувои снега поперек устилали переулки, выходы дворов. Наш дворишко заметало до полуокон. Потом два дня была морозная ясень, в ночи звездно, снег скрипел по-морозному. То уж зима настала, что и дивить: во вторник заговенье на пост Христова Рождества.

В нашем дворике четыре кряжистых дерева. Лоза, та с первыми ознобными ветрами лист растеряла. Дуб в углу до полуоктября шабарчал мертвенно-сухим убором. Ветер налетал, в сердцах, сильнее да смелее. Дубовый лист, как вереница кладбищенских старух, ездил по голому двору из угла в угол. С каким-то могильным и сиротливым шорохом. Всякой вечер махнет с переулка через забор северный ветер, а листы-шкелеты того и ждут. Выстроясь, что похоронная процессия, поползут к северу, как живые, заворотят за угол к воротам. Тут остановятся. Сквозняк их догонит да поддаст, листья-старухи и выфурнут в переулок. Тут порядок растеряют, которая куда побежит...

Нейгауз играл Шопена. Ряд вещей пленительных и по исполнению. Музыка интимная и меланхолическая. Так хорошо; так ко времени; так отдыхает, в себя приходит душа под этот переливный ручей звуков, под ласковый перебор этих струн, под это лирическое и медлительно-прелестное веретено, прядущее музыку интимную, трогательную.

... Вспоминались, вставали в памяти сердца мечты юности, несбывшаяся, может быть, первая любовь: много их было у меня, первых-то любовей.

А я вот как оглянусь да увижу свои юношеские мечты и жизнь «юношескую»— и все оно передо мною, как книга в расстил, лежит. И ничего-то единого, цельного, высокого не правил я в своей молодости. Как «проснулись чувства» в 15, в 17 лет, так и пошло десятка на два годов: «Чего-то нет, чего-то жаль; куда-то сердце мчится вдаль». Страстные порывы к «прекрасному», к искусству, отчасти к поэзии, а более всего ухлопал, убил, погубил время и годы на увлечения более, увы, платонические. И над всем мечтательность, мечтательность безоглядная...

Родину бы хотелось повидать, там бы уж недолгие мои годы дожить... В Двинской губе еще в детстве пало мне на сердце одно место: как от Города плыть к Лае-реке, и после Черного леса (Цигломина) будет высо-

кий наволок. И на горе деревня Глинник. Ряд старинных северных изб тянется по гребню величественно-сурового глинистого берега. Под горою белые пески, карбаса. И беспредельное царство свинцовых двинских волн. Немерная водная ширь! Здесь всегда качнет, трепанет — в карбасе ли плывешь, на пароходе ли.

Я мальчиком бывал в гостях на Глиннике. Из какого оконца ни взглянешь, всегда точно крылья развернутся за плечами, будто сам ты летишь над седыми волнами, вместе с морскими птицами вон к тем дальним, еле видным островам.

Помню осенний вечер на Глиннике. Бесконечные ряды черно-свинцовых валов с гребнями, пламенеющими в последних лучах заката. Грозным, немигающим оком глядит из-под сизых туч последняя заря. Красота грозная и плачевная и восторгом охватывающая душу.

Меняющийся лик небес имеет для меня силу великую, притягательную. Однолично с небом (и даже больше!) поразил меня взгляд младенца.

Взрослые беседовали у лампы. Грудной ребенок, мальчик, тихо лежал поодаль, в тени. Мы думали, он давно спит. Я подошел к кроватке. В полумраке увидел широко открытые глазки. Мальчик как бы внимал чему-то для меня непостижимому, но для него близкому и сродному. Я опустился на колени, шепча нежные слова, дивяся чудной сосредоточенности милого личика... Он стал глядеть на меня, как бы вопрошая о чем-то. Чувство какого-то смятения, но и восторга поднималось в моей душе. Мы глядели друг другу в глаза. Он, только что «пришедший в мир», еще весь чистота и непорочность. И я, уже собравший на себя всю грязь и весь тлен земли.

Он лежал маленький, спеленатый, но важность гостя из таинственной страны почивала на нем...

Только глядя в звездное небо, давно когда-то, ощутил я подобное чувство...

Вся неделя с морозами. Давеча слышу — поют под рояль: «Под душистою веткой сирени» Чайковского (по сезону!). Это все чары комнатные. А выскочил на улицу (стекло ребята разбили, дак поорать)... Чистота опустилась на Город, морозная праздничность, непорочность, праздничность холода, наступившего на грязь, на тлен, на смрад Города...

Сочельник Рождественский. Дни святые, время чудное, часы прекраснейшие. У нас намыты полы, благоухает елочка, в оконца глядит несказанная белизна, тускло-серебряное небо сыплет снег; летают, гоняются друг за дружкой снежинки.

Ночью вышел на улицу. Белая земля, белые кровли домов. Ровный тихий свет от снегов, покрывающих город. Рождественская ночь. Загадочно-таинственно темнеющая пелена неба над белою молчащею землею... Сердечное око человека видит большее, и тоньше слухи сердца. Небо, вмещаемое нашим сердцем, шире видимого глазами и предславнее. Гляди внутрь себя, внимай себе...



1947

С тихою важностью идет снег. Небо как бы склонилось над землею и убирает, и уготовляет ее в белые одежды. Из старинного коротенького оконца точно рождественская картинка глядится: белая, белая пелена дорог, белые шапки на столбах ограды. Серебряно-тусклое небо, на нем как бы карандашом нанесен изящный рисунок ветвей и сучьев, протянувшихся над оградою, тоже накрытою белыми шапками и воротниками... Серо-каменный дом поотдаль. И серебряное небо ткет и ткет тончайшую шелковую кисею, преиспещренную узором белых пчел. Невидимые руки неустанно ткут завесу в белых пчелах, и тихо опустится она на город...

Знаю любителей пейзажной живописи. В центре вонючего города, в утробе кирпичнаго небоскреба, в кабинете развешаны произведения пейзажистов. В папках рисунки, офорты... При мертвом свете электричества хозяин смакует тонкость передачи зимних или весенних настроений...

Я люблю быть сам участником пейзажа. Вот стою и соглядаю «зимний вечер». Я сам стою в белых, как лебяжий пух, снегах. Снежные пчелы, что как нарядная сеть, неслышно опускаются на сугробы, эти пчелы садятся и мне на лицо, на плечи.

Дохнул ветерок. Может, он с Севера, с дальних полей... Все живо, этот пейзаж растворен и неразлучен с музыкой, он услаждает и слух: звонко-хрустально кричат галки, каркают вороны, усаживаясь на ночлег. Свистят крылья, шелестят ветки. Галочьими голосами зовут друг друга пробегающие ребятишки:

— Харитошка, Харитошка!

Зренье, слух, осязанье, обонянье...

Помню, старовер Трофим укорял Федора, молодого человека: «Спасаться ты побежал «в пустыню», а у родителей за недоимки корову со двора повели!»

... Все, все , и в первую очередь интеллигенция, особенно к старости, люди одинокие, скудные, больше всего боятся беспокойства. Они предпочтут одинокую камеру, но только не то, чтобы в их комнате смеялись и плакали дети. Знаю дом: в комнатах по многу лет живут ученые дамы, пенсионерки. Комнаты-одиночки. Век не топлено, не готовлено. Выйдут — дверь на замок, и войдут — дверь на ключ...

Вчера Аким сказывает: «Две скворешницы сделал, надо поскорея в деревню свезти. В эту субботу жаворонков надо ждать...»

Воспоминаньями, притом далекими, думы о весне родимого Севера.

Уже я вижу, например, холмы Хотькова, ручьи-потоки вокруг Сергиева града. Хорошо и здесь по деревням-то. В полях, на огородах снег, а у избушек завалинки, крылечки приобсохнут. За углом ветер, лед, а на припеке старики щурятся, кошка на подоконнике греется...

Эх, мысли-то тщусь посылать в тихость деревенских дорог, а самому сдвинуться с места, хоть часок посидеть, поглядеть, как сосульки мартовские с деревенской крыши свисли,— задница тяжела. Думы-то соколом, а жопа-то кошелем. Да и думы-то мои не соколы, а кисельная выжимка. «Все прошло, пропали силы, притупился взгляд». Только и осталось, что плачет душа по радости неотымаемой. И начал я стареть и всяко ослабевать, не заготовив снасти, чтобы неотымаемую-ту радость уловить и удержать.

Желанье-стремленье будто и есть, а воля-характер слабые. На корабле духовного существа моего матросы — пьяницы, штурман карты-планы потерял; капитан знает, куда плыть, да команда его ничем зовет, сколько он ни горячись. А се — и капитан-от рукой махнул,— как хотите!

Пасмурно — тают инде снега. По улицам сегодня воды нет, а уж конец зиме. Народишко посередь дороги лепится — везде снег с крыш роют. В Хотькове, сказывают, только на станции вода, тает. А так — многоснежно. От Митинской горы, слышь-ка, к Паже в прорубь щель меж сугробы рыта. «Говорю о новостях природы,— пишет молодой В. Дроздов*,— когда новости людские не заслуживают слов».

...И без того ум-от худ, тревога заботная на двое, на четверо его раскуделивает: апрель перебьемся, а май месяц... никаких получек не предвидится. Вот эта гнетущая тревога, этот страх перед завтрашним днем пригнетают силу ума, делают сердце пугливым. Сердце просит радости, как голодный — хлеба, просит и безнадежно, безответно умолкает...

Вот для чего я эту печаль пишу? Для кого? Легче мне, что я это все выложил? Помру — печку растопит моими тетрадками какая-нибудь Нюра или Муся.

Сегодня память, умерший день отцу моему. Преставился в 1905 году, в великий Четверг, в два часа пополудни. Утром сряжался к обедне, к причастию. В доме с рассвета шла предпраздничная порядня. В четверг мать пекла куличи. Вижу ее в слезах и в хлопотах с тестом: «Отец у нас особенный сегодня — захожу к нему в спальню, а он: «Христос воскрес! Что вы не готовы? У меня на заре три священника были. Пели Пасху. Христос воскресе!» — И руки протягивает христосаться...»

Я подивился и, не зайдя к отцу, поспешил к обедне в гимназическую церковь. Потом прошел в собор на «омовение ног». Домой пришел часу во втором пополудни. И слышу из отцовой спальни пение пасхального тропаря. Я почему-то заплакал и вошел к нему в горницу. Он лежит такой праздничный, борода и волосы учесаны, и весело мне говорит: «Поздравляю тебя с принятием святой Тайны!» Я заплакал, обнял его. А он: «Погляди-ко, сынок, который час?» Я прошел в кухню. Там уж вынимают куличи, опрокидывая их на подушки. Я загляделся минуту, меня чем-то заняли, потом говорю:

---

*Речь идет о митрополите московском Филарете (в миру Василий Дроздов, 1782—1867). Известность м. Филарета как проповедника и духовного писателя была очень широка в России. Пушкин в стихотворении «В часы забав...» называет речи м. Филарета «благоуханными».

«Ах, мама, папа-то спрашивал — который час». Мама сама побежала к нему. Минутку спустя слышим стук в стену: отцова горница была смежена с кухней. Я подбежал: мать, обнимая отца за плечи и припав лицом к его голове, плачет над ним, называя по имени. А он уже кончился. В страстную субботу отца схоронили на Кузнечевском кладбище, мы остались невелики годами.

Родитель мой был старинного роду. Прадеды наши помянуты во многих документах Устюга Великого и Соли Вычегодской. Родился в селе Серегове Яренского уезда в 1850 году. В 1865 году, по смерти моего деда, бабушка оставила родину навсегда и уехала в город к морю. У моря началась трудовая отцова жизнь. Почти всю жизнь он плавал на Мурманских пароходах. А матери моей предки (и дед мой по матери) век служили в Адмиралтействе, при корабельных верфях.

Род матери моей покоится на Кузнечевском кладбище (а частью на Соломбальском). Здесь же и отцова мать, бабушка Мария, и отцова сестра Павла.

Я сегодня помянул род свой... День с утра такой северный, какой на родине милой бывал, когда реки тронутся. Во второй половине апреля, бывало, пойдет лед в море.

Как бы я туда слетал, походил бы по родимым берегам, ветрами бы подышал, детство и юность желанную помянул. Как беспечально там жизнь проходила...

Детство, юность, молодость — все у меня с родимым городом северным связано, все там положено. И все озарено светом невечереющим. Годы золотые, юные — заботы, тревоги о куске хлеба на завтра я там не ведал. Делал то, что любо было... «Что пройдет, то будет мило».

Но разве мало милого было в здешних местах, во вторую половину моей жизни, столь несхожую с бытом Севера родимого? Как сравню, думы там были невеликие, хмель молодой одолевал, печали молодые, несмысленные. Мать, разумная, терпеливая, дом, житье-бытье вела и правила, а я с сестрами одну заботу знали — учиться. Вишь, потому еще жизнь-та в те поры красна и светла вспоминается, что сил душевных и телесных много было.

А теперь все — ох да ох... Не живем, а колотимся, как навага о лед.

А погода сегодня малу-помалу хмурилась, да и дожжинушка зачал сеяться. Заблестела мокрая мостовая. Неуедно живу, да улежно. А хозяинушко мой с рынку пришел, еле ноженьки приволок, выпал весь. Картошки в кошолочке принес. Люто голодна весна-та. Мы с четверга светлой недели на одном постном супе, на пустых щах сидим. Худо дышит семеюшка моя. Я бы так не тужил — на них глядя, горестно. Добытку нет. А дороговь люта. Хлеба-та не хватает, делим его на четвертушечки. Я вот курить стал при старости лет. Еще чаем отнимаюсь. Чай души моей отрада. Даром что без сахару. Не завлекательно об этом писать.

От юности моею увлекался я «святою стариной» родимого Севера. Любовь к родной старине, к быту, к стилю, к древнему искусству, к древней культуре Руси и родного края, сказочная красивость и высокая поэтичность этой культуры — вот что меня захватывало всего и всецело увлекало.

Но прожив жизнь, когда уж «всяко меня бито, и о печку бито, только печкой не бито», вижу, что, «как ладья ни рыщет, а у якоря будет»— деваться некуда: приходится посмотреть, подумать и взяться за то, чего в молодости-то отмахивался.

... Ребенку простительно... постлать на пол картину Рафаэля и, ежели не

досмотрят, топтать и рвать ее. Дитяти простительно вылить за окно ведро, скажем, розового масла, забросить в реку слиток золота, сжечь, играя, в печке денежных бумаг на миллионы рублей и т. д. и т. п. Но ежели так будет поступать взрослый, все скажут, что это умалишенный, что это идиот, что тут нужны срочные меры. Не собираюсь и судить эстетов, коллекционеров, которые «неиграемым играют». Когда на моей улице пожар, я не побежу в соседнюю улицу читать лекцию о противопожарной охране. Когда мне прописано лекарство, я не буду заставлять соседа пить его насильственно, ежели я угорел в чадной комнате, а другие, обладающие более крепкими лбами, сидят как ни в чем не бывало, я должен выскочить на свежий воздух...

Сегодня такой «серенький», такой северный день, жемчужно-облачный. Северная весна. Небось там, у северного моего моря, реки расплenились от льдов, а берега по взгорьям обсохли. Ветер сегодня весенне-свежий, с родимых моих берегов прилетает. И я Фиванду русскую вспомнил: небесного Зосимы Соловецкого. Память только что была. Художественная культура XV века: живопись, зодчество, поэзия, быт... «в ней все поэзия, все диво». Но человече безумный, устрашись ступать ногою на хлеб насущный. Любуясь прекрасною оболочкою, не забудь главного, важнейшего. То, что одухотворяло и живило прекрасные формы иночествующего быта «Северной Фиванды», является и нашей жизнью, и нашим дыханием. То, что было «единым на потребу» для Святой Руси, есть и нам «едино на потребу».

...«И ты,— говорит святой писатель Древней Руси,— не можешь быть солнцем, будь звездою, не можешь быть большою, будь малою, только на том же Святой Руси небе почивай».

Что-то уж очень бойко зачал я духом-то падать. Никакой во мне укрепы, никакой основы не стало. Чуть какое настроение дома, я с ног слетел. Всецело мое душевное устроение от людей, вернее, от человека зависит. А человек-то, близкий и единственный, вконец из сил выбился. «По лошади и воз накладывают», а у брателка не воз, а целый обоз.

Июнь пошел. Чудные они, июньские негаснущие зори. Сейчас тихий вечер, над крышами посвистывают стрижи. В камне, в городе и то любо...

Сегодня на родине праздник. Июньские сияющие ночи, говор беспредельных вод, острова, белые пески, родимый, ныне недосягаемо далекий Город, крики чаек... Почему вот теперь печаль угнездилась в сердце? И держит его, не отпуская. Точно свинцовым грузом обложено сердце. И некому разгрузить, никто не пособит. А уж и дышать тяжело.

Говорю о том, что светит уму, что желанно сердцу. А выговаривать суд да кручину — отяготительно для меня. Оскомина падает на душу от сердитости...

Эти две-то недели обиваю пороги, приемов добиваюсь. Высоки пороги-те. Сидишь, сидишь, ждешь-ждешь, да с тем и домой бредешь. Перед крашеной секретаршей стоишь, по имени-отчеству ее, сучку такую, величаешь, а она и глядеть и слушать не хочет... Собрался с духом, позвонил именитому человеку, бывшему, так сказать, «другу юности». Дак, трубку-ту держачи, будто я в кипятке сидел. Трех слов не сумел я ладом оболванить. Каково же мне тошна просительская роль! Главное — знаю, что в глухую каменную стену стучу. Вот этак, собравшись с силами, зачнешь людские пороги обивать...

Попаду в деревню, и нет у меня сытости глядеть на эту светлооблачную небесность, на эти тропиночки меж дерев, на эти ряды белеющих, как свечечки, берез... Голуби на серебристой крыше сарая, стайка воробьев на изгороди. А по сторонам тропинки ромашка. А вдали стена темных, важных, неподвижных елей.

Нет сытости слушать и внимать шелесту листвы, шуму ветра, шороху дождя. Музыка тонкая и сладкая, вожделенная, любимейшая! Иной гул хвойнаго бора, совсем иначе шумит березовая роща. Вокруг нашего дома темнеют ряды елей и белеют купы берез. Под ними кусты ягодника и трава-метляк. При ветре они все будто разные инструменты симфонического оркестра. Разные, но звучат согласно и стройно.

А речь и гово́ря дождя... Уж столько у дождя разговору со старинною крышею нашего домика! Видно, давно знакомы. Сначала редкие капли обмолвятся словом да помолчат. А потом все заговорят, зарассказывают спешно. Тучка-то торопится, деревень-то много надо облететь, каплям дождевым многое надо обсказать: то у них и спешная гово́ря-та. Ино в ночи долгую повесть дождь-от заведет. Я лежу да внимаю... Осенний дождь слушать люблю. Он мое мне рассказывает. Мерная гово́ря дождя, особливо осеннего, спокой в душу приводит.

Дождь-то знает, что я его слушаю, ведает, что я слушать его люблю, и он подолгу со мной свою беседушку ведет, все мне обскажет. Мое говорит, моему уму норовит, речи-беседы дождей, радостных вешних или грозовых летних, или осенних тихомерных — всегда они, эти речи дождевые, уму-разуму и сердцу-хотению желанны и любезны.

Новостей человеческих не знаю здесь, в деревне. Одни надо мною новости природы. Вечером вчера сковылял до лесу, он в глазах. До оврага не долез, заподымалась туча, загремело со сторонушки звенигородской. Гроза кругом обошла, и установился дождик обложной. С рассвета и за полдень точно кто гаммы наигрывает однообразныя, то тише, то смелее по кровле моей. Хозяйская бабушка предвещает недели на две ненастье-то. Ветер свое дело управил, натянул дождя и успокоился. С вечера и кузнечики примолкли, сегодня их не слыхать. Только птицы щебечут, синичка посвистывает. Тонкий сырой туманец реет у лесных далей...

С брателком мы этот месяц из воблы суп варим. К обеду и ужину. А между вытями, проголодавшись, той же воблы твердые ремешочки жуем.

Чаем я свою душу утешаю, дважды в день завариваю, по-богатому. На сахарок-от поглядывать приходится — тут не по-богатому. Крупа на рынке дороже 20 рублей стакан.

Видишь вот, о чем я, бездельник, пишу. Не приходит в башку слово к полезному!

Хозяйская бабка, старая, но еще крепкая, осень, и зиму, и весну до просухи, до лета, живет здесь одиношенька, караулит дом. 25 годов так-то. Тем не тяготится, но веселится. Вот кому я завидую. Хоть глуха, а видит хорошо. Книги заветные перечитывает, в будни шьет, вяжет, прядет. «Хлебца мне дети в воскресенье привезут, а картошка, капустка своя. Одна царствую!» Еще бы не царство!

О, как бы я хотел да радел так пожить. Соглядать, внимать и следить, как зима на извод пойдет... март великопостный, апрель пасхальный... С конца февраля оттепели, сосули с крыш, капели ночные. Потом проталины, небо заголубеет, облачки барашками засобираются. От Благовещанья ручьи загремят... Вся-та истинная жизнь, жизнь природы, жизнь единая на потре-

бу, жизнь телу на здравие, сердцу на веселье, уме на радость — все здесь с человеком. Вот где счастье-то! Вот где настоящее-то!

Конешно, «в чужих руках и кусок больше, и ломоть толще» кажется. Много надобно иметь в себе, в уме-мыслях, в сердце богатства, чтобы одному-то поживать...

Рисовать любил с детства страстно. Художествам учивался в молодые свои годы. Ничего в этой области своего не сделал, своего ни в графике, ни в акварели не показал, опричь невеликих декоративностей, но любованье «видимым же всем (и невидимым!)» во мне есть. Люблю рисунки и картинки, где тонкостно переданы настроения русской природы, особливо зимней и ранне-весенней. Люблю залы картинных галерей вроде Эрмитажа и Третьяковки, когда там тихо, когда не мешает никто жить с художником. Смотришь любимые картины, рисунки, и радость надмевает твою мысль. Бывало, иду из Третьяковки, точно богатыми подарками кто меня нагрузил. Домой тороплюсь донести. Не знаю, что с таким богатством буду делать.

... И на искусство, вероятно, взгляды мои очень личные. По себе сужу и философствую. Лето сравниваю с молодостью. Не наблюдаю, а беру, хватаю. Там цветы завидел, нюхаю да букет собираю. Вон там ягоды и яблоки— иду под яблоню с коробкой, с карманами. Блестит речка — лезу в воду. Любуяся лесом, беру грибы да ягоды. Луг благоухает травами — хорошо тут полежать. Бескорыстия мало в любовании моем летнею природою. Летом — «что очи завидят, то руки заграбят». Это вот в молодости так...

А любование мое зимнею природою (русскою) сравню я со старостью. Я с горок не катаюсь, коньков сорок лет не видел, лыжи тоже забыл. Я в зиму иду лесом волшебным. Изящество, тонкость, изысканность черного цвета, силуэты, линии, контуры стволов, ветвей, веточек. Нежнейшие нюансы белых тонов. И потом «русский лес зимою»... радость накрывает мое стариковское сердце. Сорока роняет снег с тяжелой еловой лапы, стрекочет мне — «Жив ли сказочник?»

Гляжу меж стволы: тихо, таинственно.

В зиму, ежели так назову старость, я бреду по тропочке, сказочными сорочьими ножками строченной, по чудным узоринам, и соглядаю ненасмотренную, глубокую, родимую тайность русской зимы. Устланная белыми, праздничными скатертями земля, по белому полю вышиты чутким узором елочки. Вдали черная кайма леса. Над всем восковое небо... Как это мысль мою обогащает, как ум мой об этом богатстве веселится.

Я руками тут ничего не хватаю, за пазуху ничего не пихаю, лыж никуда не навостряю. Только глаза мои видят эту праздничную пречистость русских полей, молчащих с тобою, но вместе с тобою внимающих тишине.

Наберу этой радости полные закрома своего ума-разума, и столько этого много у меня, что от сердечного веселья, от полноты этой не могу не поделиться со всеми ближними и дальними. Спорая она, эта радость творческая. По избытку сердца не можно ею не делиться.

Так вот она, старость-та, каковою может быть у человека. Выстою, для молодости неудобовосходимою, и глубиною, молодыми очами неудобозримою.

От этой радости художество народное, русское, настоящее зачиналось и шло.

Помню: выпал первый снег... Убелил Радонежскую землю, холмы Хотькова... С Митиной горы открывались дали без конца. Точно канун праздника настал. Точно к празднику убралась в бело земля. Как широкое льняное полотно стлалася долина Пажи, и Пажа, не замерзшая, вилась посередине серо-шелковой узором-лентой. А по сторонам серо-кубовой ленты реки, точно вытканные пояски, в два ряда бежали черныя стежки-тропочки... Какое веселие художнику! Где, как не здесь, зацвести творческой радости в народной русской душе!

Мысль моя веселяся летела, привитала и гостила в дальних деревеньках этого заветного края.

Знаменитый Филарет хвалился расписной хотьковской посудой: цветастыми чашками, чайниками, блюдами, фарфоровый и фаянсовый завод Попова был здесь. Поповский фарфор был плоть от плоти здешнего народного искусства. Обилие белых глин и земляных красок породило исконное здешнее художество. Встарь отдельные семьи по деревням лепили и обжигали. Потом завелись заводы: Дунаева в Митине, Попова близ монастыря. В XIX веке дунаевские куклы — фарфоровые головки для шитых кукол славились и за границей. Фарфоровые части пресловутых саксонских игрушек были сделаны и расписаны в хотьковских деревнях. Всему миру, можно сказать, известны были хотьковския шитые «мягкие» игрушки, а также всякое художественное вышиванье — вещи и для светского обихода-украшательства, и для церковного. Мастерством игрушки и высокой золотошелковой вышивкой именит был хотьковский девичий монастырь. Здесь было искусное гнездо художества женского. Художницы, монахини и белицы, в большинстве местные уроженки, творческой своей радостью питали высокую монастырскую технику.

Столицей игрушечного царства был Сергиев Посад. По народным преданиям первую деревянную игрушку сделал сам Преподобный Сергий. Он будто бы вырезал («этим самым ножом в ножнице на ремешке») из липы птичек, коньков и дарил «на благословенье» детям.

Исследователи полагают, что здешнее, столь древнее и широкое, славное по всей России искусство деревянной игрушки вышло в XV веке из лаврской резной мастерской, пошла игрушка с легкой, мудрой и хитрой руки инока Амвросия. Образцы высокого художества Амвросия — резные кресты, панагии — хранятся в Лавре.

Деревня Богородская посейчас сохранила мастерство резной деревянной игрушки. А вообще сергиевская игрушка, эта истинная радость и для ребенка и для художника,— сергиевская игрушка была многолика и разнообразна по материалу и по искусству.

Игрушка и всякое художество было народным промыслом, «хлебом» здешнего края, овеянного, осененного светом Радонежа.

«Не сами, по родителям»,— скромно говорят о себе местные художники-кустари. Кругом «эти бедныя селенья, эта скудная природа», из подслепого оконца, из низеньких дверей избушки, где живет и творит деревенский игрушечник, видны тощия нивы, глиняные, ухабистыя дороги, «серенькое русское небо», а на убогом дощаном столике, на полках, и на печке праздник красок, царство сказки, радость цвета и формы. Дерево, глина, жесть, бумага, все сияет и горит цветом небесно-голубым, ало-огненным, радуга позавидует яркости злато-соломенных, изумрудно-зеленых, «брусничных», «маковых», «сахарных», «седых», «облакитных», «бирюзистых», «жарких», тонов и цветов.

... Когда я брел по талой тропинке и сел на пенышек, а надо мной трепе-

тала осинка еще неопавшими листьями, и узорным рядком, темнея по белому склону, стояли молоденькия елочки, и кисти рябины краснели над серой избушкой, неизъяснимая радость обовладела всем моим духовным существом. Надо было что-то делать, в чем-то излить свое веселье. Тетрадочка и огрызок карандаша были с собою. Я стал записывать... А дома вижу щадровитую столешницу, бесцветные филенки дверей и шкапов. Дай, думаю, я вас весельем своим развеселю! Зашпаклевал, загрунтовал. А потом два дня расписывал. Выйду на крылечко, послушаю, как кричат галки над гумном, как воздыхает за бревенчатой стенкой Буренка. Погляжу, как нарядная черно-талая дорожка по белому-то скату горы, как изящен серебро-серый рисунок изгороди, как тонко вырисованы ветви дерев на фоне небес, тускло отражающих «первый снег», покрывавший русские поля. Нагляжусь, наслушаюсь и дома на белой отлевкашенной столешнице напишу «Лавру» розово-амарантовым колером и мумией намалюю башни, стены, высокую компанеллу. Потом ультрамариновые купола Грозновского собора и золотою вохрою шапку собора Троицкого. А у оконца и воротца черными глазками глядят у меня с белых стен. А по краям черным же цветом подобающия литеры-пояснения вкратце. И по углам кину букеты роз. Столешница дня в два у печки сохнет. Тогда лаком выкрою. Хлеб-соль есть на таком столе приятно.

Лавру рисую, потому что в ней и, во-первых, во внутренней таинственной ее сущности, а во-вторых, во внешнем ее облике, народ имеет видимые и осязаемые воплощения своей радости о красоте.

Творцы-художники, создававшие во все века произведения искусства, которые мы видим в Лавре, зодчие, живописцы, а с ними мастера искусств прикладных — резчики, чеканщики, ткачи — нашли здесь удовлетворение своему томлению о красоте. А любитель красоты народ, хлебопашец, мастеровой, который сам непосредственно не занимается «художествами», но любит украшательство, окруженный в Лавре великолепием красоты, которой при этом можно молиться, целовать, и народ, «потребитель» (как и создатель красот), находит удовлетворение и, так сказать, обладает в Лавре тем, чего неясно желал, о чем томился.

Служитель чистого искусства, «пейзажист», например, увидев то, что я вижу: черные деревья, коричную дорогу, тьмо-зеленыя ели на белом фоне перваго снега, так это все и потщится перенести кистью-красками на полотно. Или возьмет альбом, зарисует чеканно-кованый изгиб сучка, сплетенье веток, зарисует серебристые слеги изгороди с черными галками... Отсюда вот и появился в искусстве чудесный «русский пейзаж». О, как я люблю, какую заветную песню напевает уму и сердцу моему, например, саврасовская «Грачи прилетели»! Я родился на Севере, люблю природу родимого края. Вторую половину бытия переживаю в Средней России. Вопросом духовной жизни и смерти явилось для меня умом и сердцем прилепиться к природе второй моей родины. И вот то заветное, что сладко беседует нам с картины «Грачи прилетели», положил я, как печать, на сердце свое.

Возлюбленная «от младых ногтей» красота русского исконного народного художества, многоликого и прекрасного во всех своих проявлениях. И так, как она проявилась у сергиевских «игрушечников», и так, как она показала себя, скажем, у созвездия «абрамцевских» художников.

Торжественно-величава, может быть, и сурова красота родимаго Севера. Мне уж чудно теперь на самого себя: хватит ли, станет ли меня с нее. Уж я прилепился сердцем к здешней «Владимиро-Суздальской и Древле-Москов-

ской» земле. Уж глубоко запал мне в душу свет Радонежа. Где сокровище всея Руси, тут и мое. Не тут у меня несено, да тут уронено.

После гимназии (на родине) стал я ездить для обучения художествам в Москву. Но оставался страстным поклонником Севера. Приеду на лето домой и запальчиво повторяю, что сколь ни заманчива художественная Москва, но жизнь моя и дыхание принадлежит Северу. И моя мать с светлой улыбкой скажет: «Нет, голубеюшко, ни ты, ни сестры твои, вы не будете свой век здесь, на родине, доживать...» Точно она знала.

Сегодня я «в худых душах». Весь день лежу как пропасть. В доме тихо: я наверху, хозяйка внизу, тоже болеет. А моя комарья душа без хвори замирает: братишко по крайнему делу уехал. Ссуду просим. Не дадут, дак и... все тут. Все вот эдак: до краю доживем, отпихнемся да опять...

Надоело завтрашнего-то дня бояться. Уж не видел я у брателка веселия в глазах. Бывало, он петь, шутить, смеяться любитель был. На гитаре мастер играть. Голос у него светлый да сильный. Ох, как давно не слышал я его звонкого, беззаботного смеха. Еще по старой памяти запоет: «Свеча, чуть тлея, догорала, камин, дымяся, угасал...» или «Вечерний звон», или «Гора Афон, гора святая...» Запоет, да и помолкнет. От забот ему истома непомерная.

Тишина в доме...

Приехал братишко. Напилися с ним чаю. Мне к вечеру отлегчило.

«Богомолья» исконные, русские, посещенье прославленных, именитых обителей глубоко входили в быт, в жизнь русских людей. Не забуду, каким праздником, каким надолго взвеселяющим душу событием было для наших северных горожан морское плаванье в Соловецк, пятидневное пребывание в мире живой легенды.

Прекрасное зодчество, древняя живопись, древний покрой облачений, старинное убранство не только храмов и келий, но и гостиниц, а главное, неумолчная песня моря, из волн котораго, точно сказка, точно древняя былина, точно дивное виденье, точно явленный Китеж-град, возносилась древняя обитель. Кроме того, на Соловках сохранилось древнее столповое, знаменное пение — музыка чрезвычайно своеобразная, необыкновенная, удивительная, некое торжественное, величавое и вместе с тем умилительное, манера пения разительно противоположная театрально-оперным красотам, повсюду и давно въевшимся в наше церковное пение.

Календарь гласит: в августе убудет дня два часа семь минут...

Глазишки сегодня худо взглядывают. А день такой «мой». Светлооблачно, без дождя... Нежная, светлая пасмурность неба, тишина. Видно, к дождю звонко пропевают петухи. Слышнее далекие голоса... Никто у меня этого богатства не отнимает. Я ли не богат?!

Уносится мысль на родину и соглядает таинственную душу Севера, поклоняется сокровенному, но вечному свету его.

Там, на родине милой, сейчас глубокая осень. Кратки дни. С северным ветром перепадает снег. Помню низкую, обширную комнату с бревенчатыми стенами. Чисто намыты полы, старинные иконы в большом углу озарены лампадой. Развалистая печь дышит теплом. Все домочадцы слушают житие преподобного Савватия Соловецкого. Северный праздник. Но в эту поздне-осеннюю память святого угодника горожане, за морскими непогодами, не

плавали на святый остров Соловец. Там в эту пору «снег что белый пух быстро кружится, подымает грудь море синее и горами лед ходит по морю». Одни иноческие соборы в монастыре и в скитах оставались «во отоке Окияна-моря» на долгие-долгие месяцы.

Суровый Север... Но как тепла, как согревала душу память родимых северных святых!..

У матери в спальне была древняя икона преподобных Соловецких. Зосима и Савватий возносят над бушующим морем обитель свою. Отец мой, моряк, счастливым почитал год, когда удавалось пристать в корабельном походе к святым островам и помолиться у гроба преподобных.

В осенние непогодливые ночи я, маленький, укладывался спать у матери в комнате. В старом доме водворялась тишина. В комнатах каждые четверть часа били часы свое «перечасье». Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который еще не вернулся с Мурмана, хотя уже начались непогоды. «О плавающих, путешествующих отцах и братьях наших помолитеся угодники божии, Зосима и Савватие!»— шептала мать.

И сколько раз проснувшись в ночи, всегда я видел святые лики Зосимы и Савватия, озаренные кротким светом лампады, как вечное благословение, возносящих над морем святую обитель.

Тонкое обаяние русской природы, нежную радость русской весны, настроение какого-нибудь февральского денька, когда начинаются уже оттепели, первый снег на Покров, одиночество сжатых нив, проселочных дорог, шелест осеннего дождя, все, что так исцеляет душевные раны, так мирит с жизнью,— все эти «настроения» мы почему-то алчно и жадно ищем встретить у художника-живописца и у писателя-поэта.

При этом нас может оставить совершенно равнодушными обширная салонная картина, изображающая природу. И наоборот, этюд, эскиз, рисунок вдруг скажет нам жданное слово о том, «кого» мы любим. И хочется часто, постоянно этот, скажем, пейзаж видеть. Видеть как собеседника, как друга, который нам такое верное и нужное, взыскуемое нами слово сказал о Любимом, о Желанном, Единственном, но как бы неизъяснимом или неуловимом.

Заветное, желанное дело соглядать лик природы. Соглядатайством этим обогащаешь разум, собираешь в душу сокровища, которые никто не сможет у тебя отнять.

Напрасно тебе кажется, что ненастливые, с дождичком, осенние дни похожи один на другой. Не воображай, что весною, когда тронутся льды на реках, то холодно-ветреные,-облачные дни также схожи... Вот около тебя есть человек, лицо которого любо тебе. Посмотри: на дню-то несчетно раз оно переменится. То задумчивое, то грустное, то приветливое, то хмурое. То милый-то твой человек брови насупил, уста сомкнул — досадует. То опять брови высоко округлил, глаза округлил, улыбка пробежала по губам — весел друг-то твой, но с выжиданием... А все одно и то же лицо, что и вчера было.

Ты мне скажешь: «Вот ежели любимое-то лицо реветь возьмется неустанно и днем, и ночью, и целую неделю... Сидит перед тобой любимое лицо и пущает слезы с утра до ночи. Неделю я на даче сидел, и дожжинушка стояла несменяемая...»

Применил ты Море-Океан к малому озеру, а то и к пруду, или к лужице.

(Не обидься!) Лик природы — Море Великое. Сокровищница неисчислимая, неисчетная, неизъяснимая. Лик природы — красота и богатство беспредельное, безграничное, радость и богатство, всем дарованное и одному тебе принадлежащее.

Ты любишь вечерние закаты — «слети к нам тихий вечер на мирныя поля...» Ты резвишься на зеленой траве, припевая: «Дожидались мы светлого мая. Цветы и деревья цветут. И по небу синему, тая, румяные тучки плывут!..» Люби. Это твое богатство.

А вот я люблю тихие ненастливые дни летом. Люблю оттепели зимою, когда, знаешь, небо оттушевано тонко-серым тоном. А земля бела, как ватман, и по ней черные лужи... А пуще всего я знаешь что люблю?— Люблю удивительный и неизъяснимый час рассвета. Люблю караулить рассвет и в городе, и в деревне. И зимою, и осенью.

Великое богатство это — раннеутренние часы. Чем больше их захватишь, тем ты богаче. Бывало, на родине мать, бабки и зимою в четыре часа встанут. На кухне березовые дрова весело затрещат. По горницам засияют лампадки. И как я радехонек, когда вовремя сон отряхну. При лампе что-нибудь рисую... И вот — окна зачнут мало-помалу синеть, небо бледнеть. Синий свет зимнего утра потиху начнет одолевать золотой свет лампы, восковой свечи...

Кухня у нас была обширная и по старой моде «улиминована» лубочными картинами. За год от чада и мух яркие краски пожухнут, и к Рождеству мама накупит новых лубков. Опять как цветы зацветут по стенам.

Материны помощницы Наталья-заостровка и поморка Ирина заводили моленье дома по-староверски. У нас полон дом был древних икон. Мы с мамой ходили на Соловецкое подворье.

К сочельнику в зале красовалась уже и елка, густая, ароматная, кудрявая, до потолка.

Ребячьи артели славильщиков заканчивали последние спевки. Славленье начиналось после ранней обедни, до рассвета.

— Дозволяете Христа сославить!..

Зайдут в зало, занесут звезду, блестящую золотой бумагой, запоют... По трапарю, славе... Пели стихи... XVIII века. «Радость сердца наполняет», «Силы ангельской», «Три царя», «Звезда грянет», «Возсияли дни златые...»

С Николина дня зимнего (6 декабря) по Крещенье (6 января) целый месяц приподнятое, радостное, праздничное было настроение. Особливо любо было в четыре, а то и в три утра вставать, заветные рассветы караулить.

Великим постом дни станут долгие. Опять начнется время сладостного ожидания Пасхи и весны. В апреле уж долги вечерние зори, рассвет рано. Ночные капели, проталинки, звенящие ручьи, распута по рекам, половодье. Таинственно-прекрасные недели Вербная, Страстная, Светлая, Радоница... Таинственное и прекрасное воскресение природы. Таяние снегов, вскрытие рек, прилет птиц...

«Настроение» вот этих месяцев марта и апреля, коих люблю я найти отображенными в живописи, в поэзии.

Есть чудесный рисунок Рябушкина «Пасхальная утреня»... Купол старинной церкови теряется еще в ночном небе, но вдали за ветлами брезжит уже заря... Как я люблю эту картинку Рябушкина! Художник (и каким простым средством — карандашом!) уловил заветный для меня предпразднич-

ный час... Юность. Весна. Воды. Старинный, родимый город. Тихий рассвет. Иду от заутрени. Тихость природы, тихая радость в сердце.

Я люблю просматривать «пасхальные номера» прежних иллюстрированных журналов взрослых, детских. Художники любили изображать «выход от заутрени», «освящение куличей и пасок», праздничный стол, христосованье... Помяну «Оттепель» А. Ф. Васильева, «Грачи прилетели» Саврасова. Многие рисунки Серова, ряд левитановских... Сочувственен мне «Над вечным покоем», у любимого моего Нестерова всюду вижу ненаглядную пасхальность и в пейзаже, и в умилительном жанре его.

... Пересчитаю популярные картины и художников русских и ловлю себя на мысли: а сколько у тебя любимых по «настроению» картин из иностранных?

В Эрмитаже есть «Избиение младенцев» Брейгеля. Дело не в сюжете «Избиения», а в пейзаже. Удивительно и широко дана деревенская зима. Как бы «первый снег», темные лужи по дорогам, снег на кровлях, голые ивы, низкое тяжелое пасмурное небо, контрастное белым тонким пеленам снега. Стильные силуэты людей с древним изяществом выписаны на том же ровном белом фоне.

Вообще люблю уютные голландские «зимы», с тусклыми льдами, белыми берегами талых каналов, старыми домами в белых кровлях.

Есть у меня любимые гравюры. «Утерянная драхма». Обстановка скудной кухни или пустоватой кладовой. Женщина, согнувшись, освещает сальником пол — ищет драхму. По стене, углу и потолку «движется» громадная черная тень... Не картина из русского быта (Перов, Федотов), не домашние фотографии, а вот взгляну на такую картину, как «Утерянная драхма», и вижу себя дома, соглядаю свое детство.

И еще храню старинную гравюру, переносящую меня домой. Голландская хозяйка в кладовой проверяет на свете свечи свежесть яиц... Видно, зимние утра там, дома, в детстве, пали мне на сердце.

И еще храню картину на сюжет утра, любезный сердцу. Это опять-таки голландская гравюра XVIII века: две служанки, отягощаясь ранним пеньем петуха, сбыли его. Хозяйка, боясь, что служанки проспят, стала их будить раньше пенья петуха. Опять женщина в широкой юбке, со свечой, стропила сеней, тени от свечи, поющий петух, не слезшие еще с седала куры. В верхнее оконце глядит еще серп месяца, а в приоткрытую дверь — низкая еще полоска утренней зари.

Бревна стропил, тяжелая дверь, свеча, разгоняющая мрак, поющий петух, сундуки, серп месяца на предутреннем небе — подлинная серьезность, талант художника, сила настоящего искусства и, конечно, какое-то сходство «интерьеров» старой Голландии и родного поморского города заставляет меня в голландских картинах ощущать свое детство.

Русские художники с конца XIX века оставили много рисунков, акварелей на темы пасхального праздничанья. Репродуцировались в «Ниве», «Родине», на открытках и т. д. Много тут уютного, милого, но зафиксирована внешняя декоративность — куличики, писанки, зайчики; полинялая ленточка, обветшалые альбомы, фарфоровые яички, поздравительная открытка — эти материальные остатки, эти наивные реликвии, этот музей — дело не великое.

Материальное, вещественное меняется, ветшает, проходит. Глядеть на черепки бабушкиной чашки — одно сожаление: «все в прошлом». «Милое, невозвратное прошлое...»

А по мне то, что в музеях да в сундуках тлеет, и пусть тлеет! Мои воспоминания, мои впечатления детства меня на всю жизнь обогатили.

Не знаю, хотел ли бы я, чтобы, например, наш дом, там, в родном городе, сохранился со всем убранством комнат, с комодами, креслами, киотами, картинами, скатертями, книжными шкафами, ткаными половиками, на тех же местах, как стояло, лежало, висело все при дедах, при отце и при мне, ребенке и подростке.

Эти вещественные останки породили бы во мне грусть, что «никого уже нет». Эти материны вещи связали бы меня. И велик был бы соблазн сделаться хранителем музея:

— Вот это мамочкино платье сшито в 1875 году. Вот это вышитые ею туфли отца. Вот очки тетушки. Вот остатки скатерти, которую я, младенец, залил вином. Вот в медальоне мои волосики, когда мне сравнялся год... И т. д. и т. п.

К счастью, в нашем быту не было прискорбного и жалкого обычая фотографировать усопших сродственников в гробах. Того бы еще не хватало!

Для меня невелико то сокровище, которое моль ест, шашел точит, червь грызет. Но подлинно «золотым» назову я свое детство и юность, потому что обогатился на всю жизнь сокровищем, которое моль не съест, которое не линяет, не ветшает.

Живая душа содержала наш «старый» быт...

В страстную, в Светлую неделю любил я в тишине слушать говор вод... Бывало, на Светлой неделе река еще не шевелилась, только ширятся, отражая небо, забереги. В низинах, на Мхах еще снега. Город весь, как Венеция, глядится в разлившиеся каналы и канавы. Но берега-холмы, на которых стоят церкви, обтаяли. Взлобья набережной обсохли, золотятся бурой прошлогодней травкой-отавой. На взлобье холма древняя церквица, внизу еще белеет снег, но два, три ручья летят, бьют, вьют, пенят, говорят о весне... Здесь людно будет в навигацию. А пока вон на обсохшей деревянной лестнице, что спускается от церкви к реке, сидят две старухи, отдыхают после обедни, глядя вдаль, тихо поют:

— Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи...

Скажем, это было сорок лет назад. А теперь, скажем, на холмах Хотькова, Сергиева, Городка, Сергиева Посада... в марте и апреле, когда еще «в полях белеет снег, а воды уж весной шумят», разве вербочки, и ручьи, и проталинки, и лазурь весеннего неба, и белые березки не те же?..

Лучше меня на пилу посадите, нежели тащить «гулять» по жаре... Нет уж... Около дома, в тени чудесных старых дерев, куда благоприятнее, нежели не вем где шататься с худыми ногами и глазами. Жить в лесу в избушке я бы любил. На одном чтобы месте. Вылез на крылечко и — вся гулянка. А как незнакомые места — меня это досадно рассеивает. Из своей тихой комнатки с сосновыми стенами любо мне следить, как плывут облака, видеть лес, слушать шелест листвы. Только так можно сосредоточиться, обдумывать думу...

Молодость все топит в вожделении. Молодость уверена, что любовь-

страсть — главное в жизни. Что любовь — во-первых, а все остальное — во-вторых.

Молодость не знает, не может понимать, что любовная страсть — это частность в жизни, вожделение телесное лишь неизбежный период. В годы расцвета красоты тела человеку надобно, чтобы им любовались, желает и сам любоваться, любить и быть любимым. И это добро, и надобно, и повелено. Как яблоня цветет и приносит благовонные яблоки, так должна покрасоваться молодость. Немногие призваны к девству. Это не для всех. «Все» пускай открасуются и отлюбуются в свои цветущие годы. А пройдет этот хмель, протрезвится разум, тогда должно человеку стать целым, честным, должно после хмеля юности взойти на высшую степень жизни и поведения. Пусть юность, как пчела, копошится в медвяных чашечках цветов любви. Человеку благословенно пожить в этой долине роз. Но потом следует отрясти с вежд липкий медвяный этот сон и прохватиться, и осмотреться. Открой «вещия свои зеницы». В долине твоей уже вечер. Посмотри, как сияют ГОРНИЯ вершины. Они отражают беззакатные зори, они никогда не меркнут. Восходи к ним: увидишь, какие дали будут тебе открываться. Доспей себя в «мужа совершенна».

То, что свойственно молодости, что любо и мило у юности, то сожалетельно видеть у пожилого человека, то бесчестье и зазор для старика.

Человеку дотоле свойственно копошиться в цветке любви, доколе не созрел ум. Отдай «долг природе» и подклони свою честную главу под венец светлой и радостной мудрости.

У всякого возраста есть своя красота. Не говорю уж, что люди обо мне скажут, а как я сам на себя посмотрю, когда мне за пятьдесят, а я гонюсь за утехами двадцатилетних и тридцатилетних. «Что-де за годы — пятьдесят! Я-де еще в соку и хочу жить». Не жалко ли мое духовное и морально-нравственное состояние, когда мне семьдесят, а я не желаю поддаться сорокалетним и пятидесятилетним?..

Конечно, всякий понимает, что значит это «жить». Уж весь-то я старый одёр, старая кляча. Бороду скоблю, ино морда как куричья жопа. Плешь блестит как самовар. Шея что у журавля. Брюхо посинело, ноги отекли. Задница усохла...А все пыжусь, все силюсь подражать молодому жеребцу.

И этот позор мне за то, что я разум свой растлил. Добрым людям, на меня глядя, смех, а мне смерть. Замер бессмертный мой дух, покалеченный скраденной жизнью.

Так вот мы и до старости молодящимся, легкомысленным умом уже не живем, а влачим жизнь. Мы убеждены, что, как скоро минули наши молодые годы, жизнь покатится под гору. И вот тщимся, усиливаемся как можно дольше в саду-то молодости остаться. Потому что до старости дожили, а ума не нажили.

Сознанию молодости свойственно легкомыслие. Разум спеется на следующей степени возраста. А мы и в пекле пятидесяти довольствуемся тем же легкомыслием. Обольщаем и обманываем сами себя, бедные!

Жар молодого цветущего тела, сила юной крови — от всего этого как бы хмелеет мысль-воображенье юноши, невольно уступает и подчиняется этому хмелю. Но эти «страстныя мечты» отнюдь не суть естественное свойство человеческого мозга. Этому положено свое время. Страстный хмель с

годами должен пройти. Ум, мысль, воображение должны снова стать чистыми, ясными, способными к восприятию иного сознания, должны взойти на ступень высшего мироощущения.

Но как часто с человеком бывает такая беда: «страстныя мечты» засядут в мозгу, и полюбит человек ими услаждаться. Страстно-ёт хмель должен налететь да вылететь, налетать да вылетать. И чем старше становится человек, тем реже и реже чад-то этот туманит воображенье. А бывает, страстные-то помыслы прочное гнездо совьют себе в нашем сознаньи. Полынным медом обволокут, залепят наше сердце и ум. Здесь уже не молодая кровь и плоть будет смущать ум и воображенье, а воображенье, ставшее распутным, и ум, сделавший себя развратным, начнут впрягать наш телесный состав в несвойственную, ненужную работу. Человеку-то по годам пора хвалиться и радоваться о «почестях высшаго звания», человеку-то в разуме чистом, омытом, светлом пора богатеть и строиться, а человек-от в низинах похоти, как свинья в грязи, роется. По себе скажу: сколько тут моей беды, столько и моей вины.

Ты говоришь:

— Я не виноват. Это у меня наследственное. Родительница моя, окромя троих законных мужей, встречных и поперечных довольствовала. А про отца и деда и говорить скоромно...

— Дак ведь эти самые слова и твои дети несчастные про тебя скажут! Отец-де наш был блудня. И мы, худосочные, наследственно выжимаем из себя...

Зачем же мы эту блудную колесницу тянем и детенышей наших на их погибель заведомо по той же пути везем, худую, бесславную участь им, бедным, готовим?!

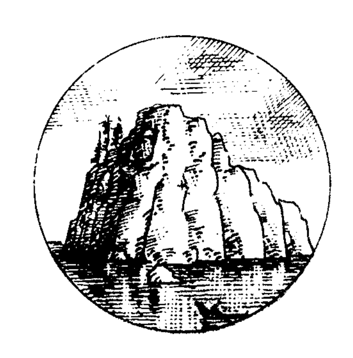
У тебя, говоришь, нет детей? Ты свободен блудить делом и словом? Никому, говоришь, твои грехи не прильнут?.. Да ведь кругом дети. И таких же, как ты, слабых родителей. Умилися о ребятишечках-то. Пожалей да научи их. Помоги им «наследственное-то» преодолеть! Ежели родители у них слабы, да и ты блудня, где же «малые сии» настоящих учителей будут добывать?

— Вы забываете мироощущение античной старости,— говорит мне НН.— Помните у Анакреона: «Старец пляшет в хороводе, просит жажду утолить!..» Представьте себе античный пир. Венок из роз на седых кудрях. Мудрец, черпающий силы в объятиях юности...

— Брось ты врать-та! Ужели не видишь, как «юность»-та глаза зажмурила и нос зажала, чтобы рачьих осоловелых глаз не видеть и смердящего дыханья не слышать. Нужда притучанила эту «юность» к этой жалобности...

... О погоде да о природе толковать самое любезное дело. А философствования ни я, ни люди читать не будут. «Ума холодных наблюдений» у меня нет. А «сердца горестные заметы» у всякого, чай, свои.

Уж чьих только объедков худая моя голова, как горшок печной, не переваривала на веку-то. Уж чем только разум-от не замусорен, уже какими только линялыми лентами и бантами ум-от не заплетен, не перепутан... Мысли-те не текут, не бегут прямо и право, не идут стройно, а виляют да криуляют. Не Слово Жизни, а свое измышление котелок-от мой поважен переваривать...



1948

Афанасьев день прошел — морозы не были. Зима все стоит сиротская, то есть по дровишкам не убыточна. С неделю ровно постояло, да и опять третий день дворники мне в оконце метлами воду брызжут. А се, авось, уже теперь недолго буду я мокрые обутки изучать: надолго ли, нет ли, а влепил я башку свою неудачную на работу. До первого ладимся поплотнее засесть у работы в Митиной деревне.

Для пробы жили там три дня. Уставали, простужались, нервничали: труппа гораздо неопытная, тревожимся за спектакль. Но братишко режиссирует на совесть! Но устал он беспредельно. А надо начинать новую постановку. Я, конечно, своим ремеслом промышляю: мажу декорации. Получаем мы на двоих шестьсот пятьдесят рублей. Долги платить надо... Как хошь, так и рвись.

А в Хотькове праздничная свежесть воздуха, чистая белизна снегов, тишина несказанная!

Наш домик на взлобье круглой белой горы. Доступ к нам с долины Пажи по крутым ступенькам, вырубленным по ледяному скату. Под горой на Паже прорубь. Мимо нашего дома за день только и прохожих, что несколько баб с ведрами на коромыслах.

Баптистка в вагоне так настойчиво и проникновенно совала листок о вреде курения... Спрашивала адрес, приглашала на ихнее собрание... Все-де заблуждаются, все во тьме. До баптизма-де не было христианства, но одно заблуждение и обман...

Баптистское учение соответствует какой-то категории «взыскующих». Оно как раз по плечу «простым сердцам». Вся «вера» их разлинована на узенькие правила морали: веди себя хорошо, не пей, не кури и т. д. Эти добродетели баптистов в быту лезут наружу. Они не такие, как все прочие грешные. На собраниях чувствительные стишки, незатейливые мелодийки. Все обносочки с лютеранских или реформаторских — барских — плеч.

Что и откуда у них взялось, «простые сердца» баптистов в это не вникают. Все у них ученически примитивно. Вот это и может привлекать в баптизм «малых сих».

Вот, скажем, молодое существо в теперешнее время... Молодому человеку, выросшему вне привычного русского быта, все непонятно в церкви. На каком языке читают и поют? Что значат и на что эти действования священнослужителей? А у тех же баптистов все просто. Вот тебе брошюрка с альбомными стишками. Вон Иван Иванович, закатив глазки, говорит:

— Господи, ты такой же, как я, плотник. Приди в мои объятия.

Баптистам присущ настойчивый зуд пропаганды. Новички, счастливые тем, что попали в избранное стадо, сами рьяно вербуют в секту. Они приходят на квартиру, если учуют благоприятную обстановку, начинают неотступно и неотвязно «спасать». Приходят к больному, предлагают даже свой уход за ним при условии присоединения к секте. Если больной не поддается пропаганде, его бросают «среди дороги». Не любовь к людям, не сердце милующее, не жалость к обездоленным, не доброта заставляют баптистов неустанно и неуемно охотиться за новыми и новыми адептами в свою «веру». Нет, если баптист знает, что ты не перейдешь к нему, он наступит ногой на тебя, лежащего, больного, и пойдет «спасать», выискивать покладистых.

Пропаганда, вербовка новых и новых членов, выискивание людей, находящихся «ни у того берега, ни у другого», скрытая или явная неприязнь и нелюбовь к церкви, самомнение и гордость истинно бесовские — вот основные черты баптизма.

Этим баптисты разительно отличаются от русского человека вообще. И от благодатной вековой практики Вселенской Церкви (Восточной). Но не эти величия собрался я рассмотреть... Баптизм или какая рационалистическая секта — их «как ворона на хвосте» невесть откуда занесла. «С ветру» все эти учения. Потому адепты этих учений и навязываются так, потому они и беспокойны, и егозливы, что чуждая они трава на лугах Святой Руси. Не здесь они выросли, сюда наскочили.

Когда христианство пришло в страну восточнославянскую, то пришло на землю девственную, языческую. Христианство принесло высшую культуру духовную, приобщило славян к культуре Византии, следовательно, к культуре Эллады, эллинизма. И это семя веры Христовой, принятой нами от Греции-Византии, дало на Руси дивный плод... Плодом вселенского христианства является и художественная культура Древней Руси — Киевской, Новгородской, Владимиро-Суздальской, Московской...

Что такое православие?

Вечерний звон, наводящий так много дум «о юных днях в краю родном»... Белая церквица среди ржаных полей... Или там, на милой родине моей, шатры древних деревянных церквей, столь схожие с окружающими их елями... И эти дремучие ели и сосны, и деревянное зодчество — они выросли на родной почве.

Силом меня братец в Измайлово выволок. Как корову на баню тащил. А против города хорошо здесь. День был бессолнечный; облачно без дождя, с летним ветерком. Отдыхаю (не знай, от каких трудов!), сижу в тишине, в спокое, «на воздухе», а братишко уехал на сутки в работу. Ему не надо отдыхать.

Сейчас время к ночи, за переулком играет гармошка, завизжат девки, залают собаки... К ночи приусилился ветер. Звук напоминает родину. Там в летнюю пору чуть припадет морской ветерок, и рамы уже скрипят. Их наружу, на ремешок подвязывали.

Я любил бы вот так один-то сидеть. Думу думать да списывать... Только думы-те печальные: братишкино нездоровье меня сокрушает. Чуть в Хотьково съездим, кашель усилится.

Кабы эти мои записи были письмами к кому-то... А о себе, для себя... унынность свою, сто раз одно и то же — не для кого, не для чего. Сам для себя больно не занятен, не стоющ, не значущ.

Любовь без дела мертва. Жалею брателка единственного... А что пользы в моем сокрушеньи? Вот горе меня об этом и сушит.

Когда я был помоложе, то внешние явления и предметы, имеющие, так сказать, общий интерес философский, поэтический, идейный, художественный, оказывали на меня сильное впечатление. Я устремлялся к бумаге, к перу, чтобы записать иногда мгновенное переживание, настроение, сделавшее меня счастливым. Бывало, я никогда не записывал «ума холодных наблюдений, ни сердца горестных замет». Я хватал перо, чтобы занести внезапно схватившее меня радостное, счастливое настроение.

Теперь, вероятно, по привычке, я продолжаю вести «диариус». Но узок круг моих переживаний. И «пою уныло».

...На дворе непроглядный дожжинушка. Осень круто подошла. Ночи холодные, утра с туманами. Слышь-ка, в сентябре сулят снег. Совсем как у нас на родине...

«Счастье не вокруг нас, а в нас», красота не вне нас, а в нас. Внутри тебя не станет творческой радости, так и, скажем, красота природы не поражает душу. Не до того...

А добра и мудра пословица, что-де дома и стены помогают. Невзрачно у нас! Полы прогнили, потолок и стены покоптели, мебелишки нету. Обихаживать некому. А все свое тут, свое, хоть в этих невеликих аршинах. Сколько тут пережито, передумано. Сколько переговорено... Ино «своя печаль чужой радости дороже».

У нас на родине уже и август месяц в осень кладут. По здешним местам — август еще лето. Ино теперь и по-вашему, и по-нашему осень пошла...

Сколько горькой печали, где мы, старики, чаяли видеть молодое счастье, молодую жизнь, так все исказилось, избезобразилось.

Каким лучезарным, добрым, ласковым светом озарены для меня мои воспоминания об отчем доме, о родной семье, об отце и матери. Эти воспоминания, точно благословенны, на всю жизнь.

...Добро, добро читать книги, которые книги годны-то тебе. Ты тогда себя человеком числишь, когда утверждение какое-то имеешь, когда пишется тебе, когда стоющее хоть помалу накапливается. Иное — стоющие мысли проносятся в голове, но не подвизают руку к писанию. Неохота взять карандаш. Уныло созерцаешь себя в такие дни. Не люблю жить бесполезно. А много дней так-то прошло...

И вот как же ценить надо такую книгу, или такие книги, которые не только мысли в голове рождают (воистину, книги эти живые, и живы их словеса, как семя чистое, жизненное, благопотребное), но и руку к писанию подвигают. Настолько насущны, живоначальны, живодательны, настолько сильны, могучи слова этих книг, что даже мой дух, мнилось — невсклонно упавший, давно поникший, заботами, неисправностями, тревогами, страхами, болезнями дух угнетенный, эти книги, то есть мысли, идеи в них заключенные, будят, подымают, зовут, окрыляют, живят...

И вот еще мысль мелькнула: а для чего, на какой предмет, для кого пишешь или записываешь, и записываешь такие и всякие свои мысли... Не знаю, для кого. Опытные и высокие, достигшие уже меры адельфи, хоть сколько преуспевающие, только улыбнутся этим строчкам... Да ведь и сам я сознаю, что это все «говор водный», пена, на воде сбиваемая. Все эти

мои описания ощущений «радости» суть «восхищение недарованного». Это все не на деле, не от дел слова. Все это самообольщение. Потому самообольщение, что при всякой даже тени страха все, как дым, рассеивается, без остатка. При тени страха готов я от всего отказаться, малодушный, слабый человеченко...

Но почему же все-таки, заведомо зная,— думаю, и люди знают, и лучше меня знают ничтожество и бесчестность мою — у многих достойных в долг взял и не отдал (в долгах всяко замарался), и все-таки пишу и люблю сквозь все гнетущие заботы это веселье в себе. Потому что единственно стоющим (сам-то ничего не стою) считаю это на земле, единственный смысл жизни в этом вижу. Единственную правду, единственный смысл жизни...

...Вот что охота отметить: когда б ни касались сердца моего словеса сии: Киев, Киево-Печерская лавра, всегда слышу старый стих —«В небе тих вечерний звон, вы откуда собралися, богомольцы, на поклон?..» Всегда, очевидно, виденная и запечатлевшаяся на сердце (а умом забытая) картина-изображение, каким-нибудь богомольцем занесенная к нам на Север: на фоне вечернего золота... как бы город сказочный: храмы, пещеры, древа... золото, киноварь, охра, зелень... И что-то всегда тетушка моя о своей тетке рассказывала, кто-то «ходил (из семьи) в Киев». И вот думается, чувствуется: отозвалось что-то раннее, золотое в душе, когда весною увидел я в Лит. музее лубочные, столь преукрашенные изображения Киево-Печерской лавры... Я не знаю, как там было в действительности и что там было. Но я знал и хранил в душе и через четыре десятка лет пронес в душе небесный Град, старый Киев. Не малороссийский, а как бы некий Китеж, недосягаемый, святый.

...Я отчаялся, горе душу сжало: почему иные хапают, и у них тысячами насыпано, не знают, что придумать... И вдруг коснулось сердца: а ты кем быть обещался?.. На что ты родился?..

То, что сейчас не рисуют так, как прежде, не могут так рисовать, говорит о склерозе человечества.

Не вовсе без ума некто говорил, что лучшие произведения, например, писатель создает до 30 лет (я бы сказал — наиболее взволнованные), ну... до 50 лет. А мир ведь уж дряхл, дряхл... Европа особенно. В молодости творческое живет. Весело смолоду жить. «Что это иду да наиттись не могу». А теперь, говорит старуха, радость вся потерялась. Это болезнь, это сейчас в искусстве ненормальное состояние, что рисование иссякло. И надо, конечно, лечиться. Но не надо отчаиваться. Надо только знать, что это болезнь, это состояние ненормальное в искусстве. В нездоровом теле сей дух. Далекие от искусства, от художества, никогда не касавшиеся рисования, громят и раскатывают, топчут копытами рисующих. Мнят себя быть, м.б. и убежденно, правыми. А они — больные, жалкие склеротики, дети декаданса, дети дряхлости и упадка. Это неврастения, психостения. Но ежели и ты и я потеряем здоровье, дак все же не считай свое такое состояние нормальным, а лечись, понимай, верь, что правильными были убеждения (рода человеческого) в цветущих годах, при разуме, при расцвете сил умственных, душевных и телесных. А наши времена — упадок, болезнь, идиотизм, маразм. Болезнь века: так тому быть.

В каком надо быть устроении, преуспеянии, чтобы равнодушно, не говорю уж «благодушно», переносить житейские щелчки, пинки, подзатыльники. А в жизни-то не то что ежедневно, а ежеминутно раздражения да перекоры... Терпенья надо не воз, а целый обоз.

Конечно, ежели в самом себе на каплю нет терпения и благодушия, то нельзя от людей требовать. Верно говорено, что надо с людьми как с детьми обходиться, а часто как с больными. И то понять крепко надо, что сам-от ты «больной» и не по-здоровому все делаешь и поступаешь. Не смог я некоего добра доспеть ближнему своему. Истинно:слепой слепого поведет, оба... Это ведь все с горя, в раздражении пишу. И себя со злости угрызаю. И лютую на брата. И вдруг помянул, что он хотел завтра насчет книг сходить: еле жив свет, побредет... Насчет книг... Теплее кряду стало, как о любом-то, желанном помянул... Насчет книг... Как я жадаю книгами, которые годятся-то мне.

Книги мое удовольствие. Настоящие, конечно, книги. Вот еще, кабы возможно было, костюмчик черненький.

Еще кабы именем псевдоним-то сменить. Впрочем, пока-то и своего имени недостоин, а «Балабол» самое мне название подходящее...

Все равно: худо, хорошо, здоров, болен,— повадишься писать, дак оно и пойдет само. А я себя писать не повадил. У другого льется само, а я выжимаю. А се и теснота мешает. Хочется писать-то из души, хоть не ключом бьет, а струится. Хоть тоненьким ручейком, а от сердца. А выдумывать, вымучивать — скучно это. Бывало, как на дрождях ходишь, скорей бы листок где схватить, карандашик найти. Бывало, по дорогам на березах записывал благие-те мысли... А теперь я увял, оравнодушел. Не подымусь, не полечу веселой-то думой, легкой, светлой. Сел, сижу: нету в сердце радости. (Это, парень, нездоровье, звон в голове; глотка болит.)

Всегда все хорошо в природе. Всегда она прекрасна, во всякую пору. Не говорю уж о весне и лете. А зимой в лесу разве не чудно хорошо. Нет, не умерло все, но спит. Тишина, снежок. А тона куда более благородные, чем летом. Черный цвет как сталь вороненая, как тушь китайская. Чудная гамма серых тонов: и серебро, и жемчуг. И белые тона — вспоминаю старинные определения белого цвета: сахарный, бумажный, блакитный. А мы все — белый. «Палевый» скажут еще. Своих-то, вишь, нет, так французское «пале». А старые красного цвета определения: «мясной», «брусничный» и т. д. А желтые: «светло-соломенный», «русый». «Камень тот рус живет...»

Как у отдельного человека притупляется острота восприятия по отношению к тому или другому предмету, так и у целого народа. Отсюда смена вкусов, мод, стилей в искусстве. Нам кажется странным, например, как это в России с конца XVII века могли сменить строгий, величавый, высокий «дорический ордер» на барокко, тогда уже распространившееся по всей Европе. Да потому, что захотелось чего-то полярного давно приглядевшейся древней иконописи. А в барочных (затем рокайль) образах-картинах и была как раз новая острота. И более чем на сто лет барокко чувствительный полюбился. Такова была реакция против многосотлетнего единообразия. Долго матушка-Русь от «западных» стилей отворачивалась и небрегла, да вдруг сразу «с ручками» (как ребята-купальщики говорят) в барокко утонула.

Или вот еще живая черточка о живших в XV веке. Черточка, стирающая без всяких преодолений и трудов, без всяких проникновений «в древность», черточка, разрушающая время по самому обыкновенному, земному: «Лета 7032 (1524), 1 марта, пытал у Евпроксении Васильевой. И Евпроксения сказывала: «Помню маму его, которая его кормила. А звали ее Ефимья. А жила 106 лет...» Выходит, мать та еще в XIV веке жила. Ибо и «дитя» (св. Макарий Казанский), ею выкормленный, преставился в 1483 г. А справка понадобилась при обряжении мощей Макария в 1521 году.

Прочитаешь, и как будто сам проник и приник к тем векам... Видишь, как легко через века шагают, как время малится.

Тетка Глафира Васильевна говорила мне, что ее дедушка ей рассказывал, что видел человека, который присутствовал при казни стрельцов. По рассказам, это было от деда слышано в 1850 году, деду было 80 лет...

Если читать историю, исторические романы, как это все всегда «было давно». А послушаешь такой рассказ, и высоко над временем взлетишь, два века видишь... И это еще в «сесветских» условиях такой взлет, такой охват и конденсация времени возможны.

Незамогла ты, ворона, по поднебесью-то летать... Вот и стараешься качество количеством заменить... хапаешь, хватаешь сюду и сюду. И уж не из чего хватать-то, карман-от пуст, от хлеба у семьи рвешь, а полки забиваешь. И не читаешь уж, а лишь бы полки ломились. Тужишь, что не как у людей, что нет кармана. А пес ли тебе в целой-то библиотеке? Хоть двадцать комнат книгами забей. Хоть Боткиным, хоть Остроуховым будь, а кому то осталось? И на что тебе много книг? Сам будешь читать?

И на настоящие книги одну полку отряди: их немного твоему убожеству насущных. А это ведь обжирание: все одно не переварить, не усвоить.

И вот знаю, и не только знаю, но и чувствую, что одна, две книги нужны. Потому что «одно на потребу». А жадности не могу преодолеть. Подавай коробами. Старцы учители скажут, что это плохая примета. В стороне это от самых первых ступень преуспеяния. Хоть об одном книги собираешь, да для тебя-то много. Да и каждому человеку не множество книг надо об этом «одном». Только «классические» книги об «едином на потребу» надо читать. И будешь их читать десяток, а одну изберешь.

Спал бы с книгами, которые люблю. Ужасти, как они дух мне веселят и надымают.

Притупилось восприятие-то, не шевелят меня привычные-то одни и те же вещи и книги. Надо новые. И это свойство, вероятно, всех любителей и собирателей «искусства и старины». Помню, говорил Н. А. Кл.: «Я сменил бы эти иконы, не чувствую их» (!!!). Любитель-антиквар Антонов, покупая у нас фарфор, говорил: «Приглядятся они мне, я их за ту же цену отдам». А молодой еще библиофил предложил мне меняться книгами: «У меня все неразрезанные...»

Дети могут, конечно, в игрушки играть... Помню, кажется, у Лермонтова: «Не множеством картин старинных мастеров...» Настоящая книга, настоящая икона — как дрожди неиждиваемые, век она бродит, мысли родит и надмевает тебя.



1949

Творчески одаренный человек создает около себя и распространяет атмосферу увлекательную и живительную для других. «Подобное влечется к подобному» (Платон). У какого дела работает мысль человека, там и творчество. Всякая творческая деятельность человека рождает около себя жизнь. Особенно это относится к области искусства. Искусство тогда живет сильно, когда оно вовлекается в строительство жизни. Та или другая эпоха, строительствуя, имела свои идеалы. На Руси в XV веке стержнем «большого» искусства была церковность. Центром внимания «большого» искусства была только религиозная тематика. Со второй половины XVII века волны общей жизни уширили многостройную реку русских художеств... И церковное искусство как-то разрумянилось, раскудрявилось, подало руку бытовому народному искусству. Если портретист начала XVII века, пишучи царя Михаила, всячески тщился уподобить живое лицо иконописному лику, то в конце века наоборот: «Белостью и румяностью», доведенными до лубочности, старались добиться «живства». Старообрядцы только себя считают охранителями древней иконописи, забывая, каким яростным гонителем новшеств в живописи был как раз их антагонист Никон.

Но и сторонники Никона, теоретически разделявшие его взгляды на искусство, может быть, незаметно для себя увлеклись «живостью» в искусстве и способствовали этой живости. Таковы были, например, знаменитый деятель Севера, холмогорский архиепископ Афанасий (род. в 1640 г., умер в 1702 г.) и современник его, страстный любитель искусств и сам художник, сийский архимандрит Никодим. В Сийском монастыре была старинная живописная мастерская. Под руководством такого теоретика и практика, как Никодим, была, несомненно, и холмогорская мастерская. И если у себя в обители Никодим поддерживал относительную древность «сийского» стиля, то на Холмогорах, поощряемый широкою, жизнедеятельною натурой Афанасия, вводил в иконопись реальный пейзаж, «младую округлость» фигур, белость и румяность ликов. Впрочем, и сийская школа давно, еще до расцвета своего при Никодиме, писала ангелов с обнаженными по колено ногами, с голыми по локоть руками *.

* Мастерская в Сийском монастыре основана преподобным Антонием Сийским (ум. в 1569 г.), который сам был «живописцем изящным». «Сийское письмо», то есть стиль, определилось уже к концу XVI века.

У старинщиков, у старообрядцев, любителей издавна существует термин «северные письма». Так называют иконы своеобразного стиля, вывозимые с Севера. Их изводят то от Строгановых с Соли Вычегодской, то из Устюга, то с Вологды... Почему-то совершенно

В таких случаях исследователи начинают, как дятлы, долбить о влиянии Запада. Любовь Афанасия к художеству объясняют (А. Голубцов) исключительно влиянием Немецкой слободы в г. Архангельске. Жалкое, но типичное объяснение. У торговых дельцов, наезжавших в Россию исключительно для наживы, наши Афанасий и Никодим заразились, видите ли, страстью к искусству.

Нам гораздо интереснее то, что эта страсть Афанасия строить, перестраивать, обновлять, а главное, украшать дала толчок, стимул бытовым народным художникам и ремесленникам. В течение двадцати одного года, буквально день и ночь «без поману» и на Колмогорах, и в Архангельске, и по Двине, и по Пинеге работают «каменные мастера», «плотники добрые», «искусные умельцы по железу», «мастера кузнечного дела», «добрые мастера столярского художества», «изрядные живописцы-малеры». (Эти «малеры» расписывают карбаса и струги, паруса и завесы, сани и кареты, потолки и двери, крыльца, галереи и переходы.) В великом фаворе у Афанасия были художники — резчики по дереву и, конечно, резчики по кости.

Холмогорская резьба по кости является одним из самых оригинальных, самых изящных народных художеств России. Из всех народных искусств русского Севера оно стало и широко известным, и наиболее оцененным.

Читающий статьи-исследования об этом искусстве получает впечатление, что оно как бы вдруг, как бы упав с неба, расцветает на Колмогорах с первой половины XVIII века. Прикидывая и примеряя, один из исследователей (а их всего двое) полагает первым организатором холмогорских костяников зятя Ломоносова, Головина. Никто из исследователей народных искусств Севера (правда, эти «исследования» носят очерковый, эскизный, чисто дилетантский характер) не рассмотрел, не оценил столь важной, столь значительной в истории искусств эпохи, какова была эпоха Афанасия и Никодима. Очевидно, не доходили руки или не пришло время.

Между тем «зажиг» пошел от Афанасия. Не при нем костерезное художество зачалось на Колмогорах, но он первый из единичных резчиков собрал в «число».

Афанасий и, несомненно, Никодим, собравший колоссальный «свод» русского художества — «Сийский лицевой подлинник», дали резчикам рисунки-образцы и подробнейшие инструкции.

Эпоха Афанасия была эпохой лютой борьбы с расколом, борьбы страстной и непримиримой. Сам Афанасий первоначально был яростным противником «Никоновых новин» и «адамантом древнего благочестия от своих нарицашеся». Но внимательное изучение классиков, так сказать, святоотеческой литературы заставило его усомниться в правоте раскола. «Ежели по букве мы в малом чем и видимся правы, то по духу церкви единой вселенской мы не правы: воюя за меньшое, попираем великое». Афанасий сблизил-

---

вне внимания осталась и остается школа Сийская, существовавшая, во всяком случае, до конца XVIII века. Как ни странно, эта школа раньше других русских школ живописи отразила на себе «барочные» веяния (а может быть, ренессансные?), но преломила их чрезвычайно своеобразно. Несмотря на какое-то веяние Ренессанса или барокко, Сийская школа, например, первой половины XVII века, выглядит архаичнее икон московских той же поры и не похожа на них. Но не похожа она и на новгородские (на византийские — большая декоративность). Цикл икон на тему «Апокалипсис» (12 громадных квадратных досок) в церкви Рождества в г. Архангельске. Тона синие, зеленые, черные. Мало вохры и киновари.

ся в Москве с видными деятелями и сторонниками новых веяний — Стефаном Яворским, Симеоном Полоцким, Епифанием Славинецким, с художниками — Симеоном Ушаковым и другими. Поскольку Афанасий был великий знаток «божественных» писаний и страстно интересовался церковными делами, его приобщил к себе патриарх Иоаким.

Проповедь старообрядчества, как известно, особенно живой отклик и сочувствие встретила на Севере. Дальновидный Иоаким учредил в Колмогорах архиепископию и послал туда Афанасия. Староверы твердили, что-де «нонешние архиереи чины и уставы церковные ни во что кладут». Между тем Афанасий был любителем, несравненным знатоком и ценителем богослужебных уставов, чинов и обрядов. Благодаря Афанасию раскол не стал на Севере явлением массовым.

Северные люди чутки ко всякой красоте, к художеству, к искусству. Ценитель, любитель и знаток «всякой красоты и преизящности», Афанасий в своем строительстве необычайно широко применял народное искусство.

Построенный Афанасием каменный собор в Колмогорах поражает строгим изяществом архитектурных пропорций. Даже дверные навесы, пробои, затворы «кованы с вымыслом». Замки, кованные по рисункам самого Афанасия то в виде коней, то в виде птиц, до сих пор, двести лет спустя, служат своему назначению. Настолько добротна была эта техника.

Афанасию, воспитавшему свой художественный вкус в Москве, странной казалась архитектура северных шатровых церквей. Приехав на освящение церкви Козьеруцкой пустыни, владыка зело кручинился: «Откудова вы взяли такое поведение, чтобы городить фряжский турм?» (Дас Турм — башня.)

Афанасий сам стал делать рисунки и чертежи для новостроящихся на Севере храмов, предписывая «освященное пятиглавие». Надобно сказать, что северные зодчие и плотники зачастую «учинялись архиерейскому указу ослушны и противны».

(Во всяком случае мысль Афанасия о происхождении северной шатровой архитектуры от готики любопытна.)

Но любовь Афанасия к бытовой «приукрашенности» нашла сочувствие. Из Колмогорской и Сийской мастерских распространялись рисунки-образцы всякого «узорочья». Кроме старорусских, здесь видим и мотивы североевропейского барокко и рокайль. В горниле северного народного творчества европейский барокко XVII века и французский рокайль переплавились, стали одним из видов вполне «русского» стиля.

В XVIII веке мода на художественные вещи, сделанные «по маниру огородов Версальских», распространилась всюду. И холмогорские, например, резчики-костяники, к чести их, могли предложить обществу этот «барок» и этот «рокайль» уже в чисто русской переработке.

Всю неделю таяло. По дворам, по проулкам вода. У нас и не пробредешь, калошишка заливает. Против окон лужа. В нее глядится небо, чуть пооблачное. В Хотькове уже грачи прилетели. Братец не приметил, которого числа...

...Кабы брести тихонечко деревенской дорогой, меж талыя лужи. В оврагах еще снег. Под снегом, а инде поверх, ручей гремит. Подойти бы да посидеть у избушки на обсыхающей завалинке. Хозяин скворешник чинит. Петух где-то далеко пропоет. Тишина. А небо, небо ненаглядное...

Опять думается: «там хорошо, где нас нет». Печали да заботы с собой ведь носишь. Думается: кабы нужды да печали сердечной не было, так и в городе, в кирпиче сидел бы, «ох» не молвил...

Сей год малоснежна была зима. Поздно падали снега, не слежались, их круто и сгонило. По городу булыжник везде вытаял. В переулках грязно, по большим улицам уже обсохло.

Из жилья своего низенького вылезаешь, в глазах зарябит: как светло! Грязь, лужи, а светло. Вишь, небо в лужи-то глядится. И несозвучным этому блеску сам себе кажешься. Как крот подслепый выполз. Бульваром брел да брел. Чудное дело: день, а бульварами никто не идет. Слякотно, вишь. Грязь, вода. Порядочные люди тротуарами сыплют. Я непорядошный, дак грязями грести люблю. Вру, что никого нет: ребятишки тоже не как люди. Им тоже не интересно по сухим тротуарам. Им тоже любее по снежным лужам обутку мочить. Стайка мальчишек видят, что я вроде них кружаю по лужам, остановлюсь да на воробьев погляжу, тростью в луже поболтаю, веточку понюхаю,— возымели ко мне симпатию: «Дяденька, пойдемте, вон там за деревом лужа больша-ая! Сидеть можно!» — «В луже?» — «Нет, пенек есть».

Март ненаглядный, раннее утро года. В марте и вечер беспечален.

Ребятам любо, где «почтеннейшей» и всякой иной публики нет, и мне тоже.

Мальчишки, они озорники, да светлые они. Предвзятости, тяжести, а главное, скуки в них, в детях, нет, грузу этого. Злобы, а главное — безразличия к людям в детях нет.

Безлюдье, будто и не в городе. Ясное небо, вечернее. Мокрые дороги, вода. Холодный ветерок. Но это холодок утренний. Весь ты утро, весь ты радость, весь ты любовь моя, заветный, заповедный месяц март.

Время к восьми вечера. А все еще не погасла заря. Дома уже стоят черными силуэтами. Но потемнелая дорога все еще блестит лужами, отражающими тихий свет зари.

Был я еще молод, и так же в это же оконце глядела долгая весенняя заря. И опять вижу узор ветвей на золотистом догорающем небе. Когда-то (а уж не так давно) сладкая радость проникала в мое сердце от этой красоты неба, веток, воды. А теперь я гляжу и знаю, что это радость,— ведь любимый мой месяц март! Но как будто остается эта радость там, за оконцем, и не проникает меня.

И, выступая на подмостках, я уже не вхожу в роль. Делаю привычные жесты, привычно понижаю или усиливаю голос. Смешу. Публика хлопает, а мне, увы, безразлично. Ведь что в двадцать пять, то и в пятьдесят пять преподношу. Не чувствую, примелькалось.

...Бойко сей год вода сбежала и с крыш, и со дворов. Не успел я наслушаться этого шепота ночных мартовских капелей. И сосулек ледяных с кровель не видел. Конечно, в деревне протяжнее весна. У брателка все выспрашиваю, как на Хотькове воды, да как ручьи, как грачи, Пажа какова? А до грачей ли ему? В ночи-то с работы к поезду попадает: зги не видно, грязь да вода. Дорогу утеряет, на поезд опоздает, на ветру ждет...

Уж второй час ночи, братишки нет. Я сижу, жду — он стукнет в оконце.

Вот ведь горе: для гнева, для ярости, для раздражительности, для всякой скорби, для страха, для печали — по-прежнему обнажена душа. А к тонкостным впечатлениям, скажем, зимней, весенней природы душа моя стала тупа и косна. И это не потому, что «мартышка к старости слаба глазами стала». То, что для меня детали пейзажа тушуются, не есть минус (в планах живописного восприятия). Не крошечными лукавыми глазишками моими соглядаю я, скажем, вешния воды, вербу у ручья, жаворонка на проталинке. Тут зрительные впечатления не главное. Ты сам участник пейзажа и воспринимаешь его всем существом, всеми чувствами:

а) **осязанием,** потому что ноги твои разъезжаются вон куда, вон в какие синие дали уходят. (Сюда прибавь-приложи веяние ветра, ощущение сырости воздуха. Озябнешь ты, ноги промочишь, это все неотъемлемо при живом восприятии.)

б) **слухом.** Для творческого восприятия природы слух великое дело. Не только поэт, музыкант, артист, но и «живописец» слышит «картину» природы. Слышать и слушать, например, тишину русской весны. Тишину эту акцентирует журчание ручья, шелест ветерка вон в тех кустах, карканье грачей вон на том дальнем холме.

в) **обоняньем.** Ветерок пахнет, холодок пахнет, сырость пахнет. Это в марте. А в апреле земля будет преть, пахнуть. А когда деревья зачнут распускаться, тут ты и сам знаешь, «чем пахнет». И веточку, и травинку сорвешь: обоняние и осязание вместе. И все неразлучно с живым восприятием пейзажа.

Я к тому говорю, что **зрение** — далеко еще не все даже для художника-пейзажиста. «Смотрит» ведь и объектив фотографа. Но что в том? Фотография — это инвентарный список, опись имущества.

Так что вот я не на глаза обижусь, а на то, что другие чувства лживы стали, невстанливы, безучастны.

В чем-то я еще не разберусь: если красивый изгиб черной ветки на фоне белого снега меня уже не трогает (примелькалось, обыграно, облюблено), то «силуэт» нищего ребенка с протянутой ручонкой «на фоне белого снега» я не могу равнодушно видеть. (Прежде было иначе.) Но это во мне не доброта, не любовь. Любовь деятельна. А я только копеечку дам да вздохну. Таких «добрых», как я, «до Киева не переставить...».

А на дворе в сутеменки выпал снег. Небеса черные, земля белая.

Из книги «Домовых указов» Афанасия, архиерея колмогорского от 1691 года: «Как бывает нам, преосв. архиепископу, провожанье из соборныя церкви в наши хоромы, и подьяки-робята, и певчие идут чинно, и свечи несут искусно. А как нас в хоромы заведут, и обратно летят стремглав, и у соборной паперти, запнулся, падают, и свещи ломают. И ты б, ключарь, велел каменщику у паперти, у плит переды скобелью выгладить, чтобы робята не падали. То первое дело».

К сему ключарь рече:

— А второе дело: тем робятам зады ремнем выгладить, чтобы знали да не падали.

«На Велик День соборному протопопу снести нам в поднос пять яиц, а градским попам нести по три яйца крашеные, а дьяконам снести по два яйца» (1683 г., апреля 12 дня).

...Чудное дело: вижу куст, дерево в черной воде, полоску снега в ложбинке, ступаю по хрупким листочкам льда, по застывшей глине у забора, бреду через лужу, которая развеличилась во весь перекресток, вижу нищих у церквицы, откуда доносится великопостное: «Иже в девятый час...» И ты скажешь: «Воспоминания детства как живыя встают передо мной...» В том-то и дело, что не «воспоминания»! Воспоминанье — это дымок от папироски, окурки. А я вот ясно вижу, чувствую, знаю, что радость, которая рождалась во мне тогда, в детстве, эта радость существует.

Ты скажешь: «Понимаю: события твоей жизни являются для тебя звеньями единой цепи...»

— Но цепь ведь влачат! Разве ты «влачишь» воспоминания детства? Или уж это чудная «златая цепь». «Красное золото не ржавеет»... И, дивное дело: бывали ведь и в юности, в отрочестве горести-печали, но в «златой цепи» жизни моей черных звеньев нет. Должно быть, с «золотом» слезы-то сплавились.

— Как это ты можешь ощущать и переживать одновременно то, что было с тобою сорок лет назад, и то, чем живешь ты в данную минуту. Как можно совместить переживания шестнадцатилетнего с шестидесятилетним?

— Видишь ли, несколько десятков лет моей жизни — это несколько десятков червонцев, которые все при мне. Существо этих «златниц» таково, что их нельзя растерять. Жизнь свою я назвал «златою цепью». Первое звено ее есть мое младенчество, последнее звено есть старость. Концы этой цепи соединяются. Получается вечность.

При этом называю я свое «младенчество» первым звеном, а «старость» последним очень условно. У цепи два крайних звена, два начала, и естественно их соединить.

Разговор сейчас идет не о вещественном, плотском, осязаемом. Но все же и тело мое, руки, ноги те же самые, что «были» в четырнадцать лет. Я говорю о «переживаниях» тех или других лет моей жизни, которые явились знаком, знаменьем, залогом. Я отозвался тогда всем моим существом, всеми моими чувствами. От этого родились реальности, стали существовать «вещи», которые нельзя осязать руками, нельзя видеть телесными нашими гляделками, но которые, несомненно, существуют.

Истинная мудрость должна была об этом знать. Истинная философия должна об этом сказать. В каких-то книгах, вероятно, это объяснено, выведено и сформулировано... Человек я зело неграмотный. Языка у меня этого нет, и терминологии надлежащей не знаю. Опытно, для себя, дошел, а объяснить не умею.

Но я и не собираюсь создавать философской системы. И я говорю отнюдь не о вещах отвлеченных. Ничего абстрактного я не понимаю; этого не существует для меня. Может быть, абстрактными силлогизмами можно доказать и какую-то реальность, но я «не учен, не школен и в грамоте недоволен». Я упомянул о своих «переживаниях», которые являются знаком и залогом и которые есть доказательства несомненной реальности, а отнюдь не воображения.

Кратко приведу то, что в ином месте рассказал подробно. В четырнадцать лет у меня был некий «пир», некий «брак» с дождем. Был полдень, блистало солнце, лил дождь, благоухали цветы, березы, тополи, пели птицы... Я скинул одежонку и в восторге наг плясал в теплых потоках. Я как бы «восхищен был втай и слышал неизреченные глаголы». Царственно было...

Как будто утешитель меня всего исполнил.

Это событие «плоть бысть» и существует.

Таких восхищений было в моей жизни несколько. Последние в теперешние годы жизни. На Паже, затем у прудов. Я как бы видел суть вещей. Я глядел на те же деревья, на ту же землю, на те же воды, которые видел много раз, но в эти (не знаю, часы или минуты) все становилось «не тем». Глаза как бы переставали глядеть, уступая место иному зрению...

Был сентябрь, конец месяца. С тяжелой ношей спустились мы с братом в долину Пажи, от Митиной горы к Больничной. Брат пошел быстрее, чтобы взять билет. Я брел тихо. День склонялся к вечеру. Безлюдно, безглагольно. Бурая земля, черная вода, голые деревья. Я с трудом передвигал ноги. Но вдруг все начало изменяться передо мною. Преславно стало вокруг. Как бы завесы открылись, раздернулись. Все стало несказанно торжественным. И черные воды, и долина пели, пели как громы, сладко и дивно...

...И еще утра волшебные тихие на реке Лае помню. Описать словами не можно... Не один год жил я на Лае. Из окон домичка нашего все один и тот же вид: река под окнами, лодочка у пристани, изгиб полноводной реки, луга на той стороне, кайма лесов... Но бывали утра — мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, весла. Я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый призрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало вод. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками...

После полдня стало пасмурно, потянул знобкий ветер с Севера. Кот полез в печурку: не снег ли будет?

Носил дровишки. Хорошо, любезно сердцу на дворе. Строгая такая погода. Красота офорта; свет без теней. Голая земля, лужи. Но не осеннее остывание, а надежда, охота к творчеству, ожидание радости.

Подложив под колени плаху, колю у сарая дровишки. Озяб, дак греюсь. Люблю, когда холод или дождь на улице — население в дома улезет... Колю дрова, а сердцу любее да светлее. Суровость весны, строгость дня, вселенское могущество природы... Это все как мать меня обняла. Топором-то тюкаю, согнувшись, и оглянуться боюсь: кабы-де из объятий не вывернуться. Передо мною водная лыва, камень, глина, дерево. И ветер, и небо. А завтра Благовещенье. Радость нашептывает мне: тебе любо потому, что во всей Вселенной так: и над звездами везде ручьи, и весна, и вытаяли камни, и скоро пойдут реки, и на планетах сейчас грачи вьют гнезда, и завтра Благовещенье, обещание радости...

Вчера к ночи вылез на двор братишка ждать: подивился тихости часа. Уж ни снега, ни льдины. Дворы, дороги сохнуть хотят. То уж апрель, заветное утро: еще «друг наш» спит, но жизнь идет будить его. Последние пелены снимают с земли живые вешние ветры.

Апрель месяц, заветная пора, заповедное время. Ветры обвевают дороги, обсыхают холмы. «Пойду по тропам, по дорогам, пойду по холмам, по долинам...» Все восхищаются, когда, «шествуя, сыплет цветами весна». Я люблю пору ожидания и время обещания. Люблю эту тихую и прекрасную прелюдию весны.

Нынче тихий облачный день, без тепла. Ровный свет, как бы утро. На кухне спрашиваю у молодки: «Что сегодня на дворе-то?» — «Хорошо,— отвечает,— весна! Не ушел бы с улицы».

С улицы входит молодкина свекровь: «Суровый день. Часу не могла с ребенком посидеть — застыла».

Завидно мне на молодых. Чем ни-то обвеселятся, так уж надолго. А старый обрадуется чему-нибудь, да и повянет. Молодость ни над чем веселится, а старость хоть знает, над чем надо радоваться, да сил мало радость ту удержать. Молодость веселится над тем, что есть, видит то, что сейчас хорошо. Старость ноет о том, чего нет, видит то, что плохо.

...Облачный день, западный ветер. На Севере, должно, идут реки. Стиль дня был северный, была некая важность. Пелена серебристых облаков потянула небо...

Воспоминание не может надолго приковать внимание человечества. Люди живут настоящим. Традиции могут существовать долго, но и они бледнеют и исчезают. Историческим событием, воспоминанием о нем может жить эпоха, в которую событие это случилось. Следующие эпохи, следующие поколения интересуются новыми историческими событиями...

С тем да с другим суетимся... Уж нет этого желанья-раденья писнуть что-нибудь. Июнь-то поет — все дожди да и с холодами. Кто говорит: ладно, трава растет. Кому опять неладно... Братишечко все кашляет, особливо по утрам. Ажно мокрый сделается, до того его кашель-то добьет.

Сряжаемся в Хотьково, да не удумаем — как. Сейчас и в городе не лихо: пыль-ту убило дождями. Братец из деревни приедет, мне все фиалок привезет. Недели с две было: как ночь, так во всю комнату аромат.

А сейчас братец ромашки приносит.

И писать не знаю что. Работать надо, а не вымышлять праздно.

Что у меня за подлый норов: раздосадуюсь сам на себя, а придираюсь к братишке. Сегодня он на работу ехать спешит, летает-собирается, а я выбрал время, гундосить начал, что-де долгов он не платит, «неимущих-де людей обидит, писцу-де должен и сестрице должен...». Он разобиделся...

И что это за подлый у меня норов? Ведь знаю, что не может он концы с концами свести. Ведь знаю, что и работает он свыше сил, а ест... Братишко уж и есть расхотел. Допостничались: туго было с месяц...

Священное таинство, служащее и вызывающее явление на земле нового человека, втоптали в грязь, сделали скверностью. Но «тем море не погано, что псы в него налакали». Недаром речено, что женщина спасет свою душу рождением детей...

Ночь... Братец уехал в город с ночевкой. Тьма окутала землю. Призрачными дорогами тянется над болотами туман. Лес будто подошел к оконцам. Меж вершины елей как свечи стоят звезды. Миры неведомые. Хоры дивные светил. Кто зажег их? Кто учредил эту бесконечность? Кто учинил это величие? Что и кто там дальше звезд?.. Тайна, умом непостижимая, но поклоняемая и славимая. Источники жизни на земле оттуда. Потому что Земля частица Вселенной.

Людям некогда глядеть в звездные миры: «Видели. Ничего нового». Тем же обычаем и о светлости младенческого лица говорят: «Что там... Ничего оно не выражает, потому что ребенок — ребенок и есть». Звезды — звезды и есть. Ребенок — ребенок и есть.

А между тем нет никакого сомнения, что светлость младенческого облика есть отпечаток светлости иных, неприступных миров.

С годами эта светлость сбежит с лица дитяти. Но пока она сияет в лице дитяти, я несыто хочу глядеть на него, и спрашивать, и угадывать, и дознаваться.

Любо и светло находить и видеть заветное, желанное. Под горою, прячась в кустах, вьется меж цветущих трав, сбегает вниз белоглинистая тропинка. На высоком песчаном обрыве громоздятся ели. Щебечут птицы. А вдали ненаглядный «нестеровский» пейзаж: светло-желтые поля на холмах, елочки, по горизонту синяя полоса леса. И над всем прозрачно-облачное, тихое небо.

— Добро нам здесь быти,— говорю я брату.— Построить бы избушку под елью...

А на Маковце, всякой раз, как побываешь у него, еще много видится светлого чуда. Три белых собора — как три белые птицы у моря. Они только что сложили крылья, но опять готовы лететь. В белокаменной «церкви чудной, еже созда ученик над гробом учителя», дивная «золотая легенда» Андрея Рублева... Здесь поет «птица Сирин, глас ее в нощи зело силен. Кто поблизости ея будет, тот все в мире сем позабудет». Он, ученик «Святой Троицы», вдохновлял и Андрея Рублева, и зодчих. В этой песне линии и красок у блаженного Андрея, в этой песне зодчества душа великого Сергия.

Добро сдумана, ладно сделана светлая и радостная живопись над вратами. Линии, краски, очертания фигур, здания — все нездешнее, на всем свет горняго мира.

Благодатна была земля Маковца. Чудно цвело здесь и искусство века осьмнадцатого. Знаменитая кампанилья, «чертоги»— это все вошло и в народное искусство, в игрушку.

Искусства XV, XVI, XVII, XVIII веков соединились на Маковце в некий удивительный синтез русского искусства вообще... Неожиданно с дороги открывается взору эта сказка... Точно виденье возникает перед тобой этот холм, этот явленный Китеж Древней Руси... Стоишь на мосту, глазам не веришь: — Господи, да что же это?! Наяву видится или во сне чудится??

Невольно начнешь спешить, опережая других, начнешь торопиться для чего-то. Очевидно, для того, чтобы руками осязать эту «златую легенду», ногами исходить эту сказку, красоте которой очи не верят.

В детстве там, на Севере, слыхал я древнерусские былины. Прозвучали, да и нет их. А эта былина, былина светлого Радонежа, наяву. Боговдохновенная песнь старой Руси стала вещественной... Лазурная музыка Древней Руси облечена здесь в формы. Это одно из великих чудес России...

В народное искусство, даже в игрушку—«радость детей», вошли красоты чудного града.

Русское искусство разных эпох видится на Маковце в некой удивительной гармонии. И не то что видится, принимается сердцем. Великолепно явила себя здесь эпоха Платона... Но душа моя хочет притти, припасть и поклониться тому, что озарено немерцающим светом Сергия... и Андрея Рублева...

Благодарная эпоха Сергия — XIV век, эпоха учеников его — XV век — это самая сильная, самая обаятельная, самая могучая струя жизни этого чудного Града, который есть сердце Святой Руси.

В призрачной и таинственной сумрачности оной «церкви чудной» мерцают свечи. Там отец наш. Там молчит священная гусль Руси Святой.

Но разве молчит эта божественная гусль? Нет, она поет, и говорит, и зовет.

В нашей русской природе есть некая великая простота. Эту простоту скудостью назвал поэт. «Эти бедные селенья, эта скудная природа...» Но душевные очи художника в этой простоте видят неистощимое богатство. Серенькое русское небо, жухлого цвета деревянные деревнюшки, березки, осинки, елочки, поля, изгороди, проселочные в лужах дороги... Красками как будто бедна. Но богатство тонов несказанно. Жемчужина — на первый взгляд она схожа с горошиной. Но вглядись в жемчужину: в ней и золото заката, и розы утренней зари, и лазурь полуденная. Не богаче ли, не краше ли перламутра тонкая пелена облак над холмами Радонежа?

Что проще наших полевых цветочков: ромашка, иван-чай, лютик, незабудка, колокольчик, голубоглазый василек? Но не в голубизну ли василька, не в синь ли полевого колокольчика божественный Рублев одел пренебесное свое творение — икону «Святая Троица»!

Жемчужность и перламутр рублевских красок — оне русского «серенького» неба...

Скажут: «Но эти краски Рублев видел у византийцев, у Феофана Грека!» Нет уж, извините! Эту тихую мечтательность, этот пренебесный мир, эту божественную гармонию не только линий и очертаний, но и красок, блаженный Андрей мог найти только в себе и видеть только около себя...

Семь часов, восьмой вечера. Отемнало, и дожжинушка ударил. Знай шум стоит, да вода с крыши плещет. Дождь-от с ветром. Ветр-от как нажмет, и дожжинушка как метлами по крыше-то шаркнет. Еще то ладно, что сейчас в деревне близ работы братишкиной живем.

В соседях мальчишечко на третьем году есть — Юра. Волосики как лен. Один вечер, мельком, я с ним повозился; он где меня ни увидит, все кричит, радуется:

— Адя! А дядя!

За старшими побежит, бойко частит маленькими ножонками. Подопнется, упадет, подпрыгнет, как мячик, засмеется и опять спешит.

— Адя! Дядя!— Это в окно мне кричит. Возьму его в охапку, подкидываю, тешу, а у самого у меня слезы ручьем: Мишуточку любимого не могу позабыть. Сегодня год восемь месяцев, как Мишечку не видел...

Дождь пошумел да унялся. Заря в тусклости смерклась, видно, к дождю. Утки в прудке крячут, не к дождю ли? Братец побрел к завтрашней репетиции игрецов своих подтверждать... А уныло на даче в ненастливые вечера. Писать темно. А письмо мое не стоит того, чтобы свечу жечь.

Удивительна светлость младенческого лица! Вспоминаю Мишечку, вижу сейчас вот этого двухлетнего Юрку. Как лицо неба, как солнечный лик смотрит тебе дитя в глаза несмущенно, безмятежно. А ты смущаешься и мятешься. Во взгляде дитяти неведенье зла и греха. А твоя жизнь — «страницы злобы и порока». Доброго, правого, невиноватого человека эта светлость младенческого лица только радует. А моя кривая совесть не терпит этой светлости, этого сияния младенческой улыбки. Как от солнечного света, морщится худая рожа и текут слезы.

Тьма не терпит света. Младенец никому не сделал зла, и сам зла не

помнит. Младенец никого не обидел, ни в чем, ни перед кем не виноват. Потому он весь светел, и титул его блаженный.

Душа младенца белее снега. Как же моей душе не смущаться, когда я сделал ее чернее башмаков... «Думы мои, думы мои, лихо мени з вами!..»

Как бы хотелось хоть на малое время высвободиться из-под гнета неотвязных заботных дум. О «завтрашнем» дне забота уж так-то отягощает мысль! Хоть коротенькую бы песенку запеть охота, а не видеть, недоуменно моргая глазишками: чем-де прожить до 20-го...

85-летний старичонко перед своим домишком рубит прутики орешника.

— Дедушка, веник хочешь сделать?

— Зачем веник, это дровца на зиму... А у меня старуха в город уехала с молоком. Булочку мне привезет!— хвастливо прибавляет он.

«Погода пуще свирепела». Истинно, что погодушка штормовая! Не подумаешь, что Ильин день. Норд-вест садит с дождем... Оконца трясутся, кровля железная гремит... Сору второй день из избы вынести не отважусь.

У Студеного Моря, на родине, об Ильине дни таковой непогодушки не живет.

Так и хвощет, норд-вест-от, с дождем. Точно серчает непогодушка-та: ветер-от налетит, налетит, будто прочь снести хочет избушки-те. Избушка-та не упадет, дак ветер-от дождем ее хвощет спереду и сзаду, и с боков, и с углов.

С Ильина дня все же сушит. Только наш поселочек на болотце сидит: все еще с крыльца не ступишь. Здесь недавно селиться стали. Пни торчат, дороги нету, только тропочки. В Хотькове про здешних говорят: «В лесу живут». А леса уж нет. Только то тут, то там старые вековые ели. В ветер зашумит, шум дождя да шум деревьев — сладкая музыка. Сначала дальние деревья зашумят, потом ближе. Мало — и в оконца ветерок пахнет, занавески залетают... Бумаги мои полетят со стола...

Малых пичужек здесь редко услышишь. Оне у Вори под горой, в кустах.

Любезных моих ворон, галок и желанных сорок нету. Может, зимою будут. Пуще соловьев, пуще певчих птичек люблю я сорок, ворон да галок; и грачей — вестников весны.

Сорока — птица из сказки. К избушке подлетит, на изгородь сядет, всего наговорит, да таково спешно да занятно. Любезную птичку-сорочку увидишь и уже знаешь, что сказочно «некоторое царство» тут близко, что никуда оно не девалось.

Славная здесь Земля. Здесь возродилась русская сказка.

Облачное небо, елочки, березки, болотца и дремучия ели... так и видится «избушка на курьих ножках».

Край деревни, как стена, ряды за рядами стоят старыя ели. Все шумят, все чего-то сказывают. Дерево к дереву, ровныя, густыя, точно древния башни,— богоделанный город.

Катехизис, определяя, что такое вера, дает Павлов привод: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых». То есть, несомненное

известие о том, на что ты уповаешь. А так же в вере на лицо предстают невидимые вещи.

Свойства истинного художника всецело можно определить этой формулой.

Тот не художник, кому за сказкой надобно ехать в Индию или в Багдад.

...Человек-художник с юных лет прилепляется душой к чему-нибудь «своему». Все шире и шире открываются душевныя его очи, и он ищет, находит и видит желанное там, где нехудожник ничего не усматривает.

Ежели твое «упавание» есть любовь к красоте Руси, то «эти бедныя селенья, эта скудная природа» радостное «извещение» несут твоему сердцу.

Городок, Здвиженское, Хотьково... И сергиевские «игрушечные» деревеньки. Глинистые дороги, поля, болотца, ельник... И нескончаемые дороги, изгороди, чахлые поля... и... сорока стрекочет на изгороди... Не о художной ли сказке того первого Игрушечника, который строил (будто сказку сказывал) вон тот былинный городок, что как сон наяву возносится посреди чахлых полей, под «сереньким русским небом»?

Поверхностным и приблизительным кажется мне выражение — «художник, поэт носит с собою свой мир».

Лично я, например, не ношу и не вожу с собою никакого особого мира. Мое упование в красоте Руси. И, живя в этих «бедных селеньях», посреди этой «скудной природы», я сердечными очами вижу и знаю здесь заветную мою красоту. Потому что талантливость твоя или моя «есть вещей обличение невидимых».

Он не видит здесь сказки заветной, заповедной. Он говорит: «Может, здесь что и было, да сплыло». Ему надобно «за сказкой» ехать в «Персию», в Шираз или в Багдад.

А у нас с тобою... Вот выпадет первый снег... Белая земля, «серенькое» небо, и — на черной слеге у овина защекочет, засказывает сказку сорока-белобока.

Несыто ли хотим слушать сорокину сказку. О богатом мире русской красоты сорока-то возвещает...

Уж полдень, а тихость утренняя не сходит с земли. Ходил, проверял свое сокровище... Встарь серебряную казну ковшиками считали.

Вышел к Воре, сел на горе. Искажают люди прекрасную мати-Пустыню... А все же есть и жива ея тихая русская красота. Построил бы «келью под елью», избушку бы на курьей ножке да все и поглядал бы эту даль. Меж лугов и полей проблескивает чистым серебром, вьется Воря. Ея долину обогнула цепь высоких холмов. По вершинам их нескончаемой стеной уходит вдаль синий ельник.

Девочка лет десяти стояла около меня, читала вслух. Поразила меня нежность очертаний ее бледного личика, ее чистый голосок.

У ее братишки Юрки — свет блаженного неведенья жизни. А у его сестренки какая-то недетская и грустная дума. Они беднячки, и этой девочке, очевидно, приходится много переживать... Читает веселую сказку, а высокий голосок звучит безрадостно...

Почему дети? Почему всякое слово ребенком закроешь?.. Потому что так же, как любо сердцу слышать пенье птицы, шелест листьев, журчание весеннего ручья, видеть лазурь неба, тени облаков, бегущие по лугам, так же сладко слышать голос ребенка, глядеть, как он бежит к тебе, протягивает ручонки.

Вечером остался один с хозяйскими ребятишками. Тьма глядела в окна. Синела керосиновая лампочка. От большой печи веяло теплом. Когда налетал ветер, в нежилых верхах точно кто-то ходил. Ребята жались ко мне:

— Дяденька, расскажите сказочку. Страшную...

Куда-то отлетели десятки лет, прожитые в городе. Чудно мне было сознавать, что сижу в деревенюшке. Кругом поля, леса... Далеко до города. На конце деревни пролает собака. Ей ответит другая, и опять тишина. Уже поздно: восемь часов. Ни в одной избушке нет огонька.

Годов сорок пять назад точно так же жались мы, и я, и две сестренки, к матери.

— Мамушка, запой про кнегиню Юрьевну.

Тоненьким голоском мать поет старину:

Сине море на волнах стоит,
По седой волне корабль бежит —
Юрий-князь в Орду плывет.
Дань-калым кораблем везет...

Тьма глядит в узеньки оконца поморского дома. С моря налетает норд-ост. ...Скрипит флюгер на мачте, во дворе.

— Ох, деточки! Папа-то у нас в море...

В «Хождении», книге XII века, писано: «Несть сыти пьющим живую воду тое реки...» Ясное, осеннее утро. «В багрец и золото одетые леса» — это все «пета бяху». Бывают «роскошные виды». Но разве необходим чан воды тому, кто хочет пить?

Передо мною чистая небесная высь. И на этом свете легко и тонко нарисованы изящные веретенца елочек. Они стоят не часто. Вершины вознесены как свечечки. За ними даль и ширь молчаливых сжатых полей, холмов и лесов. Красок немного, но гамма их сложна. Вид прост, но фотография ничего не даст. Эффектных сочетаний света и тени нет. Впрочем, невысокое солнце освещает елочки «с той стороны», и черно-серебряные силуэты на фоне прозрачного неба восхитительны.

Можно ли скопировать этот простой русский пейзаж так, чтобы и «невидевшие уверовали»? Живая кисть может. Но не «копируя», а передавая разум этого «радонежского пейзажа».

Выйдешь утром и увидишь красоту этого лика божьего, т. е. преизящество этих елочек, явленных в свете какой-то земной небесности,— увидишь и похвалишь жизнь...

С юных лет пленило меня искусство, которое ограничительно именуют декоративным и спесиво отлучают от «чистого искусства». (Это «декоративное» искусство жило еще «от праотцев» в нашем поморском быту и потому, кажется, должно бы примелькаться мне. Но «дух дышит, где хочет».)

Ежели грубо определять, и в пейзаже люб мне рисунок, композиция, силуэт, контур. Мазанности в живописи, хотя б она вся была как радуга, я не люблю.

(Как у всякого дилетанта, то есть человека, любящего искусство без взаимности, симпатии мои к видам изобразительного искусства не дифференцированы. Специалист улыбнется на мои сужденья. Но, скажите мне, такой вид человеческого творчества, как любовь (скажем, любовь мужчины и женщины), требует специализма? На тех правах и я люблю искусство. А любовь влагает в уста слово. Пущай оно будет косное.)

В технике любого искусства не хочу расплывчатости, смазанности... Но ненаглядно пленительны нюансы неба на Руси. Тихо облачное небо беседует моему уму, всегда нашептывает о чем-то важном и нужном.

Неуловима переменность светлооблачного русского неба. Оно как бы шито бледными шелками. Тона его цвета плащаницы Древней Руси.

Как же ты, дядя, говоришь, что не любишь смазанности и бесконтурности?.. Русское «серенькое» небо — любимая, самая ненаглядная картина для меня. Но картина эта как бы перестает существовать без рамы. «Рама» — это ширь и абрис далекого горизонта, это очертания и сила цвета ближних холмов, гребень лесов.

В городе чудесной рамой для любованья небом являются ближния крыши, карнизы, прогалы переулков... Рама для чудных картин небесной живописи — это мать-земля и вся яз на ней. Но воды, реки, озера и моря, а в зиму пелена снегов повторяют нежную красоту неба. В зиму цветом своим небо кажется иногда тяжелее белизны русских равнин, полей.

Любуешься умильными елочками, нежно нарисованными на призрачности неба, и являются некия «школьные реминисценции»: Раннее Возрождение, Фьезоле, Беато Анжелико... Но даже если назовешь нашего блаженного Андрея, простой и нежный пейзаж русской иконы, самый словарь, самая терминология начнет эстетствовать.

«Мысль изреченная есть ложь».

Завидую людям-хозяевам, людям практическим и расчетливым. Смала превзошли они науку — добыть, нажить, приобрести. Жизнь мне показала, что одна только эта наука и пригодна, и нужна. Практические люди ступают твердо, глядят остро, говорят уверенно, никому не кланяются, советов ни у кого не спрашивают — деньги ума дают. Скупятся они и жадничают с радостью — больше останется. А наш брат скупится и скудается от того, что нет ничего. Завидные эти люди берутся только за верные, выгодные дела. На авось ничего не делают. Не так наш брат, который за тенью гонится, на вей-ветер надеется.

В результате стыдишься ты своей «жизни в искусстве», и крыть тебе нечем перед запасливыми «умными» людьми. Все твои «науки, искусства, поэзию» умные эти люди ни во что кладут и ничем зовут. Слушают тебя сочувственно, а думают:

— Ты бы, философ, лучше валенки к зиме подшил да локти у пальтишка залатал.

На скудость-ту обижусь да обижусь. И обида эта мне свет Божий застит. Опять зазираю и корю себя за свое усердие к этой святости и красоте природы. С ведерком в гору вздымаюсь, десять раз остановлюсь, не могу налюбоваться. И борются во мне два ума. Один ум доказывает: красуйся над тем, за что деньги платят. А с этого пустого погляденья сыт не будешь. Другой ум говорит: эти серебряные осинки, это ясное небо, эти холмы-

богатыри с еловыми гребнями на затылке, эта молчаливая, но много говорящая река, вся безглагольная, но многопесенная тишина этого места, все это и есть твое богатство. Это и есть твоя «радость неотымаемая». На это твое богатство никто не обзадорится.

Достоевский сказал: «Красота спасет мир». Очень широко и общо сказано. Не хочешь, да помянешь сказку: «...твоя-то чистота схватила светлоту, занесла на высоту. Неси благодать, а то ничего не видать!»

Ох, голь перекатная! Хоть кол тебе на башке теши, ты своих два ставишь. Опять «красоту» да «светлоту» прибираешь. Краше бы тебе «бедноту» да «наготу» рифмовать.

Я согласен. Рассудок мой таково ж скаредно думает. Но сердце, но разум вопиют свое: «А все-таки она движется!» Есть, есть красота! Существует сама по себе и не требует причин к своему бытию. Скажут: идеализм. Ну а «любовь», «совесть», «жалость»? Каких ярлыков ни наклеивай, душевные вечные чувства и свойства останутся с человеком. Точно так же, как любовь (не физиологическая) — «дышит где хочет и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Точно так же и красота, рождающая в человеке чувство радости, понуждающая человека к творчеству, существует помимо нашего признания или непризнания. Искусство и поэзия созданы радостью о красоте.

Это я говорю в оправдание того, что, например, за водою на речку можно сбегать за двадцать минут, а я в час не обернусь.

— У меня муж маленько недослышит, а я недовижу. Я и говорю: старик, ты будешь глухой, а я слепая. Я буду тебе сказывать, что про нас дети-то говорят, а ты мне за то рассказывай, что они делают.



ИЗ ДНЕВНИКОВ НЕУСТАНОВЛЕННЫХ ЛЕТ

Мне думается, что интересные мысли, если твоя голова вообще способна рождать интересные мысли, созревают у тебя и в возрасте, со старостью смежном, и даже в старости.

Дело только в том, что у тебя прошел хмель молодости. А в молодости ведь кровь бродит, как вино. Под тем хмелем «робишь и работать хочется». Ищешь и идти хочется». Поморка Соломонида Ивановна говорила: «Лучше меня нет пряхи в деревне. Но в молодости я хорошо пряла от радости. За кросна сяду, сон и еду забуду. Я в старости пряла гладко и ровно. Но уж радости нет».

Так и искусный писатель: пусть перестало его накачивать молодым хмелем, зато наступило трезвение, каковое устроение как раз и ценили древнерусские учителя-философы... «Если ты видишь юного, живым

возносящимся на небо, то, ради Бога, скорей ухвати его за пятку и сдерни на землю».

Мысли могут быть равноценны у молодого и у старого. Но молодой с радостью записывает живую мысль хоть в кабаке, хоть в трамвае. Был бы огрызок карандаша да обрывок бумаги. С годами образуется привычка. Пишет уж не с пылу, с жару, а с рассуждением. Молодой боится растрясти бесценные свои мысли — старый хочет поделиться, радуется сочувствию собеседника, сотаинника...

Для творческой натуры не беда, если, скажем, неладно со зрением или там ноги худо передвигаются. Горе, когда такого человека перестало охватывать состояние радости. Когда осеняет тебя радость, хватаешь любой огрызок карандаша, лист оберточной бумаги, спешишь, не сронить бы ее. Я как-то пошел поглядеть, не отвязалась ли лошадь. Напахнула эта радость. Я карандашиком на стволе белой березы давай записывать эту памятку.

Душа наша навыкла сидеть в груди и у нас, как птица в неволе, в клетке, сложив крылья. (Постепенно душа и разучится летать.) Но как радостно ей расправить крылья и полетать на воле, где ей любо летать-то.

Теперь уже не то... В пожилые-то годы образуется привычка. Теперь это вот припевай: «Привычка свыше нам дана: замена счастию она!» Пущай свыше, а того счастья не заменит.

Бывало-то, в восхищении, неизрекомые глаголы в сердце запоют.

Когда осенила тебя живая мысль и ты живешь этой мыслью, записываешь ее, «сплетая силлогизм», старайся сейчас же закончить ее. Завтра увлечешься другой интересной думой. Вчерашнее философствование трудно будет передать живо. Гораздо легче работать над какой-нибудь живой сценой, где видишь перед собой беседующих, смеющихся, бранящихся людей, и записывать их. Вообразить живую бытовую сценку легче, чем живо, красочно и сжато философствовать, где «в немноги словеса надобно мысль многу вложити».

Бывает, по поводу какого-то человека возникает живая мысль, как родничок забьет из сухой земли. Вот, думаешь, на одной страничке изложу. Но параллельно единой думе возникают мысли попутные. Добро, если какнибудь пришьешь к месту и их. Единый-то родничок разбежался на десять струй. А завтра уже какая-нибудь побочная мысль станет главной в празднословящей твоей голове. Беда мне, горе-литератору. Разговоры разговаривать с бабами мое дело, а не книгу писать.

Люблю это душевное состояние, когда ум перестает дремать и побегут мысли, одна перегоняя другую. Сначала одна в кореню, смотришь, у коренника две впристяжку. Тройкой правишь и квадригой. Смотри вожжи держи: они, мысли те, врозь полетят!..

Вишь, как я важно выразился: мыслями-де моими, как тройкой, правлю... Гораздее бы сказать: за двумя зайцами гонишься. Тотчас их из виду упустил и о чем, бишь, собрался сказать? Небось «про Новгород, про царство Золотое? И, бабушка, задумала пустое; Докончи лучше нам «Илью-Богатыря».

Молодой человек делает желаемое, а пожилой человек описывает желаемое. Недаром сказано: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». В молодости-то все стесняешься да не решаешься, стыдишься да не умеешь. Недавно одна ровесница со следами былой красоты напомнила мне с грустью: «Ты тогда одно только слово и сумел мне выговорить: «Не бойся меня, я сам тебя боюсь...» Глупые мы были!

Эх, снова бы помолодеть, знал бы, как состариться!

Где ух там восхищенье да восторг. Любо и то, когда утром выйдешь на крылечко и охота тебе записать, каков цвет неба, и откуда ветер, и как изящно вьется по холму белоглиняная тропинка.

Велика досада, когда семейный, скажем, перекор собьет твое творческое настроение. Хуже нет — какое найдет отупение ума! Держишь в руке перо, а живые мысли не приходят.

Со мной бывает, что вдруг над чем-нибудь расхохочешься и ум оживится, захочется писать.

В древних книгах, греческих и русских, часто рассказывается, что вот придут люди к такому-то старику любомудрому, сядут вкруг него и скажут: «Отче, скажи нам слово на пользу!»

Не наугад брели, знали, куда шли, верили, что получат ответ на вопрос неразрешимый и совет в обстоятельствах самых трудных. У этих любомудрых наставников и учителей книжное знание проверено было личным жизненным опытом. Но учительство, наставничество никогда не было их профессией. От людей, приходящих к ним ради полезного слова, они не брали ни денег, ни куска хлеба. Скудное пропитание добывали каким-нибудь ремеслом: сапожничали, вязали сети, плели корзины. Речь такого учителя была «как злато, претворенное в горниле сердца». Слушатели воспринимали эти живые речи умом и сердцем. Старцы радостно, неутомленно встречали приходящих, как детей, как внучат. Хорошо, что «слово на пользу» записано. Но, ах, какое великое дело личные впечатления!

Закреплять письмом должно только стоящие мысли, нужные хотя бы немногим, или мысли интересные. Это обязательно, если ты хочешь собрать книгу. Ни к переписке дам-приятельниц, ни к фельетонам, ни к многотомной печатной халтуре эти требования не относятся. Учитывать продукцию водопровода нам сейчас недосуг.

Я это написал и осекся. Кто-нибудь непременно скажет: «У тебя у самого если не вода, то каша мыслей».

Верно, все на свете относительно и условно. «А все-таки она вертится». То есть та, настоящая литература должна существовать.

Любопытен опыт древних отцов, наставников, проповедников, учителей-философов. Судя по древним записям, это были люди истинно поэтической души. И что же? Отцы этих отцов, то есть опытные старцы, руководствовавшие этими поэтами, предостерегали их: «Во многоглаголании нет спасения». То есть ежели вы будете многоречивы, то вдохновенное красноречие ваше принесет вам вред. Богатство, которое вы накопили, не расточайте без ума. Не расточайте душевных сил в красноре-

чивом ораторстве. Не опустошайте себя. Опустошенное место скорее всего наполнится духом празднословия и неизбежного уныния. Храните мудрость цельно.

К древним отцам народ приходил, требуя решения вопросов личных, семейных, общественных. Эти отцы знали жизнь, знали людей, знали человека, всегда были тонкими психологами и педагогами.

Судя по сохранившейся литературе, греческой, латинской, древнерусской, эти учителя никогда не произносили долгих душеспасительных проповедей и как от чумы бегали от долгих бесед.

Ответы этих отцов — это всегда или краткие афоризмы, где «в немногие словеса многий разум вложен», или те же краткие, но глубоко содержательные примеры из живой жизни.

Чтобы сказать «слово на пользу», надобно быть в душевном веселии.

Если веселие негде взять, соберись в некоторое мирное устроенье.

Счастье твое, ежели есть у тебя опора в жизни — брат или друг. Может случиться, что опора эта изнемогла, надорвалась, потому что слишком велик воз везла. Здесь надобно заметить, что «творческая личность» всегда считает себя замученной. «Творческой личности» никогда не придет в башку мысль: не я ли вымотал душу у ближних моих?

А все-таки, правый ты или виноватый, искру творческого вдохновения в себе блюди.

Видя богатство дарований Иова, тщится обокрасть его сильный в злобе враг. Враг разрушил крепость тела, но сокровищ духа не украл: непобедимо вооружена была талантливая душа.

Всякому человеку надобно иметь стержень некий мысленный, «столп и утверждение».

Что же это за стержень? Это, во-первых, степень душевной силы, на которой надобно человеку содержать себя даже при упадке сил телесных. Не падать духом ни при каких житейских неприятностях. Я не говорю здесь о каком-либо душевном горе, я говорю о семейно-бытовых, также о житейских, деловых неурядицах, которые трясут человека и выматывают его пуще лихорадки. Во-вторых, это тонус, эта душевная сила не есть какое-то нечувствие или бесчувственность.

Нет, если ты человек поэтически настроенный, если пронес ты через всю жизнь нечто любимое, скажем, призвание к чему-либо, осуществленное на деле, в минуту жизни трудную наведи себе на мысль это твое вечно любимое.

Пусть любимое ходило когда-то в тебе, как дрожди, пьянило тебя, увлекало, вдохновляло. Пусть от этого огня осталась теперь у тебя копеечная свечечка. Самое воспоминание о любимом, заветном украсит, озарит твое умонастроение теперь.

Что любимо было у меня? Что драгоценно осталось для меня и теперь? Художество... Природа...

Я вот этак теперь сижу — раскис, по бокам развис. Думаю о себе: «Квашня ты, квашня! Кисла шаньга архангельска...» И вдруг точно дух свят накатит. Он, дух-от, дышит где хочет, не знаешь, куда уходит и откуда приходит. И заживет, заходит кислая опара. Точно зори утренние в тебе

взойдут. То, что любимо было во всю жизнь, опять, как травы весенние из-под слякоти осенней пробрызнут. Мир, превысший всякого мира, обымет душу.

Чувствуешь, что живо все, что ты любил. Чувствуешь, что сокровищница твоя некрадомая, неистощимая.

Но вот зачну я сказывать, что есть мое любимое и какое мое богатство неиждиваемое, многие усмехнутся. Не велики, скажут, твои масштабы, не широки твои горизонты. Болото ты замшелое.

Однако мох, солнцем высушен, еще как светло горит!

Любил я с детства художество, но признавал я в художестве только то, что умел сделать сам. Понятно было мне искусство, которое годилось бы в доме, которое постоянно было бы в руках. Таковым было, например, художное столярство, резьба в дереве. Вспоминаю цитату из сказки: «...стоит в лесу липа. Годится на божий лик липа, и на иконостас, и на чашку, и на ложку, и на стул, и на стол, и на поварешку».

Мне часто доводилось видеть, как северные мужики вырезали из узлов карельской березы, из обрубков рябины солоницы и бра́тины в виде птиц, делали изящные чашки и красиво выгнутые ложки. Стол, уставленный такой утварью, казался мне особо праздничным. Стол, накрытый синей выбойчатой скатертью, с вереницей таких судков, чашек, солониц удивительно напоминал море с кораблями, у которых «нос-корма по-звериному, бока взведены по-туриному».

Руки мои сами тянулись к ножу, к стамеске. Тщился я взвеселить свой дом такой деревянной, осязаемой сказкой.

От юношеских лет и до теперешней поры упоительно люблю я делать модели домов. Еще будучи школьником, пленился я изумительными моделями северных старинных домов и церквей, собранных в архангельском городском музее.

Картины на стенах казались мне чем-то вроде ковров или портьер. С картиной нельзя «играть», она висит и висит в простенке.

Иное дело иконы. Северные люди признавали в иконописи только древнерусский стиль. Следственно, они были чрезвычайно декоративны. Почитанье икон связано было и с Богом старого Севера. Понятие об этом дает «Стих о Николе Морском»:

Мы пишем Николу
разноцветными вапы,
украшаем Николу
скатными жемчугами.
Мы ставим Николу
в киновареную божницу.
Мы теплим Николе
воскояровы свечи.
Кадим мы Николе
ладаном-темьяном.
Творим мы Николе
земные поклоны.

Форштевень нередко представлял собою изваяние того же Николы Морского.

Следственно, и это религиозно-бытовое художество не являлось чем-то абстрактным. Но, будучи самодельным, осязаемым, понуждало ремесленные руки к подражанью и всегда служило к «увеселению очей».

Откуда вечная жизненность так называемого прикладного искусства? Я своим «прикладным» умом думаю, что несовершенна полнота художественного произведения, на которое — с понятием или без понятия — можно только поглядеть издали. Поэтому не особо я обожаю скитаться по галереям, увешанным картинами или уставленным скульптурами. Везде мертвый ярлык. Просят «руками не трогать». Для меня это все равно что «вход строго воспрещается».

Под картинами ампирные кресла. Присесть не смей: от локотника к локотнику натянута струна барабанная. Стой, значит, перед картиной или перед римским идолом руки по швам.

Недаром сказано: с погляденья сыт не будешь. Люблю художество, с которым можно жить, которое можно держать в руках, которое можно трогать, разглядывать.

Мне скажут — а как же зодчество? Перед любезным тебе зданием ты стоишь, глаза пялишь или вокруг да около ходишь. Оно есть недвижимость.

А я говорю: самое оно мое, зодчество-то. В это вот красовитое здание двери открыты. К дверям ступени меня подводят. Я захожу и живу там телом и душой.

В каждой любезной мне хромине и окна есть. Я и окном залезу, как мышь в сундук. Мышам ведь нигде не загорожено. Буду по дну ходить, то есть по полу.

Всю жизнь неумелыми руками тщился я охапить непосильные красоты зодчества.

В родимом городе над Двиной громоздились приземистые башни и стены древнего Гостиного двора.

Бесконечные сени с неожиданными переходами и поворотами, сводчатые горницы, узкие оконца. Тяжкие двери с железными узорами. В двадцатом столетии здесь все было так, как было в веке шестнадцатом. Зодчество суровое и простое — и в то же время сказочное и таинственное. А в оконца, сколько ни выглядывай,— нежный туск северного неба, сребросвинцовые волны, белые чайки.

Такое же упоительное чувство сказочности охватывало меня, когда мне приходилось живать или бывать в крестьянских хоромах на Двине, у Белого моря.

Сяду один в верхнем жилье и ликую: царство дерева, нежные нюансы золота, тона коричневые.

Откуда, отчего рождалось ощущение счастья, когда соглядал я северную избу-горницу? Что созерцал я глазами, что осязал руками, ногами, спиной? Восхищали мощь, изящество, строгость и цельность стиля. Мощные, коричневого цвета бревенчатые стены, могучие косяки и порог тяжкой двери с кованой скобкой, широкие скобленые лавки, широкие синие осиновые половицы.

Никаких украшений, ни окраски. Но какая нежность тонов, какое удивительное чувство пропорций было у людей, создавших это жилье.

И, конечно, северная природа, глядевшая в коротенькие оконца, оживляла, одушевляла. Природа была единого духа с созданием рук человеческих.

Припас здесь как будто прост: сосна, северная осина, лиственница. Просты снасти — топор, пила, рубанок, долото. Но безупречность пропорций, чувство композиции в поделиях больших и малых — точно песню поют безмолвную, но немолчную о том, что северные мужики-плотники были зодчими-художниками.

День с ветром, облачный. Солнце помалу проглянет. Большие улицы просохли. В переулках булыжник мокрый, возле тротуаров ручейки; по дворам грязь малопроходная со льдом. Стаскался к господней. Авось, думаю, не протает ли душевный-то лед?

...Не по годам, пожалуй, равнодушие и эта вялость. Что-то мало сил душевных и телесных. Я, видно, не земля, не та земля, которая начинает протаивать, которая благовествует радость говором ручьев, пеньем птиц.

Я — куча мусора в углу двора. Пусть весна, пусть хвалят небеса Божию славу. Она, куча, куча и есть. Сказано: сила Божия в немощах совершается. А вот мои немощи далече мя творят от ясности, от радости господней. Видно, смолоду надо было заготовку великую производить, каким-то образом силы духовные копить, чтобы, как немощи придут, было чем силу Божию ухватить. А я жил как придется, как попало. Стал под старость решетом дырявым. Как во мне силе Божьей удержаться?

Есть художники, есть поэты Божьей милостью. И есть дилетанты, самоучки. Последние — в лучшем случае — трогательны, но и маловыносимы. Я в богоискательстве своем вот такой дилетант-самоучка. Что-то слышал, до чего-то сам, своим умом дошел, и все-таки «дилетантизм есть любовь к искусству без взаимности».

Ни высшей, ниже средней школы в науке (да, да — науке!) духовного совершенствования я не прошел. Что-то нравилось, чем-то увлекался, а школы не было. Время пропустил, пришли годы немощей телесных, иссякла и всяческая радость, которая вызывалась исключительно тем, что «младая кровь играла», но отнюдь не была показателем некоей «меры духовной».

Мало мне было тогда настроений и впечатлений. Очевидно, я не знал, что они запечатлелись навсегда. Переживания, рождаемые зодчеством, надобно мне было тогда воплотить в нечто осязаемое.

В те времена я не знал, что народное искусство и красоты родимой природы век будут веселить и молодить мою душу. Увлеченье художеством было действенным и понуждало к труду мои руки.

В это время в городском музее выставлены были модели северного крестьянского зодчества. Когда замолкали шаги сердитого хранителя, я, замирая от волнения, приподнимал дом или амбар руками, заглядывал в крошечные окошечки: там внутри все было по-настоящему — печь, полати, двери.

Я приходил домой как заколдованный. Я знал, как надо утолять невнятное доселе художническое томленье.

Неудобно мне склонять эти местоимения — «я», «у меня», но я не себя объясняю. Я — малая капля, в которой отражается солнце народного

художества. Что говорю я, мала дождевая капля, о том веселее меня сказывают тысячи других капель внешнего художного дождя.

Дни-ти мрачны стали, мраковидны. В полдень разве день-то пошире взглянет. Грязей больших нет, хотя мостовые худо просыхают. Дождей, вишь, с неделю не было. В ночи маленько украдкой поморосит. С Покрова озябный ветер поднялся.

С деревьев остатние листья падают. К вечеру в воздухе тусклота такая холодная.

О полдни день-то похаял, а в два часа светло стало и читать видно. А холодком от оконца потянуло. Дороги повысушило.

Сумеречные тона одиноко-задумчивого, молчащего с людьми дня прекрасны. Летние общепонятные красоты олеографичны, лубочны. Летним днем вдосталь налюбуешься. А октябрьский-ноябрьский день недолго на тебя глядит, мал час гостит. Он ничем тебя не подкупает, испытно, взглядом спросит: любишь ли меня паче сих? Пока ответишь, его уже и нет.

Летний день, он любимец публики, он у всех имеет успех. Летний солнечный день — баловень. Это румяный, завитой, раздушенный красавец, модная картинка. Вся «широкая публика» с ним в сад гулять идет; все его чмокают, всем он на утеху.

А этот, холодный, сосредоточенный в себе, несчастлив в любви. Он сам по себе, он незнакомец. Не ловит улыбок и взглядов. Проходит, опустив глаза: лучше любя не иметь, чем иметь не любя.

Живу я, содержу ум цел и разум здрав, если растеряюсь и распадусь на мал час, опять да опять соберу и построю себя в добром, в правом моем создании.

Сторонние добрые люди, наверно, думают, что житье-бытье мое — болезни, печали и воздыхания. Люди не вникают в то, что «своя печаль чужой радости дороже».

Ради скорбей душа спеется. Верно тебе говорит поэт-писатель: горе — добрый пахарь. Если вспахана твоя душа горестью и преогорчением, вырастет добрая пшеница. Сеющий слезами радостью пожнет.

...Нашел чем хвастать, слезами! Чувствительные дамы всякий час плачут. Оттого у них и нос красный.

Но, например, великая душа — Пушкин ничем не схож был со слабонервной дамой, и тем не менее у него был «дар слез». Он пишет Филарету Дроздову: «Когда твой голос величавый меня внезапно поражал... Я лил потоки слез нежданных...» И в другом месте: «Над вымыслом слезами обольюсь». Стесняясь своих слез, Лев Толстой шутил: «Я старик мягко-слезный...»

Бумажных книг не читаю. Некогда. Ничего бумажного, чернильного не вмещает моя голова. Житье-бытье близких моих, а их у меня много, это я переживаю днем и обдумываю ночью.

Вот мое утешенье, моя отрада: как все-то успокоятся, уснут, лягу и я и начну складывать рассказ или повторять готовый, подходящий к горести или радости дня. Много у меня в памяти «сырых» рассказов. Я люблю их уделывать, речь к речи пригонять.

Пишущий человек ощущает потребность писать и будучи в унылом настроении. Очевидно, ему необходимо выключиться, он хочет отойти от горькой печали. Но все же унылые ползут мысли. Уныла и речь. Да и надолго ли в таком преогорчении писанье твое? Бросишь перо-то.

Школа писателя-мыслителя, как и всякого человека-деятеля, начинается в своей семье, в среде людей, с которыми суждено жить единой жизнью. Если писатель умен и добр, большую пользу принесет ему многолетняя жизнь в многолюдной коммунальной квартире.

Человеку творческому не приходится всегда черпать силы в семье своей, у домашних своих. Век ты с ними прожил, жалостны они тебе, но в конце концов каждый из них едва набирает сил для собственного дыханья. Жена, брат, сестра — пусть они у тебя прижаты к пазухе,— тебе надобно иметь и искать людей, которые больше тебя знают или светлее тебя думают, собеседников надо иметь художных, вот кого.

Бывает, живет человек преутомленно. Не беда, что дышит кирпичом, асфальтом, бензином. Беда, что внутри человека — печаль неизбывная. От городского пыльного удушья можно вырваться. А слезную тучу везде с собой понесешь.

Но и лежащий в печали человек всегда хочет встать да развеселиться. И чтобы сердце твое развеселилось, совсем не надобно, чтоб вдруг изменились житейские обстоятельства. Развеселить может светлое слово доброго человека. Весело станет, когда дождь вымоет твой каменный дворик и начнут благоухать веточки на деревьях.

Люди нужны людям. Бывают дни удушливо-тоскливы. Знаешь, что ежели теперь тоскливо, то дальше будет «плач и скрежет зубовный». Но вот точно вольным ветром нанесет к тебе человека с живой душой. И будет он говорить не о твоем горе, а горя твоего часть он унесет.

Уговариваю родного человека, а сам горюю. В таком преогорченье возьму книгу, еще отцова письма. Там заложена страничка: «Не добро, вдавшись в печаль, изнемогать. Печаль — моль в одежде, червь в плоде. От печали исходит смерть. Печаль жжет крепость сердца».

...Куда же деваться-то? Но верно-опытно знаю, что спастись от печали можно только в людях. Доспей себе близких, копи, стяжи, припаси себе людей. Не живи один, пусть с тобой люди живут, которым ты нужен.

Извне огляжу мою жизнь, как будто ровная она: полжизни прожил в Архангельске, полжизни здесь. Два жительства только и сменил от рождения до старости. Маску тщусь носить спокойную. А уж как сердце-то рвется да слезами исходит, то уж мое дело.

Братишечко сядет на постели, взглянет в окно, тихонько скажет: «Абрикосиха прошла. Соболев куда-то идет. Древние, а ходят. А я уж не могу...»

Меня горе схватит: «Что уж наша участь какая!»

Потом одумаюсь: «Братишечко, не горюй. Другой бы и рад, как мы, дома посидеть, полежать, да некого в лавку или в аптеку послать. Дом напротив — думаешь, мало в нем чахлых, немогущих, сиротливых? А мы живем, не брошены. Смеющихся, болтающих мы видим и слышим, а грустные — они печали своей не выказывают».

Когда-то я записывал только то, что рождалось в голове «от веселья сердечного». Я чувствовал в себе творческую радость до пятидесяти лет. Потом она стала утекать, как вода из треснутой чашки.

Поздненько я спохватился, что «вдохновения» ждать извнутри себя дело легкомысленное.

Надежно только то, что добыто трудом, крепко и верно только то, что достигнуто подвигом.

Годов до тридцати, тридцати пяти я мало писал: расписывал и разрисовывал стены, двери, бумажные листы. Потом был у меня период годов с десять — записывал редкостные мои мысли как попало, на чем попало, на полях газет, на коробках. Записывал ни для кого. Теперь, «годами призаживши, летами призабравши», из самого себя не выжму. О том горюю, что друзья-сверстники, собеседники мои, сотаинники уходят «в путь всея земли». Как цветы вокруг меня увяли, как свечи угасли.

И все-таки живет в душе какая-то светлость. Не люблю печального сна, не терплю на себе горестного унынья.

Говоришь, значит, что радость утерял, будто кошелек из кармана выронил. Что уж, сказано ведь: на старости две радости — кила да грыжа.

Отовсюду выходит, что расположенье мое удрученное. Однако выработанная привычка — закреплять письмом сердечные мысли — действует во мне.

«Душа моя мрачна», однако мрачность и удрученность свою анализировать — какая мне от этого польза и кому это интересно?

Великое горе сбило меня с ног. Я уж не валяюсь, не кричу. В тоске смертной я забился в угол.

Я чувствую, что стал мал и ничтожен перед величием горя моего. Стал я тупо равнодушен к близким, сердечным людям.

Житье-бытье в старом здешнем доме для меня тоска неизбывная, непроглядная. Переезд в новое жилье представляется мне зловещей, бессрочной ссылкой.

Знаю человека, уже оскудевающего силами телесными, но еще богатого душевными чувствованиями. Говорит о себе: «В силу недуга я домоседлив, но крылатая дума моя летает широко — зимой над полями снежными, весной над лугами цветущими. Но не там богатства мои. Сокровищница моя — близкие мои, искренние мои».

Я зайду к этому человеку, он поглядит в оконце, потом на мой лысый лоб, скажет: «По небу — облака, по челу — думы». Я отвечу: «Ум мой долу поник. Ум мой как ночной ворон. Скажи мне слово живое».— «Опять заплачешь?» — «Легче будет».

Блюдите, не ленитесь, от каждого из вас пусть хоть два человека призаймутся чудным огоньком. От тех четыре, может, и четыре десятка понесут наше душевное художество.

Мне люба срединная Русь деревенская. Время года — петровщина. Дни тихие, ненастливые. Стенка у комнаты стеклянная, и видится она картиной нерукотворной.

За окнами березник, рябинник. Листва загораживает солнце и сияет, как изумруды. Только темнеют густолиственные ветви и сучья. К полудню небо пооблачится. Зачнет погромыхивать дальняя гроза, будто серебряная призрачная кисея опустится на землю. Стеклянная стена моей горницы видится новой картиной. Нет ярких красок. Только нюансы нежно-тусклых тонов. Купы деревьев будто карандашом прочерчены на этой чуть подцвеченной акварели.

Куда глаз достанет, видится шелковая пелена. По этой пелене призрачные тени ветвей теми же шелками шиты, каковые краски этого пейзажа. И я спрошу: каковы тона безглагольной тишины? Впрочем, птичка какая-то подобрала тона, посвистит повыше и после паузы возьмет столь же нежно пониже.

И был вечер, и было утро — день второй. Цвет неба — облакитный. Светлошумный ветер. За окнами новая картина. Перед старыми лапистыми деревьями рядочками стоят молодые поросли. Чуть налетит ветер, и старики важно начнут помавать густолиственными сучьями, будто руками благословлять. А молодые тотчас в такт помаванию стариков зачнут кланяться в пояс.

Стремления художника многообразны. Добро, если он сосредоточит свои творческие силы, свой умный взор на образе природы. Люби Мать-Сыру Землю. Соглядай красоту природы. Не плавай далеко. Всего света в карманы не уберешь. Ранней весною броди по холмам, по берегам срединной Руси. Собирай в сердце рано-утреннюю красоту. Она отрыгнется нестареющим душевным весельем.

С досадами повторяю слова «краса природы». Созвучие это — пустой орех. Я имею в виду Мать-Сыру Землю — существо таинственное, жизнеподательное, песенное. Сыра Земля — это не торфяная яма. У Матери-Земли очи недремлющие. Эти очи неутомленно соглядают днем серебряные облака, ночью — сияние звезд. В косы Матери-Земли заплетены луговые цветы и травы.

Я однажды лез на Митину гору, что в Хотькове. Лез, не чуял колючего шиповника. Мне дивно было, что в берег заплетены были могучие, точно из золота, связи-корни, омытые вешней водой. Я брался руками за эти чудные крепи и чудился: из меди тут ковано или это камень? А после понял на радостях — это кости нетленные Матери-Земли. А на взлобье Митиной горы древле стоял бор: пни заросли давно ельничком-березничком.

Днем в окна глядел дождливый туск.

Я вылез на улицу к вечерней заре. Тонко-облачная пелена стояла над западом. Она светилась золотом, нежным и тусклым.

Но на туске небесном, призрачно и ярко, как свечи, горела листва на деревьях.

Омытые дождем мостовые, бульвары будто вышиты были золотом листьев. В дом заходим, трем да трем ноги. А как тут можно топтать эту бронзу и красную медь, это червонное золото?

Горькую чашу подносит мне жизнь на остатках. Не отказаться, не отбиться, не убежать. Страшно, ужасно, а пей чашу горчее полыни.

Людям горя не кажу. Что спросят, отвечу весело. Пуще всего бодрись перед близкими. Думаю, все уйдут, дам себе волю. Один-то остаюсь вечером. Вот и глянет в оконце «погибающая заря». Вешние и летние зори сияют нежно, ласково. Сейчас глядит заря осенняя. Пронзительна, резка, плачевна.

...Вот закрою дверь за племянником, буду лицо ладонями бить да кричать беззвучно.

Но где и когда вот так же остро-зрачно и горько-плачевно глядела мне в душу эта осенняя заря?

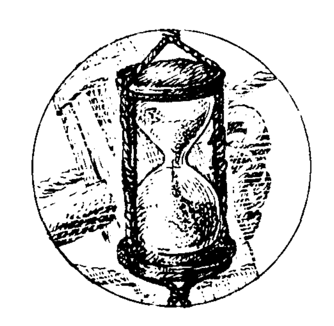
Это было в молодости, когда я расставался с родимым домом. И там я, ладонь к ладони, бил локтями о стол. Кричал тогда: «Прости, отчий дом! Думал, век буду здесь жить, остается век поминать!»

Вышел на пристань. Увидел красоту вечную, превосходящую всякое горе. Было небо, пылающее золотом и розами. Двина катила волны сизые с чернью, а гребни волн отражали огненный закат.

Север мой, родина моя! Живы они, свидетели моей жизни. И не «погибающие зори», а свет вижу вековечный.

Я тем душу питаю и силу беру, что, когда схватит меня горе, я равняюсь по народу моему. Как они горе переносили мужественно и великодушно, так должен и я.

И вот сейчас, глядя на «погибающую зарю», я не стал кричать и бить руками о стол. Я стал рассказывать стенам и сам себе быль, которая давно живет в памяти сердца моего.



1953

Вот как регистратор записываю «входящия да исходящия». А бывало, философствовать любил. Теперь уж ничего такого в уме не родится. Всем оскудел: и телом и духом... В компании с рюмкой в руке, или в театришке балаболю речисто. А обычно косен и медлен стал мой разум. Да и был ли он когда у меня? Художество любил с детства, рисовать,

красить, вырезать, мастерить что ни то — очами оскудел. Желание есть, а зрение не позволяет. Живое слово люблю: сочинять бы да сказывать. Ино, этот товар не идет. «Раз в год по праздникам» позовут куда-нибудь побаять, попеть, посказать. Ино для этих редких и случайных «разов» нет резона сочинять да слово составлять. И сдумал бы что, а для кого? «Уронена стара мода со высокого комода».

Я поминал, что уж не восхищаюсь природой, как прежде... А все же, пустой да унылый, выглянешь на улицу или в окно выглянешь: солнышко, небо, воздух, зелень, по долине внизу вьется Пажа. Посветлеет на уме-то, теплее станет на сердце. Животворна она, природа...

Слышал человека, побывавшего на Севере: Кемь, Онега, Ухта, Вокнаволок... Все, слышь-ка, однообразно. Климат, слышь-ка, скудный, холодный.

А мне родина моя какой кажется прекрасной. И не сравню с здешними местами. Тихославная Двина, родимая северная речь, прекрасное зодчество... Отцы и праотцы там лежат. А меня отнесло-отлелеяло от родимой стороны. Иное и вздохну «о юных днях в краю родном, где я любил, где отчий дом».

Но уже не оторваться мне от здешней, теперешней жизни. Близкое и дорогое мое здесь. Тут все мое дыхание и сердоболь. Забвенна буди десница моя, пусть иссохнет язык мой, если забуду тебя, родина моя прекрасная.

Но здесь, «на реках вавилонских», и жизнь моя, и дыхание, и все. Север для меня — туманное и сладкое воспоминание, а жизнь моя здесь.

Разница культур. Северные люди любят древний стиль в иконописи. Северный крестьянин и мещанин ежели и не гонится за древностью иконы, то все же требует, чтобы написана она была письмом «горним и пренебесным», считая, что все святое и поклоняемое может быть передано исключительно формами, линиями и красками греческих и древнерусских живописных пошибов. В дни молодости моей в домах северных людей — Беломорье, Сев. Двина, р. Пинега, р. Мезень, Печора — нельзя было встретить икону «новаго», малярно-«академического» стиля. Это, во-первых, потому, что жители Севера тщательно берегли иконы, унаследованные от предков. Во-вторых, приобретая или заказывая новую икону, требовали, чтоб пошиб был «священный», канонический. «Живописную» (некогда заимствованную с Запада) манеру иконописания северный народ считал профанацией, снижением, недомыслием. Дескать, это будни, это обыденное, сесветное. А «то» искусство передано из мира горняго, от ангелов.

По поводу одной картины Нефа поморка сказала:

— Что уж... будто обыкновенная картина... Наснимают барыней, да ты им и молись. Она хоть и скромница, а тельна очень, хлебна... Глазки голубенькие, щечки румяные, губочки собрала. Нет, уж это не «Высшая небес»...

Люди Севера также любили древнюю манеру церковного пения. Характерность не только мелодий, а самой манеры исполнения столпового,

крюкового пения считалась на Севере принятой от ангелов. Наоборот — театрализованное, чувственное, давно уже распространенное в России пение не нравится северным людям. Оперно-концертный стиль церковного пения поморы, двиняне и др. считают недомыслием, оскудением, ложью и ничтожностью. Концерты, распеваемые в церкви, рев басов, визги сопрано, по мнению северных людей, есть «скраденая ересь». Не о староверах говорю. Это дух общей культуры Севера. Кстати сказать, в таком рассаднике церковной культуры, как Сийский, пение искони употреблялось только и исключительно «столповое», знаменное с его особливой техникой исполнения.

Северный человек, почитая церковь «земным небом», считает, что здесь все должно быть не такое, как в сем мире. И глаза и ухо должны видеть и слышать «пренебесное», надмирное, высокое. Условно-идеалистическая живопись, особый стиль пения, красота которого столь несродна общераспространенным ныне понятиям и вкусам,— вот что требует душа Северной Руси.

Перечитывал «Запечатленного ангела» Лескова. Нельзя довольно надивиться богатству этой повести. Лесков несравненный мастер рассказа-монолога («Полуночники», «Очарованный странник»). Но повесть-монолог «Запечатленный ангел» — вещь совершенная в этом роде. Автор дает обильные сведения о технике древнерусских художеств (и какою замечательною речью он это преподносит!), рисует очаровательные типы артельных людей, каменщиков: Марка, Мароя, Луку, «отрока» Левонтия, живописца Савостьяна. Вместе с рассказчиком мы живем в рабочей слободке, ходим в Москву, бредем дремучими лесами Заволжья в поисках прехитрого изографа Савостьяна и обретаем Панву безгневного.

Многообразный этот рассказ настолько целен и целеустремлен, что кажется очень простым, бесконечно хочется слушать этого Марка, от лица которого ведется речь.

Монолог как литературная форма очень трудная вещь, но настолько оригинальна и трогательна фабула, настолько живы положения, любопытны и ценны сведения об народном искусстве, что без конца готов насыщаться (от) богатой трапезы, учрежденной изумительным мастером слова. Многие пишут в народном вкусе, но в больших дозах угощение это становится пресным и приторным. У Лескова несравненный вкус, Лесков никогда не свернет на торную дорожку слащавого и банального «русского штиля», которому так легко подражать. Язык «Запечатленного ангела», «Полуночников» и (местами растянутого) «Очарованного странника» навсегда видится нам струею чистою и живописною посреди мутноватых и подражательных и зачастую бездарных подражаний народной речи.

Не беда, что все мы слабы телом, больны. Беда, что ослабли духом. Не только немощные, но и здоровые телом негодуют на всякое беспокойство в личной жизни. Даже бабушки и дедушки, дяди и тети крайне тяготятся внуками:

— Не отдохнешь, не сядешь как следует чайку попить...

Не дадут полежать, кричат, стучат, шумят, просят есть, одень их, раздень, подай то, подай другое, капризничают. С улицы дети приходят в

пыли, в грязи, с мокрыми ногами. Что-нибудь разорвут. Надо на них стирать, гладить, зашивать, штопать. Надо купить обутку, одежу.

Это все так. Особенно в тесноте городских квартир, комнат. Нянек ведь мало кто может держать (я говорю о среде, в которой живу).

Такова же и психология современных бабушек и теток, живущих в деревне, хотя там жить просторнее и привольнее...

Но, в общем, иссякло чувство любви и жалости даже к внучатам, к племянникам, не говоря уже о чувстве к неродным детям. Под настроение и чужому ребенку дадут конфетку, яблочко, посмеются, пошутят с ним, но терпеть шум, возиться с чужим ребенком никто даром не станет.

Все мы устали, всем нам некогда, всем нам надо работать, все мы хотим спокоя. И далеки и непонятны нам слова об «иге», которое надо взять на себя для того, чтобы обрести покой душе. Если бы в нашей душе жила любовь и жалость, если б мы горевали о том, какая жизнь у них будет, мы терпели бы беспокойство от них, не тяготились бы усталостью. Мы почувствовали бы, что дети «иго благое и бремя легкое»...

Но не найдем спокоя мы, жаждущие устроить жизнь себе к покою.

У меня часто теперь такие ощущения, что круг жизни завершается, начало моей жизни с концом сходится. И вот-вот спаяются края онаго таинственного. Старость с детством радостным таинственно сольются. И оттого, что начало жизни и конец ее уж близки к слиянию, оттого, что магнитная сила неизбежная стягивает конец и начало в бесконечное златое кольцо, так уже проскакивает искра от концов кольца, оттого я и чувствую сладко и радостно, как в детстве, таинственную жизнь, силу, пребывание праздника на земле. А когда концы кольца онаго дивного жизни сведутся, тогда наступит вечность, бесконечность. Только достойно надо конец-то жизни-кольца, из того же и чистого злата, каким было младенчество, ковать. А то и не соединятся концы-ти для вечности-бесконечности.





СОДЕРЖАНИЕ





ИЗЯЩНЫЕ МАСТЕРА



У АРХАНГЕЛЬСКОГО ГОРОДА

Шергин Б. В.

Ш 49 Изящные мастера / Сост., предисл. и сопровод. тексты Ю. Галкина; Худож. Ю. Фролов.— М. : Мол. гвардия, 1989.— 430[2] с., ил.

ISBN **5-235-00439-6**

В книгу русского советского писателя, замечательного мастера слова, вошли его лучшие и значительные произведения: сказы и были о поморах в стиле северного фольклора, а также некоторые статьи. Впервые в наиболее полном виде публикуется Дневник писателя. Некоторые рассказы также публикуются впервые.

Ш $\frac{4702010201-215}{078(02)-90}$ 118—89 **ББК 84Р7**



ИБ № 6215

Шергин Борис Викторович

ИЗЯЩНЫЕ МАСТЕРА

Заведующий редакцией
В. Перегудов

Редактор
Г. Кострова

Художественный редактор
А. Романова

Технический редактор
Г. Романова

Корректоры
Н. Хасаия, В. Назарова, Е. Дмитриева

Сдано в набор 31.07.89. Подписано в печать 16.07.90. Формат 70×100¹/₁₆. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Балтика». Печать офсетная. Усл. печ. л. 35,1. Усл. кр.-отт. 140,9. Учетно-изд. л. 32,7. Тираж 200 000 экз. (1-й завод — 100 000 экз.). Цена 4 руб. Заказ 1963.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес ИПО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN **5-235-00439-6**